

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЖУКОВСКИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Выпуск 3

Сборник научных трудов

Издательство Томского университета
2017

УДК 821.161-1
ББК 83.3(2 Рос-Рус)1
Ж86

Редакционная коллегия:

С.В. Березкина (Санкт-Петербург, Россия),

О.Е. Глаголева (Торонто, Канада),

Э.М. Жиликова (Томск, Россия),

Р.В. Иезуитова, (Санкт-Петербург, Россия),

В.С. Киселев (Томск, Россия),

Т. Гузаиров (Тарту, Эстония),

О.Б. Лебедева (научный редактор выпуска; Томск, Россия),

А.С. Янушкевич (главный редактор издания, Томск, Россия).

Жуковский: Исследования и материалы / гл. ред. А.С. Янушке-
Ж86 вич. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. – Вып. 3. – 566 с.

ISBN 978-5-7511-2481-6

В третьем выпуске настоящего издания представлены работы, продолжающие исследование оригинального и переводного творчества В.А. Жуковского, и публикуемые впервые материалы архивов и библиотеки поэта, в которых вводятся в научный оборот ранее неизвестные в печати письма Жуковского и документы его письменного наследия, содержащие сведения о его родственном круге, дополняются и расширяются представления о творческих и мировоззренческих поисках поэта, о его педагогической деятельности, об особенностях его общественной позиции и рецепции его творческого наследия и традиции в пространстве русской словесной культуры.

Для филологов, а также для всех любителей и ценителей русской поэзии и творчества великого русского поэта.

УДК 821.161-1
ББК 83.3(2 Рос-Рус)1

*Светлой памяти
Александра Сергеевича Янушкевича
посвящается*



ОТ РЕДАКТОРА

Труды российских (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул) и зарубежных (Германия, Италия, Канада, Болгария, Эстония, Узбекистан) ученых, вошедшие в третий выпуск сборника научных работ «Жуковский: Исследования и материалы», традиционно распределены по двум отделениям: «I. Статьи» и «II. Материалы и публикации», хотя границы между ними достаточно условны, поскольку в статьях нередко вводятся в научный оборот новые ранее неизвестные материалы, а публикации сопровождаются вводными статьями и комментариями, которые придают этим публикациям определенный методологический смысл.

Обычная тематика периодического издания «Жуковский: Исследования и материалы» в этом выпуске несколько расширена за счет двух статей мемориального характера, заключающих отделение «I. Статьи» и посвященных памяти Вадима Эразмовича Вацура: соответствующие доклады, темами которых послужили сюжеты исследований В.Э. Вацура, связанные с проблемами творчества и «домашней поэзии» Жуковского, были прочитаны авторами этих статей на Международных научных чтениях памяти В.Э. Вацура. К 80-летию со дня рождения в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, 28–30 октября 2015 г.

Первый выпуск сборника-спутника «Жуковский: Исследования и материалы» его инициатор, вдохновитель и главный редактор Александр Сергеевич Янушкевич начал словами: «В последние десятилетия наука о Жуковском переживает очевидный взлет. Появление многочисленных исследований о его жизни и творчестве, издание его произведений, выход семи томов Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского в 20 томах – все это позволяет гово-

речь о том, что жуковскоеведение стало терминологическим понятием и отраслью филологической науки».

Третьему выпуску можно предпослать сообщение о том, что в декабре 2016 г., когда предлагаемый сборник был уже составлен, издание первой серии «Сочинения» закончилось выходом в свет XI тома Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского в 20 томах (М.: Языки славянской культуры, 1999–2016. Т. 1–14. В 16 книгах). Таким образом, на сегодня мировая русистика располагает максимально полным комментированным изданием художественных, публицистических и документальных текстов великого русского поэта и мыслителя Василия Андреевича Жуковского. Нужно ли говорить, что главная заслуга в том, что библиотека отечественных научных изданий русских классиков пополнилась первым в истории XIX–XX вв. научным изданием сочинений Жуковского, принадлежит Александру Сергеевичу Янушкевичу – истинному подвижнику филологии, замечательному ученому, в наше нефилологическое время совершившему этим изданием настоящий «подвиг честного человека» (Пушкин об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина).

Жизнь Александра Сергеевича трагически оборвалась 26 ноября 2016 г. Но лучшим памятником ему навсегда останутся знакомые русистам всего мира и высоко ценимые ими черно-золотые тома Полного собрания сочинений Жуковского: оно будет продолжено изданием второй серии: «Письма», материалы для которой полностью собраны и частично подготовлены Александром Сергеевичем.

Этот третий выпуск периодического издания «Жуковский: Исследования и материалы» редакционная коллегия сборника научных трудов посвящает светлой памяти

Александра Сергеевича Янушкевича

I. СТАТЪИ



О.Е. Глаголева
(Университет Торонто, Канада)

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ: ПОМЕЩИКИ БУНИНЫ, ОТЕЦ И ДЕД В.А. ЖУКОВСКОГО

Несмотря на обилие публикаций последних лет о Жуковском¹, мы крайне мало знаем о его родителях и семье отца. Романтическая тайна окутывает не только жизнь матери Жуковского, пленной турчанки Сальхи, но и более прозаическую фигуру отца, Афанасия Ивановича Бунина, богатого белевского помещика, как обычно пишут про него исследователи. Опубликованный формулярный список А.И. Бунина² реконструирует лишь внешние черты биографии – даты продвижения по службе и получения рангов, не указывая даже, где проходила большая часть службы, т.е. оставляя в стороне важнейшие факты его жизни. Увы, имеющиеся на сегодняшний день документы не дают возможности реконструировать

¹ См.: *Глаголева О.Е.* Детство и юность В.А. Жуковского: уточнение фактов биографии поэта (по архивным материалам) // Жуковский и время: сб. ст. / ред. А.С. Янушкевич, И.А. Айзикова. Томск, 2007. С. 217–229; *Глаголева О.Е.* «Кто ж родные?»: Роль семьи Протасовых в жизни и творчества В.А. Жуковского и Н.М. Карамзина // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010. С. 126–148; *Glagoleva O.E.* Dream and Reality of Russian Provincial Young Ladies, 1700–1850. Pittsburgh, 2000. P. 36–61; *Глаголева О.Е., Фомин Н.К.* Незаконнорожденные дети в XVIII в.: Новые материалы о получении В.А. Жуковским дворянского статуса // Отечественная история. 2002. № 6. С. 163–175; *Виницкий И.* Семейные связи. Заметки о реальной основе биографического мифа Жуковского // Жуковский: Исследования и материалы / ред. А.С. Янушкевич. Вып. 2. Томск, 2013. С. 9–20; *Vinitzky I.* Vasily Zhukovsky's Romanticism and the Emotional History. Northwestern University Press studies in Russian literature and theory, 2015; *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. (В помощь учителю). Орел, 2006; *Жуковский В.А.* «Путь мой лежит по земле к прекрасной, возвышенной цели...»; «Жизнь и поэзия одно»; «Ты жил и будешь жить для всех времен!... / изд. подгот. Е.Ю. Филькина. М., 2008 и др.

² *Долгова С.Р., Кононова А.Ю.* Новые материалы о родине и предках поэта (по документам ЦГАДА) // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987. С. 345; *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 12.

полную биографию отца Жуковского, однако обнаруженные недавно материалы добавляют к ней новые факты и колоритные штрихи, позволяя увидеть за сухими строками официального формуляра живого человека, с его проблемами и слабостями, в обстоятельствах реальной жизни. Данные о семье отца Жуковского, его собственности и владениях предков, выявленные в большем, чем ранее, объеме, помогают воссоздать атмосферу, в которой рос и воспитывался поэт.

Афанасий Иванович Бунин родился 18 января 1727 г. и прожил 64 года, умер в июне 1791 г., не ранее 3 июня¹. К моменту появления на свет Жуковского родителей Афанасия Ивановича, Ивана Андреевича и Феодоры Богдановны, урожденной Римской-Корсаковой, уже не было в живых, и Жуковский, вспоминая детские годы, не упоминает о бабке и деде². О них мы знаем совсем немного, поэтому важно указать здесь на то, что стало известно из вновь выявленных архивных материалов.

Иван Андреевич Бунин (дед Жуковского) родился не позднее 1690 г., так как в 1718 г. уже служил поручиком драгунского полка³. В 1730 г. И.А. Бунин получил ранг капитана⁴, а в 1737 г. служил ка-

¹ Исследователи называют датами его рождения 1728, 1729 или даже 1716 гг. (*Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 11; *Vinitzky I. Vasily Zhukovsky's Romanticism.* P. 27). Последней дате (1716) противоречат даты представления А.И. Бунина на первый смотр «недорослей» (1737) и начала военной службы (1742), см. ниже. Уточненная дата рождения приведена на обследованном в 1897 г. надгробном камне: с южной стороны «Надворный советник Афанасий Иванович Бунин», а с северной стороны: «родился 1727 года января 18... (далее стерлись буквы, но, кажется, можно предположить: «а скончался ... года Июня...»)». В скобках приведены слова обследовавшего памятник священника Петра Сытина (*Глаголева О.Е.* Детство и юность В.А. Жуковского. С. 218). Дата смерти определяется по дате подписания А.И. Буниным завещания, 3 июня 1791 г. (ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 829. Л. 1).

² *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 1–14. М., 1999–2016. Т. 13: Дневники, письма-дневники, записные книжки 1804–1833. С. 32–33. *Примеч. ред.:* Здесь и далее во всех статьях и публикациях сборника тексты Жуковского, цитируемые по этому изданию, сопровождаются указанием тома – римской, страницы – арабской цифрой в скобках. Особые случаи цитации оговариваются обычным порядком.

³ *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 9–10.

⁴ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 7 об.

питаном в Олонецком драгунском полку¹, принявшем активное участие в Русско-турецкой войне 1735–1739 гг., в частности в Крымском походе. В начале 1740-х гг. Олонецкий полк, имея местом постоянной дислокации Нижний Новгород, исполнял обязанности полицейской и вообще государственной власти в губернии. Надо думать, И.А. Бунин участвовал в сражениях Русско-турецкой войны, а после нее получил отставку и был переведен на статскую службу. Во всяком случае, в 1744 г. мы видим его в ранге коллежского асессора в Белеве², где находились вотчины Буниных, в частности с. Мишенское Белевского уезда, главное место проживания семьи. Этот ранг Иван Андреевич имел и в 1749 г., а к 1754 г. получил ранг надворного советника, свой последний ранг³.

Семейное предание гласит, что Иван Андреевич был женат на Феодоре Богдановне Римской-Корсаковой, бывшей родом из Смоленска⁴. Исследователи считают, что Феодора Богдановна была дочерью генерал-майора, затем генерал-лейтенанта Богдана Семеновича Корсака (Римского-Корсакова) (1640–1721)⁵. Выделившись еще при царе Алексее Михайловиче, Богдан Корсак, генерал-майор рейтарских полков, участвовал в походах против поляков, крымского хана и Степана Разина. При Петре I Корсак принял активное участие в Северной войне, сформировал конный полк Смоленской шляхты (1700 г.), в 1704 г. во главе вспомогательного корпуса русской армии участвовал в битве у Якобштадта против шведско-литовской армии, а в 1707–1709 гг. его полк действовал в Польше,

¹ Долгова С.Р., Кононова А.Ю. Новые материалы о родине и предках поэта. С. 344.

² Соснер И.Ю. Белев в его прошлом и настоящем. М., 2005. С. 183.

³ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 5.

⁴ Елагина Е.И. Семейная хроника Протасовых. Машинопись. РГБ ОР. Ф. 99. К. 23. № 14. Л. 25–26; опубл.: *Воспоминания* Екатерины Ивановны Елагиной и Марии Васильевны Безр // Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.). Вып. 14. М., 2005. С. 289. (Новая серия) (далее ссылки на архивный документ). Власов ошибочно считает, что бабкой Жуковского была Авдотья Степановна, см.: *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 10, 15.

⁵ <http://www.rgfond.ru/rod/175654>.

Великом княжестве Литовском и на Украине¹. Богдан Семенович имел пять сыновей и, как считается, двух дочерей, Феодору и Кристину. Феодора Богдановна родилась, вероятно, около 1700 г. и, выйдя замуж за И.А. Бунина, родила ему дочь Анну и сына Афанасия. Как писала в воспоминаниях праправнучка И.А. Бунина,

<...> [о]б Иване Андреевиче и Феодоре Богдановне нет никаких семейных преданий; известно только то, что они были очень строги и, кажется, крутого нрава. По крайней мере слышала я, что однажды приехал к ним в Мишенское сын их Афанасий Иванович с молодой женой своей Марией Григорьевной и так были дурно приняты, что решились ночью уйти пешком в Белев и ночевали на постоялом дворе².

К 1744 г. Феодора Богдановна умерла, и Иван Андреевич женился второй раз. Его вторую жену звали Авдотья Степановна, и она была матерью Платониды, второй сестры Афанасия Ивановича³. К 1761 г. Иван Андреевич и Авдотья Степановна умерли⁴.

К 1744 г. относится эпизод, позволяющий немного судить о характере Ивана Андреевича и его поведении в кругу местного дворянства.

13 августа 1744 г. коллежский ассессор Иван Андреевич Бунин вместе с женой Авдотьей Степановной были в гостях у капитана Владимирского драгунского полка Н.Н. Вяземского, снимавшего квартиру в Белеве, где состоял при ревизии «мужского полу душ» города Белева (2-я ревизия). На званый обед к Вяземскому явились его сослуживцы по ревизии В.В. Бордуков и А.А. Вердеревский, а также белевский воевода Данила Семенович Шеншин с племянни-

¹ Архив генерал-фельдцейхмейстера Якова Вилимовича Брюса. Т. 1. 2004. С. 135.

² Елагина Е.И. Семейная хроника Протасовых. Л. 26.

³ Е.И. Елагина указывает, что Феодора Богдановна была матерью и Платониды, см.: Елагина Е.И. Семейная хроника Протасовых. Л. 25. Однако купчая 1761 г. о продаже «девицей» Платонидой «родному брату» Афанасию Ивановичу Бунину имений называет ее матерью Авдотью Степановну, см.: ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1.

⁴ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1.

ком и другие гости: камер-фурьер двора Ее Императорского Величества С.М. Нестеров с женой, вдова капитанша Д.Я. Киреевская и другие местные помещики. Увидев воеводу, Нестеров обратился к нему с вопросом о том, почему в канцелярии не производится его дело – тяжба с подполковником Воейковым, на что Шеншин ответил Нестерову, что тот должен сам явиться в канцелярию или прислать поверенного, тогда и дело будет продвигаться. После обеда с обильной выпивкой заиграла музыка, и белевские дворяне стали танцевать: как показывали некоторые свидетели, воевода Шеншин плясал «в присядку со свистом по-бурлацки, сняв с себя парик», настойчиво приглашая дам танцевать с собой, в том числе жену Нестерова. Не добившись результата, воевода начал ругать несговорчивых дам бранными словами, после чего часть гостей, в том числе Бунин, ушли из дома Вяземского и поехали в Спасско-Преображенский монастырь. Узнавший об этом Шеншин последовал за ними, где начал браниться с Буниным, называя его дураком. Бунин пытался уклониться от ссоры, вышел из кельи и сел в коляску, куда тут же ворвался воевода, вытолкнув из коляски Вяземского. Отъезжавшим гостям поднесли монастырского меду, и Нестеров, уговаривая воеводу выпить, облил им рубаху Шеншина, за что тот выбралил Нестерова, и между ними в дороге началась драка. Приехав в город, воевода выскочил из коляски и приказал своим людям бить в набат, отчего народ и канцелярские служители начали сбегаться на помощь воеводе. Бунин, вышедший из коляски ранее, не принял участия в драке, которая приобрела опасный характер, – по показаниям полицмейстера, прибывшего к месту событий, капитан Вердеревский, солдат Алябьев и люди Нестерова, обнажив палаши, били людей Шеншина и стреляли из ружья. Вердеревский же на следствии показал, что воевода лично его бил, призывая на помощь племянника, который шпагой «порубил» голову Вердеревского «в правый висок», а люди Шеншина «зашибли» ему правую руку дубиной и «покололи» ногу. Нестеров показал, что «Шеншин как всех разбил и разогнал, то велел еще собираться с дубьем и ружьем за городом Белевом», чтобы бить Нестерова, когда он поедет к себе в деревню. Сторонники Нестерова и Вердеревского были схвачены людьми воеводы и посажены в тюрьму, где их «забили в колоду», офицера в том числе, и продержали трое суток. Бунин показывал на следствии, что он не видел драки, «только слышал превеликий крик».

Следственное дело о воеводе Шеншине, заведенное по челобитью людей Нестерова, разбиралось в специальной комиссии, которая арестовала воеводу и его племянника прапорщика Полуехтова и доставила в Петербург, где дебоширы просидели под караулом три года. 18 марта 1747 г. последовал именной указ Елизаветы: Полуехтова освободить без штрафа и наказания, отправив к прежнему месту службы, а воеводу Шеншина за то, «что чинил непристойные поступки, в которых не только дамских персон обидел», но и «покушался многолюдством бить» Нестерова и «всех граждан чрез колокольный звон потревожил», следовало бы подвергнуть «немалому штрафу», но, вероятно, учитывая уже проведенные им три года в заключении, было указано определить к делам, «кроме воеводства»¹.

Иван Андреевич Бунин проявил завидную сдержанность в этих событиях. Вероятно, главным побудительным мотивом было нежелание ссориться с недавно назначенным воеводой, тем более что они были соседями – имение Шеншина в деревне Камарева (Комарева) Белевского уезда граничило с деревней Бунина Глубочки². Соседями были и другие участники данной истории – упомянутая Дарья Яковлевна Киреевская проживала в соседнем с Мишенским селе Долбино³; Сергей Михайлович Нестеров, из-за которого, собственно, разгорелась ссора, также был белевским помещиком и пенял воеводе на нерассмотрение его тяжбы с подполковником Василием Андреевичем Воейковым, еще одним давним соседом Буниных по имениям. Отношения с воеводой во многом определяли местную жизнь, и дружба или вражда воеводы к кому-то из местных помещиков могла

¹ РГАДА. Ф. 16. Оп. 7. Д. 633. Дело опубликовано в выдержках и пересказе в кн.: *Соснер И.Ю.* Белев в его прошлом и настоящем. С. 181–205.

² Планы генерального межевания Белевского уезда. URL <http://adelwiki.dhi-moskau.de/images/4/46/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.2.jpg>; «Ведомость, учиненная в Канторе Московского Государственного банка для дворянства, по силе полученного в ту Кантору сего 766 году, Февраля 21 дня из Правительствующаго Сената указа для припечатания в газетах, от кого имяны заимщиков, в которых годах, месяцах и числах недвижимые имения и в каких уездах сколько мужска полу и в какой сумме заложены, о том значит ниже сего.» // Московские ведомости. Прибавление к № 68 Московских ведомостей в пятницу августа 24 дня, 1767 года. Л. [БЗ об.].

³ *Соснер И.Ю.* Белев в его прошлом и настоящем. С. 197.

серьезно нарушить привычный ход вещей: как следовало из ситуации с Нестеровым, недружелюбное отношение воеводы могло надолго затормозить решение тяжбы и других дел, подведомственных местной власти. Ивану Андреевичу в тот момент благосклонность воеводы была необходима – ему предстояло оформить наследственную собственность предков в свое владение.

Иван Андреевич получил часть своих имений еще при жизни отца, стольника Андрея Романовича, который в 1731 г. разделил всю собственность пополам между двумя сыновьями, Иваном и Федором. Три года спустя, в 1734 г., бездетный брат Андрея Романовича Артемий, совместно со своей женой Анной Степановной, написал завещание, по которому наследниками после них должны были стать племянники, те же Иван и Федор. К 1744 г. не стало ни Андрея Романовича, ни его брата Артемия с женой, ни Федора, младшего брата Ивана Андреевича, и, за вычетом «указной» части вдове Федора, все имения были разделены поровну между Иваном Андреевичем и сыном Федора Михаилом¹. В частности, Иван Андреевич и Михаил с матерью получили пополам двор в Москве. Но оформление законного владения полученной собственностью Иваном Андреевичем еще не произошло.

Племянник Ивана Андреевича, Михаил, получивший половину наследственных имений, служил в лейб-гвардии Семеновском полку, сначала солдатом (в 1749 г.), затем подпоручиком (в 1754 г.). Неизвестно, что с ним случилось (огромные траты, с которыми была сопряжена служба в гвардии?), но в 1749 и 1754 гг. племянник продал дяде практически все полученные им по разделу имения – в селе Мишенском крестьян и землю, свои половины деревень Красной Слободки, Муратово тож и Прилепы Орловского уезда, половину села Покровское в Болховском уезде с землей, крестьянами, усадебными и дворовыми строениями, садами, лесными угодьями, покосами и т.д., кроме крестьян, переведенных им в другие его имения или проданных сторонним людям, а также полностью имение в деревне Кошеевой Карачевского уезда². В том же 1754 г. Иван Андреевич из купленного у племянника имения продал 12 четвертей земли с крестьянами в с. Мишенском жене Михаила, Анне Федоровне. Она, в

¹ ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 467. Л. 4–4 об.

² Там же; ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 5–5 об.

свою очередь, перепродала их соседям (М. Нероновой и Ф. Арбузову, в 1760 г.). В 1757 г. все наследство и покупки Ивана Андреевича были официально записаны за ним¹.

Иван Андреевич пытался заниматься в это время и предпринимательской деятельностью. В 1743 г. он вместе со своей невесткой, женой его брата Федора Дарьей Григорьевной, сдал землю на реке Исте, в их совместном имении в деревне Глубочки Белевского уезда, в аренду орловскому купцу Селиверсту Неручеву для постройки там плотины и чугунно-плавильного завода. Неручев обязался выплачивать им 120 руб. в год и построить через реку мост для проезда крестьян и прогона скота. Это начинание оказалось, к сожалению, не слишком успешным: хотя завод был построен, деньги за аренду земли перестали поступать уже в 1747 г., мост построен не был, а плотина через реку обветшала, что сделало опасным переход через нее и привело к гибели большого количества скота². Иван Андреевич не сумел расторгнуть договор с купцом, и проблема с заводом и арендованной землей перешла в наследство его сыну.

Как уже было сказано, у И.А. Бунина было трое детей: сын Афанасий и две дочери, Анна и Платонида. Имена теток не встречаются в дневниках Жуковского, но Анна и Платонида сыграли свою роль в процессе сосредоточения в руках Буниных большого богатства, поэтому также заслуживают здесь нескольких слов.

Старшая из сестер Анна была первым браком замужем за майором Семеном Давыдовым, умершим к 1767 г. Их сын, Дмитрий Семенович, и Анна Ивановна были совладельцами имения в сельце Кондратово Белевского уезда³, полученном ими, очевидно, после

¹ ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 467. Л. 5; ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 6.

² ГАТО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 1455. Л. 1–1 об., 4.

³ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1 об.; Описание города Белева и Белевского уезда со всеми лежащими в них дачами, в чьих они владениях, какое число муж<ского> полу душ и сколько мерою земель, со внесением экономических примечаний, 1792 г. // *Елагин Н.* Белевская вивлиофика. Собрание древних памятников Белева и Белевского уезда. Т. 2. М., 1858. С. 32–33. В родословной росписи дворян Давыдовых показан лишь один Семен, имевший сына Дмитрия – Семен Дмитриевич, имел сыновей Дмитрия, Владимира и Афанасия (см.: Российская родословная книга / изд. П. Долгорукова. Ч. 4. СПб., 1857. С. 431–432). Возможно, однако, что у Долгорукова показан Семен Дмитриевич Давыдов (1671 – после 1744), бригадир, участник Северной войны, воевода Псков-

смерти отца и мужа. У Анны Ивановны от первого брака была также дочь Елизавета Семеновна, бывшая замужем за Андреем Алексеевичем Елагиным¹. Кроме имения в сельце Кондратово, Анна Ивановна владела имением в селе Сныхово и санными покосами деревни Городня, совладельцами в которых с ней были К.И. и И.К. Давыдовы². Кондратово и Сныхово располагались по соседству с родовым имением Давыдовых, селом Давыдово, «вотчиной» предков³. В 1740–1770-х гг. одним из владельцев села Давыдово был подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Кирилл Иванович Давыдов, проживавший в отставке в родовой усадьбе⁴. К.И. Давыдов был одним из наиболее богатых и влиятельных помещиков Белевского уезда: в 1748 г. он имел 276 душ мужского пола в Белевском, Чернском, Казанском, Ливенском и Парфеньевском уездах⁵ и приумножил количество душ к концу своей жизни; дворянство Белевского уезда выбрало его своим первым предводителем в 1767 г.⁶ Имения К.И. Давыдова, села Давыдово и Сныхово в том числе, унаследовал его единственный сын Иван Кириллович Минчаков-Давыдов, личность также выдающаяся. Окончив Сухопутный кадетский корпус (в

ской провинции (1726–1731), товарищ казанского губернатора (1738), член следственных комиссий (см.: *Областные правители России, 1719–1739 гг.* / сост. М.В. Бабич, И.В. Бабич. М., 2008. С. 292), не могший быть мужем А.И. Буниной. Очевидно, ее мужем был один из Семенов Давыдовых, у которых в родословной росписи не показаны дети, либо вообще не вошедший в роспись.

¹ *Радин Михаил*. Давыдовы венежские и другие [Электронный ресурс]. URL: <http://www.veneva.ru/lib/davidov.html>

² РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1763; *Описание города Белева*. С. 29.

³ *Писцовая книга Белевского уезда 7138 г.* // Елагин Н. Белевская вивлиофика. Собрание древних памятников Белева и Белевского уезда. М., 1858. Т. 2. С. 200–202, 214; РГАДА. Ф. 460. Оп. 1. Д. 43. Л. 60.

⁴ Давыдов (Минчаков-Давыдов) Кирилл Иванович (ок. 1697 – до 1780), служил в лейб-гвардии Семеновском полку, сержант (1720), прапорщик (1735–1747), подпоручик (1747–1767), воевода в Верхососенске (1736–1739), затем управитель дворцовых волостей (1740–1747), в отставке с 1747 г. (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 236. Л. 349 об.; Д. 214. Ч. 2. Л. 588; Д. 253. Л. 100 об.; *Областные правители России, 1719 – 1739 гг.* / сост. М.В. Бабич, И.В. Бабич. М., 2008. С. 466).

⁵ РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 214. Ч. 2. Л. 588.

⁶ РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 109. Ч. 10. Л. 123. Опул.: Сборник Русского исторического общества. 1989. Т. 68. С. 617.

1741 г.), И.К. Минчаков-Давыдов служил в Конной гвардии, став в 1775 г. генерал-поручиком; при открытии Тульского наместничества в 1777 г. он был выбран первоначально предводителем дворянства Белевского уезда, а затем сразу же тульским губернским предводителем дворянства¹. Соседними усадьбами в большом селе Давыдово – в 1770 г. в нем числилось 188 душ мужского пола в собственности у троих владельцев – владели и другие Давыдовы, дальние родственники К.И. и И.К. Давыдовых – Андрей Михайлович и Денис Васильевич² (последний был дедом знаменитого поэта и участника войны 1812 г. Д.В. Давыдова³). Совместное с Давыдовыми владение именными и свойство, пусть и отдаленное, создавало почву для отношений между семьями Буниных и Давыдовых.

В конце 1760-х гг. Анна Ивановна вышла второй раз замуж, на сей раз за секунд-майора Андрея Васильевича Тарбеева. Эта партия выгодной для Анны Ивановны не была – Тарбеев не имел за собой

¹ Давыдов (Минчаков-Давыдов) Иван Кириллович (ок. 1723 – после 1781), окончил Сухопутный кадетский корпус (1737–1741), выпущен унтер-офицером в Конную гвардию, вахмистр, корнет (1749), подполковник ландмилиции (1758), произведен из секунд-ротмистров Конной гвардии полковником Новотроицкого кирасирского полка (1761–1766), служил в Главной межевой канцелярии, а затем был прокурором при военной коллегии; губернатор Белгородской губернии (1771–1775), генерал-майор (1772), генерал-поручик (1775); белевский уездный предводитель дворянства (1776–1777), тульский губернский предводитель дворянства (1777–1780), см.: *Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе Штаб-Обер-Офицерам и Кадетам с показанием кто из оных с какими достоинствами, с какими чинами выпущены и в каких чинах ныне. Часть 1. При Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе 1761 года. С. 171; Воинской календарь на 1766 год с приложением Генералитетских и Штабских списков. Напечатан в Санкт Петербурге при Государственной Военной Коллегии. [1766]. С. 32; Месяцеслов 1772. С. 173; 1773. С. 159; 1774. С. 185; 1775. С. 187; Губернский служебник, или Список генерал-губернаторам, правителям, поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и дворянским предводителям в 47 наместничествах (губерний) (1777–1796 г.). Составлен кн. Н. Туркестановым. СПб., 1869. С. 14; Давыдовы // Дворянские роды, прославившие Отечество: энциклопедия дворянских родов. Валерий Федорченко. Olma Media Group, 2003. С. 126.*

² РГАДА. Ф. 460. Оп. 1. Д. 43. Л. 60.

³ *Российская родословная книга* / изд. П. Долгорукова. Ч. 4. СПб., 1857. С. 432–433.

ни имений, ни крестьянских душ, хотя и происходил из дворян. Совместных детей у них также не было. А.В. Тарбеев прошел нелегкий путь военной службы, начав ее солдатом в 1748 г. и получив отставку в 1770 г. премьер-майором. За время службы Андрей Васильевич успел поучаствовать в двух войнах – Семилетней (1756–1762) и русско-турецкой (1768–1769), приняв участие во многих сражениях, в одном из которых получил ранение в левое колено (в августе 1759 г. под Франкфуртом). С 1779 г. А.В. Тарбеев служил городничим в Белеве, сменив на этом посту А.И. Бунина, а затем председателем губернского магистрата Калужского наместничества¹, вновь сменив брата своей жены. Вероятно, заключению этого брака способствовало близкое знакомство Бунина с Тарбеевым, которое могло произойти во время военной службы обоих.

Вторая сестра Афанасия Ивановича, Платонида, была намного его моложе, будучи дочерью от второго брака их отца Ивана Андреевича с Авдотьей Степановной. В 1761 г. она была еще «девицей», к 1770 г. вышла замуж за поручика Евграфа Вельяшева². Был ли чем-нибудь примечателен этот брак, мы не знаем. Вельяшев не был помещиком ни Белевского уезда, ни Тульской или Орловской губерний, его имя не встречается ни в одном из известных нам документов второй половины XVIII в., связанных с тульским и орловским регионами³. Не упоминает о нем и Жуковский в своих дневниках.

¹ Тарбеев Андрей Васильевич (ок. 1730 – после 1784), солдат (1748), ротный писарь (25.I.1750), фурьер (10.IV.1750), сержант (6.VII.1750), полковой адъютант (25.IV.1755), поручик (5.IX.1756), капитан (1.VII.1762), секунд-майор (1.VI.1769), в отставке с 1770 г. с рангом премьер-майора (1770–1784); городничий в Белеве (1779–1781), председатель Калужского губернского магистрата (1781–1784). ГАТО. Ф. 54. Оп. 10. Д. 204. Л. 16 об.–17; Месяцеслов 1779. С. 276; 1780. С. 278; 1781. С. 211; 1782. С. 174; 1783. С. 190; 1784. С. 176; 88–168 89–161 90–178 91–199 – с 1788 г. титулярный советник, казначей в Солигаличе Костромской губ., без отчества <http://rosgenea.ru/?poisk>

² ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1.

³ База данных проекта «Культура и быт русского дворянства в провинции XVIII в. (по материалам Московской, Орловской и тульской губерний)», науч. рук. О.Е. Глаголева, включает в себя более 10 тыс. страниц с информацией о дворянах трех регионов и их имениях; частично информация представлена на сайте проекта (<http://adelwiki.dhi-moskau.de>).

Первые сведения об отце Жуковского Афанасии Ивановиче относятся к 1737 г., когда И.А. Бунин представил его на смотр. По указу Петра I, дворянских «недорослей» в возрасте 8 лет необходимо было представить на первый смотр, где детей вносили в списки для будущей службы и отпускали домой для обучения. Законом от 31 декабря 1736 г. Анна Иоанновна уточнила, что воинская служба дворян должна начинаться в 20 лет и все «шляхетские дети» в возрасте от 7 до 20 лет обязаны «быть в науках»¹. Отец А.И. Бунина, Иван Андреевич, представил своего сына на смотр в 1737 г., объясняя в прошении в Герольдмейстерскую контору, что не привез Афанасия к смотру раньше, так как тот был болен. В этом прошении, датированном 25 января 1737 г., И.А. Бунин указал, что сыну его «от роду 8 лет»². Вероятно, отец, не сумев доставить сына вовремя на смотр, намеренно занизил его возраст на два года, дабы не получить нарекания от властей. В прошении Иван Андреевич также просил записать Афанасия в «Спасскую латинскую школу».

Спасской латинской школой или Спасскими школами стали называть с начала XVIII в. Московскую славяно-греко-латинскую академию, основанную в 1687 г. при Заиконоспасском монастыре в Москве. Петр I, испытывая острую нужду в образованных кадрах, пригласил в нее преподавателей из Киева и Львова, что сделало приоритетным изучение в академии латыни, откуда и появилось ее упрощенное название. При академии существовали подготовительные классы, куда записывали детей всякого звания, кроме крестьянских. Обучение длилось 12–15 лет и было направлено на изучение грамматики, латыни, современных европейских языков, религии, философии, истории, географии, математики и физики. Учащиеся изучали также право, как религиозное, так и светское, а в высших классах осваивали стихосложение, литературное сочинение и красноречие. При академии существовали библиотека, считавшаяся самой обширной и лучшей в России, и театр. Выпускники академии могли посвятить себя религиозной деятельности, но были востребо-

¹ ПСЗ – 1. 31 декабря 1736 г. № 7142. Манифест. О порядке приема в службу шляхетских детей и увольнении от оной. Т. 9. С. 1022.

² Прошение опубликовано в кн.: *Власова В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 11.

ваны и в качестве чиновников государственного аппарата, переводчиков, дипломатов, преподавателей и медиков.

Выбор И.А. Буниным для обучения сына Московской славяно-греко-латинской академии, всесословного учебного заведения, выпускавшего в первую очередь будущих священников, только на первый взгляд кажется странным – начиная с 1701 г., когда Петр утвердил его академический статус, до открытия в 1755 г. Московского университета, когда академия вернула себе специализацию высшего духовного учебного заведения, это было первое в России учебное заведение университетского типа, дававшее весьма прогрессивное по тем временам образование европейского образца¹. Из стен академии вышли выдающиеся деятели науки и культуры Л.Ф. Магницкий, А.Д. Кантемир, В.К. Третьяковский, С.П. Крашенинников и др., в 1731–1735 гг. в ней учился М.В. Ломоносов.

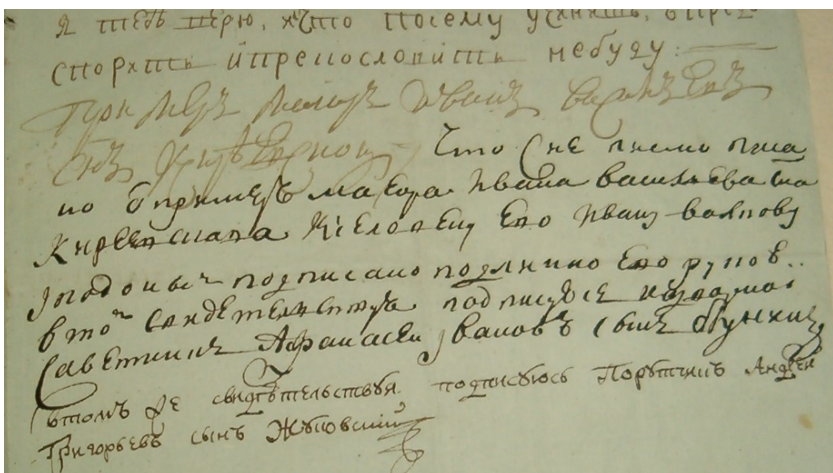
Спасская латинская школа располагалась в центре Москвы, на территории Заиконоспасского монастыря у стены Китай города. Иван Андреевич имел дом в Москве в приходе церкви Священномученика Власия Чудотворца, «что в Конюшках», от которого было недалеко до школы, прямо по Арбатской улице. Близкое расположение школы от дома Буниных могло позволить родителям навещать сына и иметь его под присмотром.

Впрочем, в конце 1730-х или начале 1740-х гг. Бунины в Москве не жили. Во время переписи строений и территорий г. Москвы в 1738–1742 гг. дворовое место с «хоромным строением» Ивана Андреевича Бунина пустовало. Граничащий с ним двор капитанши Дарьи Григорьевны Буниной (невестка И.А. Бунина) и ее малолетнего сына Михаила не пустовал, и их служитель показал, что Дарья Григорьевна владела этим двором по наследству от своего мужа Федора Андреевича, которому достались этот двор и дом совместно с его братом Иваном после смерти их отца, стольника Андрея Романовича Бунина. Двор был разделен пополам между братьями, причем старшему Ивану достался господский дом, а на дворе Дарьи Григорьевны «хоромного строения» не было².

¹ *Киселева М.С.* Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2001. С. 60–61.

² Переписная книга города Москвы, составлена в 1738–1742 годах. Т. 1. М., 1881. Ч. 2, № 41, 42. Стб. 522–524.

Мы не знаем, приняли ли Афанасия Бунина в Спасскую латинскую школу, но представляется, что оснований для отказа в этом быть не могло, школа принимала всех желающих. Более того, мы знаем, что Афанасий Иванович был человеком образованным, занимал немалые административные должности, требовавшие хорошего образования, которое он мог получить в Московской славяно-греко-латинской академии. Ясный и красивый почерк Бунина, сохранившийся им до конца жизни, выдавал в нем человека с образованием и вкусом.



Подписи на верующем письме И.В. Киреевского, 1789 г. Продленная «свидетельствующая» запись в центре документа темными чернилами сделана рукой А.И. Бунина; выше подпись И.В. Киреевского; ниже – А.Г. Жуковского (крестного отца В.А. Жуковского (ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 780. Л. 133)

В 15 лет дворянских недорослей требовалось представить на второй смотр, где проверялись их знания и производилось назначение в полки, после чего «недорослей» обычно отправляли доучиваться. В своем формулярном списке о службе А.И. Бунин показал, что в службу он «вступил из дворян в 1742 генваря 9-го солдатом». Весьма вероятно, что Афанасий Бунин продолжил обучение в Московской славяно-греко-латинской академии и после смотра, еще около пяти лет, указав в формулярном списке дату записи в полк, а

не начала действительной службы, что мы часто видим в формулярах XVIII в. Выпускники учебных заведений при переходе на действительную службу обычно получали первый офицерский ранг. Афанасий Бунин получил ранг прапорщика в 1747 г., что можно считать датой окончания академии (за это говорит также отсутствие в формулярном списке указаний на получение предыдущих рангов), а дальнейшее повышение не могло произойти без прохождения действительной службы: в 1748 г. Афанасий Бунин стал подпоручиком, в 1750 г. – поручиком, в 1755 г. – капитаном и в 1759 г. был отставлен от военной службы секунд-майором¹.

Считается, что Афанасий Иванович служил в Нарвском полку², по другим данным – в Рязанском пехотном полку, куда пытались записать в 1795 г. малолетнего В.А. Жуковского³. При сделке от 17 января 1760 г. А.И. Бунин назвал себя капитаном Смоленского полка⁴. Представляется, что тут нет противоречия – офицеров часто переводили из одного полка в другой, повышая в ранге. Смоленский полк был, несомненно, последним местом службы Бунина перед отставкой в 1759 г., документы на которую вместе с патентом на ранг секунд-майора к январю 1760 г. Бунин еще не получил, что было естественно, учитывая обстоятельства военного времени.

Смоленский полк принял активное участие в Семилетней войне. Летом 1757 г. русская армия начала поход в Восточную Пруссию, и 11 января 1758 г. Смоленский полк под командованием полковника Дебрилли вступил в Кенигсберг. В начале августа русская армия двинулась в сторону Бранденбурга, и Смоленский полк 4 августа

¹ Долгова С.Р., Кононова А.Ю. Новые материалы о родине и предках поэта. С. 345.

² Большая школьная энциклопедия, Т. 2. Гуманитарные науки. М., 2003. С. 242. URL: [https://books.google.ca/books?id=sk8x VU_8fZIC&pg=PA3&dq=%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&f=false

³ Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Незаконнорожденные дети в XVIII в. С. 168.

⁴ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 6 об.

принял участие в осаде и «бомбардировании» Кюстрина, важнейшей крепости на пути к Берлину. 14 августа произошло кровопролитнейшее сражение у деревни Цорндорф, в котором принял участие и Смоленский полк, находившийся на правом фланге русских войск. По приказанию главнокомандующего русской армией графа В. Фермора конница Смоленского полка выдвинулась вперед пехоты и стремительным ударом разгромила и обратила в бегство авангард прусской армии под командованием генерала Мантейфеля, прорвав линию обороны прусских войск. Фридрих приказал частям генерала Зейдлица ударить в тыл ушедшим слишком далеко русским, принудив пехоту Смоленского полка отражать натиск прусской конницы с огромными для себя потерями¹. Современники и историки отмечали необычайную стойкость русских солдат и офицеров в этом сражении, называя сражение при Цорндорфе одним из самых кровопролитных сражений XVIII–XIX вв. По оценкам историков, русская армия потеряла в нем до половины своего личного состава².

В сражении при Цорндорфе из 1104 «нижних чинов» (солдат, капралов, сержантов и т.п.) и 40 офицеров Смоленского полка были убиты 260 нижних чинов и 5 офицеров, 330 нижних чинов и 11 офицеров были тяжело ранены и 24 представителя нижних чинов и 8 офицеров получили легкие ранения. Таким образом, Смоленский полк потерял убитыми и ранеными более половины своего состава – 614 «нижних чинов» и 24 офицера. После Цорндорфа полк двинулся в сторону Кенигсберга, где пробыл с ноября 1758 до марта 1759 г., отойдя к декабрю 1759 г. на зимние квартиры в Померанию³.

Афанасий Иванович Бунин, будучи капитаном с 1755 г. и служа в Смоленском полку, должен был принять участие в сражении при Цорндорфе. Вероятно, он оказался среди тех офицеров, кто был ранен, и потому получил отставку в 1759 г.

¹ *Максутов В.П.* История 25-го Смоленского генерала Раевского пехотного полка за два века существования (1700–1900). СПб., 1901. С. 411–413.

² *Анисимов Е.В.* Россия в середине XVIII в. Борьба за наследие Петра. М., 1986. С. 119.

³ *Максутов В.П.* История 25-го Смоленского генерала Раевского пехотного полка... С. 413.

Семейное предание Буниных сохранило память о том, что А.И. Бунин был близким другом Григория Орлова¹. Эта дружба могла возникнуть во время военной службы Бунина. Г.Г. Орлов (1734–1783), служивший в одном из армейских полков поручиком, отличился в битве при Цорндорфе: будучи трижды ранен, он не покинул поля боя, чем привлек к себе внимание командования. В том же бою был захвачен в плен адъютант прусского короля граф Шверин, которого отправили в Кенигсберг в сопровождении Орлова и его двоюродного брата А. Зиновьева². Последним был, по всей видимости, Александр Николаевич Зиновьев, один из пяти сыновей генерал-майора и обер-коменданта Санкт-Петербурга (1764–1773) Николая Ивановича Зиновьева (1717–1779)³. Родная сестра Николая Ивановича Лукерья была матерью Григория Орлова и его братьев. Попав в Петербург вместе с Орловым, А.Н. Зиновьев сделал блестящую карьеру при дворе Екатерины II: 24 ноября 1764 г. он был произведен в камер-юнкеры, в 1770 г. стал действительным камергером и затем генерал-лейтенантом⁴.

Пребывание Орлова и Зиновьева в Кенигсберге, по свидетельству находившегося там же А.Т. Болотова, сделало их душой общества, состоявшего из находившихся в городе офицеров русской армии. Рослые красавцы и весельчаки, Орлов и Зиновьев были желанными гостями многочисленных балов и маскарадов, они также пытались

¹ Елагина Е.И. Семейная хроника Протасовых. Л. 28.

² Полушкин Л.П. Братья Орловы. Легенда и быль М., 2003. С. 13, 18.

³ Пирютко Юрий, Кобак Александр. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. СПб.: Изд-во Чернышева, 1993: <https://books.google.ca/books?id=G6EU Y6nXBKoC&pg=PT551&dq=%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%9E% D0% 92% D0% AC%D0%95%D0%92+%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90% D0%99+%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0% A7&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwimhaKb6PzKAhUJ5yYKHS04B10Q6AEIOjAE#v=onepage&q=%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95% D0%92%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%20 %D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&f=false>). Предположение, что это был Александр Зиновьев, основано на том, что именно он сделал быструю и выдающуюся карьеру при дворе.

⁴ Адрес-календарь 1765. С. 6; Волков Н.Е. Двор русских императоров в его прошлом и настоящем: в 4 ч. М.: ГПИБ, 2001. С. 180.

устроить в городе театр. Орлов завязал в Кенигсберге тесные отношения с масонами и вступил там в одну из лож¹.

Если А.И. Бунин не знал Орлова во время прусского похода и битвы при Цорндорфе, он не мог не заметить его в Кенигсберге, где, как уже говорилось, Смоленский полк находился одновременно с пребыванием там Орлова и Зиновьева. Вероятно, в Кенигсберге и возникла дружба Орлова и Бунина, чему мог способствовать Зиновьев. Семьи Бунина и Зиновьева издавна были соседями по орловским имениям. Вотчина Афанасия Ивановича село Покровское Бунино тож Болховского уезда располагалась по соседству с селом Введенским Ждимира тож – усадьбой Николая Ивановича Зиновьева². В Спасской латинской школе в 1738–1742 гг., т.е. в те же годы, когда там должен был учиться Афанасий Бунин, обучался родственник Николая Ивановича Федор Васильевич Зиновьев, проживавший со своим братом, «недорослем» Матвеем, в собственном доме неподалеку от дома Буниных в Москве³. Дружба с Орловым и Зиновьевым неоднократно играла важную роль в судьбе Афанасия Ивановича.

¹ *Болотов А.Т.* Жизнь и приключения. Т. 1. С. 840–846, 873, 879–881; Т. 2. С. 214–222.

² ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 3. Л. 359; Д. 27. Л. 577 об.; Д. 102. Л. 893–910 об.; *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 6. В 1787 г. Александр Николаевич Зиновьев, унаследовавший свою часть имений после отца, подал в Дешкинский уездный суд на А.И. Бунина «жалобу в сильном завладении [Буниным] земли состоящей в Орловском уезде в Неполоцком стану, что ныне Дешкинской округи в урочищах на речке Щучье пашни пахотных двадцать четвертей». Пахотные земли располагались в непосредственной близости к имениям обоих помещиков, селам Покровскому и Введенскому. Бунин предоставил суду документы на владение землей, и А.Н. Зиновьев признал «свою неправоту», так как предки Бунина владели пахотной землей раньше его предков. См.: ГАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 380. Л. 1–11 об. В.А. Жуковский встречался в октябре 1739 г. в с. Муратово Болховского уезда (имение, полученное по наследству от А.И. Бунина его дочерью Е.А. Протасовой) с Зиновьевыми, мужем и женой, возможно, это был один из многочисленных детей младшего брата А.Н. Зиновьева Василия Николаевича, имевшего 9 сыновей, унаследовавший болховские имения отца и деда (см.: *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2016. Т. 14. С. 187).

³ *Переписная книга города Москвы*, составлена в 1738–1742 годах. М., 1881. Ч. 2, № 320. Стб. 335–336.

Получив отставку от военной службы в 1759 г., А.И. Бунин отправился в родные края, в село Мишенское. К этому моменту он был уже женат и имел по крайней мере двух дочерей, а возможно и сына¹. Если верить приведенному выше свидетельству Е.И. Елагиной, Афанасий Иванович женился на Марье Григорьевне Безобразовой (ок. 1728–1811) еще при жизни своей матери, т.е. не позднее 1744 г. Данное свидетельство, однако, плохо сочетается с датами рождения молодоженов: в 1744 г. А.И. Бунину было всего 17 лет, а его невесте и того меньше. Более реальным представляется, что их брак был заключен около 1750 г., что больше соответствовало их возрасту и дате рождения их старшей дочери. В таком случае плохой прием молодоженам был оказан не матерью Афанасия Феодорой Богдановной, а второй женой Ивана Андреевича, Авдотьей Степановной. Очевидно, что мемуарное свидетельство Е.И. Елагиной относительно ее прапрадеда и его жены, как и многие другие свидетельства, составлявшие семейное предание, содержало неточную информацию.

Вернувшись в родовое имение в конце 1759 или в самом начале 1760 г., А.И. Бунин сразу же занялся хозяйством, стараясь приумножить свою собственность. Важнейшей задачей Бунина было сосредоточение в своих руках всех земель села Мишенского. В 1760 и 1761 гг. он выкупил у своего двоюродного брата Михаила Федоровича остаток его наследственной части в Мишенском после их общего деда – землю и крестьян; в 1760 г. также выкупил за 800 руб.

¹ Из одиннадцати родившихся у Буниных детей выжили четыре дочери и один сын: Авдотья (1754 – после 1807), в первом браке Крюкова, во втором Алымова; Иван (ок. 1755–1781); Наталья (1756–1789), в замужестве Вельяминова; Варвара (1768–1797), в замужестве Юшкова; Екатерина (1770–1848), в замужестве Протасова; возможно, до них были и другие дети, умершие в младенчестве (см.: ГАТО. Ф. 51. Оп. 4. Д. 2643. Л. 1–2; *Glagoleva Olga E. Dream and Reality*. P. 36–41; *Виницкий И.Ю.* Семейные связи. С. 13). Виницкий указывает, что Иван родился в 1756 г. (а не в 1761, как ранее считалось), так как согласно списку учащихся Галльского педагогического училища 1770 г. Ивану 14 лет, и предлагает считать годом его рождения 1756 г. (*Виницкий И.Ю.* Семейные связи. С. 13). Однако в 1756 г. родилась дочь А.И. Бунина Наталья, и семейное предание не сохранило сведений о том, что Наталья и Иван были близнецами. Более вероятно, что либо Иван родился в 1755 г., либо его возраст в списке учеников завышен.

все земли и крестьян у своего соседа по имени Ф.Н. Арбузова. В 1763 г. Бунин выкупил землю и крестьян, проданных женой Михаила соседям¹, получив таким образом все земли и крестьян в родовом имении в собственность своей семьи. К 1761 г. умер Иван Андреевич, и Афанасий Иванович, прежде чем подавать документы на утверждение за собой своей части отцовского наследства, обратился к собственности, доставшейся его сестрам: в 1761 г. он купил все имение своей сводной сестры Платониды, тогда девицы, доставшееся ей после ее матери Авдотьи Степановны, а также после их отца «на указную часть», и купленное ею имение – землю с крестьянами и дворовыми, хлебом стоячим и молоченым и так далее «все без остатку» за 50 руб.² Данная «продажа» – мы знаем, что подобные сделки внутри семьи нередко совершались лишь на бумаге³, – составляла Платониду без приданого. Впрочем, распространенной практикой было выделение в качестве приданого дочери или сестре денежной суммы, что могло произойти и с Платонидой. Во всяком случае, продажа имений брату не помешала ей выйти замуж за Е. Вельяшева. В 1767 г. Афанасий Иванович совершил еще одну внутрисемейную сделку – его родная сестра Анна, к тому времени вдова Семена Давыдова, продала Афанасию Ивановичу за 30 руб. все имение, вероятно, в Белевском уезде, доставшееся ей на указную часть от матери и отца. В 1770 г. Платонида, тогда уже жена поручика Евграфа Вельяшева, учинила с братом Афанасием «домовой раздел» оставшихся после ее матери и отца имений «в Орловском и других городах», «по записи писанной в Московской крепостной канторе под неустойкою пяти сот рублей»⁴.

В деятельности Бунина по сделкам внутри семьи проявился важный момент – стремление не допустить раздробления имений предков и желание сосредоточить их в своих руках. Дробление имений в результате наследования создавало заметное напряжение внутри семей и нередко приводило к обнищанию дворянских родов. Введение законом 1753 г. права на отдельную от мужа собственность жены усугубляло проблему дробления родовой собственности, и Бу-

¹ ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 467. Л. 5 об.; ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 6–7.

² ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1–1 об.

³ Подробнее см.: Глаголева О.Е. «Кто ж родные?». С. 135.

⁴ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1 об.

нин, выкупая имения у своих сестер, тем самым аккумулировал их в руках главы рода, стремясь сохранить традиционную передачу собственности от отца к сыну. Мы можем наблюдать подобное стремление не допустить дробления родовой собственности у некоторой части дворян, в первую очередь представителей аристократических семей¹, однако некоторые провинциальные дворяне также пытались следовать данной практике². Увы, надеждам Бунина на передачу родовых имений сыну не суждено было сбыться – как известно, Иван умер в 1781 г. в возрасте чуть больше двадцати лет.

В 1760–1770-е гг. Бунин также активно стремится расширить свои владения. В 1769 г. он обратился в Межевую канцелярию с просьбой продать ему пустовавшие земли, располагавшиеся вокруг с. Мишенского, – пустоши Ушаковскую и Голубцовскую, в количестве 32 четвертей земли, которые и получил в том же году³. Три года спустя, в 1772 г., А.И. Бунин вновь обратился в Межевую канцелярию, на сей раз с просьбой о выкупе земель из Федяшевской засеки, соприкасавшихся с другими родовыми имениями в Белевском уезде – деревней Глубочки и селом Фурсово. Межевая канцелярия удовлетворила просьбу и продала Бунину 125 десятин земли засеки за 125 руб.⁴

Челобитную в Вотчинную коллегия с просьбой записать за ним унаследованные после отца и купленные им самим имения Афанасий Иванович подал в 1768 г.⁵ Простое, казалось бы, процедурное дело натолкнулось на неожиданное препятствие – запрещение Сената на имения стремянного конюха Ивана Бунина (без отчества) от 1739 г. А.И. Бунин сумел доказать, что это запрещение не касалось его отца, так как тот еще в 1730 г. был капитаном и дошел чинами до надворного советника; более того, Ивану Адреевичу в 1757 г. были даны документы на все его имения, что не могло случиться, если

¹ Черников С.В. Власть и собственность. Особенности мобилизации земельных владений в Московском уезде в первой половине XVIII в. // *Cahiers du Monde russe*, 53/1, Janvier – mars 2012. P. 163.

² Глаголева О.Е. Кто ж родные? С. 135–146.

³ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 7, 11 об.

⁴ Там же. Ф. 54. Оп. 2. Д. 1455. Л. 16.

⁵ Там же. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 1; ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 467. Л. 1.

бы запрещение касалось его¹. Тем не менее разрешение из Вотчинной коллегии на запись за Афанасием Ивановичем всех имений, в том числе купленных им после 1768 г., пришло лишь в 1783 г., и по нему было велено записать за ним имения в Белевском, Болховском, Карачевском и Орловском уездах, всего 1694 четверти 4 четверика земли «со всеми угодьи с людьми и со крестьяны»². В Белевском уезде самые крупные земельные владения были не в усадебном селе Мишенском (там было 124 четверти 4 четверика), а в деревне «Глубочке на речке на Глубочке» (286 четвертей); также большое количество земли имел Афанасий Иванович в селе Фурсове (более 78 четвертей) и относительно небольшое в деревне Рязанцевой (14 четвертей)³. Из крестьян в 1778 г. за Афанасием Ивановичем Буниным значилось в селе Мишенском 86 душ мужского пола, в деревне Глубочка (Глубочки) с пустошью 191 душа мужского пола и в селе Фурсове 24 души мужского пола (в последнем – совместно «с прочими» владельцами, которые, однако, могли иметь там только земельные владения)⁴. Наиболее обширными и богатыми были, однако, не белевские, а болховские имения Бунина: в селе Покровском Бунино тож Болховского уезда в 1763 г. насчитывалось 154 души мужского пола и 173 женского пола; в 1782 г. за Буниным там было уже 207 душ мужского пола и 169 женского пола; в деревне Новые Прилепы – в 1763 г. 104 души мужского пола и 103 женского пола; в 1782 г. – 152 души мужского пола и 102 женского пола; в деревне Красная Слободка Муратово тож – в 1763 г. было 112 душ мужского пола и 103 души женского пола, в 1782 г. – 119 мужского пола и 103 женского пола⁵. Кроме того, в Орловском уезде в деревне Прилепы за отцом Афанасия Ивановича по 3-й ревизии числилось 187 душ мужского пола⁶, которых он также унаследовал. Таким об-

¹ ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 7 об.; *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 17.

² ГАТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 1. Л. 10.

³ Там же. Л. 11 об.–12.

⁴ РГАДА. Ф. 1354. Оп. 536. Ч. 1. Л. 18. http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0021.jpg; Л. 6. http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0009.jpg; Л. 40. http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0043.jpg.

⁵ ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 102. Л. 893–910 об.; Л. 511–526 об.; Д. 100. Л. 779–792 об.

⁶ РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 92.

разом, к моменту рождения Жуковского его отец владел почти тысячей душ мужского пола в разных уездах и почти тысячей гектаров земли. Как мы увидим ниже, огромные богатства создавали особое отношение к Бунину в местном дворянском сообществе, что не могло не влиять на атмосферу в семье.

В период активного приобретения земель Афанасием Ивановичем в его жизни случилось происшествие, на которое исследователи до сих пор не обращали должного внимания. Именным указом от 12 мая 1763 г. А.И. Бунин был назначен ассессором во вновь учреждающуюся Коллегию экономии¹. Коллегия экономии создавалась для управления доходами с церковных имений, в первую очередь для сбора налогов, в преддверии указа Екатерины II о секуляризации монастырских земель (26 февр. 1764 г.). Президентом Коллегии назначался князь Борис Куракин, вице-президентом Матвей Дмитриев-Мамонов, прокурором Михаил Зыбин, а членами коллегии: коллежскими ассессорами – надворный советник Андрей Зиновьев и премьер-майор Алексей Барькин² и ассессорами – Александр Брянчанинов и секунд-майор Афанасий Бунин. В результате указа о секуляризации монастырских земель большое количество монастырей упразднилось, все церковные вотчины – более 8,5 миллиона десятин земли и 911 тысяч крестьян – передавались из духовного ведомства в Коллегию экономии, на которую возлагалась огромная задача налаживания новой фискальной системы. Понятно, что генерал-поручик и гофмейстер князь Б.А. Куракин вряд ли активно занимался делами новой коллегии; основная ответственность за успех ее деятельности ложилась на вице-президента, полковника Матвея Васильевича Дмитриева-Мамонова³, и четырех ассессоров. Каким обра-

¹ ПСЗ. Т. 16. С. 246–247. № 11814.

² Так в указе; в Адрес-календаре указан Барьков Алексей Лаврентьевич. Адрес-календарь 1765. С. 61.

³ Дмитриев-Мамонов Матвей Васильевич (1724–1810), сын адмирала, командовавшего Черноморским флотом, и директора Московской адмиралтейской конторы (с 1729) Василия Афанасьевича Дмитриева-Мамонова (ум. в 1739); сержант лейб-гвардии Семеновского полка (1748), полковник (1762), присутствующий Дворцовой канцелярии (1762), вице-президент Коллегии экономии (1763–1766), бригадир (1767), действительный статский советник (1775), правитель Смоленского наместничества (1775–1778), тайный советник, сенатор (1787), действительный тайный советник (1797), Главный директор Межевой

зом в их число попал провинциальный секунд-майор Афанасий Бунин, назначенный туда специальным именным указом императрицы?

Истинные причины такого внимания со стороны высшей власти к Бунину нам неизвестны, однако представляется закономерным предположить, что здесь сказалось знакомство Бунина с Григорием Орловым, находившимся в тот момент в расцвете своего «фавора» у Екатерины, и Александром Зиновьевым, также бывшим при дворе. К такому выводу подталкивает и наличие среди четырех членов коллегии дальнего родственника А.Н. Зиновьева Андрея Степановича Зиновьева¹. Еще одним знакомым Бунина, который мог посодействовать его включению в число членов Коллегии экономии, был назначенный туда же прокурором Михаил Александрович Зыбин²,

канцелярии (1797), см.: Газета XVIII века «Санкт-Петербургские ведомости». Указатели к содержанию (1761–1775 гг.). 1762-04-05; 1764-04-30; 1775-12-11 [Электронный ресурс]. URL: <http://ved.infotec.ru/?r=101&id=25476&f=2>; Адрес-календарь 1765. С. 61; 1766. С. 90; ГАТО. Ф. 291. Оп. 18/62. Д. 377. Л. 64–64 об.; Полное собрание законов, № 17940. 20 апреля 1797 г. Т. 24. С. 596; в биографиях М.В. Дмитриева-Мамонова неверно указывается, что он до 1787 г. жил в провинции и был обязан своим возвышением «случаю» его сына Александра, ставшего в 1787 г. фаворитом Екатерины (см., напр.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дмитриев-Мамонов,_Матвей_Васильевич).

¹ Зиновьев Андрей Степанович был опытным чиновником – начав службу в 1722 г. в лейб-гвардии Семеновском полку, он уже в 1735 г. был отставлен от военной службы и переведен коллежским асессором к статской, получив в 1749 г. ранг надворного советника; отставлен от службы по прошению в 1766 г. статским советником; богатый помещик, имел по 3-й ревизии более 2 тыс. душ мужского пола в Орловском, Брянском, Кромском и Московском уездах; см.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 537. Л. 240–242, 266–271; 248, 274–284; Черников С.В. Дворянские имения Центрально-Черноземного региона России. Рязань, 2003. С. 226.

² Зыбин Михаил Александрович, прокурор Коллегии экономии (1763–1766), депутат Уложенной комиссии 1767–1774 гг., бригадир (1768), обер-полицмейстер в Главной полиции в Санкт-Петербурге (1767–1778); владел каменным домом в Москве на Мясницкой улице и дачей в Петербурге на Петергофской дороге; помещик Белевского и Дмитровского уездов; см.: Адрес-календарь 1765. С. 61; 1766. С. 90; 1767. С. 108; Газета XVIII века «Санкт-Петербургские ведомости». Указатели к содержанию (1761–1775 гг.). 1768-04-29; 1771-03-04; 1774-09-12; 1775-03-13 [Электронный ресурс]. URL: <http://ved.infotec.ru/?r=101&id=30756&f=2>; Месяцеслов 1772. С. 130, 1773.

сосед Бунина по белевским имениям. Родовые имения Зыбина в селах Железница, Дертихино и сельце Журино располагались по соседству с имениями Бунина в Глубочках и Фурсово, на той же реке Исте¹; Бунин и Зыбин сохраняли дружеские отношения и после окончания службы обоих в Коллегии экономии².

Кто бы ни оказал А.И. Бунину протекцию с назначением в Коллегию экономии, это было бы невозможно, не будь Бунин хорошо образованным и знающим человеком, особенно учитывая столь небольшое количество назначенных членов коллегии и серьезные задачи, стоявшие перед ними. Этим обстоятельством подтверждается наше мнение, что Афанасий Иванович прошел длительное обучение в Московской славяно-греко-латинской академии и получил серьезное образование. Служба в Коллегии экономии открывала перед Буниным возможность не только упрочить старые связи и завязать новые, но и улучшить свое имущественное положение. Значительное увеличение – почти на 30% – числа крепостных «душ» во владении Бунина в Болховском уезде к моменту 4-й ревизии (1782 г.) по сравнению со временем 3-й ревизии (1763 г.) – несмотря на выдачу замуж двух сестер и двух дочерей с приданным, говорит о прочном финансовом положении Бунина в эти годы.

А.И. Бунин недолго прослужил в Коллегии экономии – 6 июля 1764 г. по указу Сената он был назначен воеводским товарищем Калужской провинции, служил там и в следующем году, но 17 февраля 1766 г. был отставлен «на свое пропитание» с награждением чином коллежского советника³. В течение последующих двенадцати лет он

С. 120; 1774. С. 137; 1775. С. 138; 1776. С. 156; 1777. С. 171; 1778. С. 170; РГАДА. Ф. 239. Оп. 1. Ч. 4. Д. 10819. Л. 98; Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1763. Л. 9 об. – 10; *Холмогоров В., Холмогоров Г.* Исторические материалы о церквях и селах XVI–XVIII вв. Т. 11. Дмитровская десятина. М., 1913. С. 160.

¹ *Писцовая книга Белевского уезда 7138 года // Елагин Н.* Белевская вивлиофика, издаваемая Н. Елагиным. Собрание древних памятников Белева и Белевского уезда. Т. 1–2. М., 1858. Т. 1. С. 157–165.

² М.А. Зыбин прикладывает руку свидетелем при сделке А.И. Бунина и губернского секретаря Н.Я. Ададунова 18 мая 1782 г. (ГАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 60. Л. 7 об.).

³ Газета XVIII века «Санкт-Петербургские ведомости». Указатели к содержанию (1761–1775 гг.). 1764–07-06 [Электронный ресурс]. URL:

проживал в своей усадьбе Мишенское, расположенной в трех верстах от Белева. Вернувшись со службы в Москве и имея связи в обеих столицах, Бунин чувствовал себя весьма уверенно среди своих соседей и знакомых. Это особенным образом проявилось в отношениях с назначенным в 1765 г. в Белев воеводой Смоленской шляхты полковником Николаем Федоровичем Кашталинским¹.

Новый воевода был человеком пришлым, не имел ни имений, ни связей в Белевском уезде, но с момента назначения стал ревностно исполнять свои обязанности, «не стыдяся лица сильных», чем раздосадовал некоторых местных помещиков. В частности, Кашталинский обнаружил серьезные нарушения закона со стороны А.И. Бунина: завел, например, следствие по факту избиения поручика С.В. Желябужского в доме Бунина; обнаружил, что некоторые крестьяне, показанные Буниным по 3-й ревизии мертвыми, на самом деле были живы и участвовали в разбойных нападениях, а помещик не только уклонился от платежа податей за них, но и покрывал их безобразия. Бунин, со своей стороны, пытался объяснить Кашталинскому, что «ежели де благополучно желаете жить, то де надобно снисходительнее поступать», а затем перешел к прямым угрозам в адрес воеводы, сопровождаемым непристойной бранью. Но воевода

<http://ved.infotec.ru/?r=101&id=10536&f=2>; *Адрес-календарь* 1765. С. 88; 1766. С. 121.

¹ Кашталинский Николай Федорович (род. ок. 1723), закончил Сухопутный шляхетский корпус (1738–1747), выпущен в армию прапорщиком, отставлен от военной службы в 1761 г. с переводом к статским делам и рангом коллежского асессора, уездный воевода в Белеве (1765–1767), по другим данным в те же годы полковник Смоленской шляхты, прокурор Канцелярии конфискации в Москве (1775–1777), см.: *Имянной список* всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе Штаб-Обер-Офицерам и Кадетам с показанием кто из оных с какими достоинствами, с какими чинами выпущены и в каких чинах ныне. Часть 1. При Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе 1761 года. С. 194–195; *Адрес-календарь* 1765. С. 103; 1766. С. 137; 1767. С. 149; *Список*, находящимся у статских дел господам сенаторам, обер-прокурорам и всем присутствующим в коллегиях, канцеляриях, конторах, губерниях, провинциях и городах, тако ж прокурорам, обер-секретарям, эскуоторам и секретарям с показанием каждого вступления в службу и в настоящий чин. 1765 г. СПб., 1765. С. 158; 1766. С. 158; *Месяцеслов*. 1775. С. 137; 1777. С. 170.

не внял ни увещаниям, ни угрозам, что привело к трагическому повороту событий.

22 сентября 1766 г., в день коронации Екатерины, полковник стоявшего в Белеве Воронежского пехотного полка П.М. Олсуфьев устроил в своем доме торжественный прием, на который пригласил все местное общество, воеводу в том числе. Воевода, зная враждебность к нему со стороны некоторых дворян, отказывался идти, но полковник уверил воеводу, что берет его под свою протекцию. После обеда Кашталинский пытался удалиться «по-английски», однако полковник приказал поставить на дверях дома часовых и никого не выпускать. Он зазвал воеводу в отдельную комнату, где их ждали Бунин, отставной полковник А.М. Рахманов, премьер-майор И.В. Киреевский и другие недовольные воеводой помещики, и начал было уговаривать воеводу помириться с Буниным, но затем быстро удалился, оставив Кашталинского одного с его неприятелями. В комнату внезапно вошел капитан Воронежского полка Карл Муфель, но, поняв напряженную обстановку, также удалился. Как позже писал белевский воевода в поданной в Белгородскую губернскую канцелярию челобитной, в общей зале полковник приказал бить в барабаны и под барабанную дробь Бунин и другие принялись бить его «по лицу, по груди, по голове и по бокам кулачем немилостиво». Кашталинский хоть и кричал «караул!», но из-за барабанного боя никто его криков не слышал. Прибывшие вместе с воеводой солдаты пытались ворваться в комнату, но их не пустили. Некоторые из гостей, в том числе подпоручик Архангелогородского полка Петр Николаевич Юшков, начали требовать от Олсуфьева, чтобы он прекратил происходившее в соседней комнате. Когда же полковник в сопровождении многочисленных гостей вошел наконец в ту комнату, где происходило избиение, «Рахманов публично при всех в том зале бывших ударил меня [Кашталинского] в грудь и давил за горло, а он, Киреевской, по лицу, и били меня разными образы, а какими, того от оных ударов и давления за горло упамятовать не могу». Никто из присутствовавших за Кашталинского не заступился. Воевода бросился к полковнику, ища защиты, и тот повел Кашталинского за руку на крыльцо, говоря, чтоб он ехал домой, но «в последней горнице бил меня в спину и третьей помянутой Бунин при всяком моем безмолвии пинками». После отъезда Кашталинского все вернулись в зал и продолжали веселиться, браня воеводу и со-

жалая, что «более не били» его. Кашталинский от этих побоев еще долго находился «в великой болезни и слабости».

В челобитной Кашталинский также показал: «<...> по приложенному моему рабскому со вступления моего в Белевскую воеводскую канцелярию старанию открытые столь сильные воровства, разбои, пристанодержательства и оные с прочими злодействы и зажигательствы истреблены, чем злонравные [помещики] немало раздражены, то я, именованный, потому имею крайнюю опасность, чтоб иногда и другая таковые, как он, Бунин, дерзостныя и не столь в торжественныя дни еще и отважнее чего со мною не учинили <...> и мне, именованному, жизни не укрátilи», прося «высочайшего защищения».

Дело об избииении воеводы Кашталинского было заслушано 22 ноября и 5 декабря того же года в Сенате, который приказал расследовать его специальной комиссией, направленной в губернский центр Белгород, с привлечением Военной коллегии. Воевода Кашталинский был отстранен от должности, ему вместе с Буниным, Рахмановым и Киреевским велено было явиться в Белгород к следствию. Последние, однако, направили в Сенат челобитную с просьбой не посылать их в Белгород, а рассмотреть дело в Москве, так как все они проживали в Москве и были помещиками Московской губернии и, согласно Манифесту о созыве комиссии для составления нового Уложения от 14 декабря 1766 г., обязаны были явиться на выборы в своих уездах Московской губернии¹. Вероятно, их просьба была удовлетворена, так как Рахманов сумел принять участие в подписании наказа от дворян Волоколамского уезда, где он владел имениями². Чем закончилось следствие, мы не знаем³, но, похоже, пострадал лишь один избитый воевода, снятый с должности, а повинные в избииении дворяне нисколько не пострадали: полковник П.М. Ол-

¹ РГАДА. Ф. 264. Оп. 1. Д. 1982. Л. 1–14; Ф. 248. Оп. 111. Д. 68. Л. 1–2; Оп. 48. Д. 3770. Л. 341–342. Дела выявлены и описаны Е.А. Акельевым, в рамках проекта «Культуры и быт русского дворянства в провинции XVIII в. (По материалам Московской, Орловской и тульской губерний)», науч. рук. О.Е. Глаголева, см. одноименный сайт проекта: <http://adelwiki.dhi-moskau.de>. Избиение воеводы вкратце пересказал С.М. Соловьев, см.: *Соловьев С.М. Сочинения*: в 18 кн. Кн. 14. М., 1994. С. 15.

² Сб. РИО. Т. 4. С. 244.

³ Решение следственной комиссии не попало ни в указанные выше дела, ни в указы Сената, ни в ПСЗ.

суфьев, в чьем доме произошло избиение, стал к 1776 г. генерал-поручиком¹; отставной полковник Рахманов при открытии Могилевского наместничества получил высокое назначение председателя палаты уголовного суда (1778)²; отставной премьер-майор И.В. Киреевский продолжал жить в своих имениях, также не утратив своего ранга³. Продолжил карьеру и А.И. Бунин: при открытии Тульского наместничества он получил должность городничего Белева (1778), заняв, по иронии судьбы, место воеводы Кашталинского. В том же году он был переведен «с награждением» в чине надворного советника в калужский губернский магистрат председателем. В 1779 г. указом Правительствующего Сената Бунин получил новое назначение, на сей раз советником в палату уголовного суда Калужского наместничества. Там он прослужил до 1782 г. и вышел по своему прошению – «по слабости моего здоровья и по старости лет» – в отставку⁴. Еще находясь на должности в Калуге, Бунин в 1780 г. был избран предводителем дворянства Белевского уезда, где прослужил три года (1781–1783), затем вторично его выбрали предводителем в 1786 г. В последний год жизни Бунина вновь призвали на государственную службу – в конце 1790 г. он был назначен надворным советником палаты гражданского суда Тульского наместничества, вследствие чего вся семья в ноябре 1790 г. переехала в Тулу⁵.

В деле об избиении воеводы Кашталинского мы встречаем много знакомых имен. Иван Васильевич Киреевский, участвовавший, кстати, не только в избиении воеводы, но еще и в избиении в доме Бунина поручика С.В. Желябужского, соседа Афанасия Ивановича⁶,

¹ *Екатерина II* и Г.А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791) / изд. подгот. В.С. Лопатин. М.: Наука 1997. С. 109, 668–669. (Литературные памятники).

² *Месяцеслов 1779*. С. 313.

³ РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 1104. Л. 17 (1775 г.).

⁴ *Долгова С.Р., Кононова А.Ю.* Новые материалы о родине и предках поэта. С. 345; *Власов В.А.* Дворянская усадьба Бунино. С. 12.

⁵ ГАТО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 4324. Л. 4 об.; *Месяцеслов 1779*. С. 230; 1780. С. 227; 1781. С. 211; 1782. С. 210; 1783. С. 224; 1787. С. 174; 1791. С. 153; *Туркистанов Н.* Губернский служебник или список генерал-губернаторам, поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и дворянским предводителям в 47 наместничествах (1777–1796 гг.). СПб., 1869. С. 13.

⁶ Имение С.В. Желябужского в с. Лиховищи Белевского уезда граничало с Мишенским Бунина; ПГМ Белевского уезда. URL: [http:// adelwiki.dhi-moskau.de/](http://adelwiki.dhi-moskau.de/)

был сыном Дарьи Яковлевны Киреевской, присутствовавшей при «бесчинствах» воеводы Шеншина в 1744 г. Как явствует из следственного дела 1766 г., И.В. Киреевский был «свояком» А.И. Бунина. С Киреевскими Бунины были связаны родственными и соседскими узами: дочь Андрея Лукича Бунина¹ Матрена Андреевна была замужем за Петром Степановичем Апухтиным, родная сестра которого Ирина была замужем за Федором Михайловичем Киреевским². Афанасий Иванович Бунин имел со своими родственниками Буниными неразделенную дачу в деревне Глубочки Белевского уезда: его совладельцами там были Матрена Андреевна, ее племянник Василий Иванович Бунин и его сестра Наталья Ивановна Богданова (сын и дочь брата Андрея Лукича Бунина, Ивана)³. Как уже говорилось, Дарья Яковлевна и ее сын Иван Васильевич Киреевские проживали в соседнем с Мишенским селе Долбино. Позже семьи Буниных и Киреевских породнились еще ближе: сын И.В. Киреевского Василий Иванович женился на внучке А.И. Бунина Авдотье Петровне Юшковой.

Пытавшийся вмешаться в ситуацию в доме полковника Олсуфьева Петр Николаевич Юшков, помещик соседнего с Мишенским имения в селе Петрищево Белевского уезда, был также близким знакомым Бунина. Позже он женился на дочери Афанасия Ивановича Варваре и стал отцом А.П. Юшковой⁴. Надо заметить, что Бунины, Киреевские, Юшковы, как и Безобразовы, Давыдовы, Елагины,

images/4/46/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.2.jpg

¹ Он приходился четвероюродным братом деда Жуковского Ивана Андреевича Бунина.

² ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 10. Л. 298–298 об.; ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 69. Л. 26 об.

³ Елагин Н. Белевская вивлиофика. Ч. 2. 1792. С. 77.

⁴ Варвара Афанасьевна Юшкова, урожд. Бунина (1768–1797), и Петр Николаевич Юшков (1753–1805) имели четырех дочерей: Анна Петровна, в замужестве Зонтаг (1786–1864), детская писательница; Мария Петровна (?–1809), в замужестве Офросимова; Екатерина Петровна, в замужестве Азбукина и Авдотья Петровна (1789–1877), по первому мужу Киреевская (с 1805), по второму Елагина (с 1817), мать славянофилов И.В. и П.В. Киреевских, хозяйка знаменитого салона «У Красных ворот» в Москве, где бывали Пушкин, Мицкевич, Языков и др. Подробнее см.: *Glagoleva Olga E. Dream and Reality*. P. 36–61.

Вельяминовы и Воейковы, издавна проживали на соседних землях Белевского уезда, находясь в тех или иных родственных и свойственных отношениях¹.

Еще одно возникшее в связи с избиеением воеводы имя заслуживает упоминания. Это капитан Воронежского полка Карл Муфель. Мы знаем, что именно Иоганн Карл Генрих Муфель (ум. 1788), перешедший на русскую службу в 1758 г. и сделавший в России блестящую карьеру (генерал-майор при отставке в 1788 г.), привез с русско-турецкой войны двух взятых в плен при штурме Бендер турчанок, которых он отдал А.И. Бунину «на воспитание» и одна из которых стала матерью Жуковского². Теперь ясно, что Муфель, будучи орловским помещиком, не только мог быть знаком с Буниным как сосед³, но и, служа в Воронежском пехотном полку, встречался с ним в Белеве.

Если сравнить два эпизода с белевскими воеводами, в которых участвовали Бунины, то очевидно, что нравы в Белеве не сильно изменились за двадцать лет. Рассказанные эпизоды, однако, интересны не только как занимательные картинки из провинциальной жизни.

¹ Писцовая книга Белевского уезда 7138 г. Т. 1. С. 15–481; Т. 2. С. 59–279. Московский дворянин (1627–1677) Хрисанф Александрович Юшков был женат на Евдокии Ильиничне Воейковой; стольник и окольный Алексей Александрович Юшков (1647–1722) вторым браком был женат на Аграфене Вельяминовой; Кондратий Михайлович Воейков был женат на Аграфене Васильевне Киреевской; их дочь Василиса Кондратьевна вышла замуж за Емельяна Петровича Киреевского; дочь А.И. Бунина Наталья была замужем за Николаем Ивановичем Вельяминовым; дочь сестры А.И. Бунина Анны Давыдовой (по второму мужу Тарбеевой), Елизавета Семеновна Давыдова, была замужем за Андреем Алексеевичем Елагиным, женатым первым браком на некоей Тарбеевой; сын А.А. Елагина Алексей Андреевич женился на Авдотье Петровне Юшковой (по первому мужу Киреевской, см. сн. 90); внучка А.И. Бунина Александра Андреевна Протасова (1795–1829) была замужем за Александром Федоровичем Воейковым (1778/79–1839). См.: *Елагина Е.И. Семейная хроника Протасовых*. С. 49–50; *Glagoleva Olga E. Dream and Reality*. P. 36–61; *Руммель В.В., Голубцов В.В.* Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887. С. 755, 757, 762; *Чернопятов В.И.* Дворянское сословие Тульской губернии. Родословц. Т. 3 (12), ч. 6. С. 107, 176.

² Подробнее см.: *Глаголева О.Е.* Детство и юность В.А. Жуковского. С. 218–219.

³ Там же.

Перед нами здесь две модели поведения Буниных, отца и сына, существенно различающиеся: Иван Андреевич, невольно оказавшись в гуще событий, не желает участвовать в ссоре с воеводой, стремится уйти в сторону, занимает позицию стороннего наблюдателя. Его сын Афанасий Иванович, наоборот, не только является инициатором ссоры с воеводой, но и активно участвует в реальном его избиении. Тут, по всей видимости, имеют значение два момента: разная позиция представителя власти в местном дворянском сообществе, а также разные позиции в нем же самих Буниных. В первом случае воевода Шеншин чувствовал себя полновластным хозяином, хорошо вписанным в местное сообщество¹, несмотря на то, что всего полгода исполнял обязанности воеводы; при этом И.А. Бунин, служа коллежским асессором, возможно, в той же воеводской канцелярии под началом воеводы, не желал с ним ссориться. В ситуации двадцать лет спустя воевода – не местный помещик, а чиновник, присланный сверху и ревностно взявшийся наводить порядок, чем вызвал недовольство среди местных дворян, а А.И. Бунин – не просто богатый помещик, чьи предки издавна проживали в данной местности вместе с предками других дворян, образующих местное дворянское сообщество, но и человек, имеющий тесные связи с сильными мира сего – фаворитами императрицы Орловыми и Зиновьевыми.

Оставленное без последствий для участников дело об избиении воеводы Кашталинского, так же как и открытые воеводой другие нарушения закона Буниным и прочими белевскими помещиками, получили такой оборот, возможно, не без помощи друга Бунина Григория Орлова. О том, что Бунин и Орлов продолжали в эти годы

¹ Д.С. Шеншин был помещиком Белевского и соседнего Мценского уездов, имел в Белевском уезде деревню Камерева, во Мценском уезде сельцо Азарово и деревню Верховья речки Ядренки, владел также имением в деревне Антина Белозерского уезда; в Белевском и Мценском уездах проживала его многочисленная родня. ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 419. Л. 715–717 об.; Ф. 43. Оп. 1. Д. 25. Л. 2; «Ведомость, учиненная в Канторе Московского Государственного банка для дворянства, по силе полученнаго в ту Кантору сего 766 году, Февраля 21 дня из Правительствующаго Сената указа для припечатания в газетах, от кого имяны заимщиков, в которых годах, месяцах и числах недвижимые имения и в каких уездах сколько мужска полу и в какой сумме заложены, о том значит ниже сего» (Московские ведомости. Прибавление к № 68 Московских Ведомостей в пятницу августа 24 дня, 1767 года. Л. [БЗ об.], [И4]).

общаться, говорит эпизод из жизни сына Бунина Ивана. Как было недавно установлено И.Ю. Виницким, обучавшийся первоначально в Пажеском корпусе Иван был послан в 1770 г. для обучения в Педагогиум в Галле, одно из лучших учебных заведений Германии¹. Галльский педагогиум был образцовой школой для детей из аристократических семей, и в начале 1770-х гг. там вместе с Буниным обучались дети Орловых – Алексей Бобринский (сын Григория Орлова и Екатерины) и Александр Чесменский (сын Алексея Орлова), младший брат Александра Зиновьева Василий, а также сыновья действительного камергера, гардеробмейстера и доверенного лица Екатерины В.Г. Шкурина. Все они поехали учиться на казенный счет, и за успехами учеников наблюдал президент Санкт-Петербургской академии наук граф В.Г. Орлов². Компания, как видим, весьма аристократическая. Каким образом в число детей наиболее приближенных к императрице вельмож попал сын Афанасия Бунина? Очевидно, и тут сыграла свою роль дружба Бунина с Г. Орловым и А. Зиновьевым.

Иван Бунин, проучившись в Германии три года, 6 января 1773 г. убежал из школы и вернулся домой к родителям. В России он поступил на службу, во всяком случае, известен его портрет в мундире штаб-офицера лейб-гвардии Гренадерского или Драгунского полка³. Назначение в столь элитный полк вновь можно приписать содействию Орлова и Зиновьева. Военная служба Ивана продолжалась, однако, недолго – в 1779–1780 гг. он служил уже коллежским ассессором в Тульской палате уголовного суда⁴. Согласно семейному преданию Иван Бунин умер во время своей свадьбы с дочерью Орлова, по договору Бунина с Орловым о женитьбе их детей, хотя был влюблен в другую девушку⁵.

¹ Виницкий И.Ю. Семейные связи. С. 12–13.

² Орлов-Давыдов В. Биографический очерк графа В.Г. Орлова // Русский архив. 1908. Кн. 2, вып. 8. С. 434.

³ Неизвестный художник. Портрет И.А. Бунина (?). Не позднее 1781 г. (Портретная миниатюра в России XVIII – начала XX века. Из собрания Литературного музея Пушкинского дома. СПб., 2008. С. 39, 237–238). В собрание Пушкинского дома портрет поступил от М.В. Безр. На обороте портрета надпись: «Иванъ Афанасьевичъ Бунинъ» и другими чернилами: «брат Жуковского (поэта)».

⁴ ГАТО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 4324. Л. 4 об.

⁵ Подробнее см.: Виницкий И.Ю. Семейные связи.

Афанасий Иванович Бунин умело использовал свою дружбу и связи с «сильными мира сего» на протяжении всей жизни. Такие незаконные действия, как вопиющий случай избития представителя власти, сходили ему с рук благодаря дружеским отношениям с приближенными императрицы. Умелое использование многолетней связи своей дочери Натальи Вельяминовой с наместником Тульской и Калужской губерний М.Н. Кречетниковым (от которого у Натальи были две дочери, воспитывавшиеся в доме А.И. Бунина), позволило ему добиться поддельного формулярного списка о службе для Жуковского, что затем дало основание для получения последним дворянского статуса¹. В конце жизни Бунин сделал попытку использовать связь с наместником для получения выгодного места управителя царских имений. А.Т. Болотов, занимавший эту должность, писал в мемуарах, что в 1791 г. он случайно узнал о «заговоре», целью которого было сместить его с должности и поставить на нее А.И. Бунина, а на место директора экономии назначить П.Н. Юшкова. Этого, по свидетельству Болотова, добивалась от наместника Наталья Вельяминова, и только ее смерть помешала осуществлению этих планов². Бунин сохранил добрые отношения с Кречетниковым до конца жизни, назначив его своим душеприказчиком – исполнителем его воли, выраженной в завещании³.

Екатерина Ивановна Елагина, правнучка Афанасия Ивановича Бунина, писала в воспоминаниях о семействе Буниных-Протасовых своим детям: «Пусть эта короткая записка о всех ваших предках, дети, предохранит вас от ложного мнения, например: о моей бабушке [Екатерине Афанасьевне Протасовой], не говоря уже о других. Вы увидите, что вообще во всей семье нашей не было ни одного безчестного человека»⁴. Не беря на себя смелость давать оценки моральным качествам представителей семьи Жуковского, напомним читателю еще раз, что семейные предания Буниных-Протасовых

¹ Глаголева О.Е. Детство и юность В.А. Жуковского. С. 221–223; *Glagoleva Olga E. Dream and Reality*. P. 36–38.

² Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. 1737–1795 / изд. «Русской старины». М., 1870. Т. 4. С. 316–318, 324–326. Считается, что Н.А. Вельяминова умерла в 1789 г. Болотов утверждает, что это случилось в 1791 г.

³ ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 829. Л. 8 об.

⁴ Елагина. Семейная хроника. Л. 31.

являлись скорее легендой, чем фиксацией реальных событий, особенно в том, что касалось рождения и жизни В.А. Жуковского. Рассказанные не чуждыми литературного творчества и не лишенными таланта представительницами последующих поколений Буниных, мемуары А.П. Зонтаг, Е.И. Елагиной и М.В. Беэр¹ представляют собой хорошо выстроенные литературные тексты в духе сентиментализма. Как показал И.Ю. Веницкий, темы незаконнорожденного ребенка, воспитываемого добродетельной госпожой, и идеальной сестринской любви к брату традиционны для сентиментального романа. Такого рода литературность не только камуфлировала или идеализировала реальные факты, но и снижала трагичность конкретных жизненных ситуаций². Семейная легенда Буниных-Протасовых, тщательное выстраивание которой началось еще при жизни Жуковского, нередко противоречит фактам, открывающимся в документах, и действительность выглядит не так романтично и идеально, как в воспоминаниях членов семьи. Можно списать расхождения мемуаров с действительностью на особенности человеческой памяти, а можно увидеть в этом проявление такта и бережного отношения потомков к своим предкам. Документы рисуют нам весьма несимпатичный портрет отца Жуковского. Особенности его характера, проявлявшиеся в отношениях с людьми, должны были наложить отпечаток на атмосферу в семье этого богатого и своевольного барина. Однако факты реальной жизни семьи и романтическая завеса семейной легенды сыграли, возможно, одинаково важную роль в формировании личности Жуковского, и важно знать и то и другое, чтобы понять жизнь и душу поэта.

¹ *Зонтаг А.П.* Несколько слов о детстве В.А. Жуковского // Москвитянин. 1849. Кн. 1, № 9; переизд.: *Зонтаг А.П.* Несколько слов о детстве В.А. Жуковского // В.А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С.; *Воспоминания* Екатерины Ивановны Елагиной и Марии Васильевны Беэр // Российский архив. С. 269–424.

² *Веницкий И.* Семейные связи. С. 10.

Хольгер Зигель
(Бонн, Германия)

**СТИХОТВОРЕНИЕ В.А. ЖУКОВСКОГО «К ТИБУЛЛУ.
НА ПРОШЕДШИЙ ВЕК» (1800):
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

I

Василий Андреевич Жуковский начиная с 1797 г. был учеником Университетского благородного пансиона при Московском университете. Получая образование и готовясь к военной службе или административной карьере в системе российской бюрократии, его воспитанники занимались упражнениями в поэтическом творчестве, результаты которых по соответствующим поводам представлялись самой почтенной публике. Поэтические упражнения учеников печатались в журналах Университетского пансиона. Стихотворение «К Тибуллу. На прошедший век» было опубликовано в журнале «Утренняя заря» за 1800 г. (кн. I, 16–17):

К Тибуллу. На прошедший век

Он совершил свое течение
И в бездне вечности исчез...
Могилы пепел, разрушение,
Пучина бедствий, крови, слез –
Вот путь его и обелиски!

Тибулл! все под луною тленно!
Давно ль на холме сем стоял
Столетний дуб, густой, надменный,
И дол ветвями осенял?
Ударил гром – и дуб повержен!

Давно ли сей любимец славы
Народов жребием играл,
Вселенной подавал уставы
И небо к распре вызывал?
Дохла смерть – что он? – горсть пыли.

Тибулл! нам в мире жить не вечно:
Вся наша жизнь лишь только миг.

Как молнья, время скоротечно! –
На быстрых крыльях своих
Оно летит, и все с ним гибнет.

Едва на дневный свет мы взглянем,
Едва себя мы ощутим
И жизнью радоваться станем:
Уже в сырой земле лежим,
Уж мы добыча разрушенья!

Тибулл! нельзя, чтобы природа
Лишь для червей нас создала;
Чтоб мы, проживши два, три года,
Прешед сквозь мрачны дебри зла,
С лица земли, как тени, скрылись!

На что винить богов напрасно?
Себя мы можем пережить:
Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть, –
Мы живы в самом гробе будем!.. (I, 37–38).

Заглавие стихотворения обнаруживает его двойную жанровую функцию: речь в данном случае идет как о посвящении, так и о прощальном послании. Поводом к написанию послужил переход от уходящего к новому веку. Этим объясняется и сквозная мысль о переломе («Он совершил свое течение // И в бездне вечности исчез»). Автора интересует вопрос, считать ли переход из века в век естественной сменой столетий или же сломом в истории, выражением поврежденности эпохи. Однако заглавие маркирует и принадлежность стихотворения к традициям элегической поэзии о быстротечности бытия.

В этой сфере у Жуковского в России было множество предшественников, о которых не будем подробно говорить в настоящем исследовании. Достаточно указать на источники, данные комментаторами в первом томе самого полного издания сочинений Жуковского (I. С. 428–429). В частности, в качестве образцов элегического топоса здесь упоминаются ода Державина «На смерть князя Мещерского» и стихотворение Карамзина «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794). Непосредственным источником для обра-

щения Жуковского к Тибуллу послужил перевод его первой элегии, выполненный И.И. Дмитриевым и вышедший в еще одном журнале (помимо «Утренней зари») Университетского благородного пансиона «Приятное и полезное препровождение времени» (1795, ч. 8). А. Янушкевич справедливо полагает, что Жуковский в своем посвящении ориентируется именно на первую элегию Тибулла¹.

Важно, прежде всего, что в случае со стихотворением Жуковского речь не идет ни о переводе, ни о подражании. Связь с римским поэтом остается непрочной. На чем же основывается это соотношение, каких элементов его поэзии оно касается? Отсылка к Тибуллу становится понятной только в результате сравнительного рассмотрения тем и мотивов двух поэтов.

Судя по всему, Жуковский намеревался вступить в полемику с римским классиком. Замысел необычайно смелый, однако если припомнить, с каким воодушевлением юный поэт немногим позже решился на перевод элегии Томаса Грея «An Elegy, written in an Country Churchyard» (1751), то его набросок ответа Тибуллу не кажется невероятным. Его полемичный набросок следует рассматривать в духе характерного для России этого времени соединения эстетики и этики.

Цель настоящей работы – выявление различий в поэтике двух стихотворений. В то же время речь идет и о достаточно многочисленных внутренних отсылках произведения Жуковского к текстам римского поэта.

Характерной чертой элегической поэзии Тибулла является ее тематическая многослойность. В первой элегии появляется множество быстро сменяющих друг друга тем, на которые автор лишь указывает, но не развивает их. Первые стихи заявляют в качестве основного мотива презрение к богатству. В виде антитезы ему проти-

¹ Поздние переводы первой элегии: *Первая элегия Тибулла* («Кто хочет свой губи покой...») // Друг просвещения. 1806. № 7. С. 29–33; *Анастасевич В.Г.* Элегия I. Альбия Тибулла («Богатство в золоте пусть тот себе стяжет...») // Лицей. 1806. Ч. 3, кн. 1. С. 9–14; *Бланк Б.К.* Подражание первой Тибулловой элегии («Пускай иной, гонясь за счастьем и славой») // Аглая. 1808. Июнь. С. 3–11. Ср.: *Rothe Hans.* Literarische Zeitschriften in Rußland 1800–1812. Vollständiges Verzeichnis nach Sachgebieten und Autoren. Bearbeitet von Claudia Schnell unter Mitwirkung von Manfred Kluge und Kirsten Bertrand. Köln; Wien; Weimar, 1999. № 01253, 01307, 01361.

вопоставляется желание скромной идиллии сельской жизни. Ее атрибутами выступают сбор винограда, возделывание пашни и сбор фруктов. В благодарность за обильный урожай лирический субъект обещает богам праздник жертвоприношения. Умозаключение из этого перечисления гласит: «*Iam modo iam possim contentus vivere parvo*» («Жить бы мне, жить наконец в покое, довольствуясь малым»)¹. Вслед за этим возникает новая идиллическая картина: «*sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra // Arboris ad rivos preatereuntis aquae*» («От восходящего Пса под летнюю тенью деревьев // Прятаться возле ручья, что близ усадьбы бежит») (ст. 27–28).

Далее вновь прославляется отвержение богатства, скромная жизнь в довольстве малым: «*Non ego divitias patrum fructusque requiro*» («Я никогда не искал отцовских богатств или жатвы») (ст. 41), тем самым начальная тема находит свое логическое и мотивное завершение. Она развивается главным образом в образах сельской жизни. Это очевидно в стихах «*<...> satis est requiescere lecto // Si licet et solito membra levare toro*» («*<...>* рад я, если придется // Лечь на родную постель, в милом углу отдыхать») (ст. 43–44); итог развитию темы подводят заключительные стихи, в которых в последний раз выражено пренебрежение к золоту, т.е. к богатству.

С упоминанием возлюбленной в элегию входит новый мотив, который соединяется с предыдущим через апологию любви, восполняющей отсутствующие богатства: «*Quam iuvat inmites ventos audire cubantem // Et dominam tenero continuisse sinu*» («Как там отродно лежать и, внемля неистовой буре, // Дремно хозяйку свою в тесных объятьях сжимать») (ст. 45–46).

Это – сценарии уютной жизни и желанного покоя, которые, разумеется, всегда находятся под угрозой. Пожалуй, важнейшая составляющая стиля Тибулла – антитеза: именно в этом источнике, из напряжения между противоположностями – миром и войной, берет свое начало сюжетное движение элегии. В процитированные выше строки (25 и 27–28) в качестве антитезы включается: «*Nec semper longae deditus esse viae*» («Не обрекая себя долгим путям нико-

¹ Текст элегии Тибулла цитируется по изданию: *Tibull und sein Kreis. Lateinisch und deutsch.* Ed. Wilhelm Willige. München. Neuausgabe 1966, 14, Vol. 25; русский перевод Л. Остроумова приводится по антологии: *Валерий* Катулл. Альбий Тибулл. Секст Проперций. М., 1963. С. 159–161.

гда...») (ст. 26). Композиция стихотворения в целом строится на семикратной вариации отрицаний «*pes*» и «*non*». К первой и главной антитезе богатства и простой жизни присоединяется противопоставление мира и войны. Тема любви также находит свою противоположность, когда в финале прекрасной картины отдохновения в объятиях возлюбленной возникает обращение к государственному деятелю и оратору Марку Валерию Мессале, другу Тибулла и его меценату, а именно пожелание ему воинских успехов («*Te bellare decet terra, Messalla, marique*») («Ты, о Мессала, рожден воевать на морях и на суше») ст. 53). Хотя они для него, по замечанию Тибулла, и не имеют особого значения. Далее скромное счастье земледельца вновь противопоставляется публичной славе полководца. Активная жизнь отводится на задний план, уступая приоритетному концепту личного счастья: «*Quaeso segnīs inersque vocer*») («Может, кто хочет, меня вялым, ленивым бранить») (ст. 58).

Третий крупный тематический комплекс, на котором строится элегия Тибулла, сформирован антитезой жизни и смерти, начиная с обращения к возлюбленной Делии: «*Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, // Te teneam moriens deficiente manu*») («Видеть бы только тебя на исходе последнего часа // И, умирая, тебя слабой рукой обнимать») (ст. 59–60).

Возникает образ искренне скорбящего об умершем, а с упоминанием нежного сердца («*In tenereo stat tibi corde silex*») («И не заложен камень в нежное сердце твое») (ст. 64) впервые вводится формула, которую следует понимать в сентименталистском ключе. Сразу за ними следует образ могилы («*de funere*»), «с моих похорон») (ст. 65), к которому восходит кладбищенский сюжет поэтики чувствительного романтизма.

Подобно напряженным антитезам богатства и скромности, мира и войны, третий композиционный комплекс тоже рождается из антитезы: смерти и жизни. Мысль о смерти у римлянина оттесняется на задний план с помощью решительного «*interea*») («пока») (ст. 69). Она остается игрой разума и сохраняется как реальность представления о неопределенном будущем, из настоящего мысль о смерти вытесняется и реализуется лишь как литературный мотив – в образе старости. Преклонный возраст и смерть интерпретируются не только в контексте концептов упадка и быстротечности, но и воплощаются в оригинальной идее пристойности жизни стареющего и умеренного

в любовных радостях человека: «Dicere nec sano blanditias carite» («<...> зазорно <...> // Страстные речи шептать с белой как снег головой») (ст. 71–72). Иные радости для влюбленных сохраняются. В заключительных стихах (ст. 73–78) еще раз возникает дискретная линия разрыва между настоящим и будущим, которые разделяются, остаются противопоставленными и вновь соотносятся с двумя начальными темами военных успехов и желания счастливой, скромной, мирной жизни, находя свой синтез в итоговой формуле конечного стиха: «Despiciam dites despiciamque fames» («Будут смешны богачи, будет и голод смешон») (ст. 78).

Жизненный идеал Тибулла восходит к эпикурейству и ориентируется на творчество его предшественника и друга, поэта Горация, который в своем стихотворном посвящении юному коллеге выразительно воплотил хрупкость этого идеала: «Inter spem curamque, timores inter et iras // Omnem crede diem tibi diluxisse supremum» («Меж упований, забот, между страхов кругом и волнений // Думай про каждый ты день, что сияет тебе он последним»)¹.

Образ войны, которая подробно описана в третьей элегии как великое горе, в виде мифа о золотом веке и его утрате (а в ироническом ключе – в ст. 35 «поединки меж них вечно заводит Амур», а также в ст. 64), включает в себе основополагающий опыт римских поэтов в эпоху Тибулла. Реальной подоплекой стихотворения Тибулла, как и у Горация, Проперция и Вергилия, выступает политическая жизнь их эпох: это было время затяжных военных конфликтов за пределами и в пределах государства, время гражданских войн, слома политической доктрины Рима, убийства Цезаря и борьбы между Антонием и Октавианом, позже ставшим императором Августом.

II

С этой точки зрения проясняется связь между наследием Тибулла и стихотворением Жуковского, в заглавие которого вынесено имя римского поэта. Однако от реальной личности поэта Тибулла здесь

¹ *Horaz. Epistulae I, 4; Vol. 12–13 // Horaz. Sämtliche Werke. Lateinisch und deutsch. München 1970, 148 (zweite Paginierung). Русский перевод: Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт, Студия биографика, 1993.*

необходимо абстрагироваться и воспринимать его имя в качестве кода, шифрующего определенный образ лирического субъекта и типологию поэтической манеры. Сам Тибулл, как известно, упоминается Жуковским и позднее, но скорее мимоходом: в конспектах, которые он подготовил для программы самообразования 1805–1806 гг. на основе учебников Иоганна Иоахима Эшенбурга («*Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften*», Berlin/Stettin 1783) и «*Пособия по классической литературе*» («*Handbuch der klassischen Literatur*», Berlin/Stettin 1792), а также в курсе лекций 1818 г. при вступлении в должность учителя великой княгини Александры Федоровны¹. В обоих случаях речь идет только о перечислениях римских авторов.

Прежде всего, обращает на себя внимание абсолютное игнорирование эротических мотивов стихотворения римского поэта. Это приводит к значительному сужению темы. Потому что в данном случае, когда тема остается закрытой, отсутствуют и знаковые признаки древнеримской поэзии, продолжающей традиции Горация с его ясными идеалами покоя, независимости, умеренности и сельского уединения. Они образуют важную составляющую русских подражаний². Именно первая элегия Тибулла последовательно воплощает этот характерный мотивный комплекс жанра.

Единственное, что Жуковский выбирает из всего мотивного комплекса элегии Тибулла, – это мотив хрупкости счастья. Гораздо отчетливее, чем Тибулл, Жуковский в стихотворении «К Тибуллу. На прошедший век» выделяет мысль о кризисности эпохи, которая становится ее главной характеристической чертой. Этим объясняется и монотематичность его произведения в сравнении с элегией римлянина. В первом же стихе эта тема раскрывается в своих мотивных вариациях: автор указывает на характер прошедшего столетия, обозначенного упадком, смертью, разрушением, горем, кровью и слезами. Во второй строфе к этому добавляется выраженный в образе могучего дуба, поверженного молнией, мотив скоротечности бытия. Третья строфа поднимает вопрос о виновнике бедствий. Он остается неназванным, однако вводится перифразой «<...> сей любимец сла-

¹ Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск, 1984, С. 147, 209.

² См.: Кибальник С.А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. Л., 1990. С. 16 и след.

вы // Народов жребием играл» (ст. 37), его роль обозначается как «игра» и получает подчеркнуто негативную окраску, так как игру, по крайней мере игру азартную, просвещенные современники Жуковского воспринимали отрицательно. «Любимец славы» определяет новый устав для всего универсума – можно предположить, что под новым правителем мира имеется в виду Наполеон. Среди его характеристик особенно значим вызов, брошенный высшим силам: «И небо к распре вызвал» и содержащий намек на разрушение прочного божественного миропорядка, которому волей человека противопоставлен закон индивидуалистической воли. Такая характеристика Наполеона обнаруживает в себе одно из самых ранних проявлений тенденции к известной мифологизации образа французского императора, которая красной нитью пройдет сквозь весь русский романтизм вплоть до Достоевского.

Пятая строфа продолжает развивать тему быстротечности жизни и мимолетности земных радостей, представляя вариацию элегического сюжета. У Тибулла отсутствуют образы «гроба» и покоя в «сырой земле». Вместо этого возникает сюжет сжигания тела, который с христианской точки зрения оценивался негативно, как языческий обряд¹. Неминуемость смерти поэта должна тихо оплакивать возлюбленная, сохраняя тем самым память об умершем.

Жуковский не останавливается на отречении от земных благ и меланхолии по поводу быстротечности жизни. Тибулл трижды упоминается в его стихотворении. Все три раза за его именем следуют вариации элегических мотивов: «Тибулл! Все под луною тленно» (ст. 6), «Тибулл! нам в мире жить не вечно» (ст. 16), наконец, в третий раз: «Тибулл! нельзя, чтобы природа // Лишь для червей нас создала» (ст. 26–27). Обращение к Тибуллу обретает иное смысловое наполнение: мысли о смерти римского поэта и мотиву судьбы противопоставляется уверенный протест против неминуемости «жребия» и оптимистическое намерение принять смертную участь, не изменяя дружественным чувствам, любви к добру и мудрости, и таким образом создать вечную память о себе, воздвигнуть себе нерукотворный памятник.

¹ Ср.: *Römische Grabinschriften. Gesammelt und ins Deutsche übertragen von Hieronymus Geist, betreut von Gerhard Pfohl. München, 1969, S. 205.* Сожжение тел умерших было запрещено у католиков вплоть до первой трети XX столетия.

Горациевское «Ehegi monumentum aere perennius», следовательно, обыгрывается в финале стихотворения Жуковского и в качестве морального постулата звучит в клаузуле текста. Жуковский воплощает здесь то, что называется «соединением благочестия и учености <...> соединением Иоганна Арндта и Горация, Масона и Вергилия»¹. Не творчество художника, не красота произведений обеспечивает бессмертие, но благонравие в земной жизни: «Любя добро и мудрость страстно, // Стремясь друзьями миру быть, – // Мы живы в самом гробе будем!..» (ст. 33–35). Такая концовка вполне согласуется с программой нравственного самосовершенствования, которое составляло ядерный концепт в системе воспитания и образования самого Жуковского и его окружения в благородном пансионе, унаследовавшем воззрения круга московских просветителей.

Перевод с немецкого Н.Е. Никоновой
(Томский государственный университет)

¹ *Rothe Hans*. Puškin. Schicksal des Dichters, Wandlungen seiner Dichtungen. Paderborn/München/Wien/Zürich 2009, S. 66 (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste. Vorträge G 422).

А.Г. Садовников
(Нижегородский государственный
лингвистический университет)

МЕЛАНХОЛИЯ И МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В ПОЭЗИИ В.А. ЖУКОВСКОГО*

За многие века своего бытования содержание понятия «меланхолия» многократно переосмыслялось и уточнялось в контексте самых различных сфер науки, культуры и искусства (медицины, психологии, философии, эстетики и т.д.). В европейском культурном пространстве представления о меланхолии эволюционировали от психофизического понимания к осознанию ее душевной, духовной и эстетической значимости. При этом понятие «меланхолия» приобрело множество истолкований и смысловых оттенков, что существенно осложнило его философское и эстетическое осмысление на русской почве в период формирования идеологии и поэтики сентиментализма.

Раннесентиментальный период освоения феномена «меланхолия», заслуживающий наименования «предмеланхолический», характеризуется повышенным интересом к художественной интерпретации ситуаций, культивирующих чувствительность. В этом отношении наибольшей популярностью пользовалась ситуация утраты, о чем свидетельствует обилие «печальных текстов» в творчестве писателей последней трети XVIII в. (А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, П.В. Победоносцев и др.). В пределах ситуативного инварианта, когда субъект переживает какую-либо конкретную жизненную потерю, литераторами был разработан целый спектр сюжетных схем и устойчивых мотивов. В целом переживания субъекта в этой ситуации депрессивны (печаль, скорбь, уныние, грусть и т.д.), но по сути далеки от состояния меланхолии, причинность которого рационально неопределима.

* В предлагаемой работе развивается тема, заявленная нами в статье: Садовников А.Г. Художественная реализация эстетического типа меланхолического героя в лирике В.А. Жуковского 1797–1800 гг. // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского: сб. науч. тр. 2008. № 4. С. 233–239.

Художественные опыты Сумарокова и Державина позволили Н.М. Карамзину приблизиться к эстетическому освоению проблемы меланхолии в русле идеализации и психологизации мотивов утраты, но, как показывают исследования «Писем русского путешественника» и лирики Карамзина, границ раннесентиментальной рациональной чувствительности ему преодолеть не удалось. Заслуга их эстетического преодоления, на наш взгляд, принадлежит В.А. Жуковскому, который открыл русскому читателю уникальный тип меланхолического героя и меланхолию как особого рода душевное состояние, творческое освоение которого открыло новые перспективы развития романтической антропологии.

Элегическая муза В.А. Жуковского, по известному определению А.Н. Веселовского, – муза задумчиво-меланхолическая, «возвышенная муза романтической меланхолии»¹. Меланхолия в поэзии Жуковского утверждается как доминирующая форма нравственно-эстетического восприятия действительности. Таким образом, в преддверии золотого века русской поэзии Жуковский совершает прорыв к новому типу поэтического мышления.

Меланхолия в контексте других эстетических переживаний определяет как сознание поэта, так и весь строй чувств лирического героя. Все же было бы неверным сводить эстетический мир стихов Жуковского лишь к меланхолии. Прежде всего, его произведения преисполнены чувством красоты, ведь в «воспроизведении» ее поэт видел одну из главных задач искусства. Красота, которую несут в себе стихи Жуковского, связана с эстетическими традициями XVIII в., и вместе с тем у поэта обнаруживается новое видение и чувство прекрасного.

Для Жуковского основной ориентир художественного творчества состоял именно в постижении прекрасного. Достижению этой творческой задачи, по мнению поэта, должен способствовать «вкус». В понимании данной категории Жуковский следовал учению Канта,

¹ А.Н. Веселовский называл меланхолическую музу Жуковского «обитательницей развалин, старых келий и теней, не оглашаемых весельем» и выделял в числе ее «атрибутов» поэтизацию смерти, черепа и скелеты, таинственные туманы, облака, полные слез, сонмы призраков, бледную луну и т.д. См.: *Веселовский А.Н.* В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 38.

изложенному в «Аналитике эстетической способности суждения»¹, поэтому допустимо уточнить, что, по мнению Жуковского, постижению прекрасного способствует «чистое суждение вкуса»². Следуя ему, Жуковский выбирает для стихов «изящную природу» и «изящно» ее осмысляет и чувствует. Прекрасное должно быть «приятно», «пленительно», «восхитительно», «трогательно»³.

Меланхолия не отождествляется Жуковским ни с красотой, ни с трагическим, возвышенным, романтическим – эстетическими категориями, к которым поэт был весьма внимателен. В произведениях Жуковского меланхолия представляется как генерализующее переживание, мотивированное нравственно-философской позицией и характером душевно-духовного движения лирического героя⁴.

Следуя опыту поэтов-сентименталистов, и прежде всего Карамзина, Жуковский представляет меланхолию как сложный и противоречивый комплекс переживаний, включающих в себя множество нюансов противоположной эмоциональной тональности:

Меланхолия не есть ни горечь и ни радость: я назвал бы ее оттенком веселия на сердце печального, оттенком уныния на душе счастливица⁵.

¹ «Суждение вкуса, на которое возбуждающее и трогательное не имеют никакого влияния (хотя они могут быть связаны с удовольствием от прекрасного), <...> есть чистое суждение вкуса. Эстетические суждения <...> можно делить на эмпирические и чистые. Первые – это те, которые высказываются о приятном или неприятном в предмете или в способе представления о нем, а вторые – о красоте его; первые суть суждения чувствования (материальные эстетические суждения) и только вторые (как формальные) – собственно суждения вкуса» (Кант И. Аналитика эстетической способности суждения // Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 226).

² О кантианской меланхолии «чистого суждения вкуса» см.: *Свадгельски Ж.* Меланхолия, или Вариации на темы пессимизма и оптимизма у Канта (*Svagelski Jean.* Melancholia ou variations sur les thèmes kantien du pessimisme et de l'optimisme // Une philosophie cosmopolite. Centre Gaston Bachelard sur l'imaginaire et la rationalité de l'Université de Bourgogne. Dijon: EUD, 2001, 254 p. Пер. с фр. Л. Илиева).

³ *Касаткина В.Н.* Поэзия В.А. Жуковского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 34–41.

⁴ Там же. С. 38–40.

⁵ *Жуковский В.А.* О меланхолии в жизни и в поэзии // Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб., 1902. Т. 7. С. 152.

Но именно в этом единстве эмоциональных противоположностей поэт усматривал источник эстетического наслаждения и душевного умиротворения.

Свои поэтические размышления лирический герой Жуковского развивает уже будучи приобщен к душевным пространствам меланхолии. Преодолев скорбь и обретя нравственный «оплот против ужасов смерти», он минует размышления о всеисилии времени и тщетности всего сущего, которые прежде смущали сознание героя, лишая его ощущения гармонии с миром. Его мысль трансформируется в меланхолическую медитацию о жизни и человеке в аспекте их нравственного совершенствования. Подтверждением тому может служить уже первое опубликованное стихотворение Жуковского «Майское утро», появившееся в печати в 1797 г. в журнале «Приятное и полезное препровождение времени»¹.

По предположению А.С. Янушкевича, печальным поводом для написания стихотворения была смерть сводной сестры Жуковского Варвары Афанасьевны Юшковой (урожд. Бунина; 1786 – май 1797)², но размышления лирического героя о жизни и смерти (так же как лирическая интерпретация ситуации утраты) в «Майском утре» имеют исключительно просветленный характер вследствие меланхолической доминанты его мировосприятия. Более того, благодаря данной доминанте лирического сознания мотив смерти нивелируется и оттесняется на периферию лирической мысли, уступая место мотиву воскресения, который дважды подготавливается к актуализации уже в названии произведения: май – весна, возрождение жизни в масштабе годового природного цикла; утро – пробуждение жизни на уровне цикла дневного. Той же цели способствует преисполненный света пейзаж, представленный в первых трех строфах «Майского утра»:

Белорумяна	Феб златозарный,	Сон вострепенулся
Всходит заря	Лик свой явивши,	И отлетает
И разгоняет	Все оживил.	В царство свое.
Блеском своим	Вся уж природа	Грезы, мечтанья,

¹ Впервые опубликовано: *Приятное и полезное препровождение времени*, 1797. Ч. 16. С. 286–288.

² *Янушкевич А.С. «Майское утро»: комментарий // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 421–422.*

Мрачную тьму
Черныя ночи.

Светом оделась
И процвела.

Рой как пчелиный,
Мчатся за ним (I, 57).

Поэтическая ситуация утреннего и весеннего возрождения жизни строится автором на основе системы мотивных оппозиций: «свет – тьма», «сон – пробуждение». Белорумяная, блестящая заря, предвещающая явление Феба¹, вступает в противоборство с тьмой черной ночи. «Феб златозарный» окончательно утверждает торжество жизни. Он не только наполняет природу нерукотворным светом, цветением, дарует ей жизнь, но и повелевает сном, мечтаниями и грезами.

Утверждаемое автором при изображении природы абсолютное торжество света позволяет ассоциировать ее пространства с раем, поскольку нерукотворный божественный свет является непременной составляющей райского топоса («И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их»: Откр. 22, 5)². На этом фоне, утверждающем торжество жизни и жизни после смерти, лирический герой провозглашает призыв к душевному воскресению и благоговейному трепету перед Всевышним.

¹ В картине наступления утра, представленной В.А. Жуковским в «Майском утре», отчетливо просматриваются античные традиции. В частности, в «Илиаде» и «Одиссее» при изображении наступления утра явление зари («младая с перстами пурпурными Эос») нередко предшествует появлению Феба или Гелиоса. В более позднем творчестве Жуковский неоднократно прибегал к подобному рода символике. Например, в стихотворении «Герой» (1800):

На лоне облаков румяных
Явилась скромная заря;
Пред нею резвые зефиры,
А позади блестящий Феб,
Одетый в пышну багряницу,
Летит по синеве небес –
Природу снова оживляет
И щедро теплоту лиет (I, 41).

² О чертах райского топоса см.: Садовников А.С. Черты райского топоса в повести Андрея Платонова «Впрок» // Грехневские чтения: сб. науч. тр. Вып. 3. Н. Новгород, 2006. С. 136–140.

Смертны, воспряньте!
 С благоговеньем,
 С чистой душой,
 Пад пред Всевышним,
 Пламень сердечный
 Мы излием (I, 19).

Хотя авторское обращение к человечеству созвучно наставлениям апостола Павла к «чадам света» (Еф. 5, 8): «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14), лирический герой Жуковского в своем отношении к божественному до определенной степени эклектичен, о чем свидетельствует не только его апелляция к античной мифологии, но и представление о «Всевышнем», которое имеет оттенок масонского религиозно-философского универсализма.

Душевное возвышение («Смертны, воспряньте!..»), по сути подразумевающее приобщение к божественному, духовное воскресение человеческой души, отождествляется автором с актом преклонения перед Богом, его мудростью и прелестной гармонией Его творений. Настойчивый призыв к духовной активности, адресованный всем смертным, мотивирован авторским сознанием богочеловеческой сущности чуда духовного воскресения, дарующего способность прозревать черты «Создателя в созданыи» и красоте мира, которая иллюстрируется в последующих пятой и шестой строфах:

Радужны крылья	Трудолюбива
Распостирая,	Пчелка золотая
Бабочка пестра	Мчится, жужжит.
Вьется, кружится,	Все, что бесплодно,
И лобызает	То оставляет –
Нежно цветки.	К розе спешит (I, 19–20).

Композиционная завершенность строф придает им характер лирических миниатюр, каждая из которых отличается динамичностью, пластикой и красочностью, но в совокупности данный «поэтический диптих» призван передать радость и очарование земной жизни, освященной любовью (смысловой аспект образных параллелей «бабочка – цветки», «пчелка – роза» в контексте предромантической и

романтической образной символики имеет, по мнению исследователей, выраженный эротический оттенок¹). Именно в этой жизни поэту видится проявление божественного; как было сказано выше, мистика Жуковского чувственно конкретна. В этом отношении Жуковский следует опыту немецких романтиков².

Закономерно, что в контексте столь гармоничных представлений о мире интерпретация мотива утраты и размышления лирического героя о смерти приобретают просветленный характер. Ситуация утраты несколько абстрактно моделируется автором на примере печальной судьбы нежной горлицы, потерявшей возлюбленного:

Горлица нежна
Лес оглашает
Стоном своим.
Ах! Знать любезна,
Сердцу драгова
С ней уже нет! (I, 20).

Образ горлицы (в широком смысле – голубки) является воплощением не только нежности, но и любви, скромности, кротости, чистоты, искренности и глубины переживаемого горя. Идиллическое существование горлицы и ее милого было погублено людской

¹ В частности, см.: *Жирмунский В.М.* Мистическая любовь // *Жирмунский В.М.* Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. 76–91.

² «Природа похожа на разрозненные пророчества Божества»; «<...> солнце, небо, горы, ручьи открывают особый мир, созданный Богом»; «<...> мир – это чудесный язык Божий» (*Wackenroder W.H.* *Herzensergießungen. Werke und Briefe.* Bd. I. S. 64–65, 68, 69); «Природа дает нам предчувствие Бога. <...> Иероглиф, обозначающий самое высшее – Бога, лежит здесь передо мной в деятельном существовании» (*Tieck L. Franz Sternbalds Wanderungen.* S. 293–294); «Лучшее доказательство бытия Бога – это цветущий луг. Если хочешь рассказать о том, что такое Бог, ты должен усердно взвесить силы природы»; «Если бы открыть глаза человека, он увидел бы повсюду Бога и небо» (*Böhme Jacob.* *Aurora oder die Morgenröte im Aufgang.* 1610). Цит. по: *Жирмунский В.М.* Мистика природы и натурфилософия // *Жирмунский В.М.* Немецкий романтизм и современная мистика. С. 35–57.

злойбой и хитростью, жизнеотрицающая сила которых особенно очевидна на фоне божественной гармонии природы¹.

Однако утешение горлицы является для лирического героя в большей степени предлогом для очередной декларации своих убеждений относительно людских пороков, превращающих жизнь в бездну «слез и страданий». На их фоне вечный сон (показательно, что слово «смерть» Жуковский здесь вообще не употребляет) являет собой высшее благо и воплощение мудрости Всевышнего.

Можно ль о благе
Плакать другого?..
Он ведь заснул
И не страшится
Лука и злобы
Хитра стрелка.

Жизнь, мой друг, бездна
Слез и страданий...
Счастлив стократ
Тот, кто достигнув
Мирного берега,
Вечным спит сном (I, 20).

Итоговое утверждение о том, что смерть, дарующая покой, умиротворение и освобождение от несправедливостей жизни, – это высшее проявление божественной благодати, вполне вписывается в

¹ Обыгрывая лирическую ситуацию страданий нежной горлицы, Жуковский обращается к поэтическому опыту И.И. Дмитриева, в частности к его лирическому диалогу «Прохожий и горлица» (1791):

Прохожий
Что так печально ты воркуешь на кусточке?
Горлица
Тоскую по моем дружочке.
Прохожий
Неужель он тебе, неверный, изменил?
Горлица
Ах, нет! стрелок его убил.
Прохожий
Несчастная! страшись и ты его руки!
Горлица
Что нужды! ведь умру ж с тоски.

Кроме того, заслуживает упоминания стихотворение И.И. Дмитриева «Горлица и мальчик» (Подражание французскому. 1796), поскольку в основе его лирического сюжета лежит сходная лирическая ситуация гибели горлицы: *Дмитриев И.И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1967. С. 49, 246. (Библиотека поэта. Большая серия).

контекст религиозно-философских танатологических представлений Жуковского периода учебы в Московском университетском благородном пансионе¹. Это дает основание для идейно-тематического соотнесения стихотворения «Майское утро» с ранними прозаическими опытами Жуковского, в частности с «Мыслями при гробнице», которые появились в печати в том же 1797 г. и в том же издании («Приятное и полезное препровождение времени»)².

Несмотря на существенные различия в образной и мотивной структуре, эти произведения близки, во-первых, с точки зрения реализации авторских представлений о жизни и смерти и, во-вторых, по характеру доминирующего в сознании героев меланхолического чувства, определяющего их мировосприятие. Однако важно подчеркнуть, что в «Мыслях при гробнице» герой проходит трудный путь духовного приобщения к меланхолии, в то время как в «Майском утре» меланхолически-просветленное душевное состояние изначально определяет характер эстетического восприятия героя. Поскольку все стадии рефлексии по поводу несовершенства мира и бренности всего сущего уже пройдены, в его сознании рождается чувство, которое может быть названо «меланхолическим оптимизмом».

Подобного рода «меланхолический оптимизм» доминирует в двух «нравоучительных одах»³ Жуковского, опубликованных в

¹ Танатологические представления Жуковского периода учебы в Московском университетском благородном пансионе, по сути, сводятся к библейскому отрицанию смерти, ср.: «Я емь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек (Ин. 11, 25–26) и следованию масонской заповеди «любви к смерти» (Подробнее см.: *Садовников А.Г.* Аспекты философской антропологии масонства и проза В.А. Жуковского 1797–1803 годов (о любви к смерти) // *Аспирант: сб. науч. тр. аспирантов Нижегородского гос. лингв. ун-та им. Н.А. Добролюбова.* Вып. 6. Н. Новгород, 2005. С. 70–75).

² По утверждению А.С. Янушкевича, «по своему настроению и тематике “Майское утро” тесно связано с прозаическим отрывком “Мысли при гробнице”»: *Янушкевич А.С.* «Майское утро». Комментарий (I, 421–422).

³ Эти произведения представляют собой своего рода поэтическую дилогию. Первое из них – пролог к теме добродетели, второе – развивает тему. В обоих случаях авторские размышления о добродетели органично вписываются в круг идеологии московских масонов – кураторов Московского университетского благородного пансиона (И.П. Тургенев, И.В. Лопухин, М.М. Херасков,

1798 г. под одним названием: «Добродетель» («Под звездным кровом тихой ночи...») и «От Света светов луч излился...») (I, 25–29)¹. В этой своеобразной поэтической диалогии прослеживается типологическое соотношение с уже вполне сложившейся меланхолической поэтикой Жуковского, в основе которой лежит тихое, задумчивое, вечернее, ночное, нравственное бытие.

В начале стихотворения, определяя пространственное положение лирического героя, автор в то же время раскрывает характер его мировосприятия. То, что меланхолический герой «Добродетели» не просто созерцает гармонию природы, но и является духовно приобщенным к ней, подчеркнуто уже в первой строфе:

Под звездным кровом тихой ночи,
При свете бледных луны,
В тени ветвистых кипарисов,
Брожу меж множества гробов (I, 25).

Ощущение величия и единства мира создается за счет синтеза типичной для поэтики Жуковского образной символики. Образ ночного звездного крова (так же как синонимичные ему в смысловом отношении образы сферы, покрыва, шатра, свода, шара) традиционно является символом высшего божественного покровительства, а эпитет «тихий», характеризующий образ ночи, создает впечатление вселенской, абсолютной, идеальной гармонии. «Тихий» – один из излюбленных эпитетов Жуковского, для него «тишина», «молчание» являются неизменными спутниками меланхолии, эстетического и нравственного переживания.

Пространство, окружающее героя, определяется более локально в третьем и четвертом стихах, где образ «тени ветвистых кипарисов» олицетворяет своего рода «малый покров» в земной сфере кладбищенского топоса. Таким образом, позиционировав себя в центре мироздания, меланхолический герой, твердо сознающий узловую связь между собой и миром, приходит к декларации своих нравственно-философских позиций. При этом Жуковский избирает форму лири-

А.А. Прокопович-Антонский): *Янушкевич А.С.* «Майское утро». Комментарий. С. 423–425.

¹ Стихотворение впервые опубликовано в издании: Приятное и полезное препровождение времени. 1797. Ч. 16. С. 453–456.

ческого монолога-проповеди, которая, в сущности, исключает как углубленную рефлексию по поводу проблем мироустройства, так и саморефлексию.

Представления лирического героя о смерти вполне вписываются в контекст меланхолического мировосприятия.

С косою острой, кровожадной,
С часами быстрыми в руках,
С седой, всклокоченной брадою,
Кидая всюду страшный взор,
Сатурн несытый и свирепый
Парит через вселенну всю;
Парит – и груды оставляет
Развалин следом за собой (I, 25–26).

Изображение смерти в женском облики с косою (особенно распространенное в культуре Средневековья) традиционно для прозы Жуковского 1797 г.¹ В 1798 г. образная символика «смерти с косою» сопрягается с мотивом времени² (Хроноса). В стихотворении «Добродетель» синтез авторских образных представлений о смерти воплотился в образе Сатурна «с часами быстрыми в руках, // С седой, всклокоченной брадою». Хотя коса в мифологии никогда не сопутствовала изображению Сатурна, его образ с древнейших времен был принадлежностью «меланхолической культуры». Сатурн символизировал время, пожирающее свое потомство, и потому сближался с центральным символом времени: Уроборосом – змеем или драконом, гложущим свой хвост. Не случайно Сатурн у Жуковского охарактеризован как «несытый и свирепый». Кроме того, Сатурн покровительствует меланхоликам³. Приблизительно со второй полови-

¹ «Смерть, лютая смерть! сказал я, прислонившись к изсохшему дубу: когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей <...>» («Мысли при гробнице») (VIII, 23); «Ты спешишь далее, смерть грозная, и все – от хижин до чертогов, от плуга до скипетра – все гибнет под сокрушительными ударами косы твоей» («Мысли при гробнице») (VIII, 24) и т.д.

² В частности, см.: «Речь на акте в университетском благородном пансионе, 14 ноября 1798 г.» (VIII, 27–32).

³ Особенно настороженное отношение к рабам Сатурна – меланхоликам наблюдается в искусстве Средневековья. Например, одна из немецких гравюр XV в. (автор неизвестен), изображавшая унылого немолодого человека, подпи-

ны XV в. стало утверждаться мнение о том, что богу этой планеты ведомы сокровенные начала Вселенной, он стоит ближе всех к источнику жизни и воплощает высший интеллект, поэтому лишь меланхоликам доступна нередко губительная для человека сила его «откровений»¹.

Могущество смерти-Сатурна не только глобализируется, но и космизируется Жуковским в духе Державина. В этом отношении преемственность Жуковского и Державина наиболее явно просматривается на примере державинской оды «На смерть князя Мещерского» с ее характерной космической апокалиптикой:

Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глокает царства алчна смерть².

Однако дальнейшее развитие лирической мысли в стихотворении «Добродетель» свидетельствует об абсолютной убежденности

рающего голову одной рукой, а другой сжимающего кошель, сопровождалась следующим стихотворным признанием:

Бог дал мне, меланхолику, природу,
Подобную земле – холодную, сухую,
Присущи мне землистый цвет волос,
Уроdlивость и скупость, жадность, злоба,
Фальшь, малодушие, хитрость, робость,
Презрение к вопросам чести
И женщинам. Повинны в этом всем
Сатурн и осень (курсив мой. – А.С.).

Цит. по: *Фоменко А.Г.* Европейская живопись эпохи Средневековья. Магнитогорск: Изд-во Магнитогор. гос. ун-та, 2002. С. 25–26.

¹ Именно поэтому в композиции знаменитой «Мастерской гравюры» Дюрера «Меланхолия» голова Меланхолии увенчана лютиками и водяным крессом, которые в древности считались средством против опасного влияния Сатурна. Сам Альбрехт Дюрер причислял себя к меланхоликам I порядка (творцам).

² *Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота.* 2-е акад. изд. СПб., 1868. Т. 1. С. 224–225.

автора в том, что время и смерть властны лишь над тем, что суетно, временно и смертно:

Исчезнут тщетны украшенья,
Когда застонет вся земля,
Как заревут ужасны громы,
Падет, разрушится весь мир (I, 26).

В противоположность картине вселенского разрушения всего того, что подвластно разрушению, автором риторически провозглашается бессмертие «добрых дел»:

Тогда останутся нетленны
Одни лишь добрые дела.
Ничто не может их разрушить,
Ничто не может их затмить (I, 27).

В системе ценностей, утверждаемых лирическим героем, «добрые дела» выступают в качестве нравственного абсолюта. Свершая их, человек становится на путь правды, преодоления смерти, сближения с Богом и приобщения к жизни вечной:

Пред Богом нас они прославят,
В одежду правды облекут;
Тогда мы с радостью явимся
Пред трон всевышнего Творца (I, 27).

Одический тон в сочетании с меланхолически-оптимистической доминантой лирического сознания героя мотивирует дидактизм и нравственный категоризм и в последней строфе стихотворения:

О сколь священна, Добродетель,
Должна ты быть для смертных всех!
Рабы, как и владыки мира,
Должны тебя благодворить... (I, 27).

Основанная на осмыслении и критике всей совокупности ложных жизненных ценностей, финальная нравственно-философская декларация лирического героя подготавливает обобщение по поводу происхождения и сущности добродетели, заключенное во второй

части дилогии «Добродетель». Ее начало иллюстрирует динамику авторских представлений о «свете» как источнике жизни и высшей нравственной доминанте бытия.

Необходимо отметить изменения аксиологической парадигмы авторского сознания, поскольку, если в «Майском утре» (1797) рождение света представлено в контексте культурных традиций языческой древности (античную религиозность Жуковский понимал не иначе как языческую¹), то в «Добродетели» (1798) меланхолическое сознание лирического героя изначально трансформирует идею света и просветления в русле христианской идеи:

От Света светов луч излился,
И Добродетель родилась!
В тьме мир дремавший пробудился,
Земля весельем облеклась <...>
От горних светлых стран небес
Златой, блаженный век спустился,
Восторг божественный вселился
Во глубине святых сердец (I, 26–27).

Практически цитируя в начальных стихах строки молитвы «Верую» («Бог от Бога, Свет от Света»), Жуковский уподобляет рождение добродетели благодати рождения Иисуса Христа². И в том и в другом случае в качестве источника творения выступает нерукотворный Божественный Свет. В сущности, он и есть Царство Божие, жизнь вечная и чистая энергия Божества, теофания (θεοφάνια), причастие которой свершается исключительно как дар божественного милосердия. Предвечный, бесконечный, существующий вне времени и пространства, он являлся в Ветхом Завете как слава Божия: явление страшное и невыносимое для твари, ибо оно было внешним, чуждым человеческой природе до Христа и вне Церкви. Но для того,

¹ Наиболее отчетливо свое отношение к языческой древности В.А. Жуковский выразил в статье «О меланхолии в жизни и в поэзии».

² «Верую». Никейско-Константинопольский Символ Веры: «Верую во единого Бога, Отца Всемогущего <...> И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, От Отца рожденного прежде всех веков, *Бог от Бога, Свет от Света...*» (курсив мой. – А.С.).

кто стяжал свет, «тьма проходит и истинный свет уже светит», как говорит об этом святой Иоанн Богослов (1. Ин. 2, 8).

Именно этот важнейший в истории мира и человечества момент божественного просветления, фактически тождественный, с точки зрения Жуковского, рождению добродетели, запечатлевается в двух первых стихах. Он обозначает переход от тьмы и сна неодоленности к свету («В тьме мир дремавший пробудился <...>»), наступление золотого века («От горних светлых стран небес // Златой, блаженный век спустился <...>») и приобщение людских сердец к божественному восторгу («Восторг божественный вселился // Во глубине святых сердец <...>»).

По представлению меланхолического героя, явление добродетели на землю знаменует воцарение гармонии. Мир, бывший пустыней, преобразается в подобие рая («Пустыня светлым раем стала; // Как крин повсюду мир процвел <...>»), а души людей наполняются благими чувствами и побуждениями.

С точки зрения Жуковского, земной рай есть, прежде всего, торжество естественной (а не насильственно навязанной строгостью и законами) гармонии межличностных отношений¹:

Любовь, невинность, кротость нравов;
Без строгости и без устав,
Правдивость, честность всем эгид;
Повсюду дружба водворилась,
Повсюду истина явилась,
Преданность, верность, совесть, стыд (I, 27).

Антагонистом добродетели в стихотворении выступает «дщерь ада – Злоба», которая «есть содетель // Бесчисленных лютейших бед» (ею порождаются раздоры, войны, убийства, гордыня, неправда, алчность и т.д.). Главная из них – гибель «золотого века» («Но, ах! златой уж век исчез, // В пучине вечности сокрылся»). Однако злоба, так же как и смерть, не властна, по мнению Жуковского, над вечным светом добродетели, чтить который и следовать которому

¹ Показательно, что Жуковский здесь не касается ни проблем взаимоотношений человека и Бога, ни проблемы отношений человека и природы, концентрируя внимание исключительно на этическом аспекте человеческого бытия.

призывает лирический герой: «Учитесь Добродетель чтить; // В душе ей храм соорудите, // Ей мысли, чувства посвятите».

Идейная декларация финальной строфы второй части диалогии практически тождественна нравственным установкам автора в финале части первой, но уровень обобщения в «Добродетели»-II гораздо масштабнее.

Нравственная декларативность (и даже некоторый догматизм) столь очевидно заявляет о себе в нравоучительной диалогии «Добродетель» в силу целого ряда причин. *Во-первых*, она является следствием юношеского «нравственного энтузиазма» начинающего поэта. *Во-вторых*, инерция одических интонаций, под влиянием которой Жуковский находился в начале творческого пути, вынуждала его к однозначности отношения поэтического высказывания к реальности в контексте одического модуса. *В-третьих*, состояние «меланхолического оптимизма», к которому приходит герой Жуковского уже в ранних прозаических сочинениях, предопределяет максимализм нравственных и этических деклараций.

В совокупности данные творческие тенденции закономерно привели Жуковского к риторичности, нивелированию личностного начала и «овнешнению» декларируемых нравственных положений. Сходные черты поэтики нашли воплощение во многих произведениях Жуковского «ученического» периода, в частности, в стихотворениях «Мир» (1800), «К Тибуллу на прошедший век» (1800), «Герой» (1800), «Элегия» (1801), «Человек» (1801), которые с точки зрения поэтической философии, образности и мотивной структуры можно интерпретировать как лирическую прелюдию к знаменитому «Сельскому кладбищу» (1802)¹, с появлением которого началась новая эпоха в истории русской поэзии.

Элегия «Сельское кладбище» со времени первой публикации стала предметом пристального внимания критиков и исследователей творчества В.А. Жуковского². В творчестве Жуковского «Сельское

¹ Впервые: Вестник Европы. 1802. Ч. 6, № 24. Декабрь. С. 319–325 с заглавием: «Сельское кладбище, Греева элегия, переведенная с английского» и подзаголовком: «Переводчик посвящает А.И. Тургеневу», с подписью: «В. Жуковский».

² Вопросы, связанных с литературными источниками, поэтическими реминисценциями, лирической философией, образностью, мотивной структурой,

кладбище», как полагают исследователи, знаменовало важнейший этап в формировании принципов психологической лирики. Так, А.С. Янушкевич замечает, что, переводя элегию Грея, поэт сознательно добивался интонации личностного присутствия, непосредственного душевного участия в происходящем. Авторский лиризм обнаруживается в поэтике лирического пейзажа, эмоциональном строе кладбищенских размышлений, воображаемом рассказе селянина о жизни и смерти меланхолического певца и, прежде всего, в завершающей элегию эпитафии над могилой чувствительного юноши, которая «бросает на всю элегию отсвет личности поэта»¹.

В сложном комплексе образных компонентов русской элегии рубежа XVIII–XIX вв. в качестве доминирующего утвердился образ чувствительного героя. С одним из его поэтических воплощений – «страдающим певцом» – русский читатель познакомился, прежде всего, благодаря творчеству В.А. Жуковского. Образ чувствительно-го певца, изначально близкий лирической антропологии психологического романтизма Жуковского, впервые воплотился именно в элегии «Сельское кладбище» (1802), где наметились тенденции соотношения духовного облика и судьбы лирического героя с условно-поэтическим типажом «бедного певца». В эпитафии над его воображаемой могилой Жуковским создается идеальный лирический образ меланхолического героя.

Одной из основных отличительных черт духовного облика меланхолического героя Жуковского, который сформировался еще в ранней прозе поэта, является способность центростремительной сублимации контрастных эмоциональных состояний, в результате чего и рождается субъективно гармонизирующее душу состояние меланхолического покоя. Данный тип героя духовно близок автору и наделен всей совокупностью душевных качеств, с авторской точки зрения воплощающих концепцию истинности человеческого бытия.

поэтическим языком и стилем «Сельского кладбища» в своих трудах касались многие известные литературоведы: А.Н. Веселовский, Г.А. Гуковский, И.М. Семенко, В.Э. Вацура, Р.В. Иезуитова, Е.А. Маймин, О.Б. Лебедева, Л.Я. Гинзбург, В.И. Сахаров, В.А. Грехнев, А.С. Янушкевич и др.

¹ Янушкевич А.С. Формирование принципов психологической лирики в творчестве раннего Жуковского // Янушкевич А.С. В мире Жуковского: Творчество Жуковского как художественная система. М., 2006. С. 49–70.

К числу таковых Жуковский относит способность к творчеству, доброту, кротость сердца, чувствительность души, приобщенность к меланхолии, сострадание к несчастным, духовную близость к естественным природным ценностям. В результате образ певца приобретает черты условно-поэтической нравственно-философской модели:

<...> музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.
Он кроток сердцем был, чувствителен душою... (I, 159–160).

Закономерно предположить, что невозможность использования образа певца в качестве средства субъективного авторского самовыражения мотивирована эстетической инерцией, вследствие которой на передний план выступает условно-поэтическая составляющая образа. При этом автор оказывается духовно дистанцирован от предмета поэтизации. Показательно, что элегия «Сельское кладбище» завершается картиной воображаемой могилы поэта, которую созерцает совершенно посторонний зритель, «селянин с почтенной сединою», благодаря чему образ певца еще более объективируется по отношению к авторскому «Я».

Тенденции сближения лирического героя с образом печального юноши-певца, намечившиеся в «Сельском кладбище», более определенно реализовались в элегиях «Вечер» (1806) и «Певец» (1811).

Если в «Сельском кладбище» лирическое повествование о жизни и смерти героя-певца во многом автономно и самоценно, то в «Вечере» образ певца выступает в качестве организующего начала, определяющего характер лирической эмоции и развитие поэтической мысли¹, поскольку лирический герой позиционирует себя именно в образе «младого» мечтательного и чувствительного певца. Явное свидетельство тому – призывание музы в первой строфе («Приди, о Муза благодатна...») (I, 75) и размышление лирического героя о своем будущем в финальной строфе элегии:

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..

¹ Подробнее см.: Янушкевич А.С. Формирование принципов психологической лирики в творчестве раннего Жуковского. С. 50–54.

Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой! (I, 78).

В элегии «Вечер», по определению А.С. Янушкевича, «образ певца функционально значим и содержательно важен: с ним связан мотив общего движения жизни. Оттенки и переходы в природе и подвижные состояния человеческой психики – звенья единого процесса вечной жизни»¹. Кроме того, на наш взгляд, образ певца был значим для Жуковского в плане личностного и творческого самоопределения, чем закономерно мотивируется его последовательная субъективизация, воплотившаяся в усилении автопсихологизма и автобиографизма.

С еще большей очевидностью эти поэтические тенденции нашли воплощение при создании и характеристике образа меланхолического певца в элегии «Певец». Здесь поэт использует уже ставший традиционным со времен «Сельского кладбища» набор элегических формул и лирических ситуаций. В этих произведениях Жуковского просматривается и параллелизм авторских размышлений о поэзии, и сходство пейзажной образной символики, системы мотивов и ключевых поэтических определений, характеризующих героя и его взаимоотношения с людьми и миром:

«Сельское кладбище»

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли...

Он кроток сердцем был, чувствителен душою...

Он странник, родины, друзей, всего лишённый...
(I, 53–57).

«Певец»

Здесь прах певца земля сокрыла...

Он сердцем прост, он нежен был душою...

Но в мире он минутный странник был...
(I, 159).

Однако в эмоционально-психологическом аспекте «Певец» отличен от «Сельского кладбища» гораздо более высоким уровнем психологической конкретики и автобиографизма. Это мотивировано

¹ Янушкевич А.С. В мире Жуковского... С. 45.

не только творческим взрослением Жуковского, но и влиянием трагических жизненных обстоятельств (смерть Андрея Тургенева в 1803 г., закончившееся глубоким разочарованием объяснение с Е.А. Протасовой по поводу чувств к Маше Протасовой, смерть матери, смерть М.Г. Буниной в 1811 г.).

В элегии «Певец» образ страдающего поэта дистанцирован от автора, но эмоциональный резонанс авторских размышлений и поэтической рефлексии героя в «прощальной песне» свидетельствует об их духовной близости:

<i>Автор</i>	<i>Певец</i>
Едва расцвел – и жизнь уж разлюбил...	О, красный мир, где я вотще расцвел...
И ждал конца с волнением и тоскою...	Скорей, скорей в обитель мира...
Твоя душа покой вкусила...	Могила, верный путь к покою...
	(I, 159)

Конкретно-психологическое наполнение сентиментальных условно-поэтических конструкций («дружбу пел», «пел любовь», «во цвете лет угас» и т.д.) и образа «бедного певца», сублимирующего мотивы ретроспекции, придает элегии Жуковского автобиографическое звучание. Не случайно в оценке современников образ певца стал символом нового типа меланхолического героя в поэзии Жуковского, а элегия «Певец» – «собственной визитной карточкой» поэта¹.

Кроме того, субъективизацию образа певца предопределяет господствующая в пределах элегического стиля Жуковского меланхолическая эмоция, способствующая поглощению сферы изображаемого поэтическим сознанием лирического субъекта.

По определению В.А. Грехнева, «элегические эмоции – явления особого рода: в них есть признак всеобщей реакции на мир <...>»; лирическая эмоция «тяготеет к устойчивому в душевной жизни, и даже неопределенные всплески душевных движений в элегиях Жуковского в конце концов все-таки вливаются у него в устойчивую

¹ Янушкевич А.С. «Певец». Комментарий // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 551–552.

область эмоций, неотделимую от самой сущности человеческого духа <...>¹.

В лирическом творчестве Жуковского та же эмоциональная доминанта (усиленная нарастанием уровня психологической конкретики) привела к лирическому сопряжению пластики (и динамики) картин природы и душевного движения лирического героя, что, в свою очередь, повлекло за собой изменения в характере лирической медитации и трансформацию системы ценностных представлений поэта о мире. Прежде всего, это нашло воплощение в элегических произведениях Жуковского, знаменующих этапы формирования его лирической философии. К числу таковых принадлежит элегия «Славянка» (1802), открывающая сборник стихотворений Жуковского 1815–1817 гг. Исследователи относят ее к панорамным² или медитативно-пейзажным³ элегиям Жуковского, черты поэтики которых определяются именно меланхолическим характером мировосприятия. В его пределах лирический герой «Славянки» переживает широкий спектр душевных движений и эмоций по поводу соотношения реального и идеального, настоящего и прошедшего.

Характеризуя свое душевное состояние, лирический герой делает акцент на чувстве одиночества (строфа 27), мечтательности (строфы 7, 10), невольной задумчивости (строфа 8), томном унынии души (строфы 8, 12), которые в совокупности образуют меланхолическое целое, определяющее характер эстетического восприятия и лирической медитации. Мысль лирического героя восходит от эстетического и поэтического освоения «подробностей текущего»⁴ (строфы 1–7; 14–27) к осмыслению идеальных сфер прошедшего (строфы 8–13) и к созданию единой этико-философской картины мира и концепции отношения жизни и поэзии (строфы 28–36). В итоге поэт приходит к ощущению таинственного взаимопроникновения сфер реального (земного), божественного (небесного), ду-

¹ Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. Н. Новгород: Нижний Новгород, 1994. С. 120–121.

² Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. М.: Худож. лит., 1975. С. 104.

³ Янушкевич А.С. От «Славянки» к «Невыразимому» // Янушкевич А.С. В мире Жуковского. Творчество Жуковского как художественная система. С. 148.

⁴ Там же. С. 147–177.

шевного (субъективного) и поэтического (богочеловеческого), персонифицированного в образе «путеводного Гения».

Перемещение во времени и пространстве придает переживаниям меланхолического героя исключительную эмоциональную утонченность, вследствие чего реальность приобретает мистический оттенок, а за гранью видимого поэт начинает прозревать сокровенную, «сверхчеловеческую» духовность:

Как бы сокрытая под юных дров корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подъемлет голос свой
С моей беседовать душою (II, 24).

Стремлением к контакту с «незримой» душой мотивирована ее субъективно-лирическая персонификация в образе таинственного «некто» с темными глазами, сидящего при гробнице. В 32-й строфе лирический герой ассоциирует этого «некто» с «Гением», но номинация образа, долженствующая конкретизировать его содержание, придает ему еще большую емкость и сложносоставную ассоциативность. В исследовательской литературе образ «Гения» чаще всего понимается как олицетворение идеала «чистой красоты», поэзии и вдохновения и интерпретируется в аспекте эстетического, этико-философского содержания и поэтического функционирования в творчестве Жуковского¹.

Однако, на наш взгляд, важно учитывать генетическую связь образов Гения поэзии, вдохновения и «чистой красоты», к которому Жуковский неоднократно обращался в творчестве 1818–1824 гг., и Гения меланхолии, дух и облик которого воплотились в самых ранних прозаических опытах поэта («Жизнь и источник» (1798), «Мысли на кладбище» (1800), «О путешествии в Малороссию» (1803) и др.). Подобное соотнесение допустимо, поскольку со времен Античности меланхолия считалась «болезнью гениев»

¹ Наиболее детально образ Гения в творчестве В.А. Жуковского проанализирован в трудах В.А. Грехнева, И.М. Семенко, Г.А. Гуковского, А.С. Янушевича.

и источником поэтического вдохновения, восторга, воодушевления¹.

Так, при сопоставлении «Мыслей на кладбище» и элегии «Славянка» связь просматривается не только во внешнем облике, но и в пространственно-временном позиционировании образа Гения.

«Мысли на кладбище»: Облокотясь на падший столб, смотрю я вокруг себя – все молчит – почившие спят сном беспробудным. Гений уныния, в белой одежде, с поникшею главою, сидит на гробовых обломках и стонет о бренности всего подлунного (VIII, 41).

«Славянка»:

И некто урне сей безмолвный приседит;
И, мнится, на меня вперил он темны очи;
Без образа лицо и зрак туманный слит
С туманным мраком полуночи (II, 24).

И в том и другом случае сидящий при гробнице Гений вписан в топос ночного кладбищенского пейзажа, что позволяет предположить связь Жуковского с европейскими культурными традициями изображения меланхолии. Образ унылого Гения в определенной степени можно ассоциировать с персонажами картин Себастьяна Бехама «Меланхолия», Доменико Фети «Меланхолия» и Альбрехта Дюрера «Меланхолия». Однако если в «Мыслях на кладбище» образ Гения четко определяется автором как меланхолический и скорбящий «Гений уныния», в «Славянке» смысловые очертания образа Гения оказываются так же расплывчаты и туманны, как и его внешний облик. Но несмотря на призрачность и мимолетность этого явления, лирический герой достаточно ясно сознает его путеводную миссию. Для него он – «тайный вождь», «Гений поэзии», связующий сиюминутное и вечное, указывающий путь, «призвание», которого знакомо герою:

Но где он?.. Скрылось все... лишь только в тишине
Как бы знакомое мне слышится призванье,
Как будто Гений путь указывает мне
На неизвестное свиданье.

¹ Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 3. С. 341.

О! кто ты, тайный вождь? душа тебе во след!
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель
Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет
Иль небеса твоя обитель?.. (II, 24).

Постижение тайны «неизвестного свиданья» и является высшей целью стремлений лирического героя, и это душевное движение находит отклик со стороны высших сил, когда благодаря Гению свидание с неведомым (божественным) становится возможно:

И ангел от земли в сиянье предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен; над юною главой
Горит звезда преображенья (II, 24).

Трудно определить, преображается ли Гений поэзии в светлого ангела («прекрасного сына небес») или является проводником к нему (что гораздо вероятнее), но богочеловеческий характер этого духовного события, подобного откровению, не вызывает сомнений, поскольку постижение божественного возможно только если оно идет навстречу человеку, *incognito* являет себя в мире. Способность человеческого духа постичь его зависит от направленности воли и творческой активности, которая, с точки зрения Жуковского, божественна по своей природе.

Воплощенная в образе Гения сила вдохновенья дарует лирическому герою не только способность узреть чистого, величественно-смиренного ангела, само явление которого становится для героя свидетельством божественного единства бытия, но и ощущение отрешенности от земного мира и душевной сопричастности сфере божественного:

Одна лишь смутная мечта в душе моей:
Как будто мир земной в ничто преобразился:
Как будто та страна знакомей стала ей,
Куда сей чистый ангел скрылся (II, 25).

Преображение Гения уныния в Гения вдохновения знаменует важнейший этап духовного и эстетического развития поэта. В «Мыслях на кладбище» Гений уныния, воплотивший в себе край-

ную степень скорбной самоизоляции, вдохновляет героя на то, чтобы, переступив рубеж скорби, приобщиться к душевному состоянию меланхолии, гармонизирующему его внутренний мир и отношения с миром окружающим. В «Славянке» лирический герой, погруженный в состояние меланхолии, благодаря Гению вдохновения духовно возвышается до пределов божественного.

В более позднем творчестве Жуковского образ Гения, не теряя связи со своими меланхолическими первоисточками, утрачивает и внешнюю (портретную) и пространственную определенность, приобретает еще большую смысловую емкость и сложную ассоциативность (можно сказать, что образ Гения обретает черты символа¹, имеющего внутренний потенциал бесконечного развертывания смыслов), а сама тема Гения сближается с темой Невыразимого.

Поэтические интерпретации образа Гения особенно разнообразны в стихотворениях Жуковского 1818–1824 гг.: «Жизнь» (1819), «Цвет завета» (1819), «К мимопролетевшему знакомому гению» (1819), «Невыразимое» (1819), «Лалла Рук» (1821), «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1821), «Я Музу юную, бывало...» (1823), «Таинственный посетитель» (1824) и др.

В отношении лирического героя к Гению просматривается двойственное постоянство, поскольку, с одной стороны, он знаком и близок герою («Но ты знаком мне, чистый Гений»), с другой – является постоянным объектом его рефлексии. Эта двойственность нам представляется мнимой, так как герою знакомы более мимолетные мгновения явлений Гения, нежели сам Гений и сокровенный смысл его пришествий.

Многозначность образа раскрывается в развернутой системе авторских определений: «таинственный посетитель», «бывалый друг», «прежних дум напрасный пробудитель», «гений мой», «гений чистой красоты», «пленитель безымянной», «беседой сердца был», «ан-

¹ В этот период творчества «Слово “символ” активно входит в поэзию Жуковского, отражая процесс расширения реального смысла вещей, философского обобщения. Вот лишь несколько примеров: “Святой *символ* надежд и утешенья!” (“На кончину Ея Величества, королевы Виртембергской”), “*Символ* любви и жизни молодой” (“Цвет завета”), “Таинственный символ его завета” (“Старцу Эверсу”): Янушкевич А. С. От «Славянки» к «Невыразимому» // Янушкевич А. С. В мире Жуковского. Творчество Жуковского как художественная система. М.: Наука, 2006. С. 166.

гел-хранитель души», «чистый гений», «благодатный посетитель поднебесной стороны», «хранитель, небом данный», «призрак, гость прекрасной», «посол небес крылатый», «гость прекрасный с вышины». Так же развернуто автор ассоциирует явление Гения с пробуждением надежды, любви, думы, поэзии, красоты, жизни, вдохновения, музыки, прекрасного, воспоминания, унылого веселья, тихой надежды, фантазии и т.д.

В содержательной многоаспектности образа Гения Жуковским поэтически воплощена кантианская идея «свободной красоты» (*pulchritudo vaga*), которая не предполагает, «чем должен быть предмет»¹, но означает «самостоятельно существующую красоту»² и является воплощением идеала как «представления о сущности, адекватной какой-либо идее»³.

По сути, для Жуковского познание тайны Гения, присутствие которого поэт ощущает в «лучшие моменты бытия», есть постижение тайн Жизни и Поэзии одновременно; постижение того таинственно-невыразимого, что в элегии «Невыразимое» (1819) поэт определил как «присутствие Создателя в созданье»:

Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие Создателя в созданье –
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчанье понятно говорит (II, 130).

В заключение заметим, что поэтические и эстетико-философские «меланхолические открытия» Жуковского, сделанные в период наибольшей лирической активности, оказали значительное влияние на творческое развитие целого поколения поэтов 20–30-х гг. XIX в. В подтверждение достаточно вспомнить стихотворения: «К моему гению» (1820), «К богу видений» (1821) В.К. Кюхельбекера, «Разговор с гением» (1820), «Гений-хранитель» (1826) А.А. Дельвига,

¹ Кант И. Аналитика эстетической способности суждения // Соч.: в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 231–232.

² Там же. С. 232.

³ Там же. С. 236.

«Видение» (1822) В.И. Туманского, «К музе» (1822) П.А. Плетнева, «Элегия» («Не улетай, не улетай, живой мечты очарованье...», 1824), «Гений» (1825) Н.М. Языкова, «Гений» (1825) А.И. Полежаева, «Проблеск» (1825) Ф.И. Тютчева, «К гению» (1829) М.Д. Деларю, «Гений и поэт» (1830) П.А. Катенина¹.

¹ См.: Янушкевич А.С. От «Славянки» к «Невыразимому» // Янушкевич А.С. В мире Жуковского... С. 160–161.

Евгений Абдуллаев
(Ташкентская православная семинария,
Ташкент, Узбекистан)

ЖУКОВСКИЙ И МИФ О «НЕУЧЕНОСТИ» ПУШКИНА

Вопрос об образованности Пушкина – один из наиболее запутанных в пушкинистике. Упреки в недостаточной образованности, в неглубокости познаний раздавались на протяжении всей его творческой биографии. Признавая за Пушкиным природный ум, многие современники поэта скептически отзывались о его образованности.

С началом посмертной канонизации поэта ситуация менялась. Уже Белинский называл Пушкина «одним из образованнейших людей своей эпохи». (Правда, под этой образованностью он имел в виду в основном «знакомство с иностранными литературами»)¹. Гершензон охарактеризовал Пушкина как «образованного человека 19-го века», обладавшего «просвещенным, рационально-мыслящим умом»².

После окончательной канонизации поэта в 1937 г., когда было официально отмечено столетие со дня его гибели, образованность Пушкина уже не только не бралась под сомнение, но стала непомерно преувеличиваться. Например, в статье М.М. Покровского «Пушкин и античность» (1939), даже утверждалось, что

Пушкин приступил к античным литературам с таким широким и глубоким литературным образованием, какого не имели и не имеют, за крайне редкими исключениями, ученые филологи-классики³.

¹ *Белинский В.Г.* Николай Алексеевич Полевой // Собр. соч.: в 3 т. / под общ. ред. Ф.М. Головенченко. М., 1948. Т. 3. Статьи и рецензии 1843–1848. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0110.shtml.

² *Гершензон М.* Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990. С. 212.

³ *Покровский М.М.* Пушкин и античность // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4/5. С. 49–50. При всей обширной эрудиции в области античной литературы Пушкин вряд ли мог соперничать с филологами-классиками. Латынь он знал неплохо, однако греческого (который не преподавался в Лицее) не знал и греческих авторов читал только в переводах.

Так «неученый» Пушкин через столетие превращался в «сверхученого».

В задачи этой статьи не входит выяснение того, насколько действительно образован был поэт. Цель ее – выяснить, каким образом возник миф о его неучености. А также то, какую роль в складывании этого мифа сыграл Василий Жуковский – первым из современников Пушкина заявивший, что ему еще «надобно учиться и учиться».

19 сентября 1815 г., сообщая князю Вяземскому о своем знакомстве с «молодым чудотворцем Пушкиным», Жуковский писал:

Ему надобно непременно учиться и учиться не так, как мы учились! Боюсь я за него этого убийственного лица – там учат дурно! Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой, пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания! Он истощит себя. Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет! Даже Дерпт лучше Сарского села¹.

Действительно, в сентябре 1815 г. в Лицее еще не завершился период «безначалия». Он начался после смерти первого директора Малиновского в марте 1814 г. и закончился лишь в феврале 1816 г. назначением на эту должность Энгельгарта. С преподаванием в это время было и правда не все благополучно. Как писал Кюхельбекер сестре 14 августа 1814 г.:

Так как у нас нет директора, а один из наших профессоров оставил нас по болезни, другие же часто прихварывают – ты можешь убедиться, что в нашей республике царствует некоторый беспорядок².

¹ Цит. по: *Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники: в 2 т. Т. 1 / сост., биогр. очерки и примеч. В.В. Кунина. М.: Правда, 1985. С. 335–336.*

² Цит. по: *Тынянов Ю.Н. Пушкин и Кюхельбекер // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. Л., 1968. С. 243.*

Этот «некоторый беспорядок», вероятно, не укрылся и от взгляда Жуковского. Отсюда и его фразы об «убийственном лицее» и о том, что «даже Дерпт» был бы для Пушкина лучше Царского села. Тем более что Жуковский до этого дважды в том году побывал в Дерпте, где имел возможность близко познакомиться с профессурой местного университета и глубоко заинтересовался немецкой литературой и эстетикой...¹

Ретроспективно можно заметить, что судить по двум годам «безначалия» обо всех шести годах обучения Пушкина в Лицее не совсем справедливо. Его преподаватели были лучшими на то время – многие из них отучились в Германии, а курсы (эстетики, этики, истории философии и проч.), насколько можно судить по сохранившимся конспектам², не уступали университетским. Серьезным было и преподавание латыни³.

За плечами самого Жуковского тоже были не «геттингены» и «дерпты»; не обучался в Европе и корреспондент Жуковского, Вяземский⁴. Это проясняет обращенные к Вяземскому слова Жуковского, что Пушкину следует учиться «не так, как мы учились». В этих словах, впрочем, слышится не столько сожаление о недостаточности собственного образования, сколько сложившееся к тому времени у Жуковского представление о том, каким должно быть образование будущего литератора.

¹ См.: *Даты жизни и творчества В.А. Жуковского* // Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. / под ред. А.С. Янушкевича. Т. 1–14. М., 1999–2016. Т. 14. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834–1847 гг. / сост. и ред. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. 2004. С. 347.

² См.: *Лицейские лекции* (по записям А.М. Горчакова) // Красный архив. 1937. 1 (80).

³ См.: *Кнабе Г.С.* Русская античность. Содержание, роль и значение античного наследия в культуре России. М.: РГГУ, 1999. С. 123.

⁴ Жуковский окончил Благородный пансион при Московском университете; Вяземский получил домашнее образование (хотя и очень хорошее), а затем недолго (1805–1806) учился в Петербургском иезуитском пансионе и пансионе при Педагогическом институте.

Это представление Жуковский обрисовал еще в статьях 1808 г. «Письмо из уезда к издателю» и «Писатель в обществе»¹. Тот, кто посвящает себя «трудам писателя», пишет Жуковский, «должен забыть приятную рассеянность большого светского круга», «иметь правила твердые, рассудок образованный <...> порядочнее и лучше мыслить»². Не случайно сам Жуковский занимается в этот период интенсивным самообразованием³.

Мнение, что литератор должен иметь «образованный рассудок» и что для этого требуется специальное обучение, было присуще не одному Жуковскому. Аналогичные идеи мы можем найти, например, у писателя и хорошего знакомого Жуковского И.М. Муравьева-Апостола. В «Десятом письме» своих «Писем из Москвы в Нижний Новгород» (1814) Муравьев-Апостол замечает, что везде, «где есть сословия писателей», вступить в него готовятся «точно так, как мы вступаем в военную или гражданскую службу», и только в России писатели остаются дилетантами. В отношении к профессиональным писателям они остаются тем же, что в музыке любители – к настоящим музыкантам⁴:

Положим, что при рождении моем сам Аполлон благословил меня лирою; несмотря на то, если музыка не мое ремесло, то смы-

¹ См.: Жуковский В.А. Эстетика и критика / вступ. ст. Ф.З. Кануновой, А.С. Янушкевича; сост. и примеч. Ф.З. Кануновой, О.Б. Лебедевой, А.С. Янушкевича. М.: Искусство, 1985. С. 158–176.

² Там же. С. 165, 169, 171.

³ «То был период активного самообразования, выработки методики «экстрактов» и конспектов во время чтения. <...> Составлена масштабная, содержащая 23 раздела «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», ведутся «Записки во время чтения стихотворцев», готовятся «примечания к Эшенбурговой теории» и «Лицею» Лагарпа» (Лебедева О.Б., Янушкевич А.С. Примечания // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. / сост. и ред. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М., 2004. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804–1833 гг. С. 463).

⁴ *Сын Отечества*. 1814. Ч. 12. № 7. С. 19–30. Цит. по: *Муравьев-Апостол И.М. Письма из Москвы в Нижний Новгород*. СПб.: Наука, 2002. С. 66. (Литературные памятники).

чок в руках моих никогда не будет тем, что он в руках у Роде¹. – Ко всему необходим навык, и употребление придаст механическую способность даже в действиях ума, которая хотя не заменяет таланта, но дает эту скорость в работе, эту легкую и ясную методу в расположении оной, без коих часто и гений, не только что обыкновенный человек, принимаясь за дело, не знает, с какой стороны начать и где кончить².

Эту идею можно встретить и у другого литератора, И.И. Мартынова (сыгравшего, кстати, значительную роль в основании Лицея)³. 5 февраля 1822 г. на торжественном собрании Академии наук он выступил с речью «Рассуждения о качествах, писателю потребных»⁴, в которой не только подробно остановился на этих «качествах», но и изложил систему поэтапного образования будущего писателя. Это образование следовало начинать с самого детства:

Он приближается к отрочеству; способности его обнаруживаются при каждом случае и различным образом. Примечайте только за ним. <...> Все новое поражает его; он хочет узнать все свойства, причины; спрашивает о том у родителей, у всех окружающих его, и если ответы не удовлетворяют его любопытству, сам вперяет молодой свой ум в предметы и усиливается их постигнуть. Расскажите ему какое происшествие и заставьте пересказать: он ничего главного не выпустит⁵.

Однако самым важным, по Мартынову, является пребывание будущего литератора в «училище». Здесь его обучение должно быть систематичным и последовательным.

¹ Пьер Роде (1774–1830) – известный французский скрипач. В начале 1800-х гг. был придворным солистом в Петербурге.

² *Муравьев-Апостол И.М.* Указ соч. С. 66.

³ Об И.И. Мартынове см.: *Залдкин А.* Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения в начале XIX века. Тифлис, 1902.

⁴ [*Мартынов И.И.*]. Рассуждения о качествах, писателю потребных. Читано в торжественном годичном Собрании Имп. Рос. акад. 5-го февраля членом оных г. действитель. стат. советником и кавалером И.И. Мартыновым. СПб., 1822.

⁵ Там же. С. 11.

Учение его расположено так, что порядок облегчает трудность предметов. Сперва преподаются ему языки и науки, обогащающие память <...>. Из языков, познание отечественного занимает первое место. Русскому писателю надобно заблаговременно узнать все грамматические подробности и важнейшие правила своего языка. <...> Приобретя основательное сведение в правилах русского языка, наш наставник учится языкам древних классиков. В молодых годах должно запастись ключом к сокровищам Греции и Рима <...>. А что писателю нужно понимать греческие и латинские подлинники, кто в том сомневается?¹

Эти представления отражали происходивший в России начала XIX в. процесс профессионализации литературной деятельности и одновременно резкое повышение социального статуса «сочинителя»². В этом контексте становится понятно, почему при первой встрече Пушкин (который меньше чем через год уже выпускался из Лицея) казался Жуковскому еще «неученым», чтобы серьезно заниматься литературой.

По-видимому, этот отзыв о Пушкине стал известен не только Вяземскому, но и другим литераторам, входившим в круг ближайшего общения Жуковского. Через два года, почти в тех же словах, что и Жуковский, отзовется о Пушкине Константин Батюшков. В письме А.И. Тургеневу (10 сентября 1818 г.) Батюшков интересуется:

Сверчок что делает? Кончил ли свою поэму? Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не выйдет путного, если он сам не захочет. <...> Как

¹ [Мартынов И.И.]. Рассуждения о качествах, писателю потребных. С. 12–14.

² Здесь уместно вспомнить, что аналогичные обвинения – в недостаточной образованности и слабом знании латыни – выдвигались и против Шекспира его коллегами-литераторами. См.: Шайтанов И. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 97–99, 108–112, 294–300. (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр., вып. 1425). Это столь же не случайно совпало с резким повышением статуса сочинителя в Англии конца XVI в.

ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!¹

Батюшков – как и Жуковский – сам в Геттингене не обучался; «формальное» его образование ограничилось петербургскими пансионами Жакино и Триполи (правда, как и Жуковский, он много занимался самообразованием). Однако у Батюшкова в 1810-е гг. возникает идеал поэта, главным в котором становится его воспитание (образование) и образ жизни².

Если образ жизни имеет <...> сильное влияние на произведение поэта, то воспитание действует на него еще сильнее³.

И как для Жуковского, так и для Батюшкова молодой Пушкин оказывался идеальным объектом, своего рода *tabula rasa* для реализации собственной эстетико-педагогической программы.

Надо сказать, что сам Пушкин на первых порах с легкостью принимал роль «неученого» неопита. Например, в 1818 г. он приходит своего рода «учеником» к Катенину⁴. Да и позже с готовностью принимает упреки в недостаточной образованности. Легко признается в грамматических ошибках, в том, что «совершенно забыл латинский язык» (XI, 148, 150)⁵, в том, что «ненавидит» немецкую ме-

¹ Цит. по: *Батюшков К.Н.* Нечто о поэте и поэзии / сост., вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева. М.: Современник, 1985. С. 343.

² См.: *Зубков Н.* Опыты на пути к славе: О единственном прижизненном издании К.Н. Батюшкова // Зорин А.Л., Зубков Н.Н., Немзер А.С. Свой подвиг свершив: О судьбе произведений Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского. М., 1987. С. 296.

³ *Батюшков К.Н.* Указ. соч. С. 132.

⁴ Пушкин, вспоминал Катенин, «встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: “Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи”» (*Катенин П.А.* Воспоминания о Пушкине // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1 / сост. и коммент. В.Э. Вацура, М.И. Гиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.Л. Левкович. М., 1985. С. 186).

⁵ Здесь и далее тексты Пушкина цитируются по изданию: *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959 (feb.web.ru/feb/pushkin/) с указанием номера тома римской, номера страницы – арабской цифрой в скобках.

тафизику (XIII, 320–321)... Или может простодушно заявить М.П. Погодину:

Как рву я на себе волосы часто, что у меня нет классического образования; есть мысли, но не на чем их поставить...¹

Эта готовность казаться «неученым» объяснялась, по-видимому, не только особенностями пушкинского темперамента. Идеал поэта, тратящего годы на получение систематического образования, был во многом до- и предромантическим. Романтизм, с его культом гения, меняет картину: для гения такое образование не является необходимым; зачастую, напротив, «отсутствие классического образования оказывалось преимуществом»². Пушкин одним из первых чутко уловил эту «смену парадигм». Хотя по общеэстетическим взглядам он принадлежал, скорее, к предромантикам, свой поэтический образ он выстраивал (сознательно или неосознанно) по канонам наступившего романтизма. В том числе – и в отношении к образованию.

Надо сказать, что подобные – романтические – представления о гении проникали в русскую культуру и раньше. Например, в статье «О критике», опубликованной в 1804 г. в издававшемся Мартыновым «Северном вестнике», отмечалось:

Теория Художеств подобна начальным Наукам. *Гений* мог бы и тогда узнать теорию, когда ее совсем не было³.

Однако вплоть до середины 1830-х гг. представление о свободно творящем гении, который сам, без всякого длительного обучения, способен «узнавать теорию», парадоксальным образом сочеталось с идеей, что именно гению необходимо строгое и фундаментальное образование.

¹ *Погодин М.П.* Из «Дневника» [Запись от 10 мая 1830 г.] // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 29.

² *Richardson A.* Literature, Education and Romanticism: Reading as a Social Practice, 1780–1832. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 252.

³ *О Критике.* (Из Фран[цузских] жур[налов]) // Северный вестник. 1804. № 2. С. 27. При этом, правда, добавлялось: «<...> Но ежели она есть, то он доволен, что не обязан ее отыскивать» (Там же).

Пушкину, вероятно, были известны и эти идеи, и желание Жуковского (и Батюшкова) «отправить» его в Геттинген. Своеобразным откликом Пушкина стала антитеза Онегин – Ленский во второй главе романа «Евгений Онегин» (февраль – октябрь 1824 г.). Это была антитеза не только двух психологических типов, но и *двух типов образования*: домашнего образования Онегина – и университетского («геттингенского»), полученного Ленским: «Он из Германии туманной // Привез учености плоды...» (VI, 33).

Ленский, по подсчетам Ю. Лотмана, обучался в Геттингене «с 1817 (или 1818) г. по весну 1820 г.»¹. Иными словами, он был «отправлен» Пушкиным в этот университет как раз в то время, когда питомцем Геттингена, по желанию Жуковского и Вяземского, должен был стать сам поэт. Так в Ленском Пушкин (не без иронии) воплотил тот вариант образования, который прочили ему самому.

Отчасти в ироничном ключе описано и домашнее образование, полученное Онегиным; вспомним почти хрестоматийное: «Мы все учились понемногу, // Чему-нибудь и как-нибудь...». И все же «неученость» Онегина оказывается автору ближе: за ней скрывались, как и в случае самого Пушкина, достаточно обширные познания. Как писал М. Альтшуллер:

И сам Онегин, и его окружение обладают широкими и разно-сторонними познаниями и интересами: античность и современные экономические и исторические проблемы, европейская и русская литература, философия и публицистика XVIII–XIX вв. и др. Об этом так много писалось, что приводить цитаты о Гомере, Феокрите, Адаме Смите мы считаем излишним. Заметим только, что многие существенные упоминания имен и идеологических течений, характеризующие политический и литературный кругозор Онегина: де Сталь, Шатобриан, Байрон, Жомини, карбонарии и пр., – встречаются лишь в черновых набросках или в пропущенных строфах. Пушкин <...> сознательно говорит о занятиях и интересах своего

¹ Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990. «Евгений Онегин»: комментарий. СПб., 1995. С. 482.

героя шутливо, небрежно. Все, что тот знает, пришло к нему легко, без трудов и усилий¹.

Это можно было бы сказать и об образовании самого Пушкина, чей круг чтения (и, следовательно, самообразования) оставался значительным на протяжении всей его последующей биографии. Это подтверждается и описями его личных библиотек², и многочисленными статьями и рецензиями, которые Пушкин писал для «Литературной газеты» и, позже, для своего «Современника»...

С середины 1820-х обвинения Пушкина в недостаточной образованности начинают звучать снова. Вот лишь несколько наиболее характерных высказываний (курсив во всех цитатах мой. – Е.А.).

Пушкин <...> ведет своего «Онегина» чем далее, тем хуже. <...> Во всем видна прежняя школа и самая *плохая логика*. Со всем тем Пушкин – поэт и недюжинный, *недостаток хорошего чтения* и излишество дурного весьма вредят ему (А. Марлинский – М. и Н. Бестужевым, 25 декабря 1828 г.)³.

[Николай Надеждин] высоко ценил его (Пушкина. – Е.А.) талант, хотя всегда сожалел, что *познания* нашего поэта *были очень бедны* в сравнении с познаниями и многосторонней образованностью Шиллера и Гете, особенно Гете (Из воспоминаний М. Чистякова, слушавшего в начале 1830-х гг. лекции Надеждина)⁴.

¹ Альтшуллер М.Г. «Евгений Онегин»: Et in arcadia ego // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 16/17. СПб., 2004. С. 223–224.

² См.: Модзалевский Б.Л. Каталог библиотеки <А. С. Пушкина> // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комис. для изд. сочинений Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. Академии наук. СПб., 1910. Вып. 9/10; Лобанова Э.Ф. Михайловская библиотека Пушкина: Попытка реконструкции каталога. М.: МЦНТК, 1997.

³ Цит. по: *Декабристы: эстетика и критика* / сост., вступ. ст. и коммент. Р.Г. Назарьяна, Л.Г. Фризмана. М.: Искусство, 1991. С. 194.

⁴ Цит. по: *Мани Ю.В. Русская философская эстетика (1820–1830-е годы)*. М.: Искусство, 1969. С. 74.

<...> По образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкин не мог сравнивать себя с ним (К. Полевой, из «Записок»)¹.

Гений с учением похож на венгерское: чем оно старше, тем крепче. <...> Гете и теперь учится: в нем нет прежнего пылу, но формы его все лучше и лучше. Неидет стих, он схватится за прозу. Байрону надо было рано умереть, Шиллер напрасно рано умер, но он был жертвой своего восторга. Пушкину *надо учиться* или ранее умереть (С. Шевырев, запись в дневнике, июнь 1829 г.)².

Эти обвинения, безусловно, отличались от аналогичных высказываний Жуковского и Батюшкова. Во второй половине 1820-х гг. Пушкин – уже признанный национальный поэт, и о его «неучености» его оппоненты говорят, сопоставляя его с другими национальными поэтами – Гете, Байроном, Мицкевичем. Впрочем, в отклике Шевырева повторяется прежнее, предромантическое представление о поэте-гении, которому «надо учиться». Это не удивительно, поскольку литературные амбиции московских любомудров, лидером которых был Шевырев, держались почти исключительно на их «учености». (Единственный из них, подававший серьезные надежды – Веневитинов – умер молодым; других значимых поэтов, которых можно было бы противопоставить Пушкину, Баратынскому или Вяземскому, в кругу любомудров не произошло).

С конца 1830-х гг., с утверждением в русской литературе романтизма, сама постановка вопроса об учености литератора отходит на

¹ Полевой К.А. Из «Записок» // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 61. Впрочем, у К. Полевого можно встретить и похвалу образованности Пушкина: «Он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в память» (Там же. С. 72).

² ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14 (Дневник С.П. Шевырева за 1829–1830 годы). Л. 112. Цит. по: Мазур Н.Н. Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования / под ред. Дэвида М. Бетеа, А.Л. Осповата, Н.Г. Охотина и др. М., 2001. С. 54–105. (URL: www.ruthenia.ru/document/532136.html). См. в этой статье и о других инвективах московских любомудров в адрес «необразованного» Пушкина.

второй план. Отчасти этому способствовала начавшаяся канонизация Пушкина. Его репутация «неученого» переосмысливается в свете романтической эстетики гения, а также в русле общей демократизации литературного процесса. У следующего поколения крупных литераторов (Гоголь, Лермонтов, Белинский...) уровень образования был даже ниже пушкинского; однако требование «учиться и учиться» в отношении них уже не выдвигалось.

Таким образом, миф о неучености Пушкина – у «истоков» которого стоял Жуковский – отразил в себе смену эстетических парадигм (предромантической и романтической), а также процесс профессионализации литературы и изменения статуса литератора. Хронологически этот период ограничен серединой 1810-х – 1820-ми гг., которые как раз и прошли в русской литературе «под знаком» Пушкина. Впрочем, вопрос о том, каким должно быть образование литератора, остается дискуссионным и по нынешний день...

В.А. Кошелев
(Новгородский государственный университет)

БАЛЛАДЫ ЖУКОВСКОГО: «ДЕТСКАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Поздней осенью 1831 г. в Москве собираются известные русские литераторы. Приезжает В.А. Жуковский – Н.М. Языков 4 ноября сообщает братьям из Москвы в Симбирскую губернию:

Я имею счастье всякий день видеть Жуковского; он написал очень много нового: скоро выйдут (уже напечатаны: дело остановилось за гравюрою) его баллады – прежние и много новых; кроме этого, он рассказал стихами некоторые русские сказки: прелесть! Одна из них будет в первом № «Европейца». Пушкин печатает свои повести в прозе и написал тоже много нового и, между прочим, сказку под названием «Балда»!

В декабре в Москву приезжает Пушкин – Языков пишет братьям:

Пушкин здесь. <...> Стихов написал, кажется, немного; сказки его, сколько я могу судить об них по несколько стихов, им читанных, далеко отстали от Жуковского: это не его род; у Жуковского – точно неподражаемое искусство рассказывать просто и поэтически приключения самые простые, а это, брат, важная вещь – и иногда главное! В одном из первых №№ «Европейца» ты увидишь его сказку о мышах и лягушках (он ее не кончил и не кончит): посмотри, как все это прекрасно! Вообще по языку чудо в нашей словесности¹.

Языков знаком и с новыми сказками Пушкина, и с новыми сказками Жуковского – но отдает предпочтение Жуковскому (пушкинские творения в этом роде «далеко отстали»). Причина в присущем

¹ Исторический вестник. 1883. № 12. С. 553–554.

Жуковскому «неподражаемом искусстве рассказывать просто и поэтически приключения самые простые».

Эта «простота» стихотворного пересказа прозаических «приключений» стала предметом специального исследования А.С. Янушкевича, который задался нехитрыми на первый взгляд вопросами: зачем вообще Жуковский занимался «стихотворными переложениями прозы? почему он предпочитал поэтический способ передачи мыслей прозаическому? какой эффект при этом достигался? и т.п.¹ Зачем, например, потребовалось ему в 1843 г. перекладывать нерифмованными ямбами прозаическую новеллу Проспера Мериمة «Маттео Фальконе»?

Жуковский, указывает исследователь, не проводил, собственно, резких границ между «поэтическим» и «прозаическим» способом словесного отражения действительности. Для последователей Карамзина вообще было характерно восприятие прозы как «питательницы стиха» (К.Н. Батюшков), а поэзии – как «неостепенившейся» прозы. В представлении «арзамасца» Жуковского (в протоколе 20 заседания общества, 1817) рука об руку выступают «поэзия-дева» и «благородная проза» (II, 60). Еще точнее это романтическое соотношение выразил Пушкин: «Лета к суровой прозе клонят...» – тяга к «прозаическому» способу освоения действительности возникает с достижением определенного возраста...

Между тем еще современник Пушкина С.П. Шевырев указал на важнейшее отличие его прозы от прозы других поэтов: «Никто из писателей России и даже запада, равно употреблявших стихи и прозу, не умел полагать такой резкой и строгой грани между этими двумя формами речи, как Пушкин». И далее тот же критик весьма невысоко оценивает прозу предшествовавшую, которая «есть какой-то междоумок между стихами и прозой, который известен под именем прозы поэтической или, правильнее, прозы риторической, который заимствуется от стихов метафорами и сравнениями и

¹ Янушкевич А.С. Опытты стихотворных переложений прозы в творчестве Жуковского 1830-х гг. // Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 222–242.

блещет на произведениях современной нам литературы, много свидетельствуя об упадке общего вкуса»¹.

Жуковский же пытался экспериментировать как раз в границах отмеченного Шевыревым «междоумка». Его интересовали пути создания, с одной стороны, «*прозы поэтической*» – и, с другой стороны, «*поэзии прозаической*». «Важнейшим критерием его отношения к поэзии, – указывает А.С. Янушкевич, – становится критерий простоты. Понятие особого простого слога он последовательно развивает в письмах, прежде всего к П.А. Плетневу: “Этот слог должен составлять средину между стихами и прозой, то есть, не быв прозаическими стихами, быть однако столь же простым и ясным, как проза, так чтобы *рассказ, несмотря на затруднения метра, лился как простая, непринужденная речь*”, “с размером стихов старался согласить всю простоту слога”»².

Простота как критерий настоящей поэзии в представлении Жуковского вовсе не становилась каким-то «шагом» к прозе. Он особенно ценил в поэтической форме то, что позднее было названо установкой на «рецитацию», т.е. на *звучание* выражения, восстанавливаемое даже при зрительном восприятии текста. При рецитационной форме текста «самое звучание входит в художественный замысел и создает учитываемый эффект»³. Именно этого эффекта Жуковский стремился достигать уже в первых своих вещах.

Вот показательный пример. В седьмой главе «Онегина», в картине летнего вечера, Пушкин употребил звуковой образ из элегии Жуковского «Сельское кладбище» (1802): «Был вечер. Небо меркло. Воды // Струились тихо. *Жук жужжал*». Ср. у Жуковского: «Лишь изредка, *жужжа*, вечерний *жук* мелькает...». Блистательная аллитерация, соединенная с образом жужжащего жука, подчеркивала именно исходную *тишину* летнего вечера: среди дневных забот и шумов *жука* просто не слышно.

¹ Шевырев С. Сочинения Александра Пушкина. Томы IX, X и XI // Пушкин в прижизненной критике. 1834–1837. СПб., 2008. С. 348.

² Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 225–226.

³ Томашевский Б.В. Поэтика. Л., 1928. С. 71.

Этот жужжащий жук в пушкинском романе вызвал едкое замечание Булгарина по поводу «нового действующего лица»¹. В.В. Набоков в комментарии уточнил: «<...> на самом деле это герой очень старый» – это «непременный спутник сумерек в английской поэзии» (и далее привел шесть примеров из Шекспира, Коллинза, Грея, Макферсона, Саути и др.)². В.В. Виноградов, однако, точно соотнес «жука» и вообще пушкинское описание летнего вечера именно с элегией Жуковского, представив его как «прием простого реалистического названия предметов и протекающих картин без всяких “поэтических” украшений»³. Но в том-то и дело, что если Пушкин ограничивался «называнием предметов и протекающих картин», то Жуковский в «Сельском кладбище» включал «вечернего жука» (наряду с прочими «персонажами»: «шумящие стада», «усталый селянин» и др.) в атмосферу своеобразного *действия*, создававшего лирический «сюжет».

Эта специфическая «назывательная сюжетность» создается прежде всего средствами особенного «поэтизированного» («рецитационного») рассказа. Вот еще более показательный пример, приведенный А.С. Янушкевичем. В середине 1820-х гг. Жуковский заинтересовался прозаической сказкой братьев Grimm «Dornröschen» («Царевна-шиповник»); заинтересовался именно как произведением для детского чтения – и опубликовал ее прозаический пересказ в предназначенном для детей журнале⁴. Летом 1831 г. он переложил этот же текст стихами – вышла классическая сказка «Спящая царевна». Если сопоставить два эти переложения, то видно, что в поэтическом рассказе материал значительно развернут, «эпизирован», сопровождается множеством деталей, по видимости вполне «описательных».

В прозаическом пересказе описание спящей царевны занимает буквально половину предложения: «<...> там, на полу, лежала Царевна, Колючая роза, прекрасная, как день, и спящая глубоким сном

¹ Булгарин Ф.В. «Евгений Онегин», роман в стихах, глава VII // Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830. СПб., 2001. С. 233.

² Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 487–488.

³ Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 110.

⁴ Детский собеседник. 1826. Ч. 1, № 2. С. 106–110.

<...>». В стихотворной сказке – детальная, развернутая картина, как будто предваряющая дальнейшее действие:

Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалась от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косою
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она (IV, 95).

Это развернутое, детализированное описание как будто вполне статично, – но в то же время наполнено глаголами, предполагающими движение, динамику: *распылалась, блестит, обвились, брошен, горят* и т.д. Вот-вот – и из уст рассказчика прозвучит то долгожданное *вдруг*, после которого все наполнится «утраченным» действием. Этот динамический нарратив определяет и общую структуру повествования, неожиданно приближенного к значимой детализации. Жуковский, собственно, не «переводит» и даже не «пересказывает»: он *заново воссоздает* действенное описание, наполненное изначальной динамикой.

Тяготение к такого рода «действенному» поэтическому рассказу обнаружилось у Жуковского довольно рано – и определило неожиданное для современников обращение его к периферийному и не

вполне сформированному жанру предшествовавшей литературы – к лироэпическому жанру *баллады*¹. Этот жанр англо-шотландской народной поэзии XIV–XVI вв. (песни о пограничных войнах, о благородном разбойнике Робин Гуде и т.д.) стал популярен в европейской поэзии XVIII столетия – и породил литературную балладу, «застрельщиком» которой в России стал Жуковский. Он ориентировался на немецкую форму баллады (Г. Бюргер, Л. Уланд, Ф. Шиллер, И.В. Гете и др.), восходившую еще и к немецким народным песням.

Уже первый цикл баллад Жуковского, созданный в «доарзамасский» период («Людмила», «Кассандра», «Громобой», «Светлана», «Адельстан», «Ивиковы журавли», «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Ахилл», «Эолова арфа», «Пустынник» и др.) вызвал бурную полемику, в которой «несогласных» с выбором автора было даже больше, чем «солидарных» с ним. Ю.Н. Тынянов объясняет эти споры установкой «балладника» на *переводной* жанр: «<...> готовый жанр был незаконен в эпоху, когда лирика искала новых жанров». И далее: «Привнесение готовых жанровых образований с Запада, готовых жанровых сгустков, не совпадает с намечающимися в эволюции современной русской литературы жанрами и вызывает отпор»².

Но это – вполне «умозрительное» заключение, не очень применимое к процессу естественного литературного развития.

Во-первых, возникший в 1810-е гг. шум вокруг баллад Жуковского был для поэта скорее полезен, чем вреден с точки зрения литературной тактики. Он обеспечил ему соответствующий «пиар» – и утвердил фигуру «балладника» в качестве вождя и объединителя современной русской поэзии. Не случайно же Жуковский уже в 1820 г. ощущал себя «учителем» молодых писателей – как указывает хотя бы надпись его на портрете, подаренном Пушкину: «побежденный» – но все же *учитель!*

Во-вторых, в тогдашней русской словесности, по большому счету, и не было вполне «оригинальных», не «привнесенных с Запада» жанровых образований. И то, что писатель творит в границах заим-

¹ См.: *Иезутова Р.В.* Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 138–162.

² *Тынянов Ю.Н.* Архансты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 39–40.

ствованного жанра, не означало его «не национальности». Крылов в ту эпоху становился «национальным» как раз в рамках «заимствованного» жанра басни. А про Жуковского К.Н. Батюшков, скептически относившийся к балладному жанру и считавший его «безделками», воскликнул в 1814 г.: «Мы должны гордиться Жуковским: *он наш, мы его понимаем!*»¹

В-третьих, сам характер творческой переработки Жуковским немецких «образцов» и «соперничества» с ними отнюдь не противоречил «намечающимся в эволюции русской литературы» процессам. Более того, это был вполне естественный процесс, сопоставимый, например, с созданием классических текстов детской литературы XX в. Ведь и «Приключения Буратино» А. Толстого, и «Доктор Айболит» К. Чуковского, и «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, и «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова в своей сюжетной основе оказываются не чем иным, как подражаниями западным «образцам».

При этом подражание в «детской» литературной традиции коренным образом отличается от «взрослого» переложения. Так, в 1793 г. И.М. Муравьев-Апостол, переводя на русский язык сатирическую комедию Р.Б. Шеридана «Школа злословия», первым делом русифицировал имена персонажей. Сэр Питер стал именоваться Досажаяевым, Чарльз – Ветроном, Джозеф – Лукавиным, сэр Бенжамин – Клешниним-племянником и т.п.² «Взрослому» зрителю, воспринимавшему сюжет комедии, было важно, чтобы дело происходило в знакомой ему России. Напротив, А.Н. Толстой, переделывая в 1935 г. классическую сказку К. Коллоди о «похождениях одной марионетки», вовсе не превращает Пиноккио в персонажа русского кукольного театра (Петрушку), но изменяет имя. «Марионетка» превращается в «деревянную куклу» с «нерусским» именем Буратино. Столь же экзотически для русского уха звучат и другие имена героев, выдуманные уже Толстым: папа Карло, Карабас Барабас, Мальвина, Пьеро, пудель Артемон... А сам сюжет, заново придуманный, оказался начисто лишен классического морализаторства.

¹ Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 223, 247.

² См.: Кубасов И. Драматические опыты И.М. Муравьева-Апостола // Изв. Отд-ние рус. яз. и словесности Академии наук. СПб., 1903. Т. 8, кн. 4. С. 304–319.

Толстовский пудель Артемон мало чем отличается от коллодиевской собаки Алидоро, – но автору отчего-то важно назвать его иным – тоже «нерусским» – именем. Ребенок должен попасть в «небывалую» страну – и самостоятельно сориентироваться в ней с помощью так похожей на него жизнерадостной, непослушной и несокрушимо деятельной деревянной игрушки... Словом, «детская» обработка инонационального сюжета обустроивается в русской словесности в соответствии совсем с другими законами, чем переработка «взрослая». И благополучно присутствует в ней в нескольких вариантах, отнюдь не «отменяющих» друг друга.

Поэтому, например, в сборнике баллад Жуковского благополучно соседствовали (дополняя друг друга) целых *три* переработки одной баллады Бюргера: «Людмила» (1808), «Светлана» (1812) и «Ленора» (1831). При этом последняя – собственно перевод знаменитого немецкого оригинала – оказывалась наименее интересной и востребованной, а вторая – отдаленный «перифраз» этой же баллады, соотносившийся с немецким оригиналом только исторически, – оказалась самой значительной и востребованной.

Е.В. Душечкина посвятила «Светлане» большое специальное исследование, предметом которого стал странный феномен: имя героини баллады Жуковского, одно из многих условно-«литературных» имен, довольно часто и активно появлявшееся в русской поэзии (и невозможное в практике именованья реальных людей) в течение XIX столетия оказалось востребовано в житейском бытовании и, несмотря на сопротивление церкви, сделалось обыкновенным русским именем (хотя и отсутствовало в святцах)¹. Причина этого феномена довольно проста: имя *Светлана* сделалось особенно употребительным в детском бытовании из-за чрезвычайного успеха баллады Жуковского именно у детей.

В той же книге Е.В. Душечкиной приведено множество примеров, как после появления «Светланы» в кругу поклонников баллады оказались не только любители поэзии, но прежде всего дети и «барышни». Они охотно заучивают балладу наизусть, декламируют на вечерах и раутах. Баллада откладывается в сознании читателей целиком, фрагментами, отдельными строчками, приобретает свою «общественную» жизнь.

¹ Душечкина Е. Светлана: Культурная история имени. СПб., 2007. 277 с.

Как ни странно, эта «общественная» жизнь литературного произведения оказывается напрямую связана с восприятием его маленькими детьми – теми самыми «от двух до пяти». В июне 1815 г. Жуковский в одном из писем не без удовольствия сообщает о визите, нанесенном им Е.И. Кутузовой, вдове фельдмаршала. Хозяйка подвела к поэту своего маленького внука; «его заставили прочесть мне *Светьяну*, он сперва упирался, потом зачитал и, наконец, уж и унять его было нельзя»¹. Баллады Жуковского «самоутверждались» в детском чтении, что называется, «снизу» – от показательной увлеченности самих детей.

Осенью 1815 г. Жуковский посещает царский двор в Павловске, где в течение трех дней читает свои баллады, приводившие слушательниц в восторг. Именно после этого визита «балладник» получил высочайшее предложение стать чтецом императрицы Марии Федоровны (а затем и воспитателем наследника престола: собственно «воспитательный» пафос его созданий оказывался несомненным!). В 1820 г. Н.И. Греч включил «Светлану» в составленную им «Учебную книгу по российской словесности...», и с этого времени баллада Жуковского прочно вошла в многочисленные хрестоматии. А хрестоматийные тексты, как правило, играют особенную роль: известные многим, они становятся «узнаваемыми» в различных языковых, культурных и даже бытовых ситуациях.

Показательно, что «отправным моментом» для баллад Жуковского стала именно баллада Г.Э. Бюргера «Ленора» (1773) – литературная обработка фольклорного сюжета о женихе-мертвеце. И дело не в том, что она стала широко известной в мировой литературе (сразу же была переведена на датский, шведский, голландский, английский, португальский, фламандский, латинский и французский языки)². Именно этот мистический сюжет, ставший в передаче Жуковского «поэтическим приключением самым простым», оказывался неожиданно привлекательным для «неиспорченного» восприятия ребенка.

¹ *Уткинский сборник*. Вып. 1: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой. М., 1904. С. 14.

² *Сазонович И.* «Ленора» Бюргера и родственные ей сюжеты в народной поэзии европейской и русской. Варшава, 1893. С. 6–7.

Во-первых, уже в «Людмиле» он открывал для читателя, воспитанного на классицистических и сентиментальных образцах, непривычную для него атмосферу таинственного, исключительного, фантастического, ужасного. Ф.Ф. Вигель вспоминал:

Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Лендра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника. Надобен был его (Жуковского. – В.К.) чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения¹.

Во-вторых, в этом сюжете утверждалась новая логика человеческого поведения, для многих современников – непонятная. Так, оба участника известной критической «полемики о балладе» 1816 г. (Н.И. Гнедич и А.С. Грибоедов) неожиданно «сошлись» в указании допущенных автором «Людмилы» несообразностей и нарушений здравого смысла. Гнедич замечал:

Мертвец говорит о себе Людмиле так открыто, что словами его она не могла быть введена в заблуждение; он ясно говорит, что дом его Саван, крест и шесть досок,
что
Путь их к келье гробовой.

И тем не менее героиня баллады готова мчаться в это невеселое будущее вместе с мертвецом. Грибоедов пишет об этой «несообразности» с язвительностью:

Наконец, когда они всего уже наслушались, мнимый жених Людмилы признается ей, что дом его гроб и путь к нему далек. Я бы, например, после этого ни минуты с ним не остался, но не все

¹ Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М., 1864. Ч. 3. С. 135–136.

видят вещи одинаково. Людмила обхватила мертвеца нежною рукой и помчалась с ним¹.

Обоих критиков смущает не сам факт появления мертвого жениха, а поведение героини в фантастической ситуации. Между тем Жуковский хочет «передать страстный порыв героини, силу ее чувства, которая делает ее невосприимчивой ни к каким доводам рассудка»². Вместо рассудочного «здравого смысла» – особенная логика подчинения «своевольному хотению», столь привычная именно для детского сознания. Возникает тяготение к тому, что Пушкин позднее назвал «самостояньем человека».

В-третьих, даже соотнесение этого сюжета с «простонародным» фольклорным колоритом не отменило сюжетной зависимости «Светланы» от «Леноры» Бюргера. Жуковского заинтересовала поэзия святочных гаданий – почему? Да только потому, что она помогает автору завершить повествование «счастливым концом»: явление мертвеца и все страхи, с ним связанные, возникли у трепетной девушки во время «страшного гадания» перед зеркалом. Что еще может присниться во время подобного действия, «подогретого» к тому же общей атмосферой «крещенского вечера» и «святочного сна»? Жуковскому в данном случае необходим «светлый» финал: «О! не знай сих страшных снов // Ты, моя Светлана...» И даже: «Улыбнись, моя краса, // На мою балладу...».

Этот светлый финал определил восприятие общего балладного мира Жуковского: перед нами – стабильный, приветливый и прекрасный мир, «где несчастье – лживый сон; счастье – пробужденье». И именно этот мир «Светланы» был осознан как подлинный мир и для остальных баллад, в которых выводились зловеющий рок, наказание, предчувствие – и управляли основными событиями: «Кассандра», «Ахилл», «Ивиковы журавли» и т.д. Трагические финалы тех баллад (удаленных во времени и пространстве) представляли как будто «недействительными» перед той картиной, которая открывалась из «простого, бесхитростного рассказа»: «Снег на солнышке блестит, // Пар алеет тонкий... // Чу!.. в дали пустой гремит // Колоколь-

¹ *Сын Отечества*. 1816. Ч. 31, № 27. С. 8; № 30. С. 159.

² *Иезутова Р.В.* Баллада в эпоху романтизма. С. 151–152.

чик звонкий...». Это – то «родное», которое оказывалось ближе всяких античных, «богатырских» или «рыцарственных» страстей.

Более того вдохновленный особенным успехом «Светланы» («нестрашной» бюргеровой «Леноры», в которой основное балладное событие оказывается «приснившимся»), Жуковский очень скоро выработал основной принцип создания собственных баллад. В центре их явлена некая *игровая ситуация*, которая, с одной стороны, кажется вполне серьезной и провоцирует эффект «страшного» и «таинственного», с другой – оказывается «невсамделишной». Отношение к «приключению» в этом случае оказывалось похоже на отношение ребенка к игре, в которой, например, «убитый» казак мог через несколько минут вскочить и заявить, что он «убит понарошку». Этот *игровой эффект* привносил в семантику его созданий особенную прелесть, сразу же оцененную современниками.

Восприятие баллад Жуковского очень скоро стало своеобразным «перевертышем» – по принципу, присущему именно детскому сознанию: *он пугает, а мне не страшно!* Именно этот эффект стал общим местом известных пародий на баллады Жуковского. В самых известных из этих пародий обыгрывался именно этот «детский» эффект.

В комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815) «балладник» Жуковский был выведен в облике жалкого поэта Фиалкина. Вот, в пятом акте, он в темноте сталкивается с банщиком Семеном (олицетворением здравого смысла) – и пугается. Далее происходит знаменательный диалог:

Фиалкин

Насилу я дышу: ах, вы мне показались
Тем мертвецом, что в гроб невесту...

Семен

Вся беда

От старых мамушек.

Фиалкин

Я мамушек не знаю.

Семен

Так мертвецами где ж напуганы?

Фиалкин

В стихах,

В балладах, ими я свой нежный вкус питаю;
И полночь, и петух, и звон костей в гробах,

И чу!.. все страшно в них; но милым все приятно,
Все восхитительно! хотя невероятно.

Семен

И в сказках та же гиль. Бывало, целый день
Я слушать был готов о шестиглавом змее,
О ведьмах киевских, Полкане и Кашее;
Зато всю ночь дрожу!..

Фиалкин

Я вздрагиваю сам...¹

Эффект восприятия баллад прямо сопоставляется с восприятием лубочной сказки, которую на ночь читали или рассказывали детям. Шаховской хотел вроде бы высмеять Жуковского (чьи сочинения недостойны «взрослого» восприятия) – и не догадывался, что эти же самые сказки очень скоро станут основным источником классической стихотворной сказки вообще... А поведение самого Фиалкина напоминает поведение именно ребенка, который сам пугается «мертвецов в стихах» – но тем не менее охотно создает их, понимая, что может завершиться именно «понарошку».

Другой выпад против Жуковского – «Комедия против комедии, или Урок волокитам» М.Н. Загоскина (1815). Сочинитель использовал анекдот о том, что когда Жуковский читал во дворце «Балладу, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» (1814), одной из фрейлин стало не по себе. Отрицательный персонаж комедии произносит следующую тираду:

Какие это стихи, если их можно читать так же легко, как прозу? Надобно, чтоб в стихах была всегда какая-то величественная шероховатость, которая придает им вид важный, а особливо в мрачных описаниях. Вот, например, один из моих знакомых читал недавно при дамах свое сочинение: лишь только он начал, то у всех, кто мог его понимать, волосы стали дыбом; в половине чтения сделалось многим дурно, а под конец одна дама упала в обморок и лежит при смерти в горячке. Вот истинно поэтические стихи².

¹ Шаховской А.А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961. С. 238–239.

² Загоскин М.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 26.

Одна из странностей этой насмешки заключалась в том, что «простодушный Загоскин», как отметил А.С. Немзер, «полагал, что он укоряет Жуковского, на самом же деле, не желая того, он подыграл лукавому балладнику»¹: тот и сам не прочь был отнестись к выведенным в балладах «мрачным ужасам» как к лукавой, детской шутке. С другой стороны, «простодушный Загоскин» очень точно подметил существеннейшую особенность стихотворных «пересказов» Жуковского: присутствующая в них «величественная шероховатость» давала возможность особенного воздействия на воображение.

Под старость у Жуковского наконец появились свои дети: дочь Александра и сын Павел. Поэт сам занимался их образованием – и прежде всего обучал русскому языку, которого дети, жившие в Германии, в немецком семейном окружении, не знали. Для этой цели он использовал стихи, создававшиеся на основе огромного предшествующего поэтического опыта. Эти «четыре стихотворения для детей» писались за год до смерти, а напечатаны были уже после смерти автора. Все это – по видимости вполне «описательные» вещи, но с характерной динамикой изначального рассказа. Они даже и воспринимаются как некоторые начальные стихи тех баллад, которые «балладник» не успел завершить:

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;
И лапочкой котик
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясет бороною (II, 338).

Непритязательное детское стихотворение завершено – но так хочется узнать, что же дальше случилось в отношениях между «котиком» и «козликом». Не говоря уже о «мальчике с пальчик», международном сказочном персонаже, почерпнутом из сказок братьев Гримм:

¹ Немзер А. «Сии чудесные виденья...» // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... М., 1987. С. 181.

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазенки,
Как пух волосенки;
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он,
И ночью там спал он... (II, 339).

Денка Крыстева
(Шуменский университет им. Епископа
Константина Преславского, Болгария)

**«ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОТАНИКА» В.А. ЖУКОВСКОГО
В ДИСКУРСЕ ПРИДВОРНОГО РОМАНТИЗМА
И МИФОЛОГИИ МОНАРХИИ: ОТ «ЛАЛЛА РУК»
К «ТЮЛЬПАННОМУ ДЕРЕВУ»**

В реконструкции метафорической истории русской монархии, осуществляемой в последние годы, установлено многообразие кодов символизации мифологии государства, идеологических программ и сценариев власти¹. На основании изучения этой практики символи-

¹ Раскрыты античный код (древнегреческий и римский – исторический и мифологический), библейский код, код имени государя и код христианской святости (западнохристианской и византийской), код (древне)русской истории, зоокод. На основании этих языков реконструированы следующие метафорические тексты представлений о монархии: *Петербургский Олимп* Марса, Астреи, Минервы; *Новый Рим* русского Августа, Нумы Помпилия, Тита; *Петербургский пантеон* Софии-Екатерины, Мудрой Девы на троне, Благословенного Ангела на троне, Царя Умиротворителя, Иова на троне; *Тысячелетняя Россия* новых Рюрика, Олега, Владимира; *Бестиарий* Левиафана, Дракона, Бегемота, Льва. См об этом: *Baehr S.L.* The Paradise Myth in Eighteenth-century Russia: Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture. Stanford: Stanford University Press, California, 1991; *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. / пер. с англ. И.А. Пильщикова. М.: ОГИ (Объединенное Гуманитарное Издательство), 2002–2004; *Майорова О.* Бессмертный Рюрик // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 327–346; *Погосян Е.* Князь Владимир в русской официальной культуре начала правления Елизаветы Петровны // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. V. (Новая серия). Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005; *Проскурина В.* Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: НЛЮ, 2006; *Marker G.* Imperial Saint: The Cult of St. Catherine and the Dawn of Female Rule in Russia. De Calb: Northern Illinois Univerity Press, 2007; *Шенк Ф.Б.* Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000). Köln; Weimar; Wien, 2004. Русский перевод: М.: НЛЮ, 2007; *Вачева А.* Потомству Екатерина II: идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы. София: Универс. изд., 2015; *Кръстева Д.* Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII–XIX век (литература – идеологическа история – неофициални разкази за двореца). Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013; *Кръстева Д.* Владетелят, престолонаследникът и писателят на-

зации можно поставить вопрос о месте в ней флороязыка и о «политической ботанике» как особом метафорическом тексте. Символизация политического мира государства и царственности «языком цветов» приобретает особую активность в метафорической истории монархии в период усвоения просветительской концепции благородства власти и последующей романтической идеализации политического покоя и мира.

С. Баер и Е. Погосян анализируют образный язык государственного просветительского мифа в России XVIII в.: представление о государе-садовнике, сравнение России с «цветущим садом» и «библейским крином» в составе жанра оды и просветительского мифа о России – парадизе и Эдемском саде¹. Символический потенциал «розы» многократно становился объектом внимания исследователей мифов русской монархии периода Просвещения: «розы без шипов» в концепции благородства и милосердия власти («Сказка о царевиче Хлоре» Екатерины II, «Фелица» Державина, «О дивной розе без шипов» Жуковского); «Белой розы» в сценарии идеальной – милостивой и добродетельной – женской власти². Политические коннотации розы присутствуют в емких образах «пышная роза и серебряный клас» в сентиментальном мечтании о политической идиллии «Песнь мира» Н. Карамзина.

ставник в эпохата на Николай I. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2015.

¹ *Baehr S.L.* The Paradise Myth in Eighteenth-century Russia...; *Погосян Е.А.* Сад как политический символ у Ломоносова // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1992. Т. 882. С. 44–57. (Труды по знаковым системам. Т. 24). См. также: *Лихачёв Д.С.* Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982; *Шарафадина К.И.* «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи: источники, семантика, формы. СПб.: Петерб. ин-т печати, 2003; *Шервинский С.В.* Цветы в поэзии Пушкина // Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Л., 1971. С. 134–140; *Этноботаника: растения в языке и культуре* / отв. ред. В.Б. Колосова, А.Б. Ипполитова. СПб.: Наука, 2010.

² *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии...; *Долгушин Д.В.* Миф о королеве Луизе в творчестве В.А. Жуковского // Сюжетология и сюжетогрфия. 2014. № 2. С. 108–114; *Крыстева Д.* Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII–XIX век (литература – идеологическа история – неофициални разкази за двореца); *Крыстева Д.* Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в эпохата на Николай I.

Сентиментально-романтическая литературная традиция связана с такими культурными формами просветительской концепции идеальной власти, как *Остров роз* и цветов в Потсдамском имении Сан-Суси прусского короля Фридриха Великого, *Розовое поле* Екатерины II в Царском Селе, *Розовый павильон* Марии Федоровны в Павловске с «розой без шипов» при Александре I, *Культ Blanchefleur и Белой розы* в петергофской Александрии – имении Александры Федоровны.

Флористика в геральдике – особая ветвь символизации в политической ботанике (роза английской династии, королевская лилия во Франции, тюльпан во владетельском гербе Османской империи, лилия в вензеле Александра I, государев «меч в венке из белых роз» в гербе Александрии).

Особое место в «политической ботанике» занимает поэтическая практика дворцового романтизма. Можно заметить, что в стихотворном творчестве В. Жуковского она связана исключительно с символизацией идеального политического мира и с романтизацией образа императрицы. Н.Ж. Ветшева и А.С. Янушкевич комментируют идеологические коннотации образа «розы без шипов» в стихотворном тексте «О дивной розе без шипов» (1819) в связи с благотворительностью Марии Федоровны¹.

Реконструирован дворцовый миф о Blanchefleur, Белой розе – прусской принцессе Шарлотте и русской императрице Александре Федоровне. Д.В. Долгушин анализирует стихотворение «Цвет завета» (1821) Жуковского в связи с этим мифом². Его статья посвящена символическому потенциалу культа цветов во дворце прусского короля Фридриха-Вилгельма и политическим коннотациям «языка цветов» в семантическом пространстве мифа о королеве Луизе – матери императрицы Александры Федоровны. В связи с рыцарским сценарием Николая I о служении Белой Даме, императрице Александре Федоровне, Р. Уортман вводит в научный оборот сведения о том, что эскиз

¹ Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 2. Стихотворения 1815–1852 годов. С. 569–570.

² Долгушин Д.В. Указ. соч. С. 108–114.

герба петергофской Александрии – «меч в венке из белых роз» – был выполнен В.А. Жуковским по желанию Николая I¹.

В настоящей статье мы попытаемся расширить наблюдения над «политической ботаникой» В.А. Жуковского в границах русского дворцового романтизма и тем самым конкретизировать особенности его мифологии/концепции монархии. Объект анализа – малоизученные *тюльпан* и экзотическое *тюльпанное дерево*.

Тюльпан в саду русской литературы и концепция моральной монархии

Слово «тюльпан» входит в словарь русского языка после того, как Петр I привез этот цветок из Голландии, а известный интерес романтизма к экзотике привел к тому, что В.И. Даль отметил и «тюльпанное дерево, древесный тюльпан»². В русской литературе тюльпанное дерево, или тюльпанник, появляется как иноземный гость в повести «Тюльпанное дерево» М.-Ф. Жанлис, опубликованной в русском переводе (вероятнее всего, Н.М. Карамзина) в 1804 г. в журнале «Вестник Европы» (ч. 15, № 9. С. 22–55). Оставшаяся вне поля зрения исследователей повесть Жанлис «Тюльпанное дерево» с подзаголовком «восточная повесть» – яркий пример политической ботаники и индифферентности периода раннего романтизма в его связи с сентиментализмом и идеологией Просвещения. Обратимся к содержанию этого текста³, вне сомнения, бывшего в поле зрения В.А. Жуковского как литературного сотрудника «Вестника Европы». Текст важен по двум причинам: с точки зрения «усвоения» образа тюльпана в русской литературе и с точки зрения изучения истории литературы на определенном ее этапе как системы мотивов с учетом текстов не только отечественной, но и переводной литературы⁴.

¹ Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. С. 444.

² Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд., испр. СПб., 1880–1882. Т. 4. С. 451.

³ Благодарю А.С. Янушкевича за предложение ввести этот текст в научный оборот.

⁴ См.: Гаспаров М.Л. Как писать историю литературы // Новое литературное обозрение, 2003. № 59. С. 142–146.

Продолжая традицию восточной повести эпохи Просвещения и аллегорической сказки (Шехерезада), адресованной государям, повесть Жанлис воссоздает восточный колорит. Действие происходит в «прекраснейшем Королевстве во всей Азии» у стен «чертогов и садов Государя» в «пальмовой роще», в окружении «любезнейшего, блистательнейшего народа, прославленного военными подвигами и склонностями к Наукам и Художествам»¹. Последняя деталь создает необходимое условие для восприятия содержания повести в идеологическом контексте просветительской государственной идеологии конца XVIII в.: на краю пальмовой рощи – «два домика с миловидной простотой» (23), а портреты их обитателей вводят читателя в психологический мир старого и молодого царедворцев – старик Визирь, превративший свою страну в «цветущий сад», но выбравший «пустынническую жизнь в скромном домике в продолжение многих лет» (23–24), и Юный Царедворец, который приезжал в свой домик не потому, что «негодовал против чертогов Царей», а потому, что хотел отдохнуть от «пышного зрелища величия и тягостного этикета» (25). Перед нами легко узнаваемые персонажи, сочетающие романтические разочарование и усталость от жизненной суеты с руссоистским бегством в мир естественной природы.

Жанлис организует повесть по модели романтического противопоставления мира естественности и уединения миру цивилизации, в системе контрастных образов персонажей: старик (мудрость) и юноша (пылкость); женщина, поддававшаяся искушениям европейской цивилизации, и дева Востока, сохранившая естественность. Контраст подчеркивается семантикой антропонимов: Оглан – патроним; Зейнеб – тот, кто прославляет отца; Канзада – грубость; Зельфира – независимая.

Повествование усваивает руссоистское «исповедальное слово от первого лица» в историях Визиря, старика Оглана, и Царедворца, молодого Зейнеба. Рассказ Визиря предлагает мотивировку уединенной жизни героя, ушедшего из чертогов власти из-за предательства друзей, зависти и клеветы, вызвавших несправедливый гнев государя, «лишившего его места», из-за неблагодарности подданных, из-за ненависти наследника, «не только отнявшего чин, но и

¹ *Вестник Европы*. Ч. 15, № 9. С. 23. Далее текст повести М.-Ф. Жанлис цитируется по этой публикации с указанием страницы в скобках.

все имение» (30–31). В тексте обнаруживаются признаки сказочной нарративной модели с испытаниями и преодолением препятствий при содействии «волшебного помощника». Оглан спасает несчастную старуху – тоже жертву зависти и клеветы, не подозревая, что это волшебница Фея. Герой избавлен от мучений и награжден за добродетель: жезлом Феи самое высокое дерево в его «саду уединения» преобразается в «тюльпанное дерево, обремененное цветами». Сказочное дерево с «цветущим тюльпанником – гнездом отдохновения в блаженстве забвения неблагодарного мира» становится актантом в повествовании: будучи «сотворенным благодарностью и дружбой, оно – награда добродетели», под его сенью «один только праведник обретает сладостнейшее успокоение, забвение страданий и воспоминание истинной дружбы и благородства» (41). Функция волшебного дерева – «отвергать порочных, злых, неблагодарных, тщеславных, лицемерных и кокеток – сильнейшими беспокойствами и грызением совести» (42).

В контексте этой активности «сказочного дерева» развивается рассказ о сентиментальном герое – юном Царедворце, добродетельном Зейнебе, «сохранившем невинные склонности: веселость духа, откровенность, доброе, чувствительное сердце» (25). Он единственный, кого дерево не отвергло. Испытание добродетели возлюбленных Зейнеба – сорокалетней Кандады, вернувшейся из Парижа, и восточной женщины, юной Зельфиры, – определяет жизненный выбор Царедворца. Жанлис конкретизирует историческое время – революция в Париже, спровоцировавшая казни и гонения на королевский двор. После гонений, которым подвергся и юный Царедворец, заключенный в тюрьму на пять лет, во время Реставрации и основания наполеоновской империи Зейнеб отказывается от брака, когда Зельфира требует от него срубить тюльпанное дерево. Царедворец выбирает «рыцарское» служение – оберегать тюльпанное дерево и добродетель.

Система мотивов и образов, а также их раскрытие в сюжете повести сводятся к последовательному развитию темы утраты добродетели в испытаниях – это проявление кризиса идеологии Просвещения и просветительской модели мира – мудрой власти и гармоничной, упорядоченной жизни общества. Архетипический образ Древа жизни тематизируется как «дерево добродетели» в мире Просвещения, как «дерево испытания добродетели и порока» в период,

когда ценности просвещенного государства и общества подверглись опасности разрушения.

Повесть Жанлис соответствует жанрово-стилевым конвенциям просветительской восточной повести с ее характерной символическо-аллегорической образностью¹. Построенная как иносказание о политической реальности эпох Революции и Реставрации, в эпилоге она обретает смысл политического послания. Рыцарское служение экзотическому (волшебному) тюльпанному дереву можно интерпретировать как воззвание к идеалу добродетели в политическом мире, к упорядочивающей силе моральной власти. Очевидно, что перевод повести Жанлис на русский язык был востребован распространенным в России начала XIX в. культом Наполеона, защитой имперской власти как гарантии покоя и порядка после катаклизмов революции и насилия в современной истории.

Перевод, осуществленный в начальный период правления Александра I, утверждал симпатии к монархизму, особенно после гибели Павла I. Таким образом, смысл повести «Тюльпанное дерево» заключался в защите имперской идеи и концепции моральной монархии.

Тюльпан в дискурсах галантного аристократизма и «чувствительного» монархизма

Текст повести Жанлис «Тюльпанное дерево» и образ «цветущего тюльпанника» – обители покоя для добродетели – соотносимы с политической чувствительностью Александровской эпохи и символикой «чувствительного монархизма» с помощью языка цветов. Напомним образы лилии в вензеле Александра I, «розу без шипов» как символ добродетельной власти в концепции Екатерины II («Сказка о царевиче Хлоре») и в мифе об Александре I – Ангеле на троне. Политический язык этих цветов соотносим с такой деталью моды «чувствительного монархизма» начала XIX в., как дамский «Александровский букет» в дворянском быту.

¹ О поэтике «восточной повести» см.: *Кубачева В.Н.* «Восточная повесть» в русской литературе XVIII – начала XIX века // XVIII век. Сб. 5. М.; Л., 1962. С. 295–315.

По свидетельству С.П. Жихарева в его «Записках современника», мода на так называемый Александровский букет возникла в 1805 г. в Германии как память о пребывании русского царя в Берлине:

<...> Дамы ввели в моду носить букеты под названием «александровских», которые собраны из цветов, составляющих по начальным буквам своих названий имя Alexander. Без этих букетов ни одна порядочная женщина не смеет показаться в общество, ни в театр, ни на гулянье. Вот из каких цветов составляются букеты, которые разнятся только величиною и ценностью; большие носят на груди, а маленькие в волосах: Anemone (анемон), Lilie (лилия), Eichel (жолуди), Xeranthenum (амарант), Assazie (акация), Nelke (гвоздика), Dreifaltigkeitsblume (веселые глазки), Erheu (плющ), Rose (роза)¹.

Жихарев свидетельствует о переносе этой моды из Германии в Россию: «Неприменно закажу такой букет и поднесу его востроглазой Арине Петровне, на коленях à la Visarour и при мадригале à la Shalikoff»².

Символические значения цветов в Александровском букете («любовь», «чистота», «верность», «постоянство», «скромность», «нежность» и «привязанность») являются «переводом» «чувствительного» сценария монархии – привязанности и любви к государю, Ангелу на троне, на язык дворянского быта³. Добавим, что в контексте этого сценария власти флористический код определяет и жанровую разновидность сентиментального портрета императрицы и членов царственной семьи – «Портрет с розой, с венцом из роз», где венок или цветок, заменяющие корону, становятся символом царствующей любви⁴.

¹ Жихарев С.П. Записки современника / вступ. ст., сост. и коммент. Б.М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. С. 123. (Литературные памятники).

² Там же.

³ Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. С. 258–293.

⁴ Крыстева Д. Политически метафоры и сюжеты в русской литературе на XVIII – XIX вв.; Крыстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай I.

Восточная повесть М.-Ф. Жанлис «Тюльпанное дерево», несомненно, вписывается в контекст «политической ботаники» и раннего романтизма начала XIX в., поскольку она привлекает особое внимание к испытанию добродетели и нравственности и их символическому воплощению в образе тюльпана. В лицейской поэзии А.С. Пушкина (мадригал «Красавице, которая нюхала табак», 1814; «Послание к Юдину», 1815) и раннем творчестве А.А. Дельвига (идиллия «Дамон», 1821) тюльпан дополняет литературную энциклопедию цветов, упроченную в сентиментально-романтической традиции конца XVIII – начала XIX в. В пределах идеального топоса букет с тюльпаном – это знак галантно-аристократической культуры и яркости любовного переживания.

В литературе русского дворцового романтизма тюльпан как самостоятельный объект изображения и символизации аристократизма представлен в творчестве В.А. Жуковского благодаря поэме Т. Мура «Лалла Рук» (1817). Эта поэма важна коннотациями «Восток» и «любовь», закрепившимися в европейской аристократической культуре. Известно, что поэма о восточной принцессе Лалла Рук, провожаемой к жениху в долину цветов – Кашемир, в 1821 г. была избрана сюжетной основой для «живых картин» при дворе прусского короля Фридриха-Вильгельма III в связи с приездом в Берлин его дочери, принцессы Шарлотты – великой княгини Александры Федоровны и ее супруга, великого князя Николая Павловича, который привез возлюбленную принцессу на Остров цветов. М.П. Алексеев описал этот праздник, свидетелем которого стал В.А. Жуковский, находившийся в свите великокняжеской четы¹. Принцесса Шарлотта с ее утвердившимся с детства в семейном кругу литературным именем *Blanchefleur* (Белая роза) (из куртуазного романа «Флоар и Бланшефлер») – будущая русская императрица Александра Федоровна – выступала в этих картинах «среди моря цветов» в роли «тюльпаношечкой» принцессы Лалла Рук.

Роль Лалла Рук в Берлинском празднике 1821 г., безусловно, связана с традиционной европейской символикой тюльпана как знака аристократизма. Увлечение этим цветком началось в XVI в.; из-

¹ *Алексеев М.П.* Томас Мур и русские писатели XIX века // Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М., 1982. С. 657–790. (Литературное наследство. Т. 91).

вестно, что оно не миновало и царствующих особ: тюльпанами увлекались Фридрих-Вильгельм в Германии, австрийский император Франц II, наконец, французский король Людовик XVIII, устраивавший тюльпанные праздники в Версале¹. Тюльпаномания, по словам М. Дэша, властвовала с одинаковой силой как в садоводстве, так и в аристократическом быту. При западных королевских дворах цветок тюльпана соперничал с розой и даже затмевал ее изяществом и царственной красотой, достойными владетельных особ. Предок принцессы Шарлотты, король Фридрих Великий, был страстным коллекционером разносортных тюльпанов на Острове цветов в Потсдамском Сан-Суси².

Роль тюльпана во время Берлинского праздника, вне всякого сомнения, соотносится с утвержденным в культуре европейского аристократизма идеализирующим смыслом и генерирует романтический дворцовый миф о «власти красоты и неповторимого изящества» Александры Федоровны. В научной традиции, начиная с трудов М.П. Алексеева, Ю.М. Лотмана и до сравнительно недавних работ Р. Уортмана и О.Б. Лебедевой³, отмечается закрепившаяся в русском дворцовом быту идентификация воспитанницы Жуковского, великой княгини, впоследствии императрицы Александры Федоровны, с Лалла Рук. Особенно показательны актуальность и активность этой идентификации в сознании Жуковского. В дневниках поэта в период путешествия 1821 г., связанных с берлинским придворным праздником, упоминания о великой княгине – Лалла Рук – многочисленны и разнообразны: поэт пишет о благоговении перед «красотой чистой души», о «разговорах о Лалла Рук», о «портрете Лалла Рук», о чтении поэмы Т. Мура «Лалла Рук» и о работе над переводом ее фрагмента «Пери и ангел» (XIII, 155, 157, 160, 163). В стихотворениях 1821 г. Жуковский соединяет идеализированный образ Лалла Рук с

¹ *Золотницкий Н.Ф.* Цветы в преданиях и легендах. М., [1913]. С. 126–127.

² *Dash M.* Tulipomania: The Story of the World's Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions It Aroused. New York: Three River Press, 2010. Ch. 7. P. 176–178.

³ *Алексеев М.П.* Томас Мур и русские писатели XIX века...; *Лотман Ю.М.* Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 24, 83–84; *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1; *Лебедева О.Б.* Лалла Рук: (Комментарий) // Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: в 20 т. М., 2000. Т. 2. Стихотворения 1815–1852 годов. С. 595–603.

флористическими мотивами. Поэтический портрет Лалла Рук становится яркой страницей дворцовой романтической англологии: «гений чистой красоты», «ангел», «непорочность», «неописанная красота» в центре придворного «праздника розы и весны» (II, 222). В стихотворении «Явление поэзии в виде Лалла Рук» сказочно-идиллические мотивы – цветение всех стран земли, встречающих принцессу-цвет, заключают в себе идею политической гармонии как сбывшегося сентименталистского идеала вечного мира и покоя:

Везде любовь ее встречает;
Цветет ей каждая страна; <...>
Как свежей утренней порою
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красою,
Своей не зная красоты (II, 224).

Трудно установить, существовал ли интерес к семантике поэтического имени «Лалла Рук» в истории русского реального чтения, особенно с учетом того, что в одном из набросков VIII главы «Евгения Онегина» Лалла Рук сравнивается с лилией:

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла Рук,
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется и скользит
Звезда-Харита меж Харит,
И взор смещенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя <...>¹.

Конечно, Жуковскому, сотворившему поэтический роман из своего увлечения великой княгиней – символом «чистой красоты», поэту, который не только перевел фрагмент поэмы Мура («Пери и

¹ Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 465.

ангел», 1821), но и полностью прочитал ее текст, должно было быть известно значение антропонима «Лалла Рук» по примечаниям Т. Мура к его поэме: «Лалла Рук» означает «румяный тюльпан», или «щечки тюльпана (тюльпанощекая)».

Романтическая поэма о любви и семейном счастье, так же как и воспринятая русским сознанием берлинская идентификация русской великой княгини с «тюльпанощекой» Лалла Рук, позволяют утверждать, что символический образ царственного тюльпана, закодированный в восточном имени, участвовал в сотворении семейного мифа русской монархии о счастье и взаимной любви, об аристократизме власти красоты, неотделимого от романтического культа изящного и идеального мира. Мифологизация Лалла Рук – прусской принцессы, ставшей суженой и женой восточного принца, – это важная составляющая придворной романтической идеализации Александры Федоровны и сотворения ее персонального биографического мифа: образа любимой и любящей супруги и матери в семейном сценарии русской монархии¹.

Тюльпан Востока и проблема переводимости имени Лалла Рук

В придворной романтической мифопоэтике «язык тюльпана» функционирует во всей его многозначности и многослойности. Наряду со значениями, актуальными для европейских аристократических дворов, образ тюльпана утверждается в его связи с романтическим мифом идеальности мира Востока и его идеального правителя. Этот флористический символ может выступать в следующих значениях:

- персидский символ царственности, любви;
- символ цветущего Востока и его культуры;
- символ представлений об Османской империи.

Слово «тюльпан» и поэтическое имя «Лалла Рук» маркируют в своей семантике романтический интерес к экзотике и к Востоку. Семантика антропонима имеет основание в тюркских языках: в древнеиранском (персидском) языке *lâle* (ср. с *тур. Lala*) – тюльпан;

¹ Формирование этого сюжета имеет свою предысторию, связанную с мечтой принцессы Шарлотты о счастливой семье, созревшей во время скитаний королевы Луизы с детьми в их болезненной разлуке с отцом.

перс. *Rukh* – свет, сияние¹. П.Я. Черных и М. Фасмер указывают на историко-этимологическую связь слова «тюльпан» с персидско-турецким словом *Tülbent* / тюльбе – ткань для чалмы; ср. также турецкое *tülbend* – чалма и голландское *tulp* – тюльпан². В этимологическом словаре Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской к названию тюльпана предложен комментарий по внешнему сходству формы цветка с чалмой³. Словари символов указывают на значение тюльпана как персидского символа совершенной любви и эмблемы турецкой династии Османов, а также эмблемы Голландии⁴.

Активность интереса к символическим значениям образа тюльпана в рассматриваемый период подтверждается рядом синхронных артефактов. Кроме романтической поэмы Мура о тюльпаношке восточной красавице Лалла Рук, большую популярность во Франции в первые десятилетия XIX в. приобрели изображения цветущего тюльпана, осыпанного жемчугом, в виде женской фигуры – восточной принцессы, и в виде головного убора – аналога короны султана. Изображения «оживающих цветов» как человеческих фигур – это особый жанр в изобразительном искусстве и в литературе первой половины XIX в. Показательна в этом отношении синхронная популярность поэмы Т. Мура и творчества художника Ж. Гранвийя: его книга «*Les fleurs animées*» многократно переиздавалась в первой половине XIX в.:

¹ *Бешевлиев В.* Ирански елементи у първобългарите // Антично общество: труды конференции по изучению проблем античности, 1964, Ленинград. М., 1967. С. 237–247 [Электронный ресурс]. URL: [http:// protobulgarians. com](http://protobulgarians.com)).

² *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем.; под ред. О. Трубачева. М.: Прогресс, 1987. Т. 4. С. 136; *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 2-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1994. Т. 2. С. 277.

³ *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В.* Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителей. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1971. С. 458.

⁴ *Купър Дж.К.* Энциклопедия на традиционните символи. София: Д-р Петър Берон, Фондация «Отворено общество», 1993. С. 113.



Жан-Жак Гранвий (Jean-Jaques Grandville) «Les Fleurs animées». 1867. P. 82

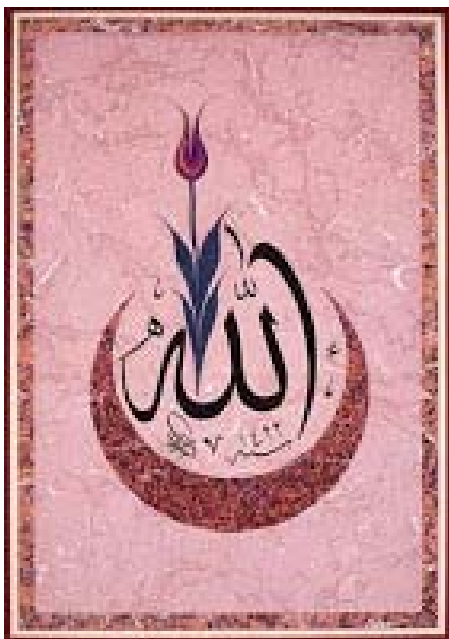
Отметим, что интерес к тюльпану Османов со стороны политического карикатуриста Гранвийя объясним и политическими причинами (война с Турцией в указанный период).

Интерес к «оживающим цветам» демонстрирует и литературная сказка эпохи романтизма («Дюймовочка», «Цветы маленькой Иды» Г.Х. Андерсена, 1835 г.). Особенно показателен сказочный образ тюльпана-колыбели в «Дюймовочке». Восточная принцесса Лалла Рук вписывается в этот синхронный ряд тюльпанных образов. Эти значения, особенно символизация культуры Востока в образе тюльпана, могли быть известны Жуковскому как идеологу дворцового романтизма в связи с его искусствоведческими интересами: он «мечтал написать первую на русском языке историю искусств»¹. По всей вероятности, Жуковский знал о развитии турецкого искусства с начала XVIII в. в период правления Ахмета III. Эту эпоху в Турции называют «Эпохой тюльпана», тюльпан является символом политического мира и развития культуры, а со второй половины XVIII в. тюльпан утверждается как эмблема турецкой династии Османов.

Мифологизация тюльпана на Востоке связана и со свойственной ему семантикой «священного цветка». Это объясняется тем, что название цветка в османской графике представляет собой палиндром: его обратное прочтение означает «Аллах». Тюльпан как символ божественной и государственной власти, политики мира в культуре Востока находит визуальное воплощение на знамени и гербе Османской империи в единстве начертания «лалла – аллах» и стилизованного силуэта полумесяца²:

¹ *Иванова Е.В.* Изобразительное творчество В.А. Жуковского в контексте развития художественной культуры его времени // Университетский историк: альманах. СПб., 2010. Вып. 8. С. 121.

² <http://www.anadoluydinlanma.org/Yazilar/lale.pdf>. Выражаю благодарность коллеге Тюркян Олджай, профессору Стамбульского университета, за любезно предоставленную библиографию о символике «тюльпана» в культурной истории Турции.



Как сын турчанки, Жуковский мог об этом знать, особенно после посещения Крыма в 1837 г. Скорее всего, именно поэтому Жуковский не стал переводить антропоним «Лалла Рук» на русский язык. Имя российской императрицы не должно было вызывать ассоциации с империей и династией Османов. В системе политических взглядов Жуковского, идеолога русской монархии при Николае I, правомерна дешифровка «европейских» значений имени «Лалла Рук», особенно если учесть сопротивление поэта планам завоевания Константинополя в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.¹ «Тюльпанощекая» выступает символом галантности и аристократизма в романтическом сценарии женской власти, покоящейся на великолепии, изяществе и совершенстве.

¹ Крыстева Д. Неканонический Жуковский. «Сражение с змеем» // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 2: сб. науч. тр. Томск, 2013. С. 179–190. Эту позицию Жуковский настойчиво защищает. В более позднем, идеологически-дидктическом письме великому князю Константину Николаевичу от 21 октября (2 ноября) 1845 г. по поводу сна великого князя об *Олеговом щите* Жуковский пишет ему: «Ваш сон о щите Олеговом имеет свое поэтическое достоинство; в практическом отношении он просто сон, и желаю, чтоб он навсегда остался сном несбывшимся <...> в Царьграде православные русские цари исчезли бы для России за стенами султанского сераля, вновь обращенного во дворец Византийских властителей. Нет, избави Бог нас от превращения Русского царства в империю Византийскую. *Не брать и никому не давать Константинополь, этого для нас довольно. <...> горе, если мы захотим распространяться!*» (курсив мой. – Д.К.) (Жуковский В.А. Сочинения. 8-е изд. / под ред. П. Ефремова. СПб., 1885. Т. 6. С. 48–51.

Итак, образ тюльпана наряду с образом Белой розы утверждается как царственный символ в русском придворном романтизме – в романтической мифологизации Александры Федоровны – Лалла Рук, но знать об этом могли только читатели, принадлежавшие к литературной или дворцовой элите. Романтическая поэзия Жуковского, посвященная Лалла Рук, мифологизирует образ немецкой принцессы и русской императрицы, представительницы европейской аристократии, судьбой которой стало царствование на Востоке. Образ тюльпана как символ идеальной женской власти со свойственными ему коннотациями «великолепия и уникальности красоты», «утонченности, изящества», «покоряющего совершенства» осмысливается как элемент дворцового мифа о счастливой императорской семье (принцесса-тюльпан и умеющий ценить красоту царь Востока).

***Сказка-повесть «Тюльпанное дерево» Жуковского
и романтический сценарий монархии нравственного
совершенства***

Стихотворное переложение сказки братьев Grimm «Von dem Machandelboom» («Сказка про можжевельник» / «О можжевелевом дереве»), предпринятое Жуковским во франкфуртский период его творчества и опубликованное в 1845 г. под заглавием «Тюльпанное дерево», на мой взгляд, может послужить доказательством того, что символика тюльпана как аллегории государственной власти и добродетели была актуальна в творческом сознании поэта. Выбор сказки, вероятно, продиктован эмоциональным миром автора после окончания его придворной службы в 1841 г. и его интенсивными размышлениями о «прошлом и настоящем» России, «с прорицанием исторического будущего». Наши наблюдения позволяют предположить семантизацию образа тюльпанного дерева / цветущего тюльпанника в контексте «политической ботаники» Жуковского. Основанием для такой гипотезы является представление романтической эстетики о жанре сказки как обобщенном образе прошлого, настоящего и предчувствии будущего (ср. соответствующую концепцию Новалиса, в которой преодолена ограниченность фольклористиче-

ского анализа¹). Этот тезис соотносится с идеями романтической эстетики о «чтении по аналогии» с опорой на ассоциативную природу художественного слова². Востребованность жанра сказки обусловлена возможностями распространения представлений о прошлом, настоящем и будущем монархии в широкой читательской аудитории.

В немецкой сказке «Можжевелевое дерево», выбранной Жуковским для стихотворного перевода, ее новое заглавие «Тюльпанное дерево» выступает не только как образ романтической экзотики и немецкого колорита³. Обращение к образу тюльпанного дерева может быть объяснено с учетом представлений о Жуковском как об идеологе николаевского царствования и интерпретаторе истории его правления⁴. Стимул обращения Жуковского к этой сказке вполне мог быть поддержан его идеологическими представлениями, а текст перевода органично соотносим с вышеописанными мифопоэтическими сценариями власти Николая I: это мотивы битвы с силами зла и единства нации-семьи, основанной на взаимной любви⁵. Здесь необходимо учесть и контекст идеологизации тюльпана в составе сценария женской власти, покоящейся на любви и совершенстве. Наша гипотеза может быть подтверждена в ходе анализа переводного переложения сказки Жуковского, в котором важную смыслообразующую роль играет смена заглавия.

Л.Э. Найдич в своем исследовании работы Жуковского над сказкой и трансформации ее немецкого источника предположила, что

¹ *Новалис*. Фрагменты. URL: http://lib.ru/INOOLD/GARDENBERG/novalis_fragments.txt.

² Ср. также предложенный И.Ю. Виницким метод интерпретации творчества Жуковского: ассоциативное прочтение балладных текстов, репрезентирующее Жуковского как толкователя современной ему истории. См.: *Виницкий И.Ю.* Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М.: НЛЮ, 2006. С. 20.

³ Именно так интерпретирует изменение названия оригинала Л.Э. Найдич: *Найдич Л.Э.* Сказка Жуковского «Тюльпанное дерево» и ее немецкий источник // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987. С. 337.

⁴ *Виницкий И.Ю.* Указ. соч.; *Гузаиров Т.* Жуковский – историк и идеолог Николаевского царствования: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Тарту, 2007.

⁵ *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. С. 355–388.

Жуковский мог не знать немецкое диалектное слово *Machandelboom* (можжевельник), в результате чего и возникла ошибка понимания: *Mandelbaum* (миндальное дерево)¹. Исследователь отмечает: «По недоразумению Жуковский заменил можжевельник, соответствующий образной системе сказки, на декоративное миндальное дерево», что может быть связано со «стремлением придать всей сказке религиозно-дидактический оттенок»². Найдич приходит к выводу, что

¹ См.: *Найдич Л.Э.* Сказка Жуковского «Тюльпанное дерево» и ее немецкий источник. С. 336. «Миндальное дерево» – это первоначальный заголовок перевода, сохранившийся в черновой рукописи.

² В таком случае могла быть актуальна семантика миндального дерева – как языческого, так и христианского (библейского) символа тайны непорочного зачатия с ее реализацией в экспозиции сказочного повествования. В связи с рабочим заглавием «Миндальное дерево» и его христианскими коннотациями источником для доработки, на мой взгляд, могли быть и немецкие, и восточнославянские фольклорные и христианские легенды о цветущем кусте/дереве как символе Преображения, связанные с символикой Воскресения и с ключевой семьей «мать и сын»: растущее над гробом цветущее дерево и вылетающая из него птица. Сошлемся на материал западных и восточнославянских представлений, анализируемый А. Веселовским в его классическом исследовании «Из поэтики розы»: «Символика розы распространилась и на Богородицу. <...> Народная фантазия принялась работать в этом направлении: рассказывали, что в числе знаменитых, бывших о рождестве Спасителя, было и то, что из ствола балызама вырос голубь; либо в саду одного из волхвов вылетел голубь из цветка, что был краше розы. У св. Бернарда роза – уже символ Богородицы, и этот символ остался в христианской поэзии и искусстве: “*rosa mystica*” западного иносказания. В применении к жезлу Иисуса Богородица – розовый куст, роза – Христос. Видение младенца Христа среди куста роз в цвету встречается в житии св. Сузона; в немецких поверьях и песнях розы появляются на кустах, давно не дававших цвета, когда Богородица, уже зачавшая от Св. Духа, пробиралась в тернистой чаще; либо “роза Марии” расцветает в ночь на Рождество на кусте, на котором “Пречистая Дева” повесила пеленки. Все это объясняет образ, встречающийся в немецкой песне и в целом ряде малорусских, белорусских и моравских; на горе стоят три ложа, три гроба, лежат в них Господь Бог, Богородица, св. Иоанн; над Св. Девой вырастает роза, из нее вылетает птичка: то не птичка, а Сын Божий! – Лоза Иисуса, жезл Аарона и Иосифа, с покоящимся на нем Св. Духом – голубем – все это сближено было с образом розового куста, может быть, с представлением райского крестного древа – и все это послужило символом воскресения или вознесения» (*Веселовский А.Н.* Из поэтики розы // Привет. Художественно-литературный сборник. СПб. 1898. С. 1–5.) См. также электронный ресурс:

поэт окончательно выбирает тюльпанное дерево, стремясь к «яркости и красочности» повествования, «исправляя» сказку об ужасе и смерти с точки зрения ее пригодности для детского чтения»¹.

Опираясь на представления о заглавии как регуляторе чтения текста², мы считаем, что необходимо поставить вопрос о горизонте восприятия сказки братьев Grimm с тем заглавием, которое дал своему переложению Жуковский. Нет сомнений в том, что выбор окончательного заглавия «Тюльпанное дерево» трансформирует смысл оригинала, выводя текст за границы первоисточника и за пределы жанра фольклорной и христианской сказки. Задача уточнения искомого Жуковским особого направления чтения и восприятия сказочного сюжета может быть решена путем анализа интертекстуальных связей, которые это новое заглавие предполагает. В первую очередь это прямая межтекстовая связь с повестью М.-Ф. Жанлис «Тюльпанное дерево» (с символизацией мотивов добродетели и нравственного совершенства в период их испытания посредством образа тюльпана). Жуковский, будучи сотрудником литературного отдела «Вестника Европы», не мог не знать этого текста.

С точки зрения титрологии обратим особое внимание на то, что благодаря новому заглавию содержание переводного произведения направляется в русло просветительской «восточной повести» с ее «философско-историческим» иносказанием о власти и подданных. Смена заглавия переводит сказку братьев Grimm, созданную на основе немецкого фольклора, в поле политических сюжетов, связанных с идеями нравственности власти и испытания просветительской добродетели. Вместе с тем очевидны аллюзии на английский сказочный сюжет о бутоне тюльпана – колыбели эльфов, на сюжет Андерсена – Дюймовочка, родившаяся в тюльпане, на сказочные мотивы «цветок тюльпана – птица» в их функции спасителей в испытаниях. Мы можем заключить, что эти межтекстовые связи способны

http://dugward.ru/library/veselovskiy_alexandr/veselovskiy_alexandr_iz_poetiki_rozy.html

¹ Найдич Л.Э. Сказка Жуковского «Тюльпанное дерево» и ее немецкий источник. С. 337–340.

² О принципах титрологического анализа и о его месте в литературоведении см.: Протохристова К. Записки от преддверия. Теория и практика на заглавие. Пловдив: Университетско изд-во «Паисий Хилендарски», 2014.

трансформировать жанровую специфику переводного текста в направлении «сказочной восточной повести».

Подобный жанровый синкретизм позволяет увидеть два вероятных угла зрения, под которыми может быть воспринята стихотворная повесть Жуковского «Тюльпанное дерево». Одно направление взгляда связывает ее с традицией «сказочной восточной повести» М.-Ф. Жанлис, другое – с русификацией немецкого сказочного сюжета и с постижением его философско-исторической проблематики. Рассмотрим эти смысловые направления, которые, на наш взгляд, непосредственно соотносятся с биографическим и идеологическим контекстами жизни и мировоззрения Жуковского ко времени создания его переводной сказки.

«Тюльпанное дерево» как автобиографическое повествование Жуковского о добродетельном служении и неблагодарности

Референции заглавия переводной сказки Жуковского к восточной повести «Тюльпанное дерево» М.-Ф. Жанлис позволяют интерпретировать повесть Жанлис как «воображаемый рассказ» на сюжет, близкий к реалиям придворной биографии Жуковского. Современная историко-культурная антропология делает вполне возможным подобное прочтение реальной биографии, когда конструирование личности и жизнестроительного нарратива оказываются неотделимы от моделей, предлагаемых в художественных текстах.

Это прочтение можно осуществить путем сопоставления «биографий» героев текста Жанлис с документальными свидетельствами о придворной биографии поэта. Основания находим в соотнесенности персонажей «восточной повести» Жанлис (юный царедворец Зейнеб; старик Оглан – ушедший в отставку визирь; Государь и его наследник) с биографией Жуковского, учителя русского языка великой княгини Александры Федоровны – Лалла Рук и воспитателя престолонаследника. Даже беглое прочтение дневниковых записей и писем Жуковского позволяет увидеть легко различимое сходство эмоциональных портретов придворного наставника на разных этапах его жизни с героями повести «Тюльпанное дерево».

Сопоставление писем к членам императорской семьи в начале придворной службы Жуковского – учителя, благоговееющего перед «красотой совершенства» своей ученицы Лалла Рук, и молодого на-

ставника престолонаследника (1826–1827 г.) – и в конце его придворной карьеры, перед его уходом в отставку в 1841 г., обнаруживает эволюцию сквозного мотива «возвышенной должности», зависящей от «благодарности, оскорбления, невнимания».

Дневниковые записи и ранние письма к императору Николаю I посвящены утверждению представления о миссии и высоком назначении труда воспитателя будущего государя России: «Вы мне ввели ум и сердце Вашего Сына <...>; Я при уме и сердце наследника России <...>» (XIII, 305).

Эти письма чередуются с записями наставника о повседневных обязанностях и мыслями о (не)благодарности отца, о служении вопреки «невниманию, оскорблению»:

Об одном сожалею: о чувстве благодарности, о мысли, что сердце отца отдает мне справедливость и любит меня; это потеря истинного наслаждения, не нужного для того, чтобы привязать к исполнению должности, но веселящего, возвышающего душу, а потому и полезного ей, ибо такого рода чувства поддерживают и животворяют силы. Не знаю, всегда ли выдержишь отсутствие таких подпор и всегда ли будешь доволен одним голосом сердца <...> За невнимание, за оскорбление негативное я не имею права покинуть своего места: я бы унизил понятие мое о моей возвышенной должности. Ее не продам никому (XIII, 306).

В новогоднем письме к императрице Александре Федоровне от 1 января 1827 г. Жуковский развивает идеи последовательного воспитания идеального государя – *человека на троне* – и его главной добродетели: понимания власти как долга перед обществом и покорности Богу. Процитируем лишь один выразительный фрагмент из этого недавно опубликованного документа, свидетельствующего о высоких нравственных принципах молодого наставника и о том, в чем он видел свою главную миссию при дворе:

Занятия должны главным образом развить в нем человека, ибо без человека нет князя <...>; Нужно быть человеком, чтобы хорошо править людьми <...>; *Нравственное влияние главнейшее*, ибо оно постоянно <...>; Мысль о Божьем суде <...> сделает его бдительным к проявлениям его воли, подчинит долгу, заставит его уважать пра-

во, справедливость, свободу, просвещение и научит его царствовать для пользы его народа, а не для пользы собственного владычества <...>¹ (курсив мой. – Д.К.).

Если сопоставить с повестью Жанлис «Тюльпанное дерево» эти письма молодого Жуковского – воспитателя наследника, отмеченные последовательной романтизацией его придворной миссии как высокого служения идеальному политическому миру, основанному на нравственном совершенстве и просветительских ценностях, то нетрудно заметить сходство вырастающего из этих писем образа поэта-наставника с образом юного царедворца Зейнеба:

Зейнеб сохранил при Дворе невинные свои склонности: веселость духа, откровенность, чрезвычайную умеренность и доброе, чувствительное сердце <...> не ополчался против Придворного великолепия, не негодовал против чертогов <...> (25).

Особенно выразительна параллель отказа Жуковского от личного счастья и посвящение себя «высокому назначению воспитать нравственное совершенство будущего императора России» с отказом молодого Зейнеба от брака и выбором одинокого рыцарского служения сказочному тюльпанному дереву, оберегающему добродетель и отвергающему порочность:

<...> он отрекся от брака, чтобы соблюсти дерево, которым не захотел пожертвовать любви (55).

В конце своей придворной службы воспитатель наследника Жуковский покидает дворец огорченным. Надежда на финансовую поддержку императорской семьи, чтобы он мог устроить свою новую семейную жизнь, если не рухнула совсем, то на первых порах все же обманула ожидания Жуковского. О невнимании императора, о холодном отношении императрицы, об упреках в корыстолюбии

¹ *Лебедева О.Б.* Неопубликованные письма Жуковского 1827–1835 гг. (Письма великой княгине Елене Павловне, императрице Александре Федоровне и фрейлине Ц.А. Вильдермет) // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 2. С. 509–513.

со стороны великого князя он пишет в своем дневнике в 1840 г.¹ В одном из писем Александре Федоровне он повторяет эти горькие размышления:

Теперь – какой удар! Письмо великого князя, столь желанное, пришло, холодное и сухое; Император даровал мне двухмесячный отпуск, но не соблаговолил высказаться о моем будущем. Великий князь дает мне понять, что мои просьбы превысили меру, и эти слова, с которыми ему никогда не следовало обращаться ко мне (следствие заблуждения, как я полагаю, судя по всему тому, что я слышал от Вас) смешивают меня с толпой людей алчных, которые только и думают что о деньгах; наконец беседа с Вашим Величеством привела меня к убеждению, что и Вы, которая была моим якорем спасения в этом крушении моих заветных надежд, чье мнение было для меня равносильно голосу моей совести, кому всегда принадлежала вся моя душа, что и Вы тоже разделяете это мнение, столь несправедливое по отношению ко мне. Эту беседу Вы резко прервали, не кинув мне даже, как милостыню, ни одного утешительного слова, даже не подумав о том унынии и унижении, в котором Вы покидали меня в самую решительную минуту моей жизни. А завтра вы уезжаете <...>².

Сопоставим тон этого письма с рефлексией старика Оглана из повести Жанлис о неблагодарности дорогих его сердцу людей (после клеветы неприятелей Государь лишает своего визиря должности, а наследник его возненавидел – он «не только отнял у меня чин мой, но и все имение» (С. 31):

<...> я успел оказать услуги разным особам, что мог с основательностью надеяться на утешения дружбы <...> неблагодарные все меня оставили <...>. В числе сих неблагодарных есть люди, которые так милы для меня были!.. есть много таких, которых привык я любить с самого младенчества; почитал их своими детьми <...>. Не

¹ См. об этом подробно: *Янушкевич А.С.* Письма В.А. Жуковского к царственным особам как феномен русской светской культуры и общественной мысли // Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. С. 73–75.

² Цит. по: *Янушкевич А.С.* Письма В.А. Жуковского к царственным особам как феномен русской светской культуры и общественной мысли. С. 74–75.

раскаиваюсь в добре, мною сделанном; но нежные мои о них попечения, заботы, беспокойства, труды, лишившие меня здоровья... Сколько претерпел я бесплодных страданий, которые никогда не могли внушить даже благодарности!.. (31–34).

Литературная образность повести Жанлис соотносится с биографией самоотверженного в молодости и огорченного неблагодарностью «на старости лет» царедворца Жуковского. Рассказ старика Оглана о его бегстве подальше от царских чертогов легко проецируется на чувство горького разочарования, охватившее стареющего поэта после того прохладного расставания с воспитанником и его семьей, в котором он увидел неблагодарность царского семейства и пренебрежение жертвой, принесенной им в молодости на алтарь своей высокой миссии, – жертвы, сопоставимой, в свою очередь, с отречением от личного счастья юного Зейнеба – благородного рыцаря и идеолога милостивой и добродетельной власти.

Очевидный эмотивно-сюжетный параллелизм повести Жанлис и биографии Жуковского позволяет предположить, что окончательный выбор заглавия «Тюльпанное дерево» мотивирован как автобиографическими, так и идеологическими причинами: Жуковский продолжает оставаться поборником идеи нравственности власти, основанной на ценностях, проповедуемых религией, идеологией Просвещения и традиционным нравственным кодексом, зафиксированным в фольклорной картине мира. Заглавие «Тюльпанное дерево» дополнительно свидетельствует о том, что отошедший от двора воспитатель наследника продолжал вести с государем и его семьей воображаемый диалог об этих ценностях. На материале переписки Жуковского с императрицей Александрой Федоровной этих лет М.П. Алексеев отмечает актуальность мифа Лалла Рук¹. Добавим, что свидетельства жизненности образа Лалла Рук – великой княгини и неизменной силы очарования, которой он обладал для Жуковского, многочисленны в его дневниках – они встречаются в дневниках путешествия с великим князем по Европе в 1838–1839 гг.

¹ Алексеев М.П. Томас Мур и русские писатели XIX века // Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М., 1982. С. 657–790. (Литературное наследство. Т. 91).

Таким образом, стихотворная повесть Жуковского «Тюльпанное дерево» может диалогически соотноситься и с мотивом тюльпана – Лалла Рук как символа изящества и красоты в семейственной мифе монархии, и с просветительской метафорой «государство – сад». Стихотворный перевод сказки в Германии в 1845 г., через четыре года после того, как Жуковский покинул русский царский двор, был продиктован, по всей видимости, размышлениями о собственной судьбе самоотверженного рыцарского служения добродетели и «наказанного добра» – в противоположность мотиву «наказанного зла» в сюжете сказки. При этом заглавие «Тюльпанное дерево» можно интерпретировать и как знак продолжающегося в сознании поэта строительства идеологии «нравственного совершенства» монархии.

Сюжет немецкой сказки как повествование о русской политической истории

Сказка Жуковского о тюльпанном дереве могла отражать и особый (остраненный западным местопребыванием Жуковского) взгляд на Россию как на восточное государство, а также быть аллегорическим повествованием об истории русского царского дома. Сюжету немецкой сказки присваивается смысл русского «идеолого-политического нарратива» согласно конвенциям иносказательной «восточной повести»: о жестокости власти в русской истории; этот поворот мысли связан с кризисом просветительской утопии и обозначен образом злой жены и мачехи, вторгающейся в царский дом.

Мы считаем, что содержание сказочной восточной повести Жуковского «Тюльпанное дерево», обработанной им при переводе сказки братьев Grimm о вражде и ненависти как убийственных силах, об ужасе смерти и ее преодолении, соответствует финальному эпизоду повести Жанлис «Тюльпанное дерево». Сказка братьев Grimm оказывается развернутым символическим повествованием о времени страшной революции и враждебной ненависти, о гибели законной власти – казни короля, гонениях на царедворцев, с последующим восстановлением покоя, счастья и защиты империи. Сказка о мачехе и усекновении головы законного наследника, о реставрации отцовской власти и взаимной привязанности в семье представляет интерес как опыт создания символизированного «обобщенного

образа прошлого, настоящего и прорицания будущего» в русской истории.

Образный ряд немецкой фольклорной сказки приобретает функцию символизации представлений о русском государстве и о характере русской власти. В экспозиции сказочный сад с цветущим тюльпанным деревом отсылает к просветительской метафоре гармонии государства – образу цветущего сада, к революционной угрозе идиллическому миру нации-семьи, к размышлениям о драматической судьбе законной власти. Сказочные мотивы «яблоко», «нож», «капля крови на снегу» приобретают иносказательный смысл прорицания о грядущем насилии.

Л.Э. Найдич отмечает множество переводческих новаций Жуковского: оригинальный мотив «мглы на могиле матери» замещается в переводе «цветами»; птичка (душа убитого мальчика) в переводе вылетает из цветов на могиле матери, а в немецкой сказке – из «мглы и горящего можжевельового куста». К наблюдениям Найдич добавим, что в переработке Жуковского могила матери открывается и принимает (обнимает) сына; птица вылетает из цветов и зеленеющего дерна на могиле матери и отдыхает на тюльпанном дереве. Тем самым утраивается символизация представлений о любви и семейной привязанности. Утверждение Л.Э. Найдич о том, что «изменения “исправляют” сказку с точки зрения литературы своего времени, здравого смысла и пригодности для детского чтения»¹, представляется недостаточным. На наш взгляд, в переводческих трансформациях Жуковского очевидно смещение смысла в сторону легко различимых сентиментально-романтических ценностей материнской любви, ее хранительной и благотворительной силы, означаемых «языком цветов». Они существенны и в сентиментальном и романтическом сценариях власти, и в представлении об истории как о реализованной сказке взаимной любви в семье-нации. В контексте «политической ботаники любви и привязанности» образный комплекс «тюльпанное дерево – цветы – птица» является основным смысловым оператором идеолого-политического смыслопорождения (романтизации истории и творения дворцового мифа о единстве нации-

¹ *Найдич Л.Э.* Сказка Жуковского «Тюльпанное дерево» и ее немецкий источник. С. 339.

семьи, покоящемся на любви и привязанности как силах, способствующих преодолению зла).

В интерпретации повести «Тюльпанное дерево» как сказки о русской истории выразительная тематизация дендрологического символа – дерева жизни и власти – как «дерева любви» очевидно отсылает к просветительской государственной идеологии. Особую значимость здесь приобретает образ птицы – символ воскресения души убитого законного наследника и одновременно символ оглашения ужасной тайны мачехи – убийцы пасынка в оригинале сказки братьев Grimm. В выбранной нами стратегии чтения переводной сказки песня птички приобретает смысл распространения слухов о тайнах власти: мачехи-сатрапа, жертвоприношении царского сына.

Оглашение ужасной тайны занимает особое место в сказочном повествовании. Песня птички об убийстве пасынка мачехой – это актуализация мифологического представления о перерождении души после смерти в образе птицы, сочетающегося с мифопоэтикой «языка птицы» – вещания и прорицания. Известный фразеологизм «птичка напела» – в значении «распространение секрета, тайны» – превращает песню птички в смысловой центр сказочного повествования. Распространение птичкой ужасной тайны об обстоятельствах убийства наследника отцовского дома, происходящее благодаря кумулятивному нанизыванию однотипных эпизодов и постоянному разрастанию числа посвященных, вводит представление о молве, о неизбежности и неостановимости распространения устной истории на правах структурного элемента сюжета.

Птица рассказывает об убийстве мальчика мастеру золотых дел, башмачнику (в оригинале он рассказал жене и детям), двадцати рабочим на мельнице. В переводе Жуковского сохраняется детальное внимание к нарастанию числа слушателей птички на мельнице: один, два, пять, восемь, все двадцать. Значение «длительность оглашения ужасной тайны и расширение охвата ее распространения» связано с мифологической семантикой образа мельницы как нечистого места и «постоянного шума»: «Был стук и шум от мельничных колес // с громом молот огромный жернов <...>» (IV, 212–213).

Образ «непрестанного шума мельницы» в сказке можно соотнести с «клокочущей речью улицы» (по Р. Барту) – с опорой на корреляцию «мельницы и речи» и на архаичную в славянских языках ме-

тафору говорения и болтливости¹. Акцент на расширении охвата узнавания истины очевиден, очевиден и выразительная переработка мифа об Оссе – стоустой молве. Перенос сказочной семантики в контекст «русской царской истории» актуализирует атмосферу разрастающегося ареала распространения неофициальных рассказов о тайной истории двора, о смерти законного наследника. Сказка приобретает смысл романтического аллегорического рассказа об «ужасах в истории», о «власти-мачехе», не знающей благородства, милосердия и добродетели, о жертвоприношении царского сына, об оглашении «секретов дворцовой истории». Чем этот комплекс образов и мотивов мог быть актуален для Жуковского в 1840-е гг.?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно учесть систематические занятия Жуковского русской историей, особенно в связи с его задачами воспитателя наследника, а также его осведомленность в неофициальной хронике власти, знание устных преданий о наследнике-жертве в русском царствующем доме. Свидетельствами этого интереса являются записи в дневниках Жуковского за 1834 г. о подготовке уроков истории для великого князя: о «бедном князе Петре II», о Екатерине и убийстве Петра III, о гибели Иоанна Антоновича – царя-узника с младенчества, о том, что Екатерина «за трон заплатила чувством матери», о ее вражде с Павлом, немилости к нему (XIV, 9–13), а также безусловное знакомство с петербургской молвой и городскими легендами о гибели княжны Таракановой – незаконнорожденной дочери Елизаветы Петровны, погибшей в Петропавловской крепости в период правления Екатерины II².

В этих сведениях из неофициальной истории русского царствующего дома реконструирован образ губительной власти, они были чреваты трансформацией фольклорных и просветительских представлений о милосердной власти-матери (государыня-матушка) в образ власти-мачехи. Весьма вероятно, что из разговоров с Пушкиным после его работы в Секретном архиве в начале 1830-х гг. Жуковскому стала известна причина незавершенности работы Пушкина над «Историей Петра I»: он знал о жестокостях эпохи Петра I, и в

¹ *Седакова И.* Мельница. URL: <http://pagan.ru/slowar/m/meler1nica8.php>; <http://www.symbolarium.ru/index.php>

² *Синдаловский Н.А.* История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб.: Норинт, 1997. С. 126.

частности о секретном деле царевича Алексея и гибели законного наследника русского престола – не без участия его мачехи. Эти сведения реконструируют актуальный для Жуковского сюжет жертвоприношения законного наследника власти как хроническое явление русской истории. Возможно, на этой основе возникает диалог со стихотворением Пушкина «Анчар», с его дендрологическим символом убийственной власти человека над человеком. Отстаивая просветительскую идеологию и нравственность романтического сценария власти как правой стороны битвы с силой зла в истории, Жуковский создает антитезу образа смертельного «древа яда» – «древу добродетели»: таким представляется генезис его дендрологического символа – «Тюльпанного дерева».

Работа Жуковского над сказкой проходила в контексте размышлений о нравственности и власти. Через его письма красной нитью проходит мысль о неразрывном единстве «поэзии, нравственности, политики и религиозных понятий с воззрениями на историю России – прошедшую, настоящую и будущую»¹. С учетом этого контекста сказка приобретает имплицитный смысл воззвания к единству царской семьи перед угрозой разрушения: вторжение мачехи в уютный домашний мир и неизбежность испытаний, выпадающих на долю первородного сына-наследника. Нетрудно заметить аналогию с болезнью Александры Федоровны («птички, заключенной в золотой клетке», по словам фрейлины Анны Тютчевой) и с истинными причинами ее страданий. Жуковский не мог не знать о дворцовых слухах об изменах Николая I. В контексте официального сценария семейной любви и привязанности к Лалла Рук («тюльпаношкой») смысл сказки конкретизируется как иносказательное призвание оберегать наследника.

Наконец, сюжет о власти-мачехе является пророческим намеком на опасности революционного насилия и гонения на царское семейство. Он мотивирован представлениями монархиста Жуковского о революции как об уничтожительном катаклизме, о страшной, разрушительной силе. 4 января 1833 г. в письме наследнику Жуковский наставляет великого князя:

¹ *Письма* В.А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Николаевичу. 1840–1851. (Из Русского Архива 1867 года). М., 1867. С. 17–43.

Живи и давай жить, и паче всего блюди Божию правду <...>. Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли бешенством толпы, дерзкой ли властью одного! Разрушать существующее <...> для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодоносною. И, правда, будет земля плодоносная, но для кого и когда? (XIII, 346–347).

Таким образом, стихотворная повесть «Тюльпанное дерево» входит в контекст сценария русской монархии «Битва с силами зла» и в контекст ее семейственного мифа, соответствуя идеологическому постулату программы Жуковского: нравственное совершенство монархии (как власти, так и подданных), совершенство, воспитанное религией и просветительскими ценностями. Жуковский приравнивает благородство ума и сердца к религии в их одинаковой способности противостоять «силам зла»:

Государь только тогда может гордиться своим саном, когда его подданные – люди, облагорожденные свободой, нравственностью, религией, просвещением <...>; Просвещение для ума есть то же, что чистая религия для совести (XIII, 303–304, 314).

Предложенное нами прочтение стихотворной повести «Тюльпанное дерево», выявляющее присутствие политических смыслов, делает возможной ассоциативную проекцию ее финального дидактического мотива невидимого, но всевидящего Бога, карающего зло, на начальные мотивы повести – счастливой семьи и сада с тюльпаным деревом – в русле существенного для Жуковского убеждения в единстве поэзии, нравственности, религии и политики с воззрениями на историю России – прошедшую, настоящую и будущую.

Испытав драму разрыва с императорской семьей, Жуковский продолжает рыцарское служение тюльпанному дереву добродетели и идеологическое строительство концепции моральной монархии, власти нравственности, утверждает представления о любви и привязанности как о политических понятиях, предостерегает от опасности революционных катаклизмов. В переписке поэта с великими князь-

ями в 1844–1845 гг. постоянно присутствует тема спасительности власти-любви к подданным, благородства и красоты нравственного совершенства самодержца¹. Показательна и значима устойчивость семейной метафоры единства нации – «великого русского семейства» с главой – «Богом данным Отцом своим»².

Подводя итоги, можно сказать, что переводная обработка Жуковским сказки братьев Grimm является символизацией романтического мечтания об идеальном мире политического совершенства, достигнутого в результате испытаний добродетели и преодоления зла. Сказка возрождает просветительскую государственную мифологию золотого века: государства – цветущего сада и добродетельного правителя, противопоставляя угрозе насилия и революционной катастрофы спасительное единство нравственности и власти.

На основании рассмотренного материала можно заключить, что на протяжении более четверти века тюльпан и тюльпанное дерево в системе «политической ботаники» В.А. Жуковского оказываются устойчивыми смыслопорождающими образами в символических художественных воплощениях его представлений о моральной монархии и нравственном совершенстве власти – как один из аспектов романтического моделирования идеального политического мира и спасительной любви в нации-семье.

¹ Жуковский В.А. Сочинения. 8-е изд. / под ред. П. Ефремова. СПб., 1885. Т. 6. С. 460, 461, 462.

² Письма В.А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Николаевичу. 1840–1851. С. 55.

И.А. Поплавская
(Томский государственный университет)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ В ЛИРИКЕ В.А. ЖУКОВСКОГО

В современных общественных науках отмечается возрастающий интерес к изучению истории эмоций. «Эмоциональный ренессанс» затронул почти все области гуманитарного знания: историю, литературоведение, культурологию, этнографию, искусствоведение. Одним из первых, кто писал о возможности изучения эмоций, был французский историк, принадлежащий к основателям школы «Анналов», Люсьен Февр (1878–1956). В статье «Чувствительность и история» (1941) он говорит о необходимости «реконструкции эмоциональной жизни определенной эпохи», о «подавлении эмоций активностью интеллекта» как общем движении цивилизации, о возможности написания в будущем научных исследований об истории Любви, истории Смерти, истории Жалости, истории Жестокости, истории Радости¹.

Одним из источников реконструкции истории эмоций в мировой культуре является литература. Эмоции в литературе раскрывают «внутреннего человека» той или иной эпохи, выявляют значимую для него систему ценностей: идеологическую, нравственную, эстетическую. Эмоциональная жизнь автора во многом определяет его литературное и бытовое поведение, формирует круг его единомышленников, близкие ему «эмоциональные сообщества», оказывает влияние на его поведенческие практики. Образ человека в контексте «знаковых» для него чувств образует эстетическое ядро основных литературных течений и направлений XVIII–XX вв.: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, символизма, импрессионизма и др. Изучение эмоций в жизни героя оказывается непосредственно связанным с направлением «нового историзма», оно передает характер «исторического вчувствования» персонажа, раскрыва-

¹ Февр Л. Чувствительность и история // Февр Люсьен. Бои за историю. М., 1991. С. 117, 118, 123.

ет преломление «текстов времени» в его душе и сознании, формирует чувство национальной идентичности.

Предмет изучения в статье – русская культура и русское общество рубежа XVIII – первой половины XIX в., рассмотренные в аспекте истории эмоций. Как известно, в русской культуре этого времени происходит смена «традиционно-ориентированного» типа личности типом «внутренне-ориентированным». При этом если поведение человека, «ориентированного-на-традицию», во многом регулируется внешней мотивацией и зависит от религиозных норм, ритуала, семьи, и преобладающей эмоцией в этом случае оказывается страх, то «ориентированное-на-себя» поведение характеризуется преимущественно внутренней мотивацией и отличается большей свободой в выборе целей, авторефлексивностью, ответственностью за свою индивидуальную судьбу. Доминирующим чувством для данного типа оказывается чувство обновления человека и мира¹. Для осмысления динамики этих социокультурных типов в русской литературе обратимся к лирике В.А. Жуковского, в частности к стихотворениям поэта с хронологическими номинациями. Рассмотренные в единстве, эти произведения представляют своего рода художественную летопись чувств и мыслей автора и персонажей, раскрывают особенности лирики Жуковского как автопсихологической, исторической и автоматекстуальной одновременно, определяют важнейшие черты эстетики жизнестроительства поэта, передают живое чувство времени в его эстетическом и идеологическом преломлении.

Самыми ранними стихотворениями Жуковского, в названии которых присутствует образ времени, являются «Стихи на Новый 1800 год» (1799) и «К Тибуллу. На прошедший век» (1800). Оба произведения относятся к эонической лирике, генетически связанной с пиндарической одой. Константные содержательно-структурные особенности эонического стихотворения включают в себя формулу «на Новый год», входящую в заглавие; описание уходяще-

¹ Подробнее о социально-культурных типах «ориентированного-на-традицию», «ориентированного-на-себя» и «ориентированного-на-другого», выделенных американским социологом Дэвидом Рисменом в книге «Одинокая толпа», их использовании при анализе русской культуры см.: *Зорин А.Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. М., 2016. С. 24.

го/приходящего года; изображение и осмысление сакрального момента связи времен; наличие темпоральной антитезы «прошлое – будущее» с топосами «новогодней молитвы» и «нового счастья»¹.

Так, в «Стихах на Новый 1800 год», опубликованных в газете «Московские ведомости» в № 1 за 1800 г., описан эмоциональный образ встречи с Новым годом и новым тысячелетием. Этот образ включает в себя «робкие надежды», «блаженства вожделенны» и «кротку радость». Переживания лирического повествователя отличаются временной конкретикой и соотносятся как с линейной концепцией времени, так и с циклической, представленной в аллегорических образах Зимы, Весны, Лета и Осени. Эмоциональный комплекс ожидания «нового счастья» в этом произведении дополняется состоянием «подведения итогов» в стихотворении «К Тибуллу. На прошедший век». Оба поэтических текста, написанных почти в одно время, передают взгляд поэта, обращенный из прошлого в будущее и одновременно из настоящего в вечность. Переживание вечности раскрывается здесь через параллельное изображение природного, социального и антропологического миров в их взаимоотражении. Для передачи этого чувства автор использует такие художественные средства, как повтор-обращение, анафора, синтаксический параллелизм, семантика которых раскрывает внутреннюю связь трех миров.

Послание «К Тибуллу. На прошедший век», напечатанное в первой книжке «Утренней зари» за 1800 г., прочитывается в контексте других произведений Жуковского, опубликованных здесь же. Среди них статья «К надежде», прозаические опыты «Мысли на кладбище» и «Истинный герой». Персонифицированный образ надежды в статье «К надежде» раскрывается через последовательное развертывание метафор: «посланница небес», «подруга радости», «усладительница горестей». Этот метафорический ряд передает вариации данного образа-чувства и эмоционально объединяет разных представителей современного социума: царя, героя, земледельца, морехода, «нежную мать», нищего, узника. Вместе с тем в сознании героя-повествователя образ надежды воспринимается и как своего рода «пролог» вечности. Ср.:

¹ *Петров А.В.* Становление художественного историзма в русской литературе XVIII века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006. С. 23.

О надежда, усладительница наших горестей! Сопутствуй мне на мрачном пути сей жизни; сопутствуй до того времени, когда ангел смерти, отворив таинственные врата вечности, примет меня из объятий твоих и на крыльях бессмертия понесет в лучший, блаженный мир (VIII, 40).

Восприятие вечности как предощущения воскресения, «утра бессмертия» звучит и в прозаических произведениях поэта «Мысли на кладбище» и «Истинный герой». Эти настроения Жуковского, как верно отмечает современный исследователь, во многом перекликаются с книгой Екклезиаста («Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек», 3:14; «<...> нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это – доля его», 3: 22)¹.

Можно сказать, что образы Нового года и миллениума соотносятся в рассматриваемых стихотворных произведениях Жуковского с особым комплексом чувств, в котором определяющими оказываются чувство надежды и предощущение вечности. Образы времени и вечности, темы смерти и бессмертия позволяют автору соединить в этих лирических стихотворениях одические и элегические интонации, внешний и внутренний планы, традиции классицистической и сентименталистской поэзии. Эмоциональное движение от надежды к вечности выступает здесь аналогом жизненного пути героя стихотворения и всего человечества, направленного от рождения к смерти и от смерти к воскресению. Данные особенности оказываются традиционными для эонической лирики поэта рубежа XVIII–XIX вв. и во многом определяют ее образность, эмоциональную тональность и жанрообразующие стратегии.

Утверждение романтических принципов в творчестве Жуковского 1808–1814 гг. раскрывается через изображение «внутреннего человека» и передачу «психологии в действии». Формирование романтической системы жанров, в которой ведущая роль отводится балладе, элегии, посланию, песне, открывало возможности для изображения «внутренне ориентированного» типа личности с характерными эмоциональными предпочтениями, создавало условия для восприятия эмоций как основы поведенческих стратегий и как «нарратив-

¹ См. об этом: *Янушкевич А.С.* «К Тибуллу. На прошедший век»: комментарий (I, 429).

ного образования»¹. Отмеченные особенности привели во многом к обновлению поэзии и прозы Жуковского, в том числе и его эронической лирики.

Новогодние стихи 1807 г., обращенные к М.А. Протасовой, представляют собой образец «домашней» поэзии, не предназначенной для печати и пронизанной ожиданием «счастливого вместе». Конкретное событие – подарок М.А. Протасовой на Новый год записной книжки с напечатанными в ней фрагментами литературы для юношества и отрывками из сочинений моралистов² – сопровождается изображением зарождающегося чувства, которое конкретизируется через мечтанье, счастье, «радостей исканье». Ср.:

На Новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе!
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе! (I, 115).

Три стихотворения, написанные 1 января 1807 г. и адресованные М.А. Протасовой, прочитываются как своего рода лирическая увертюра любви. В них особая роль отводится образу воспоминания, обращенного к настоящему, которое еще не стало прошлым. Фрагменты «новогодней молитвы» неотделимы здесь от «святого Провиденья» («Да сохранит тебя святое Провиденье»), сам же этот религиозно-философский образ объединяет биографическую и историческую линии в лирике поэта. В этом тексте предчувствие счастья в любви совпадает с ожиданиями счастья «от новолетия».

Своеобразным прозаическим вариантом трех новогодних стихотворений 1807 г. является статья «Подарок на Новый год», переведенная поэтом из немецкого моралиста и «практического философа» Хр. Гарве (1742–1798) и опубликованная в первой книжке «Вестника Европы» за 1808 г. Образ книги объединяет эти произведения, а сформулированная в статье концепция чтения-письма-воспитания направлена на «пробуждение души» на пути к совершенствованию. «Одушевление мысли» воспринимается здесь как своеобразная художественная формула, соединяющая чувства и размышления, про-

¹ Зорин А.Л. Появление героя. С. 18, 21.

² См.: Лебедева О.Б. <М.А. Протасовой>: комментарий (I, 512).

цесс и результат для достижения возможной полноты счастья героиней и автором. Важен и автобиографический подтекст этой статьи, в котором образ «белой книги» становится своеобразным лейтмотивом творчества поэта 1805–1819 гг., а история любви Жуковского и М.А. Протасовой соотносится с ожиданиями счастливых перемен в наступающем новом году. Можно сказать, что сам концепт счастья в этих произведениях универсализируется и получает одновременно психологическое, историческое и эстетическое прочтение. Это достигается во многом благодаря его соотнесенности с биографическим текстом поэта, с новогодним сюжетом и описанием творчества как процесса «духовного делания».

Особое место в лирике поэта данного периода занимает стихотворение под названием «Первое июня 1813», которое при жизни поэта напечатано не было. Оно воспринимается как репрезентативный вариант «текста времени». Изображенное в нем чувство «обновления души» может быть рассмотрено и в биографическом, и в историческом, и в мифопоэтическом аспекте. Номинация произведения отсылает ко дню рождения друга и родственника Жуковского А.А. Плещеева (1778–1862), владельца имения Большая Чернь, находившегося в Орловской губернии. Обращаясь в стихотворении к событиям, случившимся год тому назад – 1 июня 1812 г., автор соотносит их одновременно и с историческими фактами, связанными с приближением наполеоновских войск к границам России, и затем с начавшимися военными действиями, а также с какими-то очень личными воспоминаниями в его жизни и жизни М.А. Протасовой¹.

В данном произведении на основе чувства обновления души формируется особый поэтический метасюжет, включающий в себя мотивы охранительной и спасительной силы любви и Провидения. Не случайно эмоциональная лексика стихотворения («приятен», «радостно», «наслаждение») не только проецируется на исторические события 1812 г. («тяжкий сон», «горестная мечта»), но и соотносится с природным и христианским годовыми циклами, в основе которых – принцип возвращения и повторения. Ср.:

¹ См. об этом: *Янушкевич А.С.* «Первое июня 1813»: комментарий (I, 623–624).

Вид природы обновился –
И душа обновлена (I, 268).

Этот метасюжет возникает на пересечении литературы, истории и быта и представлен также в стихотворениях 1812–1814 гг. «Послание к Плещееву. В день Светлого Воскресения» с его известными поэтическими формулами «Дорога бурь приводит к тишине!», «Спасительный дух жизни»; «К Батюшкову», в котором утверждается мысль об онтологической природе любви («Любовь есть неба дар; // В ней жизни цвет хранится»); «Пловец» с встречающимся в нем образом «Спасителя-Провиденья»; «Певец во стане русских воинов» с повторяющимся лейтмотивом «За правых Провиденье!»; послание «Императору Александру», где государь изображен как «воли Промысла смиренный совершитель». Важная роль в формировании этого комплекса чувств отводится и «домашней поэзии», адресованной Е.А., М.А. и А.А. Протасовым, А.П. Киреевской, А.А. Плещееву и его жене, А.Н. Арбеновой, и др. Например, в стихотворении <К А.А. Плещееву> («Плещеев! Сколько сходств с тобою у меня!») с его центральным мотивом «любви до гроба», представленном в шутовском ключе, или в произведениях «Нина к своему супругу в день его рождения» («Друг! в тот миг, как из безвестной...») и «Нина к супругу в день его рождения» («Друг, сопутник и хранитель...»), где вновь звучит мотив веры в Провидение и обновления мира («Все сбылося! Провиденье // Свой исполнило обет!»; «Я молюсь, чтобы Небесный // Ничего не изменил, // И протекши дни прелестны // В днях грядущих обновил»). Ср. также в послании «К А.Н. Арбеновой» («Мой друг, для всех одно здесь Провиденье!») и др.

Представление о спасительной и охранительной силе любви и Провидения ассоциативно связано в этом стихотворении с образом семьи, «своего круга», круга родных по духу, который поэт нашел в это время в Муратове, Долбине и Черни¹. «Мысль семейная» включает также и описание «дружбы священной», и «посещение муз»,

¹ Киселева Л.Н., Степанищева Т.Н. Проблема комментирования эпистолярия (на примере переписки Жуковского и его племянниц) // Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария: Материалы междунар. конф. Тарту, 2007. С. 260.

шутливо обыгранных, например, в «Послании к Плещееву» («Ну, как же вздумал ты, дурак»), в котором упоминается о работе Жуковского над стихотворением «Императору Александру». Ср.:

И под пером моим налой
Трещит – и план и мысли есть,
И мне осталось лишь присесть
Да и писать к Царю посланье! <...>
Предчувствую то наслажденье,
С каким без лести, в простоте,
Я буду говорить стихами
О той небесной красоте,
Которая в венце пред нами! (I, 340)¹.

Круг близких родственников и друзей Жуковского образует особое «эмоциональное сообщество», которому отводится важная роль в аспекте изучаемой проблемы. По мнению Б. Розенвейн, к таким сообществам относятся люди, «приверженные единым нормам выражения и наделения ценностью (или обесцениванием) сходных или взаимосвязанных эмоций». Исследовательница выделяет «социальные сообщества», в которых эмоциональная жизнь участников определяется сходством условий их существования, и «текстуальные сообщества», основанные на общности «авторитетных идеологий, учений и образов»². В случае Жуковского значимыми оказываются оба типа сообществ.

С сюжетом об охранительной и спасительной силе любви соотносится и формирующийся в это время поэтический миф Жуковского о Нине. В отличие от трактовки этого мифа, сложившегося в русской литературе в конце XVIII – первой трети XIX в., в котором Нина воплощает роковую женщину, живущую высокими, сжигающими ее страстями, соединяющую в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона³, Нина Жуковского – это хранительница дома и святости семейственных отношений. Таким этот образ предстает и в поэзии

¹ Об этапах работы поэта над посланием см.: Поплавская И.А. Императору Александру: комментарий (I, 721–726).

² Цит. по: Зорин А.Л. Появление героя. С. 10.

³ Пеньковский А.Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003. С. 583.

Жуковского, и в мемуарных источниках, посвященных описанию усадебной жизни владельца Черни, хозяин которого, как известно, называл свою жену А.И. Плещееву Ниной. Так, в частности, в сведениях, сообщаемых писательницей и мемуаристкой Е.В. Новосильцевой (1820–1885), печатавшейся под псевдонимами «Т. Толычова» и «Т.Н.»¹, описывается праздник по случаю дня рождения А.И. Плещеевой, устроенный в Черни ее мужем. Ср.:

В день ее рождения он задал пир, который сохранился еще в устных преданиях... <...> После обедни <...> пошли на лужайку, где, к общему удивлению, стояла выросшая за ночь рощица. <...> Под звуки военной музыки маневрировал полк солдат. На их знаменах и киверах стояла буква N, так как Плещеев звал свою жену Ниной².

Домашнее имя А.И. Плещеевой оказывается связанным с культурной ситуацией конца XVIII в., когда образ героини известной оперы французского композитора Н. Далеярака «Нина, или Безумная от любви» (1786) и ее новой версии, написанной на этот же сюжет Дж. Паизиелло, становится своего рода *эмоциональной матрицей*, задающей нормы *литературного переживания* и *литературного поведения* в бытовой жизни русского дворянства первой трети XIX в.³

В стихотворении «Первое июня 1813» содержится отклик и на события Отечественной войны 1812 г. Можно сказать, что вступление Жуковского в Московское ополчение, присутствие его на Бородинском поле в составе резервных войск 26 августа, нахождение при

¹ Подробнее о ней см.: *Острейковская Н.В.* Новосильцева Екатерина Владимировна // Русские писательницы XIX – начала XX века: Тексты и судьбы: учеб. пособие. Тверь, 2006. С. 63–71; *Острейковская Н.В.* Отечественная война 1812 года в мемуарных записях Е.В. Новосильцевой // Вопросы литературы. 2001. № 6. С. 144–159; *Строганова Е.Н.* Е.В. Новосильцева как историк войны 1812 года // Культура и текст. 2015. № 2 (20). С. 61–70.

² *В.А. Жуковский* в воспоминаниях современников / изд. подгот. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М., 1999. С. 146.

³ Подробнее об этом см.: *Зорин А.Л.* Понятие «литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива // История и повествование: сб. ст. М., 2006. С. 13–14.

штабе главнокомандующего в Тарутине прочитывается как поведенческая реализация метафоры «певца во стане русских воинов». Хронология этого поведенческого текста может быть реконструирована, в частности, на основе орловского дневника семейства Протасовых и А.П. Киреевской, записи в котором велись в период со 2 августа по 27 октября 1812 г. Ср.:

1812-го года. 2-е августа. Уехал наш добрый Жуковский. Да благословит Господь Бог путь и намерение его. <...> 25-е. Получено письмо от Жуковского из деревни Перхуткиной. Он перешел пешком 28 верст, идет к Можайску. <...> 10 сентября. <...> вдруг наш добрый Жуковский явился из Армии курьером к Губернатору в 7 часов вечера, этот бесподобный вечер никогда не забудется... <...>. Он приехал к Губернатору, чтобы ему сказать, что сюда в Орел привезут 5 тысяч человек раненых... <10 октября> <...> день памятный в наших горестях. Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в Армию. <...> Господи, сохрани его своею милостию¹.

Чувство любви к отечеству и государю и внутренне связанная с ним вера в Провидение соотносятся в период Отечественной войны и с представлениями о национальной идентичности, с выраженным чувством «русскости». Не случайно после изгнания французов мужество русского народа и Божий Промысл рассматривались как основные причины победы России в этой войне². И сама российская власть настаивала на божественно предопределенном характере спасительности самодержавия, которое было поддержано преданным ему народом³. В данном случае подчеркивается связь эмоций с национальным самоощущением русского человека на уровне как личностного восприятия, так и официальной идеологии.

Определяющие принципы в лирике Жуковского 1815–1824 гг. –

¹ *Дневник семейства Протасовых и А.П. Киреевской 1812 года в Орле // Периодика В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852. Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. М., 2009. С. 666, 670–671, 679.*

² *Уортман Р. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая II. М., 2002. С. 294–295.*

³ *Суни Р.Г. Аффективные сообщества: структура государства и нации в Российской империи // История и повествование: сб. ст. М., 2006. С. 103.*

это принцип жизнетворчества и принцип эстетической рефлексии и саморефлексии. Как отмечает А.С. Янушкевич, история расставания поэта с Машей Протасовой, роль воспитателя при царском дворе, первое заграничное путешествие, начало дружбы с А.С. Пушкиным – все это так тесно переплелось в биографии Жуковского, что трудно сказать, где кончается жизнь и начинается творчество¹. Вместе с тем поэзия Жуковского этого периода оказывается насквозь пронизана эстетическими идеями, она воспринимается как своего рода лирическая философия, в которой главной оказывается тема высоких мгновений встречи с вдохновением, с тайнами искусства².

В аспекте интересующей нас проблемы обратимся к стихотворению «9 марта 1823», являющемуся, как известно, откликом на смерть М.А. Протасовой-Мойер. В нем изображается последнее свидание с любимой женщиной в земном мире. Описанная здесь ситуация расставания часто варьируется в лирике поэта («Ты все жива в душе моей!», «Привидение», «Звезды небес») и в его переписке 1823–1824 гг. Чувство расставания во многом определяет лирико-философскую природу данного стихотворения и его ведущий эстетический принцип, который основан на столкновении *линейного* развития темы и ее *циклического* повторения. Трехчастная композиция произведения раскрывает переход от личного и временного плана к плану безличному и вневременному, т.е. вечному³, а образ последнего взора («Он был последний // На здешнем свете») «выступает здесь как знак, отмечающий границу жизни и смерти, наивысшую и конечную ценность»⁴. Образ расставания семантически и эмоционально углубляется в этом стихотворении образом тишины («стояла тихо», «как тихий ангел», «тихая ночь») как отражения состояния души героини при жизни и обретения ею небесного покоя («твоя могила, как рай, спокойна») после смерти. Образ могилы описывается здесь как место встречи земной и небесной жизни, как соединение «земных воспоминаний» о любимой женщине со святыми мыс-

¹ Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 129.

² Там же. С. 148.

³ Топоров В.Н. Из исследований в области поэтики Жуковского // Slavica Hierosolymitanta. Slavic Studies of the Hebrew University. Jerusalem, 1977. Vol. 1. P. 56.

⁴ Ibid. P. 64.

лями о небе («Там все земные // Воспоминанья, // Там все святые // О небе мысли»). Так расставание и психологически, и эстетически вызывает у автора появление другого чувства: надежду на встречу в воскрешающем воспоминании и в вечности.

Данное стихотворение прочитывается в контексте переписки Жуковского с А.П. Елагиной, которая воспринимается как своеобразный прозаический комментарий к нему¹. В письмах Жуковского и Елагиной чувство расставания с Машей составляет основу их нарративной стратегии и одновременно оказывается смыслопорождающим, формируя авторскую философию «святых жизни». Ср. в его письмах от 28 марта 1823 г. и от 19 мая 1823 г.:

Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святых. <...> мысль о товариществе с существом небесным не есть теперь для меня одно действие воображения, нет!

Машина потеря есть для меня и для вас религия; и вот почему называю жизнь святых <...>;

Жизнь точно святых: Маша сама в этом теперь меня уверила².

Художественная философия «святых жизни» Жуковского включает в себя невидимую духовную связь между земным и небесным мирами, между живущими и умершими:

Не вижу глазами ее, но знаю, что она с нами... (252);

Саша, вы и я будем жить друг для друга во имя Маши, которая говорит нам: незрима я, но в мире мы одним (254);

Бог вас не смел разлучить и смертью (257).

Составной частью этой философии является также воскрешение прошедшего и признание его неизменяемости и необратимости:

С ее святым переселением в неизменяемость прошедшее как будто ожило и пристало к сердцу с новою силою (252);

¹ См. об этом: Поплавская И.А. «9 марта 1823»: комментарий (II, 619).

² Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852 / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жилияковой. М., 2009. С. 253, 258. В дальнейшем тексты писем Жуковского и Елагиной цитируются по этому изданию с указанием страницы в скобках.

Самое прошедшее сделалось моим; промежуток последних лет как будто бы не существует, а прежнее яснее, ближе (253);

На будущее можно глядеть спокойно, ибо оно уже не отымет счастья. Обратимся к прошедшему (258);

Прошедшее не умирает. Не говорите: ее нет! Говорите: она была! (262).

Существенным здесь оказывается и восприятие смерти как таинства, «алтаря веры» и как предчувствия вечной жизни, небесного рая:

<...> пусть смерть будет для нас таинством, где два будут во имя мое, с ними буду и я (252);

Ее могила, наш алтарь веры, недалеко от дороги и ее первую посетил я (253); <...> она ныне есть для нас небо (253);

<...> одно слово от вас освежает душу, как Машин рай (260).

Кроме того, сюда можно отнести сны и видения как выражение мистической связи между живыми и мертвыми:

Кончина моего небесного Рафаэля <...> расстроила мне совершенно душу. Нет ночи, чтобы я не видала его умирающего или на руках Маши (260);

Ваши сны, милый друг <...> не мечта, я им верю, это разговоры с другим, лучшим светом, которого сердце ваше достойно. Рафаэль на руках Маши – какое небесное настоящее! Какое небесное будущее (261);

Вы видели Машу и во сне, и наяву в последние дни ее <...> Точно в эти последние дни, прощальные на земле, дни откровения, она как будто узнала яснее то место, где она наиболее нужна, и там была она своею душою (262)

<...> ради этих снов, прекрасных вестников того света <...> не предавайтесь унынию (262).

В этой художественной философии значимо представление о возможности спасения в земной жизни через детей и важно обращение к образам ангелов как выразителей «здешней» и «тамошней» жизни:

Я не сказал почти ничего о Саше <...> у нее на руках ее спаситель: она кормит своего малютку. <...> Другой спаситель – Машина дочь, наше общее наследство (254).

Кому могу уступить святое право <...> говорить с вами о последних минутах нашего земного Ангела, теперь небесного (252);

Милый ангел мой Дуняша! <...> Маша более, нежели когда-нибудь, наш Ангел, наш спутник, наш хранитель! (254).

Философия «святыни жизни» находит соответствие и в лирике Жуковского 1810-х гг. через использование автотекстуальных образов, как, например, в стихотворении «Теон и Эсхин» (1814). Поэтические формулы из этого произведения «Для сердца прошедшее вечно», «И жизнь мне земная священна», «Все в жизни к великому средству» становятся и литературным кодом его переписки с Елагиной¹, и эстетической основой его лирической философии, и способом автоописания фактов биографии и собственного творчества. Не случайно последующие критики соотносили в своем сознании имя Жуковского с данным стихотворением и называли поэта «нашим Теоном»². Автоцитаты из этого произведения, иногда несколько видоизмененные, часто встречаются в дневниках Жуковского 1815–1819 гг. Ср.:

10 апреля 1815 г.: «Подождем лучшего времени и воспользуемся лучшею минутою. Теперь скажем только: *все в жизни к прекрасному средству*» (XIII, 95);

12 апреля того же года: «То чувство, которое нас связывает здесь, через короткое время свяжет теснее там, где нет разлуки! Все в жизни к великому средству!» (Там же);

19–20 апреля того же года: «Для сердца прошедшее вечно, а наше с тобою прошедшее есть самый необходимый друг наш!» (XIII, 111);

29 августа 1819 г.: «Для сердца прошедшее вечно! <...> прошедшее не подвержено изменямости: воспоминание бережет его...» (XIII, 133).

¹ Киселева Л.Н., Степанищева Т.Н. Проблема комментирования эпистолярия (на примере переписки Жуковского и его племянниц). С. 268.

² См. об этом: Янушкевич А.С. «Теон и Эсхин»: комментарий (II, 728).

В этом смысле представления поэта о «святыне жизни» воспринимаются как дальнейшее развитие и новое жизненное и эстетическое переживание его известных поэтических формул. Обращение же к образу ангела в стихотворениях «9 марта 1823» («Ты удалась, // Как тихий ангел»), «Ты все жива в душе моей!» («О светлый ангел прежних дней!»), «Ангел и певец» («Ангел светлоокой», «Светлый Ангел», «верный Ангел»), а также в переписке с Елагиной позволяет предположить, что сама номинация известного стихотворения поэта «Ангел и певец» трансформируется в характерный метасюжет его лирики. Одновременно ситуация расставания-встречи ангела и певца становится своего рода литературным кодом в его переписке с родными по поводу смерти Маши Протасовой, а также воспринимается в качестве поведенческой модели и литературной основы в его отношениях с великой княгиней Александрой Федоровной.

В переписке Жуковского с Елагиной этого периода встречаются вариации на тему Сикстинской Мадонны Рафаэля, описанной, как известно, в письме Жуковского к Александре Федоровне от 29 июня (10 июля) 1821 г. из Карлсбада. Ср. также письмо Елагиной Жуковскому от 28 октября 1823 г., в котором она говорит о смерти ее малолетнего сына Рафаэля, и ответное письмо Жуковского ей от 12 ноября того же года:

Кончина моего небесного Рафаэля за три дня до теперешних родин моих расстроила мне совершенно душу. Нет ночи, чтобы я не видала его умирающего или на руках Маши (260);

Рафаэль на руках Маши – какое небесное настоящее! Какое небесное будущее. Это награда любви, которая никогда, никогда не изменяла; <...> je ne connais d'ame plus aimante que la votre* (261–262).

Как верно отмечает И.Ю. Виноцкий, «на протяжении всего творчества Жуковского прослеживаются две символические и тесно связанные друг с другом темы: тема женственного видения и тема обреченного на смерть младенца. Точка схождения этих тем – пере-

* «Я не знаю более любящей души, чем ваша» – фр.

житая поэтом как откровение Рафаэлева Мадонна»¹. Позже ситуация последнего свидания с М.А. Протасовой-Мойер отзовется в видении «одной грустной матери» в статье «Нечто о привидениях» (1848), когда

<...> бесплотный образ милого нам человека неожиданно является перед глазами, и это явление <...> есть как будто последний взгляд прощальный, последний знак любви в пределах здешнего мира на свидание в жизни вечной².

Как видим, чувство расставания-встречи оказывается лейтмотивным в творчестве Жуковского 1810–1840-х гг., оно раскрывает поведение «внутренне ориентированного» человека, передает автоматекстуальную природу его поэзии и прозы, выполняет смыслообразующие, нарративные и текстопорождающие функции.

Известно, что в феврале 1826 г. Жуковский был назначен воспитателем наследника престола, великого князя Александра Николаевича. Как верно отмечает в этой связи современный исследователь, присутствие Жуковского при дворе создавало представление о Николае I как просвещенном монархе, сам же поэт «выбрал роль архитектора николаевского царствования, которая состояла из двух ампула, так сказать, «внутреннего» (наставник царя) и «внешнего» (идеолог)»³. Не случайно лирика Жуковского второй половины 1820-х гг. во многом прочитывается в контексте создания новой официальной идеологии Российского государства. Так, в 1826 г. поэтом было написано стихотворение «Хор девиц Екатерининского института на последнем экзамене, по случаю выпуска их, 1826 года февраля 20 дня», впервые напечатанное в № 5 «Дамского журнала» в том же году. Как известно, Екатерининский институт был основан в Санкт-Петербурге в 1798 г., он находился в ведении Воспитатель-

¹ *Виницкий И.Ю.* Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М., 2006. С. 229.

² *Жуковский В.А.* Проза поэта. М., 2001. С. 187.

³ *Гузаиров Т.* Между историей и идеологией, или Наблюдения из окна Зимнего дворца (Жуковский 14 декабря 1825 г.) // Жуковский и время: сб. ст. Томск, 2007. С. 236, 235.

ного общества благородных девиц, которым с 1796 г. руководила императрица Мария Федоровна.

Определяющее чувство в этом произведении – расставание, прощание воспитанниц с «пределом детских лет». Вместе с тем в «Хоре...» на 1826 г., помимо этого чувства, соединенного с выражением благодарности императрице, присутствует упоминание о недавно скончавшемся Александре I¹. Расставание, благодарность, скорбь представлены здесь в контексте таких традиционных для поэзии Жуковского образов, как «святое воспоминание», «сон пленительный», «хранитель», «небесная сень», «сопутник незримый». Они сближают его с такими стихотворениями поэта, как «Прощальная песнь, петая воспитанницами Общества благородных девиц, при выпуске 1824 года», «Прощальная песнь, петая воспитанницами общества благородных девиц, при выпуске 1827 года», «Государыне Императрице Александре Федоровне», «У гроба государыни императрицы Марии Федоровны. В ночь накануне Ея погребения», «Видение». В основе этих произведений лежит архетип матери и ребенка, связанный с представлениями об идеальной семье, любви, дружеском круге, а также самодержавии, отечестве, православии как выразителях личностной, коллективной, государственной и национальной систем ценностей («И нашу *матер*ь – нашу радость – // Да утешая, ваша младость // Об вас напоминает ей»; «Часто в наш беспечный круг // *Матер*ь милая являлась...»). В то же время упоминание о смерти Александра I в «Хоре...» соотносится с образами матери и сына как разновидностью данного архетипа, приносящего в стихотворение евангельские коннотации. Ср.:

Утешением слети
К сердцу матери томимой!
Будь сопутник ей незримой,
Снова мир ей возврати! (II, 249).

¹ См.: *Ветшова Н.Ж.* «Хор девиц Екатерининского института на последнем экзамене, по случаю выпуска их, 1826 года февраля 20 дня». Комментарий // Жуковский В.А. Полное собр. соч. и писем: в 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 630–631.

В воспоминаниях А.О. Смирновой-Россет сохранился рассказ о публичном экзамене в Екатерининском институте, на котором присутствовал Жуковский, и о дне прощания. Ср.:

Василия Андреевича я увидела в первый раз в 1826 г. в Екатерининском институте, при выпуске нашего 9-го класса. <...> На этот публичный экзамен собрались митрополиты, академики и литераторы. <...> Тут прочитаны были стихи Нелединскому и Жуковскому, их сочинения. Императрица Мария Федоровна оказывала обоим аттенцию и во все время экзамена или словами, или взглядами спрашивала их одобрения. <...> После этого назначен был день прощания, императрица приехала с государем. Он был бледен и очень худ, видно было, что он очень озабочен¹.

По словам мемуаристики, во время исполнения прощальных стихов, написанных Жуковским и положенных на музыку К.А. Кавосом, композитором и учителем пения в институте, при упоминании о смерти императора Александра I («Был у нас другой хранитель, // Он уж взят на небеса, // Небеса его обитель») «слезами прервались наши голоса, мы не окончили. Государыня взяла за руку молодого императора и сказала: «Au revoir, mes enfants»².

В подтексте воспоминания Смирновой-Россет содержится намек и на события 14 декабря 1825 г. Об этом косвенно свидетельствуют бледность и озабоченный вид императора. Можно сказать, что эмоциональная атмосфера выпускных стихотворений 1826–1827 гг. и других произведений, написанных в это время, ассоциативно связана с концептосферой писем и статей Жуковского, в которых содержатся отклики на декабрьские события и размышления о русской и мировой истории. В стихотворениях чувство расставания с «убежищем святым» описывается одновременно и как предстоящая встреча воспитанниц с судьбой, светом, с «тайной рока властью». Важная роль в них отводится и образу Провидения как основы философии судьбы и философии истории Жуковского. Ср.:

¹ Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 18, 142.

² Там же. С. 142.

Мы были дети Провиденья –
И в шуме света будем с Ним!

В котором таинство являлось
Святого Промысла <...>;

Но жизнь прекрасная Твоя –
Символ прекрасный Провиденья <...>

<...> твое явленье
Будет там, как Провиденье,
Откровенное очам.

Рассуждение о роли Провидения в истории, о спасительности самодержавия, а также представление о личности и миссии монарха получают, в частности, освещение в известном письме Жуковского к А.И. Тургеневу от 16 (28) декабря 1825 г. и в письме Е.Г. Пушкиной от 24 февраля 1826 г Ср.:

Провидение сохранило Россию. Можно сказать, что Оно видимо хранит и начинающееся царствование <...>;

<...> по воле Промысла этот день был днем очищения, а не разрушения <...>;

Провидение было со стороны нашего отечества и трона <...>;

О, этот день был днем явного Промысла! (XIII, 239, 240, 244);

Мы живем во времена испытания. Теперь нет ничего другого для подкрепления души и для сохранения деятельности, кроме веры в Провидение. Ибо одна только вера может объяснить то, что во-круг нас происходит¹.

Ср. также с программой воспитания Жуковского, изложенной в «Подробном плане учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича» (1826):

Я могу действовать на нравственность Великого Князя одним только образованием его мыслей. <...> Его Высочеству нужно быть

¹ Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1878. Т. 6. С. 481.

не ученым, а *просвещенным*. <...> Просвещение в истинном смысле есть многообъемлющее знание, соединенное с нравственностью. <...> Оно необходимо для народоправителя, ибо одно оно дает способности властвовать благотворно. <...> Сокровищница просвещения царского есть История. <...> Она знакомит государя с нуждами его страны и его века. Она должна быть *главною наукою* Наследника престола. История, освященная религиею, воспламенит в нем любовь к великому, стремление к благотворной славе, уважение к человечеству и даст ему высокое понятие о его сане. Из нее извлечет он правила деятельности царской¹.

Можно сказать, что упование на Промысел Божий, просвещение и самосозидание – основа понимания писателем того, как история преломляется в человеке, данная формула выступает и живой иллюстрацией того, чем человек «быть должен как существо нравственное» и «для чего он предназначен как существо бессмертное»². Важно отметить, что в плане процесс обучения наследника престола сравнивается автором с путешествием, с плаванием, в котором, например, первый период (от 8 до 13 лет) воспринимается как приготовление к нему, когда «надобно дать в руки *компас*, познакомить с *картою*, снабдить *орудиями*, нужными для приобретения сведений и для открытий», второй период (от 13 до 18 лет) соответствует самому путешествию, а третий (от 18 до 20 лет) совпадает с его окончанием³. Здесь образы компаса, карты, орудия воспринимаются как аллегории просвещения ума в соединении с нравственным чувством и религией, как образы знания, развития таланта обучающегося, как процесс непрерывного самообразования и самосовершенствования личности⁴. Как известно, эти же образы встречаются позднее в статье Жуковского «Самодержавие», написанной в 1840-е гг. Ср.:

¹ Жуковский В.А. Подробный план учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича // РС. 1880. Т. 27, № 2. Февр. С. 251, 252.

² Там же. С. 231.

³ Жуковский В.А. Подробный план учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича. С. 232, 233.

⁴ См. об этом: Киселев В.С., Жиликова Э.М. «План учения... Наследника Цесаревича Александра Николаевича» в контексте педагогического наследия В.А. Жуковского // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 6 (32). С. 125–136.

Самодержавие – в истинном смысле – можно сравнить с благо-разумным капитаном корабля, который, будучи полным властителем своего судна <...> сам покоряет свои действия указаниям компаса, карты и звездам небесным¹.

Важно отметить, что во второй половине 1820-х гг. начинает формироваться «николаевский миф» Жуковского, в котором важную роль играет эстетика героического. Как верно пишет в этой связи И.Ю. Виноцкий, «если Александр был Благословенным, то Николай – Богоизбранный, он послан Богом для спасения мира в годину бед. <...> Государя-ангела сменяет царь-воин <...> твердою рукой ведущий «ковчег России» в обетованную землю»².

В концепции просвещения и нравственного воспитания отдельной личности и народа Жуковский отводит важную роль и эмоциональному началу, которое тесным образом связано с категорией женственности. Заключительный стих из «Прощальной песни...» 1827 г., в котором речь идет об императрице Марии Федоровне («Мысль о ней и жизнь – одно!»), воспринимается как несколько измененный вариант известной поэтической формулы Жуковского «Жизнь и Поэзия одно». Основная тема этого стихотворения, как и эстетических манифестов 1818–1824 гг., – «оживотворение окружающей жизни через встречу с поэзией»³ – выражает романтическую концепцию жизнотворчества поэта и получает свое наиболее полное воплощение в символическом образе «Гения чистой красоты». Этот ключевой для поэзии Жуковского образ, который, как известно, впервые встречается в его стихотворении «Лалла Рук» и соотносится с образом великой княгини Александры Федоровны, изображавшей индийскую принцессу Лалла Рук на придворном празднике в Берлине в 1821 г., неотделим от эстетики женственного в творчестве поэта.

Как нам представляется, женственное начало в лирике Жуковского, выраженное в формуле «Мысль о ней и жизнь – одно», во

¹ Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. / под ред. А.С. Архангельского. СПб., 1902. Т. 11. С. 37.

² Виноцкий И.Ю. Дом толкователя. С. 195, 196.

³ Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского. Томск, 1985. С. 141.

многим соотносится с образом Лалла Рук¹. Этот образ раскрывается в одноименном стихотворении поэта через систему нанизываемых метафор: «милый сон», «души пленитель», «гость прекрасный с вышины», «благодатный посетитель», «добрый вестник небесного», «пришелица», «ангел неземной», «призрак», «мечтанье», «звезда-воспоминанье», «очарователь бед и радостей земных», «небесный жизнедатель», «утро юного творенья», «богиня песней молодая», «всеобновляющая весна», «гармония святая», «пенье». Можно сказать, что художественная «философия Лалла Рук», о которой поэт говорит в письме к А.И. Тургеневу от 7 (19) февраля 1821 г.², воспринимается как расширенная вторичная метафора, включающая все вышеперечисленные образы.

Вместе с тем чувства, с которыми соотносится данный образ, – упование, любовь, счастье, высокое наслаждение («Посетил, как упование», «Везде любовь ее встречает», «У в<еликой> княг<ини>. Минуты счастья и чистоты, высокого наслаждения»: запись в дневнике поэта от 8 (20) февраля 1821 г.) – неотделимы от образов поэтического вдохновения, концептов красоты, души и Провидения. Так происходит дальнейшее семантическое расширение образа Лалла Рук, который включается в символический образ «Гения чистой красоты». В этом случае «Гений чистой красоты» прочитывается уже и как автотекстуальный образ в творчестве Жуковского, встречающийся в стихотворениях «Лалла Рук», «Я Музу юную, бывало», в статье «Рафаэлева «Мадонна», а также как узнаваемая реминисценция в послании «К А.П. Керн» Пушкина.

В творчестве Жуковского образ Лалла Рук становится основой романтического мифа, соотносимого с личностью императрицы Александры Федоровны, а впоследствии и с ее дочерью Александрой Николаевной, которой поэт посвящает перевод «Наля и Дамаянти»³. Этот миф основан на пересечении биографических реалий и

¹ Женское начало в лирике Жуковского связано также с изображением луны («Подробный отчет о луне»), звезд («Звезды небес»), реки («Славянка», арфы («Эолова арфа»).

² См.: *Лебедева О.Б.* «Лалла Рук»: комментарий (II, 595–603).

³ Подробнее об этом см.: *Киселева Л.Н.* Эпизод из переписки, или К истории одного посвящения: Жуковский и его царственные ученицы // Жуковский: Исследования и материалы. Томск, 2010. Вып. 1. С. 444–459.

художественного творчества и включают в себя посещение праздника и описание его в письмах и дневниках поэта, его глубоко личное отношение к своей царственной ученице, выпуск рукописного журнала под названием «Лалла Рук», а также воспоминание о М.А. Протасовой-Мойер и А.А. Воейковой и воскрешение представлений о «счастливом вместе».

В мифе эти биографические факты во многом преломляются через символический образ «Гения чистой красоты», выступающий посредником между земным и небесным, становящийся идеальным воплощением самого духа жизни, женственности, сущности прекрасного, поэзии и поэтического творчества. Можно сказать, что этот миф является наиболее полным воплощением «философии Лалла Рук», передающей мгновенность и невыразимость прекрасного, восприятие бесконечного в его женственном земном преломлении, самосозерцание души в момент ее пребывания в «небесном отечестве»¹.

В эмоциональном плане женственное начало соотносится с верой, любовью, надеждой, упованием на Провидение, что, в частности, находит отражение в комментариях и переводе Жуковским в 1814–1815-х гг. фрагментов из книги «Glaube, Liebe, Hoffnung» известного немецкого проповедника И.Г.Б. Дрезеке (1774–1849). Как отмечает современная исследовательница, заложенный в заглавии этой книги триединый комплекс христианских добродетелей раскрывался главным образом в сопряжении с дорогими поэту женщинами – М.А. Протасовой-Мойер, А.А. Воейковой, С.А. Самойловой и воплощал идею обожествления женского начала, предваряя концепт Вечной женственности, спустя столетие реализованный символическими². Можно сказать, что важнейший поэтический принцип Жуковского «Жизнь и Поэзия одно» существует в его творчестве параллельно с другой формулой – «Мысль о ней и жизнь – одно»,

¹ См. об этом и о соотношении английского, «немецкого», «русского» и «американского» текстов «Лалла Рук» в статье: *Поплавская И.А.* Текст «Лалла Рук» в мировой литературе // *Антропологическая психология в XXI веке: проблемы и перспективы: сб. материалов V Сиб. психол. форума / науч. ред. В. Залевский.* Томск, 2013. С. 200–202 [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=22101889>

² *Никонова Н.Е.* В.А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб., 2015. С. 34, 46.

которая раскрывает одухотворение жизни идеальным началом, связанным с божеством, женственностью, красотой, поэзией. Рассмотренные вместе, эти две поэтические формулы передают единство процесса творчества и поэтической рефлексии, связь между высшим («она») и земным миром через посредство искусства («поэзии»).

Обратимся еще к одному стихотворению. 1 июля 1842 г. Николай I и Александра Федоровна отмечали 25-летие со дня своей свадьбы. К этому юбилею Жуковским было написано стихотворение с характерным названием «1-ое июля 1842», опубликованное в журнале «Москвитянин» в № 12 за 1842 г. В примечании к журнальной публикации говорилось о том, что

Г. Рейтерн имел счастье предоставить Государю Императору на этот день картину, изображающую Георгия Победоносца с надписью церковными буквами: «Блажен еси и добро тебе будет: жена твоя яко лоза плодovitа в странах дому твоего; сынове твои яко новосаждения масличныя окрест трапезы твояе и узрити силы сынов твоих» (Пс. 127, 4–6). Картина эта внушила В.А. Жуковскому нижеследующие стихи¹.

Поводом для создания произведения могло послужить известное письмо Александры Федоровны Жуковскому от 12 (24) марта 1842 г., в котором она упоминала о своем двадцатипятилетнем знакомстве с ним и об их «серебряных уроках». «И вот, – пишет она, – мы с вами отпразднуем наши *серебряные уроки*, кажется, в сентябре месяце 25 лет!!! Боже мой, да это целая жизнь!»² Здесь речь идет о событиях октября 1817 г., когда поэт был назначен учителем русского языка при великой княгине и провел с ней первые уроки. Затем в письме к великому князю Александру Николаевичу от 12 (24) июня Жуковский говорит о серебряной свадьбе как «общем празднике семейном» царя и народа и о «добром царе-семьянине». В другом письме наследнику от 22 июня (4 июля) он присылает свои стихи как дополнение к картине Рейтерна и сообщает:

¹ Канунова Ф.З. «1-ое июля 1842»: комментарий (II, 729–732).

² Русский архив. 1897. № 4. С. 509.

Мы хотели соединиться для поднесения нашего поздравления Государю и Государыне и поручили за них выразиться Георгию Победоносцу; желаю, чтобы мой письменный Георгий столь же был красноречив, как Рейтернов живописный¹.

Исходя из вышесказанного, торжественное послание Жуковского императорской чете можно рассматривать как стихотворное поздравление-экфрасис. Соединение визуального и вербального текстов в данном произведении во многом расширяло его сюжетную и образную структуру. Так, в нем преломлялся религиозно-мифологический сюжет и продолжался в сюжете историческом и семейном, которые объединены сквозным образом Георгия Победоносца. Обращение к образу святого Георгия, с одной стороны, связано с восприятием его как символа Российской империи, что нашло отражение в государственном гербе России. С другой стороны, этот образ соотносится с мифом о Николае I как царе-воине, с эстетикой героического в изображении русского императора. Не случайно в христианстве образ Георгия Победоносца рассматривается в числе небесных покровителей «христоролюбивого воинства» и как идеальный воин². Наконец, образ святого Георгия вписывается и в куртуазные традиции западноевропейской культуры, поэтому образ царя-рыцаря, царя-спасителя и опосредованно «царя-семьянина» на русском троне оказывается в высшей степени значимым для данного произведения. Триадиный образ святого Георгия представлен в стихотворении в такой парадигме: «Христов знаменосец», «вождь, сподвижник и хранитель», «великий ратник Божьих сил», «Божий ратник», «утешный спутник», «мученик победоносный», «святой наш богатырь», «светлый ратник», «сподвижник наш победоносный», «мироносец».

Образ «царя-семьянина» получает сакральный смысл через включение в картину Рейтерна надписи из 127-го псалма и ее метафорического расширения в конце стихотворения Жуковского:

Народ о том лишь Бога молит:
«Да некогда Царю дозволит,

¹ *Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1885. Т. 6. С. 438.*

² *Мифы народов мира: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 274.*

Чтоб он с царицею своей,
Всех сыновей и дочерей
И чад и внуков их собравши,
И трат в семье не испытавши,
Позвал народ, как ныне, свой
На праздник *свадьбы золотой*» (II, 333).

Образ «царя-семьянина» как выражение идиллического начала в данном стихотворении и в авторской концепции николаевского царствования дополняется героическим образом царя-воина, раскрывая целостный облик императора и эпохи его правления. История государства Российского, представленная в этом поздравлении, включает в себя упоминание о крещении Руси, эпохе междуусобиц, татаро-монгольском нашествии, военных победах Александра Невского и Дмитрия Донского, покорении Сибири, Полтавском сражении, присоединении к России Кавказа, польских событиях 1830–1831 гг. Данный исторический сюжет воспринимается как поэтическая параллель к концепции истории во «Введении в Историю государства Российского», составленном Жуковским для преподавания наследнику и впервые напечатанном в 1830 г. В нем поэт показывает становление Российской империи как процесс расширения границ и роста ее государственной мощи¹. В дополнение к этой идее, изложенной во «Введении», автор вводит в стихотворение представление об испытании («туча испытанья», «тяжелый испытанья млат») и искуплении («срок искупленья наступил») как необходимых этапах движения к миру, к созданию в будущем семейственного союза миролюбивых народов Европы. Ср.:

Жизнеобильна и сильна,
В могуществе миролюбива <...>
Россия все зовет державы
В могучий с ней союз вступить,
Чтоб миротворной правде слить
В одно семейство все народы (II, 331).

¹ Гузаиров Т. Учебные пособия по истории В.А. Жуковского // Статьи на случай: сб. к 50-летию Р.Г. Лейбова. 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Guzairov.pdf

Небесным же покровителем на пути России к «миротворной правде» выступает святой Георгий, «не бранный гость, а мироносец». Можно сказать, что мысль о семейственном союзе государств представляет собой дальнейшее развитие «горной философии» Жуковского, впервые изложенной в письме к великому князю Александру Николаевичу от 4 (16) января 1833 г., впоследствии опубликованном в журнале «Библиотека для чтения», в томе 9 за 1835 г. под названием «Две Всемирные Истории: Отрывок письма из Швейцарии». В ней размышления писателя о природе и смысле человеческой деятельности, о нравственных уроках истории, о границах человеческой воли и роли Предопределения нашли свое целостное образно-философское воплощение¹.

В письмах Жуковского к царственным особам по случаю серебряной свадьбы подробно говорится о чувстве счастья («праздник счастья», «такое счастье есть милость Божия», «заслуженное счастье», «домашнее счастье»), благодарности («полно несказанной благодарности») и любви («труд, предпринятый и оконченный с любовью», «чувство глубокой любви и благодарности»). В стихотворении же главным становится выражение любви подданных к императору и императрице, которая получает и реальное, и символическое воплощение. Символический план связан с образом двух венцов: лаврового и из белых роз, раскрывающих союз славы и любви, передающих крепость России как государственного семейного союза и как «союза домашнего». Ср.:

Один венец царю в подарок;
Из свежих лавров он, и ярко
Нетленный блеск его листов;
Он не увянет, как любовь
К царю, как царская держава,
Как честь царя, как Руси слава. <...>
Царице в дар венец другой
Из белых роз – их блеск живой
С ее душою сходен ясной;

¹ Янушкевич А.С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В.А. Жуковский – М.Ю. Лермонтов – Ф.И. Тютчев) // Жуковский и время: сб. ст. Томск, 2007. С. 142.

Как роза белая, прекрасно
На троне жизнь ее цветет
И благодатное лиет
На все любви благоуханье (II, 332).

Любовь в этом стихотворении выступает и как основа многолетнего семейного союза Николая I и Александры Федоровны, и как своего рода нациестроительное чувство, «животворящее» «семейные благие нравы на всех концах своей державы», и, наконец, как возможность реализации такой модели государственной власти, в которой отношения отца (монарха) и детей (подданных) строятся по типу семьи. В идеале по этому же типу возможно построение и межгосударственных отношений. Семья, семейная жизнь воспринимаются поэтом и как «сосуд причащения жизни вечной», как исполнение Божественной воли в отношении себя и близких здесь, на земле, для воссоединения с Богом в высшем, небесном союзе. Об этом Жуковский пишет в дневнике от 12 ноября 1842 г. в связи с рождением дочери Александры. Ср.:

В святилище семейной жизни стоит сосуд причащения жизни вечной. Дети мои и жена его мне подадут, и да позволит мне Бог их жизнь устроить по воле Его (XIV, 269).

Итак, изучение лирики Жуковского 1800–1840-х гг. в аспекте истории эмоций позволяет осмыслить смену социокультурных типов в русской литературе, движение от поведения, «ориентированного-на-традицию», к поведению «внутренне-ориентированному». «Внутренне-ориентированная» личность в реальной жизни оказывается активной участницей «эмоциональных сообществ», в случае Жуковского это «социальные» и «текстуальные» сообщества, раскрывающие общение поэта с семьями Тургеневых, Протасовых, Киреевских-Елагиных, Плещеевых, а позднее и с членами русского императорского дома. «Эмоциональной матрицей», служащей кодом для литературного переживания, литературного творчества и литературного поведения Жуковского и его окружения, выступают в рассмотренных произведениях наступление нового 1800 г. и нового тысячелетия, события Отечественной войны 1812 г., придворный праздник в Берлине в январе 1821 г., смерть М.А. Протасовой-

Мойер 18 марта 1823 г., восстание декабристов, торжественный выпуск в Екатерининском институте 20 февраля 1826 г., серебряная свадьба Николая I и Александры Федоровны 1 июля 1842 г.

Рассмотренные стихотворения, созданные на основе значимых для поэта событий и связанных с ними эмоциональных переживаний, рождаются на пересечении жизни и литературы, а также на основе исторических, культурных и бытовых фактов 1810–1840-х гг. и их преломления в художественных текстах, письмах, дневниках и публицистических статьях поэта. Хронологическая номинация изучаемых текстов позволяет прочесть их как своего рода лирический дневник Жуковского и как поэтическую летопись его внутренней и внешней жизни на протяжении четырех десятилетий, как «тексты времени» и как знаковые факты русской литературы, истории и культуры первой половины XIX в., данные в их эмоциональном преломлении. Чувства, представленные в этих стихотворениях: надежда, счастье, обновление души, расставание, любовь – во многом формируют онтологическую, антропологическую и эстетическую систему взглядов поэта. Вместе с тем указанные эмоции оказываются внутренне связанными с поведенческими («певец во стане русских воинов», «ангел и певец»), нарративными (сквозной мотив расставания-встречи в лирике, дневниках и переписке поэта), сюжетобразующими (сюжет об охранительной и спасительной силе любви и Провидения) и жанрообразующими (эпическая лирика, хор, прощальная песнь, поздравление-экфрасис) функциями в творчестве Жуковского. Эмоции в лирике поэта лежат в основе смыслопорождающих (философия «святыни жизни», «философия Лалла Рук», эстетика женственного), текстопорождающих (статьи «Нечто о привидениях», «Самодержавие») и мифогенных (миф о Николае I как царе-воине и царе-семьянине) текстовых стратегий. Наконец, эмоции формируют особенности национальной политики (любовь государя и его подданных) и государственной идеологии (домашний «семейный союз» как основа общеевропейской «семьи народов») в лирике, педагогических трудах и публицистике поэта.

М.П. Гребнева

(Алтайский государственный университет, Барнаул)

МИФОПОЭТИКА СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ В.А. ЖУКОВСКОГО «УНДИНА»

Василий Андреевич Жуковский не сомневается в существовании другого мира, отличного от здешнего, и как поэт-романтик, и как христианин. Более того, Е.Н. Григорьева писала о том, что он «верит в гармонический, справедливо и, что важнее, счастливо устроенный иной мир»¹. Однако как бы ни был для него замечателен этот другой мир, задача человека сводится к тому, чтобы улучшить здешний мир: «<...> идеал Жуковского по самой своей природе иной, чем у поэтов, его современников, он скорее внутри человека, чем вне его»².

Своеобразное сказочное и религиозное усовершенствование героини осуществляется в старинной повести Жуковского «Ундина» (1831–1836). Она хорошая, но становится еще лучше, одноименное произведение Ф. де Ламотт Фуке замечательно, но в переводе первого русского романтика становится еще замечательнее.

По словам С.С. Аверинцева, «Ундина» – одна из самых поразительных переводческих удач Жуковского, а для русской культуры – такое достояние, без которого, ненаучно выражаясь, и жить невозможно»³. В этом отзыве содержится указание на модель изменения реальной действительности с помощью человека. Дело в том, что, с одной стороны, «прозаическая повесть Ф. де Ламотт Фуке «Undine» (1811) занимает, конечно, свое место в истории немецкого романтизма, но в стиле Фуке слишком много жесткости и слишком мало энергии, слишком много манерности и слишком мало настоящего своеобразия»⁴, а с другой стороны, «несовершенство оригинала тре-

¹ Григорьева Е.Н. Жуковский и христианство: Тема судьбы // Культурно-исторический диалог. СПб., 1993. С. 79.

² Там же. С. 84.

³ Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С. 138.

⁴ Там же. С. 138.

бывалось, следовательно, для того, чтобы оставалось место для нового творческого порыва к совершенству, которое предрекано оригиналом, но которого еще нет на свете»¹. С этих позиций «Ундину» Жуковского можно рассматривать как один из его поэтических манифестов, как подтверждение известнейшего тезиса ее автора о том, что «Жизнь и Поэзия – одно» (IV, 235).

Проблема идеала для Жуковского, как и, к примеру, для немецкого поэта Новалиса, неразрывно связана не только с внутренними возможностями человека, как героя, так и автора, но и с особенностями романтического перевода. Ю.Д. Левин подчеркивал, что «достоинство поэтического перевода (Новалиса. – М.Г.) не в верности оригиналу, но в приближении к идеалу»², который понимался по-новому: «<...> он признавался не объективно существующим, доступным рациональному мышлению, но как некое иррациональное духовное совершенство, постигаемое интуитивно в субъективном прозрении гения»³.

Борьба внешнего и внутреннего, телесного и духовного, языческого и христианского начал в человеке ради приближения к идеалу – это проблема, и проблема мировоззренческая. В средние века языческие представления вступают во взаимоотношения с представлениями христианскими. Средневековые духи связаны с материальными стихиями – водой, землей, воздухом, огнем. Они – материальные духи. Парацельс называл их элементами. По его мнению, «это существа, занимающие промежуточное положение между духами и людьми, имеющие сходство с людьми по форме и строению тела и напоминающие духов стремительностью передвижения»⁴, «их одеяния, действия, вид, манера говорить и прочее мало отличаются от человеческих, но очень разнообразны. Эти существа имеют только животный разум и не способны к духовному развитию»⁵. К элементам как раз и относится героиня повести В.А. Жуковского «Унди-

¹ *Аверинцев С.С.* Указ. соч. С. 141.

² *Левин Ю.Д.* Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Л., 1985. С. 13.

³ Там же. С. 13

⁴ *Гартман Ф.* Жизнь Парацельса и сущность его учения. М., 1997. С. 137.

⁵ Там же. С. 137.

на». Однако мифы гласят, что духи воды «могут обрести бессмертную человеческую душу, полюбив и родив ребенка на земле»¹.

Душа Ундины – это связующее звено между фольклором, утрачивающим свои прежние позиции, и литературой, которая их, напротив, упрочивает в Средние века и опирается при этом на христианские традиции. Героиня Жуковского волею случая проникает в жизнь обыкновенных людей, а сказка – в литературу, в жанр повести. А.С. Янушкевич пишет о том, что «прозаическая повесть Ламонт-Фуке – стилизация под средневековую сказку»². Религиозные представления в этом случае исполняют роль художественной оправы или художественного приема. Сказка и сказочный материал сохраняются в литературе, обретая новую христианскую форму. Средневековая мифология оказывается сказочно-религиозной по своей сути, т.е. и языческой, и христианской в одно и то же время. Языческая мифология в период христианства в Европе находила таким способом свое убежище в литературе.

Жуковский не только располагает людей и духов в одной плоскости, но и идет дальше, наделяя духа человеческой душой. Дух – это материальная, телесная, внешняя ипостась человека, условие его существования, а душа – умственная, нравственная, внутренняя составляющая, условие его величия. Внутри себя человек, таким образом, живет в духе, вступая в общение с другими людьми по определенным законам, он обретает душу. По словам М.М. Бахтина, «внутреннюю жизнь другого я переживаю как душу, в себе самом я живу в духе»³, «душа, переживаемая изнутри, есть дух, а он внеэстетичен»⁴.

У Жуковского дух и душа, языческое и христианское начала не враждуют, а дополняют друг друга. Ундины – не только дух воды, но и человек, средоточие лучших чувств – доброты, благородства, сочувствия, бескорыстия и т.д.

Заметим также, что сказка возможна в доме нищего рыбака, но не в герцогском дворце или рыцарском замке. В городе она не нахо-

¹ *Мифы народов мира: энцикл.*: в 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 549.

² *Янушкевич А.С.* История русской литературы первой трети XIX века: учеб. пособие. М., 2013. С. 116.

³ *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 104.

⁴ Там же. С. 104.

дит привычного пристанища. Однако люди в хижине подвержены новым христианским веяниям. Так, приемный отец Ундины является крещеным человеком, который не боится ходить в дремучий лес и не страшится злых духов, поскольку он «смиранный» (IV, 115), его хранит небесная сила (IV, 115). Герой читает молитву в первой главе: «Он ободрился, прочел молитву» (IV, 115), делает то же самое во второй главе: «При этом слове старик с умиленным // Видом шапочку снял с головы и, руки сложивши, // В набожных мыслях минуты на две умолкнул» (IV, 120), точно так же поступает в пятой главе: «Царь небесный, помилуй нас, грешных!» (IV, 133) и не изменяет этой традиции в одиннадцатой главе: «Рыбак же, сложивши // Руки, молился, чтоб бог не карал их» (IV, 151).

Приемная мать Ундины временами не особенно расположена к дочери, что дает возможность усмотреть в ее образе отзвуки сказочного облика мачехи. Старушка в отличие от своего супруга относится к Ундине более прохладно. Она сетует на ее непрекращающиеся проделки: «<...> но, с утра до вечера дома глаз на глаз // С нею пробыв, от нее не добиться путного слова – // Дело иное; тут и святой потеряет терпенье» (IV, 117), не сокрушается о пропавшей дочке: «Менее мужа о том, что с Ундиной случится, заботясь, // Спать улеглась» (IV, 119). Хотя, с другой стороны, она, как и ее супруг, является христианкой, старушка говорит Гульбранду: «Верно, такой же Христов человек, как и мы» (IV, 116). В шестой главе героиня молится: «Спаси нас, // Дева Пречистая, Божия Матерь» (IV, 137).

Кроме того, в сказках, как известно, особую роль играют повторяющиеся в сюжете ситуации. Эту традицию наследует Жуковский, рассказывая о двух возлюбленных и двух свадьбах Гульбранда. Свидетельством литературного вмешательства в сказку можно считать то, что в этих эпизодах участвуют две героини, а не одна, два патера, совершающих обряд, а не один. Сказка через повторы акцентирует внимание на общем, повесть – на отличном.

Наложение внешне похожих ситуаций друг на друга свидетельствует о сюжетно-литературных вариациях: добрая невеста соседствует со злой, жена с душой противопоставляется бездушной, патер, проводивший первый свадебный обряд, отказывается участвовать во втором и заменяется другим священником, одну героиню любят окружающие люди, а другую они терпят, спасение самоотверженным Гульбрандом Ундины перед свадьбой только внешне напоминает

ситуацию избавления Бертальды с помощью Ундины в Черной Долине.

Главная героиня, водяной дух, оказывается христианкой. Приемные родители Ундины окрестили ее в детстве. Она неоднократно называется посланником рая: «Ангелом тихим осталась Ундина» (IV, 141), «прелесть // Ангела божия в эту минуту имела» (IV, 150), «а Ундина, как ангел, вдруг утративший небо» (IV, 151), «она как небесный // Ангел» (IV, 153).

Вместе с тем сказка буквально населена языческими духами. Встречу с Ундиной священник воспринимает как волшебство или как дело бесовское (IV, 134). Ответная реакция героини могла бы убедить его в этом: «Я не бес, – засмеявшись, сказала Ундина, – не бойся; // Милости просим, отец; войди, здесь добрые люди» (IV, 134).

Бертальда называет приемную дочь рыбака недобрым именем: «Слышите ль? – громко вскричала Бертальда. – Она чародейка, // Водится с злыми духами» (IV, 152). К слову сказать, у Жуковского люди выглядят в этой сказке более жестокими и неблагодарными, чем духи. Это касается в первую очередь самой Бертальды, хотя в детстве, по словам рыбака, она напоминала доброго посланника небес: «<...> наш милый // Ангел смеется, ручонками что-то хватая» (IV, 121).

Гульбранд, обращаясь к Струю, называет его порождением темных и страшных стихий: «<...> он думает, я испугаюсь // Шуток бесовских его и Бертальду бедную брошу // Злому духу во власть» (IV, 162); «Демон бездушный не знает, // Как всемогущ человек своей непреклонною волей!» (IV, 162). Струй предстает в образе старика, белого великана с оскаленными зубами, кивающего головой. Ундина говорит о том, чего он лишен: «Он бездушен, он просто // Отблеск стихийный наружного мира; что в жизни духовной // Здесь происходит, то вовсе чуждо ему» (IV, 158–159). Дядя героини в облике погонщика коней называет себя водяным бесом (IV, 164).

Гульбранд считает близких своей жены неблагополучными: «Ведь прежде // Сам я не ведал, кто она; правда, тяжело порою // Мне приходилось от этой бесовской родни» (IV, 167). Бесы способны принимать различные облики. Так, рыцарь рассказывает о своей встрече с чем-то темным: «<...> черное что-то копышется в ветвях дубовых» (IV, 127). Это «что-то» говорит человеческим голосом,

хотя диким и визгливым. Чудовище обещает герою изжарить его, оно смеется, оскаливает зубы, шумит. Цепочку превращений продолжают огромный седой великан (IV, 127) а также отвратительный человечек, грязный горбун с земляным цветом лица, с огромным носом, который тоже хохочет, оскалив зубы (IV, 127–128).

Диапазон изменений достаточно широк: что-то неопределенное – великан – карлик, но важно, что сквозь преувеличения (язык длиною с локоть, нос, равный длине тела) и недоговоренности (что-то копышется) проглядывают человеческие черты и способности (голос, седина, горб, смех). Однако все эти существа лишены главного – души. Ею Жуковский наделяет Ундину, вернее, она обретает ее – и не только благодаря крещению, но и благодаря тому чувству, которое приемная дочь рыбака испытывает к Гульбранду.

Наряду со сказочными образами в произведении Жуковского присутствует целый ряд сказочных мотивов. Одним из них является мотив леса. Хотя жизнь людей в хижине не изолирована в полной мере от жизни в городе, сказка пространственно локализована в лесу, в своего рода резервации. Ундина последовательно перемещается в хижину, во дворец герцога, а затем и в замок рыцаря. К лесу ближе оказывается хижина, чем дворец или замок. Он вызывает чувство страха у рыцаря: «<...> а вечером поздно в этот проклятый // Лес возвращаться избави боже!» (IV, 116), «но самый сей ужас // Только что с большею силою влек его в лес» (IV, 126). Посещение волшебного локуса Гульбрандом напоминает обряд посвящения, поскольку, оказавшись в нем, он начинает видеть то, о чем раньше даже не подозревал: «И тогда мне открылась // Область подземная гномов: они гомозились, роились, // Комкались в клубы, вились, развивались» (IV, 128). Большое количество золота, представшего перед глазами рыцаря, свидетельствует о потусторонности подземного мира¹ и о его связях с пространством сказки: «Мой спутник (грязный горбун. – М.Г.) // Быстро метался то вниз, то вверх; и ему подавали // Слитки огромные золота» (IV, 128). Правда, надо думать, что прозрение внешнее, материальное каким-то сверхъестественным образом лишает человека зрения внутреннего, духовного. Нравственно человек беднеет, оскудевает, становится меньше и мельче, как гном-карлик, с которым

¹ См. об этом: *Пропт В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 284–286.

повстречался Гульбрвнд. Подобного рода метаморфоза оказывается испытанием для рыцаря.

В лесу герой находится не только из-за Ундины, но и из-за Бертальды, которая пообещала ему свою перчатку: «<...> если осмелишься, рыцарь, // Съездить один в заколдованный лес наш и верные вести // Мне принесешь о том, что в нем происходит» (IV, 126). Приемная дочь рыбака, по-человечески правильно оценив ситуацию, называет Бертальду сумасшедшей: «Кто ж не безумный // С милым себя разлучит и его добровольно в волшебный // Лес на опасное дело пошлет?» (IV, 126).

Обряду посвящения и проверки на человечность должен подвергнуться не только Гульбранд, но и Бертальда, которой вновь обретенный отец говорит: «Ты с нами не будешь до тех пор, пока не исправишь // Гордого сердца; осмелся одна чрез этот дремучий // Лес к нам пройти, тогда я поверю, что нашей роднею // Быть желаешь» (IV, 154).

Наряду с мотивом леса большое значение в сказочной повести «Ундина» имеет мотив круга. С рыцарем, когда он находится под воздействием нечистой силы, происходит что-то странное: «Был как в чаду, и кружилась его голова» (IV, 324). Разлившаяся вода вокруг полуострова, на котором живет Ундина со своей семьей, превращает его благодаря проискам дяди Струя в остров (IV, 130). Она способствует тому, что Гульбранд подвергается христианскому обряду венчания, становится мужем Ундины и частью ее семьи.

Сама героиня обладает вертлявым, проказливым нравом (IV, 131), является воплощением водной стихии, очеловеченным омутом, водоворотом и т.д. Она способна закружить, подчинить своей воле. Ундина похожа на живое веретено, образ которого часто встречается и обыгрывается в волшебных сказках, в частности в «Спящей царевне» самого Жуковского и в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.

В хижине старик с рыцарем беседуют за «полными кружками» (IV, 133). Вино опьяняет, кружит голову, является в литературе традиционно в роли медиума, проводника в иной мир¹. Оно свидетельствует о взаимопонимании и единении приемного отца Ундины и ее будущего мужа.

¹ См. об этом: *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 68–69.

Перед тем как оказаться в долине рыбака священник плыл на судне с гребцами и оказался во власти нечистой силы: «Но бедную лодку // Нашу так и кружило, вдруг поднялась и на нас повалилась // С страшным шумом большая волна» (IV, 135).

Появление приемной дочери рыбака, а затем рыцаря, бочки с вином и патера на полуострове – дело рук Струя, а вместе с тем и всей водной сказочной стихии. Эпизоды, связанные с этими событиями, оказываются сюжетно и композиционно организующими в произведении Жуковского. Дядя Ундины управляется с духами, людьми и предметами по своему усмотрению.

Мотив круга, замкнутого пространства, противопоставлен мотиву дороги, пространственно направленной и ориентированной, и сопоставлен с ним. Гульбранд думает со страхом о том, что дочь рыбака не сможет выбраться из таинственного места, что «ей // Нет оттуда дороги» (IV, 123). Придя в лес по милости Бертальды, Гульбранд сбивается с дороги: «Въехал я в чашу» (IV, 127). Невозможным для него оказывается движение назад: «Опасаясь возвратный // Путь потерять, я коня удержал» (IV, 127). Утрата ориентира означает смерть, во-первых, в ситуации встречи с тем, кто скрывался в ветвях дубовых: «Лес предо мной и за мною сдвигался, как будто хватая // Тысячью рук волшебных меня» (IV, 127). Во-вторых, спасенный Струем, Гульбранд предстает перед грязным горбуном, который преграждает путь ему и его лошади: «Но вот тебе деньги; оставь нас, // Дай дорогу» (IV, 128). В-третьих, сам Струй всячески мешает будущему мужу Ундины выбраться из леса: «Вправо и влево, но все не могу попасть на тропинку. // Белый никак на нее не пускает меня» (IV, 129), «Наконец поневоле я выбрал // Ту дорогу, к которой меня он теснил так упорно» (IV, 129). Живя в избушке рыбака, Гульбранд ощущает свою отъединенность, отрезанность от всего мира: «Часто на мысль приходило, что в мир для него невозвратно // Вход загражден» (IV, 131).

Священнику путь к хижине рыбака указывает Струй, точнее, он не оставляет ему выбора: «Когда я тащился // Берегом вашим впотьмах, предо мною мелькнула тропинка; // Я по ней и пошел; но эта тропинка исчезла // Вдруг перед лесом; ее перерезал поток» (IV, 135). Глагол «перерезать» как нельзя лучше демонстрирует отличие движения по кругу от движения по той или иной линии. Гульбранд, Ундины и патер выходят из леса благодаря помощи дяди героини:

«Здесь я недаром; хочу проводить вас, иначе едва ли // Вам через лес удастся пройти безопасно» (IV, 146). Струй препятствует поискам Бертальды Гульбрандом в Черной Долине и их совместному спасению: «<...> он спотыкался; упорные ветви // Били его по лицу и как будто нарочно сплетались // Сетью, чтоб дале не мог он идти» (IV, 162); «“Что за дорога такая? – спросил у погонщика рыцарь. – // Прямо идет в середину потока”. – “Напротив! – погонщик // С смехом сказал, – поток идет в середину дороги”» (IV, 164–165). Таким образом, вода перерезает или отрезает дорогу к спасению.

Путь для сказки в литературу, в жанр повести открывают вещие сны и зеркала. Мотивы сна и зеркала моделируют сказочное пространство и допускают в повесть сказочное время, с помощью которого приоткрывается завеса над будущим. Сны призваны не только устроить главного героя, но и предупредить его о грозящей опасности, в этом заключается их двойственный характер.

Всю ночь после свадьбы с Ундиной Гульбранду представлялось, «все снилось ему, что хотели // Бесы его обольстить под видом красавиц, что в змеев // Адских красавицы все перед ним обращались» (IV, 140). Это видение повторяется дважды: «<...> рыцарь заснул, но в другой раз // Тот же сон!» (IV, 140).

В разных мифологиях мира змей – это охранитель источников и водоемов¹. Кроме того, он связан «с нижним (водным) миром и враждебной человеку стихией (лесом), часто ассоциируется с другими существами, которые считались враждебными»². Языческие мифы послужили основой для христианского мифа о змее-искусителе.

Синонимами лексемы «змея» в повести Жуковского оказываются слова «ручей» и «объятия». После побега Ундины старик и Гульбранд видят как ключ, берущий начало в лесу, превращается в страшный поток³: «В месячном свете открылося им, что ручей, выходящий // Из леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая // С треском деревья, в море бежал» (IV, 123). Разлив воды способствует появлению кусочка суши, на котором прячется

¹ Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 1. С. 469.

² Там же. С. 470.

³ Поток ко всему прочему синонимичен в данном контексте слову «потоп», вызывающему христианские (библейские) ассоциации.

Ундина: «Был маленький остров // Подле берега быстрым разливом ручья образован» (IV, 124). Оставшись наедине с Гульбрандом, она заключает его в объятия: «Руки вокруг шеи его обвила и его поневоле // Рядом с собой посадила» (IV, 124). Это не первый раз, когда герой делает что-то против своей воли. По желанию Струя он оказывается в хижине рыбака. Ундина в этом контексте, как и ее дядя, – воплощение своеволия, стихийности, непредсказуемости. В начале повести дочь старика предстает в роли змеи-искусительницы или в роли русалки-обольстительницы.

После превращения в воду Ундина неоднократно навещает Гульбранда во сне: «Грустно к постеле его подходила она, и смотрела // Пристально в очи ему, и плакала молча» (IV, 170). Героиня предстает также в сновидениях патера, который обвенчал ее с Гульбрандом: «<...> что с недавних // Пор она по ночам начала мне являться» (IV, 172). Ундина умоляет его воспрепятствовать браку рыцаря с Бертальдой. Ни о каком своеволии здесь не может быть речи, поскольку она обрела душу и своими приходами во сне пытается предотвратить нравственную и физическую смерть мужа, избежать неизбежного. Ее поведение во сне оказывается прологом к реальным действиям наяву.

В обратной последовательности события происходят в финале повести, когда Ундина сначала обнимает Гульбранда, усыпляя и убивая его: «В руки его приняла, но из них уже не пустила // Боле его» (IV, 177). Затем она превращается в ручей, который обвивает могилу героя и впадает в водоем: «<...> тогда ручейком побежал он (белый образ. – М.Г.) // Далек и бросился в светлое озеро ближней долины» (IV, 179). Н.Е. Никонова писала о том, что «Ундина» увенчана образом «прозрачного ключа»¹. В конце повести героиня стремится вложить душу в утратившего ее мужа и предстает в образе несравненной, жертвенно любящей женщины.

Из сновидения перед свадьбой с Бертальдой Гульбранд узнает о своей недалекой смерти: «Стон лебединый! Стон лебединый! (себе непрестанно твердил поневоле // Сонный рыцарь) ведь он предвещает нам смерть» (IV, 173). На этот раз Ундина предстает в

¹ Никонова Н.Е. Стихотворные повести В.А. Жуковского 1830-х гг.: проблемы перевода и мифопоэтики: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. С. 9.

образе верной жены, так как «сюжет брака человека с животным (птицей) распространен у многих народов, он нашел отражение и в ряде фольклорных образов (царевна-лебедь, герой, превращающийся в лебедя, например, в ряде русских сказок, и т.д.)»¹.

К 1831 г. относится не только начало работы Жуковского над переводом «Ундины», но и литературное соревнование его с Пушкиным. По словам М. Бессараб, «Александр Сергеевич Пушкин писал свою знаменитую “Сказку о царе Салтане”, а Василий Андреевич Жуковский “Сказку о царе Берендее”, “Войну мышей и лягушек” и “Спящую царевну”»².

Образ верной птицы присутствует в «Сказке о царе Салтане»: «Глядь – поверх текучих вод // Лебедь белая плывет»³. Князь Гвидон оказывается ее спасителем: «К морю лишь подходит он, / Вот и слышит будто стон <...> // Видно, на море не тихо; // Смотрит – видит дело лихо: // Бьется лебедь средь зыбей, // Коршун носится над ней» (283–284). Она исполняет все желания князя Гвидона и превращается в прекрасную царевну. У Жуковского Ундина также предстает в образе лебедя, и именно она и ее дядя Струй не один раз спасают Гульбранда. Пушкинская сказка заканчивается благополучно, веселым пиром, у Жуковского финал трагический, связанный со смертью рыцаря.

Пространственно значим у Пушкина, как и у Жуковского, мотив моря. Именно море (морская стихия, водная стихия) дает простор для сказочных событий: «Ветер на море гуляет // И кораблик подгоняет» (285); «Снова князь у моря ходит, // С синя моря глаз не сводит» (288); «Ветер весело шумит, // Судно весело бежит» (290). По сути дела, здесь представлены три пушкинских рефрена. У Жуковского море, вода – не столько пространственная доминанта, сколько образная. Ундина – персонифицированное воплощение водной стихии.

Будущее отражается не только в снах, но и в зеркалах Гульбранда и Берталды. Глядясь в зеркало, приемная дочь герцога

¹ *Мифы народов мира: энциклопедия*. Т. 2. С. 41.

² *Бессараб М.* Жуковский. М., 1983. С. 156.

³ *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: в 10 т. М., 1975. Т. 3. С. 286. Далее тексты сказок Пушкина цитируются по этому изданию с указанием страницы в скобках.

говорит: «Ах! боже! какая досада! // Вот опять у меня на шее веснушки; а можно б // Тотчас согнать их; стоило б только водой из колодца // Нашего раз обтереться; ах! если б мне нынче ж хоть кружку // Этой воды достали!» (IV, 175). Бертальда видит в зеркале то, что ее не устраивает. Героиня пушкинской «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», опубликованной в 1834 г., не столько видит в зеркале, сколько слышит от него не то, что ей хочется: «Ты прекрасна, спору нет, // Но царевна все ж милее, // Все румяней и белее» (312). Мотив зеркала у Жуковского в связи с Бертальдой не повторяется, тогда как у Пушкина царица смотрится в него после свадьбы, после того как подросла царевна, в ситуации, когда узнает, что ее соперница жива, после отравления и пробуждения царевны: «Свет мой, зеркальце! скажи // Да всю правду доложи» (311). Зеркало у Жуковского заставляет не только увидеть то, чего не хочется, но также предвосхитить нежелательное – бесовское решение открыть колодец, стоимвшее жизни рыцарю.

Перед смертью Гульбранд смотрится в то, что становится символом смерти, власти нечистой силы над ним: «И в зеркало рыцарь увидел, как двери // Тихо, тихо за ним растворились, как белая гостья // В них вошла» (IV, 176). Вода, Ундина в данном случае, выступает не средством спасения, как живая вода в сказках, а средством погубления, как мертвая вода в фольклоре.

Финал сказки Пушкина о мертвой царевне благополучен и традиционен. Она заканчивается не только смертью царицы, наказанием ее по заслугам, но и торжеством: «Свадьбу тотчас учинили, // И с невестою своей // Обвенчался Елисей; // И никто с начала мира / Не видал такого пира» (323). Сказочная повесть Жуковского завершается трагически. Автор рассказывает не столько о веселье, сколько о похоронах. Более того, повествование о празднике обрамлено историями о смерти Ундины и Гульбранда. Да и само торжество оказывается нерадостным. Жуковский замечает в начале предпоследней, восемнадцатой, главы: «Если рассказывать мне, читатель, подробно, каков был // В замке Рингштеттене свадебный пир, то будет с тобою // То же, как если бы вдруг ты увидел множество всяких // Редких сокровищ, покрытых траурным флером» (IV, 174). Звучащий авторский индивидуализированный голос тоже свидетельствует об отступлении от фольклорных традиций.

Заметим особо, что наказание героя в сказке В.А. Жуковского исходит не от Бога, а от беса, бесовских сил. Важно, что люди в ней предстают демонами, а бесы, наоборот, наделяются человеческими качествами, причем не внешними, а внутренними – добротой, состраданием, благородством, чувством благодарности, а главное – душой. Бес с душой противопоставляется бездушным людям. В этой связи особую роль в произведении Жуковского играют мотивы смеха и слез.

До знакомства с Гульбрандом героиня – бесовка, у нее нет души, она не умеет плакать, сочувствовать, но она способна веселиться: «Ундина! (говорит ей отец. – М.Г.) // Полно проказничать; стыдно; в хижине гости». При этом // Слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий // Шепот, как будто бы кто потихоньку смеялся» (IV, 117); «Вдруг растворилася настезь // Дверь; и в нее, белокурая, легкая станом, с веселым // Смехом впорхнула Ундина» (IV, 117); «<...> и он (Гульбранд. – М.Г.) еще боле пленился смешною, // Детской ее запальчивостью» (IV, 118); «С радостным смехом захлопав в ладоши» (IV, 126); «<...> а Ундина, // Глядя на них, умирала со смеху» (IV, 132); «Стала она про себя потихоньку смеяться» (IV, 133) и т.п.

Полюбив, русалка обретает душу и способность печалиться: «Что-то хотела сказать, но вдруг побледнела и горько, // Горько заплакала» (IV, 139); «Она опять зарыдала, // Скрыла в ладони лицо <...>» (IV, 139); «Очи лазурные, полные слез, на него устремила» (IV, 139). Расставаясь с приемными родителями, «Ундина // Плакала тихо, но горько» (IV, 145). В этом контексте даже смерть Гульбранда можно рассматривать как попытку его жены вложить в него душу, которая им утеряна: «Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто // Выплакать душу хотела» (IV, 177). Она сообщает всем: «Я до смерти его уплакала» (IV, 177).

Героиня, умирая, возрождается к новой жизни. Не случайно патер Лаврентий говорит: «Слушайте ж, рыцарь. Точно ль уверены вы, что супруга // Ваша скончалась?» (IV, 172). При этом то, что она забирает Гульбранда в свою стихию после его смерти, обвиваясь ручьем вокруг его могилы, вероятно, должно свидетельствовать о новой жизни и для ее мужа. Для рыцаря это, думается, также означает неразрывную связь с Ундиной. Отпевает героя тот же самый патер, который венчал его. Новобрачные обменялись кольцами во время свадебного обряда. Ундина обнимает Гуль-

бранда, убивая его. В данном случае Жуковский размышляет на тему любви после смерти или любви, которая оказывается сильнее смерти. Показательно то, что носителем этой идеи оказывается не только сам автор, но и его героиня – дух воды.

Сказочная повесть В.А. Жуковского свидетельствует об активном использовании автором мифологических традиций – языческих и христианских. И те и другие представления неразрывно связаны с проблемой идеала в творчестве первого русского романтика. Если дух воды может обрести душу, то что же тогда говорить о человеке, о его способностях. Идеал, по Жуковскому, возможен не в каком-то потустороннем, а в здешнем мире.

История Ундины трогательна и необыкновенна, пленительна и назидательна. Сокровища подземного мира, которые открываются перед Гульбрандом, не идут ни в какое сравнение с сокровищами души его жены. Бедные старики и их приемная дочь Ундина выглядят более благополучными, чем герцог и герцогиня и их приемная дочь Бертальда. Рыцарь в жилище рыбака явно внутренне превосходит самого себя в собственном замке.

В сказках герои преодолевают внешние препятствия для достижения счастья и благополучия. Они выходят замуж или женятся. Эти преграды можно считать материальными. В христианских мифах персонажи сражаются сами с собой, изживают свои слабости и недостатки. Эти препоны можно охарактеризовать как внутренние. Из сказочной и христианской традиции Жуковский берет все самое ценное, объединяет его в своей собственной душе и в душе своей русалки.

Н.Е. Никонова
(Томский государственный университет)

**«DIE SÖHNE FRANKREICHS» ГРАФИНИ
Э. ЦЕДЛИЦ-ТРЮЦШЛЕР В ПЕРЕВОДАХ
В.А. ЖУКОВСКОГО И Д.П. ОЗНОБИШИНА***

Стихотворение В.А. Жуковского «Четыре сына Франции» (1846–1852) является одним из знаковых поэтических творений русского романтика и его последним оконченным и опубликованным переводом, осуществлению замысла которого он оставался верным более шести лет. Произведение единогласно признается этапным в силу целого ряда факторов. Во-первых, сюжет и архитектура стихотворения представляют квинтэссенцию основных интенций творчества Жуковского второй половины 1840-х – 1850-х гг., поскольку вмещают в себя смыслы актуального в культурно-историческом контексте публицистического дискурса поэта, выраженного в его статьях для немецкой печати, а также духовно-назидательные мотивы религиозно-христианской словесности, привлекавшей поэта в последние годы жизни. И.Ю. Виноцкий справедливо отмечает связь стихотворения «Четыре сына Франции» с «лебединой песней» Жуковского, поэмой «Странствующий жид», в плане выражения историко-философских взглядов романтика, в поле его понимания «абсолютной поэзии», рождающейся «из самого духа истории»¹. Во-вторых, «его интонации, композиция, даже обозначение хронологии событий в начале первых пяти строф: 1789, 1812, 1830, 1846, 18... позволили Жуковскому создать поэтическую концепцию истории французской революции», в очередной раз обнажить «исторический смысл этого явления, его значение для духовной жизни общества, для цивилизации»². Е. Тахо-Годи соотносит стихотворение с «Ночным смотром», увидев аналогии между текстами в их переводной сущности, в со-

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 16-04-50012) и гранта Президента РФ (МД-4756.2016.6).

¹ Виноцкий И.Ю. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В.А.Жуковского. М., 2006. С. 295.

² Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 465.

звучии имен немецких авторов оригиналов, в принадлежности подлинников одной лингвокультурной традиции, в строении стиха, в реализации «наполеоновских мотивов» и приема «бесконечного повторения одного и того же события»¹.

«Четыре сына Франции» уникальны в имагологическом плане. Нам уже приходилось писать о том, что сюжето- и жанрообразующим фактором творчества Жуковского 1848–1850 гг. выступала поэтика диалога. Диалог России и Европы образовал содержание метатекста его поздних прозаических сочинений. Образы Англии и Германии Жуковский крупными мазками рисует в переписке и позднем цикле статей-автопереводов. При этом техника диалога базируется на романтической поэтике контраста и приеме персонификации: как репрезентанты России и Пруссии перед читателем возникают образы дружественных монархов («О происшествиях 1848 года. Письмо к графу Ш-ку»), Англия в облике злодея лорда Пальмерстона («Русская и английская политика»); утопический и желанный образ романтической Германии в лице рыцаря и страстотерпца И. фон Радовица («Иосиф Радовиц»). В этом ряду финальное поэтическое сочинение о Франции и ее «сынах» представляется важнейшей репликой Жуковского-мыслителя, историка, современника века романтизма и «русского европейца»; итоговым высказыванием о знаковой культурной эпохе и традиции.

Несмотря на очевидную репрезентативность сочинения В.А. Жуковского, в науке о литературе до сих пор не нашел освещения вопрос об источнике перевода и его восприятии современниками. Имя автора оригинала известно только из записей самого романтика, точнее, из примечания к ст. 1–100: «Первые четыре строфы этих стихов, которых автор, как мне сказывали, девица Цедлиц, сочинены в 1846 г.»². При публикации стихотворения в «Москвитяине» Жуковский скорректировал комментарий, очевидно не желая вводить неизвестное имя в поле зрения читательской аудитории,

¹ Тахо-Годи Е. «Ночной смотр» В.А. Жуковского: к 225-летию со дня рождения поэта // Юность. 2008. № 9. С. 63–75.

² Янушкевич А.С. «Четыре сына Франции»: комментарий // Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2000. Т. 2: Стихотворения 1815–1852 гг. С. 742. Далее текст стихотворения В.А. Жуковского «Четыре сына Франции» цитируется по этому изданию (С. 343–348).

знакомой с творчеством однофамильца или дальнего родственника графини, И.Х. Цедлица: «Первые четыре строфы этих стихов сочинены в 1846 году. Автор их неизвестен»¹.

Как удалось установить, оригинальные строки о правивших «сынах Франции» принадлежат Элизабет фон Цедлиц-Трюцшлер (Elisabeth von Zedlitz und Trützschler, 1826–?), дочери бывшего главы правительства нижнесилезской Легницы. К моменту создания стихотворения «девице Цедлиц» было не более двадцати лет. К тридцати годам она встала во главе существующей донине религиозной благотворительной организации Евангелического и лютеранского свободного фонда Магдалены в Альтенбурге. Известны два ее печатных издания: очерк о святой Елизавете, графине Тюрингии 1867 г.² и собрание стихотворений 1870 г.³ Последнее было выпущено с благотворительными целями и содержало два цикла, посвященных соответственно святой Елизавете и Генриху Мореплавателю, а также 22 избранных стихотворения. Сочинение «Die Kinder Frankreichs» («Дети Франции») датировано 1846–1867 гг. и содержит строфы, добавленные Э. Цедлиц к первоначальному варианту текста, автограф которого сохранился в архиве В.А. Жуковского.

Известно, что русский поэт трактовал сочинение графини именно как пророческое и старался продолжить эту обозначенную в нем перспективу, дополняя перевод новыми стихами в 1849 и 1852 гг., о чем читаем в его собственном примечании к первопубликации:

Переводя эти пророческие 4 строфы, я прибавил к ним пятую. Будет ли она пророчеством? – Мы уже видели народный бунт, изгнание короля и его семейства; видели порывающийся воскреснуть терроризм 1793 года, которого тень явилась в Национальном собрании под страшным именем Горы, наконец видели уже и тень Наполеона, торжествующего над безначалием: все это быстрое повторе-

¹ Янушкевич А.С. Указ. соч. С. 742.

² Zedlitz-Trützschler E. *Gräfin von*. Die hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Halle, 1867.

³ Zedlitz-Trützschler E. *Gräfin von*. Gedichte. Altenburg 1870.

ние многолетнего прошлого совершилось менее нежели в год... Повторится ли остальное?¹

В рукописном собрании Государственного архива Тюрингии (ThHStAW) среди автографов Великокняжеского государственного архива в Веймаре (Großherzogliches Staatsarchiv Weimar) в фонде «русской корреспонденции» (Hausarchiv AXXV / Russische Korrespondenzen), содержащем переписку русской великой княжны и великой герцогини Саксен Веймарской Марии Павловны с ее российскими соотечественниками, сохранилась недатированная писарская копия стихотворения «Четыре сына Франции», основной текст которой соответствует опубликованным в «Москвитянине» 100 стихам. Однако предваряющее эти строки вышеприведенное примечание, адресованное Марии Павловне и ее двору, в сравнении с русским дополнено указанием на интересную параллель из круга чтения Жуковского. Вот этот текст, отсутствующий в других источниках:

Упомяну здесь об одном пророчестве, которое к удивлению самого пророка, хотевшего только пошутить, совершенно исполнилось. Ежегодно печатается маленький народный календарь, издаваемый Бренгласом. В нем на каждый день года есть какое-нибудь шуточное предсказание иногда забавное, иногда просто карикатурное. Вот что стоит в календаре на 1848 год, изданном в конце 1847. Это я сам читал в декабре месяце этого года:

«24 февраля: Дом Людвига Филлипа и комп. в Париже сводит свои счета, и объявляет себя банкротом»².

Из контекста следует, что «Четыре сына Франции» вместе с этим предисловием были отправлены Жуковским в Веймар в декабре 1848 г. из Баден-Бадена. Как удалось установить, в случае с упомянутыми строками, оказавшимися пророческими, речь идет о выдержке из иллюстрированного «Веселого народного календаря на

¹ Жуковский В.А. Четыре сына Франции // Москвитянин. 1849. Кн. 1. № 7. С. 229.

² ThHStAW. Großherzogliches Staatsarchiv A XXV, Russische Korrespondenzen. № 4, Bl. 125.

1848 год»¹ популярного публициста Адольфа Гласбрэннера (Georg Adolph Glasbrenner, 1810–1876), подписывавшегося также псевдонимом А. Бреннглас (A. Brennglas). Бреннглас был одним из видных сатириков домартовского периода и приверженцем того политического лагеря, который не импонировал взглядам Жуковского, однако его представители, как известно, не оставляли равнодушными широкий круг читателей, выступая с эпатажными политическими призывами и провокациями.

С одной стороны, упоминание календарного издания позволяет представить, насколько Жуковский, переосмысливший заново события нескольких десятилетий, был погружен в гущу социально-политических событий и не пренебрегал того рода паралитературой, которая переживала свой расцвет в Германии середины XIX в.² С другой стороны, это упоминание свидетельствует о напряженном поиске русским поэтом новых путей для России и Европы в стремительно меняющемся мироустройстве, инициировавшем актуализацию провидческих мотивов в его позднем творчестве в целом и дописывание стихотворения о сыновьях Франции в частности. Пророчества современников, шуточные и вполне серьезные, ставшие, очевидно, симптомом переходного периода, побудили и русского романтика к размышлениям о современной истории, о революции, власти и монархии, народе и самодержавии, о политике и закономерностях исторического процесса.

Как и Жуковский, графиня Цедлиц дополняла свое сочинение строфами о событиях современности. Невозможно сказать точно, было ли известно поэту об оригинальной версии продолжения ее творения, которое явно к нему располагало, однако сравнительное сопоставление двух концовок открывает интересный диалог авторов пророчеств. К конечной редакции текста Цедлиц добавила строки о двух правителях и двух эпохах, о них же идет речь в «Четырех сыновьях Франции». В позднем варианте немецкого сочинения изме-

¹ *Komischer Volkskalender* für 1848. Hrsg. von Adolf Brennglas [d.i. Adolf Glasbrenner]. Mit vielen Illustrationen. Dritter Jahrgang. Verlags-Comptoir, Hamburg, 1847.

² См. об этом также, например: Никонова Н.Е. В.А. Жуковский – читатель немецкой поэзии 1840-х гг.: сборник Георга Гервега «Стихи живого человека» (1841) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2015. № 2 (9). С. 59–78.

няется концовка текста, который был известен Жуковскому по автографу. Вместо религиозно-назидательного пророческого заключения, обращенного к Луи-Филиппу, возникает двенадцатистишие, констатирующее закономерную трагичность судьбы очередного правителя Франции. Кроме того Цедлиц изменяет заглавие произведения: на смену относящегося к французским правителям образу «сыновей» приходит более емкое собирательное «дети», что переносит акцент с драматической череды властителей на судьбу всего народа, голос которого рефреном звучит в стихотворении, ср.:

Die Söhne Frankreichs. 1846

Oh! Hör nicht auf das Jauchzen
von dem das Herz nichts fühlt
Blickt' hin auf jene Knaben
die hier vor dir gespielt.
Geh' hin und bet' in Demuth
an deines Vaters Gruft,
Und lern den Thron entbehren
Wenn Gottes Stimme ruft!¹

О! Не слушай ликования, от которого сердце ничего не чувствует. Посмотри на тех мальчиков, которые играли здесь до тебя. Иди и помолись в смирении на могиле своего отца. И учись лишаться трона, когда прозвучит глас Господа!

Die Kinder Frankreichs (1846–1867)

Das Volk am gold'nen Gitter
Begrüßt den Fürstensohn.
„Wird einst der König sterben
Besteigt er Frankreichs Thron.“
Doch wer Verrath gesäet,
Erhält Verrätherlohn.
Das Volk in wildem Kampfe
Zerschlägt den Julithron.
In feiger Flucht entrinnen
Sieht man ein ganz Geschlecht,
Des Vaters Schuld an Kindern
Und Kindeskind gerächt².

Народ у золотой решетки приветствует княжеского сына. «Когда король умрет, он взойдет на трон Франции». Однако кто посеял предательство, получит плату предателя. Народ в дикой борьбе разбивает июльский трон. Целый род трусливо спасается бегством. Вина отца отомстила детям и детям детей.

Первоначальный финал оригинала передан Жуковским в двадцатистишии, озаглавленном «1848»: «Не верь тому, что крадет // Здесь вор и точит моль; // Не верь своей короне... // Верь Богу одному». В конечной редакции 1867 г. заключительный фрагмент стихотворения Цедлиц (как и Жуковский) посвящает Наполеону III. В отличие от русского

¹ *Die Söhne Frankreichs*. 1846 // РНБ. Оп. 2. № 379. Л. 1–2.

² *Zedlitz-Trützschler E. Gräfin von. Gedichte*. S. 21.

романтика, увидевшего в приходе к власти потомка Наполеона надежду для Франции, Цедлиц, автор немецкого стихотворения, законченного пятнадцатью годами позже, когда империя Наполеона III уже была близка к закату, слышит приближение очередной бури и новые «раскаты грома» над королевским домом Франции.

**E.von Zedlitz und Trützschler
Die Kinder Frankreichs (1867)**

Im Hof der Tuileries
Hebt gold'ner Dienertroß
Ein Kind im Kriegerkleide
Zur Waffenfchau auf's Roß.
Des Ahnherrn blut'ge Adler
Ziehn seinem Weg voran,
Des Vaters eisern Ringen
Ihm Kronenrecht gewann.
Trau nicht dem falschen Jubel,
Der sich in's Herz dir stiehlt,
Blick hin auf jene Knaben,
Die vor dir hier gespielt.
Hell strahlt an Frankreichs
Himmel
Des Kaiserhauses Stern,
Doch Stürme jagen Wolken
Und Donner grollen fern¹.

Подстрочник

Во дворе Тюильри
восстает свита раззолоченных слуг.
Ребенок в платье воина
На коне для военного смотра.
Кровавые орлы прародителя
Предшествуют ему,
Железные войска отца
Добыли ему право на корону.
Не доверяй лживому ликованию,
Которое вкрадывается в твое сердце,
Взгляни на тех мальчиков,
Которые играли здесь до тебя.
Ярко светит на небе Франции
Звезда королевского дома,
Но бури гонят тучи
И гром гремит вдалеке.

**В.А. Жуковский
«Четыре сына
Франции»**

Гуляет по широкой
Террасе Тюльери
Двойник Наполеона,
Пока лишь президент,
Но скоро император
Наполеон Второй;
Уже орлы сменяют
Повсюду петуха;
Свободу и равенство
И братство на стенах
Народ самодержавный
Замазывать спешит;
И всё, что опрокинул
Бунтующий февраль,
Воскрешено волшебством
Второго декабря:
Воскресли дюки, перы,
Полиции министр,
И шитые мундиры,
И съезды в Тюльери.

¹ Zedlitz-Trützschler E. Gräfin von. Gedichte. S. 21.

Пророчества обоих поэтов оказались верными для своего времени: Вторая французская империя во главе с Наполеоном III заложила основу промышленной и индустриальной силы Франции, обозначила период долгожданной внешней и внутренней стабильности и стремительного развития страны в 1852–1870-х гг. Предсказанию графини Цедлиц также суждено было сбыться: спустя всего три года после опубликования ее «Стихотворений» империя Наполеона была за три месяца разрушена силами прусской армии по талантливому плану Отто фон Бисмарка, который положил конец французской монархии в любых ее проявлениях, и описанная поэтами череда трагических судеб французских правителей была прервана.

В этом провиденциальном диалоге с особой яркостью проступает оригинальный сюжет двух двадцатистиший Жуковского, изображающих революционные события, приход к власти «народа самодержавного» и «расстрел царя-народа». Цедлиц не касается темы революции 1848 г., сконцентрировавшись исключительно на судьбах правителей. В Примечании к автографу русского перевода Жуковский открыто говорит о геополитическом масштабе своего осмысления образа Франции и представлений о ее будущем:

Пятая строфа прибавлена мною в начале 1849 года. Она изображает промежуток нескольких месяцев, в которые повторилось многое совершившееся в продолжение последнего полувека: мы видели падение королевского трона во Франции, видели изгнание короля; была провозглашена республика, и с нею самодержавие народное, и самодержавный народ был расстрелян на улицах Парижа; теперь видим тени прежней поры, прежнего терроризма, называемого ныне социализмом¹.

Образ Франции в последнем из известных переводов Жуковского связывается, с одной стороны, с ее монархами, в частности с наследием Наполеона и наполеоновской темой, с другой стороны, он ассоциируется с периодически воскресающим «кровавым, страшным призраком», тенью революции. Нарратив стихотворения переводится Жуковским из пространства культурно-исторических реалий в сферу узнаваемой поэтической семантики и метафористики.

¹ Цит. по: Янушкевич А.С. «Четыре сына Франции». С. 742.

В предпоследнем эпизоде Франция, в духе шекспировской формулы «Весь мир – театр, а люди в нем актеры», изображена в виде театра, на сцене которого дается представление для всего мира:

Дала нам мелодраму
Ты, Франция, свою;
Полвека представленья
Тянулося ее;
Теперь, пять актов кончив,
Дать хочешь водевиль;
Но долго ль представленья
Протянется его?

Метафора сцены выражает неестественность и несовместимость, неорганичность и несочетаемость эпох французской истории и культуры, сменявших друг друга по воле «неопытного директора». Жуковский как бы разворачивает гегелевскую сентенцию о том, что «все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй – как фарс», художественно оформляет ее для представления образа Франции как родины революций XIX в.

Восходящая к древним временам мировоззренческая для эпох Возрождения идея «мира-театра» используется поэтом в духе религиозно-христианской доктрины, актуализировавшейся в составившем окружение Жуковского консервативно настроенном немецком обществе конца 1840-х – начала 1850-х гг. Поэтому сцена земной жизни выступает как пространство обмана и искушения, а финал театрального представления – как желанное обретение истины. В заключительном двадцатистишии поэт обращается к Франции, образ которой складывается из деяний, противных человечеству и Богу («шестидесятилетних волнений», «кровавых сеч и зол», «царевубийства ужаса», «безверия чумы» и «бешенства разврата»), послуживших причиной череды трагических событий. Эсхатологические настроения характерны для поздних историософских размышлений Жуковского (переводчика Апокалипсиса). Его ищущий конца в смерти Агасфер, по выражению И.Ю. Виницкого, «пленник истории

и ее толкователь», «проповедник святости»¹. Однако в финальных стихах мрачные предсказания, адресованные Франции и ее народу, разрешаются назидательной сентенцией о спасении в вере и в Боге:

Святой воды здоровья
 Не можешь ты испить;
Ни ты, ни зараженный
 Твоим безумством свет!
Но есть спасенья чаша;
 Она перед тобой, –
К ней, к ней со страхом Божьим
 И с верой приступи! (курсив мой. – Н.Н.).

Так Жуковский переводит свою летопись французской монархии в пространство бытийное, не обещая «сыновьям Франции» светлого будущего, но в финале обозначив для них путь к спасению. В автографе своего перевода, в комментарии к его тексту, поэт не питает светлых надежд:

Скажем, что на сцене Франции после ужасной, полувековой трагедии играют ее коротенькую, смешную пародию. Развязка пародии еще неизвестна; представление еще не кончилось; но оно, вероятно, кончится скоро².

Стихотворение Э. Цедлиц привлекло внимание еще одного русского поэта, представителя пушкинской эпохи, известного переводчика с французского, немецкого, английского, арабского, Дмитрия Петровича Ознобишина (1804–1877), окончившего свой перевод в 1856 г. независимо от В.А. Жуковского и опубликовавшего его впервые в «Литературной библиотеке»³.

Выпускник Московского университетского благородного пансиона, Д.П. Ознобишин с юных лет принимал активное участие в деятельности литературных кружков и салонов, в организации литературного собрания, состоял в основанном В.А. Жуковским литера-

¹ *Виницкий И.Ю.* Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В.А.Жуковского. С. 295.

² Цит. по: *Янушкевич А.С.* «Четыре сына Франции». С. 741.

³ *Литературная библиотека.* 1867. Февраль. Кн. I. С. 301, с подзаголовком: «Die Söhne Frankreichs».

турном обществе, т.е. в определенном смысле был продолжателем дела первого русского романтика. Подобно последнему, он много сил посвятил литературным периодическим изданиям, опубликовав лучшие сочинения более чем в пятидесяти (!) различных альманахах и журналах и выпустив собственный альманах в 1827 г. Достигнув зрелости, много путешествовал по России и Европе, оставив после себя талантливые травелоги. Прижизненных собраний сочинений Ознобишин не издал, поэтому его наследие долгое время оставалось в забвении и открылось лишь в последние десятилетия. Однако текстологическая и эдиционная составляющие в разысканиях литературоведов, чье внимание уже привлекли сочинения Д.П. Ознобишина, не исчерпаны. Так, например, в первом собрании сочинений, двухтомнике прозы и поэзии, выпущенном в 2001 г. в серии «Литературные памятники», автор немецкого оригинала «Сыновей Франции» не указывается, а написание и русский перевод названия, данного самим Ознобишиным в подзаголовке («Die Söhne Frankreichs»), выполнены комментаторами с ошибками¹. Однако Ознобишин вполне осознавал характер того рецептивного диалога с «гением перевода», в который он вступал, публикуя собственный вариант текста. В его примечании к первопубликации стихотворения «Дети Франции» значилось: «В X томе посмертных стихотворений В.А. Жуковского помещено на странице 153 стихотворение: “Четыре сына Франции” почти в этом же роде»². Разумеется, под «стихотворением почти в этом же роде» Ознобишин имеет в виду известный нам текст Жуковского, но без четырех последних строк.

Контекст оригинального творчества Ознобишина проясняет мотивы обращения к немецкому стихотворению о судьбах французских монархов: в период со второй половины 1850-х до второй половины 1860-х гг. он интенсивно разрабатывал тему царской власти, выражая собственные политические воззрения в поэтических сочинениях, которые «отливаются публицистичностью»³. Как и произве-

¹ *Ознобишин Д.П.* Стихотворения. Проза: в 2 кн. М., 2001. Кн. 1. С. 556. Кн. 2. С. 541.

² Там же.

³ *Иванова Т.Ф.* Творческая деятельность Д.П. Ознобишина: проблемы фольклористики и фольклоризма: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Чебоксары, 2006. С. 12.

дение Цедлиц, его стихотворения о царях – «К ружью!» (1854), «Сподвижникам луны» (1855), «Роковая весть» (1865), «Часовня Летнего сада» (1867), «Стихи, произнесенные на 100-летнем юбилее российского историографа Николая Михайловича Карамзина в Симбирске, 1-го декабря 1866 года» (1866) – создавались по поводу конкретных культурно-исторических событий и в адрес реальных персоналий. Как и Жуковский, он был сторонником триады «православие, самодержавие, народность» и «в жизни, и в творчестве опирался на веками сложившиеся у русского православного человека представления о святости монаршей власти», считая власть монарха «Богом данной благодатью»¹.

И все же Ознобишин расходился с Жуковским во взглядах на перевод поэзии. Анализируя его стратегии передачи суфийской поэтики в «Оде Гафица (Из книги «Даль» его дивана)», П.В. Алексеев отмечает: «<...> с одной стороны, А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, где отстаивается позиция обогащения русского поэтического языка за счет новых идей и образов, выстроенных исключительно в соответствии с европейскими вкусами и языком русской поэзии, с другой – переводчик Д.П. Ознобишин»². В его случае ориентализм стал «проявлением принципиальной особенности поэтики»³, однако произведение в восточном стиле «Селам, или Язык цветов» (СПб., 1830), сделавшее его знаменитым, было переведено с немецкого. По наблюдению М.Р. Ненароковой, «Селам» «является скорее не переводом в современном смысле слова, а переработкой немецкого оригинала с учетом особенностей русской культуры 20–30-х гг. XIX в. В пределах одного произведения можно увидеть и точный перевод, и переделки текста, и создание нового текста в соответствии с принципами, заложенными в оригинале. Результатом переводческих и поэтических трудов Ознобишина стал текст по происхождению немецкий, по колориту восточный, но в общем и

¹ *Иванова Т.Ф.* Творческая деятельность Д.П. Ознобишина... С. 12.

² *Алексеев П.В.* Д.П. Ознобишин и Хафиз: проблемы перевода суфийской поэтики // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2013. № 2 (22). С. 67.

³ *Хохлова Н.А.* Обзор архива Д.П. Ознобишина // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 21.

целом принадлежащий русской культуре своего времени»¹. Способ обращения его с оригиналом Цедлиц, в сущности, следовал этим же принципам.

Автор нового русского перевода под названием «Дети Франции» не передает размера, способа рифмовки и строфической композиции подлинника в отличие от Жуковского, поэтический дискурс которого в целом оказывается ближе немецкому оригиналу в ряде ключевых моментов. Во-первых, русский романтик в точности сохраняет такой важный элемент, как эпистрофичность, возвращаясь с каждым сюжетом к возгласу народа у «решетки Тюльери», который приветствует дитя наследника, пятикратно выделяя курсивом рефрен: «Ура! // Наследует престол он, // Когда умрет отец!»). У Цедлиц рефрен структурирован в две строки, у Жуковского – в четыре с прибавлением строки парафраза: «И лет прошло немного...»; «И лет проходит мало...»; «И дней проходит мало...». Этот прием является конститутивным для композиции оригинала и перевода Жуковского, имитируя фольклорную циклическую традицию, а также корреспондирует с летописной формулой «въ лѣто» + дата. В то же время он не находит последовательного выражения в тексте Ознобишина, где трижды повторяется стих «Вокруг золотой решетки в народе толк идет», в образности и синтаксисе которого «народ» не выступает активным началом и не имеет собственного голоса.

Во-вторых, структурное взаимодействие перевода Жуковского с немецким оригиналом более очевидно: использованный им белый 3-стопный ямб по своей фонетической структуре выглядит более эквивалентным германской песенной народной ритмике 3-стопных ямбов с неполной рифмовкой ХаХа ХвХв (где Х – холостые, нерифмованные строки с женским окончанием, а строчные а и в – мужские рифмы), использованных в стихотворении Цедлиц. Как и в немецком подлиннике, у Жуковского четные стихи даны с отбивкой и начинаются заглавными буквами, что исключает интерпретацию метра как 6-стопного ямба с наращением цезуры, как это получи-

¹ Ненарокова М.П. «Селам» Д.П. Ознобишина: культурный диалог Европы и Востока // Культурологический журнал [Электронное издание]. 2013, 4 (Семантика культуры; № 2). URL: <http://www.cr-journal.ru/rus/journals/> 236.html&j_id=17.

лось у Ознобшина, который, складывая строки с подстрочиями, выводит свой графический облик стихотворения. В результате в его переводе мы видим логаяд, т.е. стих с закономерным, но неправильным чередованием стоп в стихах, и парной рифмовкой – ааввсс. Это существенно трансформирует архитектуру оригинала, в котором четверостишия чередуются с шестистишиями. Таким образом, строгий рисунок и объем исходного сочинения у Ознобшина не сохраняются.

Ознобшин переводил, следуя тому же варианту подлинника, что и его гениальный предшественник. Цедлиц в финале первоначального текста призывает юного наследника к «смиренной молитве» на могиле отца, и в этом отношении концовка Ознобшина созвучна оригиналу, хотя не выдерживает единства художественного стиля, совмещая религиозно-христианскую образность с античной:

Д.П. Ознобшин. Дети Франции

Дитя земной юдоли! как блеск твой ни велик,
Но власть есть выше блеска венцов земных владык!
И сколько ни старайтесь вы колыбель златить,
Над нею грозной Парки все будет пряться нить.
Учитесь же смиренью, вы, сильные земли!
Ни золото, ни стража детей не сберегли.
Вознесшийся на небо, мир искупивший весь,
Не колыбель златую, а ясли избрал здесь.

Прием наслоения семантических связей посредством предельного уплотнения («псевдохаоса») образности, щедро приправленной характерными эпитетами, был типичным для переводческих стратегий Ознобшина¹, что объясняет сочетание «земной юдоли», «земных владык», «сильных земли», «златой» и «злаченой колыбели» с «нитью грозной Парки» даже только в восьми цитированных стихах.

Ознобшин пропускает требующие фоновых знаний упоминания исторических фактов, лиц, событий, которые так важны Жуковско-

¹ См. об этом: *Алексеев П.В.* Д.П. Ознобшин и Хафиз: проблемы перевода суфийской поэтики. С. 66–75.

му, дополнившему и без того богатое на реалии стихотворение Цедлиц именованиями французских правителей («Двойник Наполеона», «Филипп Egalité», «Святого милый внук» и др.), знаковых дат («Бунтующий февраль»; «волшебство // Второго декабря») и культурно-исторических явлений («дюки, перы, // Полиции министр, // И шитые мундиры, // И съезды в Тюльери»). Ничего подобного в переводе Ознобишина нет. В результате финальное назидание, как и весь перевод, обретает универсальную понятность и притчевую модальность. Эта установка противоположна той, которую представил Жуковский в первоначальной версии своего перевода (дополненного лишь одной строфой), которая была известна Ознобишину. Публикация «Четырех сыновей Франции» в «Москвитянине» оканчивалась по-настоящему зловещим предсказанием апокалипсического характера:

Что дале?.. Бог не дремлет!
В один – мы зрели – год
Свершилося полвека!
Он близко – день суда!

И если метод Жуковского в обращении с оригиналом можно назвать креативным, то стратегия Ознобишина характеризуется очевидным стремлением к адаптации, некоторому упрощению в соответствии со спецификой и ожиданиями большинства адресатов, читателей «Литературной библиотеки». Наблюдения над стихотворением «Дети Франции» убеждают нас в справедливости утверждений Н.В. Гиривенко, связавшего эстетическую ориентацию поэта с задачами и традициями московской школы поэтического перевода, «школы гармонической точности»¹. В творческом диалоге с Жуковским, к моменту публикации в «Москвитянине» уже более десяти лет жившим в Европе, Ознобишин как будто заявляет о верности своим принципам 1820-х – начала 1830-х гг., времени, когда его «оригинальные сочинения и переводы приравнялись к блистательным поэтическим образцам пушкинской поры»². Усиленная в до-

¹ Гиривенко А.Н. Переводы Д.П. Ознобишина в контексте русской культурной традиции // Язык, сознание, коммуникация. М., 1999. С. 85–86.

² Там же. С. 86.

бавленных к первой публикации строфах драматическая составляющая сюжета Божьего суда («Суд божий прав»), эсхатологические мотивы развязки «шестидесятилетних кровавых сеч и зол», усиленные в переводе Жуковского, противоположны реализованной Ознобишиным гармонизирующей тенденции.

Жуковский разгадал основную профетическую интенцию немецкого текста и на ее основе создал продолжение, усилив опорные позиции поэтического нарратива: хронометрировал строфы, расставил акценты в перечислении череды французских монархов, ввел образ революции, сформулировал конечное пророчество, апокалипсическое в обоих вариантах его перевода. Однако его версию повествования отличает от оригинала один важный базисный структурный момент. Культурно-историческая эволюция французской нации имеет в изображении Е. Цедлиц строгую циклическую закономерность, монархи в немецком стихотворении сменяют друг друга, не понимая и не принимая своих предшественников, не имея благочестивой мудрости, а потому гибнут один за другим, под аккомпанемент одинаковых возгласов слепого народа. В переводе Жуковского путь Франции, несмотря на повторяемость трагических событий, конечен и линеен. Поэтому в череду монархов включаются «кровавые призраки» французских революций, а действие французской истории концептуализируется в образе близящегося к финалу театрального представления. Наконец, ключевым героем и правителем Франции выступает в стихотворении Жуковского Наполеон, о личности которого поэт напряженно размышлял в последние годы жизни, представив его в большинстве своих поздних произведений. Хотя в произведении Цедлиц Наполеона, естественно, нет, Жуковский представляет все события на фоне памяти о его бурной жизни и истории его империи, соотносит новых правителей с той главной ролью, которую сыграл французский император, почти покоривший мир:

1812

Дней новых Прометей,
Угаснул император
В неволе на скале;
А сын, томимый прошлым
Величием отца
И сном времен чудесных,
Исчах в тоске души...

18...

На тень *горы* ступила
Наполеона тень...

* * *

Двойник Наполеона,
Пока лишь *президент*,
Но скоро *император*
Наполеон Второй <...>.

Появление античного образа титана Прометея в тексте перевода имеет довольно сложные основания. С одной стороны, как в трагедии Эсхила исключительное величие Прометея открывается в сопоставлении с Гефестом, Океаном и Гермесом, так в переводе Жуковского на фоне Наполеона («дней новых Прометея») изображается бессилие его наследников на троне Франции. С другой стороны, негативные коннотации осмысления революции, венцом которой стал наполеонизм, заставляют вспомнить о более ранней, гесиодовской интерпретации мифа, где Прометей воплощал отрицательные черты человеческой природы.

Подобно тому, как образы России, Пруссии и Англии персонализируются в поздних сочинениях поэта в фигурах их властителей, в последнем из обнародованных поэтических переводов Жуковского образ Франции ассоциируется с ее выдающимся правителем. И так же, как Англии и Германии, русский романтик не обещает Франции благоприятного исхода, призывая к упованию на Бога и разрешая таким образом все противоречия в пространстве собственных историсофских размышлений.

В отличие от В.А. Жуковского, Д.П. Ознобишин не выходит за рамки оригинала, оставляя без кардинальных изменений обращение Цедлиц к детям Франции. Недаром заглавие ознобишинского перевода удивительным образом совпадает с изменившимся в поздней редакции заглавием немецкого подлинника. «Дети Франции», как и «Die Kinder Frankreichs», проникнуты гармонизирующим пафосом религиозно-христианского сострадания к человеческому роду, и Франция ни в оригинале, ни во втором русском переводе не фигурирует как вершительница судеб на геополитической исторической арене XIX столетия, будучи представленной лишь в образах своих неразумных детей-монархов.

Стихотворение «Четыре сына Франции» являет собой не только образчик переводческого мастерства позднего Жуковского, но и важнейшую имагологическую интенцию его оригинального творчества 1850-х гг.: размышления о роли Европы и России, о священной истории, о судьбах христианства и самодержавия, о русско-европейском культурном взаимодействии. Символичным представляется диалог русской и немецкой лингвокультурных традиций середины XIX в. в поэтическом осмыслении судеб великой державы, ее значения и роли ее властителей. Увиденный сквозь призму пророческих четверостиший юной немецкой поэтессы образ Франции оказался созвучным и размышлениям современника описанных событий, наставника русского царя В.А. Жуковского, и поискам продолжателя его культуртрегерской деятельности Д.П. Ознобишина, и, очевидно, интересам русского читателя середины XIX в.

Е.Е. Анисимова

(Сибирский федеральный университет, Красноярск)

**«ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»:
В.А. ЖУКОВСКИЙ В КРИТИКЕ
И ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИСОФСКОЙ ПРОГРАММЕ
Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО**

Литературная критика ориентирована главным образом на современный литературный процесс, который она призвана описывать и направлять. Закономерно поэтому, что произведения русских поэтов первой трети XIX в. уже не занимали центрального места в журнальной полемике рубежа XIX–XX вв. Однако на более глубоком уровне интерес к «классике» и в особенности к личностям классиков был в это время огромным, причем к усвоению опыта русских предшественников новая поэзия добавила программный интерес к западноевропейской литературе¹. М.Л. Гаспаров отметил, что временная дистанция между зарубежными культурными ориентирами и их русскими реципиентами к этому времени сократилась до одного-двух десятилетий. Русская эстетика и литературная практика, пишет далее исследователь, открыто ориентировались на «достижения двух эпох ведущей поэзии XIX в., французской, – “Парнаса” и символизма»², которые и по своему месту в хронологии европейского литературного процесса, и по творческим принципам были различны. Поэтому присущая России сжатость культурных эпох в условиях намертво застывающего типа развития привела к тому, что на рубеже XIX–XX вв. непосредственными предшественниками модернистов оказывались и синхронно воспринимающиеся школы французской поэзии, и «старая» отечественная классика, требовавшая одновременно и усвоения в качестве универсального истока национальной литературной культуры, и переосмысления ввиду ее

¹ См. на эту тему обобщающие труды: *На рубеже XIX и XX веков: из истории международных связей русской литературы*. Л., 1991; *Начало века: из истории международных связей русской литературы*. СПб., 2000; *Багно В.Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир*. СПб., 2005.

² *Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // Гаспаров М.Л. Избранные статьи*. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С. 286.

неполного совпадения с приоритетами нового искусства. Притяжение и отталкивание становились противоречивыми, но и продуктивными модусами рецептивной работы.

Так, в манифестах первых русских модернистов утверждение завершенности старой литературной эпохи парадоксально сочеталось со стремлением включить в ряды «предсимволистов» даже тех писателей, которые имели литературную репутацию типичных реалистов, например И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. Другой формой «антиномичности» русской культуры этой эпохи стало соединение левой идеологии, народнических настроений с новым «идеализмом», символистской поэтикой и эстетикой. Подобные «наслоения» привели к появлению нового типа художника, отличавшегося от образцового западноевропейского «декадента». Одним из ярких представителей такого синтеза нескольких разнонаправленных традиций был Д.С. Мережковский, который одновременно являлся теоретиком элитарной эстетики и активным практиком «хождений в народ»¹.

Истоки русского модернизма со временем были осмыслены как участниками самого литературного направления, так и исследователями их творчества. Свое законное место в ряду предшественников Серебряного века занял и В.А. Жуковский. Например, на генетические связи русского символизма с русским романтизмом и поэзией Жуковского указал А. Блок в рецензии на книгу А.Н. Веселовского «Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (1904): «Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей “сквозь страду жизни”. Оттого он наш – родной, близкий. “Резвая радость” вместе с “лебединым прашуром” задумалась об Ewige Weiblichkeit (Вечной Женственности. – Е.А.)»². Вяч. Иванов в книге «Заветы символизма» (1910) начал цепочку предшественников символизма именно с Жуковского, «на лире которого русская Муза нашла впервые воздуш-

¹ О динамике народнических увлечений Мережковского см.: *Семигин В.Л.* Д.С. Мережковский в общественно-культурной жизни России конца XIX века (1880–1893): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2004.

² *Блок А.А.* Академик А.Н. Веселовский. В.А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения» // Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 166.

ные созвучия мистической душевности»¹. Имея противоположную цель – дистанцироваться от романтического и символистского мировоззрения, А. Ахматова, по сути, пришла к аналогичному выводу: «Символизм шел от Жуковского. “Розы расцветают – Сердце, уповай...” Это была допушкинская поэзия»². Однако на первом этапе развития самосознания нового литературного направления – в критике и эстетике первых русских модернистов – признание Жуковского одним из ключевых предшественников отечественного символизма не было столь однозначным.

В манифестах раннего модернизма имя Жуковского показательного отсутствует. Данная тенденция отмечается во всех программных работах по эстетике символизма, ретроспективно собранных, в частности, в подводящем итоги эпохи сборнике 1929 г. «Литературные манифесты. От символизма к Октябрю»³. Имя «первого русского романтика» не прозвучало ни в статье Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), ни в знаковых, «манифестных» статьях К.Д. Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии» (1900), А.Л. Волынского «Декадентство и символизм» (1900), В.Я. Брюсова «Истины» (1901), А. Белого «Символизм как миропонимание» (1904) и Вяч. Иванова «Мысли о символизме» (1912). Ф.К. Сологуб, хоть и не претендовал на роль теоретика новой поэтической школы, в своих литературно-критических работах эту традицию «умолчания» также поддержал. Брюсов не называет имени поэта в своей известной статье «Священная жертва» (1905), а в «Ключах тайн» (1903) упоминает о Жуковском, но говорит о нем бегло – только в связи с его ролью редактора посмертных пушкинских публикаций. Эта черта теоретических выступлений Брюсова вдвойне показательна, если учесть, что в иных обстоятельствах «мэтр символизма» посвящал Жуковскому стихи и называл его «сказочником» и «поэтом нашей детской мечты»⁴.

Не менее любопытен пример З.Н. Гиппиус, другой представи-

¹ Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. Брюссель, 1974. С. 597.

² Цит. по: Бабаев Э. На улице Жуковской // Литературное обозрение. 1985. № 7. С. 102.

³ См.: Литературные манифесты: От символизма к Октябрю. М., 1929.

⁴ Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 653.

тельницы старшего поколения модернистов, которая в своих многочисленных литературно-критических статьях, а также в «Литературном дневнике» писала о Жуковском почти исключительно как об авторе статьи «О смертной казни», уклоняясь от разговоров о его художественных произведениях. При этом характерно, что в критических эссе, написанных позднее, Гиппиус неоднократно обращалась к образам и отдельным строчкам из произведений Жуковского – но оперируя ими как «*loci communes*», общими местами поэзии, не называя имени автора. Впрочем, подобные реминисценции в ее критике не выглядят «проходными», поскольку используются в таких семантически нагруженных фрагментах, как название («Мертвый младенец в руках») и эпиграф (статья «Мелькнувшее мгновено», открывающаяся словами из стихотворения Жуковского «Песня» 1820 г.). Причем в первом случае аллюзия является еще и «нижним слоем» в палимпсестной конструкции: строки и образы переводной баллады Жуковского «Лесной царь» Гиппиус трансформировала в метафору состязания за наследие Вл. Соловьева и право считаться его продолжателями – борьбы, разгоревшейся между представителями старшего и младшего поколений религиозных философов. Последних критик сравнила с балладным всадником, который достиг цели своего пути, но утратил его смысл. Аналогичные примеры можно найти и в критике Мережковского, явно предпочитавшего «табуировать» имя Жуковского. Так, например, это правило положено в основу всей риторической конструкции статьи «Суворин и Чехов» (1914), где в качестве литературного комментария также используется «Лесной царь» без всяких отсылок к самому Жуковскому:

Какое-то наваждение, злая чара, колдовство проклятое, напоминающее сказку о «Лесном царе».

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой...

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»

– Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул...

«Хладная мгла» – «русские потемки», как определяет сам Чехов безвременье 90-х гг., из которого он вышел; вышел и Суворин.

«Он в темной короне, с густой бородой».

– О, нет, то белеет туман над водой...

<...> У Суворина нет лжи в словах, но ложь в делах; он весь – воплощенная ложь, обман, туман над водой¹.

Исследователь критического наследия теоретика символизма Н.Г. Коптелова справедливо указала на диалогическую установку статьи Мережковского, однако, как можно заметить, диалог осуществляется не с персонафицированным Жуковским, а с его балладой, словно отделенной от переводчика и первого русского романтика. «Диалогическая структура эссе “Чехов и Суворин” обогащается и творческим освоением в нем текста баллады Гете “Лесной царь” в переводе Жуковского. Диалог Мережковского с этим стихотворением, по сути, выполняет мифотворческую функцию, раскрывая подоплеку иррациональной, необъяснимой привязанности и даже, как представляется критику, “слепой” любви Чехова к Суворину», – отмечает исследовательница².

Эхо этой традиции докатилось и до отдельных представителей следующего литературного поколения. Так, в систематизирующей работе М.А. Волошина «Лики творчества» (1904) имя Жуковского ни разу не называется прямо, однако косвенно – в виде анонимных цитат – его поэзия в книге присутствует. На данную тенденцию в наследии критиков, эстетиков и стихотворцев Серебряного века впервые указал Р. Войтехович, анализирувавший в этом аспекте творчество М.И. Цветаевой и обнаруживший скрытое присутствие в ее текстах «неназываемого Жуковского»³. На наш взгляд, «замолчанные Жуковские», присутствующие в сознании поэтов рубежа веков, образуют своего рода традицию, один из векторов рецепции

¹ Мережковский Д.С. Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. М., 1991. С. 289, 291.

² Коптелова Н.Г. Проблема рецепции русской литературы XIX века в критике Д.С. Мережковского (1880–1917). Кострома, 2010. С. 46–47.

³ См.: Войтехович Р. Неназываемый Жуковский в творческом мире М. Цветаевой // Пушкинские чтения в Тарту 3: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / под ред. Л. Киселевой. Тарту, 2004. С. 311–335.

поэзии русского романтика. Традиция эта заявляет о себе в наследии уже первого русского теоретика модернизма – Д.С. Мережковского.

Целью настоящей статьи является исследование места поэзии и личности В.А. Жуковского в творческом сознании Д.С. Мережковского. Для ее достижения необходимо определить ту историко-литературную роль, которую в своей литературной критике, политической эссеистике, художественной прозе и воспоминаниях Мережковский отвел «первому русскому романтику». Литературно-критические и художественные произведения Мережковского являются наиболее показательными для осмысления феномена «неназываемого Жуковского» в критике раннего модернизма. С одной стороны, именно автор доклада «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892) в своих эстетических манифестах начинает традицию «табуирования» имени поэта. С другой стороны, его художественная проза и статьи о других авторах позволяют заметить настойчивое стремление вытеснить признанного русского классика из самосознания новой эпохи. Похожая рецептивная закономерность подробно описана В. Паперным в его книге «Культура Два». Как показал исследователь, архитектура и скульптура имеют широкие возможности для буквальной материализации тех культурных тенденций, которые в словесности зачастую пропускают завуалированно и незаметно для современников. Так, в середине 1930-х гг. в тень – в прямом и переносном смысле – был задвинут «пессимист» Н.В. Гоголь: памятник писателю работы Н.А. Андреева был перемещен с Гоголевского бульвара в глухой двор, поскольку «то, в чем с точки зрения культуры не хватает *бодрости* и *живости*, не должно маячить перед глазами»¹. Мережковский, стоявший в последнее десятилетие XIX в. во главе нового литературного направления, совершает, по существу, аналогичный культурный жест по отношению к русскому балладнику.

Тезис, которым мы бы хотели открыть нашу работу, заключается в том, что фиксирующаяся в эстетике и критике Мережковского фигура «неназываемого Жуковского» знаменует не забвение как таковое, но свидетельствует об осмысленной попытке «задвинуть» поэта в тень историко-литературного процесса. В мотивах подобной стратегии Мережковского нам помогут разобраться как его отдельные

¹ Паперный В. Культура Два. М., 2011. С. 166.

литературно-критические ремарки, так и посвященный 1820-м гг. русской истории роман «Александр I» (1913), в котором поэзии и личности Жуковского была отведена ключевая роль.

* * *

Начиная с юбилейных торжеств 1883 г. Жуковский уверенно входит в пантеон отечественных классиков. Выполненная А. Вдовиным систематизация данных из хрестоматий XIX в. по русской литературе показала, что по числу публикаций в них Жуковский занимал уверенное третье место (862 раза), пропустив вперед только Пушкина (1577) и Крылова (1126) и сильно опередив Лермонтова (563), Батюшкова (193) и Баратынского (120), не говоря уже о поэтах второй половины XIX в.¹ С учетом же того, что творчество Крылова было представлено в хрестоматиях только несколькими программными баснями, а присутствие Жуковского подразумевало включение как известных баллад и стихотворений, так и больших текстов разных жанров (сказка, героическая кантата, драма, поэма), по объему хрестоматийных текстов «побежденный учитель» проигрывал лишь «победителю-ученику» Пушкину. Именно на этих литературных образцах и произведениях воспитывалось поколение будущих критиков и писателей-модернистов. Кроме того, признание той огромной роли, которую сыграл Жуковский в русской поэзии, не ограничивалось официальными мероприятиями и изданиями. Оно подкреплялось мнением авторитетного для символистов Вл. Соловьева, назвавшего творчество Жуковского «родиной русской поэзии» и «началом истинно человеческой поэзии в России»².

Поэтому выстраивание Мережковским отечественного историко-литературного процесса вне Жуковского выглядит вдвойне красноречивым умолчанием. Свое отношение к поэту-романтику писатель приоткрывает в двух своих литературно-критических работах: «Л. Толстой и Достоевский» (1902) и «Две тайны русской поэзии»

¹ См.: *Частотность авторов и их текстов в русских хрестоматиях XIX века (1805–1912)* / сост. А.В. Вдовин // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту, 2013. С. 310–317.

² Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 118.

(1915). В первой из них Жуковский характерно «спрятан» за названия своих произведений. Впрочем, аналогичным образом Мережковский внедряет в свой труд и память о Н.М. Карамзине:

Почти невозможно представить себе князя Андрея с его беспощадно острою, точною и холодною, уже чрезмерно утонченною, уже столь болезненною, *столь нашею* чувствительностью, современником «Бедной Лизы», «Вадима», «Громобоя» и «Певца во стане русских воинов». Не кажется ли, что он прочел и прочувствовал не только Байрона, Лермонтова, но и Стендаля, Мэримэ, даже Флора и Шопенгауэра?¹

Признавая в творчестве Жуковского и Карамзина важную для эпохи модернизма «чувствительность», Мережковский тем не менее предпочел дистанцироваться от нее. В образе князя Андрея критику виделся болезненный надрыв декаданса, а не руссоистская сентиментальность рубежа XVIII–XIX вв. Последняя казалась критику скорее отталкивающим, чем сближающим фактором. Между эпохой Жуковского и временем Толстого создатель русского символизма проводит резкую границу.

Была и другая грань образа Жуковского, которая не только вызвала неприятие Мережковского, но и вновь ставила русского балладника в один ряд с Карамзиным. Источником слишком «здоровой» чувствительности, которой отличались лучшие произведения Жуковского и Карамзина, была, по мнению критика, их ошибочная общественная позиция. В теоретических работах Мережковский открыто не демонстрировал свои историкофилософские взгляды, но авторские комментарии на эту тему нетрудно найти в его литературной критике и художественной прозе. Так, в статье «Две тайны русской поэзии» писатель детально развил свою концепцию русской литературы, финал эволюции которой он видел в рождении русского модернизма. Помимо того, что в этой работе к Жуковскому и Карамзину был добавлен Державин, в ней, самое главное, был выдвинут критерий, объединяющий этих столь разных литераторов в одну группу: подчиненное положение придворного поэта, едва ли в начале XIX в.

¹ Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский / изд. подгот. Е.А. Андрущенко. М., 2000. С. 106.

пользовавшегося, на взгляд Мережковского, большей свободой, чем переводчик и одописец 1730–1740-х гг.:

Эта религиозная стихия православия отразилась и на русском сознании, на русской литературе.

Крепостное право – колыбель ее. Пеленами рабства повита, молоком рабства вскормлена. Можно сказать, что Державин, Карамзин, Жуковский родились и умерли в том положении тела и духа, в котором старинный придворный пиита, с одою в руках, полз на коленях к трону.

Пушкин встал на ноги¹.

Разделяя либеральный миф о «сервильности» русского классицизма, в романе «Александр I» Мережковский прямо соотносит судьбы Державина, Карамзина и Жуковского с придворными унижениями их предшественника В.К. Третьяковского:

– Ну, чего еще желать? – усмехнулся Пушкин: – бывало, Третьяковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз <...>².

Дав в романе «Александр I» подробный портрет Жуковского, Мережковский иронизирует по аналогичному поводу: «На лице его превосходительства написано: “слава царю земному и небесному, – а я всем доволен, и жалованием, и наградами”» (VII, 198). Так образ поэта-романтика размещается Мережковским в пространстве фундаментальной национальной темы поэта и царя. Антитеза *поэт* и *царь* оставалась одной из основных мифологем творчества Мережковского на протяжении всего жизненного пути писателя и философа. Достаточно вспомнить такие его программные произведения, посвященные династии Романовых, как «Антихрист. Петр и Алексей», «Павел I», «Александр I», «14 декабря», а также написанный в соавторстве с З. Гиппиус и Д. Философовым сборник «Царь и рево-

¹ Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 422.

² Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений: в 24 т. М., 1914. Т. 6. С. 244. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы в скобках.

люция». Во всех этих обширных произведениях конфликт власти и творческой личности имел моделирующее значение.

По наблюдению М. Мейлаха, истоки извечного конфликта *поэта* и *царя* «следует искать в глубокой архаике, в предыстории и сущностной природе поэзии и царской власти, что во многих культурах отражается в разделении функций священника и царя, царя и пророка»¹. Природа противостояния *поэта* и *царя*, по мнению исследователя, заключается в следующем:

Поэт, имеющий власть над словом, «властелин имен», имеет власть и над миром и, таким образом, с царем конкурирует. Царь обеспечивает стабильность мира; поэт-демиург творит мир в слове (а значит, не только в слове), творит его заново, разрушая и пересоздавая его по вдохновению, и, стало быть, представляя собой опасность для царской власти, фиксирующей мир в застывающих формах. <...>.

Конфликт царя и поэта, таким образом, это конфликт между двумя формами власти, которые со временем кристаллизуются – первая, в формах земного могущества, другая – в форме настораживающей способности поэта не только быть внушаемым свыше, но и воплощать эти внушения в небезопасных словесных формах, которые могут непосредственно, в обход царя, воздействовать на мир, – не говоря уже о законной функции пророка – наставлять и, если надобно, обличать царя, передавая ему <...> слово Божие².

Мережковский, находившийся в авангарде религиозно-философских поисков рубежа XIX–XX вв., как мало кто другой ощущал эту древнюю связь и по-своему видел миссию поэта в России. Устами декабристов в романе «Александр I» писатель оспаривает право императора действовать от лица христианства. Уравняв официальное православие с самодержавием, Мережковский направил духовные поиски своих персонажей к двум социокультурным полюсам, превозносившимся в модернистской поэтической среде: к мистическим сектам³ и к творчеству свободолюбивых поэтов. В ли-

¹ Мейлах М. Поэзия и власть // Лотмановский сборник. Вып. 3. М., 2004. С. 720.

² Там же. С. 723–724.

³ См.: Эткинд А. Хлыст: (Секты, литература и революция). М., 1998.

це последних в романе выступают А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов, не фигурирующие, впрочем, как герои, но часто упоминающиеся и организуемые в романе своего рода персональные «тексты».

В сымитированном дневнике декабриста Голицына, одного из героев-протагонистов романа «Александр I», Мережковский комментирует «чувствительность» Карамзина, сочетающего меланхолическую сентиментальность с крепостничеством и верностью самодержавию:

Милый старик – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний. Высокого роста; полуседые волосы на верх плешивой головы зачесаны; лицо продолговатое, тонкое, бледное; около рта две морщины глубокие: в них – *Бедная Лиза* – меланхолия и чувствительность. <...> Орденская звезда на длиннополой бекеше, тоже старинной <...>.

– Бог видит, люблю ли человечество и народ русский, но для истинного благополучия крестьян желаю единственно того, чтобы имели они добрых господ и средства к просвещению.

Встал, подошел к столу, отыскал письмо к своим крестьянам в нижегородское имение Бортное и, как будто для совета с Катериной Андреевной, а на самом деле для моего наставления, прочел <...>. И в заключение приказ: «буянов, если не уймутся, высечь розгами».

А вечером над романом госпожи Сюзэ опять будет плакать (VII, 138, 140).

«Хвалит Аракчеева», «бранит Пушкина» (VII, 140–141) – в привычной для себя антитетической манере резюмирует автор. Сходными взглядами на политику и литературу отличался в романе Мережковского и Жуковский-персонаж. Природа его романтизма также была очерчена при помощи приема имитации исторического документа – дневника супруги Александра I:

– Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой! – воскликнул Жуковский. – То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной¹.

¹ Вряд ли Мережковскому были неизвестны детали филантропической деятельности Жуковского и его настоящая позиция в отношении крепостного права. Наставническая миссия поэта при царе-освободителе и эпизод освобождения

<...> Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него.

– Полноте, Василий Андреевич... Посмотрите-ка лучше, какая луна!

Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.

– Ох, уж эта мне луна! – поморщился он: – того и гляди, *Отчет* заставят писать...

О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчеты в стихах <...>

Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он, по совету медиков, на деревянной лошадке для моциона качается (VII, 197–198).

Согласно литературно-историософской программе Мережковского чувствительность старых поэтов являлась ложной по причине их подчинения престолу. Оттолкнувшись от этой посылки, Мережковский противопоставил «сервильности» Карамзина и Жуковского популярное в символизме «неонародничество», а «ложной» чувствительности в духе «Бедной Лизы» – новейшую изломанную чувственность¹, дальний прообраз которой Мережковский увидел в толстовском князе Андрее. В своей книге «Л. Толстой и Достоевский» он отделил этого героя романа «Война и мир» от типичных читателей Карамзина и Жуковского, тем самым показав, что истоки «болезненной чувствительности» следует искать не только в современных западноевропейских литературных и философских веяниях, но и в общественно-политической позиции человека любой эпохи. Вопрос об отношении к власти и самодержавию заслонила для Мережковского явно осознаваемые им самим литературные связи с «чувствительными» поэтами-предшественниками. Преемственность по отношению к ним в контексте историософских и социально-политических воззрений Мережковского выглядела нежелательной, а потому либо замалчивалась, либо отчуждалась.

Особенностью поэтической практики и эстетики русского модернизма стало соединение мистического мировосприятия с позитивистскими подходами, и в частности с социологизмом народничества

им Т. Шевченко широко освещались и комментировались в многочисленных юбилейных изданиях и на мероприятиях 1883 и 1902 гг.

¹ См.: Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008.

ва конца XIX в. Так, по наблюдению А. Пайман, уже первые шаги автора манифеста, открывшего историю русского символизма, Д.С. Мережковского, на литературном поприще сопровождались восторженными откликами народнического критика А.М. Скабичевского¹, причем сам Мережковский в «Автобиографической заметке» признавал особую для себя значимость «служения» народу:

Михайловский и Успенский были два моих первых учителя. Я ездил в Чудово к Глебу Ивановичу и проговорил с ним всю ночь напролет о том, что тогда занимало меня больше всего, – о религиозном смысле жизни. Он доказывал мне, что следует искать его в миросозерцании народном, во «власти земли». <...> В том же году, летом, я ездил по Волге, по Каме, в Уфимскую и Оренбургскую губернии, ходил пешком по деревням, беседовал с крестьянами, собирал и записывал наблюдения. <...> Я смутно почувствовал, что позитивное народничество для меня еще не полная истина. Но все-таки намеревался по окончании университета «уйти в народ», сделаться сельским учителем. <...> В «народничестве» моем много было ребяческого, легкомысленного, но все же искреннего, и я рад, что оно *было* в моей жизни и не прошло для меня бесследно (XXIV, 112–113).

Позднее, уже в компании З.Н. Гиппиус, Мережковский отправился в новое «паломничество», прокомментировав цели своего «хождения в народ» следующим образом:

И вот что еще надо бы узнать: нет ли в глубинах русского народа сил, отвечающих нам. Нам нужно по-новому, по-своему «идти в народ». Не думайте, что я говорю это легкомысленно. Я чувствую, как это трудно, почти невозможно, труднее, чем нигилистам. Но, кажется, этого не избежать <...>. Но несомненно, что что-то везде, во всех (даже в марксистах) совершается, зреет, и мы пойдем навстречу. И тогда переход к народу будет проще, естественнее – через сектантов².

¹ Пайман А. История русского символизма. М., 2000. С. 33.

² Цит. по: Эткин А. Хлыст: (Секты, литература и революция). С. 190.

Мережковский перенес духовные поиски своего времени на александровскую эпоху. Так, не найдя полного удовлетворения своих запросов в идеях декабристов, один из главных героев романа «Александр I», Валерьян Голицын, начал посещать различные религиозные секты – от общины Екатерины Татариновой до скопцов. Другой персонаж, декабрист Михаил Лунин, показан Мережковским как «рыцарь Прекрасной Дамы» и последователь иезуитства. Символическое значение в романе приобрело имя София/Софья, отсылавшее одновременно к комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и к религиозной философии Вл. Соловьева. Подобное временное смещение было для 1820-х гг. анахронизмом, но именно этот прием позволял писателю-модернисту символически связать две эпохи.

Народническая школа, которую прошел Мережковский, непроизвольно включала его в работу культурного механизма, который был описан Б.А. Успенским как непреходящая противопоставленность русского интеллигента любым институтам власти:

Интеллигенция прежде всего осмысляет себя в отношении к власти (в частности, к царю как олицетворению власти) и к народу. Отношение к власти и к народу определяет, так сказать, координаты семантического пространства, положительный и отрицательный полюсы: интеллигенция противопоставляет себя власти, и она служит народу (которому она тем самым фактически также себя противопоставляет)¹.

Литература рассматривалась Мережковским в оптике конфликта с государством, потому и модернистская свобода в его понимании приобретала отчетливые социальные подтексты и должна была противостоять представителям официального государственного курса. В целом резкие выпады писателя против русского самодержавия и его сторонников, поиски мистических способов воссоединения с народом стали органичной частью общего процесса нациестроительства и установки на соперничество интеллигента с монархом. Как показали современные исследования по истории и мифологии русской монархии, радикальная общественная позиция значитель-

¹ Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 396.

ной части отечественной образованной элиты во многом была обусловлена тем изолированным положением, которое было ей уготовано в актуальном «сценарии власти»¹. Исследовавшая этот феномен и отталкивающаяся от идей Р. Уортмана И. Шевеленко отмечает:

Начиная с царствования Николая I правящие элиты в России стремились утвердить такую концепцию политической нации, которая не входила бы в противоречие с режимом абсолютизма. Тем самым отрицался как неорганичный для России путь превращения народа в субъект и источник власти <...>. Связанный с этой общей тенденцией культурный миф об органическом единстве народа и царя как основе национального бытия окончательно сложился в царствование Александра III и был унаследован Николаем II. Для успешной эксплуатации этого мифа, по мнению Ричарда Уортмана, правящим элитам *de facto* потребовалось исключить образованный класс России, в особенности его элиты, из своего понимания нации/народа.

Разумеется, эти последние отнюдь не соглашались с подобной участью, и тот же Уортман указывал в другом месте, что конкуренция между монархической властью и образованным классом за право «представлять народ» составляла важный сюжет в интеллектуальной истории России XIX – начала XX века. В последние десятилетия XIX века эта конкуренция любопытно развивалась, среди прочего, в сфере эстетической <...>².

Необходимо отметить и то обстоятельство, что отношение Межрежковского к власти и ее высшему воплощению – царю определялось не только симпатиями к народничеству и интеллектуальным контекстом эпохи, но и имело болезненный биографический подтекст. Согласно воспоминаниям самого писателя и его супруги З.Н. Гиппиус он с детства находился в сложных отношениях со своим отцом, который занимал видную должность при императоре Александре II, воспитаннике Жуковского:

¹ См.: Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. М., 2002–2004.

² Шевеленко И. Империя и нация в воображении русского модернизма // *Ab Imperio*. 2009. № 3. С. 171–172.

Семья (Мережковских. – Е.А.) держалась только благодаря матери, вечной заступнице перед суровым отцом, и с ее смертью естественно распалась. Об отце, которого я знала, я скажу впоследствии. <...> Человек, во всяком случае, с большим характером. Жену он любил безгранично, но и мучил достаточно – все из-за детей. <...>. В этом (1881. – Е.А.) году закончилась и карьера Сергея Ивановича Мережковского: после убийства Александра II он, в чине действительного тайного советника, вышел в отставку. Какое точно место занимал он в Дворцовом ведомстве при Александре II – я не умею сказать. В биографии Дм. С-ча это определено. <...> отец, по долгу службы сопровождавший нередко Двор за границу – например, больную жену Александра II, или Наследника, непременно брал с собою и жену, с которой не мог расстаться. Она покидала всех детей и ехала с ним, хотя, м.б. это и было ей тяжело. Об ее отъездах и приездах опять-таки сказано в «Октавах». В одно из материнских отсутствий младший сын, Дмитрий, еще совсем маленький, заболел дифтеритом. Тут уж мать прилетела и сама выходила его. С этого случая, кажется, и стал он ее любимцем, и началась их особенная взаимная любовь¹.

С самых юных лет Мережковский привык противопоставлять себя отцу и тому образу жизни, тем ценностям, которые с ним ассоциировал. По мнению Гиппиус, ее беспрецедентный союз с Мережковским, с которым она, по ее словам, не разлучалась ни на один день, своей прочностью был обязан тому, что она замещала писателю мать²:

У него не было ни одного «друга». Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда – реже – сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Д.С. никакого «друга» никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом. Он, в сущности,

¹ Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 10–11.

² Роль Гиппиус в союзе с Мережковским была близка скорее к материнской. Об их «белом браке» см.: Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008. С. 170–251.

был совершенно одинок, и вся сила любви его сосредоточилась, с детства, в одной точке: мать. <...>.

Вспоминая потом часто о смерти матери Д. С-ча – странная мысль о какой-то, уже нездешней о нем заботе приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись совершенно один, т.е. если бы, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его. Я не могла заменить ему матери (никто не может, мать у каждого только одна), но все же он не остался один¹.

Сам Мережковский видел прямую связь между фигурой Александра II и ранней смертью своей горячо любимой матери, которую «мучил» преданный царскому дому отец:

1-го марта 1881 года я ходил взад и вперед по нашей столовой в нижнем этаже дома, сочиняя подражание Корану в стихах, когда прибежавшая с улицы прислуга рассказала об оглушительном взрыве, слышанном со стороны Марсова поля и Екатерининского канала через Летний Сад. Отец приехал к обеду из дворца весь в слезах, бледный, расстроенный, и объявил о покушении на жизнь государя.

– Вот плоды нигилизма! – говорил он. – И чего им еще нужно, этим извергам? Такого ангела не пощадили...

Старший брат, Константин, студент-естественник (впоследствии известный биолог), ярый «нигилист», начал заступаться за «извергов». Отец закричал, затопал ногами, чуть не проклял сына и тут же выгнал его из дому. Мать умоляла простить, но отец ничего не хотел слышать.

Ссора длилась долго, несколько лет. Мать заболела от горя. Тогда и началась у нее та мучительная болезнь печени, которая свела ее в могилу. Я всегда вспоминаю ее в образе мученицы-заступницы за нас, детей, особенно за двух любимых – за старшего брата и за меня (XXIV, 110).

В поэме «Старинные октавы» (1906), поэтическом варианте своей биографии, Мережковский заменил царубийство типологически близкой ситуацией убийства генерала Трепова, сохранив остальные детали и последствия этой драматичной семейной ссоры. В частно-

¹ *Гиптиус-Мережковская* З. Дмитрий Мережковский. С. 43, 49.

сти, лирический герой поэмы особенно подчеркивал противостояние между достигшим карьерных высот отцом – «чиновником усердным» и его сыновьями, младшим и старшим:

Под сладостной защитой и покровом,
Когда ласкался к маме при отце,
Я видел ревность на его суровом
Завистливо нахмуренном лице... (XXIV, 33–34)

Самонадеян и умен, и горд,
Наш мертвый дом чиновничий и серый
Он презирал: настойчив, волей тверд,
В добре и зле без удержу, без меры,
От микроскопов ждал он и реторт
Неведомых чудес и новой веры.
Любила мать его; с отцом всегда
Была у Кости тайная вражда (XXIV, 45–46).

Закономерно, что вопрос о цареубийстве искренне волновал Мережковского. Проводя исторические параллели, писатель проявлял интерес к любым оппозиционным династии Романовых деятелям. Историческим эквивалентом покушения на Александра II для Мережковского стало восстание декабристов. Этой теме он посвятил романы «Александр I» и «14 декабря». Уже в первом из них цареубийство стало лейтмотивом, а дискуссии по поводу физического устранения императора и даже всей династии (предельного кровавого варианта цареубийства) неизменно находились в фокусе повествователя. Кроме того, в «Александре I» император символически уравнивался со своим племянником и тезкой – будущим Александром II. В одном из эпизодов произведения оба героя оказываются в комнате с вещами убитого Павла I и при виде старых пятен крови переживают символически объединяющее их чувство ужаса. Таким образом Мережковский проводит аналогию между двумя эпохами и двумя монархами: «Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронесся ужас, соединивший прошлое с будущим» (VII, 221).

Резонно предположить, что Жуковский – автор послания «Императору Александру» и наставник цесаревича Александра Николаевича – был наделен каким-то местом в переплетениях памяти Мережковского об имеющем семейные корни конфликте с отцом-

государем-государством. В мировоззрении писателя-символиста Жуковский занял то же место «отца», литературного «первопредка», что и впоследствии в риторике И.А. Бунина, определявшего границы русской классики двумя Буниными. Только в сознании автора трилогии «Христос и Антихрист» сам статус «отца» приобрел негативные коннотации, а потому замалчивался или сознательно дискредитировался. На протяжении многих лет метафора отцеубийства для Мережковского оставалась одной из наиболее востребованных. Так, параллельно с работой над своим первым символистским манифестом он переводит обе трагедии Софокла о царе Эдипе: «Эдип-царь» (1893) и «Эдип в Колоне» (1896), основанные на мотиве отцеубийства. Позднее, в речи «Интеллигенция и народ» 1918 г., подводившей итоги политическому перевороту 1917 г., писатель обращается к классическому образцу отцеубийства в русской литературе: «Интеллигенция, как Иван Карамазов, сказала: “все позволено, убей отца”. А народ, как Смердяков, сделал – убил. Произошло небывалое, всемирно-историческое преступление, народ стал убийцей своего отечества, отцеубийцею»¹.

Историософская концепция романа «Александр I» окончательно созрела в сознании Мережковского после революции 1905 г. и была сформулирована им в сборнике «Царь и революция», выпущенном им вместе с З. Гиппиус и Д. Filosoфовым в Европе (в 1907 г. во Франции, в 1908 г. – в Германии). В подготовленной для сборника статье «Религия и революция» писатель подробно остановился на своем понимании деятельности декабристов. Неожиданно для современников Мережковский провел прямую аналогию между воззрениями декабристов и русских декадентов своего поколения: «С русскими декадентами повторилось то же, что с декабристами: от разумных и премудрых утаенное открылось младенцам»². Суть деятельности тех и других, как считал критик, заключалась в утверждении царства Христа, которое могло быть достигнуто только через ниспровержение самодержавия и его фундамента – официального православия. Главной мыслью статьи, отразившейся в ее названии,

¹ Цит. по: Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния. М., 2008. С. 289.

² Мережковский Д.С. Революция и религия // Мережковский Д., Гиппиус З., Filosoфов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 180.

стало слияние религиозного и революционного движений, которое не было реализовано «декадентами» 1825 г. В финале своей работы Мережковский недвусмысленно намекнул, на кого теперь возложена миссия окончательно соединить религию с социально-политическим переустройством мира:

Религиозное и революционное движения русского общества, дотоле разьединенные, впервые соединились в декабрьском бунте. Наиболее сознательные и творческие вожди декабристов – Раевский, Рылеев, кн. Одоевский, фон-Визин, барон Штейнгель, братья Муравьевы и многие другие вышли из мистического движения предшествующей эпохи. Подобно народным сектантам и раскольникам эти люди «настоящего града не имеющие, грядущего града зыскующие», – другого града, другого царства, потому что и «другого Бога». <...>

Избранные есть уже и теперь как в русском народе, так и в русском обществе – это все, «настоящего града не имеющие, грядущего града зыскующие», все мученики революционного и религиозного движения в России. Когда эти два движения сольются в одно, тогда Россия выйдет из православной церкви и самодержавного царства во вселенскую церковь Единого Первосвященника и во вселенское царство Единого Царя – Христа¹.

Вплоть до конца 1917 г. Мережковский и Гиппиус будут подчеркивать параллелизм судеб декабристов и русских интеллигентов начала XX в. После октябрьского переворота Гиппиус посвятила этой теме свой поэтический манифест: «14 декабря 1917 г.» (в первоначальной редакции «Им»). Мережковский в это же время выпустил статью с красноречивым названием «1825–1917», в которой сделал следующее обобщение: «Все мы, русские интеллигенты, в этом смысле – “декабристы” вечные – вечные стражи революционного сознания, революционной свободы и революционной личности»².

Трилогия Мережковского «Павел I», «Александр I» и «14 декабря» получила название «Царство Зверя». Такую словесную формулу писатель выбрал для описания власти опирающегося на православие

¹ Мережковский Д.С. Революция и религия. С. 142, 194.

² Цит. по: Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский. С. 289.

самодержавия. З.Г. Минц считала, что трилогию «Царство Зверя» нужно рассматривать в контексте предшествующей трилогии писателя – «Христос и Антихрист», так как в основе этих книг лежит одна идея, иллюстрируемая на разном историческом материале: «Он (Мережковский. – Е.А.) создает историческую пьесу “Павел I”, за которую привлекается к суду, и роман “Александр I” (1913), где русское самодержавие объявляется “демонической”, “антихристовой” силой и резко отвергается»¹.

Если вспомнить о порицании Зинаидой Гиппиус статьи Жуковского «О смертной казни», затем поддержанном Мережковским в романе «Александр I», то становится понятно, что критики восстали не столько против строгости наказания (возмущавшей, например, Л.Н. Толстого) и не столько против синтеза пенитенциарной системы с религиозной мистикой, к которому склонялись и сами Мережковские, а прежде всего против распределения ролей – кто должен выступать в роли *наказуемого*, а кто – в роли *наказующего*.

По мнению авторов сборника «Царь и революция», ошибка революционеров и XIX, и XX в. заключалась в том, что они не осознали революцию религией, поскольку привыкли ассоциировать религию с самодержавием. «Ближайшую задачу современности Мережковские видели в соединении революции с религией, в результате которого должна была сформироваться подлинная религиозная общественность; первый шаг на пути к религиозной революции полагался ими через обращение революционера-атеиста в революционера-христианина»². По наблюдению М. Павловой, Мережковские много интересовались философией насилия и сами хотели сформировать организацию по типу декабристов, но на религиозных основаниях: «В последующие три года (после выхода сборника «Царь и революция». – Е.А.) Мережковские еще более сблизились с эсерами-боевиками. Совместно с Б. Савинковым и И. Фондаминским они вынашивали программу “ордена”, в котором могли бы соединиться

¹ Минц З.Г. О трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» // Поэтика русского символизма. СПб., 2004. С. 225.

² Павлова М. Мученики великого религиозного процесса // Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 43.

“истинная общественность”, “истинная религия”, террористический опыт революционеров с “философией духовного максимализма”»¹.

В то же время статья Мережковского «Религия и революция» приоткрывает его понимание историко-литературного процесса. Размышляя о русской литературе XIX в., критик продемонстрировал отрицание преемственности как таковой: «Доныне существовали в России лишь отдельные явления высшей культуры, такие одинокие личности, как Пушкин, Гоголь, Л. Толстой, Достоевский; но почти никакой культурной среды, никакой культурной преемственности не было»². Отчасти это позволяет ответить на вопрос, почему Жуковский мог быть «замолчан» в эстетических манифестах Мережковского без ущерба для его концепции истории литературы. Ранних русских декадентов в целом отличало понимание истории не как процессуального, протяженного явления. На языке поэзии подобные взгляды были высказаны в программном стихотворении В.Я. Брюсова «Фонарики», ломающем непрерывность истории и сравнивающим ее с дискретной вещью – фонариками:

Столетия – фонарики! о, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!
Огни многообразные, вы тешите мой взгляд...
То яркие, то тусклые фонарики горят³.

Статус Жуковского как поэта, близкого, по мнению Мережковского, императорскому двору, стал определяющим и делал нежелательными любые сближения его наследия с новым искусством. В романе «Александр I» писатель развил свою концепцию «придворной литературы», воплотив ее в образе Жуковского. Для этого Мережковскому пришлось очистить образ поэта от всех других, «лишних» деталей его биографии и мировоззрения. Подобные примеры демонстрируют единство литературной критики и романного творчества Мережковского: ключевые тезисы своих литературно-критических статей он разворачивает и комментирует в художест-

¹ Павлова М. Мученики великого религиозного процесса. С. 53.

² Мережковский Д.С. Революция и религия. С. 178.

³ Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. / под ред. П.Г. Антокольского и др. М., 1973. Т. 1. С. 435.

венной прозе. Ряд дискредитированных поэтов в статье «Две тайны русской поэзии» пополняется в романе «Александр I» и другими «царедворцами», в частности бесспорным классиком Крыловым:

На своем обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. <...> Руки уперлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе; рот слегка перекошен от бывшего два года назад удара; лицо жирное, белое, расплывшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только, – что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросенка под хреном к ужину, несмотря на великий пост <...>. А подойдет к нему сановник в золотом шитье: «как ваше драгоценное, Иван Андреевич?» – и дремоты как не бывало: вскочит вдруг с косолапою ловкостью, легкостью медведя под барабан танцующего на ярмарке, изогнется весь, рассыпаясь в учтивостях, – вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится – дремлет (VI, 164–165).

Современники Мережковского приняли новый роман неоднозначно. В критике начала 1910-х гг. часто отмечались исторические неточности и откровенные ошибки писателя. Отношение большинства читателей и критиков к трактовке образов русских поэтов в романе выразил Б. Садовской, красноречиво назвав свою рецензию «Оклеветанные тени». В числе прочего критик отметил следующие факты несоответствия исторической правде:

Описывается баснописец Крылов «в поношенном фраке с потускневшей орденой звездой». Дело происходит в 1824 году, а звезду (Станислава 2-й степени) пожаловал Крылову император Николай Павлович только в 1838 году при праздновании баснописцем своего пятидесятилетнего юбилея.

Известный поэт Ю.А. Нелединский-Мелецкий никогда «князем» не был.

М.Е. Лобанова звали Михаил *Евстафьевич*, а не *Евграфович*, как называет его г. Мережковский.

Князь П.А. Вяземский в 1824 году приводит слова Пушкина «черт меня догадал родиться в России с душою и с талантом», сказанные Пушкиным на *двенадцать* лет позже, в одном из писем к жене.

Булгарин говорит: «я не трус, а только двух вещей на свете бо-

юсь: синей куртки жандармской да тантиной красной юбки». По-видимому, автору неизвестно, что жандармов в России при Александре I не было и что жандармский корпус учрежден был Николаем Павловичем в декабре 1826 года.

Императрица Елисавета Алексеевна, обращаясь к Жуковскому, называет его «ваше превосходительство», тогда как этот титул по-этом был получен гораздо позже. «Словечко» о Жуковском – «славный был покойник, дай Бог ему царство небесное» – не Вяземскому принадлежит, а Пушкину¹.

Показательна последовательность, с которой вопреки историческим фактам Мережковский-романист «продвигал» своих литературных оппонентов по служебной и социальной лестнице. В русле той же творческой стратегии находилась имитация исторического анекдота о «первом русском романтике»: «Гете, когда его спросили, что он о Жуковском думает, сказал: “далеко пойдет! Кажется, уже действительный статский советник?”» (VII, 198).

Вообще говоря, исторические анекдоты – как вымышленные, так и уже бытовавшие – лежали в основе творческой стратегии Мережковского. В обращении к М.О. Гершензону он так описал специфику своего интереса к истории:

Я знаю, что Вы изучали – эпоху Александра I и декабристов, именно с той точки зрения, с которой мне всего нужнее – с более *интимной* и *личной*. Не согласились ли бы Вы оказать мне помощь Вашими сведениями и указаниями для моих драм «Александр I» и «Николай I (Декабристы)», которые будут продолжением «Павла I». Вы бы оказали мне этим большую услугу <...>. Вы сами угадаете, что мне нужно: те мемуары, письма, документы, которые дают самую внутреннюю, *неофициальную* сторону эпохи. Словом – «анекдоты» – в глубоком смысле...

Особенно интересует меня мистицизм и любовная психология (Мария Антоновна Нарышкина) как самого Александра, так и всей эпохи. Личность декабриста Лунина – пережитый им религиозный

¹ Садовской Б.А. Оклеветанные тени // Садовской Б.А. Лебединые клики / сост., послесл. и коммент. С.В. Шумихина. М., 1990. С. 427.

переворот. А также мелочи быта – слухи, сплетни, скандалы, моды, самая будничная сторона жизни...¹

К числу анахронизмов романа Мережковского можно отнести и реплику Елизаветы Алексеевны, касающуюся концепции Жуковского, изложенной им в статье «О смертной казни» 1849 г.: «Намедни, защищая смертную казнь, он доказывал, что из нее надо бы сделать “христианское таинство”» (VII, 198). Эта философско-публицистическая работа поэта была написана только через четверть века после окончания описываемых в романе событий и через двадцать три года после смерти самой государыни.

Бурную полемику современников вызвала и картина литературного быта 1820-х гг. В частности, критика отмечала, что образ Пушкина в романе показан вне литературных традиций, а его учителя и предшественники сознательно дискредитированы:

Не считаясь с условиями историческими и бытовыми, г. Мережковский строго и пристрастно судит знаменитых наших покойников и, сажая их подсудимыми на скамью современности, как бы обвиняет в том, что не читали они «Грядущего хама». Гениальный Крылов изображен каким-то дурачком и шутком гороховым; Карамзину зачтено в вину крепостничество; Жуковский – придворный подхалим и т.д. Лучшие люди александровского времени, те, о ком их младшие современники вспоминали с благоговением и благодарными слезами (ведь в обществе и под влиянием их рос и развивался Пушкин), – все они, что называется, «подсалены» г. Мережковским»².

Вероятно, по этой же причине изъятый из контекста Пушкин остался в романе Мережковского внесюжетным персонажем. Произведениям поэта было посвящено несколько горячих дискуссий, но в качестве действующего лица он так и не появился. За главными героями «Александра I» нетрудно разглядеть идеи самого автора, которые он весьма прямолинейно стремился воплотить в персонажах.

¹ Цит по: *Холиков А.* Дмитрий Мережковский: Из жизни до эмиграции: 1865–1919. СПб., 2010. С. 113.

² *Садовской Б.А.* Оклеветанные тени. С. 426.

Одним из таких заранее сформулированных концептов был, без сомнения, и образ Василия Андреевича Жуковского.

Для изображения литературного общества начала XIX в. Мережковский воспользовался метафорой болота:

Павловск – рай, но меня тошнит от этого рая. Чистильщики прудов вытаскивают иногда из тины у Острова Любви дохлую кошку или газетный листок. В вечных туманах – сладкая гарь торфяного пожара с камфарною гнилью болот. Пахнет розами и пахнет лягушками. Тут царство лягушек. Императрица их любит, и придворный поэт ее, Жуковский, умеет готовить мясо лягушечьих филейчиков в серебряной кастрюльке под кисленьким соусом. Все облизываются, а меня тошнит (VII, 196).

По всей вероятности, подобную характеристику можно считать своеобразным признанием мастерства Жуковского, так как о других литераторах писатель высказывался еще более нетерпимо. Например, о великом русском баснописце Мережковский устами протагониста романа, государыни Елизаветы Алексеевны, отозвался следующим образом: «А самая толстая жаба, Крылов, молчал, но по лицу его видно было, что он о вольности думает» (VII, 197). Вопрос об антипатии к Жуковскому ставится в романе открыто, а за словами персонажа легко угадываются мысли самого автора:

Я слушала и думала: за что я его не люблю? Он добр и умен; его стихи очаровательны. Но вот не люблю.

Толстенкий, кругленький, лысенький, как тот фарфоровый китаец в окне чайной лавки, который кивает головой, как будто говорит: «все к лучшему!». На лице его превосходительства написано: «слава царю земному и небесному, – а я всем доволен, и жалованием, и наградами» (VII, 198).

В диалоге государыни и Жуковского обращает на себя внимание не только анахронизм в преждевременном обращении к поэту «ваше превосходительство», но и описание его внешности. Если судить по портретам и гравюрам 1820–1830-х гг., то ни на литографии Г. Гиппиуса 1822 г., ни на портрете Э. Бушарди 1827 г., ни даже на гравюре Т. Райта 1835 г. (спустя десять лет) Жуковский отнюдь не выгля-

дел ни «толстеньким», ни «кругленьким», ни «лысеньким». Очевидно, что обман зрения Елизаветы Алексеевны был связан с подменной точки зрения персонажа на точку зрения автора, видевшего поздние портреты Жуковского. Мережковский стремился изобразить Крылова (1769 г.р.), Карамзина (1766 г.р.) и Жуковского (1783 г.р.) людьми одного поколения, для чего ему пришлось значительно «состарить» последнего.

В качестве другого недостатка романа критика называла осовременивание александровской эпохи:

Все герои «Александра I» современные, хорошо нам всем известные неврастеники и истерички. Легкая местами стилизация и близость к документальным данным не улучшают дела. Разве тогдашние люди *так* чувствовали и думали, *так* верили и любили? Какая разница в сравнении с «Войной и миром»! Гр. Толстой одним взмахом художественной силы переносит нас сразу в подлинный двенадцатый год, где видим мы и настоящего Александра, и Аракчеева, и Сперанского, верим им и знаем, что ежели описанное Толстым точно таким не было, то *могло* быть. Мережковский же, при всех усилиях sobлюсти историческую точность, дает лишь бледную, разграфленную, вычерченную методически схему под узким углом¹.

Несмотря на персональную критику в адрес Жуковского, Мережковский сделал многих персонажей «Александра I» преданными читателями поэта. Комментарий писателя к «Войне и миру» и образу Андрея Болконского позволяет нам уточнить его представления о русской литературной иерархии эпохи наполеоновских войн. В качестве «обязательных для прочтения» произведений критик выделил одно произведение Карамзина («Бедная Лиза») и три Жуковского («Вадим», «Громобой» и «Певец во стане русских воинов»), в числе которых две баллады и одна героическая кантата. Таким образом, в критике и художественной прозе Мережковского возникает противоречивая на первый взгляд ситуация, когда Жуковский одновременно дискредитировался своей близостью к императорскому дому и объявлялся одной из главных фигур литературного процесса 1810–1820-х гг.

¹ Садовской Б.А. Оклеветанные тени. С. 425.

Тем не менее журнальная критика фактографических погрешностей и исторических упрощений в «Александре I» не всегда учитывала то обстоятельство, что он представлял собой новый тип романа. Мережковский, много работавший с первоисточниками, не ставил перед собой задачи исторической реконструкции личностей и событий. Проникнуть в историософию романа об Александре I нам помогает привлечение всего контекста трилогии «Царство Зверя», а также предшествующей ей трилогии «Христос и Антихрист». Во всех шести книгах, связанных идейно и хронологически, автора интересовала фигура отступника: от римского императора Юлиана до недавних деятелей отечественной истории. В качестве ее порубежной вехи писатель выделил эпоху Петра I, а затем последовательно показал то, как вызревали события 14 декабря 1825 г. Следовательно, система персонажей в «исторической» прозе Мережковского представляла собой четкую бинарную структуру, делившую персонажей на «отступников» и «приверженцев» основного курса религиозной и светской власти.

Даже при обнаружении многочисленных неточностей в романе Мережковского было бы заблуждением считать, что он плохо написан. Автор первого манифеста русского модернизма не задавался целью создать произведение в духе классического реализма XIX в. Поэтому судить о романе следует исходя из тех законов, по которым он был создан. Сами модернисты с большим пониманием отнеслись к романистике Мережковского, хотя они и не были единодушны в определении специфики его произведений. Например, А. Белый считал, что проза Мережковского подвергалась мощному влиянию двух основных традиций: философии Ф. Ницше и народничества. Поэтика его символистских романов, по мнению критика, была основана на переосмыслении жанровых канонов проповеди:

Мережковский весь в искании; между собой и народом ищет он чего-то третьего, соединяющего. Брюсов не ищет: он изучает форму; в этом его подлинная правда, святая правда, принятая с Запада.

Так символически ныне расколот в русской литературе между правдою личности, забронированной в форму, и правдой народной,

забронированной в проповедь, – русский символизм, еще недавно единый¹.

В. Ходасевич в статье «О Мережковском» (1927) подробно останавливается на иллюзии историчности его прозы:

В только что вышедшей 32-й книжке «Современных Записок» закончен печатанием исторический роман Д.С. Мережковского «Мессия».

Если бы я всерьез начал свою статью такими словами, – никому не пришло бы в голову возразить: общеизвестно, что Мережковский пишет исторические романы. А возражать надо бы, потому что никаких исторических романов Мережковский, конечно, не пишет².

Как отмечает критик, исторические события и персонажи Мережковского схематичны вовсе не от недостатка таланта или художественной техники, а потому что писатель стремился к совершенно иному типу повествования:

<...> тогда как для исторического романиста важно различие эпох и явлений – Мережковскому важна схожесть; исторический романист в полноте исторической данности стремится вскрыть неповторимую конфигурацию реальных событий – а цель Мережковского совершенно обратная: минуя различия, для него не существенные, он обнаруживает прямые или обратные подобия, в которых у него заключен весь смысл исторических явлений. <...> Мережковский апокалипсичен, а не историчен. «Истории» по нему не учишься. Таких людей и таких событий, какие встречаются у него, не было никогда. «Потому что они всегда», – мог бы ответить Мережковский. Мережковский весь не о том, что «бывает», но о том, что было, есть, будет. Это решительно выводит его писания из категории романов, исторических или каких угодно иных. Найти литературное определение его произведениям я не берусь. Если угодно,

¹ *Белый А.* Настоящее и будущее русской литературы // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 360.

² *Ходасевич В.* О Мережковском // Возрождение. 1927. 18 авг. № 807. С. 2.

они ближе к притче, нежели к роману, но и тут расстояние остается очень большим¹.

Исключением здесь не является и образ Жуковского, «очищенный» от достоверной биографии и представляющий собой образец «вечного типа» поэта – апологета власти. Мережковский не рассматривал ни историю, ни биографию в динамике, а потому временные смещения в его символистских романах не ставили под сомнение их концептуальную составляющую. В этом смысле не имело значения, когда у Жуковского созрела идея смертной казни – в начале 1820-х гг. или в конце 1840-х гг., если она соответствовала представлениям Мережковского о типе поэта-царедворца.

Но если оставить за скобками идеологический уровень романа и обратиться к его поэтике, то функции поэзии Жуковского в нем кардинально меняются. Основные сюжетные линии «Александра I» Мережковский выстраивает на трансформации баллад Жуковского «Людмила» и «Светлана». Балладная тема последовательно вводится в роман уже начиная с первых глав. Встреча центральных героев – будущего декабриста Валерьяна Голицына и внебрачной дочери императора Софьи Нарышкиной – открыто спроецирована на встречу балладной героини с женихом-мертвецом, а произведения Жуковского становятся их главным культурным ориентиром:

Несмотря на модную, сложную прическу, на парижское длинное платье попелинового серо-серебристого газа с вышитым зеленым вереском, видно было по глазам, что она все та же маленькая девочка в коротеньком белом платьице, в соломенной шляпке-мармотке, голубоглазая, пепельнокудрая, с которой он бегал в горелки в селе Покровском, подмосковной Нарышкиных, удил пескарей в пруду, за теплицами, и читал *Людмилу* Жуковского.

Ах, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб; жених – мертвец...

<...> прочла непонимающим детским голоском и вдруг задума-

¹ Ходасевич В. О Мережковском. С. 3.

лась, как будто поняла, – выронила книгу, побледнела, закинула ему тоненькие руки на шею и вся прижалась доверчиво: «Как страшно!..» Тогда в первый раз поцеловал он ее, не как брат сестру:

О, не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана!

Все та же, родная, любимая, вечная, Богом данная, – сестра и невеста вместе (VI, 173–174).

Жуковский называется и цитируется в «Александре I» настолько часто, что это начинает казаться излишне навязчивым приемом:

Голицын начал читать *Светлану* Жуковского.
– Нет, не надо, не надо, лучше другое! – остановила Софья. –
Помнишь, в Покровском у пруда за теплицами?

Где, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб, жених – мертвец.

Помнишь, как я тогда испугалась, а ты меня утешал.

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

А вот узнала-таки!..

<...> А иногда вдруг из Летнего сада повеет медовую свежестью лип, и старые липы покровские вспомнятся у пруда, за теплицами, где читали мы с Софьей *Людмилу* Жуковского.

Кончен, кончен путь, Людмила!
Нам постель – темна могила,
Завес – саван гробовой.
Сладко спать в земле сырой...

Сладко спать – если бы только не страшные сны (VII, 22, 109).

Эпилогом романтической линии в романе становятся стихи Жуковского, записанные Голицыным в дневнике:

Октября 14.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожидания?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылося все: я в стороне свиданья,
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! на земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят.
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Стихи Жуковского. Зачем я их выписал? (VII, 143)

Соединение в структуре романа «Александр I» двух интерпретаций «Леноры» не случайно. От «Людмилы» Мережковский взял трагизм и фатальность ситуации, предрекающие Софье Нарышкиной смерть. Подтекст «Светланы» актуализировал поэтику двойничества: героиня находится между двумя «сужеными» – Голицыным и Александром I. Развивая на историческом материале философию отступничества и исследуя попытку государственного переворота, Мережковский обратился к поэтике нелегитимного, содержавшегося в балладе на уровне памяти жанра. Тема незаконного проникает на все уровни текста: от деталей биографии до вопросов престолонаследия. Для Валерьяна Голицына Софья Нарышкина «сестра и невеста вместе», для императора – незаконнорожденная дочь. В собственную сестру влюблен и декабрист Пестель¹. В центре многочисленных дискуссий оказываются вопросы о свершившемся и планируемом цареубийствах, жертвами которых должны стать Павел I и Александр I.

Постепенно эротическая линия балладного сюжета начинает пе-

¹ Налицо скрытый параллелизм с биографическим подтекстом баллад Жуковского, который одновременно был и незаконным ребенком А.И. Бунина, и «незаконным» женихом для М.А. Протасовой.

ретекачь в политическую: сначала в связи с Александром I, а потом – и с декабристами. По канве «Светланы» Жуковского вышита следующая сцена романа:

И вдруг опять зашептала (Софья Нарышкина. – Е.А.) ему на ухо:

– Намедни-то что мне приснилось. Будто входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что, если мертв? – живых убивать можно, – но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал... Тут мы и увидели, кто это... Знаешь кто? Знаешь кто?... – повторяла она задыхающимся шепотом, и он слышал, как зубы у нее стучат. – Ох, Валенька, Валенька, знаешь кто?

Он знал: ее отец!

– Не надо, Софья, не надо! – сказал он, закрывая лицо руками. – Ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдет болезнь – и не будет страшных снов... (VII, 25).

Декабрист Голицын и император становятся в романе Мережковского балладными героями-двойниками:

<...> и глаза его встретились с глазами князя Валерьяна Михайловича Голицына, стоявшего у гроба с другой стороны: Софья была между ними, как будто соединяла их – любимого с возлюбленным (VII, 89).

В дальнейшем метафора «живого мертвеца» – императора только усиливается. Александр I подозревает, что именно он затягивает в могилу самых близких своих людей – отца, дочь и жену. А в финале романа Мережковский натуралистически, в духе стихотворения Ш. Бодлера «Падалъ», описывает мертвое тело государя. В статье «Елизавета Алексеевна» (1909) писатель рассматривает практически одновременную кончину Александра I и его супруги в сходном с балладным ключе – как воссоединение влюбленных в гробу:

В захолустном Таганроге, в бедном дворце, похожем на ветхий усадебный дом, в золотую осень, у теплого моря, под ропот волн и звон колоколов старинной греческой церкви Константина и Елены, Александр и Елизавета, как будто впервые за тридцать лет, встретились и узнали друг друга. Наконец-то спящую царевну царевич разбудил поцелуем. Психея соединилась с Амуром. Но, увы, для того, чтобы вместе лечь в гроб (XV, 132).

В тексте романа Елизавета Алексеевна также показана как балладная героиня Людмила, отказавшаяся от жизни без возлюбленного. Другим иносказательным «живым мертвецом» становится олицетворенная «Русская правда» Пестеля, которую декабристы вынуждены зарыть в землю: «<...> ничего мы друг другу не сказали, но поняли: обещали, что сделаем все, чтобы мертвая встала из гроба...» (VIII, 186).

Вторым балладным подтекстом, активно привлекаемым Мережковским в «Александр I», становится «Эолова арфа» Жуковского. Если поэтика «Людмилы» и «Светланы» проецировалась на образ Софьи Нарышкиной, Валерьяна Голицына и Александра I, то романтический образ Эоловой арфы писатель соотносил с личностью и государственной деятельностью А.А. Аракчеева. Музыкальный инструмент, получивший широкую известность благодаря балладе Жуковского, символизирует здесь поместье Аракчеева Грузино и объединяет в себе и эротическую, и политическую составляющие.

Задремал; слышалась музыка ветра в *эоловой арфе* на одной из грузинских башен, и в этой музыке – баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно – вашему слабому здоровью нужен покой...» (VI, 199).

Балладный страх получил в романе Мережковского явный социально-политический оттенок:

В центре Грузинской вотчины, в деревне Любуни, на пригорке, стояла башня, наподобие каланчи пожарной. Отсюда видно было все, как на ладони. На верхушке башни – золотое яблоко, сверкавшее, как огонь маяка, и эолова арфа с натянутыми струнами, изда-

вавшими под ветром жалобный звук. Поселяне, проходя мимо под вечер, шептали в страхе:

– С нами сила крестная! (VII, 105).

Постепенно балладная тема нагнетается, и образ эоловой арфы перерастает в символ «аракчеевщины» и «Царства Зверя»:

– Рад стараться, ваше величество! Все для вас, все для вас, батюшка, – всхлипнул Аракчеев и упал на грудь государя. – Повелеть извольте – и всю Россию военным поселением сделаем...

А на эоловой арфе струны гудели жалобно и, казалось, плачет в них душа Капитона Алилуева вместе с душами всех замученных:

– Антихрист пришел! (VII, 106).

Судьба Аракчеева и его возлюбленной Н.Ф. Шумской (Минкиной) оканчивается романистом в лучших балладных традициях. Управительница Грузина была зарезана, а сам Аракчеев, тяжело переживая утрату любимой женщины, после ее смерти так и не смог вернуться к полноценной жизни и государственной деятельности.

Третья поэтическая модель Жуковского, задействованная в романе, – это парадигмальная для художественного мира поэта-романтика дихотомия *там* и *здесь*. Так, данная антитеза появляется в дневнике государыни Елизаветы Алексеевны: «Может быть, *там* мы будем смеяться, над чем плакали *здесь*» (VII, 195). К этой же антитезе государыня обращается и после смерти императора, но теперь уже полемизирует с ней:

Да, все равно, когда и где, и как, но это будет, – что решила, то сделает; только об этом и не страшно думать, только это и спасает от того, что страшнее, чем безумие, чем смерть, чем *его* смерть, – от мысли, что все, во что она верила, – ложь, проклятая ложь, и что единственная правда в том давешнем запахе и в этом стоне, плаче, скрежете ржавого железа под бурею: «там будет плач и скрежет зубов», и *там*, как *здесь*, – вечная мука, вечная смерть... (VIII, 175).

Один из главных приемов, к которому прибегает автор трилогии «Царство Зверя», – имитация исторического документа. Несмотря на то, что Мережковский привлекает много «исторических анекдотов»

и документальных источников¹, он не ставит перед собой задачу точно реконструировать исторический и литературный контекст 1820-х гг. Сочинения Мережковского явили собой один из первых примеров символистской прозы и, по наблюдению В. Ходасевича, восходили не столько к историческому роману, сколько к традиции притчи². В современном мережковедении утвердился другой термин – «метаисторический роман»³, в котором ценность исторической реальности определялась ее связями с вечным. В прошлом Мережковский ищет не исторической и психологической достоверности, а «вечные» типы и «вечные» конфликты (ср.: «Христос и Антихрист»). Декадентов и русских интеллигентов рубежа XIX–XX вв. он соотносит с «вечными декабристами», «отступниками» и революционерами. Персонаж Жуковского в «Алекサンドре I» олицетворяет собой противоположный «вечный» тип конформиста и доктринера, который, кроме того, осложняется у Мережковского «комплексом отца».

Но если в романе имя Жуковского дискредитируется его статусом придворного поэта, то произведения «первого русского романтика» живут в нем как будто сами по себе, превращаясь под пером Мережковского в главенствующий тип поэтического языка александровской эпохи. Ключевые персонажи «Александра I» становятся постоянными читателями Жуковского, а повороты их судеб укладываются Мережковским в сюжетные схемы известных романтических баллад. По наблюдению Н.В. Барковской, «в отличие от романтиков первой трети XIX в., Мережковский сосредоточен именно на проблеме посюстороннего, земного бытия человека, на его “мгновенной жизни”, которая не менее ценна, чем “неземная отчизна”. В этой, конкретной и исторической жизни предчувствует он те “тайны” и “ужасы”, те глубины “бездны”, которые обычно приписывались миру иному»⁴. Такой подход позволил писателю широко использовать поэтику «страшной» баллады применительно к драматическим со-

¹ На основе некоторых из них Мережковский создал ряд специальных историко-философских статей в составе сборника «Болезнь России» (1909).

² См.: Ходасевич В. О Мережковском. С. 2–3.

³ Барковская Н.В. Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996. С. 11.

⁴ Там же. С. 10–11.

бытиям середины 1820-х гг. Наиболее продуктивной для замысла Мережковского оказалась балладная модель сюжета о мертвом жене, которая позволила ему осветить все варианты неживого и незаконного под маской живого и законного в русской истории начала XIX в.

На рубеже веков, во время, богатое яркими примерами взаимодействия непохожих друг на друга традиций, практика безмолвной борьбы со своими предшественниками стала одной из ключевых писательских стратегий. Оттолкнувшись от концепции Х. Блума о «страхе влияния», Н.Ю. Грякалова показала работу этого литературного механизма на примере «преодоления» натурализма, от которого теории и практики русского символизма стремились решительно дистанцироваться¹. Как отмечает исследовательница, «тот факт, что русские символисты, формулируя собственные взгляды на искусство, нередко выстраивали свои концепции в корреляции с недавним опытом натурализма, позволяет признать в нем “сильного предшественника” (термин Х. Блума)»².

М. Волошин в статье «Письмо из Парижа» (1904) определил феномен «литературного забвения» следующим образом:

Документ не только должен быть найден и воспринят, он еще должен быть *забыт*.

Другими словами, должен стать частью художника настолько, чтобы перестать доходить до его сознания. Потому что забвение – это не потеря, а окончательное усвоение.

И только тогда документ может принести пользу и прийти в момент творчества уже из бессознательного³.

Художественное творчество Мережковского, по сути, обнаружило ту же подспудную стратегию, что и его литературная критика. С одной стороны, персонально Жуковский дискредитируется либо при помощи замалчивания, либо через нелестную оценку его при-

¹ См.: Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, 1998.

² Грякалова Н.Ю. Человек модерна: Биография – рефлексия – письмо. СПб., 2008. С. 28.

³ Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 221.

дворного положения. С другой стороны, вытесненные в эстетическое бессознательное поэтические строки и сюжеты его произведений органично вплетаются в повествовательную ткань литературно-критических статей и метаисторической прозы, создавая образ иного, «неназываемого Жуковского».

Дамиано Ребеккини
(Миланский университет, Италия)

МИР СИМВОЛОВ: МНЕМОНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ЖУКОВСКОГО И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ*

Одним из наиболее интересных элементов учебного курса, созданного В.А. Жуковским для наследника престола Александра Николаевича в середине 1820-х гг., является система практических занятий, разработанная самим поэтом¹. Жуковский действительно изобрел такую методику обучения, которая предусматривала помимо уроков и лекций, письменных заданий, развивающего чтения, составления немых географических карт еще и новаторский способ повторения и закрепления в памяти материала, пройденного на занятиях других преподавателей. В качестве методического пособия для такого рода занятий Жуковский использовал особые мнемонические

* Предлагаемая статья представляет собой расширенный и переработанный фрагмент более обширного исследования «В.А. Жуковский, Александр II и всеобщая история», опубликованной на итальянском языке в изд.: *Russica Romana*, 2012. № 19. Р. 77–102.

¹ Об отдельных аспектах педагогической деятельности Жуковского в качестве воспитателя наследника престола см. в исследованиях последнего времени: *Гузаиров Т.* Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. С. 43–57; *Гузаиров Т.* Учебные пособия по истории В.А. Жуковского // Статьи на случай: сборник к 50-летию Р.Г. Лейбова. URL: ruthenia.ru/leibov_50durairok.pdf; *Rebecchini D.* V.A. Zukovskij, Alessandro II e la ‘Storia universale’ // *Russica Romana*, 2012. № 19. Р. 77–102; *Ребеккини Д.* В.А. Жуковский и библиотека престолонаследника Александра Николаевича (1828–1837) // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 77–136; *Ребеккини Д.* Научная диалогия в историческом образовании Александра II: (Лекции о Петре Великом) // Лотмановский сборник. Вып. 4. М., 2014. С. 262–278; *Rebecchini D.* Reading with maps, prints and commonplace books, or how the poet V.A. Zhukovsky taught Alexander II to read Russia (1825–1838) // *Reading in Russia. Practices of Reading and Literary Communication. 1760–1930 eds. / D. Rebecchini, R. Vassena. Milano*, 2014. С. 99–116; *Ребеккини Д.* Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности В.А. Жуковского: (О сборнике «Муравейник» 1831 года) // *Русская литература*. 2016. № 3. С. 20–27.

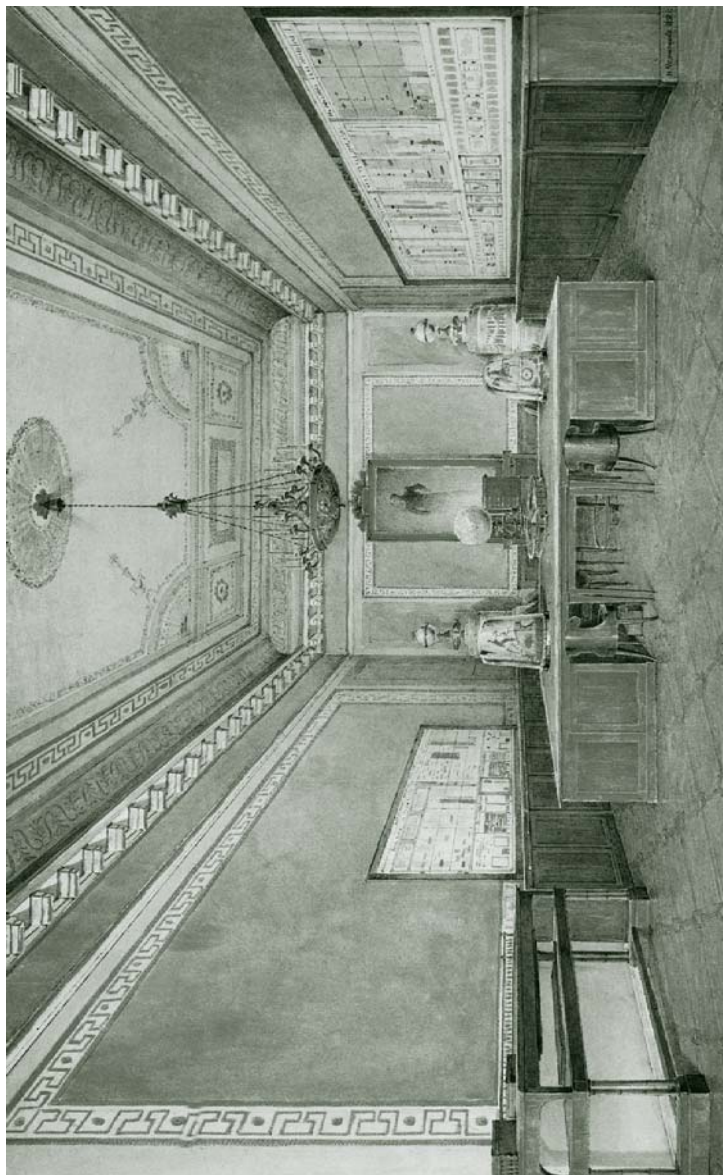
таблицы, им самим задуманные и составленные. Предлагаемая статья посвящена этому частному аспекту педагогической системы поэта.

Повторению на русском языке материала всех лекций Жуковский придавал большое значение, тем более что это было одним из предметов, который он оставил себе, не доверив его другим преподавателям. В число главных упражнений, введенных поэтом на первой стадии обучения (1826–1832 гг.), входило задание воспроизвести на русском языке материал уроков по всемирной истории, читавшейся на французском Фридрихом Леберехтом Липманом, по естественной истории, преподававшей на немецком Карлом Бернхардом Триниусом, и священной истории и христианскому вероучению, которые по-русски преподавал протоиерей Герасим Петрович Павский. Формулируя свою главную задачу как преподавателя, ведущего эти занятия, поэт писал:

Я не занимался собственно русским языком: ни грамматикою, ни даже чтением. Язык есть выражение мыслей, чтобы хорошо владеть им, нужно иметь мысли. Я обратил все на повторение на русском языке трех лекций: Павского, Липмана, который преподавал по-французски, и Триниуса, который преподавал по-немецки. Мое дело состояло: 1. В приведении в ясный порядок и в утверждении в памяти того, что каждый из трех учителей преподавал особливо <...>¹.

Задача систематизации знаний, полученных во время разных занятий, и закрепления их в памяти его ученика была ключевым пунктом построения педагогических взглядов Жуковского. Вслед за Руссо поэт полагал, что чрезмерные усилия по запоминанию текстов не могут содействовать развитию способности самостоятельного мышления его ученика. Кроме того, он хотел попытаться преодолеть некоторую опасность механического запоминания материалов учебных дисциплин, усматривая определенную тенденцию этой методики в поведении по начальному образованию одного из учеников Руссо, Иоганна Генриха Песталоцци.

¹ Цит. по: *Божерянов И.И.* Детство, воспитание и лета юности русских императоров. СПб., 1914. С. 108.



Учебная комната великого князя Александра Николаевича.
Н. Г. Чернецов. Акварель. 1837 г.

Для оптимального достижения целей повторения материала и систематизации знаний Жуковский использовал в первую очередь таблицы, которые визуально сводили воедино изучаемые предметы. Он начал работать над составлением таких таблиц еще до того, как приступил к занятиям с наследником. В январе 1827 г., готовя лекции по древней истории, поэт писал императрице: «Я тружусь над составлением синхронистических таблиц, которые должны служить пособием памяти удержать общее понятие обо всей истории»¹. Комнату для занятий наследника поэт увешал большими цветными таблицами, испещренными символическими знаками. Судя по планам обучения наследника, Жуковский действительно считал эти таблицы главным методическим пособием: это было отмечено в схематической памятной записке о том, чему именно должны служить таблицы в занятиях с наследником: «<...> изъяснение по таблицам, вопросы по таблицам, диктование по таблицам, переписывание таблиц, карт, штамп»². Даже в 1834 г., уже на более продвинутой стадии обучения, Жуковский решительно настаивал, чтобы преподаватели всеобщей и русской истории пользовались таблицами:

Для приведения в порядок преподаваемого должны быть составлены таблицы (подробные по периодам и сводная для синхронистического обучения всей истории)³.

Обучение посредством таблиц не было изобретением Жуковского. Эта методика имела за плечами долгую – от Античности до XVII в. – традицию мнемотехники, основанной на склонности человека легко оживлять в памяти события, представления или целые тексты, ассоциирующиеся с определенными местностями или отрывками из книг (лат. *loci*), изображениями (*formae, simulacra*) или графиче-

¹ Цит. по: Степанов Н.П. В.А. Жуковский как наставник царя-освободителя. СПб., 1902. С. 82.

² ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 124. Записки об учении. Л. 11.

³ Годы учения Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Александра Николаевича. 1826–1838 // Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1880. Т. 30. С. 55.

скими знаками (*notae*)¹. Как показали Энтони Грефтон и Меган Уильямс, стремление «сделать историю видимой» посредством таблиц, возможно, восходит к «Таблицам» «Хроники» Евсевия Кесарийского – труду, который оказывал огромное влияние на западноевропейскую педагогику вплоть до XVI в.² Однако начиная с конца XVII в. к мнемоническим системам, основанным на *loci*, *simulacra* и *notae*, педагогика стала прибегать все реже, замещая их в преподавании истории хронологическими таблицами, содержащими прежде всего даты и письменные тексты.

В России XVIII в. хронологические и генеалогические таблицы имели широкое распространение: известно, что Екатерина II настаивала на их использовании в своих рекомендациях князю Н.И. Салтыкову, воспитателю ее внуков Александра и Константина, и сам Ф.-Ц. Лагарп подтверждал их важность будущему императору³. Геттингенские профессора истории во второй половине XVIII в. пользовались такими таблицами, главным образом синхронистическими, поскольку они лучше соответствовали задаче предложить целостную картину соотношения сил в историческом процессе; их примеру следовали русские приверженцы этой методы, в частности Иван Кайданов, преподававший историю в Царскосельском Лицее⁴. И если Песталоцци показал пользу синхронистических таблиц в на-

¹ См., напр.: Rossi P. *Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibnitz*. Milano; Napoli: Ricciardi, 1960; Yates F. *The Art of Memory*. London: The University of Chicago Press, 1966.

² Grafton A., Williams M. *Christianity and the Transformation of the Book. Origin, Eusebius and the Library of Caesarea*. Cambridge: Harvard University Press, 2006. P. 133–177. За указание на это издание выражаю благодарность Джорджо Дзифферу.

³ См.: Екатерина II. Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию князей // Екатерина II. Избранные сочинения. СПб., 1890. Кн. 1. С. 149; *Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre I*, publiée par J.Ch. Biaudet e F. Nicot. Neuchatel, 1978. Т. 1. P. 128.

⁴ В 1819–1821 гг. Кайданов опубликовал трехтомное сочинение под названием «Хронологическая и синхронистическая таблица, представляющая достопамятные происшествия древних веков» (СПб., 1819–1821), доведенное до современной ему эпохи; позже он приложил ее к своему учебнику «Краткое начертание всемирной истории» (1822). Об этом см.: Равкин З.И. Педагогика Царскосельского Лицея пушкинской поры (1811–1817): историко-педагогический очерк. М., 1999. С. 91 и след.

чальном образовании, то Август Герман Нимейер, еще один высоко ценимый Жуковским последователь Руссо, в своем педагогическом трактате настаивал на важности использования таких таблиц прежде всего на продвинутых этапах обучения:

Сначала таблицы располагают идеи в порядке, что принципиально важно; далее, они дают возможность сразу охватить взглядом все пройденное, например, в области естественной истории, всеобщей истории, а также хронологии¹.

«Новшество», внесенное Жуковским в эту систему, состояло в отказе от модели таблицы, содержащей только текст, и в возврате к древнему принципу «*notae*» (графических символов) классической традиции и средневекового «*ars notoria*»². Для своего ученика Жуковский *ex novo* создал язык легко распознаваемых и хорошо запоминающихся графических символов, изобретая таковые для любого действующего лица истории: императора, короля, царя, султана, князя, папы, епископа, священника, полководца, воина, армии, народа, писателя, поэта, медика, астронома, ученого, мужчины, женщины и т.д.³ Любая историческая роль и любая ступень иерархии обозначалась собственным точным графическим символом, который было легко запомнить и распознать. Каждый такой знак представлял собой сочетание инициала имени знаменитого персонажа всемирной истории с графическим символом.

Вот некоторые примеры: заглавная буква «О», увенчанная короной, обозначала императора Октавиана, буква «К» с астериском внизу (символ женщины) – королеву Клеопатру, курсивная буква

¹ Niemeyer A.H. *Principes d'éducation*, trad. par J.J. Lochmann. Paris, 1837. Т. 2. С. 27 (Оригинал по-французски, ср.: «D'abord les tableaux mettent de l'ordre dans les idées, ce qui est un point capital; ensuite on peut, d'un seul coup d'oeil, embrasser tout le champ parcouru, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire naturelle, de l'histoire universelle, de la chronologie»). О чтении Жуковским трактата Нимейера и маргиналиях поэта в его тексте см.: Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского. Томск, 1990. С. 144–145.

² Примеч. пер.: *Ars notoria* – распространенное в Средневековье искусство, которое ставит своей целью приобретение знаний от Бога.

³ ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 113. Материалы для таблиц всемирной истории. Л. 20–22 об., 51–58.

«Т» с многоточием – народ Трои и т.д. Жуковский создал графические символы для обозначения главных исторических деяний и событий: формирование армии, война, сражение, победа, завоевание, сопротивление, поражение, разрушение, покорение, мир, освобождение, гражданская война, союз, основание города, законодательная деятельность, устройство игр, торговля, разделение земель, прибытие, отъезд, ссылка, паломничество, рождение, смерть и т.д. Наконец, он создал графические символы для всевозможных историко-географических реалий и мест: нация, область, столица, город, колония, море, река, озеро, остров, полуостров, гора, ущелье, мост, храм, памятник, амфитеатр, церковь, стена и т.д. Соединяя символ персонажа, дату, символ деяния и пространственный символ, Жуковский таким образом непосредственно визуализировал некоторые ключевые события всеобщей истории.

Составляя эти таблицы, Жуковский обычно делал черновой эскиз, который затем копировался набело и раскрашивался помощниками, предоставленными царем в распоряжение поэта. Как вспоминает П.А. Плетнев, «постоянно находилось в его квартире двое канонистов», которые помогали поэту в этих занятиях¹. С их помощью Жуковский, исходя из плана занятий Липмана, составил пять цветных таблиц для курса древней истории, представляющих пять ее главных эпох. В дополнение к ним поэт создал еще большую сводную таблицу. Кроме того, поэт составлял к таблицам пояснительные тексты, которые печатались очень ограниченным тиражом – только для наследника, его соучеников и их преподавателей, помогавших ученикам разбирать таблицы и вспоминать представленные в них главные исторические события².

¹ ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 2527. Воспоминания Плетнева о воспитании цесаревича Александра Николаевича под руководством Мердера и Жуковского. Л. 12 об.

² См., напр.: Черты древней истории для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Липмана Б.м., 1829: *Библиотека* В.А. Жуковского: описание / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981. С. 77; ср. также: Обзорение первого и второго периодов Российской истории для повторения. Б. д.; Начертание естественной истории для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Триниуса и т.п.



Таблица символов: «Изыяснение некоторых знаков»

По мере того как курс истории приближался к современности, таблицы Жуковского становились все более подробными, вынуждая поэта к кропотливой и утомительной работе по их составлению. Для курса современной истории, например, начинавшегося с эпохи Великой французской революции и заканчивавшегося 1830 г., поэт составлял таблицу на каждый год. И каждая из этих таблиц, расчерченная на 365 квадратов, представляла день за днем основные собы-

тия европейской истории этой насыщенной ими бурной эпохи¹. Например, в квадрате под датой «11 июня 1813» мы видим литеру Ф («Франция») с помещенным над ней черно-белым прямоугольником («армия») и изображением стрелы («бегство»), наложенным на символ реки, сопровождаемый буквой Э («Эльба»). Таким образом, символы в пространстве маленького квадратика лаконично и точно сообщают о «бегстве французской армии через Эльбу 11 июня 1813 г.».

Для составления собственных обширных символических таблиц по курсам истории Средних веков и Нового времени Жуковский пользовался некоторыми уже существовавшими хронологическими и синхронистическими таблицами Г.-Г. Бредова, Ф.-У. Пишона и А.-К. Ведекинда². В некоторых случаях он привлекал к составлению таблиц не только преподавателей, но и учеников. Поэт был убежден, что не только повторение пройденного с помощью таблиц, но и само их составление является эффективным дидактическим методом, и свидетельства его учеников (например, Иосифа Виельгорского) подтверждают это:

Г. Жиль составил для нас синхронистические таблицы 12, 13, 14 и 15 столетий. А я, с своей стороны, составляю такую же таблицу, только для первых веков Средней истории³.

Великая княжна Ольга Николаевна тоже пользовалась таблицами в неучебное время: «В экипаже, пока Мама читала, я заучивала исторические даты по картинкам Жуковского»⁴. По свидетельству одного из двух соучеников престолонаследника Александра Нико-

¹ *ОР РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 125а. Особенные планы. Л. 122–160.

² В частности, Жуковский пользовался следующими изданиями: *Bredow G.G. Weltgeschichte in Tabellen nebst einer tabellarischen Übersicht der Litterär-geschichte*. Altona, 1804; *Pischon F.U. Die Weltgeschichte von Anfang bis zur neusten Zeit in gleichzeitigen Tafeln*. Berlin, 1825; *Wedekind A.Ch. Chronologisches Handbuch der neuern Geschichte (1740–1815). Erster Theil*. Lüneburg 1815. См.: *ОР РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 124. Записки об учении. Л. 45 об.

³ Цит. по: *Лямина Е.Э., Самовер Н.В.* Бедный Жозеф: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 120.

⁴ *Ольга Николаевна*. Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // Николай I. Муж, отец, император. М., 2000. С. 219.

Мидия		Персия Парфия		ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ.			
И М Е				А Н			
Ш К 555.		Р.		Г X П		К.	
335 А.							
<p>VII TI 534 510 T</p> <p>Р</p> <p>И X И 490.</p> <p>XII 450.</p> <p>В 404.</p> <p>Г 390.</p> <p>II 50. II 386 K+</p> <p>А 343.</p>	<p>Л I 403.</p> <p>Л II 385.</p> <p>Т 345.</p>	<p>510 Г →</p> <p>С</p> <p>П</p> <p>М 490 М.</p> <p>480. 490. С. П. М. 470.</p> <p>К 450.</p> <p>П</p> <p>П 444 450 420 / П</p> <p>А 420 405. Э П</p> <p>А 404.</p> <p>401 10,000 А 390.</p> <p>А 367.</p> <p>Ф 360.</p> <p>А 336.</p> <p>А 335. П</p>	<p>525</p> <p>С 405.</p> <p>387</p>	<p>К 515.</p> <p>К 465. А Л 465.</p> <p>А М 405.</p> <p>Д К 336.</p>			

Деталь таблицы по древней истории

1815.												
	J.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	O.	N.	D.
1						K. → D.	G. → T.				A. → T.	Decl. P.
2					X → L.				M. *		D. → B.	D. → D.
3				SC 180m		Z. → L.				D. → T.		H. → R. E.
4				R. → B.		Z. → D.	S. →			C. → A.		M. → B.
5						Atom.						
6							FPW. D.		P. → V. S.			S. → L.
7									P. → A. D. N.			
8		R. → M.			N. → D.				N. → L.			
9									T. → R. D.			
10									A. → P. P.	A. → B.	S. → V. S.	T. → M.
11								D. → E.	C. → P.	SC 280m	S. → V. S.	G. → V. S.
12	I. S. S. 550m				F. → E.							
13			R. → D.			S. → V. S.	C. → P.	A. → F.			S. → B.	
14						H. → B. J.						S. → B.
15									X. → O.			W. → N. S.
16											B. → F.	
17												
18												
19				R. → D.	E. → D.					I. → L.		
20											II. → L.	
21												C. → D.
22	F. → D.			P. → S.	X. → B.	W. → V. J.			N. → D.		C. → S.	
23				S. → P.							R. → S.	
24												B.
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Таблица исторических событий 1813 г.

лаевича, Иосифа Виельгорского, работа по составлению таблиц действительно помогала лучше усваивать предмет; в декабре 1832 г. Виельгорский писал Жуковскому:

Ваша синхронистическая таблица Древней Истории, любезный Василий Андреевич, теперь приносит нам особенно большую пользу¹.

И несколько месяцев спустя: «Я сам делал таблицы для истории Италии и Франции, и оттого эти происшествия врезались в память»². Совершенный успех этого метода подтвержден также Флорианом Жиллем в письме Жуковскому, где он описывает блистательный ответ Александра Николаевича на экзамене по истории, проходившем в присутствии императора, императрицы, М.М. Сперанского, И.Ф. Крузенштерна и графа Головкина; в письме от 11 марта 1833 г. Жилль писал Жуковскому:

На вопрос Его Величества Великий князь отвечал больше часа. Его уверенная манера, оживленный рассказ, сам выбор выражений – все было замечательно в этом первом испытании, где он с поистине удивительной легкостью сделал обзор истории Франции, начиная с времен Карла I до конца правления Людовика XVI³.

Своими символическими таблицами поэт пытался противостоять засилью текстов, более того – письменного слова вообще, которое доминировало в педагогике того времени. Даже самые известные в свое время хронологические таблицы – «Река времен» («Der Strom der Zeiten») Фридриха Штрасса (1803), «Атлас» А. Лесажа (1808) или таблицы всеобщей истории Генриха Кольрауша и Николая Ниссена (1828), разумеется, содержали некоторые графические элементы, но в отношении к письменным текстам эти элементы были вполне маргинальны⁴. «Река времен», например, представляла все-

¹ Лямина Е.Э., Самовер Н.В. Бедный Жозеф. С. 120.

² Там же. С. 126.

³ Цит. по: Павлова Ж.К. Флориан Жиль и императорский Эрмитаж. СПб., 2010. С. 64.

⁴ Strass Friedrich. Der Strom der Zeiten oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1803;

общую историю в виде больших раскрашенных разноцветными красками рек; каждая из них соответствовала истории отдельной цивилизации или нации, временами эти реки сливались, временами разделялись соответственно территориальным приобретениям или потерям изображаемых ими наций. Но все же в пределах каждого такого изображения реки содержался обширный текст, пространно и со многими подробностями повествовавший об исторических событиях.

В общем же наиболее традиционные таблицы, подобно «Атласу» Лесажа или таблицам Кольрауша и Ниссена, предлагали хронологию всеобщей истории в виде параллельных разноцветных колонок, каждая из которых была посвящена истории отдельной нации, но письменный текст в них был таким обширным и убогим, что пугал ученика своей чрезмерной плотностью вместо того, чтобы облегчить ему запоминание фактов. Такие таблицы были скорее справочным пособием для ученых и специалистов, нежели учебным пособием, пригодным для практической педагогики.

Напротив, Жуковский стремился представить исторические события наглядно и точно. В 1823 г., рецензируя русский перевод некоторых синхронистических таблиц, он писал: «<...> легкость обозрения есть главное в подобных таблицах: они не для чтения, а для глаз»¹. Поэт стремился создать такую систему легко запечатлевающих в зрительной памяти ученика знаков, которая могла бы ясно и целостно представить большое количество параллельных и одновременных событий, как заметил Плетнев в своих воспоминаниях:

Он особенно полюбил мысль, чтобы память, для сохранения понятий, облегчаема была начертаниями, или изображениями, часто условными, тех предметов, о которых говорится во время уроков. [Поскольку] история более всех наук наполняет память именами, числами и событиями, то составление разных исторических таблиц

Le Sage A. (наст. имя: Эммануэль Огюстен де Лас Каз) *Atlas Historique, Chronologique et Géographique*. Strasbourg, 1808; *Kohlrausch Heinrich Friedrich Theodor*. *Chronologischer Abriß der Weltgeschichte, mit zwei synchronistischen Tabellen der alten Geschichte und der neuern Staatengeschichte*. Leipzig. 1815.

¹ Жуковский В.А. Обзор русской литературы за 1823 год (XII, 348).

и привлекало его наиболее, особенно при весьма правильном его убеждении, что История есть преимущественно наука царей¹.

Кроме таких таблиц, основанных на системе символических знаков, Жуковский составил сравнительно-исторические таблицы, в которых параллельными колонками текстов описал сходные этапы развития хронологически отдаленных друг от друга цивилизаций: в них содержались сравнения великих исторических деятелей, великих писателей и художников разных наций; сравнительные описания развития институций и политических форм правления в греческом и латинском мире; описания сходных исторических процессов в западноевропейской цивилизации до и после Рождества Христова². С одной стороны, создание подобной опорной схемы было эффективным способом, помогающим ученику запомнить исторические события и исторических деятелей, с другой – такие таблицы предполагали присутствие определенных закономерностей в историческом развитии цивилизаций: они наглядно демонстрировали наличие системы в истории. А.А. Краевский справедливо отметил, что разработанный Жуковским метод обучения посредством символических таблиц, был основан «на возможности существования системы в истории»³.

Довольно быстро метод повторения при помощи таблиц, содержащих графические символы, стал распространяться и за пределами царского двора⁴. По мнению А.А. Краевского, в 1836 г. посвятивше-

¹ ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 2527. Воспоминания Плетнева о воспитании цесаревича Александра Николаевича под руководством Мердера и Жуковского. Л. 12.

² Ср.: Хронологические таблицы знаменитых людей древней истории // ГАРФ. Ф. 678. Император Александр II. Оп. 1. Ед. хр. 195. Л. 25, 30, 37.

³ Краевский А.А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. СПб., 1836. С. 6.

⁴ Через несколько лет после того как Жуковский начал составлять первые таблицы на основе графических символов, польский ученый Антон Язвинский стал распространять во Франции методику использования графических символов. Жуковский, начавший разрабатывать свои таблицы с середины 1820-х гг., опубликовал некоторые из них только в 1836 г., тогда как таблицы Язвинского, пользовавшиеся большим успехом в Европе, были обнародованы в 1832 г.: *Jaźwiński A. Méthode polonaise appliquée à la chronologie, l'histoire, la géographie, l'étude des langues, les mathématiques, l'histoire naturelle, la physique, la chimie, les codes des lois, les sciences militaires, la médecine et l'analyse des ouvrages en*

го таблицам Жуковского специальную статью, опубликованную в «Журнале Министерства народного просвещения», а позже изданную отдельным оттиском, система графических знаков, изобретенная поэтом, выгодно отличалась от предшествующих таблиц по многим признакам:

<...> в них вместо слов и фраз, которые все выражают, не оставляя ничего досказывать памяти, употребляются начальные буквы и знаки, которые только помогают памяти и в то же время принуждают ее к работе собственной <...> не сообщают никаких поверхностных сведений, а вызывают на труд, на припоминание, на углубленное внимание; между тем как другие таблицы с целыми фразами и собственными именами только балуют внимание, подавая иногда повод довольствоваться поверхностным, на выдержку схваченным знанием¹.

По мнению Жуковского, таблицы должны были помочь «избегать механического учения [текстов] наизусть»², т.е. именно того недостатка методы Песталоцци, за который его много критиковали. Поэтому Жуковский настаивал на том, чтобы повторять историю в разных аспектах – «синхронистически, хронологически и генеалогически по таблицам»³. Параллельно с составлением географических и исторических карт таблицы помогали оживить в памяти пройденный материал «новым образом с новой стороны»⁴. Как подчеркивает Плетнев, с точки зрения педагогической практики метод Жуковского был решительным шагом вперед по сравнению с лекциями по истории, написанными несколькими десятилетиями ранее для будущего императора Николая I, предварительно согласованными с императрицей Марией Федоровной и педантично и скучно читавшимися великому князю его преподавателями⁵.

général. Lyon, 1832. Сведения о распространении метода Язвинского в России см.: *Журнал* Министерства народного просвещения, 1834. № 5. С. 196–214.

¹ Краевский А.А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 26–27.

² Годы учения... С. 7.

³ Там же. С. 55.

⁴ Там же. С. 7.

⁵ *ГАРФ*. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 2527. Воспоминания Плетнева о воспитании цесаревича Александра Николаевича под руководством Мердера и Жуковского. Л. 2.

Символические таблицы Жуковского стали еще и прекрасным пособием для развития разговорной речи на иностранных языках. Как отметил Краевский,

<...> начальные буквы и преимущественно знаки – язык общий для всех; а от этого изучение Истории может быть соединено с практическим упражнением в языках, словесным и письменным¹.

В общем разработанная Жуковским для престолонаследника система обучения прежде всего преследовала цель воспрепятствовать формированию привязанной исключительно к письменному слову культуры книжного типа. Географические карты, гравюры, таблицы символов способствовали тому, что курс истории, преподанный таким образом, утрачивал свою исключительно текстовую природу и трансформировался в изображения и представления, которые приобретали собственный особый образ в индивидуальном воображении ученика. Как заметил Краевский, таблицы Жуковского были «сетью, канвой, по которой память и воображение рисуют свои представления»². Несмотря на свою достаточно подробную детализацию, они все же допускали большую свободу ассоциаций и интерпретаций. Графические символы таблиц могли ассоциироваться с образами, особенно поразившими ученика во время чтения исторических очерков или поэм, с изображениями на гравюре или картине.

Таким способом Жуковский пытался всеми возможными средствами помешать историческим взглядам Александра Николаевича превратиться в односторонний монологический нарратив, сообразный с историческим сознанием его отца. Вместе с картами таблицы позволяли при каждом случае рассматривать пройденное «новым образом с новой стороны»³. В то же время они вырабатывали у учеников целостный взгляд на историю и ее события, представавшие более в синхроническом, нежели в диахроническом измерении: таким образом, основной акцент приходился на взаимосвязь и взаимовлияние исторических процессов. И как это явствует из воспомина-

¹ Краевский А.А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 29.

² Там же. С. 24.

³ Годы учения... С. 7.

ний некоторых преподавателей, изучение истории при помощи таблиц дало положительный практический эффект. Кстати, и сам Жуковский в декабре 1832 г. сообщал Коллинсу об успехах своих учеников:

<...> особенно радует то, что они сами составляют обозрительные таблицы: я уверен, что это приводит в порядок, обогащает приобретенные идеи, дает им целость и обращает их в собственные, а это есть главное¹.

Благодаря символическим таблицам Жуковского русская история в сознании престолонаследника уже не была частной и замкнутой в себе самой дисциплиной; до некоторой даже степени наглядно она вошла в парадигму взаимосвязей и взаимовлияний, характеризующих систематику европейской истории².

Однако Жуковский не ограничился только всеобщей историей в составлении своих таблиц. Используя систему изобретенных им графических символов, поэт разработал и составил аналогичные таблицы по естественной истории, географии, физике, истории искусств³. В течение нескольких лет он прилагал экстраординарные усилия к тому, чтобы представить в наглядной форме систему человеческого знания при помощи языка графических символов, который был более синтетическим и более универсальным, нежели язык вербальный. Возможно, Жуковского вдохновила на эту работу высказанная в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» мечта Кондорсе о всеобщем языке графических символов, графиков и таблиц, который был бы способен передавать информацию людям, говорящим на разных языках:

¹ Шляпкин И.А. Из бумаг одного из преподавателей Александра II // Старица и новизна, 1917. Т. 22. С. 8.

² О влиянии геттингенской концепции и системы преподавания истории, в частности, на педагогическую систему Жуковского см.: *Rebecchini D. V.A. Zukovskij, Alessandro II e la «Storia universale»* // *Russica Romana*, 2013. № 19. Р. 79–88.

³ *Библиотека В.А. Жуковского: описание / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981. С. 77.*

Всемирным языком является такой, который выражает знаками или реальные предметы, или вполне определенные их совокупности, которые, заключая в себе простые и общие идеи, находятся или могут одинаково образоваться в уме каждого человека; или, наконец, общие отношения между этими идеями, операции человеческого разума, которые свойственны каждой науке, или процессы искусства. Таким образом, люди, которые знали бы эти знаки, метод их сочетания и законы их образования, понимали бы написанное на этом языке и выражали бы это одинаково легко на обыкновенном языке своей страны¹.

К использованию символических таблиц побуждал Жуковского и сам интернациональный состав преподавателей наследника, говоривших на разных языках. В то же время этот систематизирующий труд, предпринятый поэтом, был основан на прочном представлении о глубинном единстве человеческого знания, в котором явственно запечатлен след божественного промысла. Поразительной выглядит, например, попытка поэта перевести на язык символов даже некоторые эпизоды Евангелия, в частности Благовещение: с точки зрения чисто просветительской ее трудно было бы объяснить². Иногда посредством своих таблиц он пытался сопоставить естественную и Священную историю – чтобы соотнести научное знание о возникновении и формировании Земли с соответствующими мотивами книг Бытия³.

Хотя и вдохновленный мечтой просветителя Кондорсе, Жуковский рассматривал смысл этой аналитико-сопоставительной работы с точки зрения религии: в конечном результате она должна была помочь наследнику различать в истории человечества следы проявления божественной воли. Как позже, уже в 1840-х гг., писал сам Жу-

¹ См.: *Condorcet J.-A. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain suivi de Fragment sur l'Atlantide*. Paris: Flammarion, 1988. P. 291–292. Русский перевод: Ж.-А. Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. URL: http://www.studmed.ru/view/kondorse-zha-eskiz-istoricheskoy-kartiny-progressa-chelovecheskogo-razuma_84fd7a9305a.html

² *ОР РНБ*. Ф 286. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 8. В этой единице содержится перевод в графические символы фрагмента Евангелия от Луки (1, 26–38).

³ Ср. таблицу под названием «Подтверждение естественных фактов Святым Откровением» (ГАРФ. Ф. 628. Император Александр II. Оп. 1. Ед. хр. 195. Л. 106, 120).

ковский, он различал три разных типа историков: 1. «Близорукий» историк, описывающий только то, что происходит прямо перед его глазами, не заботясь о причинах и следствиях, стараясь только как можно точнее воспроизвести каждую подробность, и нередко руководствующийся личными пристрастиями в своих сочинениях. 2. Историк, обладающий широким кругозором, способный увидеть и представить исторические события в их взаимосвязи, умеющий из множества фактов выбрать наиболее значительные, упорядочить хаос и выразить глубокую истину, плод пронизательного ума, способного воспринимать явления в их единстве. 3. Наконец, это историк, который

<...> представляет события не только в целом, он видит их причины и угадывает их последствия. Он соединяет судьбу настоящего с намерениями Промысла. Он изъясняет тайную власть неизменяемого Бога посреди изменяющегося потока событий (XIV, 304–305).

В конечном счете Жуковский стремился своей работой развить в своем царственном воспитаннике широкий взгляд на историю, который позволил бы ему различать в ней следы действия божественного промысла.

Но если, с одной стороны, исторические взгляды Жуковского, безусловно, имели религиозную основу, с другой стороны, его педагогическая практика не исключала и перспективы политической целесообразности такого исторического мировоззрения. Развивая в своем ученике прежде всего способность всеохватного видения событий и личную склонность к сравнительному анализу, Жуковский, разумеется, не предполагал, что эти аналитические способности его воспитанник будет применять только к всеобщей, а не к русской истории. В своих инструкциях преподавателям всеобщей и русской истории Липману и Арсеньеву Жуковский ясно указывал, что главной целью их курсов является выработка обобщающего философского взгляда как на всеобщую, так и на русскую историю. И из этого всеохватного взгляда они, вместе со своим учеником, должны были извлекать следствия политического характера:

<...> по окончании всей новейшей истории философический взгляд на весь ход истории и извлечение из оной аксиом политический¹ –

¹ Годы учения... С. 54.

гласила инструкция Жуковского Липману. То же самое направление поэт предписывал и Арсеньеву, подчеркивая необходимость выработки «философического взгляда на всю историю Российского государства и извлечения из оной практических правил политики»¹.

Изучая и повторяя пройденные темы со своим воспитанником в течение почти десятилетия, Жуковский старался внушить Александру Николаевичу стремление видеть историю в сравнительно-сопоставительном аспекте – метод, позволявший критически сравнивать тексты, находя в них переклички и противоречия; метод, позволявший сопоставлять в исторической перспективе разные цивилизации: греческую и римскую, языческую и христианскую, древние и новые вообще, а также историю разных наций: западноевропейских и славянских, французской и русской.

Однако этот метод преподавания, этот способ приобретения и закрепления в памяти знаний не мог быть связан исключительно с отдаленными историческими эпохами и событиями и не мог не отражаться на общей интенции восприятия текущих событий и русской истории. Метод Жуковского прививал Александру привычку к сравнению, с одной стороны, чисто прагматическую, но с другой – несомненно, релевантную для всех дисциплин его курса обучения. Этот *habitus comparativo* был чреват для наследника возможностью предвидения важных последствий политических решений. Своим постоянным стремлением связать события русской истории с историей Европы Жуковский, создавший концепцию обучения престолонаследника, внес существенный вклад в ослабление и развенчание патриархального мнения о русской истории, которое его воспитанник впитал в своем семейном кругу, дав Александру Николаевичу возможность извлечь из этого систематического курса представления об отсталости России и возможных направлениях ее дальнейшего исторического развития, и таким образом подготовил почву для будущей политики царя-реформатора.

Перевод с итальянского О.Б. Лебедевой
(Томский государственный университет)

А.С. Янушкевич
(Томский государственный университет)

В.А. ЖУКОВСКИЙ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ В.Э. ВАЦУРО*

Петербургско-ленинградская филологическая наука во многом определила основные направления изучения и издания творческого наследия В.А. Жуковского. Три фундаментальных исследования: книги А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» (1904), Б.М. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922) и Г.А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» (1946) – с периодичностью в 20 лет формировали в русском культурном сознании образ и особенности поэзии великого русского поэта. Если в центре внимания основоположника исторической поэтики Веселовского были прежде всего Жуковский как «общественно-психологический тип» и «биография его сердца»¹, то для опоязовца Эйхенбаума определяющими были место поэта в истории русского стиха, природа его мелодики. Книга Гуковского, изданная в эвакуации в Саратове тиражом 500 экземпляров, с пометой «бесплатно», стала прорывом в осмыслении места и значения «первого русского романтика» в истории русской литературы. С присущей ему страстностью, вопреки всем официальным догмам исследователь писал: «Если мы откажемся от дурной привычки разоблачать поэзию Жуковского как реакционную гниль, то нам незачем будет производить мучительную операцию отторжения Пушкина от одного из ближайших учителей <...> Жуковский был потенциально близок Пушкину, не только как человек, но и как поэт»².

«Подвигом честного человека» можно назвать предпринятое в 1939–1940 гг. 35-летним Цезарем Вольпе издание в Большой серии

* Этот доклад был прочитан А.С. Янушкевичем в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) 30 октября 2015 г. на Международных научных чтениях памяти В.Э. Вацуро. К 80-летию со дня рождения (Санкт-Петербург, 28–30 октября 2015 г.).

¹ *Веселовский А.Н.* В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. XII, 20.

² *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. С. 26.

«Библиотеки поэта» двухтомного Собрания стихотворений Жуковского. И дело не только в том, что это был прорыв в эдиционной практике: это было первое советское издание сочинений поэта и по существу первое научное издание. Главное – в атмосфере негласного запрета на упоминание имени реакционного романтика, монархиста и царедворца молодой ученый (за год до своей трагической гибели) сумел во вступительной статье сказать те слова, которые не потеряли своего значения и сегодня: «Он был прежде всего *начинателем* всего нового *предпушкинского* периода русской поэзии»; «Жуковский может быть назван именно русским Шиллером»; «Жуковский оказал огромное влияние на ход развития всей русской поэзии»¹.

Нет необходимости говорить о продолжении этой традиции и ее развитии в ленинградской филологической школе, особенно в ее компаративистско-переводоведческой отрасли. Достаточно назвать имена В.М. Жирмунского, М.П. Алексеева, Ю.Д. Левина, Е.Г. Эткин-да, Р.Ю. Данилевского, П.Р. Заборова и др. Но перейдем к герою нашего сообщения.

В одном из последних разговоров по поводу писем Жуковского Вадим Эразмович сказал: «Он был всегда для меня тем магнитом, который притягивает не только своим личностным светоносным обаянием, но и масштабом присутствия как в литературном быте, так и в историко-литературном процессе». Думается, эти слова могли бы стать не просто эпиграфом, но и методологической основой для темы «Жуковский в творческом сознании В.Э. Вацууро». Именно В.Э. Вацууро сумел сделать Жуковского органической частью больших контекстов русской словесной культуры.

Проблемы литературного быта всегда были в центре внимания Вадима Эразмовича. Начиная еще с первых своих работ он придал этой категории миромоделирующий и жизнетворческий характер. Для него литературный быт – это прежде всего общая атмосфера литературной жизни и ее контекст. И главное значение Жуковского исследователь видит в его гармонизирующем влиянии на своих со-

¹ Вольпе Ц.С. В.А. Жуковский // *Жуковский В.А. Стихотворения*: в 2 т. вступ. ст., ред. и примеч. Ц.С. Вольпе. Л., 1939–1940. Т. 1. С. XV, XVI, XXXVI. См. также пронизательные сравнения Жуковского с Некрасовым, Языковым, Тютчевым.

временников. Говорит ли ученый об «Арзамасе» или истории альманаха «Северные цветы», об особенностях личных и творческих отношений Жуковского и Баратынского, Жуковского и Дельвига, Жуковского и Дениса Давыдова, о судьбе журнала «Современник» в связи с публикацией сочинений Карамзина или «Записок Моро де Бразе» Пушкина, он последовательно развивает мысль о масштабе человеческой личности Жуковского, о его нравственном авторитете.

И эта исследовательская концепция зиждется не на словах, а на фактах, которые ее автор извлекает из уже забытых источников, но чаще – из вводимых им в научный оборот архивных материалов. Так, в отзыве на книгу Эммы Герштейн «Судьба Лермонтова» (1983) он решительно заявляет: «Мы отошли от концепции великого поэта Жуковского как “придворного поэта, воспитателя наследника” <...>»¹, а в книге «Сквозь «умственные плотины» напоминает забытые слова Вяземского: «Разумеется, Карамзин и Жуковский лучшие создания Провидения <...>»², солидаризируясь с ними. Он вслед за Вольпе говорит о том, что «Жуковский словно шел путями Шиллера – в силу объективных законов литературной эволюции»³. Но все эти исследовательские постулаты, образные выражения словно обрастают мощным слоем новых источников, фактов, материалов.

Так, в атмосфере юбилейного 1983 г. появляется уникальная по своему резонансу публикация (в соавторстве с Марией Наумовной Виролайнен) писем Андрея Тургенева к Жуковскому 1798–1803 гг. Эти 49 писем действительно, как говорится в предисловии к ним, «целостный памятник духовной культуры»⁴ того времени. Ранний Жуковский в тургеневской рефлексии становится представителем раннего русского шиллеризма, участником литературного триумвирата «Тургенев – Жуковский – Мерзляков», как задушевный друг «юноши-гения». По-новому – как отрицательно-ироническая – прочитана в этом контексте рецензия Жуковского на «Путешествие в

¹ Вацуро В.Э. О Лермонтове. М.: Новое изд-во, 2008. С. 664.

² Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины»: Из истории книги и прессы пушкинской поры. М.: Книга, 1972. С. 73.

³ Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». Л.: Наука, 1993. С. 152.

⁴ Вацуро В.Э., Виролайнен М.Н. Письма Андрея Тургенева к Жуковскому // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л.: Наука, 1987. С. 350.

Малороссию» Шаликова, что вносит важные коррективы в эстетическую позицию Жуковского в период его подготовки к переводу «Сельского кладбища». Расширяется само пространство формирования новой русской поэзии, ее этико-философских и эстетических принципов. И подобные выводы рождает весь пласт новых материалов Вацуро о Жуковском. Так, в главах «Подвиг честного человека» и «Между Сциллой и Харибдой» в совместной с М.И. Гиллельсоном книге «Сквозь «умственные плотины», вводя в научный оборот материалы переписки Жуковского с Уваровым, Дондуковым-Корсаковым, записки Жуковского к Николаю I, автор существенно расширяет и уточняет современные представления о литературном быте послепушкинской эпохи, создавая образ Жуковского – хранителя памяти о Карамзине и Пушкине.

Концепция литературного быта у Вацуро неразрывно связана с парадигматикой самого историко-литературного процесса. Полемика, жанрово-стилевые поиски для него – ярчайшее выражение существенных сдвигов в художественном сознании. И в этом контексте Жуковский – один из главных репрезентантов процесса трансформации национального эстетического сознания. Так, говоря о реакции публики на известную эпиграмму Бестужева «Из савана оделся он в ливрею...» в книге об альманахе «Северные цветы», исследователь остро ставит вопрос о невоспитанности читательского вкуса в России, о «черни», «принимавшей вещи буквально, слепо доверяющей печатному слову»¹, которой можно внушить все, что будет угодно журналисту, и как следствие – о провокации отсутствия уважения к подлинным литературным ценностям, в том числе к поэзии Жуковского. Анализируя в книге «Пушкинская пора» полемику вокруг перевода баллады Гете «Рыбак», В.Э. Вацуро подчеркивает, что «отрицается как раз то новое, что Жуковский внес в традиционную элегическую поэтику – психологический язык, внелогические связи понятий, разрушившие рационалистическую, строго логическую понятийную основу стихотворения и даже его грамматические нормативы»². Разговор об истории русской идиллии в эпоху романтиз-

¹ Вацуро В.Э. «Северные Цветы» (История альманаха Дельвига – Пушкина // Вацуро В.Э. Избранные труды. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 21.

² Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб.: Академический проект, 2000. С. 341.

ма, о судьбе элегической школы, о лирике 1812 г., о феномене готического романа в России для Вацуро неизменно обращен к новаторству Жуковского. «Так, Жуковский в своих переводах сублимировал собственную духовную биографию, без которой изучение поэтического языка начала века оказывается решительно невозможным»¹, «Самым значительным явлением военной поэзии оказался «Певец в стане русских воинов» Жуковского, где “пэан 12 года”, по выражению Пушкина, открыто и демонстративно соединился с субъективным лиризмом застольной песни и элегии»²; «Именно Жуковский <...> сделал практический шаг к созданию русской народной и даже простонародной идиллии. “Овсяный кисель” был художественным открытием, имевшим важные последствия...»³ – эти и другие исследовательские афоризмы В.Э. Вацуро стадильно выявляют масштаб поэтических открытий Жуковского в самых различных жанрах.

И в этом отношении особого разговора заслуживает последняя его книга «Готический роман в России»⁴. Я не могу не сказать о пронзительной по тону и тонкой по смыслу статье-постскриптуме Т.Ф. Селезневой «Из домашней истории “Готического романа”». Эта «домашняя история» воспринимается как вероисповедание самого ее автора, воссозданного глазами близкого человека. Это странное на первый взгляд исследование закономерно в творческой биографии его автора. В «законченной незаконченности» этой книги – история рецепции в России не столько готического романа как такового, сколько история формирования того «эстетического поля», в пространстве которого происходил слом традиции и выявлялись перспективы нового художественного мышления и нового языка. В структуре этой «законченной незаконченности» фрагмент о Жуковском – важное и существенное звено. Предпосылки готического сюжета в его элегиях и балладах, процесс рождения «Марьиной рощи», «наиболее значительного произведения русской прозы этого периода», феномен «френтических черт» в переводе «Святого три-

¹ Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. С. 5.

² Там же. С. 156.

³ Вацуро В.Э. Пушкинская пора. С. 524.

⁴ Вацуро В.Э. Готический роман в России. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 542 с.

лиственника» и «Привидения»), поэтика суггестивности в художественном мышлении «первого русского романтика» – все это в своей совокупности и связи выявляет место и значение Жуковского в этом «эстетическом поле». Как убедительно показал В.Э. Вацуро, в преромантическую эпоху Жуковский формировал особую эстетику тайн бытия и новый язык психологического анализа. Его законченные и опубликованные произведения в жанре элегии, баллады, прозаической повести, лабораторные опыты переводов образцов европейской готики, заметки на полях готических романов и эстетических трактатов поистине разрыхляли почву для дальнейшего развития русской словесной культуры. История русской фантастики, как миромоделирующая основа балладного мира Жуковского в свете рецепции готического романа, приобретает в книге В.Э. Вацуро масштаб генетической основы русского «фантастического» реализма. И здесь магистральный путь русской словесной культуры: от баллад Жуковского, «Пиковой дамы» Пушкина и русской фантастической повести к «Мастеру и Маргарите» Булгакова.

Для автора книги «Лирика пушкинской поры» Жуковский – фигура центральная и генерирующая общую концепцию исследования. Почти в каждой главе В.Э. Вацуро выявляет место и значение Жуковского в «некой целостной системе». И эта система точно определена им как «элегическая школа». В главе «“Сельское кладбище” и поэтика “кладбищенской элегии”», развивая мысль Владимира Соловьева о том, что «“Сельское кладбище” может считаться началом истинно человеческой поэзии в России», исследователь ставит вопрос об особой природе слова Жуковского. «Слово Жуковского, – пишет он, – это не только слово и не просто слово. Не просто слово, потому что оно формируется прежде всего в пределах элегического художественного слова». И далее: «Но если Жуковский меняет сам отношение поэта к слову, предлагая своему читателю слово контекстуальное, элегическое, с высвободившейся сферой коннотаций, несущее на себе рефлексию соседних слов и образов, то при построении своей системы поэтической суггестии он должен был заглянуть далее – за пределы вербальной сферы стихотворения. В этом смысле слово Жуковского – не только слово; оно лишь доминанта в некой

целостной системе»¹. «Слово найдено»: в творческом наследии ученого Жуковский – именно такая целостная система.

Границы этой системы необозримы. Батюшков и Давыдов, Дельвиг и Баратынский, Пушкин и Лермонтов – каждый из них и все они вместе живут в книгах В.Э. Вацура как органическая часть этой целостной системы. Достаточно обратиться к 4-й главе книги «Лирика пушкинской поры» с характерным заглавием «Элегический субъект и элегические темы. Жуковский и Батюшков», чтобы почувствовать масштаб этой историко-литературной и поэтической параллели. Рассматривая тип «элегии Шиллера», связанной преимущественно с именем Жуковского, и тип «элегии Парни», восходящий к Батюшкову, исследователь погружает эту типологию в историю образа «мечтателя» и слова-концепта «мечта» и тем самым рельефно обозначает новаторство обоих поэтов, точки их сближения и расхождения. Этот же принцип лежит и в основе следующей главы, посвященной судьбе исторической элегии, где к Жуковскому и Батюшкову присоединяется Денис Давыдов. Пушкин в исследованиях Вацура вообще живет «при свете Жуковского». Так, комментируя известное высказывание Пушкина о том, что Жуковский «имел решительное влияние на дух нашей словесности», исследователь пишет: «В этом заявлении сказалась прежняя его [Пушкина] принципиальная позиция: как бы ни отклонялось движение литературы от пути, избранного Жуковским, историческое значение его неоспоримо и требует уважения и объективной оценки. Помимо всего прочего, это была уже и позиция историка, начинавшего рассматривать литературную жизнь как часть культурно-исторического процесса, не зависимо от произволения того или иного критика. Спор о Жуковском продолжался уже на ином уровне – на более высоком уровне историзма <...>»².

О «жуковском субстрате» в лермонтоведческих трудах В.Э. Вацура разговор особый. Укажу лишь на совершенно оригинальный и блистательный по форме взгляд на «последнюю повесть Лермонтова» «Штосс» сквозь призму «Очерков из Швеции» Жуковского. Приключение в замке Грипсгольм, рассказанное автором «Писем из

¹ Вацура В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 66, 67.

² Вацура В.Э. «Северные Цветы» (История альманаха Дельвига – Пушкина. С. 33.

Швеции», рассматривается исследователем не просто как точка отталкивания или ситуация соприкосновения. В.Э. Вацуро выявляет своеобразную концептосферу этого рассказа-анекдота, акцентируя в нем нарративные стратегии, связанные с жанром устного анекдота, «полупародийной литературной новеллы» и документальным источником, обрыв в момент «кульминации напряжения». Вывод исследователя: «Вместе с тем, как и очерк Жуковского, «Штосс» далеко перерастал рамки устной новеллы и впитывал в себя литературные мотивы, подвергшиеся трансформации»¹ – поднимает, казалось бы, частное и вполне конкретное сравнение на уровень методологически значимого размышления о соотношении поэтики миромоделирования в творчестве Жуковского и Лермонтова.

Одним словом, Жуковский в творческом сознании Вадима Эразмовича органично связан с общеметодологическими проблемами формирования нового культурного сознания и нового поэтического языка. И в этом отношении мысль исследователя о том, что «индивидуальное творческое развитие Жуковского оказывается весьма репрезентативным в историческом смысле»², определяет перспективы дальнейшего изучения и издания наследия великого русского поэта Жуковского.

В заключение своего доклада позволю себе процитировать замечательное четверостишие Жуковского с характерным заглавием «Воспоминание»:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*,
Но с благодарностью: *были*.

Думается, оно прямо обращено к Вадиму Эразмовичу Вацуро, при свете которого мы прожили эти дни.

¹ Вацуро В.Э. О Лермонтове. С. 164.

² Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 76.

О.Б. Лебедева
(Томский государственный университет)

**В.Э. ВАЦУРО И «АРЗАМАС»:
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ***

История изучения материалов, относящихся к «Арзамасскому обществу безвестных людей», в XX в. разворачивалась в два этапа: первое издание документов, относящихся к деятельности пародийного литературного общества, ««Арзамас» и арзамасские протоколы», осуществленное в 1933 г. М.С. Боровковой-Майковой¹, оставалось единственным на протяжении более чем 60 лет, вплоть до выхода в свет в 1994 г. задуманного М.И. Гиллельсоном и осуществленного коллективом исследователей под общей редакцией В.Э. Вацура и А.Л. Осповата двухтомника ««Арзамас»: Сборник в двух книгах» (М.: Худож. лит., 1994), который существенно расширил круг документальных материалов предыстории и перспектив деятельности общества и тем самым представление о его месте и значении в литературной жизни России не только периода существования общества, но и далеко за пределами этого периода. Введенный М.И. Гиллельсоном термин «арзамасское братство»², которым он обозначил глубинные нравственные основы арзамасского единения и который стал фундаментом концепции «Арзамаса», развитой в лаконичной, но предельно емкой вступительной статье В.Э. Вацура к этому двухтомнику, постепенно распространился на хронологиче-

* Этот доклад был прочитан 30 октября 2015 г. на Международных научных чтениях памяти В.Э. Вацура. К 80-летию со дня рождения в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, 28–30 октября 2015 г.

¹ *Арзамас* и арзамасские протоколы / вводная статья, ред. протоколов и примеч. М.С. Боровковой-Майковой; предисл. Д.Д. Благого; под ред. А. Горелова. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

² См.: *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л.: Наука, 1974; *Гиллельсон М.И.* От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л.: Наука, 1977.

ские рамки всего золотого века – пушкинского периода русской литературы и прочно укоренился в литературоведческом обиходе.

Однако же цель предлагаемого этюда – не описание публикаций документальных материалов, относящихся к обществу «Арзамас», и не оценка исследовательского труда, затраченного всеми публикаторами на редактирование и комментирование этих материалов, – любому профессиональному филологу понятно, что этот труд невозможно переоценить: он требует разностороннего, глубокого и тонкого знания литературного быта эпохи, абсолютно сопоставимого со знанием современников. Более насущной задачей представляется обзор тех теоретических уровней, на которых осмыслялись значимость и результаты деятельности «Арзамаса» исследователями, так или иначе это осмысление осуществлявшими: при том, что «Арзамас», по расхожему представлению, являлся обществом в высшей степени шутовским и несерьезным, а смех и смеховые жанры литературы и литературного быта до сих пор отнюдь не являются приоритетным объектом внимания литературоведов¹, больше любящих сатиру и полемику (политическую или литературную, без разницы), нежели свободное и незаинтересованное (по Канту) наслаждение игрой словом, цитатой, реминисценцией и даже целым текстом (пародия и ее функции в литературе): В.Э. Вацуро представлял собой полное исключение из этого правила.

В рецензии на поэму И.П. Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границею, дан л'этранже» О.И. Сенковский прозорливо обронил исполненную глубокого смысла фразу, которую можно было бы поставить эпиграфом к этой статье: «Не шутите, прошу вас, над шутками: шутка самое серьезное дело на этом свете»².

¹ За исключением немногих работ, специально посвященных «домашней поэзии» и шутивным жанрам; см., напр.: *Иезуитова Р.В.* Шутивные жанры в поэзии Жуковского и Пушкина 1810-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 22–47; *Краснокутский В.С.* Проблема комического в трудах и творчестве арзамасцев // Вестн. МГУ. 1973. № 6.

² *Библиотека для чтения.* 1844. Т. 62, № 7. С. 41. Совершенно не случайно то, что это *bon-mot* – парадокс и оксюморон одновременно – родилось в контакте литературного сознания великолепного пародиста Сенковского, в высокой степени одаренного способностью смехового текстопорождения, с абсолютно «несерьезным», пародийным текстом, который на первый взгляд не преследует никакой иной цели, кроме произведения комического эффекта в языковой игре

И если попытаться определить в персоналиях генеральную линию развития подобной убежденности в истории русской словесности (включая в понятие «словесность» не только художественную литературу, но и литературный быт, и науку о литературе, т.е. все роды словесного творчества, которые так или иначе прикосновенны к смеховому мируобразу), то я бы назвала пять имен: В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, Козьма Прутков, Ю.Н. Тынянов и В.Э. Вацуро.

Что касается Жуковского, то такого беспрецедентного количества «домашних» и смеховых текстов, как в творческом наследии первого русского романтика, проникновенно-возвышенного элегика, трагического балладника и философически-миросозерцательного эпика, история русской литературы не знает – для Жуковского, особенно периода от Муратова до «Арзамаса» (прибавим к этому и мощный всплеск «домашней поэзии» в творчестве Жуковского начала 1830-х гг.), жизнь и поэзия были одно в самом простом и точном смысле этих слов.

П.А. Вяземский – абсолютный репрезентант острословия и окказиональной игры словом в истории русского литературного быта, при том что эта доблесть была далеко не чужда и многим его современникам. Козьма Прутков – это возросшая до степени абсолюта саморепрезентация универсального смехового мируобраза, который не только воплотился в исчерпывающем компендиуме литературных штампов и общих мест русской классической литературы, но и породил своего персонифицированного носителя, никогда не существовавшего во плоти, но вошедшего в пантеон вечно живых классиков русской литературы.

Ю.Н. Тынянов практически первым проявил научно-исследовательский интерес к так называемым маргинальным, периферийным явлениям и жанрам литературного процесса, где, как это им установлено, как раз и рождаются те самые явления, которым предстоит стать ядерными элементами этого процесса¹; я уже не говорю о ты-

«французского с нижегородским», но на второй и последующий взгляды обнаруживает бездну смыслов, являясь своего рода актом самосознания русского травелога и его субъекта-повествователя – не говоря уже о мощном имагологическом потенциале поэмы Мятлева.

¹ Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 270–281.

няновской теории пародии, значимость которой невозможно переоценить и которая утверждает многофункциональность этой отрасли словесной игры, по видимости абсолютно бессмысленной и несерьезной, но обладающей мощным познавательным потенциалом и являющейся одним из главных инструментов самосознания изящной словесности – при том что пародии далеко не чужды и посторонние цели: литературная полемика и социополитические экспликации¹. Наконец, В.Э. Вацуро соединил в своей личности экстраординарную одаренность в области, так сказать, «литературного быта» и острословия (ср. уникальное издание под названием «Вацуриана», осуществленное Антонией Гласе и сохранившее для нас перлы остроумия Вадима Эразмовича и его ближайшего дружеского окружения²) с глубоким научно-исследовательским интересом к этим фактам истории русской литературы.

Если теперь вернуться к «Арзамасу» и арзамасской смеховой продукции, то необходимо констатировать, что вступительная статья В.Э. Вацуро при всем ее лаконизме поднимает представление о значимости этих материалов на принципиально новый и невероятно перспективный уровень поэтики, эстетики и теории литературного творчества. Кроме прямых смыслов, заключенных в основных положениях этой работы, в ней очень много смыслов непрямых, так сказать, под- и междустрочных. Если вступительная статья Д.Д. Благого к первому изданию арзамасских протоколов представляет собой типичный образец социологизированного литературоведения (в чем исследователя никоим образом невозможно упрекнуть как ввиду тех условий начала 1930-х гг., в которых осуществлялось издание столь несерьезных и очевидно практически бесполезных и даже вредных для диктатуры пролетариата текстов, так и ввиду действительного наличия социополитической подоплеки в истории деятельности «Арзамаса»); если статья М.С. Боровковой-Майковой является великолепным образцом расширенного историко-литературного комментария, реконструирующего основные этапы жизни общества

¹ Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии); О пародии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 198–226, 284–310.

² Вацуриана / авт. проекта А. Гласе; сост. Т. Селезнева; ред. И. Чистова, И. Райскин. С.-Петербург; Итака, 2001.

и сосредоточенного прежде всего на литературно-полемическом аспекте, столь значимом для самого возникновения общества и предопределившем формы протекания его деятельности, то вступительная статья В.Э. Вацуро к двухтомнику, симптоматично озаглавленная не по названию общества, но по его функции и значимости в русском литературном процессе 1800–1830-х гг.: «В преддверии пушкинской эпохи», придает известному историко-литературному факту совершенно иной проблемный разворот, возведя его до уровня явления поэтологического, эстетического и в некотором смысле даже фундаментального для пушкинской эпохи.

Пусть эта мысль не высказана исследователем открытым текстом, она буквально витает над всей вступительной статьей: перефразируя известный афоризм Белинского о Жуковском и Пушкине, можно определить ее так: без несерьезного, шутовского, буффонного арзамасского смеха, не вылившегося ни в какое официально-институциональное мероприятие типа журнала или консолидированного выступления литературного сообщества, не было бы той русской литературы пушкинской эпохи, какой мы ее знаем: «<...> в последнем гекзаметрическом протоколе он [Жуковский] обронил замечание: с тех пор, как общество взялось за ум, ум от него отступил: “Мы разучились смеяться”»¹. И далее: «Остатки прежнего “Арзамаса” станут собираться в пушкинской “Литературной газете” и в пушкинском же “Современнике”. Такова перспектива, в которой буффонское литературное общество раскрывает свой подлинный исторический смысл»².

На примере «Арзамаса» В.Э. Вацуро показал принципиальную значимость литературного быта – этого традиционно пренебрегаемого «серьезным» литературоведением явления духовной жизни русской культуры первой трети XIX в. – для магистральных направ-

¹ Вацуро В.Э. В преддверии пушкинской эпохи // Арзамас: сб. в 2 кн. М, 1994. Кн. 1.

² Там же. См. также: Гиллельсон М.И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л.: Наука, 1977; Глассэ А. О мужичке без шапки, двух бабах, ребеночке в гробике, сапожнике-немце и о прочем: «Повести Белкина»: попытки прочтения // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. С. 45–75; Бетеа Д., Давыдов С. Угрюмый Купидон: поэтика пародии в «Повестях Белкина» // Современное американское пушкиноведение: сб. ст. СПб., 1999. С. 201–224.

лений развития русской словесной культуры, совершенно сойдясь в этой убежденности с Ю.М. Лотманом, высказавшим очень точное наблюдение над каузальными связями литературного быта и профессиональной высокой литературы: «<...> в контексте французской культуры салон (литературная среда) порождает роман, а в русских условиях роман был призван породить определенную среду. Там быт генерировал текст, здесь текст должен был генерировать быт»¹.

Вступительная статья В.Э. Вацуро к двухтомнику арзамасских материалов 1994 г. со всей убедительностью, поддержанной самими этими материалами, демонстрирует характерную именно для европейского типа культуры ситуацию: в случае с «Арзамасом» именно литературный быт порождает тексты – и это даже не столько собственно арзамасские тексты, сколько те, из которых складывается русский литературный процесс на его самом высоком и профессиональном уровне. Хотя и косвенно, но именно «Арзамас» оказывается непосредственно причастен к высшим достижениям русской изящной словесности первой трети XIX в. – конечно же, не случайно то, что в «Обществе безвестных людей» состояли те три человека, без которых эти высоты вряд ли могли быть достигнуты: Жуковский, Батюшков и Пушкин. Именно арзамасская «галиматья» и арзамасское вздорноречие, как это убедительно показал В.Э. Вацуро, вооружили русскую поэзию твердыми представлениями о вкусе, эвфонии и норме поэтического языка способом от противного: демонстративно-подчеркнутым нарушением этих норм, что вело к их осознанию с несравненно большей эффективностью, нежели нормативные трактаты классической эпохи. Ср. его блистательный анализ эпиграммы на Хвостова «Се росска Флакка зрак...», заверченный соображением, что «<...> она – плод очень высокой и типично арзамасской изощренности; для нее нужно было искусство того же качества, которое породило знаменитые своей эвфонией стихи Батюшкова: “На зеркальных водах пустынной Троллетаны”...». Пожалуй, в качестве примера такого искусства можно привести и поразительный своей зеркально-кольцевой фонетической организацией пушкинский стих «Европы баловень Орфей...».

И здесь опять очень уместно вспомнить тыняновскую теорию

¹ Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII века // Из истории русской культуры. Т. 4: (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С. 97.

пародии: при том что пародийный характер общества – это изначальная данность факта и абсолютно все ученые (кроме В.Э. Вацуро), обращавшиеся к истории и продукции «Арзамаса», имели этот факт в виду, функционально-смысловое назначение пародии тем не менее ускользало от их внимания: при всей литературно-полемичной и даже идеологически альтернативной позиции членов «Арзамаса» по отношению к оппонентам, жанр не теряет своего познавательного потенциала даже в том случае, если пародия направлена не «на», а «против» – по терминологии Тынянова – таким образом, пародийное от начала и до конца общество стало, по сути дела, актом самосознания русской литературы XIX в., и не только ее первых двух десятилетий. Именно в этом представлении о роли «Арзамаса», пусть даже не высказанном открытым текстом, видится основной пафос статьи В.Э. Вацуро.

Какие же еще смыслы можно увидеть между строк этой маленькой по объему, но невероятно емкой по мысли работы? Смыслы видятся следующие. До сих пор на чисто языковые факторы арзамасского наречия в их экзистенциальном смысле обращалось очень мало внимания (в лучшем случае исследователей интересовали формы и приемы – «грамматика» арзамасского вздорноречия¹) – и это при том хорошо известном факте, что именно язык и принципы словоупотребления стали непосредственным поводом к противостоянию так называемых «архаистов» и «новаторов», каковое противостояние изящно и убедительно переосмыслено В.Э. Вацуро в инвертированном виде (архаисты – это как раз арзамасцы в их приверженности к классическим литературным традициям Европы, новаторы же – беседчики-романтики, воспринявшие из европейского романтизма всё его мистически-трансцендентное содержание, но забывшие одну очень важную вещь – романтическую иронию, о которой речь еще впереди).

Столь же обойденными остались ментальный и креативный смыслы противостояния языковых концепций «Беседы» и «Арзамаса»: с одной стороны, языка нормативного и регламентированного,

¹ *Ронинсон О.А.* О грамматике арзамасской «галиматши» // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та, 1988. Вып. 822. С. 4–17; *Краснокутский В.С.* О своеобразии арзамасского «наречия» // Замысел, труд, воплощение: сб. ст. / под ред. В.И. Кулешова. М., 1977. С. 20–42.

подчиненного посторонней для языка как такового цели, т.е. официальному патриотизму и патриархальному обычаю, а с другой – концепции языка живого и свободного, играющего, подчиненного только «законам, им самим над собою признанным» (А.С. Пушкин о драматическом писателе в письме А.А. Бестужеву от конца января 1825 г.). Заметим, кстати, что и оформлены эти концепции соответствующими диаметрально противоположными способами: нормативными трактатами А.С. Шишкова и поэтикой арзамасской речи как образом столь же живой и свободной, как сам язык, эстетики.

Экзистенциальный смысл арзамасского языка видится даже не столько в осознании и исследовании формальных приемов создания смехового текста, хотя эти приемы очень стабильны и начиная с античных времен хорошо известны европейским литературам, не исключая из этой парадигмы и русскую литературу нового времени – в том числе и «домашнюю поэзию» В.Э. Вацуро, его тексты, вошедшие в «Вацуриану». Экзистенциальный смысл зиждется на том простом основании, что мышление вербально, и манера говорить (писать) совершенно независимо от смысла и тематического содержания говорения (текста) свидетельствует о типе и характере мышления речепорождающего субъекта. Эта мысль прямо не высказана в статье В.Э. Вацуро, но в ней далеко не случайно очень продуктивно синонимическое гнездо понятия «либерализм», характеризующего не только политические или литературно-эстетические позиции арзамасцев (о чем много говорилось и раньше), но и свойство духовной жизни свободного по определению человека, а это прямо обуславливает качество языка и текстов такого человека, в особенности если он поэт.

Если же говорить о креативном смысле языковой полемики, то здесь самое время вспомнить о вышеупомянутой романтической иронии. Будучи неразрывно атрибутирована самому типу романтического творческого сознания в его немецком варианте, романтическая ирония почему-то совершенно не интересует историков русского романтизма, удовлетворяющихся доказательствами наличия романтического двоемирия в лирике и лироэпосе пушкинской эпохи. Русский романтизм, во всяком случае ранний, до середины 1820-х гг., мыслится сугубо серьезным.

Между тем именно взрыв домашней поэзии в творчестве Жуковского и абсолютно смеховой характер деятельности «Общества без-

вестных людей», по глубокому наблюдению В.Э. Вацуро, мотивированный и направленный именно свойствами личности и литературного дарования Жуковского (ср. отмеченные исследователем «игровое начало» и актуальность «традиционных форм смеховой культуры» языка домашней поэзии и арзамасской продукции Жуковского), неоспоримо свидетельствуют об обратном: русский вариант романтической иронии от немецкого отличается только тем, что высокие официальные и домашние смеховые тексты в раннем русском романтизме существовали раздельно (что в принципе никак не исключало романтической амбивалентности мировосприятия и мирообраза русской печатной литературы). Их взаимопроникновение началось несколько позже – в тот самый период 1820–1830-х гг., который с методологической точки зрения принципиально неопределим: что это было, все еще романтизм или уже реализм (или, лучше, по Пушкину: «поэзия действительности», что характерно, потенциально это весьма ироничная конструкция) – на этот вопрос не может быть ответа. Однако лучшим репрезентантом истинно романтической иронии является языковое оформление образа Ленского в пушкинском романе, от начала и почти до конца (почти – потому что конец эмоционально однозначен – трагичен) колеблющееся точно в промежутке одного шага от великого до смешного: «вольнлюбивые мечты» и «кудри черные до плеч» (стих из эпиграммы «На Колосову») как синонимы в перечислительной конструкции, надгробный мадригал Дмитрию Ларину, прокомментированный пушкинской отсылкой к Шекспиру и Стерну, воспетая Ленским хвала физическим и духовным красотам Ольги – с озорной инверсией романтической иерархии ценностей: «<...> как похорошели // У Ольги плечи, что за грудь! // Что за душа!..», наконец, предсмертная элегия, прочтенная «вслух в лирическом жару // Как Дельвиг пьяный на пиру» и проч.

К проблеме креативного смысла арзамасской полемики и текстовой продукции можно добавить и то, что творческому акту по определению должна сопутствовать радость творчества (ср. знаменитый антифразис Пушкина в его письме П.А. Вяземскому около 7 ноября 1825 г.: «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин! ай да сукин сын!»). Разумеется, эта радость находит адек-

ватное воплощение в соответствующем психофизиологическом аффекте (т.е. смехе). Архетипическое представление о природе креативного акта на его сакральном уровне гласит, что материальный мир создан актом божественного смеха (ср. устойчивый атрибут олимпийских богов у Гомера: *асбэстос гэлос* – несгораемый смех, «смех несказанный» в переводе «Одиссеи» Жуковским): «<...> эзотерическое учение о сотворении мира всевышним и зиждительным смехом богов. <...> “Семь раз рассмеялся Бог, и родились семеро охватывающих мир богов. В седьмой раз рассмеялся Он смехом радости, и родилась психе <...>”; “Бог засмеялся, и родились семь богов, которые управляют смертью <...>. Когда Он засмеялся, появился свет <...>. Он засмеялся во второй раз, все стало водой. С третьим раскатом смеха появился Гермес <...>” (Не слышатся ли отзвуки всеильного смеха в шестидневном ветхозаветном рефрене: “И увидел Бог, что это хорошо”?)»¹.

Поскольку человека с божеством роднит именно креативная способность – и это тоже архетипическое представление, глубоко укорененное не только в бессознательном (ср. метафору Жуковского в адрес Пушкина: «Ты создан попасть в боги – вперед! Крылья у души есть, высоты она не побоится, там ее настоящий элемент»²), постольку способность смеяться не может не мыслиться как непременный атрибут креативного сознания. И лучшим доказательством этому является феномен не только хронологической, но и смысловой парности высоких и смеховых текстов («Граф Нулин» и «истинно романтическая» трагедия «Борис Годунов»), а также смеховой элемент в так называемых «серьезных» текстах (и наоборот: высокий пафос, прорывающийся в тексты смеховые («Недоросль» и вообще вся традиция русской высокой комедии, включая вышеупомянутую «истинно-романтическую» трагедию, в которой капитан Маржерет «всё по-матерну бранится»; письмо А.С. Пушкина П.А. Вяземскому, конец октября – начало ноября 1825 г.).

И закончить я хотела бы повтором цитаты из статьи В.Э. Вацуро

¹ Терц Абрам. Два поворота серебряного ключа в «Ревизоре» // В тени Гоголя. München, 2009. С. 64.

² Жуковский В.А. Собрание сочинений: в 4 т. / вступ. ст. И.М. Семенко. М.; Л.: ГИХЛ, 1959–1960. Т. 4. С. 509 (Письмо Жуковского к Пушкину от 1 июня 1824 г.).

«В преддверии пушкинской эпохи»: «Такова перспектива, в которой буффонское литературное общество раскрывает свой подлинный исторический смысл». Только, как представляется, перспектива, намеченная В.Э. Вацуро в этой работе и во многом опирающаяся на соответствующие идеи М.И. Гиллельсона, уходит в историю русской литературы несколько дальше.

В истории русской общественной мысли и политической жизни были, как известно, «декабристы без декабря». Ровно то же самое можно сказать и об истории русской литературы: в ней был «арзамасец без Арзамаса» – если иметь в виду реализацию арзамасской языковой концепции в языке печатно-публичного литературного текста, в языке, отличающемся совершенно невероятной, поистине арзамасской, стилевой изощренностью и амбивалентными перепадами от высокого стиля к просторечию, от диалекта – к профессиональной стилевой норме; если иметь в виду языковой алогизм как средство моделирования алогичного мирообраза; если иметь в виду, наконец, фундаментальное значение категории смеха в этом мирообразе, то, вероятно, можно сделать вывод: таким арзамасцем без «Арзамаса» был Гоголь. Он далеко не случайно приобщился к литературе (а также к памяти об «арзамасском братстве», воскресшей в момент консолидации литературных сил вокруг Пушкина и «Литературной газеты» в борьбе с «торговым направлением») летом 1831 г. в обществе Жуковского и Пушкина в тот самый момент, когда традиции арзамасского вздорноречия дали о себе знать в шуточных гекзаметрах Жуковского, абсолютно закономерно возникших в момент прилива творческого вдохновения обоих поэтов, вдохновения, не только вылившегося в знаменитое «сказочное соревнование», но и возродившего креативный дар Жуковского: именно к 1831 г. относится второй дебют Жуковского после затяжного поэтического кризиса и шестилетнего (1826–1830) периода поэтического молчания.

II. МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ



А.С. Янушкевич
(Томский государственный университет)

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПОВЕСТЬ В.А. ЖУКОВСКОГО «КЛЕРА И ФЕЛИКС»*

В рукописном собрании Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 2. № 40. Л. 1–10 об.) хранится неизвестный в печати текст прозаического сочинения В.А. Жуковского под заглавием «Клера и Феликс» (первоначальный вариант: «Клера и Жермен»). В черновой рукописи всего текста имя главного героя сохранено из первоначального варианта заглавия: «Жермен».

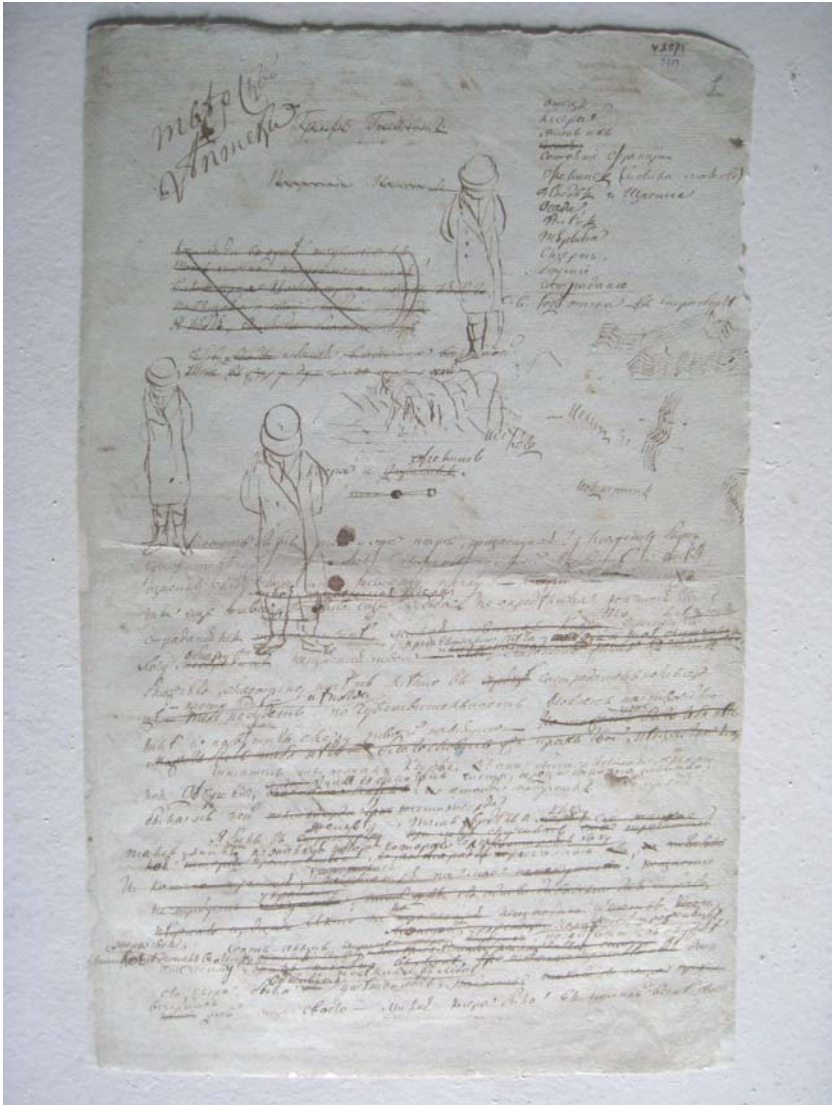
На л. 1 в левом углу наискосок черными чернилами сделана надпись: «Тверской аптеки». Здесь же под заглавием «Граф Глейхен. Рыцарская повесть» записан следующий набросок (квадратными скобками обозначен зачеркнутый текст):

*Кто любви в душе не чувствовал,
Тот конечно не поймет меня!
[-----]
[Посвящаю я свой слабый труд]
[Я люблю, в любви блажен творю]*

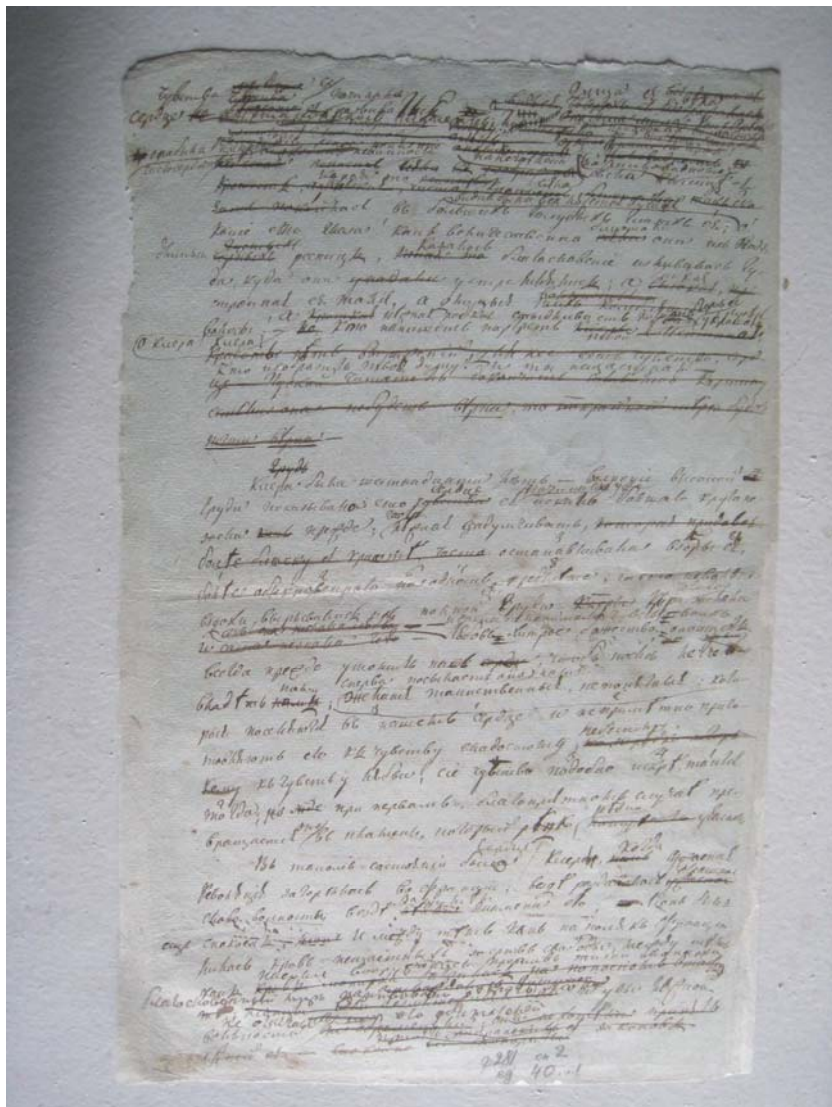
*[Любовь небесная владычица вселенной]
[Тебя в жару души]¹*

* Примеч. ред.: публикуемый текст обнаружен и расшифрован А.С. Янушкевичем. Ученый собирался сопроводить его публикацию статьей под названием «История повести “Клера и Феликс” в творческом наследии В.А. Жуковского». Этот замысел остался неосуществленным, но редакционная коллегия сборника «Жуковский: Исследования и материалы» сочла возможным опубликовать найденный А.С. Янушкевичем текст в сборнике, посвященном памяти трагически погибшего ученого, сопроводив его необходимым комментарием. Фрагмент вступительной заметки к публикации архивного текста, сохранившийся в бумагах А.С. Янушкевича, выделен курсивом.

¹ Любопытно, что в сборнике «Новые пропилеи» (под ред. М.О. Гершензона. Т. 1. М.; Пг., 1928. С. 5–6) опубликован набросок начала поэмы, имеющей заголовок «Граф Гленьен. Книга первая». Никаких сведений об источнике публикации нет.



Титульный лист и первая страница



повести «Клера и Феликс»

В правом углу этого же листа в столбик записан следующий план:

*Отец
Клера
Жизнь их
Состояние Франции
Феликс (могила <матери> его)
Любовь и счастье
Осада
Плен
Тюрьма
Смерть
Безумие
Сострадание*

С.в. Год жизни в Страсбурге

Далее на этом же листе три раза повторен рисунок одной и той же мужской фигуры со склоненной головой и пейзаж, изображающий кладбище, кучу деревьев и надгробный памятник с фигурой скорбящей женщины. Затем в середине листа заголовок: «Клера и Феликс» (зачеркнутый вариант: «Клера и Жермен»).

Вслед за рукописью повести «Клера и Феликс» записан автограф статьи «Истинный герой»; вероятно, эта статья была создана в конце 1799 г. (опубликована: «Утренняя заря». Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1800. Кн. I. С. 160–162 под № XXV, с подписью в конце публикации: «В. Жуковский»). Это позволяет говорить о времени работы над повестью «Клера и Феликс»: приблизительно вторая половина 1799 г.

К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос, является этот текст оригинальным произведением молодого Жуковского или же одним из самых ранних прозаических переводов поэта. Единственное эпистолярное упоминание о первых ранних опытах перевода содержится в письме В.А. Жуковского к матери, Е.Д. Турчаниновой, от 20 ноября 1795 г. из Кексгольма: «Еще скажу Вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем» (РА. 1872. № 12. Стб. 2363), однако

оно не может относиться к тексту повести «Клера и Феликс» по двум причинам: во-первых, это упоминание не согласуется с датой перевода, а во-вторых, судя по сюжету и реалиям, оригинальный источник этого предполагаемого перевода должен был бы быть французским. Однако наличие предварительного плана, набросанного на титульном листе рукописи, и его повтор на л. 5 (см. ниже примечание 2) позволяют предположить, что публикуемый текст является оригинальным сочинением Жуковского: обычно поэт составлял предварительные планы только для своих оригинальных произведений.

Текст повести «Клера и Феликс» печатается по современным нормам орфографии (с заменой характерных для орфографической нормы Жуковского вариативных написаний некоторых слов, например: «щастье – счастье – счастье», «если – естли – есть ли» согласно современным правилам) и пунктуации с сохранением эмфатически насыщенных знаков препинания, принадлежащих Жуковскому. Среди этих последних характерным признаком принадлежности текста определенной стилевой традиции является тире, которыми изобилует рукопись повести. Исключая архаический знак препинания – так называемый «полуабзац» (.-), замененный в публикации абзацным отступом, все тире в рукописи Жуковского, маркирующие ориентацию поэта на пунктуационную норму сентиментальной и предромантической повести Н.М. Карамзина (ср. пунктуацию повести «Остров Борнгольм»), сохранены с незначительной модификацией: периодически встречающиеся в рукописи, в основном в заключительных фразах абзацев, цепочки тире по 4–6 знаков подряд редуцированы до одного.

Поддающиеся прочтению черновые варианты текста, вычеркнутые Жуковским, выделены курсивом и заключены в квадратные скобки. В угловых скобках приводятся немногочисленные редакторские конъектуры – в основном это дополнения сокращенных написаний или пропущенные в слове буквы. Подчеркивания в рукописи Жуковского переданы полужирным курсивом.

Клера и Феликс

Может быть, тебя уже нет, несчастная! Может быть, чувствительный странник <возлежит> на твоей гробнице и посвящает слезу горести твоему праху. –

Если ты еще жива, милая, несчастная Клера, если еще судьба не определила кончиться твоим страданиям, [*то прости меня милая, невинная Клера*], то прости, что хочу перед глазами света [*изобразить*] обнаружить несчастья твои. [*Душа моя слишком*] Сладостно жить в слезах ближнего, сладостно иметь место в сострадательном сердце. – Прости меня. Тебя не будет – но и тогда чувствительность вздохнет на твоей могиле и посвятит слезу твоей памяти. [*Но может быть уже тебя нет, может быть тебя нет*] Благословляю уже прах твой, несчастная Клера.

Читатель, ты не знал Клеры. О! она была любезная, прекрасная девушка, [*сердце*] [*она была ангел*], душа ее была так чиста, сердце было так невинно. Кто бы подумал, что судьба была к ней так [*не-милосердна*] жестокосерда.

Я был в [*Страсбурге*] Женеве. Там видел я Клеру. [*При мне случилась эта трогательная история, трогательное происшествие, я постараюсь пересказать его, читатель*] Там узнал я жалкую историю, которую тебе [*постараюсь*] хочу рассказать. [*И конечно, не смотри на мое искусство!*] Несчастье не требует искусства [*украшения*]. Его одного довольно для образа нежного сердца. А кто не тронется несчастною участью Клеры.

Сент-Альм, честный, добрый старик, поседевший в службе отечеству, вышел в отставку, лишившись жены своей, и жил спокойно в Лионе. [*Шестнадцатилетняя*] Его дочь Клера была единственным утешением [*надеждою тихого его вечера*] вечерних дней отца своего. Милая Клера была в полной весне своей.

Клера была шестнадцати лет – волнение высокой души показывало, что сердце ее начинало уже искать большего круга, нежели прежде, что нежная задумчивость [*которая придавала более блеску ее красоте, часто*] останавливала ее взоры более обыкновенного на одном предмете, часто невинные вздохи вырывались из полной груди. Клера чего-то желала – и сама не понимала чувств своих.

Любовь хитрое божество, оно ищет всегда прежде утомить нас, чтобы после легче владеть нами; сперва посылает оно нам желания

таинственные, непонятные, которые поселяются в нашем сердце и неприятно готовят его к чувству сладостному, небесному, к чувству любви; сие чувство таится тогда подобно искре; но при первом благоприятном случае превращается оно в пламень, который редко [*потухает*] угасает.

В таком состоянии было сердце Клеры, когда ужасная революция загорелась во Франции: везде раздавалось страшное слово: вольность; везде [*веяли*] зашумели знамена его. Лион был еще спокоен. И между тем как на полях Франции лилась кровь несчастных жертв свободы, между тем как [*кровь монарха багрилась на поносном эшафоте*] насилие вооружалось против жизни монархии, благословенный мир царствовал вокруг Лиона и узы вольности не опечалили его обитателей. [*Они не хотели принять тиранских законов*].

Клера и старый отец ее жили спокойно; им казалось невозможным, чтобы ужасная язва возмущения могла достигнуть и поразить [*спокойное*] безмятежное их жилище; страх не посещал их сердца; и жизнь их текла как [*ясное, тихое утро*] ясный, тихий день.

Состояние их было посредственно; но они умели им наслаждаться; маленький, чистый домик в уединеннейшем месте города составлял их убежище. Там старый Сент-Альм провождал спокойно [*часы свои последние*] вечер своей жизни – [*добрые читаемые*] книги-друзья разделяли с ним его время; мог ли он жаловаться на судьбу – он благодарил ее, благодарил с [*горестными слезами*] пламенным сердцем, взирая на свою Клеру, которая с восторгом прижималась к его груди.

Только раз в жизни [*текли слезы*] горечь заставляла его плакать! Тогда, когда он потерял свою Аделаиду, мать Клеры, но разум подавил горечь, и Сент-Альм часто, опираясь на руку своей дочери, ходил на могилу своей [*жены*] супруги, посвятил несколько вздохов, несколько слез ее праху. [*Клера посадила розовый куст над*] Там встречал он часто восходящее солнце, там часто [*провожал*] поклонялся он ему на конце пути его – сии минуты горести и радости были одними из счастливейших в его жизни. – Он смотрел на могилу, на Клеру, на небо.

Утро было ясно [*тихо*]. Солнце во всем блеске своем всходило на восточном [*краю*] горизонте, – тихий ветер веял и прохлаждал атмосферу. Клера и [*отец ее*] Сент-Альм были давно уже на любимом своем месте – на могиле Аделаиды; Клера на коленях поддер-

живала молящегося отца своего, и слезы ее падали на цветущий дерн, покрывавший кости ее матери. Священная торжественная минута! Дух Аделаиды! Ты, конечно, носился над ними, ты, конечно, благословлял седого своего супруга и принял с благодарною улыбкою слезы твоей Клера.

Кончив молитвы свои, старый Сент-Альм сел на могилу, и Клера, играя на гитаре, запела [*милую, унылую*] трогательную песню. Тихий голос ее [*звучал как подобно спокойному источнику*] был так нежен, так выразителен, что едва прерывал он безмолвие, царствовавшее [*среди гробниц*] на кладбище.

Слеза выкатилась из глаз Сент-Альма. И Клера была уже в его объятиях. Старик был [*очень*] весьма тронут, с восхищением смотрел он на дочь свою, которая, стоя на коленях, прижималась к [*грудь его*] его сердцу. Приподняв волосы, [*лежавшие*] которые падали кудрями на глаза ее и закрывали ей лоб, рассматривал он в радостном безмолвии тихую безмятежную невинность, которая царствовала на лице Клера; она улыбалась, и в величественных глазах ее блистала радость, она устремляла их на отца ее [*блистающих светом благодарности. Старый Сент-Альм, как был он счастлив!*]. Грудь ее подымалась высоко, сердце ее билось – все молчало вокруг них.

Счастливая блаженная минута!

Клера (*[встав]* с невольною горестью). Для чего нет ее с нами?

С<ент->Альм (*[встав]* с жаром). Она с нами, она с нами! Она видит нас и благословляет. – Посмотри на это чистое небо – она там.

Клера. Но не с нами!

С<ент->Альм. Клера, не возмущай радостных минут сих! Ее нет! так угодно судьбе (смотрит выразительно на небо), так угодно судьбе, и я не ропщу. – Посвятим минуты сии сладким о ней воспоминаниям. – Она не посреди нас, но в сердцах наших. (Со вздохом). Как тень пролетело время, в которое она доставляла радость моей жизни; оно никогда не возвратится – никогда! Но воспоминание о нем всегда со мною! – Ты не можешь ее помнить; – ты была еще мала, когда я принял последний вздох твоей матери. – Ты еще не умела плакать, когда она нас оставила! – и навсегда. –

Молчание.

Последние минуты ее были спокойны [*блаженны*]. Сладостно она смотрела на заходящее солнце и с торжественною трогательностью прощалась с натурой. Как все было тихо вокруг. Глаза ее

были полны слез; она наклонилась на плечо мое и прижала тебя к груди своей; ты улыбалась, обхватив маленькими руками шею твоей матери. Она благословила тебя. Сердце мое разрывалось от горести. –

Обтирает слезы, [*текущие из глаз его*], и Клера прижимает руку его к сердцу.

О Клера! Клера! – она умерла [*или лучше сказать*], заснула на груди моей – я чувствовал, как сердце ее мало-помалу переставало биться [*ее не стало, но улыбка долго не потухала на губах ее*], как она хладела – как жизнь ее потухала. [*Я не мог плакать*] – Она умерла. [*Я протянул*] [*поднял к ней руки*]. Я долго не мог плакать – но вид твой, невинность, с какою ты ласкалась к мертвой своей матери, вывели и меня из бесчувствия, слезы покатались из глаз моих. [*Я хотел жить для тебя*] Ты возвратила меня к жизни.

(Молчание. – Клера бросается на шею отца своего).

Ее нет. – Мы никогда, нигде не встретимся на земле сей – но есть чистое, ясное небо! [*Оно*] Я смотрю на него, и надежда льется в мое сердце! – Там предел [*жизни*] и [*всех*] наших страданий.

Старик стал на колена и поднял дрожащие свои руки [*к небу*]. Глаза его устремились с чистою надеждою к небу. Он молился. Клера соединила с ним свои молитвы. – Небо было ясно. Прохлада дышала. Вздохи молящихся восходили к престолу высшего.

[*Солнце было высоко, мир заступал место прохлады*] Солнце село. [*Луна заступила его место*] [*Его лучи кротко позлащали верхи могил – все было тихо*]. [*Спокойный*] Безмолвный вечер заступил место дня. [*Тишина царствовала всюду – Часы безмолвной ночи благоприятны для горестных, благоприятны для излияния чувств сердечных*]. В безмолвии сидели Клера и отец ее на могиле [*своей матери*]. Луна уединенно сияла на [*мрачном*] чистом небе [*лучи ее слабо освещали*] и изливала слабый свет на [*окружающие их предметы*] вершины спокойных могил, а лучи ее отражались в окнах старой часовни, заросшей крапивою и мохом – все молчало. И длинные тени [*старых*] колонн продолжались на стенах. Чувства их были настроены к [*сладостному унынию*] некоторой тихой горести; они находили [*некоторую*] приятность в унылости, которая их окружала.

Сладостные воспоминания пролетали в памяти старого Сент-Альма и представляли ему счастье многих блаженных часов прошедшего. – Клера смотрела на луну и чувствовала что-то неизъяс-

нимое в душе своей; в глазах ее блистали слезы; тихий ветерок дышал ей в лицо и развевал длинные ее волосы. [*Часы безмолвной ночи благоприятны для слез и радости; благоприятны для излияния чувств сердечных!*]

Вдруг новое зрелище обратило на себя их внимание. – Молодой человек [*в черном кафтане*] [*одетый в черное*] в глубоком трауре пробирался около стен часовни. Луна светила прямо в лицо его; оно было приятно; но отчаяние изображалось во всех чертах его – он шел скоро и часто оглядывался назад, как будто чего опасался [*как будто удержан ужасом*] – он приблизился к одной могиле и остановился с ужасом [*бросился на колена*]; рыдания его прервали тишину ночи, они были ужасны; какая-то дикость слышалась в его вздохах! – Боже, боже! – закричал он вдруг страшным голосом и <ударился об могилу>. «Помилуй, помилуй [*я не могу более*]», – тут поднялся он на колена, пистолет блеснул в руке его.

Быстрее молнии бросилась Клера и [*схватила*] удержала руку, [*готовую*] готовившуюся совершить преступление. – «Несчастный, – сказала она нежным, умоляющим голосом, – что хочешь ты сделать!» – Незнакомец содрогнулся; гармония сего голоса потрясла его душу. Он оборотился. Клера стояла перед ним как белый небесный ангел и с нежным участием держала его [*за*] руки. [*Он поцел ее благотворным духом*] Белое платье ее струилось на высокой талии. Молодой несчастливец [*глядел*] смотрел на нее с удивлением; [*в черных глазах его блеснули слезы*] черные глаза его блестели; [*горькая*] унылая улыбка появилась на губах его. [*Безм<олвно>*] Не говоря ни слова, показал он на могилу и прижал руку Клеры к своему сердцу. Щеки ее запылали, сердце ее не билось – и пистолет упал из рук незнакомца.

[*Зачем лишать меня последней надежды? – сказал он с глубоким вздохом, который отдался в сердце Клеры. Здесь мне оставалась одна смерть – и ее у меня отнимают!*]

«*Что хочешь ты сделать?*» – сказал Сент-Альм, который тогда подошел.]

Всемощная, благодетельная сила любви! Чудесная гармония сердец, созданных друг для друга! Голос Клеры, как электрическая [*сила*] искра потряс сердце несчастного. Он увидел ее, и в одну минуту успокоилось отчаяние, кипевшее в груди его; [*химеры*] привидения бедствий развеялись как туман пред небесным образом Кле-

ры. В первый раз чувствовала милая невинная девушка такое сильное волнение в душе своей. Она потупила глаза свои; непорочная стыдливость сияла на щеках ее; и выше обыкновенного подымалась косынка на ее груди. Блаженная минута! Сердца двух чувствительных творений [*почувствовали друг друга, и союз их заключен!*] узнали друг друга и заключили союз свой; в глазах несчастных блеснула отрада; взоры Клеры устремились на отца ее.

Читатель! Ты хочешь знать, кто сей незнакомец? Ты узнаешь его, и если сердце твое чувствительно, если ты нежный сын, то ты полюбишь несчастного и его оправдаешь. – Он назывался Жермен, отец его был старый лионский дворянин; состояние его было [*бедное и он едва*] порядочное, и он спокойно жил в Лионе со своим семейством [*своею женою и сыном*]. Дела отозвали его в Париж; он оставил жену свою, которой здоровье было слабо, на руках [*своего*] ее сына.

Молодой Жермен имел нежное, чувствительное сердце, [*чувства*] душа его была открыта для всего доброго и благородного. [*В глазах его и на лице его изображалась вся душа его*] Добродушие, откровенность изображались на лице его.

Революция возмутила Францию, неистовые проповедники вольности распространили убийство [*во всем государстве*] на полях ее. Старый Жермен был тогда в Париже. Седые волосы не защитили его [*от погибели*] от ужасного жребия тысячей, от смерти. [*Убийственное железо*] Убийственная [*железо*] секира свободы пресекла дни его – он умер на эшафоте. Слишком силен был удар для сердца старой, немощной [*матери Жермена*] супруги его; дни ее [*уже*] и так клонились к концу своему; но судьба определила бедствиям затмить над нею лучи их, и [*горесть*] ужасная кончина [*старца*] супруга [*сразила ее смертью*] поразила ее ужасом. Она умерла в объятиях своего сына! – Умерла с слезою упрека против поражающей судьбы. Благодарить ли нам природу за чувствительность, благодарить ли ее за сердце, в котором мы носим все свои несчастья, благодарить ли за жизнь, в которой горести не дают нам [*чувствовать*] наслаждаться радостями.

Природа! Природа! Я не обвиняю тебя – но слезы мои льются и сердце мое раздирается! – Сего довольно [*обвинения*]!

[*Сердце*] Душа Жермена была чувствительна! И сего много было для тогдашнего его положения. [*Ужасная пустота*] Все показалось

ему пусто, уединенно, когда, вышед из первого бесчувствия горести, [оглянувшись] посмотрел он вокруг себя и не увидел ни одного сердца, которое бы разделило тоску его.

Он не имел ни родных, ни друзей. Он любил мать свою более всего на свете, и с ее смертью умерло для него все. [*Он не имел родных, ах!*] Кто был в таком положении, тот, конечно, меня понимает. Жить одному, одному в просторном [*свете*] мире, не имея никакой сладостной надежды в будущем, не имея пищи для души своей. [*Жермен не любил еще*] Ах, скажите, кто не захочет лучше умереть! [*чем влачить жизнь в холодном*] Сердце Жермена было сотворено [*чувственным*] пламенным; оно не могло сносить холодных цепей бесчувствия. Жермен не любил еще. – «Умереть!» – раздалось в душе его. [*Горесть закрыла глаза его, повлекла его на гроб матери с ужасным*] Горесть вооружила руку его убийственным оружием. Сострадание и любовь победили горесть, и бальзам отрады пробежал в грудь несчастного. Фантомы отчаяния [*исчезли*] улетели.

«Ты будешь сын мой», – сказал старик Сент-Альм, как скоро молодой несчастливец рассказал ему горестную судьбу свою. [*Я буду отцом твоим. Клера будет твоей сестрой*] Тут Жермен посмотрел на Клеру. Глаза его заблестали. [*Стыдливость*] Щеки молодой девушки вспыхнули. «Она будет сестра твоя». [*Тут оба вздохнули*] Невольный вздох вырвался из груди обоих. Глаза их встретились и опустились опять. Клера пожала руку отца своего; молодой человек [*со слезами бросился на грудь*] с трогательною благодарностью обнял старика. Радость показалась на [*щеках старика*] лице Сент-Альма. Он взглянул на дочь и взор его благословлял пламень ее поцелуя и понял ее.

[*Он взглянул к небу, и взор его наполнился благословением. «Аделаида! Аделаида! благослови; это мои дети! – Молодой человек! ты добрый был сын, ты будешь добрым другом! – Клера!» – Невинная девушка поняла слова отца своего и <лежала> уже на груди его; щеки ее горели; Жермен едва дышал и смотрел на небо. – «Дети мои, – продолжал старик. – Посреди гробниц, в молчании ночи, в часы горести и несчастья встретились сердца ваши – благословляю вас. Тени вам любезных носятся над вами; над могилами, скрывающими прах вам драгоценный, освящаю я союз ваш».*]

Сцена жизни переменилась для Жермена; горесть успокоилась в его сердце, уступив место кроткому унынию. Но душа его стала живее, чувства его стали пламеннее. Он любил и был любим.]

С торжественным видом встал он с своего места и положил свои руки на головы любящих. – «Дети мои, – сказал он, и что-то божественное блеснуло в глазах его. – Посреди молчания гробниц, в тишине ночи, в минуты горести и несчастья встретились сердца ваши. [благословляю вас] Союз ваш заключен – благословляю вас – (С<ент->Альм трепещет) Аделаида, Аделаида, благослови их и ты. – Клера была уже в его объятиях; Жермен лежал уже у ног его и едва дышал. [Стыдливость играла на щеках Клеры] Счастливая, небесная минута! [Первый поцелуй любви слил вместе пламенные их души, и я закончил, я бросаю перо.]

[Судьба.]

Судьба! Судьба! [Что ты такое? Есть ли ты слепой тиран, который] Ты либо сама повинешься неукротимому стремлению вечных за<ко>нов и, вздыхая, расторгаешь крепкие союзы сердец и природы, либо ты не иное что, как жестокосердый самовластный тиран, который слепо [трясет] сыплет жребий из врученного ему небом сосуда на бедных смертных и не внимает их стонам. – Что бы ты ни была, упреки мои справедливы; вздохи мои не тебя обвиняют – но я один, я один в мире, и если удары твои и поразят меня, то я паду, и никто не пострадает моим падением, и ничья, ничья слеза не упадет на прах мой; но зачем, зачем преследовать счастливых в недрах их блаженства и зачем исторгать их из объятий восторга, чтобы сильнее дать почувствовать тяжесть [несчастья] бедствия, потерю радостей; зачем разлучать любящих? – О судьба! [кто может быть] если [законы] определения твои премудры; то для чего текут слезы, для чего раздаются вздохи [тебя сопровождают] под солнцем? [Но, бедные страдальцы мира, утешьтесь; есть конец слезам вашим – радости, горести – все пролетит, и самая жизнь, и самая жизнь.]

О! Как сладостно, как блаженно состояние любящего¹. Сердце его всегда, всегда полно пламенем; с каким восхищением смотрит он на божественный образ любезной, с какою жадностью ловит каждый взор ее, каждый тон величественного ее голоса. А когда рука

его [встретится] коснется нежной руки ее, когда свежее дыхание [освежит] [коснется] ее [пролетит] по горящим щекам его, когда взгляд [устремленный на него] ее встретится с его взглядом. О тогда! Какой тонкий эфирный огонь потрясает его душу, чувства, сердце; он <выходит> из себя и готов упасть к ногам ее, готов умереть у ног ее.

[*Сцена жизни переменилась для Жермена!*]

Жермен имел нежное сердце, не мог [быть хладнокровным] видеть Клеры и быть хладнокровным. – Милая девушка [не могла не почув<ствовать>] смотрела с тайною сладостью на прекрасного юношу, которого открытое, ясное лицо говорило так ее сердцу. – Молодой человек забывал себя, когда был с Клерой. Грудь Клеры подымалась высоко; щеки Клеры пылали, когда любезный юноша держал ее за руку и с трогательною выразительностью смотрел в голубые, величественные глаза ее. – О! как быстро и как спокойно текло для них время, казалось, небесная ясность их окружала. – Сердца их были [погружены в кроткое забвение, чувства их были] так радостны, так чисты, чувства их были соединены такую гармонию. – Ах! Кто изобразит блаженство любви!

[*Сент-Альм приметил зародыш любви в колеблющейся груди Клеры.*]

Под чистым [нежным] голубым небом сидел старик с своею дочерью на могиле своей супруги; Жермен стоял у гроба своей матери и смотрел на Клеру. – Солнце заходило [на западном небе], последние лучи его [позлащали] ударялись в шпиг ветхой часовни – все было спокойно. – Жермен подошел к Клере – их сердца забились, неизвестное, сильное чувство поколебало их. – Пламенный юноша, забыв себя, схватил руку любезной и приложил к горячему своему сердцу; Клера прижалась к отцу своему. – Он почувствовал сильное колебание ее груди, почувствовал пла<мень>.

[*Революция, которая подобно туче шумела над всей Францией, победила*]

[*Узы супружества скоро соединили их*]

Кто изобразит восторг награжденной любви! [Сердца тогда так] Чувства тогда так сильны, сердце так чувствительно, душа настроена так [нежно] гармонично; все окружающее кажется веселящимся. – О любовь! любовь! Ты, ты одно божество, которому поклоняться должно; ты в виде верховного мироправителя [водишь]

содержишь [мир] вселенную. Ты в виде добродетели воспламеняешь [сердца] наши чувства. – [Я обожаю тебя] Ты дала мне сердце. Ты изобразила свой образ в пламенной душе людей. Благословляю тебя, божество мира.

Клера, Жермен! Какая кроткая, спокойная радость одушевляла их. Она дышала неизъяснимо <блаженною> тишиною. Картины счастливой будущности представлялись их фантазии, и каждая минута была новою связью сердец их – чувствительный юноша часто вздыхал на гробе своей матери, но вздохи его были не иное что, как излияние радостного сердца, в котором возобновлялось воспоминание прошедшего – часто любезная Клера ходила на то место, где в первый раз увидела она Жермена, где в первый раз [образ] вид отчаянного юноши [навсегда представился] изобразился в душе ее и навсегда, навсегда в ней остался. Она представляла себе его стоящего на коленях [с пистолетом у врат свободы], прижимающего руку к своему сердцу и с <беспредельною горестью> [устремляющего] [черные блистающие глаза свои] смотрящего на нее черными огненными своими глазами. Душа ее наполнялась [восторгом] сладостными чувствами. – Через несколько времени [надлежало] узам брака надлежало соединить их. – Но – кто поймет, кто поймет таинственную судьбу².

Революция, которая подобно туче шумела над полями Франции, еще не достигла Лиона, в стенах его [было спокойно] обитало спокойствие; – но оно продолжалось недолго. Необузданные патриоты, которые убийственными кинжалами [свободы и убийства] хотели с оружием в руках принуждать всех быть свободными, хотели распространить вольность в своем отечестве, <нрзб.> послали сильную армию к стенам Лиона. Молва и страх бежали перед ними и достигли туда скорее. Тревога возмутила город; все бросились к старому своему оружию, чтобы [кровью своей смутить] умереть [с оружием в руках] защищаясь или победить. Отцы благословляли [чад своих] сынов своих и умоляли защитить беспомощную слабость их от ярости злодеев. Матери обнимали сынов своих и – не могли выпустить их из своих объятий; они забывали собственную опасность и страшились только опасности своих чад. – Супруги обнимали супругов безмолвно, с полными слез глазами смотрели на любезных, которые за них посвящали себя смерти, подносили им своих младенцев, которые, улыбаясь, протягивали руки к отцам своим. – Мужество бли-

стало в глазах юношей, сынов, супругов, с яростью смотрели они на веюющие в дали неприятельские знамена, на крутящуюся пыль. Сердце их билось, они чаяли себя непобедимыми: за собою оставляли они все им любезное – весь город был в движении; по всем улицам толпилось войско, по всем улицам слышен был стук перевозимых пушек, везде бегали офицеры и <располагали каждый по своему пехоту>. – А Клера? А Жермен? – Возвратимся к ним.

Как гром поразила их сия ужасная, неожиданная весть. Надежда, которая льстила им таким счастьем, превратилась в прах. Горесть их была неизъяснима. Если представить себе странника, которого корабль приближался к [*берегам*] желанной пристани, которого взор открывал уже сияющие в дали берега отечества, которого сердце, исполненное радостной надежды, летело в сретение любезным и который вдруг грозным валом брошен на отдаленный неизвестный брег, то мы будем иметь некоторое понятие о состоянии сих [*двух*] несчастных. – С неизъяснимым ужасом [*бросилась*] лежала Клера на груди своего [*Жермена*] любезного. «Не оставляй меня, не оставляй меня! – кричала она [*горестным*] жалостным, раздирающим сердце голосом, – или я умру с отчаяния». – Жермен горестно смотрел на плачущую [*Клеру*], и слезы катились по щекам его; он слышал стук оружия, видел войско, идущее защищать стены, и несколько раз покушался [*оставить*] вырваться из объятий нежной Клеры, но сердце удерживало его крепкими цепями на месте, он не мог отойти; один взгляд на отчаянную, несчастную лишал его силы удалиться. – Тут взошел Сент-Альм; в руке его была [*старая заржавевшая*] шпага; образ отчаянной Клеры остановил его, но он собрался с духом и подошел к Жермену. – «Возьми, сын мой, – сказал он твердым [*но нежным*] голосом, – возьми ее; этой шпагой я служил своему государю, с нею защищал свое отечество. Ах, никогда не думал я, что она будет некогда обагрена против сынов своих, но возьми ее; я не могу сам владеть ею, рука моя слаба, голова моя покрыта седыми волосами. Поди, сын мой, на валу ожидает тебя смерть или свобода». – Тут горячо обнял старик юношу, который [*с почтением*] <в безмолвии> [*стал на колена*] стоял перед ним [*и принял из рук его*]; он подал ему шпагу и благословил его. «Прости, отец мой, прости, Клера», – сказал Жермен прерывающимся голосом.

Несчастная лежала без памяти на руках его. [*Прости, Клера*] «Простите!» Слезы его катились градом. [*«Я надеюсь, что конечно,*

конечно не разлучит] «Судьба, конечно, не разлучит нас. Но если меня не будет, если я найду смерть, защищая вас, то, любезная, есть небо – мы увидимся». – С пламенной горестью прижал он бедную [девушку] к своему сердцу и тихо положил ее на руки ее отца. В последний раз устремил он на нее умирающие глаза свои и с растерзанным сердцем побежал туда, куда долг призывал его.

[Как] Тягостна, [как] несносна разлука [для двух сердец, соединенных любовью] сердец, сопряженных любовью. Тогда все пусто, [ничто не веселит сердце, все неприятно], все уныло без милого предмета души нашей [которая вмещает в себе всю вселенную]. Тогда одна пламенная фантазия беседует с нами и представляет блестящими красками прошедшие радости [будущее и блаженство свидания]. Тогда мучительное, тягостное беспокойство неразлучно с нами; оно заставляет трепетать сердце при малейшей мысли о опасности нам любезных; оно рвет его и извлекает слезы из глаз наших.

Казалось, на железных крыльях летели часы для печальной Клеры после разлуки ее с Жерменом; с неизъяснимым беспокойством смотрела она в окно, казалось, [читала] хотела в глазах проходящих открыть нечто [для себя] приносящее отраду ее сердцу; но на всех лицах написан<a> был<a> [ужас] горесть.

[Ужас ее] Невозможно описать ее ужаса, когда она увидела бегущие по улицам толпы народа и услышала страшную весть: «Неприятель подступает!» Обессилев и побледнев, оперлась она на плечо [отца своего] стоявшего подле нее Сент-Альма; сердце ее едва билось [отчаянная горесть изобразилась в глазах ее]. Вдруг раздался глухой отдаленный звук пушки, последний луч надежды угас в ее сердце; [один] страх заступил место надежды.

Ночь наступила. [Гром] Пушки гремели, небо рделось [от пожаров]. Клера трепетала и томилась. [Каждый удар пушки] Ужасная, ужасная ночь. – Утро блеском своим озарило [разрушение] взятие Лиона. [После ужасного кровопролития наступила глубокая мертвая тишина. Несчастные защитники города получили в удел цепи и заключение]

С гордостью победителей, с распущенными знаменами вступили патриоты в город, и несчастные защитники Лиона получили в удел цепи и заключение. После <яростного> кровопролития настала ужасная мертвая тишина; молчание царствовало на пустых улицах; никто не показывался в окнах домов; [Казалось все чувствовали На

площади и перекрестках показывались] и только нередко появлялись толпы национальной гвардии.

Бедная Клера! Сердце ее разрывалось! – Участь Жермена была покрыта мрачною неизвестностью. Никто, никто не мог уведомить ее [*об нем*] о любезном. Томные взоры ее устремлялись на Сент-Альма. Они, казалось, умоляли его открыть судьбу [*несчастливого*] бедного юноши – но он молчал, и Клера с упреком смотрела на небо!

Жермен был вместе с прочими патриотами взят и брошен в тюрьму; тщетно хотел он вооружиться твердостью; воспоминание, образ несчастной, отчаянной Клеры извлекали [*вздохи*] жалобы из его сердца – смерть в сию минуту казалась ему ужасною. – [*Для любящего нет утешения!*] Надобно любить и любя лишиться всех радостей, питавших любовь и [*наше*] сердце после, чтобы почувствовать состояние бедного Жермена. – [*Я его чувствую, и оно ужасно.*]

Медленно [*пробежали*] прошли два [*ужасных*] несносных дня; сердце Клеры не получило никакой отрады – в третий... Она сидела с отцом своим, и старый тщетно утешал [*несчастную*] ее [*и слезы катились из глаз ее*]; немая горесть изображалась в ее глазах. Вдруг растворилась дверь, и несколько человек национальной гвардии вошли в горницу. «Гражданин и ты гражданка!» – сказал один из них [*обратясь к Сент-Альму*]. – От имени республики вы мои арестанты, следуйте за мною!» – Клера закричала и бросилась на руки отца своего. Сент-Альм встал спокойно с своего места и величественно посмотрел на пришедших. – «Что сделал я?» – спросил он. – «Ты неприятель отечества, и оно тебя осуждает». – «Я всегда был его сыном, и я иду; отечество имеет власть располагать мною – я служил ему и своею кровью запечатлел [*любовь*] ему свою верность; я радуюсь, что может быть на краю гроба буду ему полезен».

Он пошел. [*ведя*] Полумертвая Клера лежала в его объятиях и едва могла идти. – Сожаление изображалось в глазах всякого, кто видел старика, видел его седые волосы и нежную, плачущую дочь на руках его – одно лицо его было ясно. [*Он обтирал слезы*].

Главною причиною заключения Сент-Альма была ненависть одного из комиссаров республики, который прежде был его слугою и после выгнан был из его дома за [*свое дурное поведение*] свои шалости. Революция открылась, и все приняло новый вид, и сей негодяй так, как и многие подобно ему, скоро вышел из низкого своего со-

стояния и наконец каким-то случаем попал в комиссары республики; он был отряжен в Лион при случае похода республиканцев, чтобы взять начальство над сим городом. Тут [встретил] нашел он Сент-Альма, и мщение пробудилось в его сердце. Он решил воспользоваться своею властью, чтобы произвести это в действие. – Самый малейший предлог послужил ему; Сент-Альм жил уединенно, и сего довольно, чтобы сделать его подозрительным; национальная гвардия нашла в доме его оружие. После революции запрещено было держать у себя дома оружие – и сего много, чтобы его обвинить. Он был взят, и бедная Клера последовала за ним в тюрьму.

Ужасная картина представилась взорам Сент-Альма, когда он вошел в [тюрьму] темницу. При свете бледной лампы он содрогнулся, когда осмотрел предметы, окружавшие его. – Сердце его поневоле облилось кровью. Он надеялся кончить [счастливо] в тишине последние годы своей жизни, <надеясь> лечь спокойно в могилу и по смерти долго жить в слезах нежной чувствительной Клеры. – [Тщетная надежда] Надежда была сладостна! Но одно мановение судьбы, и седая голова старца [должна] преклонилась под тяжким бременем горести. – А Клера, а эта роза, которая только начала распускаться, неужели должна она увянуть? – Я не хочу упрекать судьбу.

В унылом безмолвии поглядела Клера вокруг себя. Колеблющийся огонь лампы едва мелькал посреди сводов; [туманный] тусклый свет ее, [который едва от сгущенного] теряясь, так сказать, в густом воздухе, [едва] изливал [тусклую] туманную ясность [в горнице] и едва отражался на позеленевших от сырости стенах. – Взоры Клеры чего-то искали – она искала Жермена; вдруг она вспыхнула; из толпы несчастных, которые лежали на соломе и сохраняли унылое, мрачное молчание, поднялся один и – это был Жермен.

[Клера закричала и бросилась к нему на руки].

Клера затрепетала, когда он, загремев цепями, бросился к ней и прижал ее к своему сердцу. [Но слезы благоворили. Слезы облегчили ее сердце.] Слезы полились из глаз ее. [Луч отрады просиял во взоре Сент-Альма, когда он увидел юношу]. Я не осмеливаюсь изобразить сей [минуты] картины.

Есть радости и в самом страдании, радости, которых жестокая судьба лишить нас не может, для которых мать-природа одарила нас

сердцами. Клера увидела Жермена и позабыла [свое несчастье] свою горечь. [Слезы ее не текли более] [Слезы перестали литься из глаз ее, вздохи остановились. Она не упрекала Она благословила небо за сохранение любезного. Спокойно засыпала она на соломе и тягостные мысли заботы не возмущала ее снов]

Жермен не чувствовал тяжести цепей своих, забывал грозную, ужасную будущность, которая его ожидала. – Он прижимал Клеру к своему сердцу; любовь самую темницу превращает в великолепный храм. – [Сам старик Сент-Альм чувствовал отраду в душе своей. Вид отчаянной Клеры более не возмущал его сердца. Он наслаждался утешался ее счастьем и был спокойнее].

Но судьба не утомилась их преследовать; ужасный день приближался, в кото<ры>й надлежало им допить до дна горькую ее чашу – день вечной разлуки. [Жермен напрасно они были так спокойны они ничего не ожидали новых несчастий, новой горести стал забывать, что на свете есть несчастья]

Жермен был преступник; он осмелился поднять руку против отечества, против республики, и ужасный лионский трибунал осудил его на смерть – на смерть! Несколько раз [ходил он] был он представлен пред кровавое судилище и наконец услышал ужасный приговор свой – с спокойным лицом возвратился он к ожидающей Клере, которой трепещущее сердце замирало от ужаса,. Она успокоилась, она не подозревала ничего и читала надежду в глазах Жермена. Но [сердце его разрывалось] душа его страдала, когда он прижимал ее к груди своей. Наступающее утро должно было озарить казнь его*.

Какая ночь! какая ночь для несчастного Жермена! [Молчание] Сон бежал от глаз его, сердце его сильно билось. – Молчание смерти царствовало в темнице, [огонь] бледный огонь лампы угасал. [Все спало.] Все было погружено в сон. – Он смотрел на Клеру, которая, [спокойно] лежа на соломе, спала крепким сном. – Огонь лампы ударял ей прямо в лицо. – [Она казалось] Оно было так спокойно. [Дыханье ее было тихо] Она дышала так свободно, грудь ее [свободно] волновалась так тихо; казалось, сладкий сон увлекал ее – она улыбалась. – Голова ее [лежала] покоилась на левой руке, правая лежала на [груди] ее сердце; длинные волосы рассыпаны были на плечах и совершенно открывали лоб ее. Она была так прекрасна! –

* Только не на гильотине – в Лионе расстреливали преступников.

Бедный Жермен смотрел на нее – с неизъяснимою горестью рассматривал он прелести, которых должен был лишиться с наступающим утром. О! кто изобразит его чувства. – День блеснул в узкое окно тюрьмы, мрак побледнел, и сердце Жермена затрепетало сильнее.

Роковой час приближался. – Вдали загремели железные запоры дверей. [*Ключи зазвенели*]. Жермен разбудил Сент-Альма, который спокойно спал подле своей дочери. «Отец мой, – сказал он ему, и глаза его заблестели, – простимся – слышишь ли стук сей – они идут, они идут взять меня – вчера, перед судилищем крови я услышал приговор свой, час наступил – благослови меня».

Он бросился на колена. Старик трепетал и не мог выговорить ни слова; наконец он прижал юношу к своему сердцу. «Пускай небо благословит тебя, – сказал он [*посмотрев на небо*], подняв глаза вверх. – Я могу только плакать!» – Тут взглянул он на Клеру. «А эта несчастная!» – [*Слезы*] Рыдания помешали ему говорить.

«Ах! эта несчастная! – закричал Жермен. – Эта несчастная! Не оставь ее, когда не будет Жермена! О, я не ожидал, чтобы так рушились сладостные мои надежды». – Он закрыл лицо обеими руками и прислонился к [*стене*] колонне. Тут растворилась дверь, и несколько солдат вошло в тюрьму. – Жермен вздрогнул и быстро взглянул на пришедших. [*«Я готов», – сказал он, помолчав несколько времени*] «Я готов», – сказал он твердым голосом. Взоры его обратились на Клеру. – Она спала так спокойно. – Он подошел к ней [*и долго неподвижно смотрел он на спящую*] и слезы его полились градом; он стал на колена, схватил [*руку несчастной Клеры*] ее руку и прижал ее к своему сердцу. Несчастная проснулась. – Вопрошающие взоры ее устремились на Жермена. Она увидела тюремщика, скидывающего с него цепи, и сердце ее отгадало то, что происходило. Она вскочила и с пронзительным криком обхватила обеими руками Жермена. Но чувства ее оставили. Она [*без чувств*] без дыхания упала к нему на руки. [*Долго смотрел он на нее; он посадил ее на каменную скамью и с выразительною трогательностью прижался*] Припав головою к плечу несчастной, смотрел отчаянный юноша на свою любезную; взоры его были неподвижны. Вдруг он решился; приподняв тихо, положил он ее на руки Сент-Альма. [*Обняв ее горячо*] Закрыв лицо руками [*и еще раз обняв Клеру*], он бросился из тюрьмы навстречу ожидавшей его смерти³.

[Через несколько минут несчастная пришла в себя и затрепетала, увидев себя на руках отца своего. Осмотревшись вокруг себя и не увидев Жермена, с ужасом вырвалась она из объятий старика и бросилась к дверям тюрьмы. Они были заперты. Бедный отец ее подошел к ней; она подбежала к нему, обняла его обеими руками и бросилась к нему на руки. «Батюшка! Батюшка! – кричала она жалким, трогательным голосом. – Скажи, где он? Поведи меня к нему, поведи меня к нему, если не хочешь, чтобы я умерла на глазах твоих. Они его убьют, убьют]

Через полчаса несчастная открыла глаза, осмотрелась вокруг себя и затрепетала, не увидев Жермена. «Где он? – говорила она [молящим] отчаянным голосом, схватив сильно руку отца своего. – Батюшка! Батюшка! Скажи мне, где он? – Ты плачешь. – Ах! отведи меня к нему, они убьют его, убьют, если нам не поспешить ему на помощь. – [Я брошусь к нему на руки] Мои слезы смягчат их, они сжальются и пощадят его. – Ах! он им ничего не сделал.

Старик молчал и с горестью прижимал бедную дочь к своему сердцу. – Седые волосы его, казалось, упрекали судьбу.

Вдруг раздался выстрел. Стены тюрьмы затряслись. «Ах, Боже!» – закричала Клера и без чувств повисла на руках отца своего; конвульсии сжали ее нервы. – Старик сам трепетал; он тихо положил Клери на пол и облокотился на колонну, закрыв лицо обеими руками. – Слезы его лились градом.

[Тут растворилась дверь и молодой человек]

Удар был слишком силен для страдающего сердца Клери. Но то был последний, которым судьба ее поразила; благодетельная природа поспешила на помощь несчастной и лишила ее возможности чувствовать всю живость своих бедствий. Клера лишилась ума.

Состояние старого Сент-Альма было ужасно. [Он смотрел на Клери] Образ несчастной дочери, которая погрузилась в унылое безумие, разрывал его сердце; он не смел желать смерти. Железные цепи судьбы приковывали его к жизни, казавшейся на краю гроба, и не пускали его лечь в отверстую пред ним могилу.

[Оставить Клери в таком ужасном положении] [Он не мог покинуть Клери в таком положении] [Бедный старик и жизнь и смерть почитал] [Для несчастного старца и жизнь и смерть были равно ужасны. Клера не страдала. Клера, сия бедная жертва несчастий]

Пробежим сии сцены горести и страдания. – Скоро обстоятельства переменились. Гонитель несчастного Сент-Альма сам скоро упал с высокой степени, на которую взошел он преступлением. Эшафот был уделом бесчеловечного.

Молодой Дюваль, юноша, которого сердце было создано добродетельным, пламенным, заступил его место, и невинность получила свободу; Сент-Альм, благословляя добродетельного юношу, вышел из тюрьмы. И несчастная Клера, не чувствуя ни радости, ни горести, возвратилась в прежнее свое жилище, сцену радостей и блаженства, которыми она наслаждалась с Жерменом. – Но Жермена не было; все было пусто, уединенно.

[*Безмолвно облокотясь на окно сидела Клера обыкновенно*]

Состояние Клеры было состояние смерти; она не страдала; хладное бесчувствие [*поселилось*] витало в ее сердце. – Обыкновенно сидела она в углу горницы и не говорила ни слова. – Бедный отец смотрел на нее и плакал. – Иногда в минуту облегчения, [*увидев*] взглянув на слезы его, подходила она к нему и обнимала его с сердечным унынием. «Отчего ты плачешь? – говорила она несчастным голосом. – Милый мой, не плачь!» Тут прижимала лицо свое к его лицу, и слезы наворачивались опять на глазах его. – Но она скоро удалялась от него и садилась на свое место. – Такое состояние было несносно для [*старого*] бедного Сент-Альма; он думал, что воспоминания, места, окружающие их, увеличивают болезнь его дочери, и решился оставить Лион и удалиться в какое-нибудь другое место! – для сего выбрал он Женеву. Он испросил от правительства позволение туда переселиться – [*он скоро получил паспорт*] и получил его.

Но он ошибся, ничто не могло разогнать бесчувственность Клеры, ничто ее не трогало. – И когда несчастная плакала и спрашивала отца своего о женихе своем Жермене, то это случалось редко. – Жизнь ее была подобна безмолвному сумрачному дню, когда природа кажется утомленною, когда небо и земля безмолвствуют.

Читатель! я видел ее, сию интересную жертву [*горести*] рока. Я видел отца ее, который под сединами старости [*плакал глядя на дочь свою*] проливал слезы и бросал горестные взгляды на небо. – Я посвятил несчастным слезу своего сердца.

[*Несчастная*] Клера увидела меня еще издали. Она тихо подошла ко мне – взяла меня за руку, пристально посмотрела мне в лицо. – Какими глазами? – Она покачала головой. – «Это не он», – ска-

зала она с глубоким вздохом [*оставила меня так же тихо, как пошла*] и отошла.

Я посмотрел на отца ее. – «Это безумная! – сказал он. – Это дочь моя», – и закрыл лицо руками.

Природа показалась мне в сию минуту осиротевшею. – Боже! Боже! это твои души!

Может быть, ее уже нет, может быть, холодное недра земли скрыло в себе это нежное сердце, созданное любить и растерзанное судьбою. – Может быть, теперь она спокойна.

Если когда-нибудь возьму я опять страннический свой посох, если когда-нибудь буду бродить в странах, отдаленных от моего отечества, то при свете уединенного месяца я вздохну о судьбе твоей [*и найду облегчение собственного своего горя*].

Дни пролетели моей жизни – и скрылись; там, в безмолвии Природы, при тихом дыхании ветерка я буду размышлять о будущем, буду устремлять робкий взор во мрак предстоящего и вопрошать судьбу о своем жребии.

Если серый, мшистый камень, который в безмолвной долине будет покрывать прах твой, который в часы зноя будет служить возглавием путнику, – родит в душе моей чувства горести и утешения – я взгляну на него, положу руку на сердце и скажу: оно еще бьется – но скоро, скоро перестанет биться.

[*Тогда выкатится из глаз моих слеза, я посвящу ее тебе, мать-Природа!*]

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 2. № 40. Л. 1–10 об.

Д а т и р у е т с я: Вторая половина 1799 г. (на основании оформления рукописи; обоснование датировки см. в преамбуле).

Публикуется впервые.

¹ *О! Как сладостно, как блаженно состояние любящего!* – Этой фразе, с которой начинается текст на л. 5, предшествует вписанный в три строки на верхнем поле страницы следующий текст варианта плана, записанного на титульном листе рукописи: «Любовь, счастье, осада, горесть, неизвестность, заключение, встречи, разлука, казнь, безумие, сострадание и благотворительность, бегство, Женева».

² Далее перед следующим абзацем, начинающимся со слов «Революция, которая подобно туче шумела над полями Франции...», на л. 6 запись: «(Судьба! Судьба и пр.)». Видимо, Жуковский собирался переставить в это

место следующий фрагмент перевода с л. 4 об.: «[Судьба.] Судьба! Судьба! [Что ты такое? Есть ли ты слепой тиран, который] Ты либо сама пови- нуешься неукротимому стремлению вечных за<ко>нов и, вздыхая, растор- гаешь крепкие союзы сердец и природы, либо ты не иное что, как жестоко- сердый самовластный тиран, который слепо [трясет] сыплет жребий из врученного им небом сосуда на бедных смертных и не внимает их стонам. – Что бы ты ни была, упреки мои справедливы; вздохи мои не тебя обвиня- ют – но я один, я один в мире, и если удары твои и поразят меня, то я паду, и никто не пострадает моим падением, и ничья, ничья слеза не упадет на прах мой; но зачем, зачем преследовать счастливых в недре их блаженства и зачем исторгать их из объятий восторга, чтобы сильнее дать почувство- вать тяжесть [несчастия] бедствия, потерю радостей; – зачем разлучать любящих? – О судьба! [кто может быть] если [законы] определения твои премудры, то для чего текут слезы, для чего раздаются вздохи [тебя сопро- вождают] под солнцем? – [Но, бедные страдальцы мира, утешьтесь; есть конец слезам вашим – радости, горести – все пролетит, и самая жизнь, и самая жизнь.]

³ Далее зачеркнуто почти пол-листа, около 18 строчек, которые затем перебелены.

В.С. Киселев
(Томский государственный университет)

**ПИСЬМА ЖУКОВСКОГО К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 1850–1852 гг.:
ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ**

Переписка Жуковского с великим князем Александром Николаевичем, длившаяся 26 лет (с 1826 по 1852 г.) и включившая 150 выявленных на сегодняшний день писем, составляет значительную часть эпистолярного наследия поэта. Ее важность определяется и ключевой ролью в жизни Жуковского отношений с наследником престола и с другими царственными особами, и принципиальностью обсуждаемых тем: личных, творческих, общественно-исторических. Это тонко почувствовал П.А. Вяземский, подчеркнув в 1867 г. при публикации писем поэта к великому князю Константину Николаевичу: «<...> настоящие письма вносят новые сокровища в литературу нашу и новый свет в область нашего гражданского быта»¹.

В общении с цесаревичем Жуковский предстал в нескольких ипостасях, которые в истоках своих определялись отношениями наставника и воспитанника. 13 лет – с момента начала обучения в 1826 г. до завершения заграничного путешествия в 1839 г. – поэт стремился образовать ум и душу великого князя и как наследника престола, и как человека. Эта «царская педагогика» в ее эпистолярной форме строилась главным образом на доверительном общении, на заинтересованном вовлечении цесаревича в круг исторических, нравственно-философских и эстетических убеждений Жуковского².

¹ Письма В.А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу // РА. 1867. № 12. Стб. 1387.

² См. о ней: *Шмидт С.О.* Подвиг наставничества: В.А. Жуковский – наставник наследника российского престола // Русское подвижничество: сб. статей к 90-летию академика Д.С. Лихачева. М., 1996. С. 187–221; *Симиновский П.М., Тебиев Б.К.* Образование для добродетели: педагогические взгляды и деятельность В.А. Жуковского. М., 2003; *Янушкевич А.С.* Письма В.А. Жуковского к царственным особам как феномен русской словесной культуры и общественной мысли // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 45–76; *Киселев В.С., Жиликова Э.М.* «План учения... наследника цесаревича

После того как образование Александра Николаевича закончилось и поэт покинул официальную должность, отношения учителя и ученика приобрели семейно-дружеский характер, осложненный, безусловно, особым статусом члена царствующей фамилии. В эти годы, особенно в период жизни Жуковского в Германии, поэт часто обращался к цесаревичу как к посреднику и ходатаю перед лицом императора и по личным вопросам, важнейшим из которых стало продление права пребывания за границей¹, и в плане обсуждения идеологически значимых тем, особенно в 1848–1852 гг., и в поисках поддержки творческих планов, художественных и публицистических. Письма этого периода самые развернутые и многочисленные (2/3 всего корпуса корреспонденции).

Тексты писем Жуковского к наследнику были предоставлены некой «царственной рукой» и впервые опубликованы П.И. Бартеневым в журнале «Русский архив» в 1883 г. (до 1847 г.) и в 1885 г. (1848–1850 гг.), где сопровождалась краткими комментариями². В том же виде письма из этого собрания, с некоторыми исключениями, были перепечатаны П.А. Ефремовым в составе шестого тома Сочинений 1885 г. (до 1849 г.)³. Их общий корпус включал около 100 текстов. В процессе подготовки материалов для эпистолярных томов издания «Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т.» нами были найдены автографы практически всех опубликованных писем (за исключением четырех писем от июля 1833 г., 19 марта 1840 г., 17 февраля и 13 марта 1848 г.), большая часть которых хранится в собрании Зимнего дворца ГАРФ. Обнаруженные рукописи хранят на себе следы редакторской подготовки П.И. Бар-

Александра Николаевича» в контексте педагогического наследия В.А. Жуковского // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 6 (32). С. 125–136; Сидорова А.Н. Воспитание великих князей в семьях императоров Николая I и Александра II (подготовка к государственной деятельности): дис. ... канд. ист. наук. М., 2016. С. 87–98.

¹ См. о перипетиях в отношениях с царствующей семьей по поводу нереализовавшихся планов возвращения Жуковского в Россию: Гузаиров Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. С. 98–102.

² *Русский архив*. 1883. № 1. С. 1–32; № 3. С. 33–56; № 4. С. 57–160; 1885. № 1. С. 7–19; № 2. С. 243–272; № 4. С. 526–540; № 7. С. 337–370.

³ *Жуковский В.А. Сочинения*: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885. Т. 6. С. 375–599.

тенева, осуществлявшего разбор текста. Как выяснилось, письма публиковались с большими купюрами (в рукописи отмечены карандашными отчеркиваниями), в отдельных случаях превращавшими развернутый текст в короткую записку. Самому значительному сокращению подверглись фрагменты с описанием бытовых подробностей из жизни Жуковского и его многочисленных просьб к великому князю, однако были и пропуски, имеющие идеологический характер. Кроме того, многие письма остались неопубликованными (всего 40 автографов), в частности 15 писем за период от ноября 1850 г. до 1 января 1852 г.

Эти эпистолярные материалы вводят нас в круг проблем, заботивших Жуковского в последние годы жизни. Главной из них, безусловно, была необходимость возвращения в Россию и материального обеспечения семьи. На протяжении 1848–1849 гг., с начала революционных событий в Германии, Жуковские постоянно находились в переездах, требовавших в том числе финансовых затрат. В августе 1849 г. они наконец обосновались в Баден-Бадене, а вскоре, после поездки в Варшаву и личной встречи с великим князем, Жуковский получил разрешение на дальнейшее пребывание за границей. Тем не менее стремление вернуться на родину поэта не оставляло и в июне 1850 г. воплотилось в план переезда в Дерпт, обсуждавшийся в письмах к цесаревичу¹. Жуковский намеревался принять участие в праздновании двадцатипятилетия царствования Николая I, о времени и месте которых осведомлялся у наследника престола². Воплощению этого замысла помешала болезнь. В письме к Александру Николаевичу от 28 июля (9 августа) 1850 г. Жуковский сообщал:

Об этой болезни я говорил Вашему Высочеству в последнем письме моем: ее имя и отчество – *водяная в груди*. Избави Бог на

¹ См.: *Русский архив*. 1885. № 7. С. 351–364.

² «Если подлинно будет в Москве в т о р о й праздник царской коронации в Августе 1851-го, то я могу отложить мое возвращение в Россию до начала Июня 1851-го, ибо имею высочайшее позволение жить за границую бессрочно. Если, напротив, будет только о д и н в нынешнем Ноябре праздник двадцатипятилетия по вступлении на престол, то я поеду в нынешнем Июле. У меня все готово к отъезду» (*Русский архив*. 1885. № 7. С. 359–360).

старости лет от такого знакомства. Гугерт¹ весьма вовремя помог мне, но некоторые симптомы нередко возвращаются: надобно с Божией помощью загородить врагу дорогу; вернейшим к тому средством будет моя здешняя совершенно уединенная, бестревожная, занятая веселою и полезною работою жизнь (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 346 об.)².

Между тем в июне – июле 1851 г., дабы принять участие в торжествах по поводу юбилея коронации, поэт вновь собрался на родину, уведомляя цесаревича 8 (20) апреля:

В конце июня, по окончании курса лечения жены, я покину Баден, но не прямо поеду в Россию, а должен буду на весь июль отправиться в Остенду для морских ванн. Каждый день и в утренней и вечерней молитве моей прошу Бога, чтобы возвратил меня в отечество – будет ли на то Его святая воля? (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 359).

Необходимость постоянно откладывать переезд и объяснять ее причины тяготила Жуковского, внушая болезненные мысли о растущем отдалении от императорской семьи. Рассеять их помог визит великой княгини Марии Николаевны, прибывшей в Баден 1 (13) июля 1851 г., чему Жуковский посвятил стихотворение «Ея Императорскому Высочеству, государыне великой княгине Марии Николаевне, приветствие от русских, встретивших ее в Бадене». Несколько вечеров она провела в доме Жуковских (см. далее письмо от 30 июля (11 августа) – 10 (22) августа), и первоначально поэт планировал выехать в Россию вместе с ней. Однако вновь все замыслы разрушила болезнь: обострилось воспаление глаз, принудившее к многодневному домашнему заточению и осложнившее работу над педагогическими и творческими замыслами.

В этих условиях насущной заботой поэта стало обеспечение финансового будущего своей семьи, подорванного переездами и необходимостью выплаты очередных долгов. В сентябре-ноябре 1851 г. с

¹ Франц Антон Гугерт (Franz Anton Gugert, ум. 1864), врач, с 1829 г. практиковавший в Баден-Бадене, его услугами пользовались Жуковские с 1840-х гг.

² Этот фрагмент в тексте письма исключен П.И. Бартевым из публикации.

помощью П.А. Плетнева и Р.Р. Родионова Жуковский составил проект выкупа казной тиража его последнего собрания сочинений (4000 экземпляров), вышедшего в свет в 1849 г. и продававшегося весьма медленно. П.А. Плетнев предложил включить сюда же и разошедшиеся экземпляры «Новых сочинений Василия Жуковского» с переводом «Одиссеи» (СПб., 1849. Т. 1–2). За них поэт планировал получить 33 000 рублей серебром, что в соединении с ежегодным пенсионом, который он в свое время заложил в казну до 1852 г., должно было составить достаточное обеспечение будущей жизни. С подачей проекта великому князю из-за поспешности П.А. Плетнева вышла небольшая путаница: письмо Жуковского с соответствующей просьбой пришло раньше, чем записка, поданная через третьи руки. Тем не менее ситуация быстро разрешилась, и уже 29 октября (10 ноября) прошение было удовлетворено, о чем через день сообщил тот же П.А. Плетнев:

Цесаревич, отдавая мне записку мою о ваших книгах и письмо ваше к Государю, сказал «Я уже успел доложить Его Величеству об этом деле, и Государь изъявил согласие на покупку книг. Поезжайте к князю Шихматову, расскажите ему все и от моего имени объявите, чтобы он приступил к исполнению»¹.

Оформление выкупа несколько затянулось по вине министра просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, предложившего рассрочить его на несколько лет, что, ввиду опасений за будущее, не соответствовало желанию Жуковского. В итоге, однако, к 28 ноября (10 декабря) 1851 г. все произошло согласно намерениям поэта (см. далее соответствующее письмо к наследнику), сняв с его души тяжелое бремя.

В письмах 1850–1852 гг. Жуковский мало рассказывал цесаревичу о своих творческих планах, упомянув только начатый еще в 1849 г. перевод «Илиады», но постоянно говорил о педагогических замыслах. Хорошо известная великому князю воспитательная деятельность поэта нашла свое продолжение в 1840-е гг., в ходе занятий уже с собственными детьми, для которых он хотел разработать такой же полный и систематичный круг методик, переведя тем са-

¹ *Сочинения и переписка П.А. Плетнева*. СПб., 1885. Т. 3. С. 712.

мым элитарное образование на уровень общедоступного. О своем проекте Жуковский писал, в частности, А.П. Зонтаг 30 сентября (11 октября) 1850 г.:

Мой труд для моих детей <...> может со временем быть полезен и всем в домашнем воспитании; он обхватит систематически весь круг сведений, которые нужно иметь: мальчикам для вступления в гимназию, а девочкам для продолжения своего образования чтением и собственным занятием¹.

В этот курс, в частности, входило обучение чтению, письму и счету, методические материалы к которому были подготовлены и опробованы на дочери Александре, для него предназначались детские стихи собственного сочинения², планировалась первоначальная хрестоматия для чтения, элементарные сведения по истории и комплекс других пособий, так и не завершенных из-за болезни глаз, но занимавших основное время Жуковского в последние годы жизни³.

Творческую лабораторию Жуковского приоткрывает последнее письмо к цесаревичу, датированное 1 (13) января 1852 г. и посвященное декабрьскому перевороту во Франции. Его можно рассматривать как подготовительную рефлексию к работе над продолжением стихотворения «Четыре сына Франции», начатого в 1846 г., дописанного в 1849 г. и тогда же опубликованного в «Москвитянине»⁴. Последние 3 строфы его были закончены к марту 1852 г., и их историко-философская канва намечается в публикуемом письме, где Жуковский, продолжая размышления над ключевой для себя темой отношений самодержавной власти и народа, предугадывает возможные сценарии развития событий. Он приветствует подавление Наполеоном III «абсолютизма демократии», но предчувствует и вероятность

¹ Уткинский сборник: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой. М., 1904. С. 128.

² См. комментарий Э.М. Жиликовой (II, 736–738).

³ См. подробнее о методике Жуковского: Добровольская Е.Б. «Это педагогическая поэма». Жуковский – воспитатель своих детей // В.А. Жуковский и русская культура его времени. СПб., 2005. С. 187–195.

⁴ См. комментарий А.С. Янушкевича (II, 741–744) и его статью: Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и Великая французская революция // Великая французская революция и русская литература. Л., 1990. С. 106–141.

восстановления императорского абсолютизма, питаемого честолюбием новоиспеченного властителя. В стихотворении эти два начала предстают как «несовместные актеры», которым невозможно прийти к согласию. В письме к наследнику с его подтекстом «царской педагогики» Жуковский говорит об альтернативе, о «самоотвержении власти», о «чистой монархии, охраняющей все неотъемлемые права свободы гражданской», но добровольно покоряющейся не «деспотизму партий», а логике истории и воплощенному в ней Божественному Промыслу. Подобное завершение двадцатилетней переписки с великим князем знаменательно: это письмо стало своеобразным политическим завещанием Жуковского, его последним уроком наследнику престола.

* * *

Тексты писем Жуковского печатаются по современным нормам орфографии и пунктуации с сохранением некоторых особенностей в написании топонимов и падежных окончаний. Редакторские конъектуры и предположительные датировки заключены в угловые скобки. Подчеркивания в рукописи переданы курсивом.

1

<Между 10 (22) ноября и 22 ноября (5 декабря) 1850 г.
Баден-Баден>

Сию минуту получил я из Минхена от Северина¹ листок «Инвалида», в котором напечатано письмо князя Воронцова к Его Императорскому Величеству²; оно вырвало из души моей слезы радости и умиления. Мне необходимо поделиться с Вашим Высочеством теми чувствами, которые теперь наполняют мое сердце. Поздравляю Вас и себя с тем, что Россия, знавшая до сих пор Вас благородным, добродушным, для всех доступным, любящим правду и правдивым, узнала Вас и неустрашимым. Конечно, в этом никто не имел права сомневаться, но радостно это узнать на деле. Хотя то дело, которое познакомило Вас с нами в этом отношении, само по себе не знаменитое, но личное мужество – везде мужество, и на поле Бородина, и в ущелье Кавказа перед винтовкою чеченца. В последнем случае оно

еще ярче выказывается. Правда, любя Вас и зная, что соединено для Отечества с утратою Вашей жизни, можно бы было попенять Вам, как могли Вы ее так отважить без нужды, но в этом случае я иначе понимаю Ваш поступок, я понимаю и всем сердцем оправдываю то чувство, которое его определило, – Наследник Русского Престола ввиду представившейся ему опасности подумал: я обязан и перед Государем, и перед Отечеством, и перед их храбрым войском дать за себя залог – вот к тому случай, он меня зовет, я должен ему откликнуться. И отважное дело, совершившееся вследствие этого вызова, было не просто удажество, поставившее Цесаревича на одну доску с рукопашным бойцом, который схватывается шашка на шашку с горным наездником. – Нет, я вижу в этой отважности смиренную покорность высшей Воле в одну из тех роковых минут жизни, когда надлежит не выбирать, а безусловно предаваться во власть мгновения, ниспосылаемого Промыслом. Благословен Бог, отведший от Вашей груди пулю чеченца, даровавший Вам такой простой случай довершить Ваше знакомство с Русским царством и храбрым его войском. Место в письме Воронцова, в котором он просит государя Императора порадовать Кавказскую армию дарованием Георгия своему наследнику³ за его первое дело храбрости, в рядах ее совершившееся, меня весьма тронуло. Этот крест останется веселым преданием на Кавказе, как между Вашими теперешними минутными сослуживцами, так и между их поздними преемниками. Государь с отеческою радостью даровал Вам крест, а булатный солдат Кавказа, любуясь Вами в деле отважном, конечно, сказал: ай, молодец! Этот солдатский Георгий есть прекрасная добавка к царскому. Правду сказать, у меня сердце было не на месте, когда я думал о Вашей поездке на Кавказ: предчувствие не обманулось; опасность ждала Вас на пути; и, конечно, искание этой опасности входило в план Вашего путешествия. Но Бог везде, и всегда совершается над нами только Его воля: здесь явно бодрствование Его Провидения. Да будет всегда над Вами Покров Его. – Прошу Вас порадовать меня уведомлением о Вашем благополучном прибытии в Петербург.

Моя жена и все мое семейство полагают к стопам Вашего Высочества их глубочайшее почтение.

Жуковский

На днях я получил известие о кончине Кавелина⁴. Еще одна добрая душа переселилась в иной мир. Я бы желал знать подробности его смерти.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 355–356. Б.м и д.

Публикуется впервые. Первая фраза воспроизведена И.А. Бычковым, см.: *Бумаги* В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 год. СПб., 1887. С. 145.

Датируется: между 10 (22) ноября и 22 ноября (5 декабря) 1850 г. (по дате номера «Русского инвалида» и ответного письма Д.П. Северину с упоминанием письма к великому князю).

¹ Дмитрий Петрович Северин (1791–1865), член «Арзамаса», русский посол в Баварии с 1837 г. См. ответное письмо Жуковского о присылке «Русского инвалида» от 22 ноября (5 декабря) 1850 г. (*Русская старина*. 1902. № 6. С. 518).

² Михаил Семенович Воронцов (1782–1856), герой 1812 г., в 1844–1854 гг. был наместником на Кавказе и главным организатором путешествия цесаревича. См.: *Ольшевский М.Я.* Цесаревич Александр Николаевич на Кавказе с 12 сентября по 28 октября 1850 г. // РС. 1884. Т. 43. Сентябрь. С. 576–588. Эпизод, о котором идет речь, случился 26 октября (7 ноября): «26-го октября Наследник отправился из Воздвиженской крепости в Аччай, в сопровождении наместника князя Воронцова и под прикрытием отряда, состоявшего из пехоты, нескольких сотен казаков с артиллерией, а также туземной милиции и толпы мирных чеченцев. По обыкновению его высочество ехал верхом с авангардом. Между реками Рошня и Валериком он заметил показавшуюся за левой цепью под Черными горами партию неприятеля и тотчас поскакал к ней, увлекая за собой всю свиту, генералов отряда и несколько казаков и туземцев. Чеченцы, выстрелив по нем, бросились бежать, но были преследуемы казаками и мирными чеченцами, а между тем конвой Наследника из линейных казаков и азиатов заехал им в тыл. В происшедшей схватке начальник партии, оруженосец намба Самбдулы, был убит; труп его остался в руках казаков, и оружие тут же поднесено Наследнику» (*Татищев С.С.* Александр II // *Русский биографический словарь* / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А.А. Половцова. СПб.: Имп. Рус. ист. о-во, 1896. Т. 1: Аарон – император Александр II. С. 448). Письмо-донесение М.С. Воронцова, о котором упоминает Жуковский, было опубликовано в № 247 газеты «Русский инвалид» за 10 ноября 1850 г.

³ М.С. Воронцов писал: «Умоляю ваше императорское величество не отказать мне в этом представлении. Крест св. Георгия 4-й степени будет не только справедливой наградой Государю Наследнику, но будет сочтен дра-

гоценной наградой для всего кавказского корпуса и будет с восторгом принят всеми здешними войсками» (Русский инвалид. 1850. № 247 от 10 ноября). Орден св. Георгия, учрежденный Екатериной II, был высшим военным орденом за боевые заслуги. По ходатайству М.С. Воронцова он был 10 (22) ноября пожалован императором наследнику престола, а 26 ноября (8 декабря) торжественно вручен цесаревичу, который, кроме того, был назначен шефом Эриванского карабинерного полка.

⁴ Александр Александрович Кавелин (1793–1850), герой 1812 г., один из воспитателей цесаревича, умер 4 (16) ноября 1850 г., в последние годы жизни страдал от психического заболевания.

2

12 (24) ноября 1850 г.
Баден-Баден

Надеюсь, что это письмо найдет уже Ваше Императорское Высочество в Петербурге¹. Пишу несколько строк, чтобы принести Вам наше усердное поздравление с совершением двадцатипятилетия царствования нашего благословенного Императора². Хотя я сам письменно поздравил с сим праздником и Государя и Государыню³, но прошу Ваше Высочество сделать мне милость выразить за меня словесно мое желание всех благ Их Величествам. Простите, что позволяю себе обременять Вас такою просьбою: Вы понимаете, как мне дорого, чтобы я не был забыт в такую важную для России минуту; кто же лучше Вас может обо мне напомнить, то есть *выразить*, что я сердцем и мыслию праздную вместе с моим отечеством тот день, который нам дал нашего Императора. – Приношу Вам сердечную благодарность за письмо, написанное по Вашему повелению Адлербергом⁴: милый знак, что и за Кавказом, посреди занятий многочисленных, Вы нашли минуты дружески обо мне вспомнить. Целую Вашу милую руку.

Жуковский
12 / 24 Ноября 1850.
Баден-Баден.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 354.
Публикуется впервые.

¹ Речь идет о возвращении великого князя Александра Николаевича из поездки на Кавказ. Он прибыл в Царское Село 13 (25) ноября 1850 г.

² Двадцатипятилетие царствования императора Николая I, прошедшее 20 ноября (2 декабря) 1850 г. в Санкт-Петербурге, не отмечалось какими-либо публичными торжествами по его личному распоряжению.

³ См. письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 12 (24) ноября 1850 г. (*Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя*. СПб., 1907. Вып. 1. Письма В.А. Жуковского к императору Николаю I и к императрице Александре Федоровне 1821–1852 гг.; Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 годов. С. 101–105; *Бычков И.А.* Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 год. СПб., 1887. С. 145).

⁴ Подразумевается граф Александр Владимирович Адлерберг (1818–1888), в чине полковника сопровождавший наследника цесаревича во время путешествия по Кавказу. Письмо, о котором идет речь, в настоящий момент не обнаружено.

3

1 (13) января 1851 г.
Баден-Баден

Приношу Вашему Императорскому Высочеству мое и всего моего семейства поздравление с наступившим новым годом; прошу Вас, по милостивому Вашему обыкновению стать при сем случае изъяснителем моих чувств перед Их Императорскими Величествами и перед Государынею Великою Княгинею¹. Чего я Вам вообще желаю, Вы это знаете; особенно же желаю только сохранения вполне физического здоровья; все доброе нравственное, то именно, что наиболее может быть желанно в жизни, само собою Вам дается, ибо Вы понимаете чистым Вашим сердцем и Вашей высокою, Богу покорною мыслью настоящее значение и достоинство жизни: на Вас сойдет благословение свыше.

Скажу несколько слов о себе: сам я здоров; жена вообще стала крепче, но с нервами ее далеко еще не слажено. Надеюсь, что к вес-

не она более поправится, то есть так, что я, наконец, буду в состоянии сорваться с Баденской цепи. Ее лечение продолжается и теперь непрерывно: по сию пору зимы у нас почти нет, только нынешний день термометр показывает 4 градуса холоду; до сих пор или тепло, или дождь. Это способствует лечению. Для семейства же моего нынешний год начинается замечательным образом: сестра моей жены выходит замуж². Это случилось столь неожиданным образом, что я позволяю себе рассказать Вам вкратце этот импровизированный судьбою роман. Полагая, что я (как то было совсем мною устроено) уеду прошлым летом в Россию³, мой тесть отправился всею семьей в Швейцарию, дабы там дописать с натуры начатые им в 1849 году картины, во время пребывания в Интерлакене⁴, куда и его и нас бросила баденская революция⁵. Но этот план его все не удался. Не было никакой возможности работать; дождь беспрестанно мешал тому; два раза наш живописец пытался воспользоваться минутным сиянием солнца; за это он заплатил простудою, которая принудила его бросить кисть. Между тем все прочие обстоятельства стали так странно стеснительны, что ему сделалась противна жизнь в Швейцарии (где сначала он думал провести всю зиму). Какой-то голос кричал ему в уши: *поезжай*; и этот голос тем был для него важнее, что моя поездка в Россию не состоялась. Он послушал понукающего его голоса, поехал – и что же? В самый тот день, в который он с одной стороны выехал по железной дороге в Баден, по той же дороге с противной стороны въехал туда же незнакомый ему человек, который через несколько дней потом сделался женихом его дочери. Это барон Вульф, лифляндский достаточный помещик, брат жены генерала Фредериха⁶, которая по болезни живет в Бадене: он приехал дня на два в Баден, чтобы повидаться с сестрою, нечаянно встретился в ее доме с моею невесткою, и теперь эта моя невестка сделалась его невестою. Таким образом обстоятельство, для меня печальное, заставившее меня отложить мою поездку в Россию, было одним из главных поводов, решивших моего тестя возвратиться в Баден, и теперь из этого (если на то воля Божия, которая здесь кажется очевидно) должно выйти семейное благо. Надеюсь, что этим кончится действие той чародейной силы, которая так давно меня держит прикованным на чужбине, и что нынешнюю весною я увижу себя и моих под хранительным отечественным кровом. Благодаря работе я не прихожу в уныние. Я теперь по горло погрузился в мои педагогиче-

ские труды; надеюсь, что, если Бог позволит кончить то, что начато, эти труды и отечеству могут быть со временем полезны⁷. Но того, что в моем плане, не успею я и в половину кончить: глаза, и руки, и ноги худо начинают служить. А я должен работать один; моего бывалого помощника Матвеева⁸ нет при мне, да, если не ошибаюсь, нет уже его и на свете. Не буду теперь затруднять Вашего внимания изложением подробностей моего педагогического плана; осмеливаюсь принести Вам просьбу о моем единственном помощнике в его исполнении. Кто он и о чем для него прошу, это я изложил в письме к В.Д. Олсуфьеву⁹, на которое прошу Ваше Высочество обратить милостивое внимание.

Молю Бога о сохранении Вашего драгоценного здоровья и благоденствии всего Вашего семейства.

Жуковский
1851 1 / 13 Генваря.
Баден-Баден.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 357–358 об.
Публикуется впервые.

¹ Имеется в виду Мария Александровна (1824–1880), урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская, великая княгиня, впоследствии императрица.

² Шарлотта (Лотта) фон Рейтерн (в замужестве фон Вульф, 1827–1904), младшая дочь Герхарда-Вильгельма (Евграфа Романовича) Рейтерна (Gerhardt Wilhelm von Reutern, 1794–1865), любимая свояченица и крестница Жуковского, 11 (23) января 1851 г. вступила в брак с лифляндским бароном Юлиусом Вольдемаром фон Вульфом (Julius Woldemar von Wulf, 1809–1872), владельцем поместья Адзель.

³ См. о планах возвращения: Гузаиров Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. С. 98–102.

⁴ Интерлакен – климатический курорт в кантоне Берн, между Тунским и Бриенцским озерами.

⁵ В мае – июле 1849 г. в Баден-Бадене развернулась вооруженная борьба между повстанцами, свергнувшими правительство Великого княжества Баден в пользу республики, и войсками Пруссии,

стремившимися подавить республиканцев. О пребывании Жуковского с семейством в Бадене и Интерлакене см. письма к великому князю за 1849 г. *Жуковский В.А.* Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885. Т. 6. С. 567–599.

⁶ Подразумевается Эмма Адольфовна Фредерикс (Emma Mathilde Helene Freedericksz, 1815–1852), урожд. фон Вульф (von Wulf), жена Бориса Андреевича Фредерикса (Фридерикса) 2-го (Bernhard Freedericksz, 1797–1874), финского дворянина, барона, генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, Санкт-Петербургского военного губернатора¹.

⁷ См. о педагогическом плане Жуковского в преамбуле к публикуемым письмам.

⁸ Матвеев – чиновник канцелярии великого князя, работавший под началом Семена Алексеевича Юрьевича (1798–1865). О Матвееве Жуковский упоминает, в частности, в письме к П.А. Вяземскому от 30 марта (11 апреля) 1840 г.: «Эти книги можешь отдать чиновнику Матвееву, который доставит тебе это письмо. Отыскать его в Зимнем дворце, в канцелярии великого князя наследника. Через него можешь адресовать и письма и даже посылки (только небольшие) на мое имя для пересылки в Баден» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 5084. Л. 120–121)².

⁹ Василий Дмитриевич Олсуфьев (1796–1858), граф, гофмаршал двора, приближенный великого князя Александра Николаевича. Письмо, о котором идет речь, в настоящий момент не обнаружено.

4

8 (20) апреля 1851 г.
Баден-Баден

Христос воскрес!

Приношу Вашему Императорскому Высочеству мое сердечное поздравление с великим праздником и прошу Вас по милостивому Вашему обыкновению благоволить принести его от меня Их Импе-

¹ За помощь в поисках информации об упомянутых персонах выражаю благодарность Н.Е. Никоновой.

² Приношу благодарность О.Б. Лебедевой за сообщение сведений о личности Матвеева.

раторским Величествам и Государыне Великой Княгине. Надеюсь, что это поздравление приходит от меня в последний раз из чужи. В конце июня, по окончании курса лечения жены, я покину Баден, но не прямо поеду в Россию, а должен буду на весь июль отправиться в Остенду¹ для морских ванн. Каждый день и в утренней и вечерней молитве моей прошу Бога, чтобы возвратил меня в отечество – будет ли на то Его святая воля? Будет то, что хочет Он, следственно, лучшее. Последние годы, то есть последняя половина моего долгого отсутствия из России, была для меня богата испытаниями; они были для меня в то же время богаты и наставлениями – не скажу, чтобы они укрепили и усовершенствовали душу, это не так скоро дается, но они просветили ее и указали ей, в чем истинное благо, чего в ней нет и чего единственно ей искать должно. Мне уже под семьдесят лет, а я еще только за азбукою жизни; может быть, не буду еще уметь разбирать ее по складам, когда наступит час ее покинуть. Божие милосердие несказанно. Молю Его ниспослать еще десяток лет жизни, чтобы употребить ее на пользу моего семейства, а вместе с ним и моего отечества. Во все эти месяцы мои *педагогические* работы заняли все мое время – (с горем пополам я должен был отложить перевод «Илиады»²) – я уже сделал пробу над моей дочерью и уверен, что моя метода может быть весьма удобна для первоначального домашнего учения. Ее-то желал бы я так обработать, чтобы она могла быть употреблена не только мною для моих детей, но и в других семействах и даже в публичных заведениях. Мой труд в свое время будет представлен на рассмотрение Вашего Императорского Высочества. Дай только Бог мне возвратиться в отечество и основаться на постоянном месте.

Милостивое последнее письмо Вашего Высочества порадовало сильно мое сердце³. Вы послали мне драгоценное слово от Государя Императора. Но с этою радостью соединилось и печальное. Я писал к Государыне Императрице⁴: от нее не было никакого отзыва; я не имел и в мыслях получить от Ее Величества личный ответ; но Вы, мой добрый ангел, налицо, Вы бы могли повторить мне ее милостивое, ласковое слово. Я более многих знаю высокую природу ее души, знаю, как она неизменна, но я так давно пропадаю на чуже, что невольно приходит на сердце страх вовсе исчезнуть из той памяти, в которой мое место мне так несказанно дорого. Будьте милостивы, успокойте на этот счет мою тревогу, то есть скажите мне, что ее ми-

лость мне сохранена как в прежнее время, когда она была *налицо* (как теперь *заочно*).

Моя поэзия, мой светлый идеал?⁵

Простите. Благослови Вас Бог. Если найдете минуту свободную, порадуйте меня строчкою: давно уже не имел я этой радости, но сетовать не смею, Вы так несказанно заняты.

Моя жена приносит Вашему Высочеству и Государыне Великой Княгине усердное поздравление с Светлым Праздником.

Жуковский.

Баден-Баден.

8 / 20 Апреля 1851.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 359–360.

Публикуется впервые.

¹ Остенде – город в бельгийской провинции западной Фландрии, знаменитый морскими купаниями.

² Перевод «Илиады» Жуковский начал 14 (26) октября 1849 г., вернувшись к замыслу в августе 1850 г. На протяжении 1851 г. поэт пробовал обрабатывать черновик перевода. См. подробнее: *Киселев В.С.* Из истории гомеровских переводов В.А. Жуковского: перевод I и II песней «Илиады» (1849–1851 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. № 4. С. 62–74.

³ Письма великого князя к Жуковскому до настоящего времени не обнаружены.

⁴ Подразумевается письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 12 (24) ноября 1850 г. (*Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя.* СПб., 1907. Вып. 1. Письма В.А. Жуковского к императору Николаю I и к императрице Александре Федоровне 1821–1852 гг.; *Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 годов.* С. 101–105).

⁵ Измененная цитата из драматической поэмы Жуковского «Камознс»: «Моя любовь, мой светлый идеал?» (VII, 453).

17 (29) апреля 1851 г.

Баден-Баден

С благоговением и любовью приношу Вашему Императорскому Высочеству мое и моего семейства поздравление с днем Вашего рождения¹. Да будет над Вами постоянное высшее благословение: это моя ежедневная молитва. И если бы за исполнение этой молитвы надлежало мне принести в жертву собственное благо, я бы принес ее с радостным сердцем; прошу Вас этому верить, такая вера будет лучшим знаком Вашей милости.

Вместо подарка в этот день приношу Вашему Высочеству случай оказать благотворение. Представлю на благосклонное рассмотрение Ваше прилагаемые здесь бумаги. Одна из них есть записка о положении Сигварта Миллера, бывшего президента Швейцарской Диеты и Авойера Люцернского, жестоко пострадавшего от радикалов, опрокинувших зондербунд, и живущего теперь в крайней бедности в Страсбурге: она написана и подписана им самим; другая бумага есть свидетельство о Миллере Страсбургского Епископа, выписанное из партикулярного письма². Ко мне обратились с просьбою о доставлении Вашему Императорскому Высочеству записки Миллера. По совести, я <не могу> отклонить от себя исполнение этой просьбы, хотя и могу опасаться, что Вам не понравится мое вмешательство в дело, до меня не принадлежащее. Но так как в нем нет ничего политического, а есть одно чисто человеческое, то я и не мог позволить себе произвольно оттолкнуть страждущего от надежды на великодушие моего великого Императора и на его благодушного наследника.

17 Апреля 1851³.

Баден.

Жуковский

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 361.

Публикуется впервые.

¹ Великий князь Александр Николаевич родился 17 (29) апреля 1818 г. в Москве.

² Константин Зигварт-Мюллер (Constantin Siegwart-Müller; 1801–1869), председатель кантонального совета Люцерна, в 1844 г. выполнял обязанности президента Швейцарской Диеты «Tagsatzung», Ассамблеи делегатов кантонов, до 1848 г. законодательного и исполнительного органа Швейцарской Конфедерации. Был главой военного совета католических кантонов (Зондербунда), в 1840-е гг. ведших борьбу с протестантскими кантонами. В ходе вооруженного столкновения 24 ноября 1847 г. католический сепаратный союз потерпел поражение, что заставило Мюллера покинуть Швейцарию и перебраться в австрийскую Ломбардию, а затем в Инсбрук и Страсбург. Епископом Страсбурга в 1842–1887 гг. был Андреас Рес (Andreas Räß, 1794–1887). В ГАРФ находится написанное на французском языке письмо Зигварта-Мюллера к В.А. Жуковскому от 13 (25) апреля 1851 г. (Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 362–362 об.) и «экстракт» из письма епископа Страсбургского от 27 марта (7 апреля) 1851 г., также написанный по-французски (Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 363).

³ В РГАЛИ (Ф. 198. Оп. 3. № 2. Л. 1) находится сокращенный, очевидно черновой, вариант данного письма, датированный 18 (30) апреля 1851 г.:

Беру смелость представить на благосклонное рассмотрение Вашего Императорского Высочества прилагаемые здесь бумаги: одна из них есть записка о положении Сигварта Миллера, бывшего президента Швейцарской Диеты и Авойера Люцернского, жестоко пострадавшего от радикального швейцарского правительства и живущего теперь в Страсбурге в крайней бедности: она написана и подписана им самим; другая бумага есть свидетельство о Миллере Епископа Страсбургского, выписанная из партикулярного письма. Я видел здесь бедного Миллера; он сносит с достоинством свое бедствие и вполне заслуживает участия и уважения. Ко мне обратились с просьбою о доставлении записки его, здесь приложенной, Вашему Императорскому Высочеству. По совести, я не мог отречься ее исполнить, хотя и могу опасаться, что Вам не понравится мое вмешательство в дело, до меня не принадлежащее. Но так как в этом деле нет ничего политического, а есть одно чисто человеческое, то я и не мог позволить себе произвольно оттолкнуть надежду страждущего на великодушные моего великого Императора и его благодушного наследника.

Жуковский.

Баден Баден

1851 Апреля 18/30.

6

30 июля (11 августа) – 10 (22) августа 1851 г.
Баден-Баден

30 Июля / 11 Августа. Баден.

Тому четыре недели, как был решительно назначен день моего выезда из Бадена. Я дождался прибытия Государыни Великой Княгини Марии Николаевны¹, хотел пробыть при ней несколько дней в Бадене и потом отправиться в путь, давно желанный. Все это испортилось – новое доказательство, что в жизни ни на одну минуту будущего полагаться не можно. На другой день приезда Великой Княгини сделалось у меня воспаление в глазу – к счастью, в слепом, а не в зрячем. – Вот уже четыре недели, как я осужден на совершенное бездействие. Сижусь с закрытыми глазами, меня утешают пивками, вантузами, шпанскими мухами, и не знаю, когда это кончится. Пишу Вашему Высочеству с закрытыми глазами, пользуясь машинкой, которую я сам уже давно выдумал на случай слепоты совершенной. Однако должен оставить карандаш и начать диктовать письмо мое: и машинка не помогает; хотя глаз не видит, но все смотрит и напрягается: от этого ему больно.

Пишу к Вашему Императорскому Высочеству для того, чтобы изъяснить Вам мое теперешнее положение. К счастью, у меня теперь есть живой свидетель: Великая Княгиня; она подтвердит Вашему Высочеству точность моего показания и никому не придет в голову сказать Вам, что я только ко всему придираюсь, чтобы отложить свою поездку в Россию. Придирка! Что может меня привлекать к этой чужой стороне, где я никакого другого предмета жизни не имею, кроме беспрестанного борения с болезнью, для которой, конечно, нужен климат здешний – но климат, нужный для болезни, не есть наслаждение, а грустная необходимость. Вот теперь внезапная глазная болезнь присоединяется к болезненному состоянию жены моей – доктор говорит, что подагрическая материя, соединенная с простудой, произведшей воспаление, бросилась на мой слепой глаз и им овладела; между тем время было прескверное, дожди беспрестанные, на днях было наводнение, иные говорят, и землетрясение. Все это мешает выздоровлению глаза, а до его совершенного исце-

ления нельзя тронуться с места, железная дорога для него гибельна, свет солнца его режет, воздух ему опасен. Что Вы скажете на это? Между тем на дворе уже 11-е августа, а я еще не могу определить времени моего выезда, срок его, во всяком случае, не может быть прежде 21-го н<ового> ст<иля>. Хорошо, если к этому сроку глаз будет совсем здоров, я тогда непременно выеду, но что, если выздоровление затянется на неопределенное время? Осень на дворе, и мне надобно будет жену перевезти вдруг в холодный климат без всякого промежутка, который мог бы ее постепенно к нему приготовить; да и собственно для меня тогда ничего другого не останется делать, как отложить поездку: глазами мне особенно дорожить надобно, один уже вовсе не видит, что, если совсем ослепну? Вот все, что я счел необходимым объяснить Вашему Высочеству; прибавлю к этому, что уже не могу надеяться приехать в Москву к 22-му августа. Я счел нужным обременить Ваше внимание этими подробностями, дабы заранее предупредить Вас насчет всего, что может со мною случиться. Если подлинно буду свободен для выезда к 21-му августа, то поеду во всяком случае; вот уже 4 недели, как у меня все уложено. В Дерпте для меня уже, вероятно, нанята квартира и нужнейшие мебели там куплены². Кажется, довольно признаков для убеждения в том, что я решительно еду, но что если глаз меня не пустит? Может ли быть испытание болезненнее и тяжелее? Я должен безропотно принять его и прошу Вас быть мне в этом добрым помощником, то есть, во-первых, пожалеть обо мне и, поняв тягость моего положения, принять его к сердцу; и, во-вторых, изъяснить мои обстоятельства перед Государем Императором так, как я их изъясняю в этом письме.

Вот и 21 августа прошло, а глаз мой еще вовсе не оправился. Вчера и нынче попробовал в первый раз после шестинедельного заключения в горнице выйти; погода прекрасная, но солнце режет глаз, как ножом. Теперь посмотрю, что будет к первому сентября и в конце первой недели сентября. Если принужден буду остаться, опять начнутся против меня толки – что нужды! Лишь бы во мнении Вашем и Государя Императора они мне не повредили. Прошу Вас быть моим заступником перед ним и перед собою. – 16 августа н<ового> с<тиля>. Великая Княгиня Мария Николаевна покинула Баден. Мне только раз удалось быть у Ее Высочества: моя болезнь все расстроила. Зато она провела у нас три вечера. Раз одна, глаз на глаз с моей

семьею; в другой раз накануне своего тезоименитства³, чтобы провести, как она сказала о том, вечер *с своими* – что может быть трогательнее! Третий вечер провела она у нас накануне своего отъезда. Как мне ее присутствие напомнило прошлое время! Как ее лицо и всякое движение напоминают Государя. Как милы дети, особливо Евгения⁴. Мне от них остались самые сладкие воспоминания. – 19 прибыл сюда король⁵, провел здесь 20 и вчера (21) уехал. Узнав, что я в Бадене, больной, он благоволил навестить меня и пробыл у меня $\frac{3}{4}$ часа. – Между прочим, как трогательно говорил о Государе и о своем с ним свидании. Но я должен кончить: глаз крепко о себе напоминает. Если Ваше Высочество захотите оказать мне знак большой милости, то отвечайте в двух строках на это письмо, адресуясь в Баден: если оно там не найдет меня, тем лучше! А если, к несчастью, найдет, то будет большим для меня утешением. Благослови Вас Бог! Приношу Вам мое усердное поздравление с юбилеем коронации⁶.

Жуковский.

10 / 22 Августа.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 364–368 об. Л. 364–364 об. – рукой Жуковского, карандашом, л. 365–366 об. – рукой камердинера, л. 367–368 об. – рукой Жуковского. Б.м. и г.

Публикуется впервые.

Датируется: 30 июля (11 августа) – 10 (22) августа 1851 г.

¹ Мария Николаевна (1819–1876), великая княжна, старшая из дочерей Николая I и Александры Федоровны, прибыла в Баден 1 (13) июля 1851 г. Ее прибытию Жуковский посвятил стихотворение «Ея Императорскому Высочеству, государыне великой княгине Марии Николаевне, приветствие от русских, встретивших ее в Бадене» (см. комментарий к нему А.С. Янушкевича: II, 735–736).

² Пребывание в Дерпте было спланировано еще в 1848 г., когда Жуковский деятельно готовился к возвращению в Россию. Ср. в письме к великому князю от 3 (15) августа 1848 г.: «Я хотел ехать, чтобы 8 (20) августа сесть на пароход в Штетине и перевезти жену чрез Ригу в Вальк (близ Дерпта), где находятся родные и где для нас был должен быть уже приготовлен дом» (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 228 об.). Планы возобновились в июне 1850 г. (см. об-

щую преамбулу к публикуемым письмам). Арендой и обустройством дома в Дерпте занимался, по поручению Жуковского, его давний друг и впоследствии биограф Карл Карлович Зейдлиц (Karl Johann von Seidlitz, 1798–1885), см. их переписку за 1848–1852 гг.: Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. Томск, 2012. С. 58–90.

³ Тезоименитство великой княжны Марии Николаевны праздновалось 22 июля (3 августа).

⁴ Евгения Максимилиановна (1845–1925), княжна Романовская, четвертый ребенок от брака великой княжны Марии Николаевны с Максимилианом Лейхтенбергским (1817–1852).

⁵ Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861), король Пруссии с 1840 г., друг и адресат многих писем Жуковского. Далее речь идет о встрече короля с российским императором Николаем I, состоявшейся по приглашению последнего в мае 1851 г. в Скерневицах близ Варшавы.

⁶ Имеется в виду двадцатипятилетие со дня коронации императора Николая I 22 августа (3 сентября) 1826 г.

7

20 августа (1 сентября) 1851 г.
Баден-Баден

Приношу Вашему Императорскому Высочеству мое усердное поздравление с днем Вашего тезоименитства¹. Я надеялся поздравить Вас лично, но было мне суждено иное. Как мне это грустно, сказать не имею – грустно во всех отношениях. Но должно принять без ропота то, что с нами не по нашей воле творится.

Я положил крайним сроком моему отсюда выезду 1 сентября н<ового> с<тиля>, потом еще одну неделю. Вот и первое сентября, а мне еще нельзя и думать об отъезде. С 16 июля по сие время я только три раза выходил на воздух: стояла во все это время прекраснейшая погода, я ею не мог воспользоваться. Теперь переменялось, кажется, что осень хочет установиться рано: сырость и холод. Я консультировался (так!) у Хелиуса². Через неделю опять призову его, и он вместе с Гугертом³ решат, пускаться ли мне в путь или нет. Перспектива печальная! Если останусь теперь, то уже мне и того утеше-

ния не будет, чтобы иметь постоянную работу, как в прошедшую зиму. Надобно будет для сбережения глаз осудить себя на бездействие. Я много наработал в прошлую зиму, и если бы эта работа была кончена, она была бы полезна Вашему, моему и всякому русскому семейству: горько мне будет не иметь возможности вновь за нее приняться или оставить ее недоконченною⁴. Об этом после. Теперь должен кончить. Через неделю решится, что со мною быть должно. Простите. Благослови Вас Бог.

Жуковский

1851. 1 Сент<ября> н<ового> с<тиля>

Баден.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 369–370 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

¹ Тезоименитство великого князя праздновалось 30 августа (10 сентября).

² Максимилиан Йозеф фон Келиус (Maximilian Joseph von Chelius, 1794–1876), профессор Гейдельбергского университета, специализировался в области офтальмологической хирургии.

³ Франц Антон Гугерт (Franz Anton Gugert, ум. 1864), врач, с 1829 г. практиковавший в Баден-Бадене, его услугами пользовались Жуковские с 1840-х гг. См. о нем: *Русский архив*. 1897. Кн. 1. № 1. С. 75.

⁴ Подразумевается педагогическая программа Жуковского.

8

3 (15) сентября 1851 г.

Баден-Баден

Вот и 1 сентября прошло; а мой глаз весьма мало подвинулся вперед. Представляю при сем Вашему Императорскому Высочеству мнение Хелиуса и Гугерта: я на всю зиму прикован к Бадену, который начинает пустеть и через месяц так опустеет, что у меня ровно никого знакомых здесь не останется. Это бы ничего, лишь бы только было сколько-нибудь возможно заниматься. Я пытаюсь найти для этого средства. Не думаю, однако, чтобы мне было возможно за-

няться тою работою, которая взяла всю прошлую мою зиму – педагогическою работою для Ваших и моих детей. Я много наработал и наработал бы втрое, когда бы у меня под рукою был мой Матвеев или ему подобный. О плане моего педагогического курса говорить здесь не буду – он весьма обширен, и если Бог даст жизни, чтобы его исполнить, я оставлю о себе отечеству добрый памятник; на своей дочери я уже испытал, что метода моя во всех отношениях может быть весьма практическою. Счастлив буду, если моя болезнь не помешает мне нынешнею зимою заняться исполнением этого дела.

Ваше Императорское Высочество можете много тому способствовать, успокоив мои тревоги насчет моего нового замедления возвратиться. Тут было *непобедимое* препятствие. Никому не будет никакой пользы, если я ослепну. А моя болезнь и с нею поездка осенью к зиме в гости привела бы меня к тому – полагаю, что Ваше Высочество не только не будете мне пенять, что я остался, но еще меня одобрите. Но мне это необходимо от Вас *слышать* – итак, благоволите написать мне строчку и будьте моим предстателем перед Государем Императором, которому представьте свидетельство докторов.

Благослови Бог Вас и все Ваше семейство.

Жуковский

3 / 15 Сентября 1851.

Баден.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 371–372 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

9

8 (20) сентября 1851 г.

Баден-Баден

Давно я не был ничем так обрадован, как последним письмом Вашего Императорского Высочества. Ваше молчание на мое письмо начинало крепко меня тревожить – хотя, впрочем, и не было молчания: Вы очень скоро мне отвечали. Но препятствие, остановившее так неожиданно отъезд мой, было для меня слишком печально и на-

вело на меня хандру. Отзыв от Вас был для меня необходимым лекарством, наконец желанное лекарство пришло, принято с жадностью, и болезни следа не осталось; ее место заступило веселое, спокойное довольство. Благодарю Ваше Высочество от глубины души. Но я говорю только о моральном исцелении, физическое (как то свидетельствует Вам моя карандашная каллиграфия), еще не совершилось: думаю, что глазной мой недуг продолжится всю зиму. Горько, а нечего делать. Я еще все не выхожу со двора. Главные враги мои – солнце и холодный сырой воздух, и так чем далее в зиму, тем будет хуже; наш снег прибавил бы к этой беде сто процентов. – Сверх радости, которую мне принесло Ваше письмо, я имел другую, столь же для меня сладкую: знак милости моего Государя. Поздравляю Его Величество с 25-летием его коронавания¹. Я осмелился положить к стопам его мою просьбу о всемилостивейшем позволении мне внести в фамильный герб мои слова: *Боже! Царя храни*¹. Я уже получил официальное уведомление о даровании мне этой царской милости. Внимание, которое угодно было Государю Императору мне оказать, несказанно меня тронуло. Благоволите быть моим представителем в этом случае и положите к стопам Его Величества мою благоговейную благодарность. «Боже! Царя храни» заключает в себе итог моих политических убеждений и перейдет как завещание к моему потомству, если Бог судил мне иметь потомство. – Но простите, более писать больно. Да будет над Вами благословение Божие.

20 Сентября 1851.

Баден-Баден.

Жуковский.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 374–375 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

¹ Император Николай I был коронован 22 августа (3 сентября) 1826 г.

² Слова из стихотворения Жуковского «Молитва русского народа», ставшего в 1833 г. государственным гимном.

10

<Между 1 (13) и 12 (24) октября 1851 г.
Баден-Баден>

Ваше Императорское Высочество должны были получить записку от П.А. Плетнева¹ о деле, касающемся до меня, – эту записку составил П.А. Плетнев сам по моему предположению, которое я ему сообщил, дабы узнать от него, может ли мое желание быть исполнено и могу ли я о том обратиться к Вашему благосклонному покровительству. Я хотел, чтобы Плетнев только *сказал* мне свое мнение, и потом думал сам представить Вашему Высочеству записку мою и мою просьбу на имя Его Величества Государя Императора. Но Плетнев, найдя, что мое желание может не быть отвергнуто, поспешил, по дружбе ко мне, обратиться на него Ваше внимание. Он пишет ко мне, что записка сделана им, что, не имея возможности скоро увидеть Ваше Высочество, он решился передать свою бумагу Вам через графиню Толстую, с которою случайно встретился у гр<афа> Блудова². Все это пишу к Вам для того, чтобы Вы не подумали, что я в моих к Вам отношениях употребляю какие-нибудь зигзаги: я представил бы записку мою сам прямо в Ваши руки. Но не могу не благодарить Плетнева, который не хотел откладывать дела, мне полезного, и взял на себя все об нем хлопоты.

Итак, записка моя в руках Вашего Высочества. Мне самому ее составлять не нужно, чем я и рад. Но я обязан объяснить Вашему Высочеству причину, понудившую меня прибегнуть к просьбе такого рода. Первое: я *стою на краю расстройств* всей моей бедной фортуны, которая состояла до сих пор в небольшом капитале, достаточном для человека одинокого, но весьма посредственном для семейного человека: этот капитал от жизни заграничной, которой три четверти были посвящены на переезды из одного места в другое, на лечение жены, на дорогую жизнь в трактирах – хотя, впрочем, я вел самый отшельнический образ жизни – этот капитал (по уплате долгов, в которые обстоятельства ввели меня) обратился в ничто или почти в ничто. Если бы я имел какое-нибудь недвижимое имение, то, заложив его в казну, я как бы никуда обернулся, но во всей моей жизни мне никогда не случалось быть обладателем душ христианских, у меня всего на все были собственностью две пары душ: два

Максима, один портной, другой повар, и дело замечательное! Оба женаты были на Аксиньях. Портной получил от меня свободу³, а повар спокойно под защитою патриархального рабства спился и перешел в иной мир в чаду похмелья. Простите мне этот буффонский эпизод: я хотел сказать, что, не имея казенных душ для представления в залог, я имею подданных особенного рода: они все мои дети, и я теперь собрал их на перекличку в числе четырех тысяч экземпляров; сказать просто: я напечатал 4000 экземпляров полного издания моих сочинений⁴. Это издание посвящено Вашему Высочеству, когда я написал мое посвящение, я не думал, что мне придется просить и Вашего покровительства этому изданию; теперь это сделалось необходимым от обстоятельств. Я возвращаюсь в Россию и вместо того, чтобы иметь там устроенный угол для своей семьи, приеду туда с долгами на шее и с утраченным капиталом. Этот утраченный капитал может вполне возобновиться продажею моих 4000 экземпляров, но эта продажа пойдет весьма медленно, и я, получая мои деньги по маленьким участкам, не увижу, как они проскользнут между пальцев, и тогда опять мой капитал разлетится дымом. При этом надобно заметить, что мне стукнет через год семьдесят лет: после такого набатного звона нельзя уже считать годами, а днями. Если мое издание не продается при мне, то я оставлю его на руках жены моей со всеми неприятными сношениями с книгопродавцами, которые великие мастера притеснять и великие неохотники платить. Вот все, что побудило меня обратиться к Вам с просьбою исходатайствовать мне у Государя милость покупки в казну моего последнего издания сочинений моих: 4000 экземпляров по десяти рублей серебром экземпляр представляют капитал 40.000 серебром. Я уступаю казне двадцать процентов и прошу выдать мне только 32.000 серебром. Было бы для меня выгоднее, если бы выдача эта была произведена разом; но я готов согласиться рассрочить уплату на такие сроки, какие найдены будут нужными. Мне нужны не деньги, а *обеспечение* моего капитала. Я хочу *теперь* иметь нечто *верное*, что после моей смерти достанется детям моим, хочу себя и их после моей смерти избавить от самовластия книгопродавцев, одним словом, хочу *оставить им маленькое достояние*, которое будет результатами трудов литературных всей моей жизни. Казна, упрочив мне мой капитал, ничего не потеряет, экземпляры в течение времени распродадутся все, и уплаченный мне капитал возвратится весь в казну: про-

даже будет верна, ибо книгопродавцы не могут делать того с казною, что беспрестанно делают с людьми частными. Мне не будет сделано никакого *дара*, но сделано будет великое, благодетельное *пособие*, материальное и нравственное – *материальное* потому, что я выведен буду из настоящего финансового затруднения; *нравственное* потому, что будут успокоены мои мысли насчет будущего семьи моей: я буду *знать*, что после меня ей останется верный капитал, составленный трудами отца ее и сохраненный ей милостию его царя и покровительством царева наследника. Все это я счел нужным подробно написать Вашему Высочеству, дабы Вы увидели, что я *не о деньгах* забочусь, а что мне нужен *покой душевный* насчет всего, что мне на свете мило. Благоволите изъяснить все это всемилостивейшему Государю Императору. Его отеческое сердце поймет мои тревоги.

Жуковский.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 376–381 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки. Б.м. и г.

Публикуется впервые.

Датируется: между 1 (13) и 12 (24) октября 1851 г. (по дате письма Плетнева к Жуковскому о подаче записки на имя наследника престола и ответному письму Жуковского с упоминанием отправленного письма к великому князю).

¹ Петр Александрович Плетнев (1792–1866), поэт, критик, ректор Санкт-Петербургского университета и учитель литературы великого князя, регулярно выступал в 1840 – начале 1850-х гг. поверенным Жуковского в литературно-издательских делах, в том числе ходатаем перед царственными особами.

² См. письмо Плетнева к Жуковскому от 1 (13) октября 1851 г. с описанием обстоятельств сочинения и подачи записки к великому князю: *Сочинения и переписка П.А. Плетнева*. СПб., 1885. Т. 3. С. 702–706. Ответное письмо Жуковского от 12 (24) октября 1851 г. см. там же (С. 708–710). Графиня Толстая – Александра Андреевна Толстая (1817–1904), фрейлина великой княгини Марии Николаевны, двоюродная тетя Л.Н. Толстого. Граф Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), член «Арзамаса», в то время был главноуправляющим Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимавшимся кодификацией законодательства.

³ Своего слугу Максима Жуковский отпустил в конце 1817 г., о

чем сообщал А.П. Елагиной: «Я отпустил Максима, который будет жить в Белеве у своей сестры, получая от меня по десяти рублей в месяц. Посылаю деньги на полгода. <...> Максима же прошу вас не оставлять в нужде, а без нужды не балуйте его. Пусть живет своим трудом. От меня имеет помощь» (*Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852 / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жилияковой. М., 2009. С. 200*). В конце 1822–1823 г., занимаясь оформлением вольных для всех своих крестьян, он узаконил это официально (см. переписку с А.П. Елагиной. С. 248–250 и далее).

⁴ «Стихотворения Василия Жуковского» были напечатаны в 9 томах в 1849 г. в Санкт-Петербурге с посвящением в первом томе «Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Великому Князю Александру Николаевичу»: «Ваше Императорское Высочество благоволили позволить мне украсить Вашим Августейшим Именем это полное, может быть, последнее при мне выходящее в свет издание моих сочинений. Примите милостиво мое приношение в память многих, лучших лет моей жизни, с любовью Вам посвященной, теперь устарелой, но все еще свежей теми чувствами, которые здесь сохранятся для Вас в душе моей до гроба и с нею останутся неразлучными вечно. Апреля 17 дня 1849 г. В. Жуковский» (без пагинации).

11

<Около 13 (25) октября 1851 г.
Баден-Баден>

Вашему Императорскому Высочеству будут представлены четыре экземпляра моего издания¹. Один принадлежит Вам, а другие осмеливаюсь просить Вас как восприемника этого издания благоволить поднести моим именем Государю Императору, Государыне Императрице и Государыне Цесаревне. – Из моего карандашного почерка Вы можете заключить, что моя глазная болезнь упрямо продолжается. Думаю, что она продолжится во всю зиму, что меня весьма печалит, как мне не будет возможно заняться порядочно никаким делом. Иногда находит на меня страх, что дело кончится слепотою совершенною, и этот страх, может быть неосновательный, еще более заставляет меня желать, чтобы мои экземпляры сошли с моих рук, пока я еще живу и вижу. Будь воля Божия! Что бы ни слу-

чилось, с испытанием дает Он и терпение и силу спокойно покоряться Его воле.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 382–382 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки. Без подписи. Б. м. и г.

Публикуется впервые.

Датируется: около 13 (25) октября 1851 г. (по дате письма к Р.Р. Родионову с указаниями о доставлении подарочных экземпляров, см.: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 132. Л. 17–17 об.).

¹ Подразумеваются «Стихотворения Василия Жуковского» с посвящением великому князю.

12

28 октября (9 ноября) 1851 г.
Баден-Баден

Из письма, полученного мною от Плетнева¹, я вижу, что в деле, о котором я просил Ваше Императорское Высочество, произошла великая путаница: Вы получили мое письмо, в котором говорится о записке, поданной Плетневым графине Толстой для вручения Вашему Императорскому Высочеству, а записка, которая должна была объяснить мое письмо, еще не дошла до Вас. Благоволите ее вытребовать от гр. Толстой. Я никого не хотел вмешивать в это дело: послал Плетневу только проект записки для того, чтобы он составил ее, зная лучше меня, что казна может и чего не может; такую записку я хотел от себя прямо Вам представить на рассмотрение – вышла путаница. Прошу Вас не ставить ее мне <в упрек> и не отказать в ходатайстве по моей просьбе. Для меня будет несказанно больно, если Вы эту просьбу изъясните невыгодным для меня образом и напишете ее корыстолюбиво. Я никогда не бывал корыстолюбивым, а в настоящем случае прошу не подарка, а просто помощи выйти из затруднительного положения, которое тревожит меня не за себя лично, а за мое семейство. – Вопрос: в чем состоят эти затруднительные обстоятельства? Вот в чем: заграничная жизнь меня расстроила, почти уничтожила весь мой капитал и ввела меня в долг.

Между тем я должен при возвращении в Россию начинать свою домашнюю жизнь с фундамента. При таких обстоятельствах я должен буду еще более расстроить свою бедную фортуна, которую устраивать я разумею гораздо менее, нежели гомеровы экзаметры. – Чтобы несколько поправить эту беду, я имею средства: мой *истоцившийся* капитал может быть возобновлен *продажею* четырех тысяч экземпляров моих сочинений, которые по назначенной цене за экземпляр представляют 40.000 рублей серебром. Но эти экземпляры продадутся не менее как через шесть или восемь лет: надо иметь неусыпное попечение о продаже; деньги будут получаться маленькими суммами и оттого невидимо по мелочам истратятся: главное же неудобство заключается в притеснениях книгопродавцев и в их крайней неверности в платежах денег, прибавить к этому надобно то, что я стою на пороге² семидесяти лет и что меня несказанно тревожит мысль, что я теперь слепну, а скоро, может быть, вовсе слепой оставлю детям и жене не капитал, а только одни хлопоты собирать его по копейкам. Согласитесь, Ваше Высочество, что в этих тревогах нет ничего корыстного и что я могу питать надежду, что Государь, не даруя мне ничего, кроме одного милостивого участия, благоволит вывести меня из тяжелого затруднения, присвоив издание моих сочинений, плод литературных трудов всей моей прошлой жизни. Этим присвоением казна ничего не утратит и ничего мне не пожертвует: в ее руки экземпляры сойдут верно, и книгопродавцы ее притеснить не могут, а я разом *упрочу весь мой* капитал, и достояние моего семейства сохранится ему без ущерба. В этом новом объяснении я повторяю то, что уже сказал в моем последнем письме: простите милостиво это докучное повторение: мне необходимо, чтобы Вы знали истинные побудительные причины мои и чтобы я в Вашем мнении всегда был чист, как день. – Я имел еще поговорить с Вами об одном самом важном для меня предмете – о моем сыне³. Но отлагаю это до другого времени. Писать более не могу, больно. Только теперь, по прошествии четырех месяцев, начинает уменьшаться воспаление глаза: но подагрическая материя сидит еще на занятом ею месте, и нет возможности ни выходить на свет, ни заниматься никакой работою. Думаю, что так пройдет вся зима моя.

Простите. Благослови Вас Бог. Целую вашу руку.

28 Окт<ября> / 9 Нояб<ря> 1851. Баден.

Жуковский

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 383–387 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

¹ Имеется в виду письмо Плетнева от 15 (27) октября 1851 г. (*Сочинения и переписка П.А. Плетнева*. СПб., 1885. Т. 3. С. 706–708).

² Далее зачеркнуто: старости.

³ Павел Васильевич Жуковский (1845–1912), см. следующее письмо с планами его воспитания.

13

28 ноября (10 декабря) 1851 г.
Баден-Баден

Тому несколько дней, как я получил от Плетнева уведомление, что Государь Император по ходатайству Вашего Императорского Высочества соизволил согласиться на исполнение моей просьбы, а вчера получил я и от министра просвещения¹ официальное письмо, в котором уведомляет он меня об окончании моего дела. За успех его я должен благодарить Ваше Императорское Высочество: такое скорое его окончание доказывает, с каким живым участием ходатайствовали Вы о нем перед всемилостивейшим Государем, к стопам которого полагаю мою глубочайшую благодарность; не могу выразить Вам, как меня радует такая теплота души Вашей и как меня трогает такая Ваша ко мне милость. С другой стороны, моя подозрительная натура берет свое: Вы молчите, и это молчание меня тревожит. Что оно значит? Уж не изыскиваете ли Вы невыгодным для меня образом моей просьбы, столь милостиво исполненной Государем? Не называете ли Вы моей тревожной заботливости о будущем моего семейства недоверчивостию к Промыслу? Нет, эта заботливость есть самое естественное следствие старости; на пороге семидесяти лет я не только не могу не думать, но я *должен* думать о том, что будет после меня с моим семейством и что ему останется? С этою заботливостию может быть весьма тесно соединена надежда на пособие свыше и спокойная преданность в Волю Божию. Я признаюсь, что в последний месяц, когда я был лишен света и угрожаем полную слепоту

тою, мысли мои иногда принимали цвет моей болезни и на меня находила грусть, что, может быть, скоро моя жена и мои дети меня потеряют. В эти минуты пришло мне в голову послать мою просьбу к Государю: ее исполнение теперь поможет моей ничтожной фортуне спастись от совершенного кораблекрушения.

И теперь, чтобы все привести в ясность, прошу у Вашего Высочества позволения один раз навсегда представить Вам обозрение этой ничтожной фортуны и сообщить Вам мои смиренные желания и надежды на будущее.хлопотать о себе и просить для себя весьма затруднительно: но за меня просить некому: к счастью, говоря с Вами, могу говорить без оглядки. Итак, не поскучайте прочесть со вниманием любви то, что пишу к Вам в теперешнем моем письме. Примите его как завещание отца семейства, который, может быть, скоро должен сойти со сцены, который уже не будет в состоянии много сделать для *своих* и должен быть убежден, что они во всяком случае осуждены после его смерти на бедность; и что, наконец, его желания и надежды должны ограничиваться только тем, чтобы эта бедность не была нищета и печальная зависимость от помощи чужой. Итак, к делу. В чем состоит моя теперешняя *собственная* фортуна? Во-первых, в 18.000 р<ублей> с<еребром> капитала, который по уплате лежащего на мне долга обратится в одну тысячу. Во-вторых, в *аренде* (в 3000 сер<ебром>), все милостивейше пожалованной мне по смерти и на 24 года. С этой арендой случилось нечто весьма забавное. Перед моим отъездом с Вашим Высочеством за границу в 1838 году² я продал эту аренду в казну на 12 лет; чтобы доказать Вашему Высочеству, что я к деньгам не жаден, прилагаю здесь расчет (присланный мне на сих днях моим поверенным: приложение А) о том, куда пошла сумма, вырученная за продажу аренды. Но вот что забавно: передав аренду только на 12 лет, я по какому-то страшному затмению памяти остался убежден, что я ее продал на все 24 года и что у меня нет аренды; и в этом мнении я остался до сих пор и только тогда узнал от моего поверенного³, что с будущего года начну снова получать мой арендный доход (3000 р<ублей> с<еребром>), когда уже моя просьба о продаже моих книг была отправлена к Вашему Высочеству. Если бы я знал о существовании этого арендного дохода, я, вероятно, не считал бы необходимым просить о продаже книг, но видя, что собственного имущества после моей смерти должно остаться не более тысячи р<ублей> с<еребром>

и в то же время имея в 4000 экземпляров моих сочинений 40.000 р.<ублей> с.<еребром> капитала, который, однако, не мог иначе скопить, как в продолжении времени и по частям, я решился уступить 20 процентов, то есть пятую часть капитала, казне, дабы получить вдруг остальное. И теперь по продаже издания за 33000 р.<ублей> и аренды, вероятно, за 20.000 р.<ублей> с.<еребром> я сделался вдруг обладателем 53.000 р.<ублей> с.<еребром>, которые, если положить их лет на десять в банк для наращения, могут составить 75000 р.<ублей> с.<еребром> капитала или 3000 р.<ублей> с.<еребром> дохода.

Благодаря отеческой щедрости Государя Императора я имею по смерти хороший достаток, который может мне дать средство хорошо воспитать моих детей (если Бог позволит прожить еще несколько лет), ограничив себя самою умеренною жизнью и не касаясь до процентов с капитала. Пока я жив, я и мое семейство имеем безбедное, вполне удовлетворяющее нас состояние. Но что может остаться из получаемого мною казенного содержания моему семейству, когда меня не будет? Было бы безрассудно и даже несправедливо с моей стороны желать, чтобы им оставлено было *все*: я бы счел себя счастливым, когда бы одна *третья часть* получаемого мною теперь содержания была упрочена жене моей и моим детям по смерти их. Тогда бы с теми процентами, которые они могли бы получать с моего *собственного* капитала и которыми одними было бы нельзя жить без тяжелой нужды, имели бы дохода ровно столько, сколько нужно, дабы иметь одно *чисто необходимое*.

В 1826 году, когда, отъезжая по болезни за границу, я пришел проститься с Государем Императором, Его Величество спросил у меня о Карамзине, который тогда был при смерти⁴. Я отвечал Государю: Вы приготовили фрегат для отправления Карамзина в Южную Францию – ему туда не ехать; сделайте лучше: упокойте и утешьте последние дни его жизни, обеспечив судьбу его семейства и дав ему знать об этом; это не спасет его жизни, но даст ему тихую и радостную смерть. Государь даровал мне несказанное счастье, поручив мне написать рескрипт Карамзину. Что он для него сделал, Вам известно: душа Карамзина была тиха и весела до его последней минуты. Я не Карамзин, и Вы поверите моей искренности, когда скажу Вам, что не имею и в мыслях с ним равняться. Да мне еще и не нужен фрегат для отплытия в Южную Францию: напротив, я надеюсь

доехать сухим путем до России и, может быть, милосердие Божие даст мне еще несколько лет пожить для пользы отечества и семьи моей. Но, как говорит пословица, *смерть не за горами, а за плечами*, и вот Вам мое завещание: если услышите, что смерть стучится в мои двери, то потешьте меня доброю вестью об обеспечении судьбы моего семейства.

Теперь буду говорить о другом предмете, не менее для меня важном – о моем сыне. Вы когда-то сказали мне милое, трогательное слово: *наши сыновья будут расти, учиться и играть вместе*⁵. Сколько милости и любви ко мне и сколько счастья для моего сына заключается в этих немногих словах! И как горячо за них благодарит Вас мое сердце! Но, как бы ни велико было счастье моему сыну от исполнения этих милых слов, я не могу его желать ему: он должен провести свое младенчество под семейною кровлею; нет ничего образовательнее семейной жизни в первые наши годы; недостатка ее ничто заменить не может, и я обязан сохранить это сокровище моему сыну: я не имею права отказаться от обязанности и от счастья заботиться о первом образовании ума и души его – Вашему отеческому сердцу будет это понятно. Мой Павел – добрый мальчик; у него будет честная душа и здоровый ум, и он не без дарований. Я нахожу в нем много сходства со мною: поэтому должен предполагать, что в нем есть зародыши тех многих недостатков, которые жизнь развила во мне и которым, опираясь на собственном опыте, я могу по возможности не дать развиваться в нем, пользуясь тишиною домашнего образования, которым я уже и начал заниматься сам, следуя методе, и Вам отчасти известной. Приготовление к этому делу занимало меня всю прошлую зиму; я наработал довольно, но это одни только начатки. И теперь все остановилось от болезни моего глаза – и приготовление и преподавание; пять месяцев исчезли даром, ничто вперед не подвинулось – позволит ли Бог воспользоваться остатком зимы – Его воля; глазу немного лучше, но все еще не смею употреблять его. Когда кончится домашнее учение, сын перейдет в высшее публичное заведение. Цель этого воспитания будет та, чтобы, *во-первых*, образовался в нем честный здоровый умом и сердцем человек или (что все равно) истинный христианин, просвещенный всеми знаниями, которые в наше время необходимы всякому, но которые должны быть подчинены высшему откровенному знанию – *вере*, все освящающей и всему истинный смысл дающей,

чтобы, *во-вторых*, (если Вы позволите мне иметь для моего сына этот идеал его будущего назначения) образовался в нем человек, имеющий некогда исключительно принадлежать Вашему сыну, как его доверенный секретарь по делам не военным. Для этого необходимо нужно, чтобы он в продолжении своего образования особенно занялся изучением России во всех частях ее и чтобы по окончании учения несколько лет употребил на ее обозрение и на взгляд на Европу. Приготовленный таким образом к своему месту, он представился бы на суд Ваш, и тогда бы Вы решили, достоин ли он того назначения, к которому (если Вы на то дадите право) будет отныне его готовить его отец, верный своему полученному им от царя девизу, верность которому должна перейти в наследство и к его сыну. Согласитесь ли Вы утвердить этот план мой? В нем заключается и вся моя деятельность в настоящем, и все мои надежды на будущее. Для себя лично я не могу ничего желать, кроме, разве, нескольких лет безболезненной жизни для пользы детей моих – это в руке Божией: одно у меня беспрестанно в мыслях и в сердце, устроить, чтобы семейство мое не терпело нужды (о богатстве для него я не помышляю) после моей смерти и чтобы сын мой сделал честь моему имени как христианин, как русский и как верный слуга царю своему.

Теперь я кончил – простите мне это длинное письмо: оно жестоко утомило больной глаз мой, но я должен был написать его. Теперь Вы знаете вполне, *что* у меня есть и *что после меня* будет необходимо сделать для моего семейства (прилагаю здесь для легкости обозрения общую таблицу моего блистательного имущества). Конечно, было несказанным для меня счастьем и моя душа успокоилась бы совершенно на все остальные *годы* или *дни* моей жизни, когда бы я *теперь же* мог знать, что это *необходимое уже дано* моему семейству милостию царскою, в этом *знании* была бы бездна покоя душевного и даже здоровья телесного: все бы тревоги от меня отлетели, и с какой полнотою мог бы я предаваться ежедневному труду моему! Но такое счастье было бы *роскошью*, и я не позволяю себе желать его, кладу его в руку моего Государя и на Ваше любящее меня благостное сердце, и паче всего на Волю Божию.

Простите. Порадуйте меня несколькими строками ответа на это письмо.

Окажите мне милость изъяснить перед Его Императорским Величеством мою глубочайшую благодарность за его новое монаршее благотворение.

18 (так!) Ноября / 10 Декабря 1851.

Баден.

Жуковский

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 388–402 об. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

¹ Князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790–1855), с 1850 г. министр просвещения.

² Заграничное путешествие 1838–1839 гг. было частью, завершающей образование великого князя.

³ Имеется в виду Ростислав Родионович Родионов (1800–1872), старший чиновник Собственной канцелярии императрицы Александры Федоровны, душеприказчик Жуковского. См. о нем: *Янушкевич А.С.* Письма В.А. Жуковского к Р.Р. Родионову: опыт предварительного описания // *Соп атоге: Историко-филологический сборник в честь Л.Н. Киселевой.* М., 2010. С. 618–640. О ситуации с арендой Жуковский писал Родионову 5 (17) – 7 (19) ноября 1851 г. (РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 132. Л. 18–24).

⁴ Жуковский встретился с Карамзиным 10 мая 1826 г., накануне отъезда за границу для лечения. Большой Карамзин для излечения искал перемены обстановки и хлопотал о месте посланника в Италии, на что получил согласие, однако выехать не успел. Он умер 22 мая. Незадолго до смерти по подготовленному Жуковским и поданному императору 9 мая проекту Карамзину назначена была пенсия в 50 тыс. руб. в год с тем, чтобы после смерти она перешла его семье (см.: *Погодин М.П.* Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. М., 1866. Т. 2. С. 494. Здесь же приведен и соответствующий указ министра финансов от 13 мая 1826 г.).

⁵ Вскоре после рождения Павла Васильевича Жуковского 1 (13) января 1845 г. на свет 16 февраля (10 марта) 1845 г. появился второй сын великого князя Александр Александрович, впоследствии император Александр III, что, в перспективе планируемого воз-

вращения Жуковских в Россию, вызвало к жизни план совместного обучения и воспитания детей, от которого поэт должен был отказаться.

14

3 (15) декабря 1851 г.
Баден-Баден

Сию минуту получил письмо Вашего Императорского Высочества и спешу принести Вам благодарность моего любящего Вас сердца за ту радость, которую оно принесло мне. Теперь все мои тревоги успокоились, и этот покой тем для меня драгоценнее, что он мне дан Вами: что мне необходимо в *настоящем*, Вы сделали, что могло меня тревожить в *будущем*, то Вы знаете: оно вверено Вашему сердцу и Промыслу Божию. Мне теперь остается спокойно употреблять в пользу, так, как Бог велит, каждую Им даруемую мне минуту последних дней моих; сколько их еще сочтется, не знаю. Но, по возможности, буду стараться, чтобы они прошли не даром. Еще раз благодарю Вас за этот мне данный Вами покой. Когда-то приведет мне Бог выразить эту благодарность перед Вами лично! Заочно целую Ваши милые руки и молю Бога, чтобы послал всем все свои благословения с Вашим семейством. Жена приносит всем глубочайшую благодарность за милостивое о ней воспоминание.

Жуковский
3 / 15 Декабря 1851.
Баден-Баден.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 403–404. Написано карандашом с помощью специальной машинки.

Публикуется впервые.

15

1 (13) января 1852 г.
Баден-Баден

Приношу Вашему Императорскому Высочеству и Государыне Великой Княгине мое усердное поздравление с новым годом и с завтрашним Вашим семейным праздником¹. Прошу Ваше Высочество,

по Вашему милостивому обыкновению, быть в сем случае выразителем чувств моих перед Их Императорскими Величествами: *Боже Царя храни*, есть моя молитва, общая со всеми русскими и теперь мне усвоенная в наследственное достояние моего начинающегося поколения². И у меня нынче семейственный праздник, в котором живее обыкновенного я, и жена, и дети вспомним об Вас и об Вашей к нам милости: нынче день рождения моего сына, Вашего крестника³. Поверяя судьбу его Провидению Божию, в то же время предаю его и Вашему благодному покровительству. Пока я жив, моя главная забота будет состоять в том, чтобы делать его достойным счастья некогда принадлежать Вам и Вашему семейству... но долго ли продолжится мое с ним товарищество? Ни слова более об этом: всякая минута нашей жизни есть представитель Вышней воли, над нами совершающейся к добру нашему, я ничего другого для себя не желаю для остающейся мне жизни, как только того, чтобы этому убеждению разума более и более соответствовало каждое движение сердца и каждое действие воли.

О себе должен сказать Вашему Императорскому Высочеству, что мой глаз все еще не пришел в порядок; и вот что говорит Гугерт: теперь, пока длится зима, должно употреблять пальятивы, дабы ослабить овладевшую глазом подагрическую материю; но к половине марта, когда сделается теплее, начнется радикальное лечение, которое может продолжиться до половины июня. Таков план Гугерта; я не говорю ни да, ни нет, потому что уже не хочу делать никаких планов: ни один из сделанных прежде не был исполнен. Теперь, по крайней мере, то хорошо, что, благодаря Лудвигу Наполеону⁴, можно остаться в Бадене с большею безопасностью: если бы он не сломил шею *красному страшилищу*, то, вероятно, Франция в нынешнем году опять бы разлила свою лаву на Германию и первые волны этой лавы пролились бы на ту область, к которой приковала меня болезнь, из которой все элементы, составляющие твердость и благоденствие государств, выедены тлетворным духом нашего времени. Этот Наполеон, энергический племянник гениального дяди и дерзкий наследник его имени, магически звучащего славою, этот Наполеон – еще загадка. Что он? Одаренный ли, или не имеющий никакого другого дарования, кроме решительности, которой помогли нечаянные обстоятельства его времени, подобные тем, которые помогли некогда и его дяде? Но этот дядя появился посреди хаоса

Франции от подошвы пирамид с ариергардом славных побед⁵; а племяннику служат ариергардом две безумные попытки на трон, приведшие его в тюрьму и сделавшие его посмешищем Франции. Какова же должна быть сила обстоятельств, чтобы победить подобные воспоминания и покорить Францию новому ее повелителю. Надобно, однако, отдать и ему справедливость: он угадал то, чего требовала настоящая минута, решился быстро и мужественно исполнить то, на что решился. Теперь вопрос: что у него таится в душе? Он вдруг вихрем обстоятельств взброшен на чудную высоту – доволен ли он силен, чтобы победить неизбежное кружение головы? Довольно ли зорки глаза его, чтобы обхватить весь горизонт, развивающийся перед ним с этой высоты? Если он просто пошлый честолюбец, то, опрокинув силою штыков один беспорядок, он приготовит другой, может быть более гибельный: неправда побеждается только правдою. Чтобы упрочить свой успех и обратить его в прочное общее благо, он должен искренно отказаться от всякого эгоизма и искренно признать себя рабом Всевышней власти, и в этом случае не быть подражателем своего дядюшки, который не постиг великой судьбы своей и вместо Бога, руководителя в великой цели, выдумал себе какую-то звезду, безжизненную представительницу древнего фатума. Когда пришла весть о происшествии 20-го декабря и о его удаче⁶, нельзя было не почувствовать презрения к этой Франции, в которой в продолжение 60 лет судьба всего народа ставится на карту и где при каждом выпаде карты более и более разрушается все драгоценнейшее для человечества: вера в Бога и в его правду, святыня верховной власти, свобода гражданская, с нею неразлучная, и только утверждается необузданность развратного эгоизма. Но меня тронуло описание Тедеума в Notre Dame⁷. В сторону французскую хвастливость, выразившуюся в украшениях церкви, и все обезьянство, без которого француз в самые роковые минуты обойтись не может, – в этом торжественном обряде было ощутительно какое-то глубоко истинное *торжество над злом*, грозившим обществу погибелью, и *благодарность* к тому, кто осмелился взять на себя ответственность и опасность такой победы. Что ни говори, а Франция спасена, по крайней мере, теперь спасена, а с нею и порядок Германии, ею же недавно нарушенный, весьма плохо восстановленный и, вероятно, снова бы взлетевший на воздух, если бы красное страшилище одержало победу. Повторяю, Наполеону теперь нужна только честность

идти прямой дорогой; не хитри и не плутуй: хитростями никого не обманешь; честным *казаться* нельзя, надобно *быть* честным; тебе поверят, и власть твоя на утесе. Я думаю, что воспоминания о дяде весьма помогут племяннику: ему не нужно будет трудиться выдумывать того, что было уже выдумано дядею; ему нужно только перешить платье, скроенное им (то есть дядею) для Франции по нынешнему ее росту, так чтобы оно было покойною и красивою одеждою, нигде не жало и по швам не рвалось. Для этого нужно, чтобы он, как честный портной, не думал о своем кармане, не крал материи и шил крепкою ниткою на славу. Вступая в колеину дяди, племянник удалится и от дороги, которую провела по Франции первая революция до времен Императорских и от той дороги, которую проложил Людовик XVIII своею бумажною конституциею⁸, произведшею все после нами виденные волнения до настоящей минуты. Прежняя монархия во Франции невозможна; но Франция не может ничего вынести кроме монархии. Монархия Наполеоновская ближе к ее теперешней натуре; если президент республики найдет средство восстановить Императорство согласно с законными требованиями настоящего времени, не забыв о минувшем, о веках истории, которая никогда не может быть вычеркнута из жизни народа, то он кончит революцию; и, силою военной уничтожив абсолютизм демократии, не даст этой силе в свою очередь обратиться в абсолютизм и восстановит чистую монархию, охраняющую все неотъемлемые права свободы гражданской и огражденную от деспотизма *партий*, неизбежного там, где царствует бумажная конституция. Это могло бы исцелить от чумы конституционной и Германию, которая в этом отношении играет роль паяца Франции. Но подождем конца... и поэтому ячитаю необходимым кончить это длинное письмо, прося Ваше Высочество простить мне, что я опять загулял в политику.

Пошли Вам Бог на новый год новое благословение. Прошу Вас сохранить мне Вашу драгоценную милость.

Жуковский
Баден-Баден.
1 / 13 Генваря 1852.

Автограф: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1680. Л. 408–413. Рукою камердинера.

Публикуется впервые.

¹ Подразумевается день рождения великого князя Алексея Александровича (1850–1908), четвертого сына цесаревича, 2 (14) января.

² См. выше письмо великому князю от 8 (20) сентября 1851 г.

³ Павел Васильевич Жуковский, крестный сын великого князя, родился 1 (13) января 1845 г.

⁴ Шарль Луи Наполеон Бонапарт (Charles Louis Napoléon Bonaparte, 1808–1873), впоследствии Наполеон III, племянник Наполеона I, после двух неудачных попыток захвата власти (Страсбургский заговор 1836 г. и Булонская высадка 1840 г.), закончившихся тюремным заключением, в ходе революции 1848 г. стал вначале депутатом Национального собрания, а затем президентом Французской республики. 2 декабря 1851 г., в годовщину Аустерлицкой битвы 1805 г., он совершил государственный переворот, распустив Национальное собрание, и через год провозгласил себя императором.

⁵ Наполеон I (1769–1821), одержавший ряд громких побед в ходе осады Тулона, подавления Вандемьерского мятежа, Итальянской кампании и военной экспедиции в Египет, в ноябре 1799 г. совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом, а затем императором Франции.

⁶ 20–21 декабря 1851 г. во Франции под сильнейшим полицейским давлением прошел плебисцит, санкционировавший государственный переворот, изменение конституции и увеличение президентского срока Луи Наполеона Бонапарта. Его инаугурация прошла в церкви Нотр-Дам.

⁷ Тедум (лат. «Te Deum laudamus...») – христианский гимн, известный в православном богослужении как «Тебе Бога хвалим...». В западной литургической традиции «Te Deum» поется в конце утрени по воскресеньям и большим праздникам, а также во время процессий, приуроченных к особым случаям (коронация королей и императоров, возведение в сан церковных иерархов и т.п.) По случаю инаугурации Луи Наполеона Бонапарта Виктор Гюго написал резко сатирическое стихотворение «Te Deum 1 января 1852».

⁸ Людовик XVIII (1755–1824), младший брат казненного в ходе революции короля Людовика XVI, после Реставрации стал королем Франции (1814–1824). Одним из условий реставрации было установление конституционного правления, что было подтверждено Конституционной хартией 1814 г.

С.В. Березкина

*Институт русской литературы (Пушкинский Дом),
Санкт-Петербург*

ПИСЬМА В.А. ЖУКОВСКОГО К А.Ф. ВОЕЙКОВУ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1814 г.

1814 год был по-особому трагическим в жизни Жуковского. Начавшийся на пике надежд Жуковского на брак с Машей Протасовой, его племянницей, год этот прошел через их крушение и затем, в конце, через новый подъем и возрождение. Не последнюю роль во всем этом сыграли взаимоотношения с А.Ф. Воейковым, также имевшие в 1814-м свои подъемы и снижения, но постепенно приближавшиеся к своему закономерному и неизбежному разъединению. Александр Федорович Воейков (1778–1839), поэт, переводчик, журналист, сыграл роковую роль в жизни Жуковского¹. Закончивший Московский университетский благородный пансион в 1795 г., он был знаком Жуковскому по кругу его воспитанников. Ближе они сошлись в 1801 г., когда в московском доме Воейкова собиралось Дружеское литературное общество. В Москве Жуковский и Воейков встречались, несомненно, и позднее, однако они не были приятельски близки друг другу. Их сближение произошло осенью 1813 г., когда Воейков решил погостить у Жуковского, жившего в это время в Холхе Болховского уезда Орловской губернии, а фактически по долгу в имениях своих родственников и друзей – Муратове и Черни. Так Воейков, приехавший к Жуковскому в конце октября 1813 г.²,

¹ Об отношениях Жуковского и Воейкова см.: *Веселовский А.Н.* В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 137–184; *Соловьев Н.В.* История одной жизни. А.А. Воейкова – «Светлана». Пг., 1915. Т. 1; Из неизданной переписки В.А. Жуковского с русскими литераторами 1810–1820-х гг. / публ. Р.В. Иезуитовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 85–102.

² До середины октября 1813 г. Воейков жил в Балашове Саратовской губернии (см. копию его автобиографических записей на книге И.И. Дмитриева, сделанную Н.В. Соловьевым: ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. № 95. Л. 140 об.). Именно в Балашов было отправлено в сентябре 1813 г. письмо Жуковского к Воейкову, в

вошел в круг семейства Екатерины Афанасьевны Протасовой (1770–1848), урожденной Буниной. Она приходилась Жуковскому единокровной сестрой (т.е. у них был общий отец), причем их родство, что было для него очень важно, не имело никаких документальных подтверждений: он был незаконным сыном А.И. Бунина.

Хорошо известно, что с Воейковым Жуковский связывал возможность воздействия на Е.А. Протасову, не принимавшую его сватовства (первые разговоры на эту тему произошли у них еще в 1812 г.). Не сам Жуковский рассказал Воейкову о том, что его притягивало в доме Протасовой, – тот ловко выпытал нужные ему сведения у А.А. Плещеева, после чего начал выказывать своему другу горячую поддержку. Именно на этой почве произошло их дружеское сближение. Рекомендация Жуковского и его дружба сыграли, как писал сам Воейков в одном из публикуемых ниже писем, ключевую роль в истории его ухаживаний за младшей дочерью Е.А. Протасовой Сашей, закончившихся 14 июля 1814 г. их свадьбой. В итоге в дом Протасовых вошел человек в высшей мере безнравственный, который для любого порядочного семейства стал бы настоящим бедствием. В какой же момент Жуковскому стали ясны характер и моральный облик Воейкова? И каким был сам процесс открытия тяжелой для него, нелицеприятной правды?

Прежде чем очертить этот сложный процесс, обратимся к одной интересной публикации о Воейкове. В 1875 г. на страницах журнала «Русская старина» была анонимно опубликована статья «А.Ф. Воейков. 1779–1839. Отрывки из заметок его приятеля». Черновая рукопись ее с правкой М.И. Семевского сохранилась в составе архива этого журнала, причем на архивной обложке автографа написана и фамилия автора: Михаил Максимович Попов (1800–1871)¹. Видный чиновник III Отделения, человек талантливый и весьма компетентный, он обладал превосходными навыками работы с личными бума-

котором он приглашал его к себе погостить (см. адрес на письме: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 89. Л. 1–1 об.).

¹ ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. № 513. Указано: Балакин А.Ю. Списки сатиры А.Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 206.

гами и документами¹; статья о Воейкове писалась им с использованием сведений из его архива, который он же и разбирал. Попов был приятельски знаком с Воейковым (при этом надо иметь в виду, что заголовка «Отрывки из заметок его приятеля» в рукописи не было и он был дан Семевским по впечатлению, которое складывалось после знакомства с ней). Автограф в заключительной части представляет собой лишь подбор материалов для окончания статьи, что не умаляет ценности работы, предоставившей интересные сведения о писателе. Семевский напечатал ее в своем журнале не полностью, купировав сообщения о личной жизни Воейкова.

То, о чем с намеком или же в скромном пересказе сообщала публикация, рукопись передавала в самом неприглядном, а иногда и страшном виде. Попов утверждал, что на совести Воейкова было «по крайней мере» семь «смертных грехов». Первый из них прикрит в публикации многоточием². А это было, ни много ни мало, как матереубийство («убил свою мать»), с предположением, что Воейков это сделал «в минуту мгновенного разгорячения». Имени матери Воейкова мы не знаем, но есть свидетельство, что ее смерть (год также неизвестен) он относил к ряду чрезвычайных бедствий своей жизни. 4 апреля 1823 г. Воейков писал Жуковскому: «Я испытал в жизни много жестоких несчастий: в один день, обманутый самым близким мне человеком (который сам был плутами обманут), потерял все имение, был при Павле I-м выключен из службы и выгнан из Петербурга³, похоронил мать...». Ни одно из этих свидетельств, что

¹ О М.М. Попове, а также его архиве в составе фонда «Русской старины» см.: *Березкина С.В.* Статья чиновника III Отделения М.М. Попова «Александр Сергеевич Пушкин» // *Русская литература.* 2013. № 1. С. 105–110.

² См.: [*Попов М.М.*] А.Ф. Воейков. 1779–1839: Отрывки из заметок его приятеля // *Русская старина.* 1875. № 3. С. 577.

³ Два сохранившихся формулярных списка Воейкова не содержат сведений о выключении его «из службы» и высылке из Петербурга (ИРЛИ. Ф. 31. № 35; первый из них составлен в 1820 г. и подписан А.И. Тургеневым). Служба Воейкова началась в 1796 г. в лейб-гвардии. Конном полку (вахмистр); 16 января 1797 г. он произведен в офицеры; с 1797 г. – корнет Екатеринославского кирасирского полка; вышел в отставку в 1801 г. (см.: *Декабристы: биограф. справ.* / изд. подгот. С.В. Мироненко. М., 1988. С. 40; *Песков А.М.* Воейков А.Ф. // *Русские писатели. 1800–1917: биограф. слов. М., 1989. Т. 1. С. 456*). Перевод из гвардии в армейский полк мог быть связан с какой-то скандальной историей.

примечательно, не имеет в биографии Воейкова исчерпывающего документированного комментария.

В публикации «Русской старины» сообщалось и о «какой-то интимной связи» (выражение сочинено самим Семевским), но при этом не объяснялось, почему автор отнес ее к «смертным грехам» Воейкова. В рукописи же об этом говорилось так: «Другой смертный грех <...> это была связь его с [невесткой] женой родного брата». Вероятнее всего, Попов узнал об этом от самого Воейкова. От Жуковского же знал об этом другой мемуарист, К.К. Зейдлиц, который сообщил П.И. Бартеневу сходное свидетельство: Воейков жил с женой родного брата, которого спаивал¹. Это была Авдотья Николаевна Воейкова, адресат двух опубликованных посланий Воейкова («О ты, с которою блаженство постигаю...», 1808; «Не витийство, не поэзия...», 1809); во втором из них упоминался ее муж, который, по видимому, вскоре умер². Обстоятельства, связанные с именем и ролью в жизни Воейкова этой женщины, были прояснены в комментарии Р.В. Иезуитовой³. Уже в 1813 г. Жуковский знал от Воейкова об Авдотье Николаевне и его желании жениться на ней. Знал он и о том, что у нее был сын от Воейкова. Вот что сообщал об этой женщине Попов (в публикации часть подробностей была выпущена):

Еще в походе 1812 года она везде ездил с ним, и в тот же год, во время переправы через Березину, у них родился сын, Доброславский. После этот сын воспитывался в Москве, у матери, учился в Медико-хирургической академии и был выпущен лекарем в конце 1834 года. Воейков выписал его в Петербург и определил ординатором в Военно-сухопутный госпиталь. Божеский гнев лежал на этом сыне преступной любви. Избалованный у матери, он ни от кого не получил правил веры и нравственности, был вольнодумен, нагл и дерзок против всего, даже против святого. Если б продлилась его

¹ *Голос* минувшего. 1919. № 1–4. С. 162. См.: *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2016. Т. 8. С. 478.

² Можно предположить, что это был Павел Федорович Воейков, в 1810 г. судья Рязанского уездного суда (см.: *Месяцеслов* с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи. СПб., 1810. Ч. 2. С. 147). В одном из стихотворений А.Ф. Воейков писал о своих прогулках с Авдотьей Николаевной по берегам Оки, т.е. жила она, несомненно, в Рязани.

³ *Из неизданной переписки В.А. Жуковского...* С. 101.

жизнь, то, конечно, он попал бы на виселицу. В Петербурге первых месяца два он жил у отца и в это время успел соблазнить его наложницу, так что отец принужден был выгнать его из дома и нанять ему отдельную квартиру на Петербургской стороне. Не долго он жил там. Раз утром (4 марта 1838 г.), начав бриться и выслав своего человека, он бритвой перерезал себе горло. Ни тогда, ни после не узнали причины этому. Всего вероятнее, что буйные страсти и недостатки веры довели его до такой смерти. На отца это происшествие жестоко подействовало. Дряхлеющий и расположенный к болезням старик начал больше и больше хилеть.

Фамилия сына с неопровержимостью доказывает, что Дмитрий Доброславский был рожден матерью вне брака, т.е. после того, как она овдовела¹. Неясным представляется другое: как можно было думать о женитьбе на ней, если второй муж первому мужу приходился родным братом? Законы Российской империи запрещали такое супружество, поскольку сожителство с невесткой рассматривалось Русской православной церковью как грех. Конечно, такого рода союзы встречались и на русских просторах – пример тому Михаил Виельгорский, большой друг Жуковского, который был женат на сестре своей первой жены. Но это был особый случай, освященный, что важно, католической церковью, к тому же речь шла о высокородном союзе графа Виельгорского и принцессы Бирон. Поэтому сомнительно, что планы женитьбы Воейкова на Авдотье Николаевне, о которых Жуковский упоминал еще в 1814 г., были достаточно серьезными. Знал ли Жуковский об их родстве? Конечно, знал. Летом 1815 г. в своем дневнике, который создавался для Маши Протасовой, Жуковский написал, что Воейков «имел намерение переселить ее к нам в дом» (XIII, 110). Это было бы странно, если б Авдотья Николаевна не была его родственницей. Но для вдовы брата, с ребенком, такое «переселение» было вполне возможно... Недаром Саша Воейкова в письме к Д.А. Кавелину, написанном в июне 1815 г., назвала ее «ужасной женщиной»².

¹ По законам Российской империи ребенок, рожденный замужней женщиной, записывался на фамилию ее мужа без рассмотрения каких-либо побочных обстоятельств. Незаконнорожденный мог быть ребенком или девицы, или же вдовы, которая потеряла мужа в срок, выходящий из назначенного природой периода беременности.

² Там же. С. 92.

Рукопись Попова достаточно подробно живописует сладострастную натуру Воейкова:

Даже в последние годы своей 67-летней жизни у него не переводились любовницы, да так, что года за три до смерти у него завелось их вдруг три, кроме постоянной. Это кончилось тем, что все они передрались и прибили его самого!

Воейков занимался благотворительностью, правда, не бескорыстно:

<...> он не давал никому спуска, а приходили к нему бедные женщины за помощью, даже старые и дурные не отделялись от него.

В доме Воейкова жили нарядные красивые женщины (у него была особая склонность к роскошным женским волосам, чем, кстати, была памятна и его первая жена, красавица Александра Андреевна): «Некоторые из живших у него были прекрасны, и он умел увеличить наслаждение их туалетом». Портрет Воейкова, нарисованный Поповым, напоминает старшего из Карамазовых (отца) в известном романе Достоевского.

В 1814 г. в Муратове никто не знал об огромных долгах Воейкова – в полном их отсутствии он сумел уверить и свою будущую тещу, и Жуковского. По-видимому, это были карточные долги, сделанные им еще в юности¹; с этими долгами Воейков боролся едва ли не до конца 1820-х гг., когда упоминание о них наконец исчезло из его писем – с уверениями Жуковского в том, что он оказывает материальную поддержку своим детям, высылая, после смерти Александры Андреевны, нужные суммы на их содержание². Пока он гасил эти долги, растворилось не только его саратовское имение со 150 крепостными (правда, у него к началу 1830-х гг. оказалось во владении другое, владимирское, с 250 крепостными, доставшееся

¹ В письме от 21 июня 1826 г. к кн. Е.А. Волконской Воейков упоминал о «прошедших днях молодости, глупости и мотовства», за которое ему приходится платить «каторжную работу» (*Библиографические записки*. 1858. № 9. С. 268).

² См.: *ИРЛИ*, № 27966. Л. 12–19 об.

ему, скорее всего, от кого-то по наследству), но и часть протасовского имения¹.

Такой человек вошел, благодаря дружбе с Жуковским, буквально по его следам, в семейство Протасовых. К моменту встречи Жуковского с Воейковым в 1813 г. странно пересеклись их судьбы: один намеревался жениться (во всяком случае, так говорил) на вдове родного брата, другой – на дочери единокровной сестры... Сомнений в правомочности подобных брачных союзов ни у Жуковского, ни у Воейкова не было, каноны же Русской православной церкви, основа брачного законодательства Российской империи, и тот и другой относили к современным суевериям.

Не приходится удивляться, что право Жуковского на руку Маши Протасовой Воейков отстаивал страстно – в Муратове и Петербурге, в кругу родных и друзей. Доказательством являются и его стихи, и его письма (например, письмо к А.И. Тургеневу от 30 марта 1814 г., обличавшее «пьяного» московского монаха с его каноническими предостережениями относительно женитьбы дяди на племяннице, преподанными А.Н. Арбеновой), и его инициативы в нахождении путей для чаемого Жуковским семейного счастья. В публикуемом ниже письме Жуковский подчеркивает, что Воейкову принадлежали идеи обращения и к вдовствующей императрице (осуществление ее, конечно же, выходило из круга возможностей Воейкова и возлагалось на Тургенева, который о ней, по словам Жуковского, «забыл»), и к И.В. Лопухину. О последнем стоит сказать особо.

Судя по тому, что Жуковский начал говорить о планируемом им визите к Лопухину в письме к Воейкову от 13 февраля 1814 г., эта идея тоже исходила от него. Жуковский провел в середине февраля несколько дней в имении Лопухина Воскресенское, поговорил с ним, заручился его поддержкой, а потом начал осторожно распространять в Муратове благосклонное мнение «просвещенного хри-

¹ О владениях Воейкова см. в его формулярных списках, 1820 и 1834 гг.: *ИРЛИ*. Ф. 31. № 35. В 1817 г. Воейков получил в свое распоряжение причитавшуюся его жене часть имения Муратова, что вызвало возмущение М.А. Мойер и Жуковского. Еще ранее, в 1815 г., Е.А. Протасова продала село Сурьянино (Сурьяново, Сурьяниново), и половина денег за него пошла на уплату долгов Воейкова; Жуковский считал, что эта половина была «Машиным добром», которым «бессовестно» распорядился Воейков (*Из неизданной переписки В.А. Жуковского...* С. 90).

стианина»¹, встретившее, однако, возражения со стороны Е.А. Протасовой. Казалось бы, надежда на Лопухина не оправдалась, тем более что в апреле 1814 г. у Жуковского произошло с Протасовой объяснение и он вновь получил решительный отказ. Однако тут же рождается новый план поездки к Лопухину, на этот раз с целью заручиться от Лопухина письмом с доказательствами, что брак с Машей не противоречит христианскому учению. Жуковский с Воейковым отправились в Воскресенское в последних числах апреля 1814 г. Лопухин согласился написать такое письмо, причем планировалось адресовать его именно Воейкову. Этого показалось мало, и Воейков пригласил Лопухина быть посаженным отцом на их с Сашей Протасовой свадьбе. Тот с радушием принял приглашение, а друзья начали обдумывать возможность устного объяснения «просвещенного христианина» с Екатериной Афанасьевной... Письмо Лопухина Воейков получил еще в июне 1814 г., однако оно было им осмеяно, а сам автор назван «сумасшедшим». Жуковский с сожалением писал о том, что Воейков сначала просто отложил его передачу, якобы до свадьбы, а в итоге – просто не отдал «матушке». На свадьбу Воейкова Лопухин не приезжал (по-видимому, потому, что к тому времени уехал из деревни).

В конце июня или даже начале июля 1814 г. был сделан еще один шаг в интересах Жуковского. Воейков отправился в имение Бунино к А.Н. Арбеновой, которая, побывав у известного московского старца (Филарет (Пуляшкин), в схиме Феодор; 1758–1842), так резко, вместе со своей сестрой М. Н. Свечиной, выступила против брака Жуковского и Маши Протасовой в письме к Е.А. Протасовой в конце февраля 1814 г.² Однако возвращение Воейкова из Бунина, за несколько дней до свадьбы, разочаровало Жуковского. Ему стало понятно, что Воейков даже не упомянул о нем с Машей у Арбеновой, не подготовив, таким образом, ее появление в Муратове на свадьбе и всего того, что она могла сказать о них Екатерине Афанасьевне. То есть никаких попыток переубедить Арбенову Воейковым в этот момент сделано не было.

¹ См. письмо Жуковского к Воейкову от 20 февраля 1814 г.: *Русский архив* 1900. Кн. 3. С. 21.

² См. письмо Свечиной к Жуковскому на ту же тему от 22 марта 1814 г.: *Русская старина*. 1883. № 2. С. 315–317.

Жуковский считал, что настроения Воейкова в отношении его и Маши резко изменились в июне 1814 г. после возвращения из Рязанской губернии (он ездил туда для улаживания своих дел перед свадьбой). Именно в этот момент Воейков начал определенно высказываться по поводу невозможности женитьбы Жуковского. Вероятнее всего, он не просто встал на сторону своей будущей тещи, рассчитывая на спокойную жизнь под одной с нею кровлей. Воейкову предстояло устраивать свои неблестящие денежные дела и платить по долгам за счет Протасовых, решать вопрос о местонахождении побочного сына и, вероятнее всего, его матери. Прекраснодушная мечтательность уступала место грубому расчету, и вся грязь, вся безнравственность, весь эгоизм Воейкова полились потоком на семью Протасовых. Ему не нужен был свидетель его дел, и он начал вытеснять Жуковского из протасовского дома. Разного рода неприятностями Воейкову удалось вывести Жуковского из себя и заставить его покинуть Муратово. Не исключено, что и причиной изменения в отношении Е.А. Протасовой к Жуковскому в конце 1814 г. стало понимание того, что семья нуждается в защите от Воейкова.

Жуковский уехал из дома Протасовых в Чернь в конце июля 1814 г., причем некоторые из родственников, собравшихся на свадьбу Воейковых, продолжали еще находиться в Муратове. Жестом, свидетельствующим об окончательности его решения, стало то, что он увез свою библиотеку. Жуковского ожидали в Муратове 20 августа в день рождения Саши, но он туда не приехал. Началась переписка, и Воейков прибегнул к своему всегдашнему маневру в сложных жизненных обстоятельствах – сначала он написал сам, ему ответил Жуковский, а вот затем письмо ему написала прекрасная и любимая всеми жена Воейкова.

Тут уместно задать вопрос: а как Саша относилась к желанию Жуковского жениться на ее сестре? В письме от 4 апреля 1823 г. Воейков утверждал, что первые признаки чахотки (кровь горлом) проявились у Саши в тот момент, когда она узнала о существовании «любовной переписки» между Жуковским и Машей, причем в это время она была его невестой (значит, это было в апреле 1814 г.). Воейков же, как человек, несомненно, более умный и опытный, чем юная Саша, беззастенчиво манипулировал ею в первые два-три года совместной жизни... Вслед за открытием «любовной переписки» он убедил Сашу, тогда еще невесту, в правомочности союза сестры с

Жуковским, но затем вновь склонил ее к мысли, что брак этот и невозможен и греховен. После свадьбы Саша была на стороне своего мужа, и ее письмо в Чернь (не сохранилось) доставило немало горьких минут Жуковскому. Недаром он считал, что его отъезд из Муратова был нужен и для сохранения мира между молодыми супругами. В 1815 г. Саша также была на стороне мужа в переписке, вызванной претензиями к нему со стороны друзей Жуковского. Воейков заставил жену вместо себя писать Д.А. Кавелину письмо с оправданиями своих действий в протасовском доме. Они настолько расхотелись с тем, что Воейков говорил о себе и Жуковском в Петербурге в начале 1814 г., что Кавелин ответил на ее письмо молчанием, чем, по словам Е.А. Протасовой в письме к Жуковскому от 14 ноября 1815 г., чуть не «уморил Сашу»¹. Протасова (а скорее всего, и Саша) видела в Жуковском причину ухудшения отношений Воейкова с петербургскими друзьями и требовала, чтобы он сгладил эту размолвку. Что же касается брачных планов Жуковского, то Саша, по-видимому, считала, что о них нужно забыть и не осложнять взаимоотношений в семье, поскольку осуществление их было невозможно.

Изложение развития отношений Жуковского с Воейковым в 1813–1815 гг. сделано нами на основе писем Жуковского этого периода. Особое место среди них занимают его неотправленные письма 1814 г. Из них в настоящий момент известны два – от 10–12 <?> июля (публикуется ниже) и от 19–20 июля; письмо от 10 сентября, которое также приводится в настоящей публикации, было из числа отправленных Воейкову; эти три письма имеют особую ценность, поскольку посвящены анализу отношений Жуковского с Воейковым; из них было опубликовано лишь письмо от 19–20 июля². Между тем два других письма, первое и последнее (третье), содержат ряд чрезвычайно важных сведений о жизни Жуковского в 1814 г. То, что не все они были отправлены Воейкову, могло быть связано с нежеланием Жуковского рвать важные для него нити в семействе Протасовых. Кроме того, он не терял надежд на брак с Машей и, по-видимому, усматривал в Воейкове важную для себя фигуру в ее окружении. В июле 1815 г., скорбя о том положении, в котором оказа-

¹ *Уткинский сборник: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой. М., 1904. С. 298.*

² *Из неизданной переписки В.А. Жуковского... С. 85–87.*

лась Маша в дерптском доме Воейкова, Жуковский написал новое, отличающее его письмо (от 19–22 августа 1815 г.)¹⁾, приложив к нему каких-то три не отправленных ему письма. Думаем, из них нам известны в настоящий момент лишь два. Перечитав эти неотправленные письма в 1815 г., Жуковский был поражен верности тех оценок, которые он дал Воейкову, его действиям и характеру в 1814 г.

1

10–12 <?> июля 1814 г.
Муратово

Пишу к тебе не для того, чтобы я считал это слишком нужным для *тебя*, но для того, что *мне* нужно сказать искренно свое мнение. Вперед уже говорить его не удастся; наше *вместе* с тобою кончилось и, вероятно, на всю жизнь. Дело здесь идет не о расчетах касательно дружбы; а о том, что важнее: о *вашем* семейственном согласии и спокойствии.

Вчера на вопрос Саши: *ты знаешь, что Воейков тебя любит*, я отвечал: *не знаю!* Если бы она спросила это у меня при первом твоём отъезде из Муратова или при первом твоём возвращении в Муратово, я отвечал бы: *верю*. Но верить еще не есть знать. Верить можно и без доказательств. Тогда, однако, я имел много причин *верить*: приезд нарочный ко мне издалека¹⁾, жаркое участие во всем, что принадлежит до меня – кажется, доказательств довольно. Но признаюсь, и тогда меня этот жар несколько удивлял. До того времени между мною и тобою не было жаркой, исключительной дружбы – была одна дружеская связь молодых товарищей; вдруг такой скачок к дружбе меня удивил, но вместе обрадовал, и я поверил.

Можно ли было принять жарче тебя участие в моей привязанности к Маше? Можно ли желать сильнее тебя, чтобы она была моею? – по крайней мере так мне казалось! Стихи и проза – всё за меня ополчилось! С этим духом отправился ты и в Петербург²⁾ – там привел в движение всех друзей, и своих и моих! Всё было на моей стороне! Ты же советовался и с Ив<аном> Владимировичем, и к *тебе* он адресовал свое письмо!³⁾ Когда узнал о поступке со мною Арбе-

¹⁾ Из неизданной переписки В.А. Жуковского... С. 90–102.

невой, то едва ли не более моего против нее вооружился – вспомни, что ты писал об ней к Тургеневу⁴. Сам же на счет мой и Машин был убежден совершенно, первое, тем, что *желал* нашего счастья и говорил, что без него не захочешь и собственного, второе, и самим *мнением*: ибо (тогда) для тебя образ мыслей Екатер<ины> Афан<асьевны> казался суеверным, и в этом ты не колебался ни мало. Семейственное счастье казалось тебе возможным только *вместе* со мною; наши общие планы были прекрасные. Признаться, такая способность к дружбе давала большую уверенность к твоему характеру, который никогда не был мне известен *по опыту*. Но опыт скоро и подоспел. После объяснения моего с Екат<ериной> Афан<асьевной>⁵ уже начало мне казаться, что ты как будто отделился от меня – но я не хотел еще давать воли сомнению. Помнишь ли нашу последнюю поездку из Муратова в Орел, тогда, когда мы встрет<или> Плещеевых?⁶ Дело уже казалось решенным! Трудность склонить Екатер<ину> Афан<асьевну> была очевидна. Я говорил тебе дорогою, что я *решился уехать*. Признаюсь, в эту минуту мне тяжело было заметить, что и ты на это же решился без большого усилия – какое несходство с прежним жаром! Я обвинял тебя не в том, что это не *сбылось* – было бы великое безумство ставить на твой счет то, что от тебя совершенно не зависит. Но для меня больно было не найти в тебе того чувства, которое я имел право ожидать от тебя в таком случае; и в эту минуту сделалось для меня заметнее, что у тебя в душе судьба наша, прежде неразлучная, разделилась. Ты написал к Екатерине Афанасьевне письмо – в котором говоришь обо мне – *сказываешь*, что это письмо прекрасное, и на это письмо был тебе ответ *прежестокий*⁷. Я этого письма не читал. Но здесь мимоходом признаюсь тебе, что во всех твоих письмах вообще я замечал что-то авторское, приготовленное, неискреннее. Во всех чувствительно, что ты думаешь не об одном читателе, а об читателях. Ты возвратился и нашел меня у Плещеевых. Первое слово твое, сказанное мне, была жалоба *на то, что хотят тебя поработить в лучших твоих чувствах: в 15-летней ко мне дружбе, а второе – несогласие на требование, чтобы ты ехал к Павлу Ивановичу*⁸. На последнее ты по моему убеждению согласился. А первое было само собою опровергнуто последствием. Жестокое письмо на мой счет имело только то действие, что оно охолодило тебя ко мне или, лучше сказать, твой наружный вид *дружбы* переменяло на холодный, <нрзб.> всеми.

И во все время, проведенное с тех пор нами вместе, я не слышал от тебя ни слова. Живучи в одном доме, мы как будто жили под разными полюсами. И самый твой образ мнений на счет всего, что ты прежде с таким жаром защищал, переменялся. Мне говорил ты одно, а с Екате<риной> Афан<асьевной> другое. После всего этого не имел ли право сказать, что я о твоей дружбе ничего *не знаю*. Было что-то на нее похожее в начале. Согласно с обстоятельствами это *что-то* переменялось на *ничто*. То есть теперь и того не осталось, что было между нами до твоего приезда в Муратово. Тогда я мог видеть в тебе если не избранного друга, то по крайней мере товарища молодости – современника поддевических счастливец⁹; теперь вижу совсем другого, нового, надевающего и снимающего, смотря по времени и обстоятельствам, маску, по мерке: прежнего Воейкова нет на свете! А теперешний мне чужой!

Вот всё, что я имел тебе сказать о твоей ко мне дружбе – но это не главное. Мне горестно увериться, что она мечта, но я от тебя не завишу, судьба моя вся слажена. Мое решено, и для меня перемены быть не может. Хуже со мною не может уже ничего случить<ся> <?>, а лучшее еще <нрзб.>. Благодарю <нрзб.>, я не заслужил несчастья. Будущее в руке Провидения, которому теперь верю, тем более верю, что знаю на опыте, как оно не обманчиво и как *обманчивы бывают люди*. Остается сказать о главном, о *твоем* характере, который несколько удалось мне рассмотреть, видя тебя вблизи. Он пугает меня, потому что от него зависит счастье тех, которых люблю наравне с жизнью, и вот почему и мое счастье много связано с твоим.

Или ты никакого не имеешь характера, или в тебе совсем нет прямотушия. Одно из двух. По крайней мере, многое заставляет меня сомневаться в последнем. И если бы надобно было выбирать, я бы выбрал, скорее, *бесхарактерность*, которая всё еще может быть согласна с добротой сердца, нежели *лицемерие*, которое всегда есть маска дурного. Вот мои доказательства. Ты совсем не имеешь никакой искренности в обхожд<ении>. У Екат<ерины> Афан<асьевны> в гостинной ты совсем не тот, как во флигеле. Согласен, ее собственная неискренность может и тебя делать принужденным; но она никогда не может оправдать притворства. Твои чрезмерные к ней ласки в ту самую минуту, когда ты противу нее огорчен, меня ужасают; твои нежные поцелуи в то время, когда ты в душе своей имеешь что-то похожее на отвращение, кажутся мне поцелуями Иуды; твои уве-

рения исполнять волю ее и никогда с нею не разлучаться тогда, когда ты почти решился сделать противное, производят во мне отвращение. Помнишь ли тот день, в который ты пришел ко мне в крайней на нее досаде (день твоего отъезда к Арбеновой) и говорил, что ты решился всё разорвать и не возвращаться? Несколько минут разговора тебя успокоили. Но что же? Возвратясь к ней, ты начал целовать ей ноги. У меня сердце поворотилось. Сейчас нечаянно развернул я твоего Гесснера и на одной странице прочитал следующее: *несчастие и опыт Авдотьи Николаевны – будут счастьем и опытом для Саши. После матушки – она ей первый ментор и лучший, нежели я и Маши*¹⁰. После матушки!!! Это замечание написано для Муратова. Авд<отью> Никол<аевну> я не знаю; но знаю, как ты думаешь об *опытности матушки*. Одним словом, всё это жестоко пахнет притворством. Но всего более меня возмущает – твоя религия¹¹. Атеизм сто раз простительнее, нежели притворная набожность. Религия, употребленная как способ понравиться, есть святотатство. Я знаю истинно <?>, что ты не имеешь *той* религии, которую здесь показываешь. Это поразило меня еще и тогда, когда ты прислал сюда свои стихи к моим друзьям – из Петербурга¹². И не ты ли сказал, что нарочно промешкал один день, чтобы быть здесь в день Казанской Богоматери¹³, ибо так обещал Авдотье Николаевне Арбеновой. Боже мой! какой переворот! Но это язык Тартюфа¹⁴. Могу ли после этого и уважать тебя и верить твоей дружбе. И такое притворство не <нрзб.> заставить меня ужасаться всего для Сашиней судьбы! Какого ей ожидать счастья, когда в тебе нет искренности! Разве в счастья можно быть прямым, когда дойдешь до него ползком? А ты ползешь или, что всё равно, носишь маску. Религию должно иметь, а не употреблять ее как средство привлечь на свою сторону – это и для нее и для самого себя унижительно. Всего благороднее и надежнее прямодушие. Что же касается до твоей твердости в намерениях и образе мыслей, то довольно и одного примера. Твое истинное или, лучше сказать, назвавшееся истинным мнение на счет моей прив<язанности> к Маше мне известно. В Петербурге ты только утвердил его и, возвратясь, усилил собственную мою надежду; здесь начал колебаться и почти потерял убеждение; письмо Ив<ана> Владимировича переменяло в мою пользу; помнишь ли, что ты мне говорил при отъезде к Арбеновой о разговоре с Екат<ериной> Афан<асьевной>. Ты сказал ей, что имеешь письмо от почтенного

человека, которое покажешь после свадьбы. (NB Но ты не объявил от кого, и она думала, что это письмо от Авд<отьи> Петр<овны>)¹⁵. Побывав у Арбеновой, ты называешь Ив<ана> Владим<ировича> сумасшедшим и твердишь Саше, что положения соборов неприкосновенны¹⁶ (что я собств<енными> ушами слышал), совершенно противное тому, что ты ей говорил прежде. После этого спрашиваю, чего же ты желаешь решительно? Признаться, не могу найти на это ответа. Если бы ты был всегда *против меня* просто и искренно, могли бы я на тебя жаловаться. Дружба не принуждает к измене правилам. Но такая переменчивость – смотря по времени и месту – неужели она не есть унижение характера. Я уверен, что ты не осмелился сказать и Арбеновой своего настоящего мнения на счет наш, но что ты и ей сказал то же, что и Екатер<ине> Афан<асьевне>, то есть противное тому, что говорил мне: *не знаю! не думаю, чтобы было позволено*. Послушай: если бы и ничего не удалось тебе для меня сделать (могу <ли> требовать невозможного), всё бы я остался тебе благодарным, и дружба наша после <?> бы существовала, ибо ты показал бы мне прямое участие, был бы одинаков и неизменчив. Мы бы сожалели вместе о неудаче, и я был бы тебе обязан мнением Саши, покоем их всех и знал бы, что Маша имеет в тебе верного утешителя и друга; но теперь – ты переменял свою дружбу <нрзб.> и свое сердце для всех и каждого; счастье Саши кажется мне неверным, ибо я не имею доверенности ни к прямодушию твоему, ни к постоянству, а для Маши не вижу никакого утешения. Как же нам оставаться друзьями?

Я выпишу для тебя ту мысль, которую возбудила в моей голове твоя поездка к Арбеновой и которую только что подтвердило твое возвращение. «Самая верная дорога к цели есть *прямая*»¹⁷.

А в т о г р а ф: ИРЛИ. № 29399. Л. 9–10 об.

Д а т и р у е т с я: предположительно 10–12 <?> июля 1814 г.

Написано сразу же после возвращения Воейкова в Муратово из поездки к А.Н. Арбеновой, по-видимому, в имение Бунино; он выехал оттуда 8–9 июля 1814 г. Сам Жуковский также в это время был в поездке и вернулся из Орла в Муратово 10 июля 1814 г. (см.: Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. XIII. С. 82). О возвращении Воейкова в письме Жуковского говорится, что оно

произошло «только что» и подтвердило его размышления о «самой верной дороге» в жизни. Поскольку в письме не упоминается о свадьбе Воейкова (14 июля 1814 г.), можно предположить, что оно было написано в канун ее.

Письмо начинает анализ сложной истории взаимоотношений Жуковского с Воейковым в 1813–1814 гг., продолженный в письмах к нему от 19–20 июля и 10 сентября 1814 г. Уже первое из них, от 10–12 <?> июля 1814 г., отразило тревогу Жуковского в связи в той ролью, которую Воейков начал играть в доме Протасовых. Его тревожил как грядущий переезд всего семейства в Дерпт, которому он безуспешно пытался воспрепятствовать в конце зимы 1814 г., так и его поведение, в котором начало угадываться предвестье будущего несчастья Протасовых. В дневнике отразились колебания Жуковского, продолжавшего усматривать в Воейкове хотя и слабого, но союзника: «Моя последняя надежда, – писал он в июне 1814 г., – была на Воейкова. <...> Он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли. Я боюсь быть к нему несправедливым – но кажется мне, что пылкость его и рвение более на словах и он слишком переменчив для приведения чего-нибудь к концу. Я не сомневаюсь в его дружбе, но теперешний язык его и со мною не похож на прежний. Он прежде говорил так часто о нашей жизни вместе; теперь об этом нет и в помине» (Там же. С. 73). Письмо от 10–12 <?> июля 1814 г. позволяет заключить, что окончательное проречение пришло к Жуковскому в самый канун свадьбы Воейкова.

¹ *...приезд нарочный ко мне издалека...* – В октябре 1813 г. Нарочный (нарошный) – не случайный, сделанный с намерением (Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. С. 416).

² *С этим духом отправился ты и в Петербург...* – Речь идет о поездке Воейкова в феврале – марте 1814 г. в Петербург, чтобы хлопотать себе место ординарного профессора русского языка и литературы в Дерптском университете.

³ *Ты же советовался и с Ив<аном> Владимировичем, и к тебе он адресовал свое письмо!* – Позиция И.В. Лопухина, автора сочинений на христианские темы и видного масона, была близка Жуковскому поисками нравственно-философских идеалов и норм (см.: Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и масонство // Масонство и русская

литература XVIII – начала XIX вв. М., 2000. С. 179–180). Лопухин в своих «Записках...» (1809) упомянул о «чувствованиях прекрасного сердца» Жуковского (*Лопухин И.В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы.* М., 1860. С. 112), который, в свою очередь, с большим пиететом вспомнил о нем и его имении Савинское в 1809 г. на страницах «Вестника Европы». Внимательный читатель «Записок...», Жуковский знал о борьбе Лопухина с притеснениями в религиозной сфере, в частности о его защите раскольническо-сектантских движений в России. Жуковский ожидал от него поддержки в своем неприятии ограничений в области брачного законодательства, целиком покоившегося на канонах Русской православной церкви. 15–17 февраля 1814 г. Жуковский впервые ездил в имение И.В. Лопухина Воскресенское (Кромский уезд Белгородской, впоследствии Орловской губернии). Лопухин, «просвещенный христианин», как назвал его Жуковский в письме от 20 февраля 1814 г., не видел никаких препятствий для женитьбы дяди на родной племяннице (неизвестно, однако, в какой степени он был посвящен в подлинную историю семейства А.И. Бунина, отца Жуковского и Е.А. Протасовой). Рассказывая Воейкову о посещении Воскресенского, Жуковский сделал в письме от 20 февраля 1820 г. характерную оговорку, утверждая, что предпочитает «настоящего», т.е. «выбранного по душе» отца (в данном случае Лопухина) «случайному», подразумевая под этим своего кровного отца или же давшего ему свою фамилию (*Русский архив.* 1900. Кн. 3. С. 21). В письме провозглашалось решительное предпочтение «просвещенного христианства» тому «суеверию» церкви, о котором он с негодованием писал во многих письмах этого периода, в частности в письме к М.Н. Свечиной и А.Н. Арбеновой от 7 марта 1814 г. (в нем еще раз описывалось посещение Лопухина, причем аргументация в отстаивании своего права на любовь Маши, возможно, отражала те беседы, которые вел с Жуковским Лопухин; негативное освещение позиции Лопухина см. в ответном письме Свечиной к Жуковскому от 22 марта 1814 г. – *Русская старина.* 1883. № 2. С. 315–317). В апреле 1814 г. в Муратове активно обсуждалось мнение Лопухина, и Протасова даже выразила желание познакомиться с ним (см. письмо Жуковского к Елагиной от 16 апреля 1814 г. – *Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной.* 1813–1852. М., 2009. С. 20). Жуковский вместе с Воейковым съездил к Лопухину еще раз в конце апреля 1814 г. и заручился от него какой-то бумагой с несколькими слова-

ми о мучившей его жизненной ситуации (см. письмо к Елагиной от 5 мая 1814 г. – Там же. С. 30–33; об этой поездке Воейков упомянул в «Воспоминании о селе Савинском и добродетельном его хозяине», напечатанном в 1825 г. в майском номере «Новостей литературы»). По инициативе Воейкова Лопухин написал еще и письмо, ему адресованное, в котором изложил «доказательства, взятые из самого Евангелия», о браке Жуковского с Машей. Письмо было получено в июне 1814 г., но Воейков не стал показывать его Е.А. Протасовой.

⁴ *Когда узнал о поступке со мною Арбеновой ~ ты писал об ней к Тургеневу.* – См. письмо Жуковского к Тургеневу от 30 марта 1814 г., которое в автографе начиналось с письма к нему же Воейкова – с жарким протестом против монаха-фанатика, запугавшего А.Н. Арбенову «адскими крючками и смолою», и призывом к борьбе с ним (Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу. М., 1985. С. 118–119; РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 147. Л. 1).

⁵ *После объяснения моего с Екат<ериной> Афан<асьевной>... –* В апреле 1814 г.

⁶ *Помнишь ли нашу последнюю поездку из Муратова в Орел ~ когда мы встрет<или> Плещеевых?* – Об этой встрече упоминается также в письме Жуковского к А.П. Елагиной от 5 мая 1814 г. (см.: Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 30). Из Муратова Жуковский и Воейков выехали 2 мая 1814 г.

⁷ *Ты написал к Екатерине Афанасьевне письмо ~ на это письмо был тебе ответ пружестокий.* – Письмо Воейкова к Е.А. Протасовой и ее ответ на него, написанные, по-видимому, в мае 1814 г., во время его поездки в Рязанскую губернию, в печати неизвестны.

⁸ *Ты возвратился и нашел меня у Плещеевых ~ несогласие на требование, чтобы ты ехал к Павлу Ивановичу.* – В Орел к П.И. Протасову, дяде Маши Протасовой, Жуковский поехал один в последних числах июня 1814 г. – см. в его дневнике записи от 28 июня – 5 июля 1814 г. (Т. 13. С. 77–82). План этой поездки возник в связи с желанием Жуковского оказать воздействие на Е.А. Протасову. Первоначально предполагалось, что к П.И. Протасову отправится Воейков – один или же вдвоем с Жуковским (см. его письмо к А.П. Елагиной, июнь 1814 г. – Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 40).

⁹ *...я мог видеть в тебе ~ товарища молодости – современника поддевических счастливец...* – Имеется в виду время, когда в доме

Воейкова близ Девичьего поля собирались члены Дружеского литературного общества (1801).

¹⁰ ...развернул я твоего Гесснера и на одной странице прочитал ~ нежели я и Маша. – Речь идет об Авдотье Николаевне Воейковой, от которой у Воейкова был побочный сын (см. во вступительной статье, с. 349). О надписи на книге С. Гесснера, сохранившейся в библиотеке поэта (см.: *Библиотека В.А. Жуковского: описание*) / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981. С. 105), Жуковский вспомнил, дав ей развернутую, уничижительную характеристику в дневниковой записи от 19–20 апреля 1815 г., обращенной к Маше Протасовой. В этой записи он подчеркивал то презрение, которое обрушил Воейков на Авдотью Николаевну после своей женитьбы (XIII, 109–110, 478).

¹¹ Но всего более меня возмущает – твоя религия. и след. – Ср. в дневниковой записи от 19–20 апреля 1815 г., где Жуковский назвал «святоотатством» то, что Воейков «некогда употреблял Религия как средство получить» ему потребное (XIII, 108).

¹² Это поразило меня еще и тогда, когда ты прислал сюда свои стихи к моим друзьям – из Петербурга. – Какое именно вольное, с антирелигиозными мотивами, стихотворение Воейкова 1814 г. имеет в виду Жуковский, не установлено.

¹³ ...день Казанской Богоматери... – «День» Казанской иконы Божией Матери празднуется в церкви два раза в год – 8 июля и 22 октября (по ст. ст.). Поскольку Воейков обещал Арбеновой в связи с праздником «проmeshкать один день», можно предположить, что он таким образом продлил «здесь», т.е. в ее имении, свое пребывание.

¹⁴ Тартюф – герой комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664).

¹⁵ Авд<отья> Петр<овна> – Елагина.

¹⁶ ...положения соборов неприкосновенны... – Имеются в виду семь Вселенских соборов (IV–VIII вв.), давших церкви догматическо-каноническое устройство. Согласно решению VI Вселенского (Константинопольского) собора «аще кто совокупляется в общение брака со дочерью брата своего» (или, соответственно, сестры), подвергается семилетней епитимии и расторжению «беззаконного супружества».

¹⁷ Я вытшу ~ «Самая верная дорога к цели есть прямая». – По-видимому, выписка сделана Жуковским из собственной дневни-

ковой записи от 28 июня 1814 г. (XIII, 79), где, рассуждая о «самой верной дороге», он отрицает те средства, которые связаны с хитростью и обманом.

2

10 сентября 1814 г.
Чернь

Сентября 10. Чернь.

Так *обстоятельства переменились, и теперь ты хочешь быть лучше виноватым передо мною, нежели перед совестью; а время всё откроет.* Не знаю, что это такое таинственное, что должно быть открыто временем. Кажется, тебе передо мною скрывать нечего. Всё доброе, хоть бы оно было и моим выгодам противно, не может быть для меня ни оскорбительно, ни скрыто. При дружбе всё хорошо. Но обстоятельства переменились. Так очень переменились! Тогда, когда ты мог только в моей *зеленой горнице* и с одним мною делать ткань *своего счастья*, – тогда мои мысли были твои мысли, тогда эта горница была лучшею для тебя в муратовском доме. Тогда были в ней минуты сладкие. Твое верное и мое мечтательное счастье было впереди, и ты считал меня товарищем на дороге к этому счастью. Одним словом, *мой образ жития* был тогда *твоим*, и этому совесть твоя не противилась. Могу даже сказать, что ты с большим жаром, нежели я, его держался. Вспомни твое послание к Екатерине Афанасьевне, о котором никто, кроме меня, не знает и которое у меня хранится как документ *тогдашнего образа* твоих мыслей¹. Желая знать, для чего совесть не запретила тебе написать его! Вспомни письмо об Арбеновой к Тургеневу!² И не ты ли первый говорил и с Кавелиным и с Тургеневым?³ (С первым совсем без моего позволения.) Не ты ли воспламенил их? Не ты ли вместе с Тургеневым выдумал план писать к архиерею⁴ – план, который последний и <нрзб.> как друг и о котором совсем забыл; наконец, не ты ли заставил думать и Сашу согласно с нами, заставил ее желать того же, чего я желал, думать так же, как я думал?.. А письмо Ив<ана> Влад<имировича>?⁵ Кто его требовал, и к кому оно писано? И кто после называл Ив<ана> же Владим<ировича> сумасшедшим?.. Одним словом, всё было пре-красно до последнего приезда твоего из Рязани⁶. Тут обстоятельства

переменились. Ты *свое* имеешь, и моя зеленая горница, в которой было *столько сладких минут*, в которой так мы *мечтали!!!* о будущем *нераздельном* счастья, которую ты так убрал для 20 августа⁷, потеряла свою прелесть! В ней остался я один с худым своим настоящим, которое надобно было пожелать сносить и которое мне одному ты оставил на плечи; я не слыхал в ней ни одного утешительного слова; ты мог быть мне товарищем для будущего счастья, но товарищем для настоящего горя быть не мог. (Может быть, для того, чтобы не тушить пожар соломою.) Я был точно *один*. Именно в ту минуту жаркая дружба твоя переменялась на холодность и невнимательность, в которую надлежало бы ей усилиться, – я сделался сам и угрюм и холоден. Это натурально. Я до комедий не охотник. А искать утешения нельзя. Надобно, чтобы оно само приходило. Просить дружбы как милостыни невозможно. Если эта холодность твоя ко мне была угождением для Екатер<ины> Афанасьевны, то тем хуже для нее. Ей нельзя было тебя за нее благодарить – какая надежда на человека, который по случаю и времени меняет сердце и располагает дружбу, то есть личину дружбы. Настоящая же дружба не так действует. Я знаю, что моя холодность меня же представила с дурной стороны для Е<катерины> Аф<анасьевны> (кого не хочешь видеть хорошим, тот во всем будет дурен), но что же делать? Носить на себе маску не умею и не хочу, хотя бы и умел. Пускай называют это неискусством жить и незнанием людей. Что бы ни было со мною, а так лучше. Чего бы я от тебя требовал и каким бы хотел видеть тебя – право, сказать не умею! Поэтому и не скажешь тому, кому собственное сердце этого сказать не умеет. Я чувствовал всякую минуту, что всё не так; может быть, в ином и ошибался, но это иное было в мелочах, а в главном я прав. Итак, пускай моя зеленая, пустая и навсегда пустая горница напоминает тебе о некоторых сладких мечтах *твоего* счастья, которые сбылись, которые делил я ото всего сердца, которые рад бы и всегда делить даже и без примеса *собственного*; но для меня она не напомнит ни одного часа, в который бы ты делил мое настоящее, не мечтательное горе. Помню несколько разговоров, после которых я успокаивался – меня легко успокоить! Ни с кем так не легко быть искренним, как со мною (но искренним, <нрзб.> дело служило пользою <?> словам), – но эти разговоры, в которые всегда я сам тебя заводил, которые всегда оканчивались хорошо, потому что я всегда иду навстречу доверенности, были ми-

нуты приятные, но разрушаемые после даром. После вечного <?> разговора я оставался с искренним уверением, что я ошибся, и всегда это уверение исчезало. Вспомни наш последний разговор⁸. Я говорил тебе: мне ничто так не нужно, как иметь к тебе доверенность. Твое дело не в том, чтобы иметь какой-нибудь успех, – я невозможного не требую. Мое счастье зависит не от тебя. Но от тебя зависит не переменяться, быть искренним в мыслях, не жертвовать ни для кого тем мнением, которое ты имел, которое согласно с моим. Не твое дело, что другие не имеют его; ты имел его прежде, имей и теперь. Я требую от тебя только одного: будь прямодушен. На этом основано ваше семейственное счастье и наша дружба. Если не останемся вместе, то по крайней мере будем друзьями. Твое прямодушие нужно менее для меня (я от тебя не завишу), но для тех, чьих судьба связала тесно с тобою. – В ответ на это ты сказал мне, что мнение твое не переменилось, что ты ни перед кем его не скроешь. Послушай, если бы ты не согласен был со мною в образе мнений, но сказал бы это прямо и не теперь, когда это сказать нужно, а прежде, когда тебе не было никакой от этого пользы, мог ли бы я тебя обвинить. Нет! Есть люди, которые иначе думают, не как я, но чьих участие трогает меня сильно, и я не желал бы ничего иного, как только того, чтобы Екат<ерина> Афан<асьевна> могла то же ко мне чувствовать, что они, – тогда бы мы могли быть счастливы. Но дело не об том. – Помнишь ли, что я еще прибавил? я сказал, что теперь желал бы, чтобы Екат<ерина> Афан<асьевна> только *согласилась*, что уверена <?>, что она в первые только минуты была бы менее счастлива, но что вся моя жизнь употреблена была бы на то, чтобы ее успокоить, и что я надеялся в этом успеть? – Ты говорил: что моего дурного о себе мнения боялся более чахотки! Что тебе нет никакой причины *желать* моего удаления! Что так же думаешь, как и прежде, то есть считаешь образ мыслей Е<катерины> Аф<анасьевны> за предрассудок и прочее. И через минуту ты же говоришь совсем противное с Машею; твердишь ей о грехе, уверяешь ее, что нет никакой возможности; что совесть это запрещает; что ты старался по крайней мере узнать, точно ли я сын моего отца, нельзя ли кому-нибудь другому им назваться; и наконец спрашиваешь у нее иронически, угодно ли ей, чтобы ее мать пошла в монастырь для нашего счастья⁹, – и всё это здесь, час после такого разговора, в котором я открыл тебе прямо свое сердце. А ввечеру не при

мне ли Маша просила у тебя прощения со слезами, и в чем же? В том, что она на тебя рассердилась! Но за что? Боже мой! За то, что ты вздумал ее утешать и сказал ей с душевным участием и милою ирониею: не плачьте, милый друг! Мы выдадим вас за Жуковского! А маменьку посадим в монастырь! Всё будет прекрасно! И потом, оборотившись к Саше, прибавил: а ты невинная душа! Ты не знала, что он в твою сестру влюблен и что твоя сестра влюблена в него! – вот оно, твое прямодушие! вот твое участие и твоя дружба! Но кто же этой невинной душе открыл мою привязанность к Маше и кто заставил эту невинную душу ее оправдывать? Не ты ли сам? Послушай! Видеть *грех* в нашем союзе не есть большая вина – и не требую от Е<катерины> А<фанасьевны> противного, я требую от нее сожаления, участия, дружбы, одним словом, возможного, именно того, чего особенно мог бы требовать от христианки, которая своему образу мыслей приносит в жертву это <?> драгоценное. Но она в этом то и отказывает. Но видеть в этом союзе *грех* только в угождение другим и соглашаться с обстоятельствами, это уже не одно заблуждение – это лицемерство; а если присоединить к этому и то, что, показывая иное <?> мнение (с которым в сердце не согласен, которому прежде противное показывал), жертвуешь другом, то поневоле скажешь – предательство! Для тебя в отношении ко мне обстоятельства не переменились; что ты прежде думал, не бывши мужем Саши, то можешь и должен думать и теперь, став ее мужем. Но ты в одной горнице говорил одно, а в другой другое. Так! В моей зеленой горнице *просияла для тебя заря блаженства*. Но на что же ты говоришь? *Его приятель заманила меня в Муратово; его доброму обо мне мнению обязан я Сашею*. Совсем наоборот! Я и теперь повторю то же, что сказал прежде, в одном из писем моих к тебе в Петербург¹⁰. Благодарю Провидение, которое вселило в тебя мысль посетить Жуковского! Но прибавлю: благодарю за то, что оно дает тебе способ быть истинно счастливым, только не разрушай этого способа! Насколько я заметил, мне кажется, что ты не знаешь своего счастья и по сию пору (а это еще лучшие, первые минуты) не нашел способ им наслаждаться! Твоя нежность к Екат<ерине> Афан<асьевне> слишком явная, чтобы быть истинною; ты не имеешь к ней в душе своей той благодарности, которою ей обязан; я *знаю*, что ты ее не имеешь. А Саша, милая, добрая, покорная Саша, сколько раз уже она от тебя плакала. Если это так продолжится, когда же будет *блаженство*!

Нет! Ты не моему доброму мнению обязан Сашею – ты сам знаешь, что значило мое мнение в Муратове! И как всё сделалось! Правда, твоя дружба ко мне, которая из такой дали привела тебя в Муратово, была первым твоим успехом – но всё остальное сделалось без меня! И я бы только испортил, если вздумал тебе помогать. Ты сам не один раз в этом со мною соглашался. Тогда мое доброе мнение принадлежало тебе, и если бы у меня его спросили, то оно тебя же бы оправдало. Но когда Ек<атерина> Аф<анасьевна> спросила у меня, какой ответ тебе сделать, то я сказал: *согласитесь, но оставьте себе право отказать*. Это ты знаешь. Что же? согласились и тотчас начали писать рекомендательные письма. Я помню, что ты сам благодарил меня за такой совет; *без такого требования твоего*, сказал ты, *так бы скоро не согласились*.

А в т о г р а ф: ИРЛИ. № 29399. Л. 7–8.

Д а т и р у е т с я: 10 сентября 1814 г.

Письмо продолжает обсуждение сложной истории взаимоотношений Жуковского с Воейковым в 1813–1814 гг. Писалось оно в ответ на письмо Воейкова от 4 сентября 1814 г.:

Надобно писать к тебе, надобно послать к тебе утешение! где возьмем мы его, с чего начать? что сказать тебе? не знаю, а писать необходимо; необходимее, нежели когда-нибудь. Покамест в твоей комнате всё оставалось по-прежнему, до тех пор нам казалось, мы верили, мы хотели уверить себя, что прежний хозяин ее отлучился ненадолго и скоро возвратится на родимое пепелище, к людям, которые его любят как брата, как друга, как человека, с которым они с малолетства привыкли вместе резвиться, расти, думать и чувствовать; как спутника, с которым прошли половину жизни, половину пути, и доброго и худого, гладкого и горестного. Несчастный друг! увозя свою библиотеку, ты отнял одно из прелестнейших наших очарований. Нет, бесценный друг муратовский и верный товарищ... братства! твоя зеленая комнатка, где мы свободно мечтали о будущем семейственном счастье, общем нашем, едином и неразделимом счастье, остается неприкосновенною до нашего возврата из Дерпта, до твоего возврата в твое семейство; кроме тебя у ней никого не будет хозяином. Ждать тебя, готовить для тебя комнату к 20-му авгу-

ста, уставлять всё на свои места, это доставило мне несколько самых приятных часов. Я всегда вхожу туда с мыслию: «здесь жил друг мой, друг Сашин, друг Машин; здесь просияла заря моего блаженства; его приязнь заманила меня в Муратово; его обо мне доброму мнению я обязан Сашею; здесь будет он жить опять – с дружбою, с музами, с спокойствием и блаженством. Истинная любовь, как добродетель, сама в себе находит вознаграждение за пожертвования, за лишения. И его любовь, больше нежели чья-нибудь, будет уметь вознаградить его за обладание. Мне бы хотелось, чтобы твоя комната осталась нашим общим кабинетом, работною комнатою, куда бы никто не смел войти разрушить наши мечты и помешать нам до известного часа. Сколько бы можно сделать полезного, славного! – Так, любезнейший друг и собрат! ты будешь жить вместе с нами. Никакая власть на земле не заставит нас думать, что твое удаление из Муратова вечно. Матушка обещала мне воротить тебя, когда я молил ее отдать тебе ее *доверенность*; я не смел ей сказать *любовь*, ибо она любит тебя – и любит много. Погляди мне в глаза! не сердись ли ты? в твоей воле! Нам не привыкать видеть друг друга бешеными. Я обязан говорить тебе правду и не хочу в этом случае походить на некоторых друзей твоих, кои по бесхарактерности и по легкомыслию, или даже по ложно понимаемой дружбе, хотят тушить пожар соломою и плачут от всей души, видя, что пожар увеличивается, а опасность становится более и более, ближе и ближе. – Не выведи, однако, из этого предисловия, что я желал бы вырвать из твоего сердца любовь твою к Маше. Да будет проклята мысль сия в самую минуту рождения! Любовь твоя есть чувство самое чистое, самое святое, самое возвышенное. Она твое богатство, гений, Слава и добродетель. И страдать от нее есть еще наслаждение, во сто раз прелестнейшее равнодушия и этой пошлой связи, какие мы видим ежедневно, которую люди хотят выдать за любовь; но которая, вопреки бесчувственным, остается земляною, черною, тяжелою. Знаю многих любовников и супругов верных и страстных, и сам люблю мою Александрину горячо и нежно, люблю более своей жизни; но, право, стыжусь своей холодности, грубости и подлости, когда стану сравнивать тебя с собою. Тебе Провидение на роду написало быть во всем выше обыкновенных людей. Тридцатилетнее целомудрие, талант божественный, смирение и покорность судьбе беспримерная – друг мой! ты один достоин любви Маши единственной; твое

сердце одно достойно быть алтарем этого Ангела. И мне вырывать это чувство из твоего сердца? Я бы хотел только найти средство согласить любовь твою с совестью матушки, с совестью общих родных наших. Мне бы казалось, что надобно превратить ее в дружбу, самую чистую, самую пламенную, подвязать крылья желанием, усмирить требования и зажать рот ропоту и жалобам. Но полно! ты станешь подозревать меня в холодном непостоянстве мнений; выдумывать для себя новые муки; потому что подозревать в измене друга, с судьбою коего так тесно связана судьба твоя, – есть мучение ужаснейшее. Это я знаю по себе; мне ничего несноснее, как воображать, что мы не верим и не полагаемся один на другого: тут и радость не в радость, и любовь не в наслаждение, как прежде. Тут и в объятиях Александрины возможно быть несчастливим. – Несчастье и горечь делают тебя несправедливым; послушай языка рассудка; он скажет тебе, что моя дружба не изменилась; мое мнение постоянно; мои желания и молитвы об одном и том же. Но обстоятельства переменились, и от того наружность говорит против меня; однако я лучше хочу быть на время виноватым перед тобою, нежели перед совестью. Время объяснит остальное; между тем скажу только одно: как могу я любить тебя меньше, когда час от часу уважаю тебя более и более? На мое уважение, на мое дружество к тебе, на мое дружество, участие, помощь и любовь к Маше можешь ты полагаться вернее, нежели на чью-нибудь. Ее счастье, твое счастье, наше счастье – есть одно и то же. (Из неизданной переписки В.А. Жуковского с русскими литераторами 1810–1820-х гг. / публ. Р.В. Иезуитовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 87–90; см. также: *Гофман М.Л.* Жуковский в семье Протасовых и Воейковых // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1925. Т. 9. С. 226–227).

Ответ Жуковского на это письмо был отправлен в Муратово Воейкову, однако ответила за мужа Саша (письмо не сохранилось) – см. письмо Жуковского от 19–22 августа 1815 г., в котором он с горечью упомянул о ее письме (*Из неизданной переписки В.А. Жуковского... С. 92*).

¹ ...твое послание к Екатерине Афанасьевне, о котором никто, кроме меня, не знает и которое у меня хранится как документ то-

гдашнего образа твоих мыслей. – По-видимому, имеется в виду послание Воейкова «К Екатерине Афанасьевне <Протасовой>» («Цветами счастья, ума, высоких чувств...»; 1814), намекавшее на возможность брака Жуковского с ее дочерью: «<...> Благость щедрою десницею своей // Жуковского тебе усыновила <...> // Он нежный сын. Нет, он нежнее сыновей; // Пример почтения, послушанья. // Сын есть дар случая, а он любви твоей // И твоего избранья» (Русский архив. 1912. № 3. С. 410). Это стихотворение, однако, было известно в Муратове не только Жуковскому, поскольку оно было записано в альбом Воейковой (см.: *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. I. С. 646). «Документом <...> тогдашнего (*нужного для твоих выгод*) образа мыслей» послание названо Жуковским и в письме к Воейкову от 19–22 августа 1814 г. (*Из неизданной переписки В.А. Жуковского... С. 93*).

² *Вспомни письмо об Арбеновой к Тургеневу!* – См. письмо № 1, примеч. 4.

³ *И не ты ли первый говорил и с Кавелиным и с Тургеневым?* – Речь идет о поездке Воейкова в Петербург в феврале – марте 1814 г. (см. выше).

⁴ *Не ты ли вместе с Тургеневым выдумал план писать к архиепископу...* – См. во вступительной статье, с. 352.

⁵ *А письмо Ив<ана> Влад<имировича>?* – См. письмо № 1, примеч. 3.

⁶ *...до последнего приезда твоего из Рязани.* – По-видимому, в июне 1814 г.

⁷ *...ты так убирал для 20 августа...* – День рождения А.А. Воейковой и предполагавшегося приезда в Муратово Жуковского.

⁸ *Вспомни наш последний разговор.* – По-видимому, именно о нем идет речь в дневниковой записи, сделанной Жуковским в конце июля 1814 г., перед его отъездом из Муратова, когда он просил Воейкова «быть только всегда на наш [его и Маши] счет неизменным во мнении» (XIII, 86). Тот глумливый разговор Воейкова с Машей, о котором Жуковский вспомнил в письме от 10 сентября, не попал в дневник, но, скорее всего, именно он привел к отъезду Жуковского из Муратова.

⁹ *...твердишь ей о грехе ~ спрашиваешь у нее иронически, угодно ли ей, чтобы ее мать пошла в монастырь для нашего счастья...* – В письме от 10–12 июля 1814 г. Жуковский также упоминал о раз-

говорах Воейкова в Муратове относительно канонических запретов, касавшихся близкородственных браков. Законы Российской империи предписывали не только расторжение такого брака, но и епитимию (Воейков говорит о пребывании в монастыре); не случайно поэтому А.П. Елагина в 1814 г. предлагала Е.А. Протасовой себя в жертву за счастье Жуковского и Маши Протасовой, намереваясь оставить свою семью и уйти в монастырь (*Уткинский* сборник. С. 290–292).

¹⁰ ...в одном из писем моих к тебе в Петербург. – Не сохранилось.

Л.И. Вуич
(Москва)

ДРУГ ЖУКОВСКОГО АВГУСТ КЕСТНЕР

В архиве В.А. Жуковского (НИОР РГБ. Ф.104) хранится папка с названием «Reliques», в которой собраны рисунки, связанные с дорогами для поэта воспоминаниями. Кроме работ Герхарда фон Рейтерна – дорожных набросков, сделанных в Италии и в Германии, сценок из домашней жизни, изображений детей, в той же папке находится мужской портрет, выполненный карандашом на бумаге верже с водяным знаком (одноглавый орел); размер 26,5x12¹. На изображении внизу слева – надпись на немецком языке: «Bis auf ein Besseres, um Wort zu halten. Rom 25. May 1833» («До лучших времен, в соответствии с данным [мною] словом. Рим, 25 мая 1833 г.»). «Понять это можно так, что человек выполняет обещанное», – пояснил Р.Ю. Данилевский, которому мы глубоко признательны не только за прочтение и перевод, но и за выполненную по нашей просьбе экспертизу почерка: надпись на портрете была сравнена с дарственной надписью на книге из библиотеки В.А. Жуковского Kestner G.A. «Abhandlung über die Frage: Wem gehört die Kunst?» Berlin, 1830. («Рассуждение на тему: Кому принадлежит искусство?»). Ее поднес поэту автор, ганноверский посланник в Ватикане Август Кестнер, в тот же день и в том же месте: «Rom. 25. May 1833». Идентичные слова в обоих случаях написаны одной рукой.

Будучи художником-любителем, Кестнер создал несколько автопортретов, сравнение с которыми не оставляет сомнений в том, что он подарил Жуковскому портрет своей работы.

25 мая 1833 г. – последний день пребывания Жуковского в Риме. Перечень мест, которые он успел посетить, и имен тех, с кем он встретился в этот день, занимает в дневнике 11 строчек и кончается словами: «Вечер у Бунзена». Карл Бунзен, секретарь при прусском

¹ НИОР РГБ. Ф. 104. Жуковский В.А. Картон 1. Ед. хр. 32. Л. 3.

посольстве, историк, один из авторов «Описания Рима», по которому поэт готовился к поездке, отложил свои археологические занятия, чтобы показывать Жуковскому Рим, и был «проводящим, который все осветил для нас своим знанием», – записал Жуковский в дневнике 8 (20) мая. Бунзен жил на Тарпейской скале, из окон его дома был виден весь Рим. Здесь состоялся прощальный вечер Жуковского, на котором близкий друг Бунзена, Кестнер, очевидно, и вручил свои подарки. Кроме автопортрета и книги, Жуковский получил еще одно произведение Кестнера: портрет А.И. Тургенева со стихотворным посвящением поэту, написанным на паспарту¹.

Накануне, 12 (24) мая, Жуковский впервые посетил Кестнера. «Замечательное собрание всякого рода редкостей», – записал он в дневнике. Это были египетские, античные и римские древности, картины и рисунки эпохи Возрождения, резные камни, нумизматические коллекции и пр.² Весь день они провели вместе: от Кестнера отправились к немецкому скульптору Вольтреку, где, как писал А.И. Тургенев П.А. Вяземскому,



Август Кестнер. Автопортрет.
НИОР РГБ. Ф. 104.
«Reliques»

¹ Хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина (до 1953 г. был в музее Пушкинского Дома в собрании А.Ф. Онегина). См.: «Тень Пушкина меня усыновила...» Музей Онегина: каталог выставки. СПб-Болонья-Кембридж, 1997. С. 80. № 261. Портрет воспроизведен на с.79.

² Ценнейшее собрание Кестнер завещал своему племяннику, который, выполняя его волю, передал художественную коллекцию в дар городу Ганноверу. В 1889 г. был открыт музей, получивший имя Кестнера и являющийся до сих пор достопримечательностью его родного города.



Надпись на автопортрете Кестнера: «Bis auf ein Besseres, um Wort zu halten. Rom 25 May 1833» («До лучших времен, в соответствии с данным [мною] словом. Рим, 25 мая 1833 г.»)

<...> четыре художника работали над его [Жуковского] бессмертной головою. Кестнер¹ и Брюллов² списывали портрет его; два скульптора снимали бюст его: один (Лоч³. – Л.В.) по моему заказу, другой (Вольтрек⁴. – Л.В.) для себя, прельстившись его бессмертной головою и поверив нам, что и душа не хуже головы⁵.

¹ Портрет Жуковского работы Кестнера неизвестен.

² Акварельный портрет Жуковского работы К. Брюллова был начат в 1833 г. и закончен в 1835 г., когда художник подарил его П.А. Вяземскому, посетившему в Риме его мастерскую. Хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина.

³ Барельеф Жуковского работы И.-Х. Лоча выполнен в Риме в 1833 г. с участием В.А. Жуковского, собственноручно вырезавшего на нем цитату из стихотворения «Теон и Эсхин»: «Для сердца прошедшее вечно» – девиз его жизни. В музее Пушкинского Дома хранится металлический экземпляр барельефа (гальванопластика) из собрания В.А. Жуковского. См. воспроизведение в кн.: «Жизнь и Поэзия одно...». В.А. Жуковский. Изобразительные и документальные материалы из собраний Пушкинского Дома: альбом. СПб., 2013. С. 166 (каталог № 3).

⁴ Портрет Жуковского работы немецкого скульптора Франца Вольтрека неизвестен. В кафе Греко в Риме находится профильный барельеф А. Кестнера, выполненный Вольтреком. См. воспроизведение в кн.: Джулиани Р. «Девушка из Альбано». Виттория Кальдони-Лапченко в русском искусстве, эстетике и литературе. Рим, 2012. С. 21.

⁵ Письмо А.И. Тургенева П.А. Вяземскому от 1 июня (20 мая) 1833 г. // Архив братьев Тургеневых Вып. 6. Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Андреевичем Вяземским. Т. 1. 1814–1833 гг. [Петроград, 1921]; Лейпциг, 1976. С. 225.

В завершение «вечер у Волхонской (Потоцкая, Бунзен, Кестнер, Риччи). Пение». (запись в дневнике Жуковского от 12 (24) мая 1833 г.). Наверно, этот день и был началом дружбы, длившейся до смерти Жуковского (Кестнер пережил его на один год).

Познакомил их А.И. Тургенев, приехавший в Рим на полгода раньше. В письмах к П.А. Вяземскому, упоминая имя Кестнера, Тургенев пояснял: «сын Вертеровой Шарлотты». И это неудивительно: магия романа Гете была так велика, что даже в научном словаре художников Тиме-Беккера обширная статья о теоретике искусства и художнике-любителе Августе Кестнере (1777–1853), начинается так же: «Сын Иоганна Христофора Кестнера и Шарлотты, уродд. Буфф, оригинала Вертеровой Лотты».

Благоговейное поклонение Гете, которое возникло у Жуковского в юности под впечатлением книги «Страдания молодого Вертера», осталось навсегда. В Пушкинском Доме хранится лейпцигское издание «Вертера» 1787 г., подаренное Жуковскому Андреем Тургеневым¹; после внезапной кончины старшего друга эта книга стала для поэта заветом на всю жизнь. Две встречи с Гете, состоявшиеся в 1821 и в 1827 гг., сделали личность «доброе великое человека», каким он был для Жуковского, еще притягательнее.

Он прислушивается к слову Гете, записывает его речи, паломничает к нему, посещает, по его смерти, места, где он жил и писал, слушает рассказы о нем, приглядывается ко всем мелочам его обстановки, точно хочет вдуматься – и рисует в доме Гете!.. –

писал А.Н. Веселовский². После смерти Гете Жуковский приезжал в Веймар не менее восьми раз³. Последнее посещение было связано со столетием Гете, отмечавшимся в августе 1849 г.⁴ Он продолжал познавать любимого писателя через его друзей. Дневники Жуковско-

¹ *Goethe J.W.* Leiden des jungen Werthers. Leipzig: bey Georg Joachim Goshen, 1787.

² *Веселовский А.Н.* В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999. С. 175.

³ См.: *Никонова Н.Е.* В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. Томск, 2012. С. 113.

⁴ *Никонова Н.Е.* В.А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб., 2015. С. 133.

го – свидетельство тому: «Беседы о Гете», «Рассказ о смерти Гете», «Посещение могилы Гете», «Воспоминания о Гете и Наполеоне», «Рисунки Гете», «Дом Гете; рисовал в его кабинете»... Лица, окружавшие Гете, – канцлер фон Мюллер, Эккерман, фрейлина фон Штейн, графиня Генриетта Эглофштейн и ее дочь Юлия и еще многие стали друзьями Жуковского. «Вы прозрачны, милый Жуковский, – говорила графиня Разумовская, – люди к Вам привязываются быстро и прочно»¹. Так произошло и с Кестнером.

Когда четвертый сын супружеской пары Иоганна Кристиана Кестнера и Шарлотты Софии Генриетты, урожденной Буфф, Георг Август Кристиан Кестнер появился на свет 28 ноября 1777 г. в Ганновере, Гете написал: «Желаю большого счастья с увеличением семейства. Будет хорошо, если я однажды навещу вас, и Вы встретите меня с полдюжиной подобных фигурок». <...> Гете не приезжал в Ганновер и никогда не видел большую семью полностью. <...> Отец умер, не встретившись с другом юности из Вецлара, а мать увидела его только один раз в возрасте 63 лет, с трясущейся головой, по словам вдовы Шиллера –

так начинается книга М. Йорн, посвященная Кестнеру². Изучая юридические науки в Геттингенском университете, Кестнер одно-

¹ Письмо Г. Разумовской В.А. Жуковскому от 28 октября 1827 г. Цит. по: *Веселовский А.Н.* Поэзия чувства и «сердечного воображения». С. 278. Графиня Генриетта Разумовская, урожденная баронесса Мальсен (?–1827) – хозяйка салона в Париже, друг Жуковского и братьев Тургеневых; ухаживала за умирающим С.И. Тургеневым и была похоронена рядом с ним в Париже.

² *Jorns Marie.* August Kestner u. seine Zeit. 1777–1853. Das glückliche Leben des Diplomaten, Kunstsammlers u. Mäzens in Hannover u. Rom, aus Briefen u. Tagebüchern zusammengestellt. Hannover, 1964. [*Йорн Мария.* Август Кестнер и его время. 1777–1853. Счастливая жизнь дипломата, историка искусств, коллекционера и мецената в Ганновере и Риме: Из писем и дневников. Ганновер, 1964]. Мария Йорн (1883–1975) – историк, искусствовед, доктор наук; с 1924 г. – сотрудник музея Кестнера в Ганновере. Приношу самую большую благодарность Анне Владимировне Лебедковой, подарившей мне монографию Марии Йорн. Не зная немецкого языка, я не смогла бы воспользоваться этим изданием, если бы не помощь Наталии Иосифовны Казакевич, переводы которой я привожу. Низко кланяюсь ей за неоценимую услугу. Все нижеследующие переводы немецких текстов из других книг также выполнены Н.И. Казакевич.

временно слушал лекции по истории классического искусства, занимался в археологической библиотеке, брал уроки рисования, живописи и музыки, играл на фортепьяно и на гитаре, пел. Его веселый нрав, умение наслаждаться бытием, любовь к обществу были соединены со стремлением к духовному совершенствованию, к познаниям, прежде всего в области искусства, и к постоянным занятиям рисованием.

Впервые побывав в 1808 г. в Италии, он «заболел» ею и понял, что в искусстве – главный смысл жизни. Начиная с 1817 г. благодаря своей дипломатической должности он постоянно жил в Риме. В эпоху открытий древнего прошлого Италии Кестнер стал одним из основателей Археологического института в Риме (позднее Немецкий Археологический институт) и впоследствии его генеральным секретарем¹. Он был тесно связан с колонией немецких художников в Риме, был членом Академии Святого Луки, разделял взгляд на искусство художников-назарейцев, многие из которых были его друзьями, оказавшимися столь близкими Жуковскому². Кестнер известен и как меценат, поддерживавший молодых талантливых художников и скульпторов. Он любил участвовать в их веселых традиционных праздниках, устраиваемых в Кампанье, обожал музыку и театр (был знаком с Мендельсоном), все свободное от служебных дел время отдавал изучению искусства и рисованию, посещая ателье немецких и итальянских художников, которые относились к нему как к своему товарищу и дали ему прозвище «Страдания Вертера» из-за его хрупкой болезненной внешности.

Кестнер прославился тем, что открыл для художников Витторию Кальдони, внешность которой воплощала идеал классической красоты. Вот как он начинает рассказ «о прекрасной Виттории из Альбано» в своей книге «Римские этюды» (*Römische Studien*), глава IX. «Виттория. Прекрасная сборщица винограда из Альбано»:

¹ Кестнер сам участвовал в раскопках в окрестностях Неаполя. См. письмо А.И. Тургенева П.А. Вяземскому от 27 апреля 1833 г. из Чивита Веккиа: «Кестнер давно уже открыл здесь гробницу Этрурскую и нашел в ней живопись и несколько древних Этрурских сосудов» (Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Андреевичем Вяземским. С. 207).

² См. Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. С. 250–262.



Виттория Кальдони. Рисунок Кестнера. 1827 г.

Летом 1820 года, когда я проводил жаркие месяцы в Альбано <...> я увидел юную девушку, сидевшую перед маленьким домом и вязавшую. Она подняла глаза и вновь быстро вернулась к работе, но я успел увидеть ее лоб и глаза, и это мимолетное впечатление явило

мне ее столь совершенную внешность, что я был поражен. <...> Как цветок она встала перед нами, несмело отвечая, когда мы с ней заговорили, не понимая, почему мы к ней обратились, девственно скромная, несколько оробевшая от неожиданной встречи, но не выражающая беспокойства и смущения. Пораженные ее красотой, мы еще более поразились совершенством поведения этого создания, полного природной гармонии, которая ощущалась в тихом достоинстве чудесной красоты ее лица, проникая в глубину ее души¹.

Книга открывается портретом Виттории Кальдони, литографированным Казабене с оригинала Кестнера. Историю этого рисунка Кестнер излагает в той же главе (с. 89):

В течение восьми лет я тщетно старался достичь блестящей цели. <...> Однажды я избрал сюжетом ее профиль с правой стороны <...>. В этот момент под пеленой моего идеала мне явилась вся излучаемая из красивой головки божественность, соединившаяся в этом редком создании. Моя рука летала, сам не знаю как, и в несколько минут возник профиль, который, я предполагаю, можно считать Гебой, Минервой, Апполоном. Я вскочил, и мои друзья, работавшие вместе со мной, среди них Генерани и Штакельберг, выразили свое одобрение.

В справочниках и статьях, посвященных иконографии Виттории Кальдони, указано, что рисунок Кестнера, послуживший оригиналом для литографии, сгорел вместе с частью собрания музея в Ганновере в 1943 г. В Пушкинском Доме, в альбоме Жуковского, хранится карандашный профиль Виттории Кальдони, идентичный литографии Ф. Казабене. Судя по тому, что он выполнен на тонкой бумаге, он является копией (прорисовкой). Как известно из книги «Римские этюды», Кестнер занимался подобными повторениями своего

¹ *Kestner A. Römische Studien.* Berlin, 1850. S. 81. Эту книгу Кестнер послал Жуковскому, о чем пишет 20 февраля 1851 г. в своем последнем письме поэту: «Надеюсь, Вы получили несколько месяцев тому назад мои “Римские штудии”». Книги нет в библиотеке Жуковского, ее мог оставить себе сын Жуковского, Павел Васильевич, – художник, влюбленный в Италию. Благодарю Наталью Егоровну Никонову за предоставленное письмо Кестнера.

рисунка, поэтому можно считать, что эта копия была сделана им для Жуковского¹.

Там же, в Пушкинском Доме, находится, принадлежавший Жуковскому портрет матери Кестнера, повторяющий в технике гуаши в уменьшенном размере портрет работы И.Х. Шредера (пастель, 1782 г., хранится в музее Гете во Франкфурте-на-Майне, раньше принадлежал семье Кестнеров). Если Жуковский видел его в доме Августа Кестнера в Риме, то загадочная надпись на подаренном автопортрете могла быть обещанием сделать копию с портрета матери в молодости с оригинала Шредера.

В 1838 г. Жуковский оказался в Риме во второй раз, сопровождая великого князя Александра Николаевича. Благодаря Кестнеру он представил наследнику многих немецких и итальянских художников, которые получили заказы и пополнили своими произведениями собрание Эрмитажа². Более длительное пребывание в Риме – с 4 декабря 1838 г. по 31 января 1839 г. – способствовало сближению поэта с его здешними друзьями, и с Кестнером в их числе, с которым он встречался постоянно начиная со дня приезда. В доме Кестнера, кроме «собрания редкостей», можно было увидеть и другие сокровища: силуэт Шарлотты Буфф, выполненный Гете, ее поэтический портрет кисти Шредера и, наконец, письма Гете, адресованные не только родителям Августа Кестнера, но и ему самому.

Кестнер виделся с Гете всего один раз, поскольку после ранней смерти отца (в 1800 г.) переписка и связь поэта с семьей Кестнеров прекратилась (все, кто читал роман Т. Манна «Лотта в Веймаре», помнят о неудачной встрече Гете и Шарлотты, состоявшейся через 44 года после его бегства из Вецлара), но судьба самым неожидан-

¹ См. воспроизведение в кн.: «Жизнь и Поэзия одно...». В.А. Жуковский. Изобразительные и документальные материалы из собраний Пушкинского Дома. С. 166 (каталог № 184). Портрет был определен благодаря кн.: *Giuliani R. Vittoria Caldoni Lapcenko. «La Fanciulla di Albano» nell'arte, nell'estetica e nella letteratura russa.* Roma: La Fenice edizioni, 1995. Книга была подарена автором музею Пушкинского Дома в 1997 г. Пользуюсь возможностью поблагодарить Риту Джулиани за русский вариант этой книги (Roma: Gangemi Editore, 2012), присланный мне в подарок, и выразить особую признательность за ее доброжелательное отношение и безотказные ответы на многие вопросы.

² Это большая тема для отдельного рассмотрения.

ным и трагическим образом соединила великого поэта в конце жизни с сыном его прославленной героини.

В 2007 г. была впервые полностью опубликована переписка Гете и Августа Кестнера, состоящая из четырех писем Гете и пяти писем Кестнера¹. Она началась в 1828 г., когда умерла мать Кестнера, Шарлотта. Гете, узнав об этом, почтил ее память весьма неординарным способом, послав с оказией Августу Кестнеру две медали со своим портретом и не сопроводив подарок ни единым словом. Кестнер писал своей сестре Шарлотте:

Подумай только как дружественен Гете! Он прислал мне с профессором из Йены, который прибыл в Рим, медаль со своим прекрасно исполненным портретом. Он должен уже знать о нашем печальном событии, так что это не что иное, как сердечный привет в знак сочувствия².

В ответ он посылает в Веймар три рисунка:

<...> портреты, хотя в высшей степени несовершенные, исполненные моей неопытной рукой, но, по моему представлению, лучшие, которыми я обладаю, а именно портреты Рафаэля, прекрасной Виттории и моей матери. <...> Я хотел бы этим выразить сердечную благодарность, которой я преисполнен за драгоценный подарок Вашего Превосходительства <...> мне льстит утешительная мысль видеть в этом единение с нашей общей скорбью³.

Ответа не последовало. Через полтора года Гете обратился к Кестнеру с просьбой позаботиться о 16-летнем художнике Фридрихе

¹ *Rahmayer Ruth*. «So viel für diesmal...». August Kestner – Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel 1828–1831. OLMS, 2007. Книга отсутствует в библиотеках России. Электронную версию мне прислала Наталья Егоровна Никонова, за что приношу ей большую благодарность.

² *Письмо* А. Кестнера сестре Ш. Швейцер от 8 марта 1828 г. Цит. по: *Rahmayer Ruth*. «So viel für diesmal...». August Kestner – Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel 1828–1831. S. 33. № 1.

³ *Письмо* Кестнера Гете от 5 августа 1828 г. // *Rahmayer Ruth*. «So viel für diesmal...». August Kestner – Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel 1828–1831. S. 33.

Преллере, отправляющемся в Рим учиться, что охотно выполнил его новый корреспондент.

В сентябре 1830 г. в Рим приезжает сын Гете Август, путешествующий по Италии.

Его первый визит после визита к прекрасному соотечественнику Преллеру был ко мне, и я показал бы ему весь Рим, если бы он, увы! не расстался с нами так скоро, –

пишет Кестнер 28 октября 1830 г.¹, посылая Гете «скорбный рассказ» об обстоятельствах внезапной смерти его сына. Он описывает каждый день, проведенный с Августом, с которым они быстро стали друзьями: осмотр достопримечательностей Рима и знаменитых вилл, встречи с давним другом Гете Торвальдсеном, поездку в Альбано, где они остановились в доме знаменитой Виттории Кальдони, профиль которой Кестнер послал в Веймар в своем первом письме. Здесь у Августа Гете появились первые признаки болезни, принятой за простуду. По возвращении в Рим Кестнер пригласил лучшего «искуснейшего» врача, который поставил диагноз скарлатины и не сомневался в положительном исходе, но 27 октября 1830 г. больной скончался от апоплексического удара на руках у Преллера.

Вся тяжесть и ответственность за проведение похорон выпали на долю Кестнера:

Только два дня было в его распоряжении, чтобы организовать достойные похороны. Это происходило в присутствии саксонского и прусского посольств и большого количества числа скорбящих друзей, среди которых были почти все молодые художники немецкой колонии и бесчисленные путешественники, которые узнали об этом. Траурный поезд из 6 карет двигался 29 октября от палатцо Томати к Протестантскому кладбищу (Некатолическому кладбищу), где Кестнер выбрал для сына Гете могилу напротив Пирамиды Цес-тия².

¹ См.: *Письмо* Кестнера Гете от 28 октября 1830г. // «So viel für diesmal ...». August Kestner – Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel 1828–1831. S. 46–51.

²«So viel für diesmal...». August Kestner – Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel 1828–1831. S. 25. Выбор места для погребения был сделан не слу-

Свое письмо к Гете Кестнер отправил канцлеру Мюллеру с тем, чтобы тот предварительно прочитал его и решил, как лучше сообщить о происшедшем несчастному отцу. Одновременно он принял меры, предотвращающие распространение печального известия посредством газет, запретил пребывавшим в Риме немцам писать первые восемь дней об этом печальном событии. Он просил фон Мюллера сделать все, чтобы Гете не узнал из прессы о смерти сына. Весть достигла Веймара 10 ноября, и в тот же день канцлер Мюллер рассказал о случившемся Гете, но письмо передал только через пять дней. О невероятном самообладании как об одной из приметнейших черт характера Гете известно от Эккермана. В данном случае потребовались такие душевные силы, что через несколько дней у Гете пошла горлом кровь, как некогда при нервном потрясении в юности, и врачи опасались за его жизнь. Даже самым близким людям нельзя было говорить с Гете о смерти сына. Но Кестнеру он должен был ответить, чего бы это ему не стоило. Большое, необыкновенно искреннее письмо от 27 декабря 1830 г. начиналось с признания:

Чем дольше я откладываю, дражайший друг, письмо к Вам, тем тяжелее мне это становится, и могло бы стать наконец совсем невозможным, если бы я не решился высказать все именно так, как это приходит мне на ум. Это тяжелая задача, после столь значительных несчастий – снова собраться с силами и взять себя в руки, так как приходит сознание, кому, собственно, я обязан большой благодарностью, хотя одновременно понимаешь, что слова недостаточны, чтобы ее выразить¹.

Он подробно рассказывает, с каким волнением следил за путешествием своего сына, предпринятым в надежде поправить здоровье и укрепить психическое состояние; о многочисленных обязанностях, «поэтических и научных», а также общественных и домашних, которые умножились после смерти сына; о своей внушающей опасе-

чайно: В изданных в 1806 г. «Римских элегиях» в заключительных стихах VII элегии Гете писал:

Здесь, Юпитер, меня потерпи; а после Меркурий,

Цестиев склеп миновав, гостя проводит в Аид.

¹ *Письмо* Гете Кестнеру от 27 декабря 1830 г. // «So viel für diesmal...». С. 53.

ние болезни; Гете не раз повторяет слова благодарности Кестнеру за дружеское отношение к сыну, за содействие, заботу, помощь, волнение по поводу корреспонденции и просит выразить глубокую признательность римским доброжелателям и друзьям за все, что было сделано для его сына в течение недолгих дней, сначала радостных, а потом мучительных, и за все, что было организовано после его кончины.

Из последующих писем Кестнера становится известной история памятника на могиле Августа Гете, поставленного по проекту Торвальдсена с надписью на стеле, сочиненной Гете на латинском языке: «Гете сын умер раньше отца в 40 лет. 1830». Последнее письмо Гете, посланное 29 июля 1831 г., обрывается на фразе «Так много за это время...», которую составитель использовал для названия книги, посвященной этой внезапно возникшей и столь же внезапно прерванной переписке. Гете пережил сына на два года, скончавшись от простуды в марте 1832 г. Но на этом не закончилась история взаимоотношений Августа Кестнера и автора «Вертера» – книги, о которой сам Гете говорил, что «она начинена взрывчаткой»¹. Роман, изданный более пятидесяти лет тому назад, по-прежнему владел сердцами читателей.

Художники римской немецкой колонии, видевшие трогательное отношение Кестнера к Августу Гете, заботу, проявленную во время его болезни, и принятое им на себя устройство торжественных похорон, сделали вывод, что он является незаконным сыном поэта. Благоговей перед памятью матери и желая защитить ее честь, Кестнер решил издать письма Гете к родителям, хранившиеся в семейном архиве, – 138 писем, свидетельствующих о том, что после 1772 г., когда Гете покинул Вецлар (место действия романа), а это было за пять лет до рождения Августа Кестнера, их отношения перешли в эпистолярную дружбу. Книга, названная «Гете и Вертер»², начиналась с портрета Шарлотты, гравированного по оригиналу

¹ «Я всего один раз прочитал эту книжку после того, как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла» (*Эккерман И.-П.* Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Калининград, 1999. С. 468).

² *Goethe und Werther.* Stuttgart: J.G. Cotta, 1854.

Шредера (или, скорее, по уменьшенной копии, выполненной Кестнером). В качестве иллюстраций были приложены два силуэта: Шарлотты Буфф, исполненный Гете, и его собственный, неизвестного художника, а также факсимильное воспроизведение готического автографа стихотворения «К Лотте».

К сожалению, эту книгу не увидел не только Жуковский, но и сам Кестнер, так как она вышла в свет после смерти их обоих в 1854 г. Это не значит, что Жуковский не читал писем Гете. Кестнер начал готовить их к изданию в начале 1830-х гг., и в 1834 г. познакомил с ними своих друзей-художников П. Корнелиуса и Ф. Платнера, которые, как пишет Кестнер сестре Лотте,

<...> были свехвосхищены письмами Гете и, равным образом, прекрасными характерами наших обоих родителей, и даже считают нашим долгом вынести на свет для мира это сокровище во славу наших родителей и самого Гете, которого ни один человек не знает так хорошо¹.

Книга вызвала небывалый отклик, что заставило тут же приступить ко второму ее изданию (1855 г.). Она стала самой известной публикацией Кестнера. Не напрасно в свои последние часы он сказал своим близким, что считает издание писем Гете своим святым долгом. Он был опечален тем, что должен покинуть мир: «Я мог бы еще так прекрасно жить и сделать много хорошего, и многим помочь», – говорил этот добрый человек². Похороны были очень торжественными. Более пятидесяти экипажей образовали траурный поезд, который медленно двигался к кладбищу Тестаццо. Немецкие художники спели хорал... Весь Рим знал министра Ганновера в течение 37 лет. У него не было ни одного врага, простые люди восклицали: «Какой добрый синьор!»³

В заключение приведем (с некоторыми купюрами) слова биографа Кестнера Марии Йорн из предисловия к ее книге:

¹ *Jorns M.* August Kestner u. seine Zeit. S. 262.

² Там же. S. 465.

³ Там же. S. 467–468.

Август Кестнер и сегодня сохраняет непреходящее значение благодаря своим большим коллекциям, которые служат основой музея Кестнера в Ганновере, благодаря своему отношению к Гете, в котором Кестнер проявил себя как сын Лотты, благодаря его общению со многими художниками, учеными и политиками, на жизнь которых он пролил свет в своих рисунках и письмах, и благодаря его собственным публикациям, посвященным произведениям искусства¹.

¹ *Jorns M. August Kestner u. seine Zeit. S. XI.*

Э.М. Жиликова
(Томский государственный университет)

ВБЛИЗИ ЖУКОВСКОГО: ФРАНСУА ГИЗО В ПЕРЕВОДАХ А.П. ЕЛАГИНОЙ И Г.С. БАТЕНЬКОВА

Изучение круга интересов, деятельности и личной жизни людей, окружавших В.А. Жуковского, дает ценный материал для характеристики эпохи, содержания творчества поэта и во многом служит объяснением причин духовного притяжения людей целого поколения.

Личность Авдотьи Петровны Елагиной (1789–1877) занимает исключительно важное место в жизни и творчестве Жуковского. Об этом свидетельствует их переписка длиной в полвека¹.

Племянница, с юных лет подруга поэта и сестер Протасовых, мать двух выдающихся деятелей русской культуры – Ивана и Петра Киреевских, хозяйка знаменитого московского салона, где собирались выдающиеся люди 1840-х гг., Елагина вошла в историю культурной жизни России как представитель русской просвещенной интеллигенции, характеризующейся широтой эрудиции, гуманностью, глубиной исторических и философских познаний, тонкостью художественного вкуса и чистотой нравственных принципов². Преданный друг поэта, советчик, вдохновенный и восторженный почитатель его поэтического таланта, Елагина, как и ее дети, на протяжении всей жизни испытывала благотворное влияние Жуковского. Круг интересов поэта и его друзей, среди которых были братья Тур-

¹ См.: *Переписка* В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. Далее тексты писем Елагиной даются по этому изданию с указанием в скобках: *Переписка* и номера страницы.

² См.: *Кавелин К.Д.* Авдотья Петровна Елагина // *Русское общество 30-х годов XIX века*. М., 1989. С. 139–141; *Бартнев П.И.* Авдотья Петровна Елагина // *Русский архив*. 1877. Кн. 2. С. 492–495. *Канторович И.* Салон Авдотьи Петровны Елагиной // *Новое литературное обозрение*, 1998. № 30. С. 165–209.; *Сахарова Л.Г.* Семейство Елагиных – Киреевских и их культурные связи: (По письмам и воспоминаниям) // *Забелинские научные чтения*. 2001. Вып. 134. М., 2002. С. 171–185.

гены, П.А. Вяземский и лучшие светлые умы русского и европейского общества, во многом определял формирование и развитие ее личности. Сфера творческой деятельности Елагиной была связана с педагогикой, с вопросами нравственного воспитания личности в семье, где исключительная роль отводилась женщине¹. Разработка этой, казалось бы, «семейной» проблемы приобретала в творчестве Елагиной высокий гражданский смысл, поскольку категории нравственные рассматривались ею с позиции общественной значимости. Своеобразие концепции Елагиной ярко проявилось в ее выборе для перевода эссе «О милосердии, о христианской любви в жизни женщины» (1828)², автором которого была Элиза Гизо (урожд. Диллон, 1804–1835), вторая жена Гизо, бывшая племянницей Паулины де Мелан (1773–1827), его первой жены, известной французской писательницы-моралистки³.

Авторство же перевода «исторического очерка» «Любовь в супружестве» (1855), принадлежащего перу самого Франсуа Гизо (1787–1874), историка и политического деятеля Франции, на сегодняшний день представляется не совсем ясным. Рукописный текст перевода очерка хранится в РГАЛИ (Ф. 236. Оп. 3. № 2. Л. 1–34 с оборотами) и имеет формулярное заглавие: «Елагина А.П. Любовь в супружестве. Исторический очерк. Список рукой М.В. Киреевской. 1830–1840-е гг.». Ошибочной является датировка перевода: очерк Ф. Гизо «L'Amour dans le mariage» был опубликован в 1855 г.⁴ В письме к Е.И. Якушкину от 27 мая 1857 г. из Петрищева, где в это время Г.С. Батеньков проживал в семействе А.П. Елагиной по возвращении из томской ссылки, он сообщает:

¹ См.: Жиякова Э.М. Переписка А.П. Елагиной и В.А. Жуковского как памятник русской культуры первой половины XIX века // Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. С. 663–665.

² Дата публикации эссе во Франции устанавливается на основании номинации перевода (без указания автора), опубликованного в 1862 г.: «О милосердии и о том, сколько оно нужно в жизни женщины. Письмо г. Е. Гизо. Писано в 1828 году. М., 1862. В типогр. В. Грачева. 21 с.».

³ В библиотеке В.А. Жуковского хранятся два тома педагогических трудов Паулины Гизо: *Guizot P. Lettres de famille sur l'éducation. Par M-me Guizot. 3. Ed. T. 1–2. Paris, 1841.*

⁴ *Guizot F. L'Amour dans le mariage // Revue des Deux-Mondes (livraison du 1 mai 1855). Paris, 1862.*

Мои «Поселенцы», довольно эксцентрические, сомнительно, чтоб могли быть напечатаны, а я взялся для «Вестника» за дело, еще этого хуже, а именно за обозрение «правительственной архитектуры» Сперанского, а между тем за другое прочее. Одну еще новую переводную статью, довольно интересную, надеюсь привезти с собою. Это эпизод из Английской истории смутного времени, объемлющий биографию леди Россель, жены обезглавленного в это время»¹ (курсив мой. – Э.Ж.).

Очевидно, что речь идет об «историческом очерке» Гизо, но не указано точно, кому принадлежит авторство перевода. Если исходить из контекста, то это перевод Г.С. Батенькова. Но это могла быть и работа А.П. Елагиной, часто не подписывавшей свои переводы. Тем более что в это время вся семья Елагиной занималась переводами, в том числе и оставленными покойным П.И. Киреевским. Е.И. Елагина сообщала о переводах П.И. Киреевского:

Больше всего занимал его в последнее время проект переводов на русский язык всех исторических книг, сколько-нибудь замечательных. <...> Он много писал о необходимости возбуждения умственной жизни, о причинах спячки и равнодушно-вялой сонливости².

О совместной работе Елагиной и Батенькова свидетельствует автограф перевода А.П. Елагиной VI главы «Истории византийской империи» Шарля Лебо³, которым усердно занимался Батеньков в Петрищеве. И наконец, немаловажным является то обстоятельство, что рукопись написана рукой А.П. Елагиной, а не ее дочери, как это указано в описании рукописи, хранящейся в РГАЛИ. Таким образом, авторская принадлежность перевода «исторического очерка» Ф. Гизо, выполненного в 1857 г. в Петрищеве, двум этим людям,

¹ Батеньков Г.С. Сочинения и письма (1856–1863). Т. 2. Иркутск, 2015. С. 278. Далее в тексте цитаты приводятся по этому изданию с указанием в скобках: Батеньков 2015 и номера страницы.

² Власова З.И. Письма Е.И. Елагиной к И.С. Аксакову // Памятники культуры: Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 54.

³ РГБ. Ф. 99. Картон 11. № 31.

кровно связанным с событиями 14 декабря 1825 г., является неоспоримым фактом.

Обращение Елагиной и Батенькова к произведениям, воплотившим в себе принципы и пафос французской оппозиционной доктрины, представляет важное свидетельство одной из форм взаимодействия идей, рожденных эпохой Французской революции и Реставрации, с русской общественной мыслью.

Основу сюжета «исторического очерка» составляют события в Англии XVII в.: противостояние патриотически настроенной аристократии во главе с лордом Росселем¹ и Шефтсбери правлению Карла II. Методологической основой обращения к очерку Ф. Гизо, как в свою очередь внимание французского историка к сюжету из английской истории с целью осмысления современности, явилась философская доктрина Гизо, в частности понимание цивилизации как процесса «непрерывного совершенствования человечества»². Эту мысль высказывал Батеньков в письме к М.А. Корфу 18 мая 1857 г., объясняя необходимость перевода 22-томного Собрания сочинений Ш. Лебо:

Мне всегда казалось, что русская история, примыкая к византийской одной из главных сторон и составляя в некотором отношении наследие ее и продолжение, требует для собственной своей полноты обозрения того пространства, на котором означаются истоки всех новых народов и самой церкви (Батеньков 2015. С. 272).

Имя и исторические труды Ф. Гизо в ближайшем окружении Жуковского привлекли к себе всеобщее внимание, особенно в 1820–1830-е гг.³ Этот интерес был связан со стремлением русских читателей понять и объяснить ход революционных потрясений в Европе и

¹ Примеч. ред.: современная транскрипция фамилии – Рассел. Однако в XIX – начале XX в., в том числе в словаре Брокгауза и Эфрона (ср.: «Россель (Russel) – англо-норманнская семья, известная с XII в., имя ее происходит от местечка Ле Розель (Le Rozel) в Нормандии»), была принята используемая в данной работе историческая транскрипция «Россель».

² Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. Л., 1956. С. 177.

³ См.: Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и Великая французская революция // Великая французская революция и русская литература. Л., 1990. С. 119–121.

России¹. В библиотеке Жуковского среди книг Ф. Гизо находится «История цивилизации в Европе» издания 1828 г.² с многочисленными карандашными подчеркиваниями и записями на полях.

В «Дневнике» А.И. Тургенева, лично знавшего Ф. Гизо, неоднократно встречавшегося и беседовавшего с ним, 29/17 октября 1825 г. сделана запись, свидетельствующая о его огромной симпатии к личности французского историка:

<...> кончил вечер с гр. Раз<умовской> у Гизо в кругу его семейства и друзей <...>. Общество сие напомнило нам семейство Кар<амзиных>. И здесь ум и благородство души отличительные черты: Гизо был factotum не только в Министерстве внутр<енних> дел, но в Министерствах, при Деказе, не имея никакого состояния, кроме жалованья, коего получал до 60 т<ысяч> фр<анков> и квартиру и почести; и все оставил и предпочел бедность перемене правил в управлении. Примеры сии редки в наше время. Теперь живет сочинениями умной жены и своими, сохраняет независимость правил при всей зависимости недостатка в средствах жизни. Предметы разговора менялись, но обращались почти всегда к России... <...> Гизо живет в двух или трех комнатах; в маленькой комнате, где мы едва могли уместиться, кажется и спальня их, а подле ее уютная столовая, или прихожая, как угодно. Но совесть его спокойна...³

¹ В 1826 г. в компании с А. и С. Тургеневыми поэт изучает «Историю французской революции» Минье и «Историю английской революции» Гизо. О совместном чтении этих произведений А.И. Тургенев писал 17 октября 1826 г. Н.И.Тургеневу: «После обеда обыкновенно читаем мы все трое вместе: я чтец, а Жуковский и брат слушатели» (*Янушкевич А.С.* Указ. соч. С. 120).

² *Guizot François Pierre Guillaume. Cours d'histoire moderne. Par M. Guizot. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'à révolution française.* Paris, 1828. Текст этого сочинения цитируется по русскому переводу: *Гизо Франсуа.* История цивилизации в Европе. Минск, 2005, с указанием в скобках: *Guizot F.*, номера лекции и страницы вышеописанного французского издания.

³ *Тургенев А.И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826). М.; Л., 1964. С. 334. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием в скобках: *Тургенев* и номера страницы.

В «Хронике русского» (Париж), опубликованной в «Современнике» 1836 г. (Т. IV), А.И. Тургенев дал высокую оценку деятельности Ф. Гизо:

<...> знаменитого, блестящего представителя не только французской учености, но и европейского всеобщего просвещения. Он редкое явление во Франции: Гизо не чужды ни одна из словесностей, ни одна из цивилизаций, коими Европа сделалась Европою. Он знает немцев и их общие идеи, их теории; он историк Англии; он оратор и министр Франции <...> (Тургенев. С. 93–94).

О трудах Ф. Гизо с подчеркнутым уважением в 1830 г. в статье «Обозрение русской словесности 1829 года» писал сын Елагиной И.В. Киреевский:

Литературно-критические сочинения Гизо обнаруживают еще не примиренную борьбу нового германского учения с прежними мнениями французов; но исторические его лекции дышат системою связною, полною, глубокою и занятою совершенно у новейших немецких философов, хотя новое развитие сей системы, его полнейшее и часто гениальное применение к жизни средних веков, делают Гизо одним из оригинальнейших французских мыслителей¹.

Имя лорда Росселя упоминается в Дневнике Тургенева 2 (14) февраля 1826 г. в связи с посещением выставки британских художников в Британском институте (Лондон):

Большая картина <...> изображает суд над лордом Вильгельмом Русселем (The trial of Wiliam Lord Russel, at the Old Bailey) в 1683 году, писанная Hayter'ом. Подсудимый изображен говорящим, и на лице его выражены твердость духа и негодование. Внизу женщина записывает, кажется, слова его и страшится пропустить смелые опровержения доносчиков, кои на особой <скамье> шепчут друг с другом. Не зная еще ни предмета картины, ни значения лиц, на ней изображенных, я угадал жену его (Lady Rashel Russel), по вниманию ее, по участию, которое выражено в глазах ее, устрем-

¹ Киреевский И.В. Обозрение русской словесности 1829 года // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 68.

ленных к говорящему. В расположении комнаты, в костюме – нет никакой перемены. Кажется, и теперь видишь то же в Old Bailey, что было при лорде Русселе, изменился токмо один дух народа, свободою и законами возрожденного (Тургенев. С. 420).

Описание картины проникнуто симпатией Тургенева к государственному «преступнику» (в лице отмечаются «твердость духа и негодование») и его верной жене. В заключительной строке делается намек на высокую цель деятельности Росселя во имя английского народа, дух которого, по словам Тургенева, возрожден «свободою и законами». Если принять во внимание дату записи – февраль 1826 г., когда в России шел процесс над декабристами, в списке которых был означен и Николай Иванович Тургенев, то в тургеневском описании картины легко угадывается его политическая аллюзионность.

Таким образом, личность и судьба лорда Росселя, участника противоправительственного заговора в Англии 1683 г., в восприятии А.И. Тургенева, ближайшего друга В.А. Жуковского и А.П. Елагиной, брата декабриста Николая Тургенева, была в 1826 г. соотносена с событиями в России. Но эта политическая по содержанию аналогия носила скрытый характер. Можно добавить, что в книге «История цивилизации в Европе» (1828) из собрания библиотеки Жуковского, испещренной пометами в первых шести лекциях, в 13-й лекции дана характеристика деятельности Росселя и его партии¹, но это рассуждение не отмечено.

¹ Ср.: «Наступило, однако, время, когда продажность, низкопоклонность, пренебрежение народных прав и чести, постоянно увеличиваясь, сделались решительно невыносимыми для народа. Против правительства придворной партии произошло всеобщее восстание. В палате общин образовалась партия, носящая название национальной. Ее предводителей король решил назначить своими советниками. Тогда власть перешла в руки лорда Эссекса, отец которого, лорд Кэмпель, был одним из добродетельнейших роялистских мучеников во время междоусобной войны, лорд Уильям Россель и лорд Шефтсбери, который, имея нравственных качеств Эссекса и Росселя, превосходил их в политическом искусстве. Но, приняв на себя управление страной, национальная партия оказалась неспособною к этому. Она не сумела овладеть нравственными силами страны и не сумела избежать столкновения с интересами, привычками, предрассудками короля, придворных и других людей, с которыми ей приходилось иметь дело. Ни королю, ни народу она не внушила высокого мнения о своей энергии и ловкости; после кратковременного владычества она потеряла окон-

Однако повышенный интерес Ф. Гизо к истории лорда Росселя и его новое обращение к ней в середине 1850-х гг. не остались в России без внимания. В 1855 г., после завершения работы над третьей частью «Истории революции в Англии» (1854), Гизо напечатал очерк «L'Amour dans le mariage» («Любовь в супружестве»). Именно этот очерк был переведен в Петрищеве и явился важным документом, характеризующим общественную и нравственно-философскую позицию недавнего узника – Г.С. Батенькова и его верного друга – А.П. Елагиной.

Судя по письмам к Жуковскому, Елагина с момента начавшихся арестов декабристов оказалась в эпицентре драматических событий, разыгравшихся в семьях арестованных. Ее письма полны тревоги, сострадания и надежды облегчить их участь с помощью Жуковского. На протяжении всего 1826 г. она неотступно просила поэта помочь арестованным участникам восстания и их родственникам. Обращаясь к Жуковскому с просьбой «дать какую-нибудь отрадную весть» Н.Н. Шереметевой, у которой был арестован зять – И.Д. Якушкин, Елагина рассматривала участие поэта в спасении декабристов как исполнение нравственного долга:

Но деятельность вашему сердцу необходимое чувство во время скорби других: и я смею просить у вас утешения всякому страдающему. <...> Пускай и к вам кто приходит, тоже не отходит, Бесценная душа моя! – Ежели для меня вы не в лучах, то чуть-чуть недостает: не удивляйтесь, ежели на вас взыскиваю все, что есть лучшего в мире: отрада печальному – ведь и ваше милое сердце все, что есть лучшее в мире: где же искать кроме него то, что только с неба получаем? – Напишите мне, пожалуйста, что-нибудь об Алексее Чер-

чательную неудачу. Доблести ее предводителей, мужество их, геройская смерть возвысили их в истории, и по всей справедливости дали им в ней почетное место; политические способности лучших людей этой партии не соответствовали добродетели их. Они не знали, как воспользоваться властью, оболщания которой не могли испортить их; им не удалось доставить торжество делу, за которое они лишь сумели умереть» (*Гизо Ф.* История цивилизации в Европе Минск, 2005. С. 327–328).

касове, чтобы я могла передать Леночке: они сокрушаются, – Жуковский, ведь это Марья Алексеевны дети (*Переписка*. С. 283)¹.

В апреле 1826 г. Елагина сопроводила письмом к Жуковскому в Петербург Н.Д. Фонвизину, жену заключенного в Петропавловскую крепость декабриста, с тем, чтобы поэт поспособствовал их свиданию. В июле 1826 г., сообщая о предстоящем приезде царя в Москву на коронацию, Елагина замечает: «<...> я увижу вашего воспитанника, и как бы рада была радоваться! Но строгое осуждение растерзало мое сердце; кругом меня отчаяние, стон: матери, жены, братья, все в жестокой скорби» (*Переписка*. С. 290).

Предметом особой тревоги и заботы была судьба Г.С. Батенькова, военного товарища мужа по участию в войне 1812 г. и преданного друга елагинского дома. Письма Батенькова к Елагиным, и лично к Авдотье Петровне, до событий 1825 г., говорят о глубине и искренности их дружбы. Планы жизни «вместе»² основывались на глубоком доверии и взаимопонимании. Елагины ввели Батенькова в круг Жуковского. Поэт и будущий декабрист восторженно отзывались друг о друге³. Елагины были осведомлены о настроении Ба-

¹ Черкасов Алексей Иванович (1799–1855), барон, воспитывался в университетском благородном пансионе, затем в Московском училище для колонновожатых, член Южного общества, арестован 2 января 1826 г., осужден на каторжные работы в Сибирь. Отец его – «Володьковский» барон, И.П. Черкасов, мать – Марья Алексеевна Черкасова, соседка по Долбину и ближайшая приятельница Авдотьи Петровны и Жуковского.

² Ср.: «Если б располагал я свободным капиталом, то не было бы затруднений; я поселился бы около вас и, будучи таким образом *вместе*, по крайней мере по направлению всех средств, считал бы это особенным счастьем. <...> Дети ваши так близки к моему сердцу, как сами вы. <...> Друг ваш, может быть, и мечтатель, но мечты его необходимы для его счастья и покоя. Он любит предполагать в людях нечто выше обыкновенного и уважать душу и сердце, хотя бы все побочное было не так. Как ему хочется, и хотя бы судьба непрерывно зияла злобою» (*Батеньков Г.С. Сочинения и письма*. Иркутск, 1989. Т. 1. С. 151–152. Далее цитаты приводимые по этому изданию, даются с указанием в скобках: *Батеньков 1989* и номера страницы).

³ См. письма Жуковского к Елагиной от 19 мая, 17 июня, 12 ноября 1823 г., 29 декабря 1825 г. (*Переписка*. С. 258, 259, 261, 280) и письма Батенькова к А.А. Елагину от 12 сентября 1822 г., А.А. и А.П. Елагиным от 25 мая 1823 г. и 20 янв. 1825 г., А.А. Елагину от 21 апреля 1825 (*Батеньков 1989*. С. 168, 194).

тенькова – его недовольстве современными порядками¹, решением оставить государственную службу², поисками высокой цели жизни³. В письме от 18 декабря 1825 г. Батеньков сообщал друзьям о своем участии в восстании.

В апреле 1826 г. Елагина спрашивает Жуковского: «Что наш бедный Батеньков? Напишите ко мне одной об нем, если ему дурно» (*Переписка*. С. 285). В письме от 1 мая 1826 г., за несколько дней до отъезда Жуковского за границу, Елагина заклинала помочь Батенькову:

Ежели мой приезд или приезд мужа моего необходимы, чтобы вам действовать, то я, несмотря на мою болезнь, от которой я не выхожу из дому, и на болезнь крестника вашего, явлюсь к вам и буду делать все, что только возможно для нашего спасения. Я говорю *нашего*, вы знаете, сколько сердце мое растерзано его обстоятельствами, неужели на *милость* Государя надеяться невозможно? Друг мой, употребите все ваши силы для вашей сестры; я вас никогда ни о чем не просила, теперь я прошу и требую вашего ходатайства (*Переписка*. С. 287).

В тяжелые и роковые дни суда над декабристами, 19 июня 1826 г., Авдотья Петровна писала мужу о решении суда по поводу декабристов, в том числе Батенькова, вступалась за Жуковского, не допуская мысли о его нежелании помочь их другу:

За Жук<овского> обнимаю тебя. Не за моего Жука, о котором ты, не знаю отчего, крепко дурно стал думать, но за позволение

¹ Батеньков – А.П. Елагиной 2 июня 1822 г.: «С некоторого времени мне становится грустно – именно потому, что я как бы отстал от вас, будучи исполнен чистойшею дружбою, беспрестанно желая вырваться из своей неволи, чтоб подышать с вами животворным воздухом свободы, – сижу как безногий на ветхих своих креслах и всасываю яд коварства, зависти, непостоянства, которым все служебное напитано» (*Батеньков 1989*. С. 167).

² Батеньков – А.А. Елагину 13 ноября 1825 г.: «Служить более я не намерен» (Там же. С. 207).

³ Батеньков – А.П. Елагиной 9 апр. 1825 г.: «Никогда я не спрашивал так часто, как ныне, самого себя: для чего я живу? для чего я тружусь? для чего я борюсь? для чего я... и проч. и проч.» (Там же. С. 194).

сделать возможное для его питомца. <...> Все эти дни я расстроена была печатным донесением следств<енной> Комиссии. Оттого и в среду ничего не написала. Ему не спастись! Но даже по обвинению видно, что у него есть враги, которые его губят; везде слова и больше ничего. – Штейнгель мерзавец, кажется, он всех больше на него показывал. – Надобно иметь в готовности некоторую сумму, на всякий случай, авось ему пригодится! – Слава Богу! что мы дом не купили! – Нельзя прояснить, какое ужасное чувство потрясло душу, когда увидела имя его *печатное* и как! С тех пор, точно глядеть ни на кого не хочется, и как-то стыдно; хотя он невинен! точно невинен! Что он желал, того желать должен всякий благонамеренный человек. – Но я от *суда* ничего не надеюсь. Его хотят погубить! – Боже мой! Неужели для того сохранил его от 13 ран штыками, от смерти за Отечество!¹

В письме определенно выражены солидарность Елагиной с Батеньковым и признание правоты его дела («Он невинен! точно невинен! Что он желал, того желать должен всякий благонамеренный человек»). В своей оценке она руководствуется не столько логикой, сколько чувством любви и протеста против несправедливости: «Боже мой! Неужели для того сохранил его от 13 ран штыками, от смерти за Отечество!»

Однако в основе отношения Елагиной к декабристам, сохранившегося до конца жизни, лежало не просто милосердное сострадание, а понимание исторической значимости попытки лучших представителей дворянства преобразовать современную русскую жизнь. Ее точка зрения совпадала с оценкой декабристского движения, данной Батеньковым в показании от 18 марта 1826 г.:

Покушение 14 декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. Чем менее была горсть людей, его предпринявшая, тем славнее для них; ибо, хотя по несоразмерности сил и по недостатку

¹ РГБ. Ф. 99. Картон 1. № 12. Л.11 об. Курсивом обозначены подчеркивания в рукописи.

лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался¹.

В основе оценки Батенькова лежит идея общественного прогресса, получившая развитие в русской исторической мысли 20–30-х гг. XIX в. не без влияния работ Ф. Гизо. Так, в книге, хранящейся в библиотеке Жуковского, подчеркнута рассуждение французского историка о тесной взаимосвязи развития общества и развития личности:

<...> развитие внутренней природы человека служило вместе с тем на пользу обществу, и наоборот, всякое значительное развитие общественного быта – на пользу человека (*Guizot F., I. С. 23*)².

Именно участие в судьбе Батенькова прочно связало Елагины с декабристами. Слова Батенькова, обращенные к А.П. Елагиной в первом письме по приезде в Томск, куда он был переведен на поселение из Петропавловской крепости в 1846 г. после 20-летнего заключения в одиночной камере, подтверждают право Елагиной на статус декабристки:

Прекрасная, нежная женщина, кому, как не тебе, меня услышать? Кому, как не тебе, понять, сколько наполнена мысль моя чистым небесным светом, когда говорю с тобою. Видишь, могу еще веселиться и радоваться... для тебя и с тобою (*Батеньков 1989. С. 219*).

¹ *Восстание декабристов: материалы. М., 1976. Т. 14. С. 90–91.*

² И далее на полях отчеркнут тезис о «причине появления великих реформаторов»: «Когда в человеке происходит нравственный переворот, когда в нем развивается новая идея, новая добродетель, новая способность – словом, когда он развивается лично, – какая потребность пробуждается в нем прежде всего? Потребность проявить свои чувства во внешнем мире, осуществить свою мысль вне себя. Едва только человек по своему собственному убеждению приобрел новую способность, новую силу, как в нем немедленно пробуждается идея долга: инстинктивное чувство, внутренний голос обязывает, побуждает его распространить перемену, улучшение, совершившееся в нем, сделать их господствующими вне его самого» (*Guizot F. I. С. 24–25*).

Томские письма Батенькова к Елагиной содержат уникальный материал как для характеристики мировоззрения декабриста¹, его занятий, условий пребывания в Сибири², так и для состояния духовной жизни А.П. Елагиной. Сквозная тема переписки – сохранение дружества, единства взглядов в вопросах религии и морали. Размышления Батенькова носят нравственно-философский характер и касаются в первую очередь проблем духовного развития, нравственного совершенствования человека. Источники эволюции общества он видит в успехах науки, но более – в овладении христианской верой. Религия понимается им как проявление высших законов бытия человека, в том числе и исторических. Батеньковым создается учение о «циклах» «драматического» развития, в основе которого лежит Божье Провидение. Этот закон движения распространяется и на личную жизнь человека, и на общество в целом, и на «духовную громаду» «всей Солнечной системы» (*Батеньков 1989. С. 298*). Не без горечи, но со смиренным и мужественным признанием непреложности этого драматически действующего закона Батеньков пишет Елагиной (14 мая 1854 г.), касаясь их личной жизни, отразившей в себе историю целого поколения:

Хотя антракт наш был слишком длинен, декорации радикально изменились, и мы с поднятою завесою прямо шагнули от юности к старости. Но без того наша драма, может быть, не имела бы завязки и содержания и кончилась бы обычным гробом без почувствованной потребности в христианском эпилоге. <...> Драма может быть в картине, в биографии – да и не драма ли вся народная история? (*Батеньков 1989. С. 297*).

Концепция исторического прогресса, выраженная в философской системе Батенькова в форме религиозно-идеалистических категорий, в основе своей сохраняет генетическое родство с идеями немецких и французских историков (в том числе и Ф. Гизо) о цивили-

¹ См.: *Брегман А.А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков // Батеньков Г.С. Сочинения и письма. Иркутск, 1989. Т. 1. С. 3–89; *Канунова Ф.З.* Томск в литературной судьбе Г.С. Батенькова // Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 39–58; *Юшковский В.Д.* Декабрист Г.С. Батеньков и его творческое наследие // Батеньков Г.С. Сочинения и письма. Т. 2. С. 3–88.

² См.: *Юшковский В.Д.* Батеньков в Томске. Томск, 2007.

зации как процессе накопления человеческого опыта на пути совершенствования общества и личности. Понимание религии в философской системе Батенькова соотносится с концепцией Ф. Гизо о том, что «религия представляется не чисто индивидуальным фактом, а могучим источником общественности» (*Guizot F. 5. С. 122*)¹. В письме Елагиной (28 декабря 1854 г.) Батеньков утверждает совершенствование духовного начала личности как условие общения и понимания людей:

Я люблю ход жизни сколько можно более драматичный. Чувство мое всегда участвует в событиях, а ум группирует их и организует. Так бы и желал непрестанно творить. Крайне боюсь пошлой обыденности и, ежели не на кого действовать, действую на себя. Эта среда ко мне всегда ближе и благодарнее: я положил себе задачей приготовиться к переходу в другой мир и стою на том, что «Я» должно все собирать в себя, одеться сколько можно чище и богаче, а уничтожиться оно никак не может и все, что ему принадлежит, неизбежно перенесет с собою (*Батеньков 1989. С. 326–327*).

Нравственный максимализм, высказываемый в обсуждении вопросов нравственности, исполнения долга, сохранения достоинства, связей и дружбы между сосланными декабристами², показывал, что дух Батенькова не сломлен, достоинство не потеряно – и в этом Елагина была его единомышленницей.

¹ В издании Гизо из библиотеки В.А. Жуковского (*Guizot François Pierre Guillaume. Cours d'histoire moderne. Par M. Guizot. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'à revolution française. Paris, 1828*) подчеркнуто рассуждение об «области религии»: «<...> с одной стороны, сама человеческая природа, с другой – необходимость найти происхождение – цель нравственности составляют неиссякаемые источники религии. Область религии содержит в себе не одно только простое чувство <...> она представляет совокупность: 1) учений, возбужденных вопросами, которые носит в себе человек; 2) правил, соответствующих этим учениям и дающих смысл и силу естественной нравственности, и, наконец, 3) обещаний, обращенных к надеждам человека на будущую жизнь» (*Guizot F. 5. С. 7*).

² Батеньков переписывался из Томска с И.И. Пуцциным, В.Ф. Раевским, Е.П. Оболенским, С.П. Трубецким, И.Д. Якушкиным, В.И. Штейнгейлем, находившимися на поселении в Ялуторовске и Иркутске; в Томске Батеньков встретился с Е.И. Якушкиным, начавшим собирать воспоминания декабристов.

Тридцать лет (1825–1855 – от восстания декабристов до публикации очерка Гизо во Франции) и последующее десятилетие вместили в жизнь А.П. Елагиной много событий, перемешавших личное и общественное, в том числе потери близких: смерть мужа А.А. Елагина, в 1852 г. смерть В.А. Жуковского, в 1856 г. умерли два старших сына – Иван и Петр Киреевские. Но в том же 1856 г. из сибирской ссылки вернулся декабрист Г.С. Батеньков и поселился в имении А.П. Елагиной в селе Петрищево Белевского уезда. Возвращение декабристов из Сибири, начало сборов материалов – воспоминаний о пребывании в ссылке Е.И. Якушкиным, сыном декабриста, внуком Н.Н. Шереметевой, юным другом Г.С. Батенькова – все это подняло новую волну внимания к их судьбе и подвигу жен-декабристок, среди которых были хорошо известные Елагиной и Батенькову Н.Д. Фонвизина (урожденная Апухтина, которой когда-то Жуковский написал стихи на ее 8-летие¹); А.Г. Муравьева, урожденная Чернышева, невестка Екатерины Федоровны Муравьевой; Елизавета Петровна Нарышкина (урожденная Коновницына).

Современница исторической эпохи 1830–1840-х гг., дружившая с М.П. Погодиным и Т.Н. Грановским, мать Киреевских – философа и фольклориста, историков (молодых братьев Елагиных), известная как переводчица отрывка из биографии друга Шеллинга и Шлейермахера немецкого философа Стефенса², произведений Жан-Поля Рихтера, педагогических трудов М. Эджворт, «статьи о Троянской войне и повестей Гофмана»³, Авдотья Петровна разделяла интерес Батенькова к «историческому очерку» Ф. Гизо об эпохе Карла II. Художественная интуиция и культура позволяли ей вникать в смысл исторических закономерностей и открывали возможности использовать историю для интерпретации современности.

Побуждающей и поддерживающей желание авторов перевода

¹ Имение Н.Д. Фонвизиной в с. Марьино Бронницкого уезда Московской губернии, как и дом в Москве, где она поселилась после смерти второго мужа, И.И. Пущина, в 1857 г., было местом частого посещения возвращавшихся из Сибири декабристов, в том числе и Г.С. Батенькова. См. об этом: Из воспоминаний М.Д. Францевой // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1958. С. 400–403.

² *Жизнь Стефенса* // Москвитянин. 1845. № 1, ч. 1. Отд. иностр. слов. С. 1–52; № 2. С. 1–44; № 3. С. 1–46.

³ *Пирожкова Т.Ф.* Славянофильская журналистика. М., 1997. С. 46.

очерка Гизо «Любовь в супружестве» поэтически воссоздать портрет героя, воплощавшего в себе реальные черты и драму целого поколения, была установка Гизо на обращение к реальному историческому лицу, о чем автор говорит в самом начале очерка:

Мы хотим романов: для чего не вникаем ближе в историю? там такая же жизнь человеческая, жизнь внутренняя со всеми разнообразными явлениями, сердце со всеми живыми страстями, со всеми сладостными и скорбными чувствами, и что всего важнее, там привлекательность истины. – Я наслаждаюсь созданиями воображения, этой творческой силой, вызывающей из ничтожества лица, одушевляющей, украшающей их, заставляющей развить все богатства души посреди всех перемен рока; но люди, действительно жившие, действительно перенесшие удары судьбы, эти страсти, эти радости, эти скорби, которых зрелище так потрясает нас, гораздо сильнее меня поражают, нежели самые совершенные поэтические и романтические создания. Живое существо, созданное Господом, когда оно предстоит перед нами со всеми божественными чертами своими, красивее всех созданий человеческих. Изучая Английскую революцию, я нашел два события, которые интереснее всех романов: Короля, хотящего в супружестве найти любовь, и любовь в супружестве вельможи Христианина. Тут частная жизнь с ее прелестными и горестными тайнами в лице особ знатных посреди самых верных событий общественной жизни. Со временем расскажу о Короле, теперь хочу изобразить семейную жизнь вельможи¹.

¹ *Елагина А.П.* Любовь в супружестве: исторический очерк // Автограф. РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 3. № 2. Л. 1. Далее в тексте цитаты даются по этому автографу с указанием в скобках: *Елагина 1* и номер листа рукописи. Обращение к очерку Ф. Гизо интересно и с литературной точки зрения. В жанровом своеобразии «исторического очерка» проявились эстетические закономерности, характерные для эпохи романтизма в его движении к познанию реальной жизни. Речь идет о сочетании исторически хроникального повествования, требовавшего реальных фактов, сюжета, начинающегося с предыстории героев, объяснений и отступлений, со стремлением психологически точно изобразить «внутреннюю жизнь лорда и леди Россель, их личные отношения и взаимные чувства в счастливые и скорбные дни их жизни» (*Елагина 1*. С. 14), что повлекло, в свою очередь, введение в произведение дневников, переписки между героями. Проблема синтеза истории и литературы, волновавшая французских историков эпохи романтизма 1820–1830-х гг., получила развитие в «историческом очерке» Ф. Гизо,

Духовный облик героя очерка, графа Росселя, представляющего государственную элиту Англии, напрямую соотносится с личностью Батенькова: «великодушный, чистый сердцем, добродетельный ко всем, с разумом возвышенным» (*Елагина I. Л. 11 об.*). В отношении Росселя Гизо занимает объективную позицию, не умалчивая о слабых сторонах его личности (говоря о «разуме возвышенном, но не прозорливом»), о «характере упрямом, хотя не сильным, способном увлекаться, подчиняться и вдаться в обман» (*Елагина I. Л. 11 об.*). Однако залог драматической судьбы Росселя Гизо видит в исторических обстоятельствах, требовавших изменений, и в появлении личности, пытавшейся, но не сумевшей эти изменения осуществить:

Воспоминания революционных времен, реакция против их правил, действий и действующих лиц занимали всех. Карл II и двор его с бесстыдным эгоизмом пользовались этою страстно преданностью, и скоро излишнее употребление истребило ее. Пороки их, требования, ошибки возбудили новые вопросы и новые страсти. Исчезли прежние роялисты, люди, служившие Карлу I, и сражавшиеся с Кромвелем. Новые люди и под их предводительством новые партии взошли на сцену: партия Короля и партия отечества (*Елагина I. Л. 11*).

Лорд Россель, готовый предать себя за народ, пленял его и свою партию тем, что почти всегда делил их предубеждения, их страсти, ослепления и увлечения; высший всех нравственным достоинством, он всем был равен чувствами и разумом. Скоро он сделался самым популярным человеком во всем государстве, самым уважаемым (*Елагина I. Л. 11 об.*).

Однако заговор был раскрыт – граф Россель приговорен к смертной казни. Решение суда граф принял мужественно, благодаря судьбу за то, что в решающие минуты рядом с ним оказалась дос-

написанном уже в эпоху реализма во французской литературе. На особенный интерес французской литературы к проблемам текущей жизни указывал И.В. Киреевский в рассуждении об исторических трудах Ф. Гизо: «Есть, однако, в литературе французской такое качество, которое отличает ее от всех других, обещает много для будущего и самим подражаниям дает цвет оригинальности: это тесная связь литературы с жизнью» (*Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 68*).

тойная и любящая его женщина. Перед казнью леди Россель с детьми посетила мужа:

В десять часов он встал, взял Леди Россель за руку, поцеловал раза четыре, оба молчали, дрожали и глядели друг на друга с полными слез глазами, но слезы не падали. – Они уехали. «Теперь вся горечь смерти миновала», – сказал Граф Россель Бурнету и предался полному излиянию чувств своих. «Какое она была мне благословение, – говорил он. – Что бы со мною было, если б с любовью ко мне она не соединила такой же великости души, которая не допускала ее делать малейшей слабости, малейшей уступки для спасения моей жизни! (*Елагина I. Л. 16 об.*)

Особым ореолом овеян в очерке образ его жены – графини Россель, у которой, как сказано в переводе, «было такое же гордое сердце и горячая забота о деле Отечества, но разум ее был свободнее, прямее, беспристрастнее и пронизательнее» (*Елагина I. Л. 12*). Большая часть очерка посвящена героине. Описание ее поведения напоминает страницы письма Елагиной Жуковскому о поездке Фонвизиной в Петербург:

Как скоро муж ее был заключен, леди Россель ревностно, страстно, без усталости, употребляла все старания, могущие служить ему на пользу. В течение двух недель, протекших между заключением его и осуждением, она ездила, хлопотала, писала неутомимо, собирала сведения, ободряла истинных друзей, возбуждала сочувствие равнодушных и готовила пути к спасению на случай верховного несчастья (*Елагина I. Л. 14*).

Сдержанно рассказано о жизни леди Россель после казни мужа:

Она осталась верна убеждениям лорда Росселя, так же, как и его памяти, и в уединении своем заботилась непрестанно о той религиозной и политической свободе, о тех же вопросах, о которых, вероятно, при нем были их общая забота и живая взаимная беседа (*Елагина I. Л. 23*).

Созданный Ф. Гизо образ леди Россель привлек внимание переводчиков не только схожестью исторической ситуации и судеб английской и русских героинь, но и близостью самого взгляда авторов на роль женщины в жизни общества. Важным этапом на пути формирования концепции участия женщины в жизни общества явился перевод Елагиной эссе «О милосердии, о христианской любви в жизни женщины» Элизы Гизо¹. Два этих произведения представляют в своем единстве практическую и теоретическую разработку нравственно-философской по содержанию концепции «семейного» вопроса в процессе исторического развития общества². Особенность решения вопроса о миссии женщины заключалась в том, что понятие «семейного» круга включало у Елагиной постановку проблемы личности и наполнялось общественным содержанием. «Милосердие» и «любовь» как отличительные черты женской природы обрели смысл и ценность, будучи связанными с такими понятиями, как человечность, нравственное достоинство, долг и Отечество.

В эссе Элизы Гизо получили воплощение идеи французских доктринеров во главе с Ф. Гизо, сформировавшиеся во второй половине 1820-х гг.: требования справедливости и либеральных свобод для человека сочетались с неприятием решительных (революционных) действий по их достижению. Автор эссе, просвещенная аристократ-

¹ *Елагина А.П.* О милосердии, о христианской любви в жизни женщины. Записка А.П. Елагиной. Писана в 1828-м году Грегу Гизо. Список рукой Марии Васильевны Киреевской // Автограф. РГАЛИ. Ф. 236, Оп. 3. Л. 1–6 с оборотами. Далее в тексте цитаты даются по этому автографу с указанием в скобках: *Елагина 2* и номер листа рукописи.

² Нельзя не обратить внимания на большое сходство в содержании и в манере письма авторов двух этих произведений, начиная со вступления: «Мы часто слышим, что женщины жалуются на ограниченность поприща, в котором заключена их жизнь; они сравнивают ее с обширной и многообразной деятельностью мужской жизни, винят законы общества и почти обвиняют Провидение, давшее им на долю безвестность и бездействие. Откуда, из какой среды поднимаются эти жалобы, эти упреки? из того ли круга, где женщины страдают часто от грубости мужей, где жизнь их бывает в опасности от частых побоев, где пьянство довело семью до крайней нищеты, где дети плачут и не имеют хлеба? – нет, женщины, несущие такое бремя, недовольно праздны умом, чтобы чувствовать тесноту поприща, предназначенного им Божией волей, и когда случится думать о судьбе своей, то молят о покое, а не о деятельности» (*Елагина 2*. Л. 1).

ка, отмечает социальное неравенство в обществе, разделенном на богатых и бедных. Цель деятельности женщины, по мысли автора, состоит не только в сохранении семейного очага, но и в помощи слабым и угнетенным, в стремлении к торжеству принципа справедливости:

Справедливость ко всем, симпатия ко всем, желание счастья и достоинства всем, одним словом: человечество, в самом широком смысле, вот святая и могущественная идея (*Елагина 2. Л. 3*).

В понимании идеи справедливости автор опирается на «прошедший век», но при этом с ужасом произносит слово «равенство», в котором деятели Французской революции «исказили, обезобразили, затемнили, сделали ненавистной и безнравственной» идею справедливости» (*Елагина 2. Л. 6*). Равенству революции противопоставляется братство на основе христианской веры. Только милосердной любовью можно совершенствовать человеческое общество:

<...> человек требует не одного золота, он требует, чтобы его признали, любили, считали братом; мы одни можем доставить это утешение, истребить все, что есть горького в неравенстве; мы пойдем к нищему, и он увидит, что в этих комнатах, коих роскошь обирает его, живут люди, заботящиеся о нем, всем сердцем покушающиеся наслаждать его участь (*Елагина 2. Л. 6*).

Центральная идея эссе о милосердной любви, в основе которой лежит уважение к человеческому достоинству, деятельное участие в судьбе страдающих и сознание необходимости исполнения нравственного долга, была близка Елагиной, определяла ее моральный кодекс и получила яркое и глубокое воплощение в ее отношении к декабристам. ср. у Гизо:

Господь избавил нас от материальной необходимости труда, но свободны ли мы от нравственной обязанности работать? Мы не призваны распоряжаться делами Отечества, но разве не имеем перед ним ответственности? (*Елагина 2. Л. 1 об. – 2*).

Таким образом, обращение А.П. Елагиной и Г.С. Батенькова к трудам Ф. Гизо было связано со стремлением осмыслить важное историческое событие русской жизни первой половины XIX в. Актуализируя нравственно-философский и религиозный аспекты проблемы свободы личности и ее участия в развитии общества на материале «семейных» отношений, Елагина и Батеньков, впитавшие в себя дух исторического мышления эпохи Жуковского, по-своему «прочитали» Ф. Гизо, внося свой вклад в развитие русской общественной мысли и творческое освоение европейской науки.

А.П. Елагина

**ЛЮБОВЬ В СУПРУЖЕСТВЕ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК¹**

1

Мы хотим романов: для чего не вникаем ближе в историю? там такая же жизнь человеческая, жизнь внутренняя со всеми разнообразными явлениями, сердце со всеми живыми страстями, со всеми сладостными и скорбными чувствами, и что всего важнее, там привлекательность истины. – Я наслаждаюсь созданиями воображения, этой творческой силой, вызывающей из ничтожества лица, одушевляющей, украшающей их, заставляющей развить все богатства души посреди всех перемен рока; но люди, действительно жившие, действительно перенесшие удары судьбы, эти страсти, эти радости, эти скорби, которых зрелище так потрясает нас, гораздо сильнее меня поражают, нежели самые совершенные поэтические и романтические создания. Живое существо, создание Господа, когда оно предстает перед нами со всеми божественными чертами своими, красивее всех созданий человеческих.

Изучая Англинскую революцию, я нашел два события, которые интереснее всех романов: Короля, хотящего в супружестве найти любовь, и любовь в супружестве вельможи Христианина. Тут частная жизнь с ее прелестными и горестными тайнами в лице особ знатных посреди самых верных событий общественной жизни. Со временем расскажу о Короле, теперь хочу изобразить семейную жизнь вельможи.

2

Между советниками и защитниками Карла I во время его несчастья Фома Вриотеслей, Граф Сутамптон, отличался своей верностью

¹ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 3. № 2. Л. 1–34 с оборотами. Текст перевода печатается с сохранением особенностей транскрипции варваризмов, топонимов и антропонимов, пунктуация приведена к современной норме.

и независимостью. По склонности, он не любил ни двора, ни власти, ни собственной своей знатности. Он был меньшей сын, но смерть отца и старшего брата, случившиеся почти в одно время, доставили ему вдруг и величие и богатство. Он долго смущался, краснел и отворачивал голову, когда его называли: «Милорд!». Нраву меланхолического, беспечного, гордого, но страстного, скромного и молчаливого, он упорно держался своих мнений; за них готов был жертвовать всем и явно бороться с противником. Он не был ни честолюбив, ни властолюбив, не скоро предавался надеждам, не гнался за успехом и только по необходимости или по долгу оставлял тихое свое уединение. Когда началась борьба между долгим парламентом и Карлом Первым, Лорд Сутамптон занял свое место в палате пэров, с враждебным расположением к действиям и требованиям Короля и министров, особливо к Лорду Стратфорту. Как истинный англичанин, он требовал уважения к законам, к преданиям старины и вмешательства парламента в дела государственные.

Христианин кроткий и справедливый, если свободу совести не почитал правом каждого человека, то преследование совести возмущало его. – При открытии долгого парламента он часто подавал голос против короля и епископов, стоял за исправление злоупотреблений, за наказание насилий религиозного и политического деспотизма. Он редко являлся ко двору, где его и друга его графа Эссекса почитали недовольными и возмутителями. Но когда стала бушевать ярость народа, когда появились незаконные вспышки Парламента, когда нарушен был закон и новые деспоты угрожали монархии, тогда он тотчас взял место посреди защитников и даже служителей Короля; взял это место без надежды и доверенности, но с гордою совестливостью. Без всякого расчета партий, без систематического плана, не заботясь о преобразовании государственной конституции в будущем, он в настоящем сражался с несправедливостью, с незаконием, с беспорядком и насилием, не внимая отвлеченным правилам и далеким надеждам, для которых позволялось зло. Поступки Парламента против Лорда Стратфорта казались ему слишком произвольными и осуждение его жестоким: он стал защищать Лорда Стратфорта, которого обвинял прежде. Камера решила, что членам неприлично служить лично Королю, тогда он принял (хотя с неудовольствием) место тайного советника и камергера. Загорелась междоусобная война, он ненавидел ее и никому не ожидал счастливой

победы, но тотчас явился в армии Королевской, был в Эдрегильском сражении и следовал в Оксфорд за двором, который все больше и больше внушал ему отвращение. Тут сохранял он всю свою независимость и непоколебимо чуткую гордость. Однажды в совете он довольно резко осуждал Принца Роберта и надменные пререкания его с Англинскими вельможами. Принцу пересказали его слова с прибавлением, как всегда в подобных случаях водится; он велел спросить Графа, правда ли это? «Правда», – отвечал Граф и повторил сказанное им прежде в точности. Роберт счел себя оскорбленным и приказал сказать, что надеется на скорое удовлетворение, на коне и со шпагою в руках. «Какое выбираете оружие?» – спросил Принц. «Здесь у меня нет лошади, – отвечал Граф, – и не знаю, у кого достать годную, к тому же я слаб и слишком мал ростом, чтобы таким образом сражаться с Вашим Высочеством. Прошу вас извинить меня и позволить выбрать оружие, которым могу действовать: я буду драться пешком и на пистолетах». Роберт без затруднения согласился тотчас, выбрали секундантов и назначили дуэль на другой день. Но слух о том распространился везде, Лорды, заседающие в Совете, вступились, заперли городские ворота, позвали секундантов и с их помощью примирили Графа с Принцем Робертом, который с тех пор оказывал ему величайшее уважение.

Междуусобные войны кончились. Король подпал под власть Парламента. Лорд Сутамптон ревностно искал случая приблизиться к нему и средства услужить ему. Когда это не удалось, когда процесс, осуждение и казнь Короля не оставили уже ни надежды, ни возможности действовать, лорд Сутамптон не почел себя освобожденным от всякой обязанности к своему Государю.

18 февраля 1649-го, день, в который тело Карла I-го привезено в Виндзор для погребения, Лорд Сутамптон с тремя другими провожал до входа в погребальный склеп гроб Государя, которого не мог ни научить, ни спасти. Сильный снег пошел неожиданно, бархатный черный покров, положенный на гроб, казался совершенно белым, символ невинности, поразивший верных служителей. Пока уничтожена была власть Королевская и продолжалась республика с Кромвелем, Граф Сутамптон жил уединенно в своем замке Тишфильд, в Гампшире. Удалясь от заговоров своей партии, также как и от новых властей Англии, неизменно верный изгнаннику Карлу II, он передавал ему полезные уведомления и все деньги, которыми мог распола-

гать: его доходы были много уменьшены налогами и секвестерами; он не принял участия ни в попытках восстания роялистов, ни в союзе с неудовлетворенными республиканцами, ни в сношениях с иностранными властями. Здравый его смысл, врожденная склонность к покою и ревностный патриотизм согласовались для этого честного бездействия. Однажды ему дали знать, что Кромвель приехал в Гампшир, по случаю женитьбы сына его Ричарда, и намерен удивить его своим посещением, Лорд Сутамптон немедленно выехал из своего замка и возвратился тогда только, когда Кромвель удалился из Графства. По возвращению Короля Лорд Сутамптон [забыл] прекратил свою неподвижность и явился в первом ряду между вельможами и прежними советниками Карла I-го, которых роялисты призывали к правлению. Он был лучшим другом канцлера Гида, обладавшего в то время всею доверенностью Карла Второго. Гид был наименован Графом Кларендоном и великим Канцлером, в то же время Лорд Сутамптон Казнохранителем Государства. В течение семи лет оба друга, соединенные убеждениями и правилами, но совершенно различные характерами, управляли с горьким трудом и почти безуспешно Королем, безнравственным, порочным, не умеющим любить, двором развратным и хитрым, партией недовольной, хотя победоносной, и народом суровым, угнетенным и раздраженным. Кларендон, честолюбивый, страстно приверженный к своей церкви, к вере, власти, знатности, яростно боролся против новых и старых врагов и против исчезающей благосклонности своего царственного питомца, ставшего Королем его. Сутамптон, менее деятельный, охотно предающийся досугу и сну, независимый по сердцу и по уму, сверх того измученный подагрой и каменной болезнью, совестливо исполнял должность свою, но тщетные употреблял усилия для удержания порядка и честности в Государственных финансах. Часто желал он кинуть место, которое занимал без успеха и без удовольствия, Кларендон удерживал его. В конце прошедшего века Франция также видела двух редких добродетельных людей: Тюрго и Мальзерб, соединенных в сильной власти, почти в подобных обстоятельствах. Тюрго был исполнен жаркой ревности к делу, надежды и настойчивости; Мальзерб, неустанно трудящийся, но легко унывающий, был слабее его, он говорил: «Тюрго не пускает меня в отставку, ему хочется, чтобы нас обоих выгнали». И действительно, их обоих выгнали, по слабости Короля доброго, честного, уважав-

шего их, но не умевшего защитить ни их, ни себя самого. Карл II, столь же проницательный, сколько развратный, скоро приметил, что Лорд Сутамптон мало привязан к власти, и хотел этим воспользоваться, чтобы без шума избавиться от беспокойного и независимого советчика, но Кларендон все силы употребил для того, чтобы удержать друга своего вместе с собою, на первых местах, и Лорд Сутамптон до самой смерти остался государственным Казнохранителем. Он умер не в ссылке и не обремененный, подобно великому Канцлеру, несправедливой ненавистью народа и неблагоприятной жестокостью Короля.

3

Он женат был на французенке Рашель де Рювиньи, рожденной от одной из тех благородных семей, которые в XVI веке, без всякой личной выгоды, без всякого желанья богатства или власти, по одному убеждению совести приняли во Франции сторону реформы, сторону слабую и угнетенную при самом ее начале. Во время женитьбы Лорда Сутамптона Нантский Эдикт был в полной силе, но Ришелье, истребляя протестантов как партию политическую, не только не вмешивался в их религиозные права, но, не сомневаясь, употреблял их на разных общественных поприщах, особенно тех, кого считал преданными Королю или ему самому. Мазарини следовал примеру Ришелье, действовал так же мудро в отношении религиозной свободы протестантов, но менее смело в определении их к государственным должностям, хотя спокойный при ограничениях Эдикта протестантизм день ото дня терял во Франции ту силу действия и общего мнения, которые одни обеспечивают свободу. Протестантам не заворачивали храмы, не выгоняли из отечества, но отталкивали в семейную, частную жизнь, где они были как будто чужие. Брат леди Сутамптон, Маркиз Рювиньи, был между протестантами той эпохи один из самых замечательных и самых способных: во время волнений фронды он оказал много деятельности и полезной преданности Королеве Анне и самому Мазарини. Когда усмирившись фронда, Мазарини, желая наградить Рювиньи, дал ему место генерального депутата при народном Синоде французских реформатских церквей. Эта должность соединяла в себе двойное посредничество: дел Короля с протестантами и дел протестантов, относящихся к Королю. Рю-

виньи исполнял эту тяжелую обязанность с искусным рвением, часто не нравился одним партиям, часто казался им подозрительным, но был равно верен и церкви своей и Королю, не заботился о том, что тот или другие были им по очереди недовольны, и старался только сохранить между ними мир и святость прав. Но это поприще не было для него желанной целью жизни: ему хотелось служить в армии или по иностранным дипломатическим посольствам, но для этого от него требовали, чтобы переменял веру. Ему даны были сношения с протестантами, но кроме этой службы всякая другая будущность была для него закрыта. По смерти Мазарини и по водворении Стюартов многочисленные сношения Рювиньи с Англией, связи его с Сутамптонами, с Росселями и другими знатными фамилиями при дворе и в оппозиции доставили ему безо всякого искаательства то, чего он давно так тщетно желал: его много раз употребляли в самые тайные сношения дворов Парижского и Лондонского — то для тайных сношений обоих королей между собою, то для утверждения Людовика XIV над самыми ревностными главами оппозиции в Парламенте. Людовик XIV уважал его искренно, а Карл II показывал к нему явную любовь. Он пишет к сестре своей, Герцогине Орлеанской: «Я сказал Рювиньи все, что было у меня на сердце... Никогда Франция не была лучше к нам расположена, как в то время, когда он сюда был послан». Истинный сын Франции, преданный роялист, ревностный протестант, Рювиньи горячо старался служить отечеству, Королю и вере своей, но не льстил себя прочным успехом в таком трудном положении. Нантский Эдикт еще существовал, но подобно разоренным и покинутым зданиям, ожидал первого удара молотом, чтобы распасться совсем. Внимая общему мнению Франции и неотступным просьбам духовенства, Людовик XIV принял ложную и несчастную мысль, что сила может властвовать над совестью и что единство государства требует единства веры, и потому позволил себе с подданными коварство, которое отверг бы и с чужими, истребляя и тайно и явно гарантии и обещания, данные его предками небольшой части его подданных. Маркиз Рювиньи, служа Королю, видел путь и конечный поход своего труда и решился жертвовать всем для чести своей и для веры; потому старался достать себе и детям натурализацию в Англии. В январе 1680-го он писал к племяннице своей леди Россель: «Отправляю к Вам наши бумаги о вступлении в Англинские подданные; в Ваших руках они

будут вернее, чем в моих. Прошу Вас и вашу сестрицу (леди Елизавету Ноель) сохранить их. Они могут мне понадобиться, обстоятельства всегда так шатки». Недолго обстоятельства оставались шаткими и неверными: пять лет спустя Эдикт Нантский уничтожен. В награду за все услуги и по личной благосклонности Людовика XIV Рювиньи едва мог получить возможность уехать, а не бежать с семьей из отечества, а в 1711-ом году Король отдал аббату Полиняку конфискованное имение сына его, генерала Рювиньи, сделавшегося в Англии Лордом Галвай и вступившего в службу Вильгельма III.

Уничтожение Нантского Эдикта кроме общих последствий отняло у Франции и Короля трех отличных, знаменитых людей, в армии – маршала Шомберга, в морской службе – адмирала Дюкена, а в дипломатии – маркиза Рювиньи.

4

От брака Графа Сутамптона с Рашелью Рювиньи родилась в 1636-м году дочь, названная именем матери Рашель. Происходя от этих двух благородных и совестливых пород, воспитана в английских и французских преданиях благочестия и скромности и проведши молодость посреди важных событий, Рашель получила те сильные нравственные впечатления, которые возвышают душу, не убитую ими. С ранних лет научилась она глубоко сочувствовать несчастьям других и кротко переносить семейные испытания. Она лишилась матери еще в младенчестве. Лорд Сутамптон женился вторично; это была причина многих домашних неудовольствий и часто истинных горестей. Но он нежно любил своих дочерей от первой жены своей, и Рашель не меньше почитала отца. Она видела, как во всех делах он совершенно посвящал себя тому, что считал справедливым, без мечтаний воображения и неволи разума, как в одно и то же время был роялистом и патриотом. Разговоры и действия лорда Сутамптона были проникнуты кротким, свободным благочестием, и ничто не смущало и не рассеивало тех благородных впечатлений, которые слагались в душе дочери живительным примером.

Во время перехода от детства к юности она жила вдали от света, в деревне, в том спокойствии, простоте, общественной возвышенности и благотворительности народной, которая приносит честь христианской аристократии. В 1653-м году ей было семнадцать лет, она

была прекрасна собою, благочестива, весела, способна наслаждаться жизнью мирно, без выпретенных мечтаний, без придуманных радостей и скорбей, принимая одни как милость из руки Божией, другие как уроки, им же посланные. Лорд Воган, старший сын Графа Карбери, стал просить руки ее, почти ее не зная, по согласию родителей между собою. «Этот союз был нами принят, – говорила она одной приятельнице после, – но не избран ни тем, ни другим». Она жила у свекрови в Гольден-гроте, в Валлийской земле, и без усилий, без шума исполняла все обязанности нового своего положения, внушая всем окружающим живую привязанность простотою своей добродетели, веселым нравом и такой кроткой, неизменной добротою, что ей самой говорили о том, как о необыкновенном качестве. «Ничто на свете не сравнится с прелестью постоянной доброты, – писал ей один приятель мужа ее, – а Вы, любезная леди, служите тому примером. Всякий, видя Вас, принужден почитать Вас, и Вас нельзя за то и благодарить, потому что это невольно и иначе быть не может». Так прошло четырнадцать лет, счастливых, тихих, скромных. В 1665-м у нее родился ребенок, который жил недолго. В 1667-м она, уже вдовою, жила у любимой сестры своей, леди Елизаветы Ноэль, в Титфильде, этом отцовском замке, где провела первое детство. Лорд Сутамптон, умирая, оставил дочерям все свое имение: леди Ноэль достался Титфильд, замок Стратон с окружными землями, лежащими также в Гампшире, был уделом леди Воган.

5

В то время молодой человек, тремя годами моложе, чем Леди Воган, Вильям Россель, второй сын герцога Бетфорта, вступал в свет и в жизнь общественную. Он провел три года, путешествуя по континенту, возвратившись в Англию, избран был членом камеры, возведшей Карла II-го снова на престол. Осталось мало следов его жизни и характера в эту эпоху. Одна записка к Г. Торнтону может указать на расположение души его. «Я недавно очнулся после опасной болезни, которая привела меня на край могилы. Молю Бога, возвратить мне здоровье, чтобы благодатью своею помочь употребить жизнь на служение Ему и перенести с пользою посланное испытание». Между тем нравы того времени, пример двора, увлечения юности и, может быть, врожденная беззаботность втянули его в

жизнь небезукоризненную. Многие легкомысленные ссоры были причиной многих дуэлей, не позволяя себе этот верный проступок, набожные чувства воскресали в душе юного Вильяма Росселя вместе с трогательной простотой и простосердечной любовью.

Вот что писал он к отцу, Графу Бетфорту, 1663-го года, 2 июля:

«Милорд! Хотя чувствую в себе столько бодрости, что могу драться с кем бы то ни было, не отчаиваясь в победе, но знаю, что в дуэлях победа зависит от счастья, а не от храбрости и не от правоты дела. Итак, после смерти моей пусть эти строки засвидетельствуют вам, Милорд, хоть немного ту благодарность, которую чувствую, за милость и любовь, всегда мне оказанную. Я ценю их глубоко, и если останусь жив, все силы употреблю, чтобы доказать это на деле. Считаю себя самым счастливым человеком, имея такого отца, и надеюсь, что в будущем Ваше сиятельство не будет несчастлив в сыне Вашем. Милорд, в случае моей смерти (а иначе письмо это не будет в ваших руках) прошу вас вспомнить обо мне и тех людях, которые мне служили. Умоляю вас, постарайтесь, чтобы друг мой Тааф не пострадал за великодушное его вспомоществование в этом деле; он несколько раз доказал мне свою преданную дружбу, и прошу вас отдалить от него всякую неприятность. Не сомневаюсь, что Ваше сиятельство будете добры с слугами моими. Робин, мой первый лакей, служил мне усердно, верно и много со мной терял времени, я желаю, чтобы ему ежегодно выдавали 20 ливров во всю его жизнь. Надеюсь, что вы наградите слугу француза, также мне хорошо служившего. Уверен, что долги мои будут заплачены, и для предупреждения всякого недоразумения означаю их здесь. Я должен сто ливров, еще 40, и еще 4 или 5 ливров Лорду Бруку. Больше не помню никакого долга, разве портному и за мелкие заботы, сделанные прошедшей зимою, счет которым слуга мой доставит Вашему сиятельству.

Не имею времени писать больше и кончаю уверением, что я Вашему сиятельству самый преданный слуга и самый верный сын.

Вильям Россель».

Жизнь не может быть порочна с такой прямой, почтительной, нежной душою. Поведение Вильяма Росселя скоро сравнялось с возвышенностью души его. Вероятно, леди Воган способствовала водворить нравственную гармонию в благодарном юноше, которому сама хотела принадлежать.

Из всех человеческих влияний самое могущественное, самое сладостное есть влияние добродетельной любви. Не осталось никаких подробностей о первых сношениях между ними, одно слово в письме леди Перси, единокровной сестры леди Воган, показывает, что в 1667-м году Вильям Россель был пленен прекрасной вдовой. «Он старался, – писала она, – приобрести сердце, которые многие у него оспаривают». Леди Воган, бездетная, была богатая наследница. Россель, второй сын, не мог ей предложить ни богатства, ни титула и потому был робок и застенчив: но между ними слишком много было природной внутренней симпатии, и светские недоумения и расчеты не могли разъединить их. Брак совершился в 1667-м году, но по обычаям Англинского общества Рашель продолжала называться леди Воган до 1678-го года, до того времени, когда старший брат Вильяма умер и оставил ему в наследство имение и титул Лорда. Вероятно, в наше время леди Воган не стала бы так долго дожидаться, чтобы принять имя любимого ею человека; личные чувства стали теперь господствовать над аристократическим обычаем, и недавно леди Каупер, не задумавшись, кинула титул Графини, чтобы, вышедши за лорда Пальмерстона, принять имя своего мужа.

6

Нет на свете зрелища прекраснее взаимной любви чистой и счастливой. Страстная любовь, этот свободный искренний порыв душевных желаний и сил, так пленительна, что мы смотрим на нее с неизъяснимым удовольствием, даже тогда, когда она является спрятанная с преступными заблуждениями, с тревогами, несчастиями, скорбями; но страсть, развивающаяся в согласии с совестью и проникающая душу радостью, не возмущая ее мира и красоты, – это полное возвеличение нашей природы, удовлетворения в одно время наших божественных и человеческих стремлений: это возвращенный человеку рай. Союз Рашели Бриотеслей и Вильяма Росселя представляет это редкое, восхитительное зрелище. До сего дня Рашель являлась нам тихой, простою, добродетельною без порывов и без усилий, скромно идущей по прямой, обыкновенной дороге жизни: теперь страстная любовь и чувство верховного блаженства наполнили ее сердце; она предается ему с полной свободой и доверительностью, она любит пламенно, невинно и счастлива совершенно.

«Если б я умела хорошо говорить, – пишет она к мужу, – то удовлетворила бы своему чувству, сказавши возлюбленному моему Росселю, каким блаженством наслаждаюсь при каждом новых знаках ежедневной любви его. Так пленительна их сила, что хотя знаю, как мало заслуживаю такое счастье, но не сомневаюсь ни минуты в его любви. По крайней мере, милая жизнь моя, ты, который умеет и любить и помнить, верь крепко, что сердце мое исполнено всей благодарности, всем почтением, всей страстной привязанности, какие только может творение Божие питать к подобному себе человеку». В другом письме восемь лет спустя: «Возлюбленный мой! Никогда плоть и кровь не могут ощущать счастья живее того, которое чувствует Ваша преданная и покорная жена. Очень рада, что тебе нравится Стратон, живи там радостно как можно долее, пятьдесят лет и больше! и да позволит мне Господь все это время наслаждаться твоим милым обществом! Разве только вздумается тебе желать другого, тогда думаю, что охотно оставлю и свет этот, и все на свете, ведь ты будешь беречь наших малюток. Они обе здоровы, и старшая надеется, что ты получил письмо ее!» Потом через год: «Спенсер едет к тому, кого увидеть желала бы больше всего на свете, не могу отпустить этого счастливого смертного, не пославши с ним несколько слов о милой жизни моей. Хочется сказать много, все равно что, лишь бы к нему дошли слова мои. Но письма моего ждут, я и то остановила Спенсера. Писать к тебе отрада моих утренних часов, и написавши, утешаюсь этим в течение дня. Пишу в постели, подушка твоя за мною лежит, тут завтра будет покоиться милая голова твоя, завтра и многие лета еще. Полагаюсь на милость Божию и не боюсь завистников и врагов твоих. Люби меня и позволь мне любить тебя так, как люблю».

Леди Россель не одними словами выказывала любовь свою, но поступками, действиями, в маленьких и больших вещах, сливаясь со всеми его отношениями, желаниями, вкусами; жила с ним в свете, когда он хотел света; в деревне, когда предпочитал деревню, везде заботясь столько же об удовольствиях его, сколько о счастии. Когда им случалось быть розно, что бывало редко, один в Стратоне, другая в Лондоне, то она извещала его обо всех новостях политических и светских, о делах общих друзей, о происшествиях в обществе и писала обо всем этом просто, без умничанья, не стараясь выставиться, стараясь только сообщить ему все, что могло занять его или развеесе-

лить. В мае 1672-го писала она ему из Лондона: «Уверена, что мой возлюбленный Россель хотел сделать мне большое удовольствие, приказав написать ему сегодня по почте, хотя мы расстались только утром: он знал, что мне приятно видеть, что такая поспешность с моей стороны не кажется ему навязчи-востью. Можно этого бояться, потому что во весь этот длинный день я ничего не узнала нового или такого, что могло бы забавить тебя и любезное твоё общество. Все, кого вижу без тебя, кажутся мне скучными и город не оживлен даже недавней победой*... Говорят, будто французы оказались тут неверными друзьями... Брак Герцога Йорского расстроился; по этой причине или по другой какой, но Герцог очень невесел; говорят, что предлагают его невесту Королю Испанскому, а наш Принц женится на дочери Герцога Эльбова... Мистрис Онгль идет замуж за Кравен Говарда, сына Томаса Говарда. Том Вартон ухаживает за другой красавицей, за внучкой леди Рочестер; бабушка большая ему приятельница, но свадьба вряд ли состоится, он во всем несчастлив. В эту девушку влюблен молодой Арундель, сын лорда Арунделя из Трерина, и ездит всюду за нею по следам. Вчера дождался верхом того времени, когда она поедет прогуляться, и подъехал к ней в карете. Вартон ехал подле, тоже верхом. Арундель оттолкнул его и, всунув голову в окна кареты, сказал своей красавице, что ни один человек в мире не может обожать ее столько, сколько он обожает. Вартон, как добрый христианин, подставил другую ланиту, то есть будто не заметил происходящего; но Арундель принужден был отъехать, к тому же он не бывает у них в доме, а Вартон там хорошо принят».

Рядом с этой нежной и горячей любовью было другое чувство; не хочу называть его любовью, я неохотно употребляю одинакие слова на разные смыслы; другое чувство господствовало в душе леди Россель и укрепляло ее во дни счастья на будущие дни жестоких испытаний. Она была Христианка, истинная Христианка – умом и сердцем, веровала всем догматам, покорялась всем предписаниям, без пристрастия к сектам, без желания прений, одушевленная разумным и возвышенным снисхождением к тем, кто не разделял ее

* Морское сражение при Солвае 26 мая 1672-го, в котором Герцог Йорский с помощью французской эскадры одержал над Голландцами под начальством Руйтера дорого купленную победу.

убеждений. Мы увидим скоро, когда Господь пошлет ей скорбь, в какой прекрасной гармонии согласовались в ней христианство и человеческие чувства, благочестие и любовь. Здесь я хочу показать, как глубоко занимала душу ее вера и как душа ее, блаженствуя в настоящем, готовилась с покорною доверенностью принять от Божией руки удары, или вернее удар, который она как бы предчувствовала. В одном письме к мужу, наполненном выражениями страстной нежности и благодарности, она вдруг останавливается и говорит: «Чего просить мне у Бога, кроме продолжения этого счастья, если на то есть Его воля? а если определил он иначе, то да подаст мне силу покориться безропотно мудрым Его распоряжениям и всеобщему Промыслу, вспоминая с благодарностью годы счастья, дарованные мне им. Он лучше нас знает, когда мы довольно насладились. Я умоляю милосердие Его об одном: кто бы из нас первый не отправлялся сюда, чтобы другой не оставался без надежды свидания вечного. Будем надеяться, что проживем вместе до старости, и верить, что в противном случае Господь укрепит нас в испытании. Не худо останавливаться иногда на таких мыслях, чтобы нечаянный случай не застал нас без силы и помощи. Прости мне это рассуждение, но я думаю, что, приготовясь ко всем возможным ударам, мы спокойнее насладимся данным теперь счастьем, которое, надеюсь, будет продолжаться. Но будем каждый день молить о том Бога и ничего не бояться; правда, смерть есть высшее зло и больше всего смущает нашу природу, но преодолеем боязнь смерти, для себя и для наших милых, и тогда сердце будет мирно и ясно».

Десть лет прошло с тех пор, как леди Россель писала из Лондона в Стратон к мужу эти благочестивые строки. 1682-го 25 сентября Лорд Россель был в свою очередь в Лондоне, а жена из Стратона писала к нему: «Ничего нет нового с тех пор, как ты уехал, одно знаю, что вот уже двадцать лет, как я люблю тебя так страстно, как ни одна женщина не любила, и надеюсь еще двенадцать лет любить так же, быть так же счастливой и совершенно тебе преданной».

7

Не прошло десяти месяцев после этого письма, исполненного любви, счастья, доверенности, и на ясном небе разразилась гроза. Лорд Россель заключен был в Лондонскую башню и являлся перед

судилищем в Ольдбалеи (старого Аббатства), обвиненный в верховной измене. Несколько лет был он членом нижней камеры, не принимая большого участия в ее прениях. Он был молод и увлекался пылкостью лет своих. Англия медленно наслаждалась надеждами и радостями реставрации. Воспоминания революционных времен, реакция против их правил, действий и действующих лиц занимали всех. Карл II и двор его с бесстыдным эгоизмом пользовались этою страстною преданностью, и скоро излишнее употребление истребило ее. Пороки их, требования, ошибки возбудили новые вопросы и новые страсти. Исчезли прежние роялисты, люди, служившие Карлу I и сражавшиеся с Кромвелем. Новые люди и под их предводительством новые партии взошли на сцену: партия Короля и партия отечества, потом тори и виги, наследники, но наследники вполне преобразованных *Кавалеров* и *Круглоголовых*. Парламент сделался поприщем и главною пружиной политики. Долгий парламент роялистов продолжал дело, начатое долгим парламентом революционным, проклиная его; возобновленная Монархия побеждала теми же самыми орудиями, которыми ниспровергали ее. Король правил через парламент, главные члены парламента стали советниками Короля.

Почти в это время Лорд Россель женился на леди Воган и принял явно сторону отечества против двора. Счастье семейное и страсть патриотизма начались для него в одно время.

Великодушный, чистый сердцем, доброжелательный ко всем, с разумом возвышенным, но не прозорливым, с характером упрямым, хотя не сильным, способный увлекаться, подчиняться и вдаться в обман, он скоро сделался горячим противником двора и нравственным украшением, но не главою отечественной партии. Готовый всегда страдать за свои убеждения, он в течение одиннадцати лет защищал и часто предлагал меры сопротивления самые сильные, между прочим билль на исключение Герцога Йорского как католика от наследия трона. Лорд Россель, готовый предать себя за народ, пленял его и свою партию тем, что почти всегда делил их предубеждения, их страсти, ослепления и увлечения; высший всех нравственным достоинством, он всем был равен чувствами и разумом. Скоро он сделался самым популярным человеком во всем государстве и самым уважаемым; такова была симпатия и взаимное согласие между ним и народной партией, что ничто не указывало Лорду Росселю

на ошибки друзей и на его собственные; предостережения приходили от врагов, но им не верили.

Одна леди Россель, несмотря на любовь свою и на скромность, сомневалась в необходимости действий своего мужа и часто тревожилась, думая о их последствиях; об этом говорила она ему искренно и твердо. В политике так же, как в религии, она делила веру, чувства, желания Лорда Росселя, у нее было такое же гордое сердце и горячая забота в деле Отечества, но разум ее был свободнее, прямее, беспристрастнее и пронзительнее. В марте 1676-го года в ту минуту, когда Лорд Россель готовился в камере подтвердить резкое предложение оппозиции, во время заседания ему подали от жены следующую записку: «Сестра моя здесь и сказала мне, что вчера ты объявился ее мужу, что будешь вмешиваться в то дело, о котором теперь толкуют в камере: ты знаешь, о чем я говорю. Меня это тревожит, и я прошу тебя сказать мне правду, точно ли хочешь вмешаться? Если хочешь, то я уверена, что сам раскаешься. Прошу тебя, скажи мне правду, и мне и сестре тяжело оставаться в сомнении. Если сколько-нибудь имею над тобой власти, то умоляю тебя, молчи в этом случае, по крайней мере сегодня».

Из этой записки видно, что леди Россель в первый раз так говорила мужу, настойчивая ее просьба сказать ей правду заключает в себе кроткую жалобу на то, что, вероятно, правда часто была от нее скрыта, и живую заботливость о том, чему желала бы помешать. Видно, Лорд Россель поражен был поступком жены, что сохранил эту записку и пометил внизу своею рукою день и место, где получил ее. Кажется, однако, что ни в этот день, ни несколько раз после не последовал он данным советам и увещаниям.

Настал день, когда Король, хотя не склонный к решительной и отважной политике, и Парламент, хотя монархический и честный, не могли вместе ужиться. Народная партия требовала от Короля, чтобы, лишив престолонаследия брата своего, он собственными руками разрушил монархию. Карл требовал от народной партии, чтобы она приняла Государя, очевидно стремящегося уничтожить религию и конституцию отечества. Доведенные до крайности, они решились испытать: Король, тирания, национальная партия, возмущение.

Во время перелома, в 1681-м году, когда последний парламент Карла II был распущен, два человека были во главе борьбы: Лорд Шевтсбюри и Лорд Россель. Шевтсбюри старик, честолюбец неуто-

мимый, развращенный всеми способами разврата, добром власти, популярности, привыкший с юности искать и находить счастье в происках и заговорах, с дерзким и гибким умом, прозорливый, дальновидящий, умеющий управлять людьми, равно способный служить им и вредить, нравиться и ссорить, привязанный по гордости к партии протестантской и народной, ибо она, по его мнению, должна была одержать верх и, во всяком случае, решившийся непременно спасти жизнь свою или снова начинать оные. Лорд Россель, в полном цвете лет, прямой, искренний, пылкий, неопытный, непреклонный умом, с верующим и честным сердцем, совестливый заговорщик, готовый отдать жизнь за убеждение, но неспособный употреблять без различия все способы для успеха или для собственного спасения. Можно было предвидеть, который из двух деятелей одного дела будет орудием в случае успеха и жертвой в случае неудачи.

Заговорщики собирались иногда вместе, но не всегда одни и те же, не доверяя друг другу и не высказывая окончательно своих намерений. Лорд Россель задумывал вооруженное сопротивление против королевской тирании и в душе своей принимал все последствия такого предприятия. Лорд Шевтсбюри ясно понимал его намерения и готовил низвержение Короля и возведение на престол государя иного, мимо законного наследника. Некоторые предлагали внезапное нападение и умерщвление Карла II. Между ними были и республиканцы, продолжавшие мечтать о республике, были и изменники, купленные уже двором и готовые предать и тайну и сообщников для избежания собственной опасности. Однажды в их собрание вместе с полковником Сиднеем и Г. Гамбденом вошел Лорд Говард. Лорд Россель презирал его и сказал другу своему Лорду Эссексу: «Что нам общего с этой дрянью?» и хотел уйти; но Эссекс удержал его. Он был хорошего мнения о Лорде Говарде и не подозревал, что его свидетельство должно вскоре погубить их обоих.

Несколько дней спустя Лорд Мордаун, жаркий роялист и далекий от всяких заговоров, но весьма преданный Лорду Шевтсбюри, был у Герцогини Портсмут, любовницы Короля, с которой имел тайную и короткую связь. Вдруг докладывают Герцогине, что приехал Король и взшел уже на лестницу: она поспешно втолкнула Лорда Мордауна в соседнюю горницу. Мордаун, возбужденный ревностью и любопытством, стал смотреть в замочную скважину и увидел вошедшего Лорда Говарда, который говорил с Королем дол-

го и тихо так, что нельзя было расслушать ни слова. Когда Герцогиня выпустила его на волю, он поскакал к Лорду Шевтсбюри и уведомил его о том, что видел. «Точно ли Вы в этом уверены?» – спросил Лорд, пристально смотря на Мордауна. «Совершенно уверен», – отвечал он. – «Милорд, вы честный юноша и не захотите меня обманывать; если это так, то мне должно сегодня же уехать». В тот же вечер Шевтсбюри выехал из своего дома, скрылся где-то в Лондоне, где на другой же день повелено было арестовать его, а через несколько дней, севши в Гарвиче на корабль, бежал в Голландию к Принцу Оранскому, в котором видел и покровителя и мстителя. Бывши Канцлером, он сильно требовал войны с Голландией и повторял часто: «Надо было уничтожить Карфаген». Приехав в Амстердам, он послал просить у бургомистра позволения жить тут. Бургомистр отвечал: «Карфаген, еще не уничтоженный, охотно принимает в стены свои Лорда Шевтсбюри».

В то же время было приказано арестовать Лорда Росселя и привести его перед Совет. Посланный с приказом остановился в главных воротах дома, но задние ворота оставались с намерением свободны. Лорд Россель мог уйти, но не захотел бежать, говоря, что бегство будет признанием вины и что он не боится справедливого суда отечественного. Леди Россель поспешила спросить совета лучших друзей его, те также не советовали ему бежать. Он явился в Совет, перед Королем. «На Вас нет никакого подозрения против моей особы, – сказал Карл, – но много доказательств в желании ниспровергнуть правление». После долгих допросов Лорда Росселя отослали в башню. Входя, он сказал служителю своему Таунтону, что против него много врагов и что хотят лишить его жизни. «Им не удастся, надеюсь, не удастся!» – отвечал Таунтон. – «Удастся! – сказал Лорд Россель, – диавол свободен».

Не стану рассказывать этот известный и важный процесс, я хочу изобразить только внутреннюю жизнь Лорда и Леди Россель, их личные отношения и взаимные чувства в счастливые и скорбные дни их жизни. Как скоро муж ее был заключен, Леди Россель ревностно, страстно, без устали употребляла все старания, могущие служить ему на пользу. В течение двух недель, протекших между заключением его и осуждением, она ездила, хлопотала, писала неутомимо, собирала сведения, ободряла испуганных друзей, возбуждала

сочувствие равнодушных и готовила пути к спасению на случай верховного несчастья.

Во мнении общем она так совершенно, так деятельно слилась с Лордом Росселем, что когда он жаловался, почему не дали ему знать, кто назначен присяжными судьями, Президент двора и Генеральный адвокат сочли себя оправданными доказать, что Леди Россель знала имена всех присяжных. Накануне того дня, когда ему должно было явиться перед судом, она написала к нему: «Друзья твои полагают, что я могу тебе быть полезна при допросах, я готова и крепко делаю это; умоляю тебя, согласишься и ты... Может статься, суд и двор этого не позволят, но ты позволишь мне попробовать».

Прения начались 13 июля 1683-го года. Зала набита была зрителями. «Нам нет места сесть», – говорили адвокаты. Лорд Россель спросил бумаги, перо и чернила для записок и отметок. Ему подали. «Можно ли мне поручить записку кому-нибудь для облегчения моей памяти?» – «Конечно, Милорд, кому-нибудь из Ваших служителей». – «Моя жена здесь и готова помочь мне». – Леди Россель встала, чтоб изъявить свое согласие: все собрание подвиглось с умиленным почтением. «Если это угодно миледи, никто ей не препятствует», – сказал Президент, и во все время Леди Россель была подле мужа единственным его секретарем, писцом и самым бдительным советчиком.

Жестокий приговор произнесен, но бодрость и деятельность Леди Россель не ослабели; ее душа была из тех избранных, в которых любовь, долг и доверенность к Богу мимо всех человеческих расчетов поддерживают силу и надежду. Все возможные старания употреблены были для спасения жизни Лорда Росселя; многие уважаемые придворные настойчиво убеждали Короля помиловать: «Этим навек привяжете благодарностью знатный род, – говорили они, – оттолкнувши же просьбы их, заставите никогда не забыть полученное оскорбление; Вы обязаны сделать многое для дочери Лорда Сутамптона». Леди Россель со всех сторон получала письма с извещениями, в какой час и где может она упасть к ногам Короля, который ей, конечно, не откажет, и многие подобные указания того, что ей делать надлежало. Просили даже Герцога Йорского. Герцог слушал спокойно и не отвечал ни слова. Король с досадой сказал Монмуту: «Я хотел бы простить его, но не могу, не поссорившись с братом, перестаньте об этом говорить». Лорду Дармуту: «Все, что Вы гово-

рите, правда, но правда и то, что если я не лишу его жизни, он может убить меня». Старались возбудить другие струны. Граф Бедфорд предложил Герцогине Портсмут 50 или даже сто тысяч ливров стерлингов, если выхлопочет помилование его сыну. Карл отвечал: «Дешево дают мне за выкуп моей крови и крови моих подданных». Леди Россель полагала, что дядя ее Маркиз Рювиньи, если приедет из Парижа с согласия Людвига XIV-го, будет иметь вес у Карла II. Рювиньи обещал приехать. «Нетерпеливо желаю быть у вас, дорогая племянница, – писал он. – Король воротился третьего дня и милостиво соглашается отпустить меня». Говорили даже, что он привезет письмо Людвига XIV-го к Карлу с просьбой помиловать Росселя. «Я не могу запретить господину Рювиньи приехать сюда, – сказал Король Барильону, – но Лорд Россель будет без головы прежде, чем он приедет». Рювиньи не приехал. Повинуясь жаркой просьбе отца, друзей и, конечно, жены, Лорд Россель решил сам писать к Королю и к Герцогу Йорскому, просил помилования и представлял, что никогда не замышлял ничего против жизни Его величества, сознавался, что напрасно присутствовал в незаконных собраниях, обещал уехать из Англии и жить на континенте, где угодно будет Королю назначить, не вмешиваясь в дела Англии. Этот поступок, как все другие, не имел никакого успеха – стоил дорого Лорду Росселю. Печатая письмо свое к Герцогу Йорскому, он сказал доктору Бурнету: «Это напечатают и будут по улицам продавать как знак моей покорности, когда меня повесят».

Придумали последнюю попытку, весьма странную, но, может быть, действительную. Вопрос о возможной законности или совершенной незаконности вооруженного сопротивления против законного Государя волновал в то время умы всех: сторона двора и сторона народа хотели обе опираться на правом начале; такова уже благородная природа человека, что ему нужно быть правым, что не может спокойно полагаться на силу, если ее не признает истинная правда. Англиканская церковь утверждала незаконность вооруженного противления. Двое самых честных и умеренных докторов, Бурнет и Тилотсон, предприняли убедить в том Лорда Росселя, надеясь спасти жизнь ему, когда представят Королю покорность его разума. Сначала им показалось, что убеждения их поколебали Росселя, и Лорд Галифакс, которого они о том уведомили, сказал им, что Король тронут этим больше, чем всеми просьбами и мольбами. Оба

богослова удвоили свои увещания. Лорд Россель смиренно слушал их. Тилотсон написал ему письмо, в котором основывал на вере христианской правило несопротивления. Лорд Россель взял письмо, вышел с ним в соседнюю комнату и, возвратившись скоро, сказал: «Я прочел Ваше письмо, дескать, желал бы убедиться, но не могу; я всегда думал, что народ свободный, как наш народ, вправе защищать свою свободу и веру, когда хотят их отнять. Если ошибался в этом, то надеюсь, что Господь не сочтет преступлением грех моего невежества». Бурнет стал настаивать, Лорд Россель остановил дальнейший разговор, сказавши: «Я лгать не могу, а если рассуждать далее, то надобно лгать». Он говорил об этом с женою, она отдаляла от него всякую мысль об уступке, с грустью утвердила и одобрила его искренность. Сказывают, что она даже изъявила неудовольствие Тилотсону за его настаивание на этом предмете.

Все средства, все надежды исчезали постепенно; горестный день приближался. Лорд Россель сказал Бурнету: «Я желал бы, чтобы жена моя перестала бегать и соваться туда и сюда, надеясь спасти меня, но когда подумаю, что ей будет скоро утешением уверенность, что не оставила никакого средства, не испытавши его, то покоряюсь». При свидании супругов и тот и другая старались единственно ободрить и щадить друг друга; он следил за ней глазами, когда она уезжала, и, казалось, готов был предаться сильной горести, но круто побеждал себя и старался заняться благочестивым чтением, или молитвой, или разговором с Бурнетом и Тилотсоном. 19-го июля узнал, что просьба об отсрочке отвергнута и что казнь назначена 21-го, он написал к Королю письмо, которое должно быть доставлено после его смерти и которого цель была в следующих последних словах: «Позвольте мне, умирая, искренно уверить Вас, что сердце мое было неизменно предано тому, что почитал я Ваше истинною пользою; если ошибся, то надеюсь, что гнев Ваш кончится с моею жизнью и не отразится на жене моей и детях; этой последней милости просит у Вашего величества Ваш верный и преданный подданный». На другой день, 20-го поутру, он причастился святых тайн. «Верите ли всему, чему учит Христианская англиканская церковь?» – спросил Тилотсон, принеший причастие. – «Верю, конечно». – «Прощаете ли всем?» – «Всем и от всего сердца». После обеда он перечел и подписал речь, которую велел отдать на эшафот Шерифу: прощанье с жизнью и отечеством. Он дал Леди Россель наставление, как обна-

родовать эту речь тотчас после его смерти. Леди Россель поехала за детьми и привезла их. Он долго не отпускал их от себя, говорил с ней об их воспитании, обнимал их, целовал, благословил и простился с ними без всякого смущения и печали. «Останься ужинать со мною, – сказал он потом жене. – Примем вместе последнюю мою земную пищу». Во время ужина и после он говорил о дочерях своих и о том благотворном действии, которое производит великий пример смерти, принятой с мирным и свободным настроением духа.

В десять часов он встал, взял Леди Россель за руку, поцеловал раза четыре, оба молчали, дрожали и глядели друг на друга с полными слез глазами, но слезы не падали. – Они уехали. «Теперь вся горечь смерти миновалась», – сказал Граф Россель Бурнету и предался полному излиянию чувств своих. «Какое она была мне благословение! – говорил он. – Что бы со мною было, если б с любовью ко мне она не соединила такой же великости души, которая не допускала ее делать малейшей слабости, малейшей уступки для спасения моей жизни! Какую неделю провел бы я здесь, если бы она около меня плакала и советовала сделаться доносчиком, Лордом Говардом!.. Господь необыкновенно был милостив ко мне, давши такую жену: знатность, богатство, огромный ум, сильная вера, горячая любовь ко мне, все, все в ней было! а свыше всего поведение ее при этой беде! Большое мне утешение, что дети мои остаются на руках такой матери: она обещала мне беречь себя для них и сдержит слово!» Потом, после долгого молчания, мысли его перешли к самому себе. «Какую необъятную перемену производит над нами смерть! Какие чудные явления откроются душе нашей! я слышал, что случалось возвращать зрение слепорожденным и что они не могли опомниться, взглянувши на свет, что же было бы, если бы первый взгляд их упал на восходящее солнце?» Он вынул часы и отдал их Бурнету, говоря: «Время для меня прошло, начинается вечность».

На другой день 21 Июля 1683-го года вдова Лорда Росселя осталась одна в жилище своем Сутамптон-гаузе, с тремя детьми, дочерьми, девяти и семи лет, и сыном, трехлетним младенцем.

8

Разбирая письма Леди Россель, я не без удивления нашел, что первые два письма, писанные ею после жестокого удара, были адресованы прямо к Карлу II-му, Королю, отказавшему даровать жизнь ее мужу. Выехав тотчас из Лондона, чтобы спрятаться с детьми в деревне, в Вобурне, у Лорда Бедфорда, отца ее мужа, она пишет к дяде своему Джону Росселю, полковнику 1-го полка пехотной гвардии:

«Не нужно мне извиняться перед Вами, любезный дядюшка, и расстроенный ум мой не в состоянии принести Вам какое-нибудь извинение, но мне нужна Ваша помощь, и я смело прошу ее. Вы помните, что несколько дней спустя после ужасного моего несчастья Король велел сказать мне, что не хочет воспользоваться достигающей ему конфискацией, но что следует соблюсти законные сроки, стало быть, он даровал лично мне все имения. Кажется, приличие требует, чтобы я изъявила за то признательность, и прошу вас сделать милость: исполните это вместо меня... Тяжело мне писать об этом, все, что меня касается теперь, грустно и мрачно, а я не люблю доставлять родным и друзьям моего возлюбленного и теперь блаженного мужа какую-нибудь неприятность».

Вскоре городские слухи доходят до уединения Леди Россель, говорят, что двор тревожится действием, произведенным речью, которую Лорд Россель передал Шерифу на эшафот, и называют речь подложной. Она приняла это как оскорбление памяти ее мужа и спешила писать к Королю:

«С позволения Вашего величества:

Слышу, что враги мужа моего не удовлетворились его кровью, что они продолжают клеветать на него перед глазами Вашего величества. Жестоко огорчает меня слух, будто уверили Ваше величество, что бумага, которая передана им Шерифу в минуту смерти, не им писана. Могу уверить и торжественно подтвердить, что во время заключения своего он говорил мне то же, что писано в этой бумаге и в тех же выражениях. Униженно прошу Ваше величество, что человек, который всю жизнь действовал прямо и откровенно, не станет, умирая, выдавать за свое то, что ему не принадлежит... Надеюсь, этими словами я не прогневаю Ваше величество; если они Вам неприятны, то умоляю вас вспомнить, что говорит женщина, удручен-

ная скорбью: простите дочери человека, служившего Отцу Вашему в самых больших его злосчастиях, служившего Вам в самых высших должностях; скажу с чистой совестью, что до сих пор я ничем не мола оскорбить Вас и всегда буду молить Бога о долгой жизни и благополучном царствовании Вашего величества».

Это вдова, сокрушенная горем, жена, страстно любившая заговорщика, казненного на эшафоте за желание удержать право на сопротивление и свободу Отечества, сохраняет и так просто изъявляет глубокое монархическое чувство, уважение к приличиям, кроткое и вместе гордое самосознание! – Пройдут дни, месяцы, годы, она останется постоянно одинакова, вполне преданная одному чувству, но не поглощенная им, сосредоточенная внутри себя и внимательная, деятельная, даже заботливая для всего окружающего.

У нее есть друг, поверенный сердца ее, доктор фиц-Вильям, бывший некогда капелланом в доме отца ее, теперь ректор в Котенгаме и каноник в Виндзоре, священник глубоко благочестивый, с симпатичным сердцем, с умом возвышенным и обширным, он принимает нежное участие в судьбе благородной дочери прежнего своего патрона, старается поддержать ее дух, утешить и вести через все испытания к Господу и к спасению вечному. Ему-то Леди Россель открывает сердце, при нем предается всем внутренним тревогам, унынию и порывам благочестивой надежды.

Я приведу несколько строк из их переписки, чтобы хотя немножко показать великость этой редкой души, особенно удивительной тем, что страсть и рассудок, верность сердца и трезвость ума не мешали взаимно друг другу и что в течение сорокалетнего вдовства она принадлежала единственно памяти обожаемого мужа, не переставала деятельно сочувствовать всем отношениям, всем связям, всем обязанностям жизни.

Вскоре после несчастья доктор фиц-Вильям прислал ей благочестивые совет и молитвы; она отвечала: «Не нужно говорить вам, добрый дорогой друг мой, как я еще не способна к таким упражнениям: вы увидите сами, что они теперь для меня бесплодны: душа моя взволнована, и смутные мысли дают только слова для выражения отчаяния. Вы, друг мой, пощадите мою слабость и сочувствуйте моей скорби, но вы уже сделали, приславши доброе ваше письмо и прекрасную молитву... Вы нас знали обоих, вы знали, как мы жили, вы понимаете, что мне есть о чем плакать. Лишиться друга есть об-

ший удел, но жить с таким другом – о, как мало женщин, которые могли бы славиться таким счастьем! и оплакивать такую потерю! – можно ли не пасть от такого удара?»

Несколько дней позже:

«Всякие горестные мысли терзают мое сокрушенное слабое сердце: преодолею одну, тотчас давят другие. Как скоро утихнет волнение скорби, тысяча размышлений о прошедшем являются мучить. Кто знает, не пропустила ли я какого важного акта? Если бы мы просили, может статься, он уехал бы, если бы во время процесса такое слово или другое переменено, если бы употребили иные средства, он, может быть, был бы оправдан, был бы здесь, на земле живым... Думаю, что напрасно мучу себя всеми этими суетными мыслями, но они увеличивают скорбь мою. Господи, Боже мой! Научи меня понимать эти сокрушительные приговоры Твоего провидения, чтобы я не погибла в унынии моем! Знаю, что заслужила наказание от души Твоей и молчу. Но сердце слишком горько терзается и не могу ничем утешиться, потому что нет со мной моего дорогого товарища, который делил и радости мои и печали. Мне он везде необходим, я кличу его, хочу говорить с ним, гулять с ним, есть, спать подле него. Все это без него мне несносно. День, когда приходит, мне тяжело, и ночь тоже. Взгляну на детей и думаю, с каким он удовольствием смотрел на них, и все сердце во мне ворочается!.. Ах, если б вера моя была тверда, не была бы я так слаба и уныла! Как охотно бросила бы я этот свет, где все мне скучно и досадно, где делать мне нечего, разве только очищать душу от греха, нести терпеливо несчастье мое и верую, и мирной совестью приобретаю вечное спасение!..»

Десять месяцев провела она в Вобурне в безмолвии и уединении, потом почувствовала необходимость переменить место и искать душе впечатлений. 29-го апреля 1684-го писала она к доктору фиц-Вильяму: «Мне хочется поехать на несколько дней в Стратон, в это запустелое место, где жила я в таком ясном и совершенном довольстве. Тогда я пересматривала положение всех, кто окружал меня, и ни одно не привлекало моих желаний. Таких дней уже не будет на земле. Но места везде равны, где может его образ не быть беспре-станно передо мною? И не хочу, чтоб иначе было. Я решилась, ничто меня не остановит, поеду всюду, где будет нужно исполнить долг мой».

Пять месяцев после этого, 1 октября того же года:

«Я решила будущую зиму возвратиться в это сокрушенное жилище, Лондонский дом. Врачи говорят, что это нужно моему мальчику, на это нет возражений. С помощью Божией постараюсь перенести пребывание там, которого мысль одна пугает меня. Но знаю, что если б другой не было причины, то с этой я слажу».

Не вдруг исполнила она свое намерение, шесть недель после писала она доктору:

«Вы говорите, что я слишком медлю. Не удивительно, если вспомнить место, куда я еду: оно было свидетелем моего вечного несчастья, там тщетно старалась спасти жизнь, за которую так охотно отдала бы свою. Доктор, я лишилась неоцененного сокровища, с ним жила я в полном счастье, на этом свете оно полнее быть не могло. Я знаю, что должна помнить, что есть у меня друг, которого никто не может лишить меня, к которому всем стремлением сердца желаю возвыситься; тогда духовные радости будут во мне бороться с земными скорбями и возвратят спокойствие душе измученной и разбитой испытаниями жизни; но знаю по опыту, мне удастся редко, и то минутами, достигать такого желанного расположения духа; когда я перееду в этот город, в этот печальный дом, это будет еще реже, и все удары скорби возобновятся. Столько уже месяцев ношу я бремя действительного горя, надеюсь, что Бог поможет мне не упасть под тенью оногo».

И точно, Бог помог ей; впадая часто в порывы отчаяния и слабости, она всегда вставала бодрая и старалась избегнуть всякого излишества в чувствах и во взглядах на судьбу свою. Следующие два письма будут тому доказательством:

«Леди Россель к Доктору фиц-Вильяму.

Вобурн, 11 ок. 1685.

Никто больше меня, бедной твари, не должен признавать милосердия Божия, а я с таким сопротивлением приняла суд Его, не вспоминая его милости. Конечно, удар был жесток, но в эту ужасную минуту не могла ли я надеяться, что душа того, кого я любила, как свою душу, переходит из темницы на царство? Не дана ли мне была способность скрыть свои терзания, чтобы не умножить его страдания. Я изнемогла, доброе сострадание стольких мудрых христиан поддержало дух мой, научать, укреплять... а дети моего бесценного друга? Господь сохранил их, дал им понятливый ум с

большими надеждами на будущее и нрав кроткий и послушный; мою жизнь сохранил он для их блага, надеюсь. Томясь на свете, в котором уже нет мне радости, я Господом избавлена от всякой телесной болезни, чего не было прежде. Все это заставляет меня благодарить Бога, а сердце мое поражено и не способно благодарить: вот это меня огорчает. Но тот, кто принял наши болезни, бремя наших грешных страданий, Христос поможет мне измениться. Он видит слабость души моей и всю силу моей скорби».

Та же к тому же – 11 июля 1686.

«Знаю, что я несносна, простите мне эту дерзость и потерпите меня как будто сносную. С другими я не позволяю себе такой смелости, это я себя балую, а вы одобрите меня. Мне это необходимо в те несчастные дни, когда жестокие воспоминания теснятся ко мне в душу. Можно, я это знаю, перенести, не умирая, самые горькие страдания, но перенести их без ропота сердечного, – вот долг наш, и его-то не могу исполнить. О, Боже мой, не прогневайся на слабое твое создание, пошли мне уменье благословлять Тебя за то, что лишилась я моего друга, за то, что он докончил свое служение земное. – Милый мой доктор, это ваше выражение и мне оно очень нравится. Когда моя очередь придет окончить мое служение, не знаю, в каком расположении буду тогда, но теперь мне это самая приятная, самая утешительная мысль. Когда множество мучительных дум одолевает меня, то ободряюсь, вспоминая, что жизнь эта кончится скоро, что начнется другая нескончаемая, что тогда узнаем причину и цели жестоких (по-видимому) ударов Провидения. Кажется, будто я только и думаю что о смерти, а если бы болезнь и другой какой предвестник смерти приблизился, может статья, я захотела бы отдалить его, так обманчивы наши сердечные желания! так не тверда наша вера! Господь премудро вкоренил природе нашей страх при разлучении души с телом и заботу о сохранении жизни: как могли бы вынести столько скорби, если бы вера не показывала, чего можем достигнуть, терпеливо страдая!»

К некоторым приятелям, оказавшим ей великие услуги или сильное участие, писала она, конечно, не с такою доверенностью, но с такими же чувствами. Между прочим, Лорд Галифакс после казни Лорда Росселя с великим трудом выпросил, чтобы позволили выставить семейный герб на воротах дома, как будто смерть его была естественна. С того времени он не прекращал дружественных сноше-

ний с Леди Россель и, судя по ее ответу, вероятно, предлагал ей одно из тех холодных утешений, которыми довольствуются души, не требующие утешения, она писала:

«Я почитаю, Милорд, плохим утешителем того, кто уговаривает принять равнодушно все случающееся. Можно говорить: зачем жаловаться, когда берут назад то, что давали взаймы на время, мы знаем, что отдать надо и прочее подобное. Это рассуждение философов, и я ни малейшего не имею к ним уважения, как ко всему неестественному. Чуть нет искренности, они чувствуют то, в чем не хотят признаться. Знаю, что нельзя противиться Всемогущему, но если радости жизни моей исчезают, то не могу не плакать от их лишения. Верьте, Милорд, одна христианская вера может облегчить душу, обремененную великим несчастьем, нам нужна надежда на возвращение нашего счастья; надежда эта дала мне более, нежели мог бы дать целый мир со всеми его богатствами и славою».

Господь послал ей утешение, исполненное тревоги, но действительное; близкую возможность новых горестей. Четырехлетний сын ее занемог опасно. «Господь помиловал меня, – писала она фиц-Вильяму, – он отвел угрожающую мне беду, смерть моего бедного мальчика. Он был очень болен, и Господь показал мне безумие мое, когда я вообразила, что мне нечего терять, что нет ничего на свете и ничто не может принести облегчения. Я почувствовала, как ложна эта мысль, и теперь не могу ни на минуту расстаться с моим малюткой. Надеюсь, что присутствие моих детей сколько-нибудь даст отдохнуть моей бедной, усталой душе, что по крайней мере старание заняться их воспитанием – которое так хорошо, так удачно мог бы совершить их добрый, любящий отец! – получить какое-нибудь удовлетворение. Когда я исполню эту обязанность, порученную мне моим другом, о, как сладко мне будет лечь подле этого милого праха! Я недавно посетила его, т.е. могилу его. Очень рада, что вы не вините меня в этом, как здесь многие, узнавшие о том, винят, хотя я сказала о моем наблюдении вам одному. Доктор, я думала прежде об этом, там я не искала живого между мертвыми, я знала, что куда бы я ни поехала, не найду его нигде, наперед обещала себе не предаваться тщетной, неразумной страсти, но туда вознести взоры, куда вознеслась лучшая часть существа его, туда, где никакая земная власть не достигает и не может разлучить счастливый союз. Туда

стремлюсь всегда, но часу назначить никто не может. Надеюсь, что буду ожидать его без лишнего нетерпения».

Долго ждала этого благословенного соединения, желанного искренно, но сознавая в слабости нашей натуры. По мере того, как текли годы, она сжилась с горем своим, как сживаются с неизлечимой болезнью. Несмотря на одиночество сердца, жизнь ее была деятельна и без рассеяния занята. Воспитание детей, дела их, правление домашнее, благосостояние родственников – все составляло предмет постоянных ее забот. «Мне очень приятно, – писал к ней Бурнет, – что Вы столько времени посвящаете детям, что для них не нужно брать воспитательницы». Действительно, дочери ее не имели, кроме нее, ни одной гувернантки. Она береглась, чтобы обычной печалью своей не смутить веселости, свойственной их летам.

Когда они возвратились в Стратон, то писала оттуда: «Бедные дети очень обрадовались новому месту. Они не знают, как было это место приятно прежде и для меня и для них. Кажется, однако, что Рашель (старшая дочь) не совсем равнодушно возвратилась сюда, и мне это было приятно. Должно тщательно хранить впечатление невозвратимой потери, иначе к чему воспоминание? Однако я стараюсь поддержать врожденную их веселость. Создатель наш, конечно, хочет, чтобы мы радостно приняли Его волю над нами». Леди Россель любила свекра своего, Лорда Бетфорда, с нежной признательностью. У него умерла жена; невестка отказалась от задуманного путешествия и осталась с ним. «Не хочу уезжать от него, – говорила она, – теперь, когда новое несчастье поразило его; этот прекрасный человек был всегда так ласков, так добр со мною!» К ней обращались во всех важных семейных обстоятельствах, между прочим, в сватовстве дочери Лорда Гайнборфа, свекра сестры ее Елизаветы. Все знали, что советы ее полезны, что на одобрение ее можно положиться. «Я сделала то, о чем меня просили, – говорила она при одном из таких случаев, – хотя желала бы, чтобы выбрали другого кого, а не меня, я не способна уже ни на что и в мире действовать не могу, но чувствую, что обязана делать все, что только в силах; со временем о том же должна буду заботиться для детей моих и не могу этого долга не исключить ради памяти моего возлюбленного мужа; ему и всем родным его принадлежит остаток горькой моей жизни».

Время этих великих материнских забот наступило для нее ранее, нежели она ожидала. Едва минуло четырнадцать лет старшей дочери ее Рашели, как Лорд Кавендиш, Граф Девонкширский, стал просить руки ее старшему сыну своему, которому было тогда шестнадцать лет. Лорд Кавендиш был лучший, преданнейший друг Лорда Росселя, преданный до того, что во время заключения его в башне он умолял его перемениться с ним одеждой и бежать, между тем как сам останется в заключении на его месте. Лорд Россель ни за что на это не согласился. Глубоко признательная к тем чувствам, которые внушили предложение такого блестящего союза, Леди Россель приняла его с искренним удовольствием. «Надеюсь, – писала она к доктору фиц-Вильяму, – что если это верное дело совершится, то старания мои и счастье дочери увенчается успехом. Бог один знает, чем это кончится, но для мрачной жизни моей это луч света неожиданный. Я часто повторяю, что дети праведника благословляемы Богом, и, конечно, отец их был праведным. Если слабое сердце мое не износит, то и я надеюсь заслужить это имя и благодарю за то Бога». Условия по имени трудно было заключить: чувства самые возвышенные соединяются часто с взысканиями мелочными и упорными. «Мне приходится вести дело с Лордом благородным и сердечно высоким, но упрямым и требующим, чтобы все устроено было по его воле». Эти совещания и споры утомили ее. «Я принуждена видаться со многими деловыми законниками, это очень неприятно; мне хотелось бы скорее довершить это дело и положить конец тому, что так несогласно с образом жизни, который я решила вести. Надеюсь, что долг превозможет склонность: надобно мне пособлять детям, я у них одна. Я принуждена ездить на обеды и на многие подобные пиры, что очень тяжело сердцу печальному и утомленному. Слава Богу, что достает силы». Действительно, силы ее достало, и 21 июня 1688-го дочь ее обвенчалась с молодым Лордом Кавендиш, который тотчас после того поехал путешествовать на континент.

Судя по наружности, можно бы думать, что леди Россель посвятила свою жизнь единственно семейному кругу, воспоминаниям милым и горестным, благочестивым мыслям и занятиям домашним. Но этого не было. Одаренная же многообразными способностями, она не склонна была искать и находить везде предметы для деятельности. Предоставленная себе самой и жизни обыкновенной, она, вероятно, осталась бы чуждой великим идеям и великим происшествиям

своего времени, но она приняла их из любви к мужу, по симпатии к нему и по разуму, способному понять и оценить все великое. Она осталась верна убеждениям лорда Росселя так же, как и его памяти, и в уединении своем заботилась непрестанно о той религиозной и политической свободе, о тех же вопросах, о которых, вероятно, при нем была их общая забота и живая взаимная беседа.

Уничтожение Нантского Эдикта возбудило в ней не только сердечную симпатию к изгнанным протестантам, но множество оригинальных и глубоких мыслей. «Вы правы, – писала она доктору фиц-Вильяму, – я буду сравнивать мою участь с участью других и начну с этого Короля, который, вероятно, почитает себя на вершине земных блаженств, Король несчастных, изгнанных французов. Он несчастнее всех униженных им, потому что подобными поступками посрамляет собственное достоинство. Если Провидение, в неисповедимых судьбах своих, позволяет ему изливать такую горькую чашу бед на такое множество бедных людей, то, конечно, готовит и ему какую-нибудь жестокую горечь. Когда большая половина света не знает ни Бога, ни Спасителя нашего Христа, ни красоты добра, предписанной Христом, как же может Государь, стремящийся к славе, к величию, употреблять яростно могущество свое на истребление народа, признающего Евангелие!»

Собственное ее отечество и происходящее в нем еще сильнее волновали ее: процесс и смерть Алжернона Сиднея, восшествие на престол Якова II-го, возрастание его тирании, возмущение Монмута и строгость наказаний, поразившая друзей дела, для нее дорогого, оживили все горестные воспоминания. Иногда прибегала она к неординарным утешениям. «Ежедневные явления, – пишет она, – заставляют меня часто осуждать себя в безумии, когда плачу о своей жизни, я должна радоваться, что возлюбленный муж мой достиг блаженного берега жизни вечной. Если б он жил, сколько раз терзалось бы его любящее сердце, теперь он в мире, в безопасности – а мне, в нем одном полагавшей свой мир, свою безопасность, надобно радоваться и благодарить Провидение». Но такие возношения благочестивой души не могут надолго утолить истинные страдания. Религиозное и политическое положение Англии день ото дня становилось мрачнее, и Леди Россель все более и более огорчалась и тревожилась, задетая за отечество и за успех дела, за которое Лорд Россель положил жизнь свою.

Революция 1688-го изменила однообразную жизнь ее, полную беспокойства и тревоги. После пятилетнего вдовства и унижения Леди Россель вдруг перешла к торжеству и почестям со всем бременем неизменной своей горести.

Она жила в Вобурне в продолжение тех двух месяцев, которые протекли между высадкою на берег Англии Принца Оранского и решительным бегством Короля Якова. Вдали от Лондонского шума и смут, между свекром и детьми, она знала обо всем, что совершалось, и следила за всем с благоразумной ревностью ума, постигшего шаткость великих предприятий, и со всей набожностью души, предающей отечество в руки Божии, так же как себя и семью свою. По письмам ее видно, что она читала газеты, объявления той и другой стороны и что все подробности всего случающегося при дворе и в городе к ней скоро доходили. Когда она узнала, что принц Оранский и при нем доктор Бурнет приехали в Салижбурн, то с нарочным написала к сему последнему: «Посланный мой отправляется из Вобурна только с этой бумагой к вам и привезет, надеюсь, добрые вести, желательные всеми благонамеренными людьми. Может статься, любопытство мое слишком нетерпеливо, но непобедимо. Прошу вас написать мне строчек шесть, хочу видеть что-нибудь, писанное вашею рукою на Англинской земле, а не одни печатные произведения вашего глубокомыслия».

Когда приближалось дело к развязке, она поехала в Лондон с Графом Бетфордом; тогда-то, вероятно, Король Яков просил Графа Бетфорда заступиться за него, и Граф отвечал: «Государь, у меня был сын, тот мог бы теперь быть опорой Вашего величества».

Леди Россель видела вблизи решительные события, поместившие Вильгельма III-го на трон. «Люди старые, видевшие многие перемены, с трудом верят, что это не сон, – писала она к доктору фиц Вильяму, – между тем это не сон, а такое чудное милосердие Божие, что сердца наши должны таять в чувстве неизреченной благодарности и преданности к Тому, кто по воле своей распределяет удары своего Провидения».

Хотя у нее не было никаких сношений с Принцем Оранским, но они не были чужды друг другу. Вильгельм знал, как ценят в Англии имя Лорда Росселя и как уважена его вдова, потому наперед уже

заялся ею. Когда в 1684-м он отправил в Лондон посланника своего Г. Дикенвельда, то велел посетить Леди Россель и именем его изъявить глубокое участие и уважение. Переписываю, не изменяя ни одного слова, подробный рассказ об этом посещении, написанный рукою Леди Россель 24-го марта 1684-го.

«Меня посетил Г. Дикенвельд, Голландский посланник. Он говорил со мною по-французски. Он изъявил мне от имени Принца и Принцессы Оранской сожаление о моем жестоком несчастье: они оба глубоко мне сочувствуют, потеря моя так велика, что они не сомневаются в неизменной моей горести. Они очень уважают меня, мою прежнюю семью и ту семью, в которую я вошла замужеством, они будут искать случая показать мне это уважение. Им было бы приятно, если бы я нашла утешение в уверенности, что постараются сделать все, чего бы я ни пожелала, как скоро будет это возможно; в особенности, если это могут сделать для сына моего, все будет сделано вполне. Г. Дикенвельд прибавил, что все это говорит он не как частный человек, а как уполномоченный посланник. Потом мы долго разговаривали, и он повторял, что Принц всегда высоко ценил моего возлюбленного супруга, никогда не сомневался в его благородных намерениях и горько оплакивал его потерю для благоденствия Англии и для протестантской религии. Г. Дикенвельд часто слышал, как принц говорил о моем Лорде всегда с величайшим уважением, и это, прибавил он, говорю я не для того, чтобы сказать Вам приятное, но для того, чтобы знали, что все отдают полную справедливость вашему мужу и памяти его; даже те, кто не сочувствуют его делам, почитают его имя и соглашаются в том, что никто не превзошел его в честности, прямоте, преданности отечеству и в искренности благочестия. Г. Дикенвельд рассказал мне одно частное происшествие, которое доказывает, как даже противники моего Лорда поражены были его потерей. Он обедал у Г-на Скельтона, посланника Англинского Короля в Голландии в то время, когда в Гаагу пришло известие об этих несчастных днях. Рассказывая полученные новости с умеренностью, приличной в таком деле, Г-н Скельтон помолчал при имени Лорда Эссекса, но услышав имя Лорда Росселя, вскричал: «Король взял жизнь одного человека, но тем лишил себя тысячей хороших людей». “Я повторяю это потому, – прибавил Г. Дикенвельд, – что это сказано было приверженцем Короля, Господином Скельтоном”».

Вильгельм, взойдя на престол, не замедлил подтвердить слова, сказанные Леди Россель его посланником. 13 февраля 1689 Король Вильгельм и Королева Мария, приняв поутру корону, поднесенную Парламентом, ввечеру во дворце Вильгельма принимали первое торжественное представление. Леди Россель не была при оном. Отказавшись от всей мирской гордыни, она не снимала траура и не выезжала никуда. Дочь ее, Леди Кавендиш, представлялась в этот вечер ко двору вместе с графиней Девонширской, своей свекровью. «Я целовала руку Короля и Королевы, – писала она на другой день к двоюродной сестре, мисс Жак Аллингтон. – Все дома в городе были иллюминированы, и везде горели радостные огни, это было восхитительно. Говорят, что Король примерно занимается делами, и удивляются благоразумию, с каким он все устраивает. Он не хорош собой и на первый взгляд нет в нем благородства, но посмотришь долее и увидишь в лице выражение мудрой твердости и доброты. Королева очень хороша, приятна лицом, стан и все движения исполнены прелести. Она высока ростом, однако же ниже последней нашей Королевы. Гостиная ее была набита, как легко понять можете».

Политические действия следовали за любезностями. В Парламенте приняли билль для уничтожения осуждения Лорда Росселя, называя казнь его смертоубийством. В одной статье сказано, что билль этот обнародован по просьбе Графа Бетфорда и леди Россель. Сир Томас Клеридж требовал, чтобы слова эти были исключены. «Народная правда, – сказал он, – вернее всех частных прошений. Билль этот не милость, это участие целой Англии».

Это был второй акт, подписанный Вильгельмом по восшествию его на престол. Вскоре потом, желая доказать благосклонность свою обеим семьям, соединенным союзом дружества и политических убеждений, Король дал титул Герцогов Графу Бетфорду и Графу Девоншир; в грамоте, данной новому Герцогу Бетфорду, сказано: «Между многими причинами этого повышения одна из главных есть та, что он отец Лорда Росселя, который останется украшением нашего времени. Редкие заслуги и качества этого человека будут переданы потомству, но для Короля и Королевы этого недостаточно: они делают, чтобы в предстоящих грамотах они были вписаны и хранились в семье как памятники совершенной добродетели, воспоминание коей будет свято, пока

люди будут чтить великость души, чистоту нравов и любовь к отечеству, неизменную даже в смерти».

Семейные радости посетили Леди Россель: вместе с политическими вознаграждениями она выдала замуж вторую дочь свою Катерину за Лорда Росса, старшего сына Герцога Рутланда, и женила сына своего Лорда Гавистона, пятнадцатилетнего отрока на мисс Гауланд, богатой наследнице графства Суррей. И в том и в другом случае она руководствовалась не одними уважениями знатности и богатства; она долго медлила отдавать дочь в семейство Лорда Рутланда, потому что там внушал ей опасение случившийся в родстве развод, а для сына отказала невесте гораздо богаче. Знатность этих союзов и семейные ее удачи привлекли взоры высшего общества без зависти и без удивления; все громко выражали симпатию к справедливости судьбы, все желали усладить печаль добродетельной Леди Россель, родные и друзья Росселей, Кавендишей и Вриотеслей рассказывали леди Россель веселие праздников, к которым она не была причастна, уединяясь в своем Сутамптон-гаузе. Дочь ее, Катерина, вышедши замуж за Лорда Росса, поехала с мужем в Бельвуар, замок ее свекра Герцога Рутланда. При этом случае сир Дремсфорбах, тот джентельмен, который приносил Лорду Росселю от Лорда Кавендиша предложение занять место его в тюрьме, писал к Леди Россель: «Хочу рассказать вам, Миледи, некоторые подробности о путешествии Лорда и Леди Росс и о прибытии их в Бельвуар. Езда их похожа была больше на шествие Короля и Королевы посреди владений своих, нежели на переезд новобрачных к отцу. В Лейстершире они приняты были Шерифом и всеми джентльменами графства, они съехались в Гарборд принести молодой свое почтительное поздравление. На другой день все эти джентельмены проводили ее до замка, и тут же множество народа, сбжавшего со всего графства, поздравляли ее с громкими восклицаниями. Приближаясь к Бельвуару, шествие наше еще увеличилось, приехали в каретах Альдермены, целые корпорации, духовные люди, которые поднесли новобрачным стихи. При въезде в Бельвуар нас встретили в воротах 24 музыканта со скрипками, 24 с трубами, 24 дамы и 24 священника; все в порядке пошли в большую залу, где совершился обычный церемониал представлений и поздравлений. До ужина осматривали замок и присутствовали при стряпании необыкновенного количества сливок с хересом, назначенным для угощения посетителей. Я не видывал ничего

подобного. После великолепного ужина все общество отправилось в большую залу, новобрачные впереди, за ними все прочие по два в ряд.

Тут предстал перед нами огромный водоем, и началось питье здоровья. Сперва пили ложками, потом серебряными чашками, и хотя пили много и предлагали различные тосты, но после целого часа весьма усердного занятия напитков едва на палец опустился в вазе. Тогда Леди Рутланд призвала всех домашних слугителей. И все, стоя на коленях, пили за здоровье молодых большими стаканами. Это продолжалось далеко за полночь».

В то же время Леди Россель получала от благочестивых друзей своих поздравления, которые больше соответствовали состоянию души ее. «Вы пережили другие события, – писал ей Бурнет, ставший Епископом Сализбурийским, – Господь соблюл лучше на конце вашей жизни. Он сам возвысил дом ваш. Два раза в день я молюсь, чтобы семья ваша, которая в своих трех отраслях самая верная в настоящем времени, заслужила Божескую милость примерной святостью жизни и чтобы вы и дети ваши пребывали всегда для нашего отечества благословением, ниспосланным свыше».

После женитьбы сына ей сделано было странное, но весьма лестное для него предложение. Общий выбор готовился вновь для камеры депутатов. Герцог Шревебюри, великий Государственный судья, и Лорд Соммерс, хранитель печатей, просили Леди Россель согласиться, чтобы сын ее (которому минуло пятнадцать лет) предьявился кандидатом на выборах Графства Мидльсекского. «Я представил их сиятельству, – пишет сир Дремсфорбес, – все возражения, которые вы и Герцог Бетфорд могли бы сделать, они действительно думают, что честь семьи и ваша польза требуют, чтобы сын ваш теперь представился. Вместе с прекрасным человеком, Сиром Джон Вульстонгтон, они непременно выбраны будут и оттолкнут двух значительных ториев. Когда я сказал, что Лорд Тавистон едет теперь в Кембридж, а потом путешествовать на два или три года, то Лорд Шревсбюри отвечал, что этому он не противится, что лорду Тавистону нужно только однажды показаться на выборах, что его будут сопровождать несколько тысяч джентельменов и многие особы, приехавшие из города верхом, и что расходов не будет почти никаких. Сверх того Лорд Шревсбюри велит вам сказать, что если

вы согласитесь, как он не сомневается, на это предложение, то просит у вас позволения представить только на один этот день вашего сына под именем Лорда Росселя: это имя даст ему десять тысяч голосов, если столько их находится в графстве». Сколько приманок для любви и гордости! для матери и супруги!

10

Но она не поддалась искушению. Ее защитили две могучие силы: горесть и благочестие. Что касается до титулов и почестей, которыми осыпали семейство Росселей, – «Я всеми силами старалась бы приобрести им все это, но мне самой эти наружные блага не доставляют ни малейшего удовольствия».

С благоразумием, исполненным скромности, она отклонила преждевременное торжество, предлагаемое политикой ее сыну. «Посылаю вам, Милорд, – писала она к деверю своему Лорду Эдуарду Росселю, – письмо, которое вчера получила от друга нашего Сира Дремсфорбеса; прошу вас прочесть его и, если вам не покажется неприлично, съездить к Герцогу Шревсбюри. Я так уважаю его мнение, что если б могла думать, что он серьезно размыслил об этом деле, то усомнилась бы в собственном рассудке. Отец ваш, который ничего еще не знает об этом письме, вероятно, испытал бы такое же впечатление. Вы помните, как он противился этому предложению, когда меня в первый раз о том уведомили. Но твердая настойчивость его светлости может изменить мнение Лорда Бетфорда. Он опасается, что выбор сына моего в члены Парламента прервет ход его воспитания и сделает его ни к чему не способным в будущем. С моей стороны, я в этом вполне убеждена и знаю, что тогда ничем уже зла исправить не можно. Между тем, желая всего лучшего сыну, я готова покориться тем, кто умнее, благоразумнее меня и кто делает нам добро. Отвечайте, прошу вас, с первою почтою, до вашего ответа ни слова не скажу Сир Джемсу».

Мудрость матери превзошла выгоду партии, и вместо выборов Мидльсекского графства Лорд Тавистон поехал доучиваться в университет Оксфордский, «где наша знатная молодежь должна провести несколько лет», – писала Леди Россель к доктору фиц-Вильяму.

Во всех самых простых случаях жизни она поступала с тем же благоразумием, с тою же нравственною прямою, остерегаясь предрассудков, легкомыслия, беспечности и заносчивости, сродной древним аристократам. Прежде чем решилась отдать дочь свою Катерину за сына графа Рутланда, она спрашивала: «Не полагает ли, ваша светлость, что нашим юношам следует чаще видаться и побольше познакомиться? или надобно узнать нрав друг друга, прежде чем заключить союз, который, надеюсь, будет счастлив». Спустя несколько лет после этого ей случилось располагать двумя духовными бенефициями; вот что писала к одному приятелю, Сиру Роберту Ворслей: «Приход весь расположен принять Г-на Свайна; кажется, он достоин, чтобы его выбрали, вы тоже этого желаете. Между тем, если вам известно что-нибудь препятствующее ему быть вполне достойну этого места, уверена, что из уважения ко мне и по важности такого решения, вы помешаете мне сделать ошибку. Я почитаю весьма тяжким бременем заботу о стольких душах и потому хочу знать, кому ее возлагаю. Для Г-на Свайна не могу делать исключения».

Столько разума, добродетели и кротости посреди многообразных испытаний, посреди счастья и ударов рока доставили Леди Россель и в народе Англинском общее уважение и нравственную власть, редкая женщина пользовалась подобной. Король Вильгельм и Королева Мария продолжали участием предупреждать желания. Во время революции, когда надобно было получить формальное согласие принцессы Анны на коронование Принца Оранского, Леди Черчилль (после Герцогиня Мальбрук), друг и доверенная Принцессы, не дозволила ей согласиться, не посоветовавшись с людьми неоспоримой прямоты и мудрости, преимущественно с Леди Россель из Сутамптон-гауза и доктором Тиллотсоном, после Канторберийским Епископом. Тиллотсон долго не решался принять Епископство из рук Короля, не признанного целой половиной Англиканской церкви. Леди Россель решила его. Он несколько раз советовался с нею и уведомлял о ревностном настаивании Короля; она, разобравши все недоумения и совестливые отговорки доктора, написала ему: «Столько раз проповедовали вы другим покорность, теперь пришло время самим вам на деле дать пример этой добродетели. Вы будете, не сомневаюсь, истинно полезны и благодетельны. Посмотрите, как у нас мало лю-

дей способных и честных и перестаньте колебаться. Вы переглядели вопрос со всех сторон, следовательно, возвращаясь к нему, запутываете себя без всякой нужды».

С другом своим, доктором фиц-Вильямом, убеждения ее не имели успеха. Он отказался принять присягу, по зазрению ли совести или боясь осуждения половины своей паствы, и оставил место и бенефиции. Леди Россель толковала с ним об этом, но с такою же нежной совестливостию: «О чем идет дело? – писала она к нему, – об одном слове, которое каждый человек понимает иначе нежели другой. Вы говорите, что можете принять его в том смысле, на который согласились многие хорошие люди? Зачем же хотите быть лучше хороших людей? Для меня главный вопрос заключается в том, можете ли принять присягу без тайных оговорок. Я ненавижу эти тайные оговорки, к Богу ли относятся они или к людям. Бога обмануть не можем, как бы не желали, но меня ужасает одно желание... Впрочем, добрый друг мой, когда начала писать к вам, я не думала говорить об этом предмете, вы мне это простите. Я не могу спорить с вами, но когда искренно чего делаю, говорю без утайки, примите слова мои и простите их». Это разногласие не возмутило ни на минуту их благочестивого согласия.

Леди Россель во время торжества ее партии и торжества собственного осталась во всех отношениях независима умом и сердцем, без всякого упоения власти. Однажды только показалась она несколько горда и взыскательна. Она рекомендовала в адвокаты-советники Короля отличного молодого человека Вильяма Купера, который после, при Георге I-м, был Графом и Канцлером. Просьба ее встретила сильные возражения, ему недоставало законных лет. Леди Россель повторила просьбу, сперва Лорду Галлифаксу, потом Генеральному Государственному адвокату Сиру Г. Полексфену. Письмо к сему последнему оканчивается следующей фразой: «Я предпринимаю немного дел и желаю услужить немногим, но не люблю ошибаться, когда хочу достигнуть цели». Это единственная черта гордости, которую я нашел между всеми письмами этой кроткой и прямой души; но в этом случае взыскательность оправданна достоинством человека.

Впрочем, Леди Россель судила себя строже, нежели мог бы осудить ее самый суровый моралист. После смерти ее нашли бумагу недоконченную, писанную рукою дрожащей от старости, где

она в виде молитвы, с боязливым смирением, отличительным качеством христианской души, проходит всю жизнь свою, дает себе отчет в пороках своих, слабостях, грехах и молит Господа простить ей. Там прочел я следующее: «С боязнию вижу, что гордость привязалась ко мне во всем, что говорю, во всем, что делаю, во всем, что терплю. Я не умею переносить небрежение или непочтительность. Сама я не довольно почтительна с высшими; часто сержусь без причин, огорчаю тем людей, желающих мне угодить, других ввожу в грех раздражения... Я не охотно признаю пользу советов и примеров, мне данных. Мне досадно, когда не вижу, даже от старших, того почтения, которого ожидала. Такова суетность бедного моего сердца».

Я не могу судить Леди Россель так строго, как она сама себя судит, но обвиняя себя в гордости, в надменной взыскательности, она действительно угадывала слабую сторону души своей, и проничательность ее равнялась искренности.

Она старелась, окруженная общим почтением, славная своей горестью, довольная семьей, отчеством, и тихая перемена постепенно в ней образовалась, те же воспоминания, та же горесть, не оставляя сердца, не раздирали уже его; время, привычка, утомление, отчуждение от самой себя, годами производимая во всех прекрасных душах, притупили острую боль скорби; любовь к детям, забота об их счастье, добродетели оставляли в сердце менее места горьким возвратам к прошедшему: набожность со всеми ее упражнениями, должностями и восторгами была ее обычным состоянием. Одним словом, посвящая себя той же любви, она покорялась христиански, вверялась вечному будущему и без нетерпения старалась заслужить его. Вот письмо, написанное ею к детям в 1691-м, прежде брака второй ее дочери и женитьбы сына: «Любезные мои дети, пишу к вам 21-е июля, в день мучительного воспоминания, в который ваш отец был так жестоко от нас оторван, к вашему великому несчастью и к моему вечному горю. В этот день я всегда смиряюсь под рукою Божию и перед ним обнажаю душу в посте и молитве; в этот день я тщательно рассматриваю жизнь свою и все грехи, чтобы принести чистое раскаяние, записываю постоянно все случаи и все свое поведение, так как записала для вас в той тетради, которую отдала вам в день вашего первого приобщения Святых тайн». – Тут рассказывает она детям еже-

дневные упражнения, которым она подчинялась для того, чтобы ни один поступок не мог ускользнуть от ее надзора: свои обычные молитвы, чтение Священного писания и потом книг нравственных и назидательных духовно. «В конце каждой недели я пересматриваю записанное в тетради, вижу, в чем грешна была, рассеянна ли в молитве или другая какая вина, и в нескольких словах пишу обзор недели. Первая пятница каждого месяца посвящена пересмотру записок моих, тогда и рассматриваю все поведение в течение месяца, пропускаю все незначительное и останавливаюсь на замечательном, на том, что должно быть для меня предметом горести или благодарности... Таким образом приобретается привычка к постоянной бдительности, и когда подходит время Тайной вечери или когда хочу рассмотреть себя вполне, то бумаги эти много помогают мне; не нужно вспоминать, ничто из дел моих не забыто, ничто не ушло [у] меня от рассеяния. Хотя сначала затруднительно накладывать на себя такую обязанность, но скоро можно привыкнуть к этой тяжести; дух наш становится спокойнее и внимательнее, жизнь порядочна без усилия, и тогда легко исполнять все предписания веры нашей... Дети мои, верьте вашей матери, нет в мире ничего, что бы было мне дороже вас, и хотя я нежно люблю ваше тело, но гораздо еще больше люблю душу вашу. Когда находит на меня страх, что кто-нибудь из вас сбивается с прямого пути или поддается дурным наклонностям, или не так добр, как я бы желала, о, какое мучение терзает меня! Умоляю вас, если вы любите, если уважаете память отца вашего, ведите себя так, чтобы мы не могли бояться разлуки в будущей жизни, он, вы и я... Здесь самая долгая жизнь коротка, и никто не знает, сколько проживет. В испытаниях и несчастиях наших нет другого утешения, кроме надежды на блаженную вечность; только тот, кто испытал это, может знать, сколько эта надежда успокаивает и улаживает самые жестокие скорби.

Когда я готова была пасть под ударом, меня поразившим, когда теперь сокрушаюсь о потерянном, то стараюсь все мысли направить на то успокоительное убеждение, что скоро покину этот свет и пойду туда, где увижу Спасителя, умершего за нас, где соединюсь с моим возлюбленным мужем и со всеми благочестивыми друзьями... О милые дети! старайтесь, чтобы всем нам соединиться! Вы можете наслаждаться невинными удовольствиями жизни, но если они отни-

мут все ваше время, если отдалят вас от благочестивых мыслей, от молитвы, от религиозных упражнений, то – это будет грех. Исполняйте в точности и всем сердцем все обязанности ваши к Богу, тогда на земле удовольствия ваши будут невинны, а на небе место ваше будет верно».

Леди Россель не напрасно опиралась на все опоры душевные, испытания еще не окончились. Десять лет спустя после этих кротких материнских увещаний она сидела у постели сына своего, ставшего Герцогом Бедфордским и внезапно пораженного оспой. Боязнь заразы отдалила молодую Герцогиню и детей ее, мать оставалась одна, поддерживая бодрость духа умирающего сына и внимая последним его словам. Он умер. – «Увы! мой дорогой Лорд Галвей, – писала Леди Россель через несколько дней после того к двоюродному брату Генриху де Рювиньи, – мой дух в смятении, в безумии, в тревоге, я не способна ни говорить, ни делать что-нибудь. Я не знала всей силы любви моей к нему. Когда я буду поспокойнее, тогда, надеюсь, что милосердие, которому нет пределов, и всемогущество, которому ничто противиться не может, благодатью свыше подкрепит меня и научит предаваться беспрекословно приговорам Его Провидения. Облегчает скорбь мою мысль, что в смерти сына я оплакиваю только разлуку с ним. Господь наш был постоянно в мыслях его и в душе, в последние минуты он призывал Его, жаловался, что не может громко молиться. “Мне хотелось бы, – сказал он мне, – свести счеты мои с Богом”. Он говорил мне о сестрах, о жене и несколько раз повторил, что она была с ним очень добра и ласкова, жалел, что не может сам благодарить ее, просил меня оказывать ей за него двойную любовь и признательность. Он без большого страдания оставил здешний мир, постоянно был терпелив и кроток, знал опасность свою, но, не желая, вероятно, огорчить окружающих, замедлил сказать свою последнюю волю. Но зачем говорить? Судьба совершилась. Не прошу вашей мольбы, уверена, что вы всем сердцем молитесь за меня Богу»*.

Прошло полгода, и новый удар поразил опять Леди Россель. Вторая дочь ее, герцогиня Рутланд, умерла родами. Ей оставалась

* Молодой Герцог Бетфорд оставил после смерти много детей, между прочим два сына; от него родились теперешний Герцог Бетфорд и брат его Лорд Джон Россель.

одна только дочь, Герцогиня Девонширская, которая также в это время родила. Принуждена будучи скрыть от нее смерть сестры, Леди Россель отвечала на ее тревожные вопросы: «Я видела сестру твою уже не в постели». Она видела ее в гробу.

В 1692-м, то есть двадцать лет прежде этих несчастий, Леди Россель едва не ослепла: счастливой операцией сняли с глаз катаракт, но зрение осталось слабо и неверно. От этого периода жизни ее сохранилось мало писем, спокойных и глубокомысленных. Казалось, будто все любимые ее вышли из общего заключения, а она одна ждет в тюрьме своей очереди освобождения. 28 мая 1716-го писала она к Лорду Галвею, также лишившемуся лучших своих сердечных сокровищ: «Молю Бога, чтоб он подкрепил вас в посланном испытании до того времени, когда вечность примет в лоно свое все наши скорби, наши тревоги, неудачи, все тяжести нашей жизни. О, как она ничтожна перед вечностью!»

В сентябре 1723-го Леди Россель была в Лондоне, в этом Сутамптон-гаузе, где жила она с отцом, с мужем и потом вдовою. 26-го этого месяца внука ее, Леди Рашель Морган, писала к брату Джону Кавендиш из замка Чатерворд: «Мы получили дурные известия о бабушке Россель, и все ужасно встревожены. Маминька (Геоцогиня Девонширская) тотчас поехала в Лондон... Вероятно, дорогой взяла письма, потому что сего дня ни одного не получили, и все в большом беспокойстве. Желая, чтобы маминька приехала вовремя, для обоих это было бы большое утешение, я знаю, что бабушка ее требовала».

Господь даровал матери и дочери эту последнюю радость. Леди Россель скончалась 29 сентября 1723-го на руках последней своей дочери.

Британская Газета, журнал того времени, объявил об ее кончине следующими словами:

«Высокородная Леди Россель, вдова Лорда Вильяма Росселя, скончалась в прошедшую субботу, в пять часов утра, в Сутамптон-гаузе 86-и лет. Тело ее будет перевезено в Шени, в Букингсгамшир, для погребения возле тела супруга ее».

В двух других журналах повторили то же.

«Время для нее кончилось, она входит в обладание вечности» — эти слова сказал перед концом своим Лорд Россель, их повторяю жене его.

С большим удовольствием описывал я эту прекрасную женщину, с чистотой ее страсти, с ее величием и смирением, преданную вполне к должности, к чувствам сердца, одинаковую в горести и радости, в бедствии и торжестве. Наше время заражено плачевной болезнью: оно верит страсти, только соединенной с развратом; безмерная любовь, все восторженные чувства, обладающие душою, кажутся возможными только вне законов нравственных и общественных приличий, всякий порядок считается тяжким бременем, всякая преданность унижающей подлостью, всякое пламя не ясным, если оно не производит пожар. Болезнь эта тем опаснее, что это не проходящая горячка, не вспышка излишней силы: она выходит из развращенных учений, из пренебрежения всякого закона, всякой веры, всякой духовной жизни; она основана на обожании самого себя, себя одного, своей воли, своего удовольствия. К этой болезни присоединяется другое, не менее вредное: человек не только обожает одного себя, но обожает в толпе, в которой все смешаны, он завидует и ненавидит все, что возвышается от общего уровня, всякое превосходство, всякое личное величие, какое бы ни было ему имя и род, кажутся этим разгоряченным падшим умам и беззаконием и угнетением того хаоса безличных и однодневных существ, которое они называют человечеством. Когда является в возвышенных рядах общества какой-нибудь резкий соблазн или ненавистный пример порока и преступления, то они торжествуют и с жаром указывают на эти мрачные явления, чтобы восстать против всех общественных возвышений. Они хотят уверить, что таковы нравы вообще, что это следствие знатного рождения, большого богатства, аристократии. Наслышавшись этих низких учений и насмотревшись на постыдные страсти, их порождающие, я встретил с наслаждением одну из тех великих личностей, которые так ярко им противоречат. Я глубоко почитаю человечество во всей его прелести и с восторгом люблю эти прославленные образы, которые с видимыми чертами, с именем известным олицетворяют и высоко поднимают то, что в человечестве заключается чистого и благородного. Леди Россель доставляет душе эту честную и прекрасную радость. Это знатная госпожа и христианка. Для меня она не чужая, горе ее меня трогает, участь за-

нимает, мне кажется, будто она живет перед моими глазами, и я верю, что, вышедши из этой жизни, исполненной для нее жестоких испытаний, она в том, покуда сокровенном для нас мире, соединилась с возлюбленным своим мужем и приняла награду за страдания свои и за благое свое терпение.

Священник Д. Долгушин
(Новосибирский государственный университет)

**«ТЕПЕРЬ ВСЯ ЖИЗНЬ ПРИВЕДЕНА В ХАОС»:
ПИСЬМО В.А. ЖУКОВСКОГО А.П. ЕЛАГИНОЙ***

Многолетний эпистолярный диалог В.А. Жуковского и А.П. Елагиной, его племянницы, по возрасту и по близости отношений доводившейся поэту, скорее, сестрой, – уникальный источник биографических сведений о первом русском романтике. Научное издание его было осуществлено в 2009 г. Э.М. Жиликовой¹. Однако общий объем переписки Жуковского и Елагиной так велик, что не приходится удивляться обнаружению новых, еще не публиковавшихся писем. Одно из них, датированное 26 июля (6 августа) 1847 г., хранится в Елагинском фонде Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки.

Оно было написано в то время, которое Жуковский считал самым тяжелым периодом своей жизни. Вот уже почти год, как продолжалась тяжелая болезнь его жены. «Нестерпимая, вулканическая»² летняя жара 1846 г., испуг от землетрясения в Швальбахе³, потрясение от смерти любимой сестры Мии, скончавшейся 10 (22) февраля 1847 г., переживания за отца и брата, также болевших в этом году, привели к тому, что у Елизаветы развились продолжительные приступы тяжелой депрессии, слабости и головной боли:

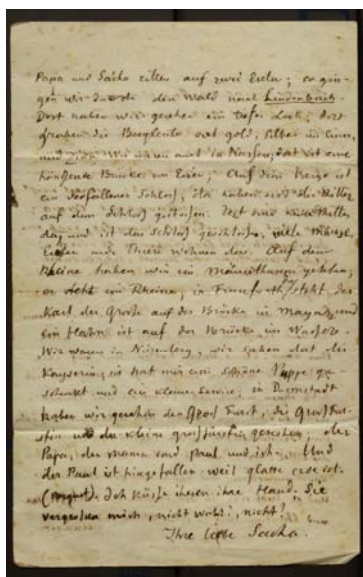
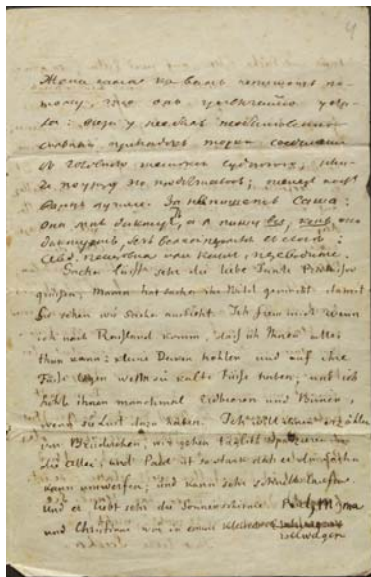
* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ. Совместный конкурс научных проектов РГНФ-Императорское Православное Палестинское Общество 2015 года – грант № 15-64-01001.

¹ *Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной* / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиликовой. М., 2009.

² Там же. С. 559–560.

³ *Жуковский В.А.* Письмо А.Я. Булгакову, 1/13 октября 1846 г. Франкфурт // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: альманах. М., 2008. Т. 17. С. 516.

Автограф письма
В.А. Жуковского к А.П. Елагиной
от 26 июля / 6 августа 1847 г.



Физическая тоска душит ее и производит в ней беспрестанный страх смерти; при этом страдания самые несносные, все убивающая, нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из ее сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной опоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой; – вот что с утра до вечера совершается ежедневно на глазах моих, –

описывал Жуковский состояние жены в письме А.П. Елагиной в январе 1847 г.¹ Доктор И.Г. Копп, к которому поэт обратился за консультацией, советовал лечение ваннами в Эмсе, куда Жуковские и отправились в конце июня 1847 г.

Приезд в Эмс пробудил в поэте волнующие воспоминания: слишком многое в его жизни было связано с этим курортным городом. Здесь в 1826–1827 гг. он сдружился с семейством Рейтернов, которому суждено было стать для него родным. Здесь в 1838 г. он познакомил своего будущего тестя Г. Рейтерна со своим учеником-цесаревичем. Здесь в июне 1840 г. он стоял на пороге новой жизни, готовясь сделать предложение Елизавете и прощаясь с педагогической деятельностью при дворе. Тогда в Эмс, как будто нарочно, съехались представители и прошлого, и будущего: императорская чета, цесаревич со своей невестой и семейство Рейтернов. Жуковский писал цесаревичу из Эмса 1 (13) июля 1847:

Чудно мне было, по прошествии нескольких лет, очутиться опять на том месте, где столько решительного в жизни моей совершилось, где, так сказать, была колыбель, из которой я на старости лет вышел ребенком для новой здешней жизни, совсем непохожей на прежнюю².

Воспоминания, нахлынувшие на Жуковского в Эмсе, располагали к авторефлексии, и Жуковский написал здесь ряд писем, наполненных размышлениями о своей жизни. Экзистенциальным императивом, артикулированным в них, был обращенный к самому себе призыв к терпению. Терпение понималось Жуковским не в стоиче-

¹ *Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной*. С. 559–560.

² *Жуковский В.А. Сочинения*. 8-е изд. / под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1885. Т. 6. С. 532.

ском, а в христианском духе: не как безнадежная апатия перед лицом судьбы, но как исполненное надежды смирение перед Богом. Однако такому терпению еще надо было научиться, поэтому в эпистолярных текстах Жуковского этого периода жизнь постоянно сравнивается со школой. Наиболее детализированно эта аллегория была развита в письме П.А. Плетневу от 3 (15) февраля 1850 г.¹, встречается она и в других письмах, в том числе и в публикуемом ниже; жизненная философия Жуковского выражена в нем с афористической емкостью и силой: «<...> наука терпения есть высочайшая, главная наука жизни».

Большим утешением для Жуковского во время пребывания в Эмсе был приезд сюда А.С. Хомякова, об общении с которым Жуковский рассказывает в своем письме достаточно подробно. Во время их ежедневных встреч утром и вечером Хомяков читал Жуковскому свою «Семирамиду» и, что было особенно важно для поэта, законченную часть его перевода «Одиссеи». Сближение Хомякова и Жуковского нашло выражение в их общих творческих планах: они договорились о том, что Жуковский будет способствовать публикации на Западе трактата Хомякова «Церковь одна», написав для него предисловие (Хомяков выдавал этот трактат за сделанный им перевод греческой рукописи, и Жуковский верил этой мистификации)², Хомяков же взялся составить мифологический, исторический и географический словарь к переводу «Одиссеи»³.

¹ Ср.: «Но наука жизни есть *признание* Воли Божией – сперва *просто признание*, что она выше всего и что мы здесь для покорности; потом *смирение в признании*, исключаящее всякие толки ума или страждущего сердца, могущие привести к ропоту; потом *покой в смирении* и целительная *доверенность*; наконец сладостное *чувство благодарности* за науку страдания и *живая любовь* к Учителю и к его строгому учению. Вот четыре класса, которые необходимо должны мы пройти в школе жизни» (*Сочинения и переписка П.А. Плетнева*. СПб., 1885. Т. 3. С. 629–630).

² Подробнее см.: *Долгушин Д., свящ.* Протоиерей Иоанн Базаров и В.А. Жуковский: из истории религиозно философских исканий русского образованного общества 1840-х годов // Вестн. ПСТГУ. Сер. 2: История. История РПЦ. 2013. №53 (4). С. 102.

³ Подробнее об истории отношений Жуковского и Хомякова см.: *Янушкевич А.С.* В.А. Жуковский и А.С. Хомяков в 1840-е годы (к дневнику Жуковского) // Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. 1. С. 33–44.

В публикуемом письме Жуковского помещена и приписка на немецком языке, сделанная поэтом со слов его пятилетней дочери, представляющая собой биографический интерес: в ней сохранились сведения о семейных путешествиях Жуковских по Германии, в том числе и о посещении Жуковским Мойзетурма – башни на Рейне, с которой была связана легенда о епископе Гаттоне, положенная в основу его переведенной из Саути баллады «Суд Божий над епископом».

Текст письма печатается по современным правилам орфографии и пунктуации, с сохранением особенностей написания некоторых русских и немецких слов («итти», «Francfurth», «thun» (имеется в виду «tun»), и др.). В русском тексте сохранена расстановка прописных букв, сделанная Жуковским, в немецком она приведена к орфографической норме. В квадратные скобки заключены раскрытия сокращений и редакторские конъектуры. Подчеркивания в рукописи воспроизводятся курсивом.

Эмс 1847 26 июля / 6 авг[уста]

Вы полагаете, что мы уже в Швейцарии и дышим чистым воздухом райского Интерлакена – вместо того мы в скучном, тесном Эмсе. Копп переменял план наш; он увидел, что жене нужно не одно отдохновение и подкрепление после болезни, но еще *лечение от болезни*. Он предписал нам Эмс. И вот уже три недели, как мы в Эмсе. Жена пьет воду и купается. Еще не только нет никакого благотворного действия; но, по словам ее, еще хуже. Доктор, однако, уверен, что действие будет хорошее. Дай Бог. Другого нечего делать, как следовать предписанному: в этом случае обязанность ясная. Другой дороги перед глазами нет; а вперед итти должно. Дойдешь ли к своей цели, это зависит от Бога, если не дойдешь к цели, это будет значить, что воля его состоит в этом недостижении: другого ум придумать не может. Дело в том только, чтобы этому убеждению сердце покорялось с спокойствием или с смирением веры. Но в этом-то трудность; невольно, при виде страдания, терзающего бедное тело и парализующего все душевные силы, нужные именно для того, чтобы переносить эти страдания с надлежащим достоинством, всякое убеждение исчезает, и если себе не позволяешь ропота, то стоишь на границе его в самом мрачном недоумении. Когда этому будет конец, не знаю; знаю только то, что теперь вся жизнь приведена в хаос.

Наука терпения есть высочайшая, главная наука жизни; помоги Бог принять ее в душу; она не может и не должна легко нам доставаться. Я поздно принялся за ее азбуку. Может быть, мне суждено и до складов этой азбуки не добраться. По крайней мере, хотя буду стараться не выбросить произвольно из рук указки, ни от лени, ни от досады, ни из упрямства. Как бы то ни было, но жизнь моя бедная в жалком положении – и это длится уже целый год. Нам обещают, что все кончится благополучно – и этому множество примеров. Помоги Бог и пошли помощь терпению. Теперь я пишу к вам в темную минуту; но все-таки и теперь знаю (в хорошие же минуты и чувствую), что в доме бдительного Отца семейства все устроено по одной *его* все хранящей воле и что детям ни о чем другом не должно думать, как об исполнении этой воли. Что в этом заключается и особенное *их*, и общее благоденствие *дома*. Блажен, кто любит Отца, тому везде, во всем и всегда любо быть сыном. – После нашего пребывания в Эмсе мы уже не поедем в Швейцарию; в сентябре месяце она не годится для житья; горный воздух будет уже не *чистый*, а *холодный* воздух, что после теплых ванн не годится. Доктор советует провести сентябрь, если он будет теплый, где-нибудь в окрестностях Франкфурта на высотах Таунуса или в Шлангенбаде, где свежо, но не холодно, и тихо. Увидим. – Знаете ли, Авдот[ья] Петровна, кто жил с нами под одною кровлею в Эмсе? Хомяков с женою и двумя детьми. Они пробыли не более двух недель, и мне было весьма отрадно соседство нашего чудного Хомякова. Подлинно чудного! Какой живой ум, какое незлобное сердце, какое разнообразие и богатство знаний! У меня всегда к нему лежало сердце; а теперь я и дружески полюбил его; мы ежедневно сходились: перед обедом с 11-ти часов до 1-а, и ввечеру от 9 до 11-и. – Перед обедом он читал мне необыкновенно значительные отрывки исторического труда своего; а ввечеру он же читал мне вслух мою Одиссею (и он не прежде уехал, как прочитал все XII [песен]). Теперь, кажется, могу думать, что эта половина труда моего кончена и может явиться в свете. Моя жена полюбила его жену, но сблизиться им так, как их мужья, было нельзя; болезнь всему помеха; особливо болезнь моей бедной жены, которая с утра до вечера не выпускает ее из когтей своих. Из Эмса Хомяков отправился в Лондон. – Не знаю, удастся ли ему оттуда проехать через Франкфурт и увидится ли он со мною на возвратном пути своем. От него я узнал (еще до получения вашего последнего письма) о болез-

ни нашего милого Ивана¹ и его выздоровлении. Когда подумаешь о том, что вам суждено было вытерпеть в жизни, то краснеешь за самого себя; но вы уже прошли всю грамматику терпения, а я сижу еще за азбукою: учитель милостив в своей благодатной строгости; он знает, что желание учиться есть; он найдет способ дать и знание. Разве не он одним словом просветил того, кто с креста своего закричал ему: Помяни мя Господи во царствии своем. О! кто же даст сердцу этот крик. Над вами он пронес мимо эту новую чашу скорби; помог он вам и опять возвратил силы здоровья. Надеюсь, что он нам еще даст несколько светлых годов вместе. Об этом я ежедневно прошу его в своей молитве. А вы, моя милая сестра, или, лучше сказать, наша общая, нами выбранная мать, знайте, что я в глубине сердца верю нашему свиданию и нашему соединению в здешнем еще свете; мне и в голову не приходит возможность, чтобы вы не благословили жены и детей моих. Мы еще проведем несколько лет вместе; Бог в своей милосердии даст мне и моему семейству это благо, всем нами желаемое несказанно. – Катя Елагина, ты не отвечала еще ни мне, ни жене на наши письма? Как же это изъяснить? Тут даже и лень не дает никакого понятного изъяснения. Надеюсь, что ты к нам напишешь еще прежде этого понукания, которое здесь тебе посылается; если же нет, то устыдись и напиши немедленно. Жену молчание твое тревожит; а меня оно сердит. – А вам, милая сестра Екатерина Афанасьевна, посылаю в задаток нашего свидания портрет моей Сашки, списанный с натуры ее матерью. Рисунок несколько груб (она писала больная), но сходство совершенное. Жена сама к вам не пишет потому, что она чрезвычайно устала: вчера у нее был необыкновенно сильный припадок тоски, соединенный с головною жестокою судорогою; нынче поутру это продолжалось; теперь после ванны лучше. За нее пишет Саша: она мне диктует, а я пишу *все, как* она диктует, без всякой перемены в слоге:

Авд[отья] Петровна или Катя, переводите.

Sacha lässt sehr die liebe Tante Protassov grüssen; Mama hat Sacha ihr Bild gemacht damit Sie sehen wie Sacha aussieht. Ich freu mich wenn

¹ К имени «Иван» на верхнем поле поставлена разъясняющая приписка, сделанная карандашом рукою неизвестного лица: «Иван Васильевич Киреевский».

ich nach Russland komm, dass ich Ihnen alles thun kann: kleine Decken holen und auf ihre Füße legen wenn Sie kalte Füße haben; und ich hole ihnen manchmal Erdbeeren und Birnen, wenn Sie Lust dazu haben. Ich will ihnen erzählen von Brüderchen; wir gehen täglich spazieren in die Allee; und Paul ist so stark dass er die Sacha kann umwerfen; und kann sehr schnell laufen. Und er liebt sehr die Sonnenschirme. Paul, Mama und Christiane war in einem kleinen Eselwagen. Papa und Sacha ritten auf zwei Eseln; so gingen wir durch den Wald nach *Linderbach*. Dort haben wir gesehen ein tiefes Loch; dort graben die Bergleute viel Gold, Silber un[d] Eisen, und Zinn. Wir waren auch in Nassau; dort ist eine hängende Brücke von Eisen; auf dem Berge ist ein verfallenes Schloss; da haben sich die Ritter auf dem Schloss gestossen. Je[t]zt sind keine Ritter da, und ist das Schloss geschlossen; viele Mäuse, Eulen und Thiere wohnen da. Auf dem Rheine haben wir ein Mäusethurm gesehen; er steht im Rheine; in Fran[k]furth da steht der Karl der Grosse auf der Brücke in Mayn, und ein Hahn ist auf der Brücke im Wasser. Wir waren in Nürnberg; wir sahen dort die Kayserin; sie hat mir eine schöne Puppe geschenkt und ein kleine Service; in Darmstadt haben wir gesehen den Gross Fürst, die Gross Fürstin und die kleine Gross Fürstin gesehen; der Papa, die Mama und Paul und ich. Und der Paul ist hingefallen weil glatte Erde ist. (Parquet). Ich küsse ihnen ihre Hand; Sie vergessen mich, nicht wahr?, nicht?

Ihre liebe Sacha¹.

¹ Перевод: Саша шлет привет любимой тетушке Протасовой; мама нарисовала Сашин портрет, чтобы Вы увидели, как Саша выглядит. Я очень рада, что еду в Россию, чтобы сделать для Вас все, что могу: привезти маленькое одеяло и накрывать ваши ноги, если они у вас замерзнут, и иногда приносить вам землянику и груши, если Вы того пожелаете. Я хочу вам рассказать о братце, на каждый день ходим гулять по аллее, и Павел такой сильный, что может опрокинуть Сашу и может очень быстро бегать. И ему очень нравится зонтик от солнца. Павел, мама и Кристиана ехали на ослике в маленькой повозке. Папа и Саша скакали на двух ослах. Так мы проехали через лес к Линдербаху. Там мы видели глубокую скважину; там рудокопы выкапывают много золота, серебра и железа, и олова. Мы также были в Nassau; там есть висячий мост из железа; на горе стоит полуразрушенный замок; на этот замок напали рыцари. Сейчас там ни одного рыцаря и замок закрыт; там живет много мышей, сов и зверей. На Рейне мы видели Мышиную башню; она стоит в Рейне; во Франкфурте стоит Карл Великий на мосту через Майн и петух на мосту в воде. Мы были в Нюрнберге; мы видели там Императрицу; она подарила мне красивую куклу и маленький

А в т о г р а ф: НИОР РГБ. Ф. 99 (А.П. Елагина). Картон. 22. № 6. Л. 1–4 об.

...*Интерлакена*... Интерлакен – курортный город в Швейцарии (кантон Берн) между Тунским и Бриенцским озерами.

...*в скучном, тесном Эмсе*. Эмс (Бад-Эмс) – курортный город в Германии с минеральными источниками. Жуковский неоднократно лечился в Эмсе. Именно здесь он сблизился с семейством Рейтернов в 1826–1827 гг.¹

Копп... Иоганн Генрих Копп (1777–1858) – известный немецкий врач, живший в Ганау, лейб-медик Гессенских курфюрстов. Жуковский постоянно пользовался его консультациями. Среди пациентов Коппа были и друзья Жуковского – Н.В. Гоголь, П.А. Вяземский, Н.М. Языков, А.И. Тургенев, а также его тесть Г. Рейтерн.

В доме бдительного Отца ~ быть сыном. Возможно, аллюзия на Ин. 14: 2: «В доме Отца Моего обители многи суть» (перевод Жуковского)². К первым стихам главы 14 Евангелия от Иоанна Жуковский обращался на протяжении всей жизни. Они вынесены в эпиграф общего дневника Жуковского и М.А. Протасовой за май 1814 г.³ Их же Жуковский выбрал для эпитафий на могилах М.А. Протасовой (Мойер) и А.А. Протасовой (Воейковой). Ср. также цитирование Ин. 14: 1 во вступлении к поэме «Наль и Дамаянти» (1843), а также во многих письмах Жуковского.

...*на высотах Таунуса или в Шлангенбаде*... Таунус – горный массив в Германии. На его южной стороне, в Переднем Таунусе, у минеральных источников, расположены курортные городки, в том

сервиз; в Дармштадте мы видели Великого князя, Великую княгиню и маленькую Великую княжну; папа, мама и Павел и я. И Павел свалился, потому что земля гладкая. (Паркет). Целую вам ручку; вы же не забыли меня, ведь правда нет? нет?

Ваша любимая Саша – *нем*.

Благодарю С.П. Новоземцева за помощь в расшифровке и переводе немецкого текста.

¹ Жуковский В.А. Собрание сочинений. 6-е изд. СПб., 1869. Т. 6. С. 752.

² Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / пер. В.А. Жуковского; под ред. Ф.З. Кануновой, И.А. Айзиковой, свящ. Д. Долгушина. СПб., 2008. С. 157.

³ Письма-дневники В.А. Жуковского 1814–1815 гг. / под ред. П.К. Симони. СПб., 1907. С. 72–73.

числе и Шлангенбад, находящийся на высоте 320 м над уровнем моря. Жуковский бывал в Шленгенбаде и раньше, в 1833 г.¹

...с женою и двумя детьми... А.С. Хомяков путешествовал с женой Екатериной Михайловной (урожд. Языкова, 1817–1852) и двумя старшими детьми – Марией (1840–1919) и Дмитрием (1841–1919), в сопровождении гувернантки и няни². Главной целью поездки было лечение Екатерины Михайловны. В письме П.А. Вяземскому Жуковский сообщал, что Е.М. Хомякова приехала, чтобы «лечить Эмсом свою больную грудь»³. А.П. Елагина хорошо знала Хомякова и любила его: «<...> он точно сын мне», – писала она Жуковскому⁴.

Они пробыли не более двух недель... Хомяков выехал из Эмса 19 (31) июля 1847 г.⁵

Моя жена полюбила его жену... Возможно, сближению Е. Жуковской и Е.М. Хомяковой способствовало то, что обе они в недавнем прошлом понесли скорбные утраты: Жуковская тяжело переживала смерть своей сестры Мии, скончавшейся 10 (22) февраля 1847 г., а Хомякова – смерть своего брата поэта Н.М. Языкова, скончавшегося 26 декабря (ст. ст.) 1846 г.

...читал мне вслух мою Одиссею... Имеется в виду первая половина гомеровской поэмы, перевод 12 песен которой Жуковский закончил к тому времени.

...необыкновенно значительные отрывки исторического труда своего... По-видимому, имеется в виду незаконченное сочинение А.С. Хомякова «И<сследование> и<стины> и<сторических> и<дей>» (так называемая «Семирамида»)⁶.

¹ Жуковский В.А. Собрание сочинений. 6-е изд. СПб., 1869. Т. 6. С. 756.

² Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902. Т. 1. С. 528.

³ Жуковский В.А. Сочинения / под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 632.

⁴ Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 497.

⁵ Жуковский В.А. Сочинения / под ред. П.А. Ефремова. Т. 6. С. 635.

⁶ Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Работы по историософии / вступ. ст., сост. и подгот. текстов В.А. Кошелева, примеч. В.А. Кошелева, Н.В. Серебряникова, А.В. Чернова. М., 1994. С. 15–446.

Из Эмса Хомяков отправился в Лондон. Из Эмса Хомяков с семьей выехал через Брюссель в Остенде, где пробыл до 26 августа (ст. ст.)¹, а уже оттуда отправился в Лондон.

Не знаю, удастся ли ему оттуда проехать через Франкфурт и увидится ли он со мною на возвратном пути своем. Хомяков вернулся в Россию через Париж и Берлин, не заехав во Франкфурт².

...о болезни нашего милого Ивана и его выздоровлении... Старший сын А.П. Елагиной Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) опасно заболел 20 апреля 1847 г., в мае был фактически при смерти, однако в начале июня пошел на поправку³. О болезни Ивана Елагина подробно рассказывала Жуковскому в письме от 24 июня 1847 г.⁴

...просветил... Аллюзия на экзапостиларий Великой Пятницы: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи, и мене древом крестным просвети, и спаси мя».

Помяни мя Господи во царствии своем. Лк. 23: 42.

...пронес мимо эту новую чашу скорби... Ср. Мф. 26: 39.

Катя Елагина... Екатерина Ивановна Елагина (урожд. Мойер, 1820–1891), дочь И.Ф. Мойера и М.А. Протасовой, была замужем за сыном А.П. Елагиной Василием.

Жену молчание твое тревожит... Е. Жуковская подружилась с Е.И. Елагиной в августе 1841 г., когда та вместе с А.П. Елагиной и М.В. Киреевской гостила у Жуковских в Дюссельдорфе.

...милая сестра Екатерина Афанасьевна... Екатерина Афанасьевна Протасова (урожд. Бунина, 1771–1848) – сводная сестра Жуковского.

... моей Сашки... Сашка – Александра Васильевна Жуковская (1842–1899), дочь В.А. Жуковского.

¹ *Завитневич В.З.* Алексей Степанович Хомяков. Т. 1. С. 530; *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 14: Переписка, 1847 г. / сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. Москва; Киев, 2009. С. 441; *Кошелев В.А.* Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 354.

² *Завитневич В.З.* Алексей Степанович Хомяков. Т. 1. С. 560; *Кошелев В.А.* Алексей Степанович Хомяков. С. 354.

³ См.: *Долгушин Д., свящ.* В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: из истории религиозных исканий русского романтизма. М., 2009. С. 121.

⁴ *Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной* / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиликовой. М., 2009. С. 566.

...портрет моей Саши, списанный с натуры ее матерью. Еще в 1844 г. А.П. Елагина просила Жуковского прислать портрет его дочери: «<...> пришлите мне, если можно, портрет Саши. Хотя карандашом, навараксайте сами»¹. Вообще, Жуковские часто рисовали портреты своих детей и жанровые сценки с ними, собирая эти рисунки в семейный альбом, хранящийся сейчас в Нью-Йоркской публичной библиотеке в составе коллекции Белевских – Жуковских. Для Е. Жуковской такие занятия имели, кроме прочего, и терапевтическое значение. «Ей необходимо рассеяние, – пояснял Жуковский состояние своей супруги в письме А.Я. Булгакову 3 (15) января 1847 г. – но ее ничто не может занимать, не вредя ей; чтение слишком тревожит; вслух также не всегда можно читать, а мысли должны быть отвлечены от главного, от ее болезни: этому помогает рисование. Слава Богу, что она умеет и любит рисовать; это ей служит вместо лекарства»². Кроме портрета дочери поэт переслал Е.А. Протасовой и портрет своего сына, также сделанный Е. Жуковской, так что Екатерина Афанасьевна могла видеть изображения обоих детей своего брата.

Ich freu mich wenn ich nach Russland komm... Жуковский, планировавший вернуться в Россию в 1847 г., из-за болезни жены был вынужден отказаться от этого намерения, но собирался осуществить его в следующем году.

...*Paul...* Павел Васильевич Жуковский (1845–1912) – сын В.А. Жуковского.

...*durch den Wald nach Linderbach.* Линдербах-на-Таунусе – небольшой городок примерно в 10 километрах от Франкфурта-на-Майне.

...*Nassau...* Небольшой городок в 6 километрах от Эмса.

...*dort ist eine hängende Brücke von Eisen; auf dem Berge ist ein verfallenes Schloss...* Имеется в виду железный мост через реку Лан в г. Нассау и замок Нассау на горе над городом. Построенный в XII в., к XVI в. этот замок сильно обветшал, а в XVII–XVIII вв. был окончательно заброшен.

...*ein Mäusethurm.* Мойзетурм (Мышиная башня) – сторожевая

¹ *Переписка* В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 521.

² *Жуковский В.А. Сочинения* / под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1878. Т. 6. С. 571.

башня неподалеку от Майнца на острове Бингер посреди Рейна, построенная в первой половине XIV в. для защиты замка Эренфельс. С ней связана средневековая легенда о злом епископе Гаттоне, которую Р. Саути положил в основу своей баллады «God's judgement on a bischop» (1799), переведенной Жуковским в 1831 г. под названием «Суд Божий над епископом».

...in Fran[k]furth da steht der Karl der Grosse auf der Brücke im Maun. Имеется в виду памятник Карлу Великому из красного песчаника на Старом мосту, соединявшем правобережную часть города с районом Заксенхаузен, где жили Жуковские. Памятник был установлен в 1843 г. в честь тысячелетия Верденского договора. В 1914 г. при сносе моста памятник был перемещен в Исторический музей и с 1988 г. стоит перед его входом. В 2014 г. принято решение изготовить копию памятника и поместить ее на прежнее место, на мост¹.

...und ein Hahn ist auf der Brücke im Wasser. Имеется в виду золотая фигурка петушка на вершине распятия («Brückegickel»), указывавшая наиболее глубокое место под мостом для проплывавших лодок и одновременно напоминавшая о раскаянии преступникам, которых здесь казнили в Средние века.

...wir sahen dort die Kayserin... Отличавшаяся слабым здоровьем императрица Александра Федоровна (1798–1860) часто посещала немецкие курорты (в том числе и Эмс) для лечения минеральными водами², приезжала она в Германию и для свиданий с родственниками, принадлежавшими к прусскому королевскому дому. Вероятно, Саша вспоминает свою встречу с ней в Нюрнберге в сентябре 1845 г., где Александра Федоровна останавливалась проездом. Тогда Жуковский, воспользовавшись случаем, представил своей бывшей ученице жену и дочь, и они почти целый день провели с нею. Императрица с ними много общалась и, как рассказывал Жуковский в письме А.Я. Булгакову, «надавала» Саше игрушек³.

...in Darmstadt haben wir gesehen den Gross Fürst, die Gross Fürs-

¹ *Alte Brücke: Karl der Große kehrt zurück.* URL: [http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2855&_ffmpar\[_id_inhalt\]=26844106](http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2855&_ffmpar[_id_inhalt]=26844106).

² *Высочков Л.* Николай I. М., 2003. С. 543.

³ *Письма В.А. Жуковского к московскому почтдиректору А.Я. Булгакову // Русский архив. 1868. № 9. Стб. 1554.*

tin und die kleine Gross Fürstin gesehen. Великий князь цесаревич Александр Николаевич (1818–1881), его супруга великая княгиня цесаревна Мария Александровна (1824–1880) и их дочь великая княжна Александра Александровна (1842–1849). Дармштадт был родным городом великой княгини Марии Александровны, урожденной принцессы Гессенской. Она заезжала в него на пути в Киссинген, где лечилась на водах¹. Встреча с семьей цесаревича, о которой рассказывает Саша, имела место в июне 1847 г., когда Жуковский приезжал в Дармштадт специально для свидания с великим князем².

¹ Письма В.А. Жуковского к московскому почтдиректору А.Я. Булгакову. Стб. 1468.

² Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804–1833 / сост., вступ. ст., коммент. и ред. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М., 2004. С. 408.

М.В. Трубановская
(Государственный музей-заповедник «Петергоф»)

**АВТОГРАФ В.А. ЖУКОВСКОГО НА КНИГЕ
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ**

Во дворце Коттедж в Петергофе¹, любимом месте пребывания семьи Николая I и Александры Федоровны, размещалась библиотека императрицы. В специально созданном помещении одну из стен интерьера полностью заняли книжные шкафы, вмещающие около тысячи томов. Это книжное собрание, формировавшееся одновременно с библиотекой императрицы в Зимнем дворце, входило в состав «Собственных Его Императорского Величества библиотек». Экслибрис для библиотеки Александры Федоровны в Коттедже был создан выдающимся русским гравером Н.И. Уткиным². На книжном знаке, выполненном в технике офорта, изображен герб Александрии: на фоне рыцарского щита меч, пропущенный сквозь венок из белых роз. Рисунок герба с девизом «За веру, Царя и Отечество» был придуман наставником наследника великого князя Александра Николаевича, в прошлом учите-

¹ Дворец Коттедж – центральное архитектурное сооружение парка «Александрия», расположенного восточнее Нижнего парка Петергофа. В 1826–1829 гг. на этих землях в соответствии с приказом Николая I создается дворцово-парковый ансамбль по проекту архитектора А. Менеласа. В 1829 г. были завершены строительные работы в Коттедже, построенном в неоготическом стиле. Дворец был освящен и подарен императором супруге Александре Федоровне. В честь императрицы новая усадьба получила название «Собственная Ее Величества дача Александрия», а дворец Коттедж стал тем местом, где, по собственному признанию Александры Федоровны, она была «счастлива, как нигде больше...».

² Уткин Николай Иванович (1780–1863) – русский гравер, крупнейший мастер русской портретной резцовой гравюры первой половины XIX в., хранитель гравюр в Эрмитаже и смотритель Музея Академии художеств. В 1827 г. выполнил экслибрисы для библиотек императрицы Александры Федоровны в Александрии (дворец Коттедж) и Зимнем дворце.

лем русского языка императрицы Александры Федоровны поэтом Василием Андреевичем Жуковским (1783–1852)¹.

Об одном из изданий, входивших в состав этого книжного собрания, пойдет речь в настоящей публикации. Книга в великолепном цельнокожаном переплете под пергамент, с тройным золотым обрезом. На переплетных крышках – золоченое тиснение в виде креста, обрамленного стилизованным цветочным орнаментом. Дублюра и форзацы оклеены шелком светло-голубого цвета, ляссе выполнено из шелковой ленты цвета экры, с кисточкой из золотых нитей на конце. На передней дубюре помещен экслибрис книжного собрания императрицы Александры Федоровны во дворце Коттедж. Перед нами конволют, включающий в себя два издания: сочинение о прусской королеве Луизе² и произведение немецкого проповедника И.-Г.-Б. Дрезеке³.

Издание, посвященное королеве Луизе и вышедшее в свет без указания автора, является сочинением Каролины Фридерики фон Берг (1760–1826), которая родилась в Магдебурге, в семье тайного советника посольства королевства Пруссии Иоганна Августа фон Хээлера (1724–1763) и Софии Доротеи (1734–1802), дочери государственного министра Пруссии графа Генриха фон Подевиляса. Род Хээлеров происходил из купеческой среды, владевшей землей в центре Германии. На королевской службе в Пруссии они сделали стремительную карьеру и были произведены в дворянское достоинство. Свою фамилию Каролина получила, выйдя замуж за тайного советника юстиции, камергера, графа Карла Людвига фон Берга (1754–1847). Каролина фон Хээлер росла в Веймаре, где в юные годы подружилась с И.-В. Гете и И.-Г. Гердером, называвшим ее сокровищем разума и деятельной мудростью⁴. Оба ценили ее как прекрасную собеседницу.

¹ На книжном знаке девиз не использовался.

² *Louise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet* / [Berg, Caroline von Häsele]. Berlin: [Gedruckt bei Breitkopf und Härtel], 1814.

³ *Dräseke, Johann Heinrich Bernhard*. Glaube, Liebe, Hoffnung: ein Handbuch für junge Freunde und Freundinnen Jesus. Vierte, sehr verbesserte, Auflage. Mit einem Titelkupfer. Lüneberg: bei Herold und Mahlstab, 1817.

⁴ *Bailieu Paul*. Königin Luise: Ein Lebensbild. Berlin, Leipzig: Giesecke & Devrient, 1908. S. 117.

После развода с мужем Каролина Фридерика фон Берг приехала в Берлин, к прусскому двору. Здесь при посредничестве подруги, Мари фон Клейст¹, она поступила на службу к королеве Луизе, которая вскоре избрала ее в качестве доверенного лица и ближайшей советницы. Дом К. фон Берг в Берлинском Тиргартене (Вильгельмштрассе, 70), посещаемый многими поэтами и учеными, стал известным центром культурной жизни Берлина. Каролина была в дружеских отношениях с И.-В.-Л. Глеймом, с братьями И.-Г. и Ф.-Г. Якоби, братьями Х. и Ф.-Л. Штольбергами, с М. Клаудиусом, И.-Г. Фоссом, Х.-М. Виландом, а также с Жан Полем², который прославлял ее как «самую мужественную и самую лучшую женщину» и как «одухотворенную Амазонку»³.

Благодаря фон Берг королева Луиза познакомилась с произведениями великих умов Веймара – И.-Г. Гердера, Ф. Шиллера и И.-В. Гете. Став подругами, они много общались, музицировали, Каролина подружилась с младшей сестрой королевы Фридерикой и братом Георгом. Королю Фридриху Вильгельму III эти новые отношения его жены были не по нраву. Он жаловался, что «незванные персоны вручают ей непонятные произведения модных литераторов, эксцентричных немецких писателей», и пытался препятствовать

¹ Клейст Мари фон (Kleist Marie von, урожд. Гвалтиери, 1761–1831) – кузина Г. Клейста, жена генерала Ф.-В.-Х. фон Клейста, хозяйка литературного салона в Берлине.

² Глейм Иоганн Вильгельм Людвиг (Gleim Johann Wilhelm Ludwig, 1719–1803) – немецкий поэт; Якоби Иоганн Георг (Jacobi Johann Georg, 1740–1814) – немецкий поэт, философ; Якоби Фридрих Генрих (Jacobi Friedrich Heinrich, 1743–1819) – немецкий философ; Штольберг Фридрих Леопольд фон (Friedrich Leopold zu Stolberg, 1750–1819) – граф, немецкий писатель; Штольберг Христиан фон (Christian zu Stolberg, 1748–1821) – граф, немецкий писатель; Клаудиус Маттиас (Claudius Matthias, 1740–1815) – немецкий писатель; Фосс Иоганн Генрих (Voss Johann Heinrich, 1751–1826) – немецкий поэт и переводчик; Виланд Кристоф Мартин (Wieland Christoph Martin, 1733–1813) – немецкий писатель; Жан Поль (настоящее имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (Friedrich Richter), 1763–1825) – немецкий писатель.

³ *Kleist-Arbeiten* 1899–194 / Paul Hoffmann; herausgegeben von Günther Emig in Verbindung mit Arno Pielenz; mit einem Vorwort von Wolfgang Barthel. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner, 2011. S. 675.

этому, а также ограничить общение жены с фон Берг¹. Несмотря на это, после судьбоносных 1806 и 1807 гг. Каролина стала ближайшей подругой королевы, которая исповедовалась перед ней в том, чего не доверяла даже брату. Когда королевская семья была вынуждена бежать от наполеоновских войск в Кенигсберг, фон Берг их сопровождала. После возвращения королевы в Берлин в декабре 1809 г. она снова была рядом и поддерживала смертельно больную Луизу в ее последней поездке в Нойстрелиц, к отцу. Луиза умерла 19 июля 1810 г. во дворце Хоэнцириц на руках госпожи фон Берг.

Каролина Фридерика фон Берг стала первым биографом королевы, опубликовав в 1814 г. свои воспоминания под названием: «Luise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet» (Луиза, королева Пруссии: Посвящается Прусской нации). В качестве приложения в книгу вошла глава о последних днях жизни королевы, ранее опубликованная в 1811 г. в «Morgenblatt für gebildete Stände» («Утренний листок для образованных сословий»). Эпиграфом к своему сочинению Каролина выбрала строки Шиллера, любовь к которому связывала ее с Луизой: « – denn, wer den Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeiten»².

Книгу нельзя в полной мере считать биографией королевы Луизы, так как для автора важно не столько подробное описание ее жизни, сколько изображение собственного восприятия мира Луизы. Это сочинение, посвященное прусской нации, должно было стать утешением и ободрением для всех, кто пострадал во время войны. Подчеркивая важную роль прусской королевы Луизы в тяжелые для Германии времена, фон Берг обращается непосредственно к современникам. Она описывает возвращение королевы в Берлин, предчувствие Луизой смерти и, наконец, последнюю болезнь и смерть в доме отца. Каролина фон Берг считает, что обязана передать обществу эти события в подробностях. Так как королеве не суждено было пережить момент освобождения вместе со своим народом, эта маленькая, исполненная идеализма и великого пафоса книга была написана в ее честь.

¹ *Bailleu Paul*. Königin Luise: Ein Lebensbild. Berlin; Leipzig: Giesecke & Devrient, 1908. S. 120.

² «– потому что тот, кто сделал достаточно добра для своего времени, тот жил для всех времен» (здесь и далее перевод Е.А. Ганцевой). Цитата из «Пролога» к драме Ф. Шиллера «Лагерь Валленштейна». Ср. перевод Л. Мея: «Кто лучшим современникам приносит // Благу ю пользу, не умрет веками».

Каролина фон Берг приступила к своему сочинению о королеве Луизе лишь через три с половиной года после ее смерти¹. Чтобы издать свой труд, она обратилась к знакомому ей по времени, проведенному в Кенигсберге, Г.-Г.-Л. Николовиусу², в книжном магазине которого обычно встречалось все образованное общество города. Николовиус уверил ее, что книга будет издана вовремя и таким образом, как она пожелает:

Верный раб сообщает Вам, уважаемая госпожа, что сочинение будет напечатано у Брайткопфа в Лейпциге, в хорошо известной типографии, и до 10 июня все будет готово, так что книга выйдет в свет к годовщине смерти королевы. Титульный лист будет тщательно проработан, а с надгробия будет сделан новый рисунок, так как те, что имеются в наличии, не совсем верны или не годны для употребления³.

То, что сочинение К. Берг отвечало эмоциональной потребности ее современников, показывают письма людей из непосредственного окружения почившей королевы. Так, жена прусского принца Вильгельма, младшего брата короля Фридриха Вильгельма III, Мария Анна Амалия пишет Каролине 30 июня 1814 г.:

Я не спрашиваю Вас, дорогая госпожа фон Берг, почему Вы написали эту книгу, потому что, если бы я умела, то с радостью написала ее сама. Вы сделали это замечательно; в каждой строчке я узнавала нашу королеву и любовь к ней, которую Вы так хорошо по-

¹ «Geschrieben in Monat Februar und März 1814.» (Написано в феврале и марте 1814 г.) (*Louise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet*. S. 111).

² Николовиус Георг Генрих Людвиг (Nicolovius Georg Heinrich Ludwig, 1767–1839) – прусский государственный и общественный деятель, библиограф. В начале XIX в. был главным библиотекарем Кенигсбергского университета. Один из идеологов прусских реформ эпохи Наполеоновских войн. Под его руководством в 1810 г. была проведена реорганизация библиотеки университета и размещение ее в новом здании бывшего королевского дворца, подаренного университету королем Фридрихом Вильгельмом III.

³ *Urte von Berg. Caroline Friederike von Berg: Freundin der Königin Luise von Preussen: ein Portrait nach Briefen*. Göttingen: Wallstein Verlag, 2008. S. 244.

казали. Уже давно ничто не доставляло мне такой большой радости, как это чтение, и Вы можете быть покойны и утешаться тем, что Вы оставили потомкам это произведение¹.

Похожие мысли мы находим и у Кристофа Вильгельма Гуфеланда², лейб-медика королевы:

Не могу описать Вам, как глубоко тронули меня эти страницы. Да, такой она и была, говорило мое сердце. Я видел ее собственными глазами, я чувствовал сердцем ее присутствие, как раньше – то неопишное, блаженное чувство присутствия небесного ангела. Как счастлив тот, в чьем сердце она все еще настолько жива, – тот, кто читает эти строки о своей Луизе³.

Следует отметить, что сочинение К. фон Берг, которым зачитывались современники, формировало культ прусской королевы Луизы, а также послужило исходным материалом для более поздних биографов королевы⁴.

Сегодня любая из сохранившихся книг библиотеки императрицы Александры Федоровны во дворце Коттедж представляет для музейного собрания Петергофа особую ценность. При изучении данного конволюта возникло множество вопросов, связанных с его появлением и бытованием. Главным и поистине бесценным достоинством этого тома является его непосредственная связь с личностью В.А. Жуковского. Лист за передним форзацем книги целиком запол-

¹ *Urte von Berg*. Op. cit. S. 244.

² Гуфеланд Кристоф Вильгельм (Hufeland Christoph Wilhelm, 1762–1836), немецкий врач и писатель, иностранный почетный член Петербургской академии наук. Основал в Берлине Поликлинический институт. Был личным врачом короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.

³ *Urte von Berg*. Op. cit. S. 244–246.

⁴ Вскоре после смерти К. фон Берг ее дочь, графиня Луиза Фосс, передала оставленные матерью бумаги в распоряжение Фридриху Вильгельму Адами (Friedrich Wilhelm Adami, 1816–1893, немецкий писатель, критик и публицист) для его биографии королевы Луизы. Среди этих бумаг были материалы, которые не вошли в книгу К. Берг. Считавший, что Каролина несправедливо принизила свое значение в жизни королевы, Адами напечатал эти материалы в предисловии к своей книге о королеве Луизе (*Adami F. Luise, Königin von Preussen*. Gütersloh, 1900).

нен записью, сделанной рукой поэта, с подписью: «Берлин. 1821. Марта 10»¹. Продолжение автографа – на фронтисписе издания, куда Жуковский вписывает свое знаменитое стихотворение «Воспоминание». Впервые это четверостишие и прозаический текст к нему поэт записал в своем дневнике 16 (28) февраля 1821 г. (XIII, 157–159), менее чем за две недели до надписи в книге. Редакции стихотворений имеют некоторые различия. Автограф Жуковского на книге можно считать второй редакцией стихотворения. В окончательной редакции Жуковский вернулся к первому дневниковому варианту, заменив только последнюю строчку «Но с благодарностью: были»². Запись в дневнике 16 (28) февраля 1821 г.:

О прежних спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Скажи с любовью: были.

Запись в книге 10 марта 1821 г.:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не с горем говори: *на свете их уж нет!*
Но с благодарностью: *они на свете были!*³

Прозаический текст Жуковского, которым он заполнил лист книги, представляет собой почти дословно перенесенную (за исклю-

¹ Выражаю особую благодарность сотруднику Пушкинского Дома, специалисту по творчеству В.А. Жуковского Людмиле Евгеньевне Мисайлиди за подтверждение подлинности данного автографа, научные консультации и поддержку.

² Ранее исследователи отмечали только первую и окончательной редакции стихотворения (см. комментарий Ф.З. Кануновой: *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 1–14. М.: Языки славянской культуры. 1999–2016. Т. 2. С. 605–607).

³ В оригинале – подчеркивание.

чением перестановки ее фрагментов и замены некоторых слов) часть дневниковой записи от 16 (28) февраля 1821 г.¹:

Иоанн, ученик и товарищ Спасителя, видел его, улетевшего на небо, и глаза его подняты к этому небу, сокрывшему все его блага, но в этих глазах не печаль разлуки, не томительное нетерпение оставит землю, но чувство глубокой, спокойной, покорной любви к улетевшему, как будто к присутственному. Он уже не на земле – но он был на ней! Своим преображением он познакомил с тайною [*таинством*] неба; своею любовью, своим страданием [*Своими страстями*] он познакомил с величием жизни; [*небесным Он озарил житейское*]; и не чудесное видение неестественного представляется взору молодого Иоанна: он спокойно наполнен воспоминанием, не томящим, не отвлекающим [*не отлучающим*] от земного, но чистым [*тихим*], сладко задумчивым, вполне удовлетворяющим душу; Он смотрит на небо, как на обитель удалившегося друга, но [*и*] не стремится туда *преждевременно*, ибо земная жизнь оставлена ему в наследство, как благо, для совершения воли учителя; но верит, любит и уповает и всюду слышится ему [*слышит отсюда*] голос: Спаситель твой жив! – Воспоминание о такой матери, какова была ваша, есть чувство Иоанна, смотрящего на небо!

В минуту предчувствия написала [*сказала*] она: wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe und sie wird sagen: sie duldeten viel und harrten aus im Dulden. Dann wünsche ich nur, dass sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasein, welche besserer Zeiten würdig (zu sein) wagen, sie herbeizuführen gestrebt und endlich sie erlungen haben².

¹ В связи с первой публикацией этого автографа В.А. Жуковского его текст приводится полностью. Курсивом в квадратных скобках обозначены слова из дневниковой записи, просто курсивом – слова добавленные.

² Перевод: «Хотя потомство и не назовет моего имени среди имен знаменитых женщин, но все-таки после того, как ему станут известны бедствия нашего времени, оно будет знать, сколько я через них страдала, и оно скажет: “Она терпела много и вытерпела до конца”. Но я хочу, чтобы в то же время оно сказало: “Но она дала бытие детям, которые дерзают быть достойными лучших времен, стремились к ним и наконец их достигли”» (XIII, 158).

На ее часть досталось желание великого и величие в страдании; но детям своим завещала она свои надежды и исполнение прекрасных своих желаний.

Берлин. 1821. Марта 10.

Эти строки, впервые появившиеся в дневнике Жуковского¹, были связаны с памятью поэта о чтимой им прусской королеве Луизе, матери великой княгини Александры Федоровны. В апреле 1817 г. поэт получает предложение стать учителем русского языка принцессы Шарлотты, будущей великой княгини Александры Федоровны, а в октябре, уже назначенный на эту должность, начинает занятия. Именно тогда проявляется интерес Жуковского к личности прусской королевы. Уже через несколько дней после первого урока с великой княгиней он обращается к «Биографии королевы Луизы»².

Автограф Жуковского на книге, как и дневниковая запись, относится ко времени его первого заграничного путешествия в свите великой княгини Александры Федоровны, которая с супругом, великим князем Николаем Павловичем, впервые после свадьбы едет навестить своего отца. Месяцы с октября 1820 по май 1821 г. поэт проводит при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма III, соприкасаясь с кругом прусских семейно-династических традиций, важнейшей из которых был культ памяти покойной супруги Фридриха Вильгельма королевы Луизы³. Ее образ имел особое значение для Германии, а для своей собственной семьи она стала идеалом женщины и матери. Посетив 22 октября 1820 г. мавзолей в Шарлоттенбурге, Жуковский записал в своем дневнике:

<...> подходишь к месту, где спит любимая мать, царица, не забытая народом, женщина, украшение своего времени, жертва несча-

¹ Через три десятилетия, в 1850 г., это четверостишие вместе с последующим прозаическим текстом вошло в статью В.А. Жуковского под названием «Воспоминание».

² Эта запись в дневнике Жуковского от 25 октября 1817 г. (XIII; 124, 484) дает основание предположить, что поэт мог читать сочинение Каролины фон Берг, так как в 1817 г. ее книга была единственной изданной биографией прусской королевы Луизы.

³ Долгушин Д.В. Миф о королеве Луизе в творчестве В.А. Жуковского // Сюжетология и сюжетография. 2014. № 2. С. 108–114.

стия, и она погребена там, где все полно ее воспоминанием, где она была душою семьи своей и наслаждалась чистым семейным счастьем (XIII, 143).

Как и текст дневниковой записи, автограф Жуковского на книге содержит цитату из письма королевы Луизы. Это позволяет сделать вывод о том, что Александра Федоровна познакомила поэта с письмами своей матери.

Надпись Жуковского на книге начинается с отрывка из дневниковой записи, посвященной святому Иоанну. В дневнике поэт не дает указаний на изобразительный источник, которым он пользуется при описании образа святого, но в статье «Воспоминание» делает следующую ссылку: «Здесь изображается картина Доминикинова, представляющая Св. Апостола и Евангелиста Иоанна»¹. Особый смысл приобретает то обстоятельство, что на фронтиспise рассматриваемого издания помещено гравированное изображение именно с этой картины. Перед нами «Евангелист Иоанн» работы Доменико Цампери (Domenico Zampieri), прозванного Доменикино, итальянского художника болонской школы конца XVI – первой трети XVII в. Гравюра выполнена немецким художником И.-Ф.-В. Мюллером².

Авторская копия этого полотна 1620-х гг. находилась в начале XIX в. в собрании доктора Фромана в Штутгарте. Именно тогда благодаря гравюре Х.-Ф. Мюллера выполненной им в 1808–1812 гг., это произведение получило широкую известность³. Позже, попав в собрание Д.Л. Нарышкина в Петербурге, картина была приобретена у него императором Николаем I для своей супруги. Известно, что «Евангелист Иоанн» работы Доменикино был одним из самых любимых и почитаемых живописных произведений Александры Федоровны. Сначала картина висела в Угловом (Зеленом) кабинете императрицы, после пожара в Зимнем дворце была перемещена в Мали-

¹ Мисайлиди Л.Е. Статья В.А. Жуковского «Воспоминание» // Memento vivere: сб. памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 100.

² Мюллер Иоганн Фридрих Вильгельм (Müller Johann Friedrich Wilhelm, 1782–1816) – немецкий художник, придворный гравёр в Штутгарте и профессор гравирования в Дрезденской академии художеств.

³ Всеволожская С.Н. Итальянская живопись XVII века: каталог коллекции. СПб., 2013. С. 108.

новую гостиную. Насколько она была дорога и значима для Александры Федоровны, можно судить по известному воспоминанию очевидца пожара Зимнего дворца, который наблюдал, как ночью 17 декабря 1837 г. на Дворцовой площади при свете пожара сам император Николай I ищет и находит среди спасенных вещей любимую картину императрицы¹.

Несомненно, что Жуковский описывает образ святого Иоанна по гравюре Х.-Ф. Мюллера. Для Александры Федоровны этот образ был связан с памятью о матери, королеве Луизе, и, как верно отмечает Т.Л. Пашкова², именно Жуковский создал эту связь. Можно предположить, что приобретение картины для Александры Федоровны было подготовлено текстом Жуковского³. Поэт описывает Иоанна в момент, когда он провожает взглядом улетевшего на небо Спасителя и испытывает к нему чувство глубокой любви, чувство понимания и веры в то, что Христос жив. Анализируя философский смысл картины Доменикино, Жуковский соотносит душевное состояние Иоанна с воспоминанием о королеве Луизе: «Воспоминание о такой матери, какова была ваша, есть чувство Иоанна, смотрящего на небо». Эта запись на книге, которую можно считать дарственной, не подписана поэтом, но имеет точную датировку: 10 марта 1821 г. – день рождения королевы Луизы. Этот горестно памятный день имел особое значение как для семьи императора Фридриха Вильгельма III и всей прусской нации, так и для Жуковского. Утро 10 марта 1821 г. поэт начинает с визита к Александре Федоровне, а затем с Ц.А. Вильдермет, гувернанткой великой княгини, посещает усыпальницу королевы Луизы в Шарлоттенбурге (XIII, 159).

Основываясь на дневниковых записях Жуковского, можно говорить о том, что поэт и Александра Федоровна много общались, особенно это касается описываемого периода. Вне сомнения, они вели беседы о судьбе матери великой княгини, затрагивали тему воспо-

¹ *Рассказы очевидцев о пожаре Зимнего дворца в 1837 г.: Извлечение из современных заметок лейб-гвардии конного полка корнета барона Э.И. Мирбаха // Русский архив. 1865. Т. 3, вып. 9. Стб. 1112.*

² *Пашкова Т.Л. Два кабинета жены Николая I в Зимнем дворце: о семантике памятных вещей в эпоху историзма // В тени «Больших стилей»: материалы VIII Царскосельской конференции. СПб., 2002. С. 142.*

³ *Мисайлиди Л.Е. Статья В.А. Жуковского «Воспоминание». С. 102.*

минаний, тему ушедших из жизни и оставшихся на земле, и Александра Федоровна была посвящена в философский смысл размышлений поэта. Подтверждением этому является автограф Жуковского на книге из библиотеки императрицы.

Как уже упоминалось, книжный переплет рассматриваемого экземпляра содержит еще одно сочинение – книгу знаменитого немецкого проповедника И.-Г.-Б. Дрезеке, которая являлась знаковой для Жуковского. Иоганн Генрих Бернхард Дрезеке (Dräseke, J.-H.-B., 1774–1849) – один из самых известных теологов-евангелистов Германии XIX в., епископ, государственный и политический деятель. Широкую известность Дрезеке получил благодаря своим религиозно-романтическим проповедям. Его труды были известны в России и популярны у богословов, среди которых был отец Герасим Павский (1787–1863) – профессор богословия, придворный протоиерей, духовник и наставник будущего Александра II.

Книга Дрезеке под названием «Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch für junge Freunde und Freundinnen Jesus» («Вера, любовь, надежда. Руководство для молодых друзей и подруг Иисуса») является последней крупной работой священника в жанре христианско-религиозной проповеди. Это сочинение об обретении веры, любви, надежды в себе и Боге выдержало пять переизданий в период с 1813 по 1834 г. Издание, входящее в конвюлот, четвертое, значительно улучшенное, было напечатано в Лüneбурге в 1817 г., у Герольда и Мальштаба. На фронтисписе помещена гравюра на меди – погрудное изображение Христа с потиром, тарелью и облаткой в руке; под изображением подписи: «F.-L. Lehmann inv. et del. – C.-T. Riedel, sculps. Lips.»¹. Сочинение представляет собой своеобразное справочное издание, в котором в виде бесед пастора последовательно рассматривается область теологического знания о взаимоотношениях сына Божия и человека, об учении Христа и человеческой сущности. «Идеи Дрезеке были созвучными миропониманию Жуковского, всегда вдохновлявшегося идеей религиозно-нравственного самосовершенствования и возможностью гармоничного примирения идеа-

¹ Леман Фридрих Леонард (Lehmann Friedrich Leonhard, 1787–?) – рисовал; Редель Карл Траугот (Riedel Carl Traugott, 1769–?) – гравировал.

ла и действительности посредством покорности божественному Провидению»¹.

О том, какое значение имело для Жуковского это сочинение, свидетельствуют известные по исследованиям о Жуковском и его собственным записям упоминания о трех экземплярах книги о любви, вере и надежде, каждый из которых открывает отдельную историю в биографии романтика². Изначально, книга, имевшая для Жуковского почти сакральный смысл, стала символом его чувства к Маше Протасовой, эмблемой их любви, а позже – воплощением священного воспоминания о ней. Сочинение Дрезеке сопровождало поэта на протяжении всего жизненного пути.

Несомненно, что описываемый экземпляр издания, как и предыдущие, служил целям духовного образования, нравственного самосовершенствования и был предназначен Жуковским для своей ученицы – великой княгини Александры Федоровны.

Особое значение для выявления истории бытования экземпляра имеет то, что его переплет подписной. На заднем форзаце книги бумажная овальная наклейка с гравированной надписью: «Carl Lehmann jun. König: Hof und Raths Buchbinder, Gertraudten Strasse № 18 in Berlin». Автору публикации удалось собрать некоторые сведения об авторе этого переплета³.

Для берлинского двора, королевской и других берлинских библиотек в период с 1781 по 1848 г. работали три поколения переплетчиков семьи Леманов, произведения которых были представлены на академических выставках (1818–1832). Наиболее известными из них были два мастера: Карл Якоб Людвиг Леман, отец (работал с 1799, умер в 1823) и Карл Эрнст Леман, сын (1806–1848), названный «гетовским Леманом». Марка переплетной мастерской на нашем издании принадлежит берлинскому придворному переплетчику Карлу

¹ Никонова Н.Е. Книга как многомерное пространство коммуникации: «Вера, любовь, надежда» И.-Г.-Б. Дрезеке в восприятии В.А. Жуковского // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 3 (15). С. 113–125. (URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000459074>).

² Все три экземпляра издания были подарками Жуковского: М.А. Протасовой (1815), С.А. Самойловой (1819), П.И. Полетике (1823).

³ Выражаю глубокую признательность Хуберту Лолку, председателю Общества немецких переплетчиков, оказавшему помощь в поиске данной информации.

Якобу Людвигу Леману (отцу), получившему в качестве особого отличия от Королевской прусской академии художеств в 1822 г. титул академического художника. В 1821 г. он начал работать над альбомом образцов переплетов¹. Библиотекари Королевской берлинской библиотеки, отмечая мастерство и талант К.-Я.-Л. Лемана, передали ему исключительное право на изготовление переплетов. Надо отметить, что для немецких переплетчиков этого времени, в отличие от английских и французских мастеров, было редкостью подписывать свои работы². К.-Я.-Л. Леман наклеивает на свои переплеты марку с указанием имени, титула и адреса³.

По всей видимости, В.А. Жуковский, находясь в Германии, познакомился с Леманом, так как общался с представителями прусского императорского дома, которые делали заказы берлинскому королевскому переплетчику. Стоит отметить, что в дневниках поэта за этот период мы находим упоминания о встречах с «переплетчиком», имя которого, к сожалению, он не указывает⁴. Кроме того, на протяжении всего времени пребывания в Германии Жуковский видится и с автором книги о королеве Луизе – Каролиной фон Берг (XIII, 159, 233, 234, 236, 237). Таким образом, существуют все предпосылки для утверждения, что именно поэт заказал переплет к двум особо значимым для него сочинениям, которые предназначались для поднесения его ученице – великой княгине Александре Федоровне. Для

¹ Альбом образцов сегодня хранится в Музее переплетчиков Германии (Deutsche Buchbinder-Museum), который входит в состав Музея Гутенберга (Gutenberg-Museums) в Майнце.

² Königliche Bücher. Bucheinbände des Hauses Hohenzollern. Ausstellung 16. Mai bis 26. Juli 1986 // Lutz Sonnenburg, Wolfgang Nieblich. Viesbaden: Verlag Dr. Ludwig Reichert, 1986. S. 57–79.

³ Аналогичная марка с надписью: «Carl Lehmann Königl: Hof=Buchbinder und Academischer Künstler in Berlin Gertrauten Strasse № 18» (более поздняя) имеется на переплете альбома для записей, полученного В.А. Жуковским в подарок от наследника прусского престола Фридриха Вильгельма в 1825 г. Впоследствии этот альбом поэт подарил своему ученику великому князю Александру Николаевичу (в собрании Государственного Эрмитажа).

⁴ Встречи с переплетчиком отмечены в дневнике Жуковского 12 (24) и 16 (28) февраля 1821 г. Последнее упоминание предшествует записи стихотворения «Воспоминание» (XIII, 157). Возможно, Жуковский в тот же день отдал книги в переплет, а запись на книге появилась, естественно, после появления конволюта.

нее он делает надпись на книге и помещает на фронтиспис гравюру Х.-Ф. Мюллера с изображением святого Иоанна¹.

Об истории бытования этой книги можно судить по книжному знаку, печатям и записям на ней. На передней дублюре наклеен экслибрис книжного собрания императрицы Александры Федоровны во дворце Коттедж в Петергофе, но издание перемешалось и какое-то время находилось в Зимнем дворце².

По шифрам, имеющимся на книге, можно проследить историю нахождения книги с начала XX столетия. На оборотной стороне переднего форзаца карандашная запись, состоящая из группы букв и цифр: «Н. З. I. А. Θ. (под короной) / 2 / 18 19 п». Эта запись свидетельствует о том, что издание, входящее в книжное собрание императрицы Александры Федоровны, находилось в библиотечном хранилище, организованном в биллиардной Зимнего дворца и получившем название «Новый зал»³. Цифры, написанные через косую черту, являются шифром крепостной расстановки: номером шкафа, полки и очередным порядковым номером книги. На экземпляре также указаны его номера по инвентарным описям дворца Коттедж за 1928 и 1938 гг.: «4450-К» и «К. 3294»⁴.

В годы Второй мировой войны издание в числе музейных предметов из дворца Коттедж было эвакуировано в Новосибирск и после

¹ Надо отметить, что экземпляры этого издания, обнаруженные автором, не имеют подобного фронтисписа. Экземпляры библиотеки Гарвардского университета (<http://catalog.hathitrust.org/Record/009707403>) и Баварской государственной библиотеки (<https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=180528589>) имеют титульный лист, аналогичный экземпляру из ГМЗ «Петергоф». Экземпляр из университетской и государственной библиотек Дюссельдорфа (<http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/1494737>) отличается титульным листом с гравированной виньеткой работы И.-К. Рихтера (Richter Johann Carl, 1759–1832) с изображением мавзолея в парке Шарлоттенбурга.

² На свободной части заднего форзаца имеется надпись карандашом: «Поступила из Эрмитажа. 1913 г.».

³ Благодарю Ольгу Георгиевну Зимину, заместителя заведующего Научной библиотекой Государственного Эрмитажа за предоставленную информацию.

⁴ Инвентарная опись «Коттедж». Кн. 4. 1928 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7356-ар. Л. 23 об. –24; Инвентарная опись «Коттедж». Кн. 6. 1938 // Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6329-ар. Л. 99.

войны попало в Центральное хранилище музейных фондов ленинградских пригородных дворцов (ЦХМФ), располагавшееся в г. Павловске. В 1996 г. из Государственного музея-заповедника «Павловск» книга была передана на свое историческое место – в книжное собрание дворца Коттедж в Петергофе.

Рассмотренное в статье издание принадлежит к числу немногочисленных книг (немногим более 30 изданий) из библиотеки императрицы Александры Федоровны во дворце Коттедж, которые сохранились после войны. Несомненно, что главная ценность этого экземпляра – в истории его бытования и записи на нем Жуковского. Этот впервые публикуемый автограф является эмоционально-эстетической интерпретацией темы воспоминания, прошедшей через всю жизнь и творчество поэта.

К.И. Дубовенко
(Томский государственный университет)

«СИМВОЛ ВЕРЫ» В НАСЛЕДИИ Е. ФОН РЕЙТЕРН И В.А. ЖУКОВСКОГО*

Изучение наследия позднего В.А. Жуковского в контексте его жизнетворчества с привлечением новых источников, открывающих ранее неизвестные факты о его семейном и дружеском круге общения в финальный период жизни в Германии, является сегодня актуальным направлением в отечественной науке о литературе¹. Особый интерес представляет исследование материалов из собрания рукописей супруги поэта, Елизаветы Жуковской, их совместные духовно-религиозные штудии, предполагающие, кроме прочего, чтение и индивидуальное осмысление духовной литературы в кругу семьи, которое стало неотъемлемой частью жизнетворчества позднего поэта, считавшего этот комплекс занятий своего рода «домашней церковью»². На то, какую роль играли традиции и привычки жены в жизни поэта, указывает И.Ю. Виницкий, замечая, что «ее психологический тип, воспитание и убеждения характерны для немецкого (более того, гессен-кассельского) культурного ареала, весьма далекого от России, хотя и исключительно привлекательного и важного для ее супруга»³. Один из интересных источников, открывающих подробности особой духовной связи, установившейся между буду-

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ (МД-4756. 2016.6).

¹ См.: Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М.: Наука, 2006; *Vinitzky Ilya. Vasily Zhukovsky's romanticism and the emotional history of Russia.* Northwestern University Press, 2015; Никонова Н.Е. Ковалев П.А., Крупницкая Д.Е. Три «Узника» В.А. Жуковского: о стратегиях поэтического автоперевода // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 2 (34).

² Долгушин Д.В. Письма Е.А. Жуковской протоиерею Иоанну Базарову (1852–1854) // Вестн. ПСТГУ. 2013. Вып. 4 (53). С. 107–129.

³ Виницкий И.Ю. Немая любовь Жуковского // Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: в 2 ч. Тарту, 2011. Ч. 2. С. 409.

щими супругами, с заглавием «Mein Glaubensbekenntnis» («Мой символ веры») был обнаружен в отделе рукописей РГБ. Полный текст немецкого автографа Е. фон Рейтерн, занимающий полторы страницы, приводится ниже:

Mein Glaubensbekenntnis.

Auf dem Grund der heiligen Schrift, und auf die Anleitung des apostolischen Glaubensbekenntnißes, glaube ich an Gott Vater, allmächtiger Vat[er] Schöpfer aller Dingen.

So ist ein Gott, der der vollkommenste Geist, der Glück und Liebe an allen Seinen Geschöpfe <нрзб.> zu gründen auch uns geschaffen hat, und auf Seine Gnade und unaussprechliche Güte und allen Menschen himmlischer Vater ist; Und Seiner heiligen Willen durch Sein Wort in der heiligen Schrift offenbart, ganzen Leben wissen soll, und durch Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus zum <нрзб.> glauben, der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau, auf diese Erde gekommen ist, und <нрзб.>, sich selbst angenommen hat für uns und den ganzen Welt Sünden, gelitten unter Pontius Pilatus und gegraben ist, die Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit, die vom Gott geht, und damit uns durch <нрзб.> Leben in Seinem Namen, durch den Glauben an Jesu, der unser Mittler, Versöhnun[g] und Heiland unser. <...> [Jesus Christus] ist, niedergefahren zu der Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Todten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, zu richten die Lebendigen und die Todten. Ich glaube an den heiligen Geist, der vom Gott, unser himmlischer Vater und in Jesu Christo das heiligste Vorbild gegeben ist, und worauf wir Gott über alles lieben sollen und unsern Nächsten als uns selbst. Ich glaube an meiner heiligen allgemeinen Christlichen Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Geist: Auferstehung des Fleisches am jüngsten Tage, ewiges Leben, [ich] glaube voll Verteidigung an unserem dreieinigem Gott, damit Vater, Sohn und heiliger Geist.

Amen.

Düsseldorf, der 26. April 1839. Elisabeth von Reutern.

Подпись «Düsseldorf, der 26. April 1839. Elisabeth von Reutern», сделанная в самом низу документа, выполнена рукой В.А. Жуковского. Эта атрибуция говорит о том, что «Символ веры» написан за два года до бракосочетания, когда будущая супруга русского классика еще носила фамилию фон Рейтерн. Первое в том же 1839 г.

упоминание о Елизавете встречается в дневнике Жуковского, запись датирована 8 (20) июня: «Рисованье. Елизавета. Завтрак под деревом. Обед на старом месте. Музыка. <...>» (XIV, 503). Позже в письме родным от 10 августа – 5 сентября 1840 г. поэт прокомментировал эту лаконичную запись:

Я провел только два дня в замке Виллинсгаузен, и эти два дня были для меня минуты очаровательные. Старшая дочь Рейтерна, 19-ти лет, была передо мною точно как райское видение <...>. И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала в руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо изливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды и не должно было от себя всеми силами отталкивать подобные желанья, моим летам уже неприличные и только что для меня тревожные. Но что же? Этот взгляд говорил мне правду, о которой я не смел и мечтать. И этот вечер, без моего ведома, решил навсегда мою участь (XIV, 504).

Ровно через год 3 (15) августа 1840 г. Жуковский сделал предложение Е. Рейтерн и получил согласие. Свадьба состоялась 21 мая 1841 г. в Канштадте; поэт так описал это долгожданное событие в письме к А.И. Тургеневу: «<...> в уединенной надгробной церкви св. Екатерины совершился мой брак, тихо и смиренно» (XIV, 532).

Интересующий нас текст Е. Рейтерн, подписанный Жуковским, являет особое свидетельство той духовно-мистической связи, которая соединяла поэта с его будущей юной супругой. Кроме того, он открывает особый род словесности, освоенной Жуковским главным образом в 1840–1850-х гг. благодаря союзу с благочестивой Е. Рейтерн.

Символ веры как молитва представляет собой краткое и емкое изложение основ христианского вероучения, составленное и утвержденное на I и II Вселенских соборах. «Первое слово этого священного текста – Верую – связано с каждым последующим членом Символа и придает этому изъявлению общей веры христианского

народа характер личного участия и ответственности каждого члена Церкви, который произносит вместе с другими «верую»¹.

В истории церкви существуют два основных важнейших Символа веры: «малый» и «большой». Малым принято называть Апостольский символ веры, он несколько короче большого, Никео-Константинопольского варианта текста. Оба обладают ясной и четкой структурой, состоящей из трех частей и двенадцати пунктов и в каждом из них содержится особая истина. Однако подобное деление соответствует скорее европейской традиции, для Русской православной церкви каноническим является Никео-Константинопольский (или Никео-Цареградский): «К концу V века этот Константинопольский литургический Символ веры признается как полная и окончательная формулировка Никейского Символа, который она и заменила. Ему предстояло быть принятым повсюду как истинное «правило веры»². С одной стороны, несмотря на имеющиеся различия, Символ веры является одним из неоспоримых свидетельств единства веры всех христиан, связует католиков, протестантов и православных верующих, доказывая, что вне зависимости от различия национальных языков и культур христианство по сути своей едино. С другой стороны, в западной духовной традиции, восходящей к пиетистским воззрениям, особенно в протестантизме периода Реставрации, переписывание молитвенных текстов имело особое значение: строгие религиозные Символы веры, имеющие непреложный канон, считались излишне догматичными, куда более важными представлялись субъективное чувство верующего, концентрация на личном духовном опыте.

Немецкий текст, написанный Е. Рейтерн, без сомнения, основывается на обоих Символах веры, но ни один из них не повторяет в точности. Традиционно Символ веры начинается со слов «я верую» (нем. «Ich glaube»), однако Е. Рейтерн отмечает то основание, на котором зиждется индивидуальный вариант духовно-религиозного текста, поэтому молитва открывается словами: «Auf dem Grund der heiligen Schrift, und auf die Anleitung des apostolischen Glaubensbekenntnisses <...>» / «Согласно Святому Писанию и Апостольскому символу веры <...>», после чего следует непреложное:

¹ Лосский В.Н. Толкование на символ веры. М.: Благовест, 2008. С. 4.

² Там же. С. 6.

«glaube ich an Gott Vater, allmächtiger Schöpfer aller Dingen» / «верую в Бога, Отца всемогущего, Творца всего сущего».

Образ Бога в «Символе веры» супруги поэта подчеркнута мягко, его милость и отеческая любовь к людям выражены в нескольких дополнительных строках: «So ist ein Gott, der der vollkommenste Geist, der Glück und Liebe an allen Seinen Geschöpfe [нрзб.] zu gründen auch uns geschaffen hat, und auf Seine Gnade und unaussprechliche Güte und allen Menschen himmlischer Vater ist» / «(верую) во единого Господа, который создал нас и даровал совершеннейший дух, счастье и любовь всем творениям своим и по милости Своей, по неизъяснимому благу Своему стал всем людям небесным Отцом». Строгую 12-частную структуру религиозного текста Е. Рейтерн дополняет еще одним важнейшим символом христианства – знаком Слова Божьего: «Und Seiner heiligen Willen durch Sein Wort in der heiligen Schrift offenbart» / «И по собственной Воле Святой явил Слово Свое в Святом Писании», который отсылает нас к самому началу, к акту создания.

Еще одним интересным дополнением Символа веры является упоминание святого примера Иисуса Христа и выполнение данной им заповеди: «<...> und in Jesu Christo das heiligste Vorbild gegeben ist, und worauf wir Gott über alles lieben sollen und unsern Nächsten als uns selbst» / «<...> и в Иисусе Христе дал святейший пример, следуя которому, мы превыше всего должны любить Всевышнего, а ближнего своего – как самого себя». Сохраняя исходный канон, Е. фон Рейтерн не просто повторяет основные догматы церкви, скорее, напротив, написание становится своего рода актом творчества, в котором на первом плане оказались моменты, ставшие организующими для повседневного жизненного уклада юной немки: чтение Святого Писания, следование образу жизни, который заповедал Христос, оттого молитва ее не только искренна и красива с точки зрения формы, но и практична, применима в христианской жизни. Однако если рассматривать «Символ веры» супруги Жуковского в контексте духовной атмосферы протестантизма середины XIX в., то он, без сомнения, является примером весьма строгого ортодоксального текста, поскольку, учитывая настроения того периода, было бы позволительно сделать его намного более субъективным. Так, сюжет сошествия Иисуса в ад, который взят именно из Апостольского симво-

ла веры, в этом отношении очень показателен, так как само упоминание об аде для того времени уже не было симптоматичным¹.

Интересно, что тексты основных Символов веры в католичестве и протестантизме абсолютно идентичны, единственным различием является предложение в конце молитвы «Ich glaube an <...> die heilige katholische Kirche» / «Я верую <...> в святую католическую церковь». Приверженцы протестантизма заменяют слово «katholisch» / «католический» на слово «allgemein» / «единый». Однако по сути никакой замены не происходит, поскольку «католический» (от греч. «кафоликос») в переводе означает «всеобщий», «единый». Это одно и то же слово только на разных языках: «католический» – по-гречески, «единый» – по-немецки. В «Символе веры» супруги Жуковского использовано слово «allgemein» / «единый», так как она принадлежала к протестантской церкви. В русской православной традиции греческое слово «katholike» переводится как «соборная церковь». Основное структурное деление в тексте Е. Рейтерн никак не выделено графически, однако не составляет труда восстановить последовательно все двенадцать членов. Так, 1-й член говорит о Боге Отце, члены со 2-го по 7-й говорят о Боге Сыне, 8-й – о Боге Духе Святом, 9-й – о Церкви, 10-й – о крещении, 11-й и 12-й – о воскресении мертвых и о вечной жизни:

Е. фон Рейтерн
Мой символ веры (перевод мой. –
К.Д.).

Символ веры (русский перевод)²

Согласно Святому Писанию и Апостольскому символу веры

(1) верую в Бога, Отца всемогущего, Творца всего сущего.

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

¹ Выражаем глубокую признательность Штефану Липке SJ (Католическая гимназия г. Томска) за консультации по вопросам теологии, а также ценные советы и замечания.

² Закон Божий: Руководство для семьи и школы. СПб.: Сатись, 1997. С. 419–420.

- (2) (верую) во единого Господа, совершенного Духа, который создал нас и даровал счастье и любовь всем творениям своим и по милости Своей, по неизъяснимому благу Своему стал всем людям небесным Отцом. И по собственной Воле Святой явил Слово Свое в Святом Писании,
- (3) чтобы мы знали, как необходимо вести жизнь свою во Христе, едином родном Сыне Его, зачатом от Духа Святого, родившегося от Марии Девы. В нем – прощение грехов, справедливость Божия и жизнь наша во имя Господа через веру в Иисуса, ибо он – наш посредник и Спаситель, несущий умиротворение. Христос был явлен миру, распят, умер и погребен, сошел в ад,
- (4) сошедшего на землю, дабы принять на себя все страдания этого мира, при Понтии Пилате распятого.
- (5) в третий день воскресший из мертвых,
- (6) взошедший на небеса, сидящий одесную Бога Отца Всемогущего,
- (7) откуда придет судить живых и мертвых.
- (8) Иисус Христос дал святой пример, следуя которому, мы превыше всего должны любить Всевышнего, а ближнего своего – как самого себя.
2. (Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;
3. Для нас, людей, и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком;
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
5. И воскресшего в третий день, согласно с Писаниями (пророческими).
6. И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца;
7. И опять именуемого придти со славою судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.
8. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.

- | | |
|--|---|
| (9) Верую в Духа Святого, свяую Вселенскую христианскую Церковь, | 9. (Верую) и во единую Святую, Соборно-вселенскую и Апостольскую Церковь. |
| (10) (исповедую) святое крещение во оставление грехов, | 10. Исповедую одно крещение во оставление грехов. |
| (11) (ожидаю) воскресения плоти к жизни вечной. | 11. Ожидаю воскресения мертвых. |
| (12) Верую в триединого Бога нашего, во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Аминь. | 12. И жизни будущего века.
Аминь. |

Дюссельдорф, 26 апреля 1839 г.
Элизабет фон Рейтерн¹

Правильным представляется рассматривать «Символ веры» Елизаветы фон Рейтерн в контексте духовно-назидательной традиции немецкого бидермайера. В этот период происходила сознательная переориентация на утраченные после революции ценности пиетизма, что влекло за собой ренессанс различных духовных практик, и написание подобного «Символа веры» представляется весьма симптоматичным.

Известно, что подобные тексты были у Новалиса и Беттины фон Арним, весьма любопытны в этом отношении проповедь Гердера, написанная ко дню крещения ребенка И.-В. Гете, и завещание Л. Бетховена. Эпоха Реставрации, по выражению мюнхенского профессора Фридриха Зенгле, ознаменовалась «возрождением немецкого христианства»². В своем трехтомном исследовании «Эпоха Бидермайера» он указывает на то, что существующее в истории литературы понимание бидермайера слишком узко, подчеркивая, что на самом деле «основание, на котором покоится эпоха бидермайера, социально гораздо шире и в философско-эстетическом отношении значительно глубже, чем даже в античной классике и романтизме,

¹ Приписано рукой В.А. Жуковского.

² *Sengle F. Biedermeierzeit: deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815–1848. Stuttgart, 1971. Bd. 1. S. 141.*

что никак не позволяет уложить это течение в тесные «промежуточные» рамки»¹. Что же касается духовного бидермайера, аудитория которого значительно превосходит аудиторию бидермайера светского, то этот жанр осознанно вобрал в себя вечные ценности христианства: «Его представители приравнивают самосознание к грехопадению, видя в нем стремление отделиться от паствы, ведущее исключительно к одиночеству и отчаянию. Такие авторы, как Й. Готтхельф (1797–1854) и Кристоф фон Шмид (1768–1854), не уставали превозносить простую и искреннюю веру народа. <...> Показательно, что и проза, и поэзия духовного бидермайера наполнены бесчисленными христианскими жанровыми картинами крещения, венчания, различных церковных праздников, которые имели фольклорный колорит, но выполняли более важную религиозную функцию, призывая неверующих и заблудших к возвращению в христианскую общину»². В духовном бидермайере новую жизнь получили такие жанры, как роман-проповедь, церковные песнопения, духовная поэзия, традиционным стало изучение древней истории под знаком христианства, в частности обращение к классической поэзии Гомера.

Сам В.А. Жуковский, очевидно, не без влияния тех риторических форм, которые были близки его окружению и его супруге, в поздних своих размышлениях, также пришел к своего рода индивидуальному осмыслению Символа веры, понимая его как жанр, тип дискурса³. В частности, в неизданных «Мыслях и замечаниях», работу над которыми поэт осуществлял в период с 1844 по 1847 г., он дополняет 12-частную композицию Символа веры двумя составляющими, принципиально важными для русского православного миропонимания. Так, модель христианского мира не мыслилась Жуковским без *самодержавия*, которым, по его мнению, определялось уникальное своеобразие русского народа:

Она (церковь. – К.Д.) проповедовала верность царям и основывалась на том, что сия верность есть устав Божий, и это тем было

¹ Sengle F. Biedermeierzeit... С. 118.

² Там же. С. 127.

³ Никонова Н.Е. В.А. Жуковский – современник педагогического века Германии: немецкая литература о воспитании и творческие искания поэта 1840–1850-х гг. // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 87–124.

неопровержимое, что в сей верности заключалась тогда единственно возможная безопасность личная и независимость общая; иго татарское (общее бедствие) наиболее укоренило в народе это чувство, и оно сделалось не рабским чувством необходимой покорности, требуемой железной властью одного – но высоким, произвольным, от отца к сыну переходящим, силою предания хранимым, церковью освященным чувством, *дополнительным членом символа веры* (курсив мой. – К.Д.), голосом истории, знаменем судьбы народной, синонимом слова отечество, словом, религиою, благословением все-народным пред властью вышнюю, перешедшую в земную. В царе выразилось отечество, и это стало общей верою, а эта вера облагородила, осватила покорность и сделалась живым источником (XIV, 307).

В «Мыслях и замечаниях» Жуковский подчеркивает важность авторитета церкви, которая говорит о Христе, вводит слово Святого Писания в деятельную жизнь человека, сопровождает все основные вехи жизни – рождение, создание семьи, покаяние и уход в мир иной:

Итак, первый акт произвольный нашей воли есть сия покорность церкви, которой учение относительно Христа Спасителя и писаний, о нем возвещавших, должны быть для нас непреложны. Как мне церковь на своих соборах повелела принимать то, что заключается в Святом Писании и какой символ веры из него истекает, то для меня и остается ненарушимым (XIV, 312).

Однако он и ограничивает ее влияние, функция церкви задается как исключительно посредническая:

Здесь ясно означаются и границы самой веры – церковь не есть Христос, а вождь и путь к Христу. Я верю в церковь, я верю в нее, как в средство, дающее мне веру во Христа, а не она предмет моей веры (XIV, 312).

Открытым остается лишь вопрос, какая вера должна быть сначала: вера во Христа посредством церкви или же вера церкви посредством Христа:

Но если церковь есть посредник между мною и Христом, то кто будет посредником между церковью и мною? На ее авторитете утверждена моя вера во Христа или лучше сказать в С<вятом> п<исании>, из которого я уже сам почерпаю веру во Христа. На каком авторитете утвердится вера моя в церковь? Я верю во Христа, потому что церковь говорит мне: верь; но я верю в церковь, потому что она установлена Христом и что она есть его представитель (XIV, 314).

С точки зрения Жуковского, модели, существующие в протестантизме и католицизме, не могут быть удовлетворительными: у первых отсутствует авторитет церкви, он разрушен, а потому толкование Святого Писания предоставлено разуму и истинной вере нет места. Во втором случае авторитет церкви, напротив, чрезвычайно силен, но на каком основании покоится вера католиков в церковь, остается неясным. «Cercle vicieux, из которого весьма трудно вырваться», – заключает Жуковский (XIV, 314)¹. Наличие подобных вопросов, очевидно, в известной мере навеяно теми настроениями, которые определяли духовную жизнь немецкого мира, где роль церкви и ее влияние были постоянными предметами неутихающих споров.

Важным моментом является и то, что Символ веры у Жуковского подвергается всестороннему осмыслению, он органично вписан в контекст философского дискурса «Мыслей и замечаний», что уже само по себе находится в русле западной духовно-назидательной литературы. Размышления о постулатах церкви были не свойственны отечественной православной традиции 1840-х гг., священные тексты не принято было превращать в предмет рефлексии, пусть даже и под знаком христианства. Исключение составляли, пожалуй, только сочинения А.С. Хомякова о соборности и церкви, однако и здесь виден европейский след. Как известно, Хомяков активно делился своими мыслями и идеями на страницах переписки с немецким богословом К. Бунзенем, который был и другом Жуковского²

¹ Порочный, заколдованный круг (фр.).

² Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. С. 454–471.

(их переписка опубликована впервые Н.Е. Никоновой) и англиканским священником У. Палмером.

С филологической точки зрения «Символ веры» представляет собой особый словесный жанр, «своеобразную квинтэссенцию религиозных чувств и представлений»¹, который вызывает живейший интерес исследователей. Уже не одно десятилетие не утихает спор о «Символе веры» Ф.М. Достоевского, научное сообщество предлагает все новые и новые интерпретации и пути исследования этого вопроса; некоторые из них кажутся особенно интересными.

Так, Р.Ф. Бекметов в своей статье предлагает уйти от узкорелигиозного понимания «Символа веры», навязанного религиозной филологией (в свете которого основные положения о противоположности Христа и истины, сформулированные Достоевским, представляются ошибочными и полностью отчужденными от православного понимания жизни), и значительно расширить контекст, переведя, по выражению исследователя, «сакральную формулу автора из биографического и историко-литературного контекста в плоскость культурных отношений по оси «Запад – Восток»². Бекметов указывает на важность привлечения далеких культурных контекстов в процессе понимания конкретного явления и справедливо замечает, что «мировоззренческая формула Ф.М. Достоевского по-настоящему открывается не только в контексте самобытного творческого развития писателя, но и на фоне богатых культурных традиций и учений Востока»³. Автограф Е. Рейтерн, подписанный первым русским романтиком, а также его последующие размышления о Символе веры позволяют адекватно представить себе далекий от отечественного культурный контекст в процессе понимания мировоззренческих основ наследия позднего Жуковского.

Рассмотрение Символа веры с «буквальной», «неметафорической» точки зрения также имеет место в современной науке. Впервые подобный метод был предложен А. Вежбицкой, которая интер-

¹ Бекметов Р.Ф. Еще раз о «символе веры» Ф.М. Достоевского (к восточному контексту мировоззренческой формулы) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. №7 (37): в 2 ч. Ч. I. С. 30.

² Там же. С. 31.

³ Там же. С. 33.

претировала таким образом ряд евангельских притч¹. Этот же подход использовал и В.А. Бурцев, доказывая на примере православного Никео-Цареградского варианта, что «в основе Символа Веры лежит имплицитная система основных норм православного мироощущения, которая эксплицируется во множестве других религиозных жанров»². Интересен вывод о двойном дискурсивном статусе Символа веры: с одной стороны, это вероучительный текст, который фиксирует религиозное знание, а с другой – текст, отображающий религиозное ощущение Бога. Бурцев отмечает, что на подобное понимание Символа веры натолкнули полученные в результате анализа семантические формулы, «с точки зрения которых объективно существующие в языке Символа представления о Боге, вере, смерти, вечной жизни, Церкви, Царствии Небесном воспринимаются через эмоции и чувства»³. Автограф Е. Рейтерн, полученный В.А. Жуковским в подарок от будущей супруги, также открывает целую палитру чувств и эмоций, этот документ фиксирует установление внутренней связи, особого духовного диалога, когда невеста веряет всю будущую жизнь свою жениху, для Жуковского – это рождение нового «милого вместе», надежда на которое, казалось, была окончательно утрачена.

Как известно, в истории русской литературы вообще, и особенно в русской поэзии XIX в. произошло активное освоение молитвенной формы самовыражения и мирозидания. «Для поэтов XIX века молитвенная традиция в ее ритуальном и эстетическом (например, в парафрастических жанрах) планах была органичным явлением, а живое восприятие православной обрядности сосуществовало с интересом к мировым религиям. Так в русской лирике появляются «Молитва бедуина» А.Н. Майкова, «Молитва Парии» Ап. Григорьева, «Ave Maria» А.А. Фета, «Stabat Mater» В.А. Жуковского и «Stabat

¹ См.: *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 731.

² *Бурцев В.А.* Православное мироощущение сквозь призму лексических универсалий (на материале «Символа веры») // *Язык. Текст. Дискурс.* Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. Вып. 7. Ставрополь, 2009. С. 138.

³ Там же. С. 138.

Mater» Л.А. Мея»¹. В наследии первого русского романтика представлен целый ряд стихотворных молитв, среди которых «Молитва Русского народа» (1813) (носившая в одной из ранних редакций название «Молитва русских»), где «тема соборной молитвы за царя, как представителя верховной власти на земле, развивается в недрах русской православной традиции, восходящей к общехристианской»².

Э.М. Афанасьева отмечает, что несмотря на созвучность национальной религиозной традиции, идея этого стихотворения заимствована Жуковским из другой культуры, указывая на источник русского гимна – британский гимн «God save the King!». Известно, что тема самодержавия долгое время не оставляет ангела-хранителя русской поэзии, находя выражение в стихотворении «Русскому царю» (1813), в «Песне Русских солдат» (1834), «Русской народной песне» (1833), постепенно все прочнее утверждаясь в русской литературе и превращаясь в своего рода символ эпохи. Очевидно, что тема эта не оставила его и в поздний период житнетворчества – то, что на первом этапе отразилось в молитвенной лирике, в 1840–1850-е гг. стало частью «Мыслей и замечаний», дополнительным членом собственного «Символа веры». К позднему периоду относятся и две другие «молитвы» – уже упоминавшаяся «Stabat Mater» (1838), ставшая «цветком Жуковского» на могиле Пушкина, и «Всесилен Бог, Пред Ним всеильна вера...» (1841), навеянная чтением легенд о киевских чудотворцах, сюжет которой был почерпнут Жуковским из «Пролога», сборника житий и поучений. В свете новых архивных источников тема молитвенного дискурса поэзии Жуковского представляет собой интересную перспективу исследования.

«Символ веры» супруги Жуковского гармонично вписывается в духовно-назидательную традицию немецкого бидермайера, на фоне которого протекал и финальный этап житнетворчества русского классика. Во многом благодаря духовному бидермайеру Жуковскому открылись миры, отличные по национально-культурной идентичности, религиозной духовности, литературному слогу, исчезла граница, отделявшая его от языка Гомера. Исследование материалов

¹ *Русская стихотворная «молитва» XIX века: антология / вступ. ст., сост., примеч., библиогр.* Э.М. Афанасьевой. Гомск: «STT», 2000. С. 9.

² Там же. С. 10.

из собрания рукописей супруги поэта позволяет дополнить представления о том, что играло ключевую роль в определении творческих интенций его житетворчества в конце 1840 – начале 1850-х гг. Новый материал, который открывает немецкоязычный автограф Е. Рейтерн, имеет несомненную источниковедческую ценность и лишний раз подтверждает, что рассмотрение наследия позднего В.А. Жуковского сквозь призму немецкого мира и близкого окружения поэта 1840–1850-х гг. – актуальный ракурс современного жуковсковедения.

Тимур Гузаиров
(Тартуский университет, Эстония)

**МОСКОВСКИЕ ВИЗИТЫ ЦЕСАРЕВИЧА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА И В.А. ЖУКОВСКОГО
(ИЗ ИСТОРИИ ЦАРСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
1831 И 1837 гг.)***

9 октября 1817 г. В.А. Жуковский, учитель русского языка великой княгини Александры Федоровны, прибыл вместе с императорским двором в Москву, поселился в келье Чудова монастыря и сочинял стихи¹. 17 апреля 1818 г. в архиерейском доме, принадлежавшем Чудову монастырю, родился великий князь Александр Николаевич. В этом доме, известном как Николаевский дворец, в 1831 и 1837 гг. останавливался наследник престола, которого сопровождал В.А. Жуковский. В 1837 г., во время путешествия по России, цесаревич и его наставник дважды посещали Москву: летом (23 июля – 9 августа) и осенью – зимой (30 октября – 8 декабря)². Дневники Жуковского, газеты и письма великого князя Николаю I позволяют реконструировать хронику московских визитов: маршрут передвижения, круг общения, времяпрепровождение. Записи поэта отличаются сухо-фактографическим содержанием. Он фиксирует места и имена, но не эксплицирует впечатления, не вербализирует мысли и эмоции в дневнике. Ср.:

* Я выражаю искреннюю благодарность О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевичу за предоставленную возможность поработать в Научной библиотеке Томского государственного университета. Настоящая статья является итогом сибирских размышлений в сентябре 2014 г.

¹ Этот московский период был счастливым и плодотворным временем в жизни Жуковского. В октябрьском письме он признался А.И. Тургеневу: «<...> живу теперь в келье какого-то монаха Чудовского; на окнах моих крепкие решетки, но горницы убраны не по-монашески; тишина стихотворная царствует в моей обители и уж Музы стучатся в двери; я еще не мог принять их за беспорядком, но завтра они ко мне пожалуют» (*Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу*. М., 1895. С. 181).

² Анализ путешествия с идеологической точки зрения см.: *Вортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004. Т. I. С. 473–483.

30 октября 1831 г.: У Клейнмихеля. У императрицы, разговор о себе. Домой. Разговор с Мердером.

10 ноября 1831 г.: У Бенкендорфа. Осмотр Архангельского собора. Глупая просьба. У Дуняши. Записка. Вечер у императрицы (XIII, 317–318).

29 июля 1837 г.: Посещение Коломенского, Симонова и Новоспасского монастырей. Прожект Голицына.

8 августа 1837 г.: Осмотр соборов и дворца. Крестил у Погодина. У князя С.М. Голицына. У князя Д.В. Голицына. В почтамте. Обед у императрицы. В концерте. Прелесть Четвертинская. Вечер у императрицы (XIV, 69).

Историко-культурный комментарий не проясняет вопроса о том, что Жуковский мог знать, думать и чувствовать при осмотре памятных мест. Задача статьи заключается в выявлении потенциальных смыслов, которые московские достопримечательности могли актуализировать в сознании поэта. Московские визиты анализируются сквозь призму посещения памятных мест с целью дальнейшего описания исторической оптики Жуковского, его взгляда на современные события и царскую педагогику¹.

* * *

20 апреля 1818 г. Жуковский закончил послание «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича». Стихотворение состоит из 178 стихов и условно делится на три части. В первом фрагменте (1–16-м стихах) поэт обращается к Александре Федоровне и вводит тему бессилия

¹ См. предыдущие работы: *Гузаиров Т.* Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. 163 с.; *Гузаиров Т.* История – Полководец – Поэзия: политическая триада В.А. Жуковского (из комментария к статье «Русская и английская политика») // Жуковский: Исследования и материалы: сб. науч. тр. Вып. 2. Томск, 2013. С. 191–203; *Гузаиров Т.* Учебные пособия В.А. Жуковского по истории: Статьи на случай: Сборник в честь 50-летия Р.Г. Лейбова. Ruthenia, 2013 (<http://www.ruthenia.ru/document/551777.html>); *Гузаиров Т.* Мир и Война, или Парадокс имперского мышления: из комментариев к статье Жуковского «Письмо к графу Ш. О происшествии 1848 года» // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 22–35.

языка и искусства для выражения невыразимого. В третьей части (147–178-м стихах) Жуковский напутствует великого князя, провозглашая свой главный принцип воспитания – «Да чреде высокой не забудет // Святейшего из званий: *человек!*» (II, 97). Во втором сегменте (17–146-м стихах) Жуковский описывает свой опыт познания действительности. Сюжет этой части следующий. Поэт находится в Кремле, смотрит на архиерейский дом Чудова монастыря, и ему открывается провидение; затем он вспоминает памятные московские события, описывает душевные движения в себе, в народе, в августейших супругах. В стихотворении Кремль превращается в сакральный и ментальный топос, в котором взору поэта приоткрывается вневременное, связь между земным и небесным:

Что с жизнью прекрасного дано,
Что нам сулит в грядущем упованье,
Чем прошлое для нас озарено <...>
Забуду ль миг, навеки незабвенный? <...>
О, как сей взгляд мне душу усмирил! <...>
Как благодать лежали небеса <...>
Над красотой воскреснувшей Москвы <...>
И вечный Кремль, протекшим мимо Роком <...>
И с верою, что близко Провидение,
Я устремлял свой взор на тот чертог,
Где матери священное мученье <...>
Но сладкий глас мне в душу проникал:
«Здесь Божий мир; ничто здесь не случайно!» <...>
Торжественно державный Кремль стоял <...>
И в оный час пред мыслию моей
Минувшее безмолвно воскресало <...>
Москва жива; в Кремле семья Царя <...>
О, как у всех душа заливала <...>
На высоте воскресшего Кремля;
Здесь возмужал орел наш двоеглавый;
Кругом него и небо и земля,
Питавшие Россию в колыбели <...>
Обманет ли сие знаменованье? (II, 93–97).

Взгляд Жуковского – исторический и метафизический. Поэт смотрит на исторические объекты, но вспоминает не только акту-

альное прошлое, объединяющее народ и власть в единое имперское тело. Он видит сквозь памятные русские места вечное и абсолютное – то, что в его официальных статьях 1830-х гг. получило название *Божья правда*. В статье «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 года», посвященной открытию Александровской колонны, Жуковский писал:

Я чувствовал *вдохновение* <...> поразительное *чувство высокого, неотделимого от предмета*, его возбудившего <...> Все соединилось, чтобы дать сему торжеству значительность глубокую. <...> Было что-то похожее на незыблемость *Промысла в этой колонне* <...> ангел <...> стоял *между землею и небом*, принадлежа одной своим монументальным гранитом, изображающим то, чего уже нет, а другому лучезарным крестом, символом того, что всегда и навеки. <...> *все наше минувшее*, вдруг перед нами повторенное. <...> и ангел, венчающий колонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого создания для нас миновались <...> наступило время создания мирного; <...> в лице сего крестоносного ангела, а имя его: *Божия правда*» (курсив везде мой. – Т.Г.; Т. X. С. 29–32)¹.

Цитату из этой статьи с финальным акцентом поэт привел в статье «Бородинская годовщина», написанной 5 сентября 1839 г. в Москве:

<...> раздалось повсюду: Коль славен наш Господь в Сионе! Эта минутная гармония, как тихий *ангел*, пролетела *между небом и землею*. <...> Наконец все опустело, все утихло, *чудесное видение* миновалось; остался только *бородинский памятник* с Багратионовым гробом, озаряемые ясным небом, и кругом них спокойные холмы, одетые жатвою. *Здесь*, кажется мне, у места повторить то, что было сказано при открытии Александрова монумента. События одни и те же, и мысли ими пробужденные одни и те же. «<...> дни боевого создания для нас миновались <...> наступило время создания мирного <...> А имя его: *Божия правда*» (ПСС. Т. XII. С. 54–55).

¹ Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. / под ред., с биогр. очерком и примеч. А.С. Архангельского. СПб., 1902. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием аббревиатуры ПСС, номера тома римской, номера страницы арабской цифрой в скобках.

Как видно из приведенных примеров, Жуковский воспроизводит похожую модель восприятия действительности. Национальные памятные места в значимые для человека моменты конструируют пространство духовного соприкосновения с провидением, или умножения знания, осознания себя, постижения общих ценностей и универсального смысла мироустройства. Это – точка перехода от зрения (того, что лежит на горизонтали «здесь и сейчас») к прозрению (того, что находится на вертикали «там и вечно»).

В контексте взаимоотношений между императорской семьей и Жуковским, его роли в официальной культуре обращает на себя внимание одна биографическая деталь. Начиная с эпохи Отечественной войны Москва для Жуковского была источником творческого вдохновения и интенсивных внутренних переживаний, местом его рождения как национального поэта. 25 января 1815 г. он, автор известного «Певца во стане русских воинов», приехав в Москву, признался А.И. Тургеневу: «<...> пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом славы, в которую въехал я с гордостью Русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия»¹. Однако в 1831 и 1837 гг., во время символически значимых, официальных визитов императора, цесаревича и его наставника, впечатления о древней столице отразились в минус-тексте, в поэтическом молчании автора «Певца в Кремле» (1816).

* * *

Готовясь к поездке с цесаревичем в 1831 г., наставник наследника престола как читатель мог совершить виртуальное путешествие в древнюю столицу. В библиотеке В.А. Жуковского в Томске хранятся три путеводителя по Москве с маргиналиями поэта. Эти книги были изданы в 1824, 1827–1831 и 1833 гг., и в сумме они составляют 7 многостраничных томов²:

¹ *Письма* В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 135.

² Библиотека В.А. Жуковского в Томске / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981. С. 19, 42, 46.

1. Путеводитель в Москве. Изданный Сергеем Глинкою, сообразно французскому подлиннику Г. Леконта де Лаво, с некоторыми пересочиненными и дополненными статьями. М., 1824.

2. <В. Стремиллов>. МОСКВА, или Исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского, заключающий в себе: 1-е, историю сего престольного города от начала оного до наших времен; 2-е, подробное описание всех важных событий, случившихся в оном; 3-е, описание находящихся в нем редкостей, монастырей, церквей и разных зданий и памятников, с показанием времени и причин их основания; 4-е, сведение о всех местах, замечательных по какому-нибудь историческому происшествию; 5-е, обычаи древних времен; 6-е, различные церковные и гражданские церемониалы; 7-е, богатства и штат двора царского; 8-е, описание одежды, монетного курса и цен произведений, к разным временам относящихся; 9-е, биографии митрополитов и патриархов, 10-е, статистическое и топографическое обозрение сей столицы в нынешнем ее состоянии. М., Ч. 1–4. 1827–1831.

3. НОВЫЙ путеводитель по Москве первопрестольной столице государства Российского, с показанием как исторических, так природных и искусственных достопримечательностей и приложением обзора статистических сведений, промышленности, казенных и частных заведений и присовокуплением главных правил, установленных для каждого заведения, служащих руководством для проживающих в сей столице лиц разного сословия, основанный на достоверных актах, и Живописного исторического путешествия по примечательным окрестностям Москвы. М., Ч. 1–2. 1833.

Многочисленные маргиналии Жуковского в сочинении В. Стремиллова указывают на разносторонний и активный интерес поэта к Москве, к ее истории, топонимике, достопримечательностям, экономике, повседневной жизни и т.д. В путеводителе Глинки, в «Показании материй», или списке главных московских мест, поэт подчеркнул почти все названия. После прочтения книги на ее форзаце он составил свой сокращенный список достопримечательностей:

Г. Архив 2.

[2] I. Соборы. Успенск. Архангельск. Благовещенск.

Спас.* Спас на Бору

Двор Колымажный

Иван Великий
3. Воробьевы горы
Монастырь вознесенск.
----- Новодевич. 3.
----- Донской 3.
----- Чудов.
[-----]
4. Оружейная палата
Университ. пан.
Сухарева башня.
Церковь В. Блаженного.

Как мы видим из списка Жуковского, указанные памятные места имеют общенациональную ценность; некоторые из них связаны также с биографией поэта, с личными душевными переживаниями (Кремль – с Отечественной войной; Университетский пансион – со временем учебы; Чудов монастырь – со счастливым периодом 1817–1818 гг.).

В официальной культуре Жуковский занимает важное место в формировании московского героического мифа. Не случайно авторы путеводителей цитировали отрывки из его стихотворений «Певец во стане русских воинов» и «Певец в Кремле»¹. Жуковский не сделал, однако, ни одной пометы напротив приведенных фрагментов из своих текстов. Он также не отметил прославлявшие Николая I пассажи. Например, один из них был посвящен победе над персами, дословно повторялся в двух путеводителях и был связан с дорогим поэту Чудовым монастырем:

Не должно пройти в молчании и того, что в сей обители Благочестивейший Император Николай Павлович торжествовал первую победу над вероломными Персами. Трофеи, взятые у Кизильбашей храбрыми Русскими воинами, препровождены из С.-Петербурга в сей монастырь Ноября 21 дня 1826 года².

¹ Стремлов. Москва... Ч. 2. С. 224, 254–255; *Новый путеводитель...* Ч. 1. С. 155–156, 244–245.

² Стремлов. Москва... Ч. 2. С. 25; *Новый путеводитель...* Ч. 1. С. 61.

На основании имеющихся источников невозможно установить точного времени чтения Жуковским путеводителей. Поэт, вероятно, пролистал «Новый путеводитель...» (1833), так как некоторые страницы в первой части книги остались неразрезанными. В оглавлении он выделил карандашом название трех глав «*Часть Городская вообще*» (С. 17–20), «*Кремль*» (21–22), «*Часть Тверская вообще*» (С. 199–203), но только в 10-й главе первой части «*Вознесенский девичий монастырь*» поэт подчеркнул три фразы, отчеркнув их также на полях:

Вознесенский девичий монастырь состоит в первом классе. Основан 1389 года Великою Княгинею Евдокиею, супругою В.К. Дмитрия Иоанновича Донскаго. <...> в сем монастыре покоится прах всех почти Великих Княгинь, Цариц и Царевен Российских от времени Евдокии, супруги Дмитриевой, до XVIII века¹.

Другие два путеводителя – С. Глинки и В. Стремиллова – были тщательно проштудированы Жуковским². В «Путеводителе» Глинки (1824) Жуковский подчеркнул исторические факты с 1147 до 1462 г. и не выделил дальнейшие события до 1678 г. В первой части путеводителя Стремиллова (1827) Жуковский отметил сведения от Смутного времени до открытия памятника Минину и Пожарскому в 1818 г. По-видимому, поэт читал эту часть сочинения Стремиллова как продолжение истории Москвы, начало которой было изложено в «Путеводителе» Глинки.

Пометы Жуковского имеют познавательную и мнемоническую функции. Поэт или выделяет новые для себя факты, уточняет отдельные исторические детали, или актуализирует в памяти общие, широко известные даты, имена, места, события. Маргиналии отражают индивидуальный выбор из коллективной исторической памяти, которую формируют путеводители. История Москвы, составленная по маргиналиям Жуковского, строится на метафоре пути от поражения к победе, которая представлена через развитие образа городской стены (разрушаемой врагами и по распоряжению князя все-

¹ *Новый путеводитель...* Ч. 1. С. 29–30.

² См. «исторические» маргиналии Жуковского в путеводителе Глинки и Стремиллова в *Приложении*.

гда восстанавливаемой), через формирование пантеона национальных героев и памятных мест. Наставник цесаревича особое внимание уделяет выдающимся поступкам русских царей, духовенства и народа, примерам проявления патриотизма и национального единства. В путеводителях поэт также не случайно подчеркивал сведения о народной благодарности, о взаимоотношениях между народом и правителем – именно на эти темы он остро размышлял, преподавая историю великому князю в 1828–1830 гг.¹

В 1831 г. Жуковскому как наставнику наследника престола предстояло вместе со своим учеником впервые посетить Москву². Чтение путеводителей, с одной стороны, напомнило факты и московские реалии поэту, который мог во время путешествия рассказывать великому князю о городе, его истории и т.п.; с другой стороны, путеводители наряду с личными воспоминаниями, эмоциями могли усилить в Жуковском чувство национальной гордости, переживание исторической значимости и общей радости от предстоящего визита, особенно в контексте совсем недавней военной победы в Польше.

* * *

7 октября 1831 г. был опубликован царский манифест о подавлении польского восстания. В Москву 11 октября приехал Николай I, 14 октября – императрица Александра Федоровна, а 28 октября прибыли великий князь Александр Николаевич и Жуковский. Приезд каждого члена императорской семьи начинался с традиционного молебна в Успенском соборе и выхода к народу. Царственный ученик Жуковского впервые публично предстал в качестве цесаревича (официальный титул наследника престола он получил после смерти великого князя Константина Павловича 15 июня 1831 г.). 4 ноября в «Московских ведомостях» было опубликовано стихотворение кн. Шаликова по случаю приезда цесаревича в Москву. Автор провозглашал исключительное могущество России, залогом которого слу-

¹ См., например, сочинение Жуковского «Черты истории Российского государства» и дневниковые тексты «Бывают смутные времена в истории», «Русский государь должен быть русским...», «Частный человек любит отечество», «Что такое общее мнение...» (XIII, 302–305).

² В 1826 г., во время визита великого князя в Москву на коронацию Николая I, Жуковский находился за границей.

жит наследник престола, а символическим доказательством – архитектурный памятник: «И что, О Кремль златый! тогда // Сравнится в щастии с тобою? // Ничто, нигде и никогда!»¹. Московский визит имел знаковый характер и был призван продемонстрировать единство власти и народа, наличие государственного благоденствия, а также постепенно ввести наследника престола в публичную сферу.

Осенью 1831 г. московский книгопродавец Александр Сергеевич Ширяев предлагал купить две брошюры с новыми антипольскими сочинениями «Русская слава. Стихотворение В.А. Жуковского» (110 коп.) и «Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина» (210 коп.)². 10 октября, накануне приезда Николая I в Москву и более чем за две недели до прибытия цесаревича и его наставника, кн. Шаликов в «Московских ведомостях» обратился с посланием «К Жуковскому. На его стихотворение Русская Слава». Шаликов призвал поэта продолжить славословие императору: «Пора, ко славе наших дней, // Еще сулящая другия: // О пой же, Бард! и славь Царей, // Любя деянья их благия!»³. Популярными антипольскими стихотворениями и придворным статусом наставника цесаревича формировали ожидание, что Жуковский примет на себя роль выразителя верно-подданных народных чувств во время московского визита. Однако поэт активно включился в строительство николаевской идеологии позднее, в 1833–1834 гг.⁴

5 ноября 1831 г. в Москве Жуковский посетил Оружейную палату, предметы которой он внимательно изучил уже при чтении вто-

¹ Шаликов, князь. Стихи на всерадостное прибытие в Москву Его Имп. Высочества, Наследника Цесаревича // Московские ведомости. 1831. № 88. С. 3719.

² См.: Московские ведомости. 1831. № 79. С. 3337. В лавке Василия Васильева Логинова книжка «Русская слава. Стихотворение В.А. Жуковского» стоила 30 коп. серебром // Московские ведомости. 1831. № 80 (7 октября). С. 3349.

³ Шаликов, князь. К Жуковскому. На его стихотворение Русская Слава // Московские ведомости. 1831. № 81. С. 3423.

⁴ См. подробнее: Киселева Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник 2. М. 1997; Ее же. Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сборник. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998; Ее же. Жизнь за царя (Слово – музыка – идеология в русском театре 1830-х годов) // Культурные практики в идеологической перспективе // Россия / Russia 3 [11]. Москва – Венеция. 1999.

рой части путеводителя Стремилова. На полях книги поэт отчеркнул сведения об экспонатах – последовательно, с первого до пятнадцатого. Это две короны Мономаха, скипетр, держава, крест, цепь, святые бармы (оклодное оплечье), трон, короны Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, Екатерины I, Царства Казанского, Царства Астраханского, Царства Сибирского, Станислава Августа. На шестнадцатом предмете, «Короне Царства Грузинского», Жуковский споткнулся, и ни его, ни – по инерции – следующие два экспоната («Державу Царя Иоанна Алексеевича», «Другую Державу просто золотую») Жуковский не отчеркнул. Затем он продолжил делать пометы, отчеркнув сведения об экспонатах 19–21 (скипетры Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, «Станислава, последнего Короля Польского»). Статью о предмете № 22 – «Скипетре Царя Грузинского» – Жуковский не отчеркнул. Затем поэт без пропуска до конца главы отчеркивал сведения о царских престолах, тростях, булавах.

Отсутствие маргиналий Жуковского напротив описания регалий царя Грузинского можно расценить как случайность и объяснить любой причиной (от поломки карандаша до стука в дверь слуги). Однако то обстоятельство, что поэт дважды споткнулся на грузинских экспонатах, можно рассмотреть как улику, пытающуюся что-то сказать о ходе его мысли. Как Жуковский, схожим образом поступил почетный член Оружейной палаты Павел Петрович Свиньин. Его статья «Оружейная палата» была опубликована в 1820 г. в № 5 «Отечественных записок». Автор, описав «главнейшие сокровища» Мономаха и Романовых, перешел к новым предметам:

Самолюбию Русских весьма простительно заняться после сего осмотрением корон побежденных царств: Казанского, Астраханского, Сибирского и Польского. Царств – некогда могущественных, страшных для России, бывших ее повелителями и притеснителями, но после низверженных кровью и мужеством русских и теперь составляющих честь мирных областей Российской империи¹.

Короны царств, которые отметили Свиньин и Жуковский, являются не только символами новых присоединенных территорий, но

¹ *Свиньин П.П.* Оружейная палата // Отечественные записки. 1820. Ч. 3, № 5. С. 23–24.

также знаками становления Российской империи. Грузинская губерния была создана в 1801 г., корона Грузинская находилась в хранилище Оружейной палаты с 17 апреля 1811 г. Свинын исправил свою оплошность в 1826 г. в «Указателе главнейших достопамятностей, охраняющихся в мастерской Оружейной Палаты»¹, прибавив к перечню завоеванных царств и корону Грузинскую. Вместе с тем Жуковский последовательно не замечал регалии грузинского царя. По моему предположению, дважды случившаяся при чтении путеводителя Стремиллова (1827–1831) заминка на символах царства Грузинского может косвенно отражать рефлексии Жуковского о нецелесообразности территориальных приобретений.

Под влиянием польско-русской войны 1830–1831 гг. грузинские дворяне начали планировать восстание². Одновременно в 1830 г. поэт для занятий по истории России с цесаревичем написал «Введение в Историю Государства Российского. Обзорение Российской империи». В первом черновике сочинения есть раздел «Новая история», в котором указаны русские императоры, даты их жизни. Название раздела включает уточнение, или критерий оценки государственной политики. Наставник цесаревича различает два типа территориальной экспансии: «Завоевания, утверждающие силу империи. Завоевания, распространяющие границы империи»³. В тексте автор не разделил конкретные события по группам. Во время подавления польского мятежа, 21 февраля 1831 г., поэт записал в дневнике:

<...> уничтожив Польшу, мы вооружим против себя всю Европу и самых близких соседей своих; мы распространим границы свои, это правда, но приобретем таких подданных, которые останутся вечными врагами нашими. Надлежит властвовать

¹ Свинын П.П. Указатель главнейших достопамятностей, охраняющихся в мастерской Оружейной Палаты. СПб., 1826. С. 30–31.

² Заговор («Распоряжение первой ночи») был раскрыт в Тифлисе 10 декабря 1832 г. См.: Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней). Тбилиси, 1993. Ч. 2, гл. 3. (Реакция грузинского народа на упразднение государственности. Начало национального движения в Грузии. Заговор 1832 года).

³ Жуковский В.А. Введение в Историю государства Российского // ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 101. Л. 14–16.

притеснительно, дабы утвердить за собою области, не нужные для России; *сие новое распространение усилит подозрительность Европы, видящей в России страшилище*, грозящее ей рабством и варварством и предполагающей в ней замыслы честолюбия и всемирного владычества <...> *истинная сила ее заключается в образовании внутреннем* <...> пускай изберут поляки из самих себя короля и дадут какую хотят конституцию. Россия должна предать их на произвол собственной судьбы и пренебречь вступать в их дела (XIII, 315).

Автору восторженных антипольских стихотворений «Старая песня на новый лад» и «Русская слава» (1831) противостоял наставник цесаревича, мыслящий глубоко, точно, без патриотического угара¹. Поэтическое и аналитическое мышление соперничали друг с другом, влияли на эмоции Жуковского и определяли сложный, противоречивый, одновременно иллюзорный и ясный взгляд на военные и политические события.

В 1831 г. главной официальной московской достопримечательностью была устроенная для Николая I выставка произведений промышленности в Кремлевском дворце², которую Жуковский вместе с великим князем посетил 2 и 3 ноября. В сценарии власти выставка, организованная во время холеры и после подавления Польского восстания, была призвана продемонстрировать уже не военные, а мирные достижения государства. Официальные газеты писали о духе возрождения, созидания, наступления новой эпохи общественного благоденствия, подчеркивали русское национальное

¹ В черновике статьи «Письмо к графу Ш. О происшествиях 1848 года» Жуковский, рассуждая о разделе Польши, отчеркнул на полях следующее суждение: «<...> внук же Екатерины не обязан отвечать за *преступную ошибку* своей бабки – Великой царицы, и теперь благословляемой Русским народом» (РНБ. Оп. 2. № 39. Л. 37 об. – 38). В собраниях сочинений Жуковского, выходящих в XIX в., статья печаталась без этого отрывка, который был впервые опубликован в Полном собрании сочинений 1902 г.

² Выставка проходила в шести залах и комнатах Кремлевского дворца, в ней приняло участие 200 заводчиков, фабрикантов, ремесленников и художников. Устроителями были член Московского мануфактурного отделения, чиновник министерства финансов Л.М. Самойлов; академик технологии, статский советник О.Х. Гамель; чиновник министерства финансов князь П.А. Вяземский.

единство и взаимную любовь между монархом и народом. 31 октября «Московские ведомости» констатировали:

Ни одна страна в мире не может быть достойнее Москвы светлых лучей взора Твоего, Государь – солнце нашего благополучия <...>. Крепка грудь Москвы, горячо сердце, а любовь ее к Царям Русским не горит в огне, не умирает в болезни тяжкой <...>. Со слезами радости видим мы цветущее здравие, Русскую красоту Наследника Престола, и чувствуем, что благолепие души отражается в чертах Его, что плод корени доброго созреет летами мудрости <...> тайную душевную душу Монарха нашего обличают дела Его <...> Его родительская нежность, и какое, истинно – Русское воспитание лелеет душу Наследника Престола¹.

2 ноября «Северная Пчела», перепечатавшая отчеты из «Московских ведомостей», опубликовала оригинальную статью за криптонимом В.У. – «Письмо к Булгарину из Москвы. 15 октября 1831»:

<...> я замечаю, что слишком ребячески изъясляю мою радость о прибытии Царя. Но в этом случае, не я один похож на ребенка! Так радуется и вся Москва! <...> истекший год, от Октября 1830 до сего времени, был самый тягостный для России, по крайней мере, в течение целого столетия. <...> Деятельность остановилась. Промышленность упала. Москва, это сердце России, как будто начинала облекаться в траур. В течение целого года все было несколько грустно. Мы почти уподоблялись человеку, постепенно теряющему силы, здоровье и вместе с ними веселость! «Какая мрачная картина!», – скажешь ты мне, и попросишь избавить тебя от этих печальных описаний. – Это политика, любезный друг! <...> Теперь Москва как будто пробудилась от тягостного усыпления. Деятельность, промышленность, веселость – все ожило, как природа при появлении весеннего солнца².

¹ *Московские ведомости*. 1831. № 87 (31 октября). Прибавление. С. 1–2 (3703–3704).

² В.У. Письмо к Булгарину из Москвы. 15 октября 1831 год // *Северная пчела*, 1831. № 248 (2 ноября).

7 ноября «Московские ведомости» описали посещение выставки императорской семьей:

И что же, кроме радостного, можем мы сказать им, когда говорим о Царе нашем? <...> Кто взглянул бы на Кремлевскую выставку, тот не дивился бы после того, что Россия, как добрый богатырь, растет не по годам, а по часам, растет и родством, и умом. <...> Государь, Государыня, Цесаревич Наследник вошли в первую залу выставки промышленников. Пусть чужеземцы угадают: как явился Он, как встретили Самодержца Его простые подданные? Нет! чужеземец не угадает, а Русским нечего сказывать: они знают! Казалось, что явился добрый хозяин в семье своей. Сердца всех обратились к Нему со взорами, *искали новой для себя жизни в Его лице*, оживленной кротостью, веселостью, любовью. <...> Четыре больших залы, блиставшие, пестревшие разнообразнейшими цветами, наполненными богатствами народной деятельности, казались творением, ожидавшим жизни от благодатного взора. <...> Более двух часов Высокие Посетители провели на выставке. <...> Юный Цесаревич пленял Собою, Своим радушием, умом и приветом. <...> Диво ли, что Монарх наш непобедим, и что о грудь Русскую всегда разбивается в бессильной ярости всякое бедствие, всякое злоумышление неприязни? <...> Пусть из уст младенца услышит Государь изъявление наших чувств. Мы слышали, как одно малолетнее дитя спрашивало у матери своей: «Маменька! Скажите, от чего я слышу, что Государя называют отцом? Видно Он очень добр?» – Какая похвала может быть драгоценнее сей похвалы!¹

Тексты не ограничивались упоминанием о посещении членами императорской семьи общественных, культурных и иных московских мест. Выражение любви к монарху народом, представителями разных сословий и возрастов было лейтмотивом статей. При сравнении с описаниями осеннего визита 1837 г. рассказ о пребывании императорской семьи в Москве в 1831 г. отличался экспрессивностью, доходящей до экзальтации. Тексты были направлены на аккумуляцию и конструирование национальных верноподданнических чувств, на сакрализацию патерналистических отношений между мо-

¹ *Московские ведомости*. 1831. № 89 (7 ноября). С. 3743–3746.

нархом и народом. Публикации создавали «эмоциональное» поле, на котором формировались культура и идеология официальной народности 1833–1834 гг.

В отличие от газет 1831 г. Жуковский, будущий автор национального гимна «Боже, Царя Храни» (1833), не сообщил в дневнике ни одной подробности о выставке, не упомянул о встрече с другом и одним из ее организаторов П.А. Вяземским. Это событие, приуроченное к визиту императора и совпавшее с победой в Польше, маркировало конец войны и символизировало переход к внутреннему государственному созиданию. С точки зрения этой идеологической задачи выставка должна была внутренне удовлетворить Жуковского, отвечать его политическим ожиданиям и надеждам¹, именно поэтому молчание поэта о кремлевском мероприятии, только упоминание о нем в дневнике выглядят неожиданными.

Выдвинем гипотезу. 29 сентября 1830 г. Николай I внезапно приехал в холерную Москву, отдал приказания по пресечению ее распространения. 22 июня 1831 г. на Сенной площади в Петербурге вспыхнул холерный бунт, который был усмирен императором. Жуковский, опираясь на чужие рассказы, описал в письме к прусской принцессе Луизе поведение Николая I:

Но эти мрачные чувства проясняются иногда перед светом особого рода: <...> *одну сцену*, которая поистине редко встречается в истории и которая не будет изложена в газетах так, как следовало <...> он <Николай> обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился. Тогда вся *толпа*, по невольному движению, падает ниц с молитвенными возгласами. *Император* уезжает, и народ тихо расходится, наставленный и проникнутый сознанием своего поступка. *Минута* единственная! И с этой минуты все пришло в порядок².

¹ См. статьи «Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 года» (1834), «Бородинская годовщина» (1839), «О происшествиях 1848 года. Письмо к графу Ш.» (1848) – «А завоевательные замыслы России... Это давнишнее привидение <...> Не расширение внешнее, а сосредоточение внутреннее нужно *теперь* для ее могущества <...> *дальнейшие завоевания* не только ей не нужны, но и *вредны*: они были бы не *образовательные*, а *разрушительные* завоевания» (ПСС. Т. X. С. 106).

² *Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1878. Т. 5. С. 487–488.*

Поэт создает картину не на основе личного опыта или памяти. Жуковский не анализирует историю (переплетение фактов в причинно-следственной связи), а режиссирует классицистический спектакль с тремя единствами. Внутренний восторг поэта определил театральную оптику¹ и оценку представленной историко-религиозной драмы о монаршей любви и народном религиозном смирении. Интуитивно вообразив все действие, наставник цесаревича испытал эмоциональное потрясение от поступка императора. Жуковский оценил в действиях Николая I духовую силу и ответственность.

«Все частные добродетели Государя должны быть публичными. <...> Государь действует на сцене», – записал поэт в дневнике 1828 г. (XIII, 304). Публичное поведение императора и великого князя Александра Николаевича были важными критериями, по которым поэт судил об их качествах как личности и (будущего) правителя. Московские визиты 1831 и 1837 гг. являлись для Жуковского сценическим пространством, в котором он наблюдал и оценивал взаимодействие между монархом / цесаревичем и подданными. Возможно, молчание Жуковского в 1831 г. о московских впечатлениях, выставке, поведении Николая I и великого князя Александра Николаевича сигнализирует о том, что он не был ослеплен проявлениями верноподданнической любви, анализировал происходящее спокойно и без иллюзий. После достойных истории действий императора во время холеры Жуковский во время московского визита 1831 г. не увидел в поведении царя и цесаревича личностных, великодушных поступков. Не случайно в течение курса обучения 1828–1837 гг. Жуковский отмечал и радовался, когда царский ученик преодолевал свои недостатки, совершал ответственный поступок, проявлял в себе качества, присущие достойному монарху («будь на тро-

¹ Интересно отметить, что не вошло в рассказ поэта о холере в Петербурге. Императорская семья переехала из столицы в Царское Село после того, как первые вспышки болезни обнаружили 14 июня. Во время бунта была разгромлена холерная больница, убиты два лекаря, толпа оказывала сопротивление полиции, искала отравителей и т.д. После усмирительной речи Николая I 22 июня отдельные беспорядки в городе продолжались (см., например: *Мартынова Л.* «Польские отравители» в 1830–1831 годах // *Тартуские тетради* / сост. Р.Г. Лейбов. Тарту, 2005. С. 306–314).

не – человек»); наоборот, он огорчился, когда великий князь действовал без духовного усилия, был ленив, не приумножал в себе человеческое¹.

* * *

После возвращения из Москвы в Петербург 15 ноября 1831 г., когда возобновились учебные занятия цесаревича, Жуковский предложил ему написать сочинение на тему «Историческое обозрение нашего путешествия в Москву и самой Москвы». В тексте великий князь упоминает запомнившиеся ему места (Изборск, Вотская пятина, Новгород, Воронеж, Валдай, Вышний Волочок, Торжок, Тверь и Клин) и приводит отдельные факты. Цесаревич выполнил задание наполовину, так как Москва не была изображена:

Первое что нам до Москвы представляется на пути от С. Петербурга есть страна Изборская <...> Александра Ярославича Невского, который тут проходил с дружинами Новгородскими чтобы отразить Шведов. <...> Водская Пятина. Петр I желал провести в прямой линии дорогу в Москву, но сие желание не было исполнено.

После сего до самого Новгорода нет ничего примечательного; но сей город самый примечательнейший из всех тех, которые встречаются на тракте от С. Петербурга до Москвы. Новгород, Колыбель Российского Государства. Мы видим там Рюрика с Варяжскими <нрзб.>. Рюрик туда приходит с Варяжскою дружиною и там основывает свое могущество. Олег оставляет Новгород и тем можно сказать кладет основание будущей его свободы. Ярослав ее утверждает Льготными Грамотами и память его вечно хранится в Новгороде и даже часто называется его именем. В последствие мы видим Новгород разделенным на две стороны, одна из них называлась Софийскою именем соборной церкви, а другая торговлю <...> *Софийская церковь* была всегда примечательна в нашей Истории. Там ви-

¹ 24 февраля 1828 г. поэт записал в дневнике: «Нынешний день случилось с Великим князем первое настоящее несчастье, то есть несчастье заслуженное. Он навлек на себя наказание государя не просто дурным поступком, а дурным качеством, которое <...> может обратиться в порок, губительный для него самого, несчастный для его отечества и постыдный для истории, которая узнает его и запишет его для потомства (XIII, 299).

дим мы Александра Невского получившего благословение архиепископа пред своим походом на Шведов. <...>

Первая станция за Новгородом Воронеж примечательное местечко. Это тут <нрзб.> Великие Князя с дружинами для раздела <...>. На пространстве от Врониц до Торопка находятся два замечательных места; это суть Валдай и Вышний Волочок <...>. На острове находящегося на озере подле Валдая, находится Монастырь Иверский построенный Никоном по образцу Святой обители на Афонской горе. <...> Торжок <...>. Сей город был весьма часто жертвою споров Новгородцев с Великим Князем и часто за них страдал. От *Торжка* до *Москвы* одно только примечательно место *Тверь*. Сей город был [одно время столицей Великих Князей и в тамошней Соборной церкви покоится Св. Мученик Михаил, который пострадал во время хана Узбека] был основан в 1182 г. Великим Князем Всеволодом Георгиевичем <...> Теперь Тверь губернский город и находится в цветущем состоянии с времен Герцога Георга Ольденбургского. От Твери до Москвы одно только примечательное место: Клин. Он был отчиной моих родоначальников. До Москвы больше ничего примечательного¹.

Незавершенность текста может свидетельствовать о недостаточном прилежании великого князя при выполнении задания². Вместе с тем отсутствие картины Москвы и упоминание, описание других мест в сочинении цесаревича особым образом коррелируют с характером дневниковых записей Жуковского. Тексты разного жанра двух авторов объединяются общим характером наблюдений и способом их фиксации: *вне* и *внутри* Москвы.

¹ *Ученические тетради великого князя Александра Николаевича по русской истории. 1830–1831 гг. // ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 205. Л. 157–167.*

² Например, 17 сентября 1831 г. воспитатель цесаревича К.К. Мердер отметил в дневнике: «Великий князь показал большую самонадеянность, делая краткий рассказ российской истории; он утверждал, что составил себе план, по которому он говорит; когда же у него спросили, в чем его план состоит, то он того не знал. В великом князе совершенный недостаток энергии и постоянства; малейшая трудность или препятствие останавливает его и обессиливает» (*Мердер К.К. Записки воспитателя. 1826–1832. // Александр Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995. С. 69.*)

Поэт был любознательным и внимательным путешественником. В 1831 г., как и в 1837 г., он заносит в дневник разные исторические, этнографические, бытовые, социальные, экономические сведения о местах, расположенных на пути в Москву:

26 октября 1831 г.: *Бронницы*. Холм при дороге. Капище. *Валдаи*. Озеро и монастырь. – Предание. – Иверский мужской монастырь, основанный в 1653 Никоном. Валдаи были прежде к нему приписаны, населены пленными поляками. Озеро названо Святым. Валдаи оставались за монастырем по 1764. В 1772 переименованы городом. – Валдайские баранки. – Делание осей и колес (XIII, 316).

23 июля 1837 г.: Переезд в Москву. <...> Пафнутиев монастырь. Нашел братию за трапезою. Церковь древняя и замечательная, но от глупых монахов не мог добиться толку. Духовное училище на 130 учеников. <...> В последнем развалины колокольни, памятник 1812 года. <...> Тут сердит не столько дурная дорога, а глупость того, кто ее создал. Приезд в Москву. <...> (XIV, 68).

Покинув город в августе 1837 г., поэт немедленно возобновляет собирание и записывание сведений. Например:

9 августа 1837 г.: Переезд из Москвы во Владимир. Выезд. Подстава в Леоновке за 18 верст. Проехали Горенки, ныне принадлежащие Волкову. Встреча с пешеходами работниками. Красавцы. Купавня. В село фабричных. Разница во встречи. Оскорбительное чувство. Суконные и шелковые фабрики купцов Бабкиных, Богородск в 18 верстах от Купавни. Кузнецы, 11 верст. Дождик. Недостаток в лошадях. Платово. Дождь (XIV, 69).

Немосковские записи являются сжатым конспектом рассказа о путешествии, это – отстраненный взгляд поэта на *чужую* жизнь, на менее изученную и известную окружающую действительность. Находясь в древней столице вместе с цесаревичем, Жуковский не изучает город в том смысле, что он прекращает эксплицировать наблюдения и приводить новые примечательные факты в дневнике. Ср.:

5 ноября 1831 г.: У императрицы. Оружейная палата. У Вяземского чтение (XIII, 318).

8 августа 1837 г.: Осмотр соборов и дворца. Крестил у Погодина. У князя С.М. Голицына. У князя Д.В. Голицына. В почтамте. Обед у императрицы. В концерте. Прелесь Четвертинская. Вечер у императрицы (XIV, 69).

Московские записи выполняют функцию хроники, фиксации *своей* повседневной жизни. В «телеграфных» фразах упоминаемые памятные места являются нераспакованным контейнером, той зашифрованной эмоционально-исторической памятью, которая содержит реальные впечатления Жуковского и его широкие знания о Москве.

* * *

В 1837 г. Оружейная палата вызвала различные впечатления у Жуковского, у цесаревича и у императора. 25 июля поэт записал в дневнике: «<...> Обозрение Оружейной палаты. У меня Арсеньев. Обед у великого князя. Разговорчивость. После обеда в театре» (XIV, 68). По сравнению с записями о других московских обедах¹ наставник цесаревича здесь прибавил одну деталь – «Разговорчивость», которая передает общую оживленную атмосферу. Участники обеда, по-видимому, находились в расслабленном, хорошем настроении, говорили много и свободно о чем-то интересном или даже важном, Жуковский остался довольным. Мы не располагаем источниками, на основании которых можно реконструировать содержание разговора. Вероятно, темой беседы мог стать и обмен впечатлениями о состоявшемся перед обедом совместном посещении Оружейной палаты. В письме к Николаю I от 28 июля великий князь писал:

В воскресенье 25-го числа <...> я был у развода у Тарутинского егерского полка. <...> потом еще в Оружейной палате. Там вновь внизу поставлены старые экипажи из Колымажного двора, а на вер-

¹ Ср.: 24 июля «Обед у князя Голицына. После обеда у Муравьевой», 31 июля «Должен был обедать у Орлова, но обедал у великого князя. После обеда на Девичьем поле у Погодина», 4 августа «Обед у императрицы. У Загоскина», 6 августа «Обедал у Боды с Фикельмоном. Вигель», 7 августа «Обедал в Английском клубе. Вечер на Трех Горах», 8 августа «Обед у императрицы. В концерте» (XIV, 68–69).

ху нового мало, есть некоторые новые фигуры верхом даже, не совсем удачные; остальное в том же виде, как было, и, к сожалению, в таком же беспорядке; они, говорят, теперь делают опись. В 4 часа у меня был обед с гостями <...>¹.

30 июля из Царского Села император ответил цесаревичу:

В Оружейной палате много вздору и много, даже корона Мономахова, не под настоящим значением. Трудно, однако, <гнать> предрассудки, которые сохранились в общем убеждении и походят на святыни, потрясать, и то в такой век, где и незыблемое потрясается. Наводить сомнение вообще опасно².

Сквозь предмет общего интереса (Оружейная палата) просвечивают следы индивидуальной позиции в отношении народа и исторической памяти. Николай I, здраво понимавший значение символов и ритуалов, ценит в музейных экспонатах прежде всего не содержание, а идеологическую функцию – обеспечение стабильности, поддержание представлений, объединение власти и народа. Прагматизм, идеологическая целесообразность, по мнению монарха, определяют правила публичного поведения. В отчете о московском визите газеты, естественно, сообщили о «нескольких мыслях» великого князя «о лучшем устройстве важного хранилища»³.

Распоряжения цесаревича по благоустройству Оружейной палаты⁴ как надо полагать, улучшили предобеденное настроение Жуковского, хотя точную причину его благодушия установить по имеющимся источникам невозможно. Поэт мог увидеть в знаковом жесте наследника престола личностный поступок, т.е. совершенный из

¹ *Венчание с Россией*: Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / публ. А.Г. Захаровой и А.И. Тютюнник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 101.

² *Венчание с Россией*: Переписка великого князя Александра Николаевича... С. 152.

³ *Внутренние известия*. Москва // Московские ведомости. 1837. № 61 (31 июля). С. 437.

⁴ Спустя семь лет после визита цесаревича, в 1844 г., К.А. Тон приступил к строительству нового здания Оружейной палаты, которое было закончено в 1851 г.

осознания внутреннего долга, ответственности перед историей, великодушия¹.

Два дня спустя после посещения Оружейной палаты 27 июля 1837 г. Жуковский и великий князь Александр Николаевич встретились в 9 часов утра в Донском монастыре. 28 июля в 4 часа ночи А.М. Тургенев приехал к Жуковскому в Кремлевский дворец, откуда они вместе уехали в Коломенское, затем в Симонов и Новоспаский монастыри. Цесаревич собирался посетить монастыри после утреннего смотра Кадетского корпуса и батальонного учения с застрельщиками². Днем цесаревич и его наставник, однако, не встретились, один не дождался, другой не успел: «<...> в половине двух мы поднялись и поехали в Симонов монастырь, в котором был еще слышен звон во все колокола в честь отъезжавшего из обители Государя Наследника», – констатировал А.М. Тургенев³. В московских отчетах Николаю I цесаревич (как и официальные газеты) ни разу не упомянул имени своего наставника В.А. Жуковского.

* * *

«Идеологическая» геометрия маршрута двух путешественников, наставника и ученика, была различной. Поэт как гражданское лицо мог не присутствовать и не присутствовал ни на одном смотре, в которых принимал участие его царственный ученик во время путешествия по России. Если памятные места русской истории и духовной жизни служили точкой взаимного притяжения цесаревича и его

¹ Жуковский фиксировал отрицательные и положительные качества своего ученика как черты возможного правления в будущем. 8 июля 1828 г. он писал императрице: «<...> вижу, что имеет ум здравый; что в этом уме все врезывается и сохраняется в ясном порядке; вижу, что он имеет много живости; вижу, что он способен к благородному честолюбию, которое может довести его далеко, естли соединится с ним твердая воля; вижу, наконец, что он способен владеть собою, посему и имею право надеяться, что он, как скоро поймет всю важность слова *должность*, будет уметь владеть собою» (*Жуковский В.А.* Письмо к имп. Александре Федоровне. 8 июля 1828 г. // Александр Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995. С. 53).

² *Венчание с Россией: Переписка великого князя Александра Николаевича ...* С. 102.

³ Цит. по: *Грот К.Я.* В.А. Жуковский в Москве в 1837 г. (Новые материалы) // Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Вып. 1, отд. 2. СПб., 1907. С. 17.

наставника, то военные упражнения их разъединяли. Жуковский не видел смысла в военном ритуале, механическом повторении безличных действий, так как это лишало великого князя возможности совершить личностный, рожденный из души поступок¹. Здесь необходимо постоянно учитывать различие между военными рутинными смотрами и грандиозными парадами, последними из которых поэт восхищался (см. описание открытия Александровской колонны или Бородинской годовщины). Для Жуковского военный парад превращался в осмысленное торжественное явление в то мгновение, когда он являлся органической частью выражения национальной истории и единства, становился одним из средств переживания связи «между небом и землей».

Только увидев событие метафизически, Жуковский придавал ему ценность. Не случайно он назвал путешествие 1837 г. «всенародным обручением наследника с Россией». Придуманная поэтом сакральная метафора определила абсолютную значимость многомесячной поездки, хотя в начале путешествия в письме от 6 мая 1837 г. наставник цесаревича выразил императрице Александре Федоровне свои сомнения:

Я не жду от нашего путешествия большой жатвы практических сведений о состоянии России <...> Мы соберем, конечно, много фактов отдельных, и это будет иметь свою пользу; но главная польза – вся нравственная <...>. Я вижу беспрестанно пред собою пленительную картину. Народ бежит за ним толпами, и не одна новость влечет его и движет им. Чувство высокое, ему самому неясное, но верное, естественно оживотворяет его: он видит пред собой представителя своего счастья. И чем далее подвигаемся, тем сильнее движение: оно идет *crescendo*².

¹ 27 октября 1839 г. Жуковский записал в дневнике: «Нельзя без негодования думать о ветренности, с коюю жертвуют жизнью великого князя; и чему же? Царской игрушке, которая неприлична царю, России вредна и убивает все способности государственные. Великого князя с самого его возвращения с утра до вечера заставляют командовать; здесь играем в войну и любимся парадом, а внутри государства режут и жгут, и некого послать, чтобы унять разбойников. “Вам бы только драться”, – говорил Константин Павлович». (XIV, 189).

² Цит. по: *Татищев С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 64.

На смену Жуковскому – наставнику цесаревича, рассуждающему в начале письма прагматично, рационально и сухо, затем приходит Жуковский-поэт, восторг и воображение которого придают событию эмоциональную насыщенность и смысловое напряжение, превращают описание в музыкальный отрывок в прозе. Создание образной идеальной картины – это ключ к Жуковскому как историку великих минут¹ и памятных мест.

Событие приобретает, с точки зрения поэта, историческое значение, если сквозь его призму становится видным, раскрывается за действительностью скрытый божественный смысл мироустройства. Жуковский описывает пространственно-временную модель этого события с метафизической («между землею и небом») точки зрения. Это – присяга великого князя Николая Павловича великому князю Константину Павловичу в дворцовой церкви Зимнего дворца, открытие увенчанной фигурой ангела Александровской колонны, Бородинская годовщина 1839 г. с освящением церкви, праздник в 1848 г. по случаю продолжения строительства Кельнского собора. В этот ряд исторических событий входит и летнее посещение Москвы 1837 г. со встречей между великим князем Александром Николаевичем и народом в Кремле.

По моему предположению, во время посещения Москвы летом и осенью 1837 г. Жуковский по-разному воспринимает древнюю столицу. В отличие от летнего осенний визит, когда Москву посетила вся императорская семья, не отразился в дневнике поэта². Жуковский утрачивает переживание Кремля как метафизического пространства («Здесь Божий мир»), о чем он писал с восторгом в послании «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича» (1818). Путешествие по России закончилось возвращением из Москвы в Петербург 12 декабря 1837 г. и ознаменовалось пожаром Зимнего дворца. 17 декабря Жуковский в статье «Пожар Зимнего дворца» писал:

¹ См.: *Гузаиров Т.* Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Гарту, 2007. С. 24–42.

² Дневник Жуковского за 1837 г. состоит из записей, сделанных во время путешествия с цесаревичем по России. Первая запись была сделана 2 мая в Санкт-Петербурге, последняя – в Туле 27 октября (XIV, 47–82).

Кремль говорит о живых, младенческих и юношеских годах русского царства: смотря на стены и башни его, на Грановитую палату, на святые соборы, и слушая чудный голос колоколов, во все времена одинаково нами слышанный и отцами и дедами, *разгорячься воображением и чувствуешь* себя так же расстроенным, как при мысли о собственных поэтических годах молодости. Здесь вся поэзия истории нашей (ПСС. Т. X. С. 64).

Несмотря на характерный высокий стиль, поэт не описал Кремль как точку связи «между землей и небом». В статье «воображение» и «поэзия» автора не достигли прозрения, божьей правды (ср. со статьей об открытии Александровской колонны). Однако наставник цесаревича видит в Кремле одно из значимых памятных мест, формирующих коллективную историческую память и национальную идентичность.

В отличие от осеннего посещения летний визит 1837 г. имел особое идеологическое значение. Цесаревич предстал в Москве самостоятельно – Николай I находился в это время в Царском Селе, затем в Ковно¹. Поэт писал императрице Александре Федоровне 24 июля 1837 г. о своих впечатлениях от речи митрополита Филарета, молебна в Успенском соборе, посещения цесаревичем Кремлевских соборов, его поклона народу на Красном крыльце²:

Никогда с тех пор, как стоит этот русский храм, не видали перед дверями его подобного события. <...> Гремящее «ура»³ слилось с звуком колоколов <...> я, в сильном движении души, почувствовав

¹ См. *Венчание с Россией*: Переписка великого князя Александра Николаевича ... С. 96–109, 152–153.

² Поклон будущего царя народу с Красного крыльца являлся отсылкой к коронации Николая I 22 августа 1826 г.; этот новый ритуал, по словам Р. Вортмана, начали понимать как выражение русской национальной души, демонстрирующее связь между царем и народом, существовавшую со времен Московии» (*Вортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004. Т. I. С. 369).

³ Ср. с описанием Жуковским парада при открытии Александровской колонны: «<...> громозвучное, продолжительное ура, соединенное с залпами пяти сот пушек, от которых весь воздух превратился в торжественную бурю славы <...> для изображения такой минуты нет слов, и само воспоминание о ней уничтожает дарование описателя...» (ПСС. Т. X. С. 30).

величие этой минуты, пожалел, что ни государь, ни вы не могли ею насладиться. Такие минуты редки в жизни человеческой; здесь было не просто одно великолепное зрелище, но, можно сказать, представилось в одном видимом образе все, что есть великого, нравственного в судьбе людей и царстве. Потому-то и спешу в немногих строках передать вашему величеству эту картину. Москва очаровательна. В ней чувствуешь Россию. Она теперь шумит радостью. А для меня эта радость ее имеет какой-то особенный звук, ибо я самый старый товарищ в жизни наследника. <...> Чувствую, что время мое при нем миновалось, но смею надеяться, что тогдашнее мое пророчество, сохранившееся в памяти добрых русских, исполнится...¹

Будучи наставником наследника престола, этого «московского жителя», в конце многолетней деятельности поэт испытывал душевную необходимость подвести ее итог, почувствовать ее значимость, увидеть восприятие его ученика народом (а значит, узнать и оценку его деятельности). Эмоциональное состояние Жуковского непременно обусловило тот фокус иллюзии, под которым он описал посещение цесаревичем Кремля и выход к народу как уникальные, наполненные историческим и универсальным смыслом, события. 9 августа 1837 г. Жуковский и цесаревич покинули Москву и прибыли во Владимир. В дневнике поэт отметил: «Разница во встрече. Оскорбительное чувство» (XIV, 69).

* * *

При анализе восприятия Жуковским московских визитов и путешествия по России мы наблюдаем разрыв между картиной (тем, что представляется поэту) и личным опытом (тем, что есть на самом деле). С одной стороны, дневниковые записи рассказывают о московских визитах 1831 и 1837 гг. и путешествии по России так, как поэт их видит во всей полноте – со всеми противоречиями, нюансами, позитивными и негативными сторонами. С другой стороны, в письме к императрице Жуковский рисует картину «Венчания с Рос-

¹ Цит. по: *Татищев С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. С. 72–73.

сией», рассказывает факты, как они преобразилась в поэтическом воображении. Он описывает московские события эмоционально и образно, чувствует себя счастливым. Многомесячное переживание сопричастности к творимой на глазах, по убеждению поэта, *Истории* обусловило то, что негативный опыт Жуковского во время путешествия 1837 г. не мог разрушить идеализированный образ всего события. Поэт оценивает и описывает встречу великого князя Александра Николаевича с народом в московском Кремле (и в других городах) как сюжет, который в его представлении уже входит в будущую историю царствования Александра II. В отличие от московского визита 1831 г. и осеннего 1837 г. Жуковский воспринимает московский летний визит и путешествие 1837 г. с точки зрения перспективной исторической памяти. Внутри Жуковского постоянно соперничают два взгляда на события: критический, аналитический, ясный, рациональный и поэтический, воображаемый, иллюзорный, эмоциональный. Это столкновение являлось источником внутренних конфликтов Жуковского, но их взаимодействие было продуктивным – рационализация поэтического воображения привела к созданию политической военно-религиозной утопии, «Иерусалимского проекта» (1848–1849)¹.

¹ См. подробнее: Гузаиров Т. Иерусалимский проект Жуковского // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 312–323.

I

«Исторические» маргиналии В.А. Жуковского в кн.: «Путеводитель в Москве. Изданный Сергеем Глинкою, сообразно французскому подлиннику Г. Лекоента де Лаво, с некоторыми пересочиненными и дополненными статьями. Москва. В типографии Августа Семена при императорской медико-хирургической академии. 1824.

1147: «В тех местах, где она основана, были волости тысяцкого Кучки, который казнен за высокомерный прием Великого Князя. Полюбя местоположение Кучковых селений, Юрий приказал огородить то урочище, где теперь Кремль...» (С. 2).

«В первые времена сей городок служил крепостью или сборным местом, где Князья и Воеводы совокупляли войска свои...» (С. 3).

1238: «Когда ж лютый Батый, наследовавший ярость Чингисхана, опустошил Россию, она (Москва. – *Т.Г.*) была разорена и сожжена» (С. 5).

1240: «Около только половины тринадцатого столетия, история именует Князя Московского. Сей Князь был *Михаил*, названный храбрым и убитый на войне против Литовцев. Он был брат *Александра Невского* <...>» (С. 5).

1293: «<...> свирепого *Дядена*. Возникшая Москва узрела нового Батюя; она была опустошена <...>» (С. 6).

1302: «*Иван, Князь Переяславский*, при смерти отказал дяде своему *Даниилу* и столицу свою и все прочие области. <...> *Даниил* отразил *Константина Романовича Рязанского* и Татар, им приведенных. *Даниил* умер. Он увенчался славою первого основателя будущей славы Москвы. Он первый из Князей Московских погребен в стенах сей столицы. Прах его покоится в *Даниловской обители*» (С. 6).

«<...> Михаил Тверской и Юрий Данилович вместе домогались Московского престола. Хан Узбек произнес смертный приговор; безчеловечный Юрий был исполнителем одного. Михаил умер с терпением Христианина и включен в число мучеников. Тело его привезено было в Москву и погребено в Спасской обители, там, где теперь находится старинная церковь Спас Преображения, что на Бору» (С. 6–7).

1325: «Иван Данилович, прозванный Калитою по сумке, которую всегда носил, все деяния свои ознаменовал мудростью и умеренностью. Уважая его благоуправление, Митрополит Петр перенес престол из Владимира в Москву <...>. Подражая Митрополиту, множество бояр и подданных их переселились в Москву» (С. 7).

«Иоанн, по всей справедливости, есть первый основатель независимости России. Новую столицу свою обвел он дубовыми стенами, соорудил многие церкви и перестроил Кремль. Он умер: и народ единодушно оплакивал благодетеля своего» (С. 7–8).

1359: «В России нужен был Князь, способный воспользоваться восставшими распрями в Орде и тем самым утвердить еще колебавшееся здание самодержавия» (С. 8). <...>

«Россия начала процветать, а Москва поражаема была различными злоключениями. Сперва опустошала ее смертоносная язва, а потом воспылал пожар, истребивший многие городские части: то есть: Кремль, Посад, Загородье и Заречье. По сему случаю, Димитрий деревянные стены заменил каменными, способными удерживать набеги Монголов...» (С. 9).

«<...> Олгред, непримиримый враг рыцарей Лифляндских, Поляков и Русских. Разбив отряды, наскоро набранные, он подступил к Москве. Димитрий заперся в Кремле и предал огню все другие строения, отнимая у врагов приют» (С. 9).

«...Тахтымашь, напав на бежавшего Мамай, разбил его и воцарился в Орде. <...> Стены Кремлевские удержали б варваров; но хитрость и коварство открыли вход. Москва, орошенная кровью, превратилась в груды развалин» (С. 11).

После 1389: «Все ожидали рокового жребия России, и вдруг Тамерлан повернул в области свои. Изъявляя благодарение Богу за сие неожиданное избавление отечества, Василий основал Сретенский монастырь там, где народ встретил образ Божией Матери, принесенный нам из Владимира» (С. 12–13).

«Едигей, товарищ Тамерлана на поприще битв, угрожал России оружием...» (С. 13).

1461: «Они осадили Москву под начальством Царевича *Мазовши*; осажденные хотя и сделали удачную вылазку, но ожидали приступа. Страх их рассеялся: враги на другой день сами отступили» (С. 15).

1462: «Столица озарилась блеском его побед: Иоанн украсил ее многими церквами и перестроил Кремлевские стены, клонившиеся к падению. В его правление вылиты в Москве первые пушки и вычеканены первые деньги» (С. 16).

II

«Исторические» маргиналии В.А. Жуковского в первой части сочинений Стремилова «МОСКВА, или Исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского, заключающий в себе: 1-е, историю сего престольного города от начала одного до наших времен... Ч. 1–4. М., 1827–1831.

* * *

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

С. 161: «Дружины Смоленские прибыв в Москву, остановились в Новодевичьем монастыре и соединились с дружиною Московской, выступили чрез Даниловский монастырь в село Коломенское. Разбитие и рассеяние мятежных увенчало рвение верных; но Царь Василий не воспользовался первыми успехами оружия: взяв Тулу, повесив Самозванца *Петрушку* и разослав в заточение соумышленников его *Шаховского*, *Болотникова* и *Нагиба*, он распустил войско и не обратил внимания на другого Самозванца, свирепствовавшего

в *Стародубе*. Покушения его казались *Василью* ничтожными, и беспечность сия была главною виною тех ужасных бедствий, кои терпела вся Россия, в особенности Москва.

Литовцы и Поляки подкрепили Стародубского мятежника, присоединились к нему, и под именем его управляли движением рати. Гетман Ружинский и полковник Лисовский учинились действующими лицами в сей брани; они-то довели Самозванца до Тушина и, располагась там станом, поражали Россию в самое ея сердце».

С. 161–162: «1607 Сентября 23 Самозванец и воеводы Литовские осадили обитель Троицкую; – но в стенах сей Лавры обитала вера и верность: приступ, сделанный врагами к стенам ея (30 Сентября), остался безуспешен, и ненависть их, воспламененная неудачею, обратилась на другие города России. Здесь впервые открываются воинские подвиги Князя Димитрия Михайловича Пожарского против мятежников и увенчиваются славою героя».

С. 162: «Гетман *Ружинский* подступил к оной и захотел взять престольный город».

С. 162–163: «<...> 1610 года Июня 17 Царь Василий Иоаннович Шуйский лишен был Царского сана».

С. 163: «...как Гетман *Желковский* двинулся из Можайска к Москве и, став на лугах *Хорошевских*, занял монастырь Новодевичий, требуя, чтоб Бояре Московские отправили послов к Королю Сигизмунду, стоявшему под Смоленском, с приглашением сына Сигизмундова *Владислава* на Царство».

С. 164: «Владислав вступил на престол Московский, принял нашу веру и не посягал на соединение России с Польшею. Старец Гермоген благословил посольство <...>».

С. 164: «Между тем соумышленники Поляков впустили Литовцев в Москву; *Желковский* занял дом Годунова, взял крепостные ключи, расположил часть полков своих по дворам Боярским <...>».

С. 164: «<...> перевел бывшего Царя Шуйского из *Чудова* монастыря в Иосифскую обитель <...> уморя пленника, похоронили

его за Пражским предместием и поставили на могиле его столб с надписью: *Здесь лежит Царь Московский*».

С. 165: «Не страшась суда Божия, 17 Марта 1611 г., в день Вербного Воскресенья, освободили они из темницы Патриарха и требовали, чтобы он совершил обыкновенный обряд <...> Марта 19 раздосадованные неудачею предполагаемого убийства Поляки решились напасть на Россиян».

С. 165: «<...> убийцы устремились к Тверским воротам, где встретили сильный отпор от Стрельцов <...>».

С. 165: «<...> Князь Пожарский, совокупясь с пушкарями, встретил врагов <...> враги поспешили на *Кулишки*».

С. 166: «Враги, отмщая храбрым сопротивникам не оружием, но огнем, зажгли Белый город».

С. 167: «Пламя быстро разлилось от Чертольских или Пречистинских ворот...<...> Пожарский сражался неумоимо <...> Последние остатки Московских дружин заперлись в ограде *Симоновской обители* <...>».

С. 168: «<...> три главных начальника: Князь Димитрий Тимофеевич *Трубецкой*, Прокофий *Ляпунов* и Иван *Заруцкий*».

С. 168: «<...> начали действовать решительно: в намерении очистить Белый город, взяли они приступом укрепление на Козьем болоте, потом башню Никитскую, а наконец башню Алексеевскую и ворота Троицкие»¹.

С. 170: «<...> враги принуждали заключенного Патриарха *Гермогена* остановить Пожарского и запретить ему обнажать его меч; но достойный пастырь решительно отказался исполнить их волю, и Поляки уморили его голодом. Страдалец скончался 17 февраля 1612 года».

¹ На полях – карандашное вертикальное отеркивание.

С. 170: «<...> занять *Пречистенские* ворота <...> двинулся за ним и расположился у ворот Арбатских <...>. 22-го, 23-го и 24-го Августа происходили сильные битвы <...> враги остановились на *Поклонной горе*, 22-го Августа Хоткевич переправился через Москву реку у *Девичьего монастыря* и устремился к *Пречистенским* воротам».

С. 171: «Трубецкой, стоявший за рекою у *Крымского* двора (ныне Крымский брод), просил у Пожарского несколько *сотен* <...>. Поляки опять отступили к *Поклонной горе*, а на другой день, то есть 23-го Августа, перешли к *Донской обители*. <...> Князь Трубецкой стал в *Лужниках*; Пожарский расположился на берегу у *Ильи Обыденного*».

С. 172–173: «Бой продолжался с утра до шестого часу вечера. Хоткевич наступал всеми силами <...>. Хоткевич стал у храма *Екатерины Мученицы* и занял укрепление у церкви *Климент Папы Римского*. <...> Забыв старость свою, презирая опасность, помня только *Бога* и отечество, *Палицын* стремится к Козакам, стоявшим у укрепления пред храмом *Климент Святого*. <...>. Загремело в полках Козацких имя *Сергия*! Укрепление Климентское было взято грудью и единодушною ревностию».

С. 174: «<...> *Минин* переправился через реку, пошел к *Крымскому двору*; быстро и отважно устремился на конные пешие неприятельские отряды <...>. Неприятели, отступя к *Донской обители*, во всю ночь не смели спешиться <...>».

С. 175: «Наконец для совешания условились съезжаться на *Неглиной*».

С. 175: «<...> голод в Кремле <...>».

С. 175–176: «Козаки, озлобясь на Пожарского за то, что не дозволил грабить злополучные семейства, хотели его убить. 22 Октября загладили они преступление свое, взяв приступом *Китай* (К. Трубецкой подступал к *Ильинским* и *Никольским* воротам), а Пожарский от *Каменного моста*)».

С. 176: «Так избавилась Россия от тягостного ига врагов <...>. Память важного сего события ознаменована учреждением торжественного Крестного хода 22-го Октября из Успенского Собора к храму Казанской Пресвятой Богородицы».

С. 177: «Февраля 21-го Земская Дума и весь народ Московский, собравшись в храме Успения, с усердием молились о благословении народного желания избрать Царя, и после краткого совещания единогласно провозгласили на Царство Михаила Феодоровича».

С. 177: «Июля 1-го Москва видела Царское венчание <...>»

* * *

ФЕОДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, ЦАРСТВОВАНИЕ

С. 194: «<...> учреждение Семейственного Судилища».

С. 195: «Московская Красная площадь часто бывала свидетельницею таковых семейственных судов, и последствия оных были всегда полезны <...>».

С. 195: «Царь Феодор Алексеевич сочетался браком с Агафьею Семеновною Грушецкою».

С. 195: «Патриарх Иоаким, провожая из Москвы ополчение, вручил Черкасскому при собрании народа на Красной площади крест, подобный тому, который явился в небесах Царю Константину, а Долгорукову образ Сергия Радонежского, во имя коего, при сем случае, освятили и походную Государеву церковь».

С. 195: «Царь Феодор сочетался вторым браком с Марфою Матвеевною Апраксиною, украшавшеюся всеми качествами души добродетельной».

* * *

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ, ПЕТР I

С. 196: «<...> Патриарх Иоаким, вельможи и Земская Дума, по сему случаю собравшаяся в Москву, избрала царем юного Петра <...>».

С. 196: «Иван Милославский, один из главнейших сообщников Софьи <...>».

С. 196: «Добрый Матвеев назначается быть первою жертвою властолюбивых замыслов Софьи <...>».

С. 197: «Пятнадцатое Мая, тот самый день, в который убит в Угличе Царевич Димитрий, назначено было мятежниками для открытия бунта и поражения верных».

С. 197 – цитата из «Русской истории» Глинки: «В полночь 12 Мая <...> с выборными Стрельцами <...>».

С. 198: «По утру 15 Мая злоумышленники <...> Девять Стрелецких полков возмутились; один только Сухаревский полк удержан <...>. Стрельцы ворвались в Кремль. <...>. Царица Наталья в сопровождении Царевичей вышла на Красное крыльцо <...>».

С. 199: «“Мы помним, вскричали мятежники, мы помним, что ты был отец Стрельцов. Вступишь и теперь за нас, изходатайствуй нам прощение у Царя!” Матвеев поспешил с сею вестью во дворец».

С. 200: «Стрельцы воспламенились прежним неистовством; схватили неустрашимого Долгорукова, повергли его с крыльца на копьа и изрубили бердышами. <...> Злодеи разорвали на нем (Черкасове. – Т.Г.) одежду, отняли из рук его Матвеева и повергли с крыльца на острие копий. <...> Под трапезою отыскан был Афанасий Кирилович Нарышкин, брат Царицы Натальи».

С. 201: «Царица Наталья находилась с Царевичами в Грановитой Палате. Злодеи в ее присутствии уводили из палат новые жертвы <...>».

С. 202: «Такая стража находилась у двора Патриаршего. <...> Майя 16 на рассвете шумные толпы Стрельцов <...> Иван *Нарышкин* растерзан убийцами; отец его неволею пострижен и сослан в *Кирилов* монастырь <...> разграбили *холопий приказ* <...>».

С. 203: «17 Майя буйство Стрельцов <...> слуга Матвеева, *Араб*, называемый *Иваном* <...> предал драгоценные остатки земле в приходе Николая Чудотворца в *Столпах* и сказал: «и меня здесь погребите». <...> Сам Иоаким принужден был признать и венчать на Царство обоих Царевичей Иоанна и Петра. <...> Софья <...> поддерживать партию *Авакумовых раскольников*».

С. 204: «Цари 2-го Сентября уехали в село *Воробьево*, а оттуда в *Савин* монастырь, и наконец в село *Воздвиженское* <...>» (1683 г.).

С. 205: «...главного начальника Стрельцов Хованского захватить <...> казнен в селе *Воздвиженском* <...>. Цари 6 Ноября возвратились – народ встретил их воплем радости и Стрельцы с поникшими головами <...>».

С. 205: «Москва успокоилась; Верховный Совет начал уже предпринимать меры к предупреждению подобного зла: Бояр. Дворян и Жильцов разделили на пять частей; каждая часть должна была три месяца быть в Москве на страже, а *Белый город* отпирался с трех часов утра до 4-х по полудни».

С. 206: «<...> Софья хотела Иоанна отдалить от престола за слабостью здоровья, а Петра и Царицу мать его лишить жизни. Исполнение сего плана прибавило смелости: надлежало приготовить народ, и Софья Июля 8 явилась в крестном ходу во храме *Казанской Богоматери* в одежде Царской; <...> Софья вооружала Стрельцов и 8 Августа 1689 составила явный заговор, назначив быть главою онаго Окольничаго Феодора Щегловитого».

С. 206–207: «История сохранила имена некоторых из них и предала потомству: имена Стольника и начальника одного из Стрелецких полков *Лаврентья Панкратьевича Сухарева*, сподвижников его: Пятисотника *Василья Бурмистрова* и Пятидесятника *Ивана Борисова* останутся незабвенными»¹.

С. 207: «<...> переехали из села *Преображенского*, где Царственный отрок проводил время, заводя своих *Потешных* и занимаясь делом ратным, – в Троицкую Лавру, сделавшуюся снова спасительницею Царя и Престола».

С. 207: «<...> Петр, оставшись Царем, объявил себя *Единодержавным*».

С. 208: «Честолюбивая Софья заключена в *Девичий* монастырь, начальник мятежа *Щегловитый* казнен, а Князь Василий *Голицын* сослан в Сибирь» (1689 г.).

С. 208: «<...> Государь, в честь верного *Сухарева* Стрелецкого полка построил башню и назвал ее *Сухаревою*» (1692 г.).

С. 208: «<...> гуляя с бывшим учителем своим *Тимермайном* по селу *Измайлову*, увидел он Английский бот. <...> указал на озере *Переяславском* сделать два небольшие фрегата и три яхты».

С. 209: «Государь возвратился 25 Августа, снова разрушил замысел мятежников и уничтожил навсегда корпус Стрельцов» (1697 г.).

С. 209: «<...> не с 1-го Сентября, а с 1-го Генваря, по каковому случаю происходило в Москве торжество...» (1700 г.).

С. 209: «Декабря 6-го Государь имел торжественный въезд в Москву» (1702 г.).

¹ На полях – вертикальное отчеркивание.

С. 210: «После знаменитой Полтавской победы, случившейся 27-го Июня 1709, Царь 21-го Декабря имел опять торжественный въезд в столицу, в коей для вшествия его сделано было *семь ворот*. С 1710 года положить можно перенесение резиденции Петром из Москвы в новосозданный им город Петербург <...>».

С. 210–211: «<...> повелел короновать ее и указал <...>. В Апреле прибыл и Государь, а в Мае свершилось коронование Императрицы. В сей день Петр Первый был одет в кафтане голубой обьяри, вышитый руками его супруги».

* * *

С. 211: «Февраля 25 происходило в Москве коронование Петра II, по каковому случаю привезена была туда из Девичьего Успенского монастыря близ Ладоги и первая супруга Петра Первого Евдокия Феодоровна <...>» (1728 г.).

С. 212: «<...> приступили к избранию Монарха и на престол вступила Государыня Анна Иоанновна, которая сего же года прибыла в Москву и Апреля 28 воцарилась»¹.

С. 212: «Императрица (Елисавета Петровна. – *Т.Г.*) прибыла в Москву 28 Февраля для совершения по обычаю предшественников своих Царского своего венчания» (1742 г.).

С. 215: «Апреля 25-го в пять часов утра дан был сигнал залпом из 21-й пушки <...>».

С. 219: «Января 12-го дня 1754 года по представительству Д. Камергера Шувалова незабвенная Монархиня основала в Москве Университет».

С. 220: «Москва снова ликовала 1762 года Сентября 22 дня, торжествуя коронацию новой Императрицы».

¹ На полях – вертикальное отчеркивание.

С. 221: «Между прочими забавами представлена была жителям Москвы *торжествующая масляница*, подвижный маскарад. 1764 года Апреля 21-го попечительная Монархиня основала в Москве Воспитательный дом <...>».

С. 221: «30 июня 1767 года собравшиеся депутаты служили в Успенском соборе торжественный молебен, по окончании коего представлялись Императрице, получили от нее Наказ и приступили к своему делу <...>».

С. 222: «В начале года Прусский Принц *Генрих* <...>» (1771 г.).

С. 222: «В Феврале месяце открылась моровая язва; Великая Екатерина назначила Правителем Москвы *Петра Дмитриевича Еропкина*» (1771 г.).

С. 222: «15-го Сентября открылся бунт <...> ограбили *Чудов монастырь* <...> с неистовством напали на Архиепископа *Амвросия* <...>» (1771 г.).

С. 222–223: «<...> и в Генваре 1775 года казненным, Императрица прибыла в Москву и успокоила жителей столицы, уstraшенных мгновенными успехами Самозванца Пугачева. Здесь к сему времени собрались увенчанные лаврами побед герои: *Румянцев*, *Долгорукий* и *Орлов*, и получили в награду бранной доблести именования: *Задунайскаго, Крымскаго и Чесменскаго*. В Июле месяце происходило в Москве великолепное торжество мира, память коего ознаменовала Императрица <...>» (1775 г.).

С. 223: «1780. Посещал Москву Германский Император *Иосиф II-й*, путешествовавший по России под именем Графа *Фалкенштейна*».

С. 224: «<...> она повелела из селения *Мытищ* провести водопроводный канал <...>».

С. 225: «1797 Апреля 5, в первый день Пасхи <...> коронование <...> Павла <...>».

С. 225: «1801 Сентября 15 последовало в Москве коронавание <...>».

* * *

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

С. 227: «Внутри города священники, в облачении и со крестами, стояли у своих приходов <...>».

С. 229: «<...> священник *Покровского села Григорий Гаврилов* имел счастье встретить Государя на *Поклонной горе*. Священник был в облачении <...>».

С. 232: «В сей день совершалось молебствие о замирении с Турциею. Государь сам был благовестителем мира».

С. 235: «Надо отдать все; предлагаем в ополчение с десяти душ одного».

С. 236: «Некоторые Смоленские помещики, жившие в Москве <...> Из Минска, из Витебска и других городов <...>».

С. 237: «Вместе с выходцами Смоленскими прибыл в Москву образ *Смоленской Божией Матери* <...> из Успенского собора вынесли Смоленскую Божию Матерь для препровождения далее».

С. 239: «<...> говорили, что будет выжжено Смоленское предместье для построения батарей <...>».

С. 240: «В Воскресенье 1-го *Сентября* все уже было в смятении».

С. 241: «В десять часов утра 2-го *Сентября* войско Русское вступало в Москву и проходило через нее <...>».

С. 244: «Наполеон остановился у *Драгомиловского* моста; ждал ключей <...>».

С. 245: «Прождав целую ночь, 3-го числа, волею или неволею, мнимый обладатель вселенной на маленькой своей лошадке поехал через опустелую Москву в Кремль».

С. 248: «7-го Октября в пять часов утра Наполеон вышел из Москвы с старою своей гвардией. 10-го Октября Французы зажгли Винный двор и Кригскоммисариат».

С. 253: «Октября 1-го 1817 года Москва осчастливлена была прибытием Монарха <...>».

С. 253: «1818 года Февраля 20-го открыт в Москве в присутствии всей Императорской фамилии монумент Минину и Князю Пожарскому».

Указатель произведений В.А. Жуковского

1-ое июля 1842 – 162, 163, 164, 165,
166.

9 марта 1823 – 149, 150, 153.

Адельстан – 97.

Алина и Альсим – 97.

Ангел и певец – 153.

Ахилл – 97, 102.

Баллада, в которой описывается,
как одна старушка ехала на
черном коне вдвоем и кто си-
дел впереди – 104.
«Боже, Царя Храни...» см.: Молит-
ва Русского народа
Бородинская годовщина – 502, 514.

Вадим – 207, 226.

Вечер – 70, 71.

Введение в Историю государства
Российского – 164, 510.

Видение – 155.

Война мышей и лягушек – 92, 178.

Воспоминание (статья) – 476,
477, 478

**Воспоминание («О милых спутни-
ках, которые наш свет...»)** – 265,
474, 481.

Воспоминание о торжестве
30 августа 1834 года – 502,
514, 524.

«**Всесилен Бог, Пред Ним всесиль-
на вера...**» – 497,

Герой – 57, 68.

**Голос с того света («Не узнавай,
куда я путь склонила...»)** –
231.

Государыне великой княгине

Александре Федоровне на ро-
ждение в. кн. Александра Ни-
колаевича – 500, 501, 523.

Громобой – 97, 207, 226.

Две Всемирные Истории: Отрывок
письма из Швейцарии – 165.

**Добродетель («От Света светов
луч излился...»)** – 62, 66, 67,
68.

**Добродетель («Под звездным
кровом тихой ночи...»)** – 62,
63, 64, 65,

Жизнь и источник – 74,

Звезды небес! – 149.

Ивиковы журавли – 97, 102.

Илиада – 308, 318, 319.

Императору Александру – 145, 146,
217.

Иосиф Радовиц – 183.

Истинный герой – 141, 142.

<**Ж** А.А. Плещееву> («Плещеев!
Сколько сходств с тобою
у меня!») – 145.

- К А.Н. Арбеновой («Мой друг, для всех одно здесь Провиденье!») – 145.
- К Батюшкову – 145.
- К мимопролетевшему знакомому гению – 77.
- К надежде – 141.
- К Тибуллу. На прошедший век – 45-52, 68, 140, 141.
- Камознс – 319.
- Кассандра – 97, 102.
- Клера и Феликс – 279-303
- Колочая роза – 95,
- Котик и козлик – 105,
- Лалла Рук – 77, 107, 159, 160, 161.
- Ленора – 99, 231.
- Лесной царь – 203, 204.
- Людмила – 97, 99, 101, 102, 229, 230, 231, 233.
- М*** на Новый год при подарке книги – 143.
- Майское утро – 57-62,
- Мальчик с пальчик – 105, 106.
- Марьяна роща – 262.
- Мир – 68.
- Молитва Русского народа («Боже, Царя Храни...») – 497, 514.
- Мысли и замечания – 492, 493, 494, 497, 507.
- Мысли на кладбище – 74, 75, 76, 141, 142.
- Мысли при гробнице – 60, 61, 63
- На** кончину Ея Величества, королевы Виртембергской – 77.
- Наль и Дамаянти – 160,
- Невыразимое – 73, 77, 78.
- Нечто о привидениях – 154, 166.
- Нина к своему супругу в день его рождения – 145.
- Ночной смотр – 182,
- О** дивной розе без шипов... – 108, 109.
- О меланхолии в жизни и в поэзии – 66.
- О происшествиях 1848 года.
Письмо к графу Ш-ку – 183, 514.
- О путешествии в Малороссию – 74, 260, 261.
- О смертной казни – 203, 220, 224.
- Овсяный кисель – 262.
- Одиссея – 275, 457, 459, 463,
- Очерки Швеции – 264, 265,
- Певец** – 70, 72.
- Певец в Кремле – 503, 505.
- Певец во стане русских воинов – 145, 207, 226, 262, 503, 505.
- Первое июня 1813 – 144, 145, 147.
- Песня Русских солдат – 497.
- Писатель в обществе – 83,
- Письмо к графу Ш. О происшествиях 1848 года – 500, 511.
- Письмо из уезда к издателю – 83,
- Пловец – 145.
- Подарок на Новый год – 143, 144.
- Подробный отчет о луне. Послание к государыне императрице Марии Федоровне – 211,
- Подробный план учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича – 157, 158.
- Пожар Зимнего дворца – 523, 524.
- Послание к Плещееву. В день Светлого Воскресения – 145.
- Послание к Плещееву («Ну, как же вздумал ты, дурак...») – 146.
- При посылке альбома – 143.
- Привидение – 149, 263.
- Прощальная песнь, петая воспи-

- танницами Общества благородных девиц, при выпуске 1824 года – 155.
- Прощальная песнь, петая воспитанницами общества благородных девиц, при выпуске 1827 года – 155, 157, 159.
- Пустынник – 97,
- Рафаэлева** Мадонна – 160.
- Речь на акте в университетском благородном пансионе, 14 ноября 1798 г. – 63.
- Русская и английская политика – 183, 500.
- Русская народная песня – 497.
- Русская слава – 508, 511.
- Русскому царю – 497.
- Рыбак – 261.
- Самодержавие – 158, 159, 166.
- Светлана – 97, 99, 100, 102, 229, 230, 231, 232, 233.
- Святой трилиственник – 262, 263.
- Сельское кладбище – 68, 69, 70, 71, 94, 95, 261, 263.
- Сказка о царе Берендее – 178.
- Славянка – 73, 74, 75, 76, 77, 78.
- «Собой счастливить всех – прелестный жребий твой...» – 143,
- Спящая царевна – 95, 96, 174, 178.
- Сражение с змеем – 122,
- Старая песня на новый лад – 511,
- Старцу Эверсу – 77.
- Стихи на Новый 1800 год – 140, 141.
- Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским – 105.
- Странствующий жид – 182, 190, 191.
- Суд Божий над епископом – 458, 466.
- Таинственный посетитель** – 77.
- Теон и Эсхин – 152.
- Ты все жива в душе моей! – 149, 153.
- Тюльпанное дерево – 107, 123–132.
- У** гроба государыни императрицы Марии Федоровны. В ночь накануне Ея погребения – 155, Ундина – 168-181.
- Хор** девиц Екатерининского института на последнем экзамене, по случаю выпуска их, 1826 года февраля 20 дня – 154, 155, 156, 157.
- Цвет завета** – 77, 109.
- Человек** – 68,
- Черты истории Российского государства** – 507.
- Четыре сына Франции** – 182–199, 309, 310.
- Элегия** («Вечерний колокол печально раздаётся...») – 68,
- Эльвина и Эдвин – 97,
- Эолова арфа – 97, 233.
- Я** Музу юную, бывало... – 77, 160.
- Явление поэзии в виде Лалла Рук – 77, 117,
- Stabat Mater** – 496, 497.

Указатель имен

А

- Аарон 312
Абдуллаев Е. 80
Аввакум Петров 535
Август Октавиан, император 49, 107, 243
Аверинцев С.С. 168–169
Адауров Н.Я. 33
Адами Ф.В. 473
Адлерберг А.В. 313–314
Азбукина Е.П. (урожд. Юшкова) 38
Айзикова И.А. 9, 462
Акельев Е.А. 37
Аксаков И.С. 391
Аксинья, крепостная 330
Александр Николаевич, великий князь *см.* Александр II
Александр Ярославич Невский 107, 164, 516–517, 527
Александр I, император 109, 113–114, 145–146, 148, 155–156, 159, 206, 208–210, 213, 217–224, 226–227, 229–235, 241–242, 502, 522–524, 539–540
Александр II, император 127–131, 135–138, 154, 157–158, 162, 165, 214–217, 238–241, 243–244, 246, 249, 251–257, 260, 304–345, 382, 456, 461–462, 466–468, 479, 481, 499–501, 503, 507–508, 510–513, 515–526
Александр III, император 214–215, 338–340
Александра Александровна, великая княгиня 461–462, 467
Александра Николаевна, великая княгиня 160
Александра Федоровна, великая княгиня, императрица 50, 109, 115–118, 122–123, 127–131, 136, 153–154, 159–163, 165–167, 241, 246, 249, 313–314, 318–319, 324, 332, 340, 342, 456, 461, 466, 468–469, 473, 476–483, 499–500, 507, 513, 518–519, 521–525
Алексеев М.П. 115–116, 131, 259
Алексеев П.В. 193, 195
Алексей Александрович, великий князь 345
Алексей Михайлович, царь 11
Алексей Петрович, царевич 136, 208
Аллингтон Дж. 442
Альтшуллер М.Г. 88–89
Алябьев, солдат 13
Амвросий, архиепископ 538
Анастасевич В.Г. 46
Андерсен Г.Х. 121, 126
Андреев Н.А. 205
Андрющенко Е.А. 207
Анисимов Е.В. 24
Анисимова Е.Е. 200
Анна Австрийская 414
Анна Иоанновна, императрица 20, 537

- Анна Стюарт, принцесса, королева 446
Антисфен 86
Антокольский П.Г. 221
Антоний 49
Апраксина М.М., царица 533
Апухтин П.С. 38
Апухтина М.А. (урожд. Бунина) 38
Аракчеев А.А. 210, 226, 233–234
Арбенева А.Н. 145, 352–353, 357, 359–360, 362–365, 372
Арбузов Ф.Н. 16, 28
Ардт И. 52
Арним Б. Фон 491
Арсеньев К.И. 256–257, 519
Арундель 421
Архангельский А.С. 159, 502
Афанасьева Э.М. 497
Ахматова А.А. 202
Ахмет III 121
- Б**
- Бабаев Э. 202
Бабич И.В. 17
Бабич М.В. 17
Бабкины, купцы 518
Багно В.Е. 200
Багратион П.И. 502
Базаров И., протоиерей 457, 484
Байрон Дж. Г. 88, 90, 207
Балакин А.Ю. 347
Бальмонт К.Д. 202
Баратынский Е.А. 90, 206, 260, 264
Барильон Ж.Р. де 428
Барковская Н.В. 235
Барт Р. 134
Бартнев П.И. 305–307, 349, 389
Барыков (Барыкин) А.Л. 31
Батеньков Г.С. 389–392, 396–403, 405, 409
Батый 527
Батюшков К.Н. 85–86, 88, 90, 93, 98, 145, 206, 264, 271
Бахтадзе М. 510
Бахтин М.М. 170
Беккер Ф. 377
Бекметов Р.Ф. 495
Белинский В.Г. 80, 91, 270
Белый А. 202, 227–228
Бенкендорф А.Х. 500
Берг К.Л. фон 469–470
Берг К.Ф. фон (урожд. Хэзелер) 469–473, 476, 481
Березкина С.В. 2, 346, 348
Бернард, святой 125
Берон П. 119
Бессараб М. 178
Бестужев А.А. 89, 261, 273
Бестужев М.А. 89
Бестужев Н.А. 89
Бетеа Д.М. 90, 270
Бетховен Л7 491
Бехам С. 75
Бешевлиев В. 119
Безр М.В. 11, 41, 43
Бирон Е. 350
Бисмарк О. фон 189
Благой Д.Д. 266, 269
Бланк Б.К. 46
Блок А.А. 201
Блудов Д.Н. 329, 331
Блум Х. 236
Бобринский А.Г. 41
Богданова Н.И. 38
Боде (Боден-Кольчев) Л.К. 519
Бодлер Ш. 232
Божемянов И.И. 239
Болотников И.И. 529
Болотов А.Т. 25–26, 42
Бордуков В.В. 12
Борисов И. 536
Боровкова-Майкова М.С. 266, 269
Бразе М. де 260

- Брегман А.А. 401
 Бредов Г.Г. 246
 Бреннглас А. *см.* Гласбреннер А.
 Брокгауз Ф.А. 392
 Брук, лорд 418
 Брюллов К.П. 376
 Брюс Я.В. 12
 Брюсов В.Я. 202, 221, 227
 Брянчанинов А. 31
 Булгаков А.Я. 454, 465–467
 Булгаков М.А. 263
 Булгарин Ф.В. 95, 222, 512
 Бунзен К. 374–375, 377, 494
 Бунин А.И. 9–10, 12, 16, 19–42, 231, 347, 362, 367
 Бунин А.Л. 38
 Бунин Ан.Р. 15, 21
 Бунин Ар.Р. 15
 Бунин В.И. 38
 Бунин И.Ал. 218
 Бунин И.Ан. 9–16, 19–21, 28–30, 40
 Бунин И.Аф. 27–28, 41
 Бунин И.Л. 38
 Бунин Иван, стремянной конюх 29
 Бунин М.Ф. 15, 21, 27–28
 Бунин Ф.А. 15–16, 21
 Бунина А.И. 12, 16–18, 28
 Бунина А.Ф. 15
 Бунина Ав.С. 11–12, 19, 27–28
 Бунина Ан.С. 15
 Бунина Д.Г. 16, 21
 Бунина М.Г. (урожд. Безобразова) 12, 27, 72
 Бунина П.И. 12, 16, 19, 28
 Бунина Ф.Б. (урожд. Римская-Корсакова Ф.Б.) 10–12, 27
 Бурмистров В. 536
 Бурнет (Бернет) Т. 406, 428–430, 437, 440, 444
 Бурцев В.А. 496
 Бушарди Э. 225
 Бычков И.А. 312, 314
 Бюргер Г. 97, 99–100, 102–103
- В**
- В.У. 512
 Варгон Т. 421
 Василий Блаженный 505
 Василий I Дмитриевич 529
 Василий IV Шуйский 529–530
 Вацуро В.Э. 4, 69, 86, 258–276
 Вачева А. 107
 Вачнадзе М. 510
 Вдовин А.В. 206
 Ведекинд А.К. 246
 Вельяминов Н.И. 39
 Вельяминова Н.А. (урожд. Бунина) 27, 39, 42
 Вельяшев Е. 19, 28
 Веневитинов Д.В. 90
 Вергилий 49, 52
 Вердеревский А.А. 12–13
 Вержбицкая А. 495–496
 Веселовский А.Н. 54, 69, 125, 201, 258, 346, 377–378
 Ветшева Н.Ж. 109, 155
 Вигель Ф.Ф. 101, 519
 Виельгорский И.М. 246, 249
 Виельгорский М.Ю. 350
 Виланд Х.М. 470
 Вильгельм III Оранский, король 416, 426, 442, 446–447
 Вильдермет Ц.А. 129, 478
 Виницкий И.Ю. 9–10, 27, 41, 43, 124, 153–154, 159, 182, 190–191, 484
 Виноградов В.В. 95, 108
 Виноградов И.А. 464
 Виरोлайнен М.Н. 260
 Владимир Святославич, князь 107
 Владислав IV, король 530
 Власов В.А. 9–11, 20, 26, 30, 37
 Власова З.И. 391
 Воган Р., граф Карбери 417
 Воган Ф., лорд 417
 Воган, леди *см.* Россель (Расселл) Р.

- Воейков А.Ф. 39, 346–373
Воейков В.А. 13–14
Воейков К.М. 39
Воейков П.Ф. 349
Воейкова А.А. (урожд. Протасова)
39, 145, 150, 152, 161, 346–347,
350–351, 353–356, 359–360,
365, 368–372, 389, 462
Воейкова А.В. (урожд. Киреевская)
39
Воейкова А.Н. 349–350, 354, 359, 364
Войтехович Р. 204
Волков А. 98
Волков Н.Е. 25
Волконская Е.А. 351
Волконская З.А. 377
Волошин М.А. 204, 236
Волынский А.Л. 202
Вольпе Ц.С. 259
Вольтрек Ф. 375–376
Воронцов М.С. 310–313
Воропаев В.А. 464
Ворслей (Уорсли) Р. 446
Вриотслей Ф., граф Сутамптон *см.*
Райазесли Т.
Всеволод Георгиевич, князь 517
Всеволожская С.Н. 477
Вуич Л.И. 374
Вулстонхолм Дж. 444
Вульстонгтон Дж. *см.* Вулстон-
холм Дж.
Вульф Ю.В. фон 315–316
Высочков Л. 466
Вяземский Н.Н. 12–13
Вяземский П.А. 81–82, 85, 88, 90,
193, 222–223, 260, 268, 274–
275, 304, 317, 375–377, 379,
390, 462–463, 511, 514, 518
- Г**
- Гавистон, лорд *см.* Райазесли
Расселл, маркиз Тависток
Гаврилов Г. 539
Гайнборф, лорд *см.* Ноэль Е., граф
Галифакс, лорд *см.* Савиль (Сэвил) Г.
Гамбден Г. 425
Гамель О.Х. 511
Ганцева Е.А. 471
Гарве Хр. 143
Гартман Ф. 169
Гаспаров М.Л. 110, 200
Гаттон, епископ 458, 466
Гауланд *см.* Райазесли Расселл Е.
Гегель Г.В.Ф. 190
Гейнсборо
Генриетта Стюарт, герцогиня Ор-
леанская 415
Генрих Мореплаватель 184
Генрих Прусский, принц 538
Георг Мекленбург-Стрелицкий
470–471
Георг Ольденбургский, герцог 517
Георг I, король 447
Гервег Г. 186
Гердер И.Г. 469–470, 491
Гермоген, патриарх 530–531
Гершензон М.О. 80, 223, 279
Герштейн Э.Г. 260
Гесснер С. 359, 364
Гете И.В. 89–90, 97, 204, 223, 261,
377–378, 382–388, 469–470, 491
Гете Ю.А.В. 384–386
Гид, канцлер *см.* Хайд Э.
Гизо Г. 407
Гизо П. (де Мелан) 390
Гизо Ф. 389–394, 396, 400–405, 407,
409
Гизо Э. (урожд. Диллон) 390, 393,
402, 407–408
Гиллельсон М.И. 86, 260–261, 266,
270, 276
Гинзбург Л.Я. 69
Гиппиус Г. 225
Гиппиус З.Н. 202–203, 208, 212,
214–216, 218–220

- Гиривенко А.Н. 196
Глаголева О.Е. 2, 9–10, 19, 23, 27–
29, 36, 38–39, 42
Гласбреннер А. 185–186
Глассэ А. 269–270
Глейм И.В.Л. 470
Глинка С.Н. 504, 506, 527, 534
Гнедич Н.И. 101
Говард К. 421
Говард Т. 421, 425, 430
Гоголь Н.В. 91, 205, 221, 269, 275–
276, 314, 319, 462, 464, 521
Годунов Борис, царь 530
Голицын В.В. 536
Голицын В.М. 210, 213, 229–233
Голицын Д.В. 500, 519
Голицын С.М. 500, 519
Головенченко Ф.М. 80
Головкин Ю.А. 249
Голубцов В.В. 39
Гомер 88, 275, 319, 334, 463, 492,
497
Гончаров И.А. 201
Гораций 49–50, 52, 271
Горелов А. 266
Горчаков А.М. 82
Готтшефель Й. 492
Гофман М.Л. 371
Гофман Э.Т.А. 403
Гранвий Ж. 119–121
Грановский Т.Н. 403
Грачев В. 390
Гребнева М.П. 168
Грей Т. 46, 68–69, 95
Грехнев В.А. 69, 72–74
Греч Н.И. 100
Грибоедов А.С. 101, 210, 213
Григорьев Ап. 496
Григорьева Е.Н. 168
Гримм, братья 95, 123, 126, 132,
134, 138
Грот К.Я. 521
Грот Я.К. 64
Грушецкая А.С., царица 533
Грякалова Н.Ю. 236
Гугерт Ф.А. 307, 325–326, 342
Гузаиров Т. 2, 124, 154, 164, 238,
305, 316, 499–500, 523, 526,
534, 537
Гуковский Г.А. 69, 74, 258
Гурули В. 510
Гутенберг И. 481
Гуфеланд К.В. 473
- Д
- Давыдов А.М. 18
Давыдов А.С. 16
Давыдов В.С. 16
Давыдов Д.В. 18
Давыдов Д.В., поэт 18, 260, 264
Давыдов Д.С. 16
Давыдов С. 270
Давыдов С.Д. 16, 28
Далейрак Н. 147
Даль В.И. 110
Даниил Александрович, князь 527
Данилевский Р.Ю. 259, 374
Дартмут Дж. Л., барон 427
Дебрилли, полковник 23
Деверё Р., граф Эссекс 411
Девонширская, графиня *см.* Кавен-
диш М.
Деказ Э.Л. 393
Деларю М.Д. 79
Делия 48
Дельви́г А.А. 78, 115, 260–261, 264,
274
Державин Г.Р. 45, 53–54, 64, 86,
108, 207–208
Джулиани Р. 376, 382
Дзифер Дж. 242
Дикенвельд Г. 441
Диоген 86
Дмитриев И.И. 46, 60, 346
Дмитриев-Мамонов А.М. 32

Дмитриев-Мамонов В. А. 31
 Дмитриев-Мамонов М. В. 31–32
 Дмитрий Иванович Донской 164, 506, 528
 Дмитрий Иванович, царевич 534
 Добровольская Е. Б. 309
 Добролюбов Н. А. 61
 Доброславский Д. 349–350, 354
 Долгова С. Р. 9–10, 23, 37
 Долгоруков В. Д., князь 533
 Долгоруков М. Ю., князь 534
 Долгоруков П. 16, 18
 Долгоруков-Крымский В. М. 538
 Долгушин Д. В. 108–109, 454, 457, 462, 464, 476, 484
 Доменико Ф. 75
 Доменико Цампери (Доменикино) 477–478
 Дондуков-Корсаков М. А. 261
 Достоевский Ф. М. 51, 206–207, 211, 221, 269, 351, 495
 Дрезке И. Г. Б. 161, 469, 479–480
 Дремсфорбах *см.* Форбс Дж.
 Дубовенко К. И. 484, 492–493
 Душечкина Е. В. 99
 Дюкен А., адмирал 416
 Дюрер А. 64, 75
 Дяден 527

Е

Евгения Максимилиановна, княжна Романовская 324–325
 Евдокия Дмитриевна, московская княгиня 506
 Евдокия Федоровна, царица 537
 Евсевий Кесарийский 242
 Едигей 529
 Екатерина I, императрица 136, 509
 Екатерина II, императрица 25, 31–32, 35, 37, 41, 107–109, 113, 135, 242, 313, 511, 537–538
 Екатерина, святая 486, 532

Елагин Ал. А. 39, 397–398, 403
 Елагин Ан. А. 17, 39
 Елагин В. А. 464
 Елагин Н. 16–17, 33
 Елагин Р. А. 151, 153
 Елагина А. П. (урожд. Юшкова) 38–39, 145, 148, 150, 152–153, 332, 360, 362–364, 373, 389–392, 394–410, 454–456, 458–465, 500
 Елагина Е. И. 11–12, 25, 27, 39, 42–43, 391, 460, 464
 Елагина Е. С. (урожд. Бунина) 17, 39
 Елагины 389, 397, 403
 Елена Павловна, великая княгиня 129
 Елизавета Алексеевна, императрица 210–211, 223–226, 232–234
 Елизавета Петровна, императрица 14, 107, 135, 537
 Елизавета, святая 184
 Еропкин П. Д. 538
 Ефремов П. А. 122, 138, 157, 305, 317, 456, 463, 465, 514
 Ефрон И. А. 392

Ж

Жакино О. П. 86
 Жан Поль *см.* Рихтер И. П. Ф.
 Жанлис М.-Ф. 110–113, 115, 126–127, 129–132
 Желковский (Жолкевский) С. 530
 Желябужский С. В. 34, 37
 Жиль Ф. 246, 249
 Жилиякова Э. М. 2, 148, 150, 158, 304, 309, 332, 389–390, 454, 464
 Жирмунский В. М. 59, 259
 Жихарев С. П. 114
 Жомини А. А. 88
 Жуковская А. В. 105, 166, 309, 318, 342, 458, 460–462, 464–467

Жуковская Е.Е. (урожд. Рейтерн)
454, 456, 458–466, 484–489,
491, 495–498
Жуковский А.Г. 22
Жуковский П.В. 105, 334–335, 338–
340, 342, 345, 381, 460–462,
465

З

Заборов П.Р. 259
Завитневич В.З. 463–464
Загоскин М.Н. 104–105, 519
Залдкин А. 84
Залевский В. 161
Заруцкий И. 531
Захарова А.Г. 520
Зейдлиц К.К. 325, 349
Зейдлиц, генерал 24
Зенгле Ф. 491–492
Зигварт-Мюллер К. 320–321
Зигель Х. 44
Зими́на О.Г. 482
Зиновьев А.Н. 25–26, 32, 40
Зиновьев А.С. 31–32
Зиновьев В.Н. 26, 41
Зиновьев М.В. 36
Зиновьев Н.И. 25–26
Зиновьев Ф.В. 26
Зобнин Ю.В. 218–219
Зонтаг А.П. (урожд. Юшкова) 38,
43, 309
Зорин А.Л. 86, 105, 140, 143, 146–
147
Зубков Н.Н. 86, 105
Зыбин М.А. 31–33

И

Иван Данилович Калита 528
Иван Дмитриевич, князь 527
Иван III Васильевич 529
Иван, слуга 535

Иванов В.В. 119
Иванов Вяч.И. 201–202
Иванова Е.В. 121
Иванова Л.Н. 477
Иванова Т.Ф. 192–193
Иезуитова Р.В. 2, 69, 86, 97, 102,
267, 346, 349, 371
Илиев Л. 55
Иоаким, патриарх 533–535
Иоанн Алексеевич, царевич 509,
535
Иоанн Антонович 135
Иоанн Богослов 462, 475, 477–478,
482
Иосиф II, император 538
Ипполитова А.Б. 108

Й

Йоркский, герцог *см.* Яков II
Йорн М. 378, 387–388

К

Кавелин А.А. 312–313
Кавелин Д.А. 350, 355, 365, 372
Кавелин К.Д. 389
Кавендиш (урожд. Расселл) Р.,
графиня Девонширская 437–
438, 442, 451
Кавендиш Дж. 451
Кавендиш М. (урожд. Батлер) 442
Кавендиш Уильям 438
Кавендиш Уильям, граф Девон-
ширский 438, 442–443
Кавендиши (род) 443
Кавос К.А. 156
Казабене Ф. 381
Кзакевич Н.И. 378
Кайданов И.К. 242
Кальдони-Лапченко В. 376, 379–
384
Кант И. 55, 78, 267

- Кантемир А.Д. 21
Канторович И. 389
Канунова Ф.З. 83, 162, 243, 401, 462, 474
Капель А., барон 395
Капель А., граф Эссекс 395, 425, 441
Карамзин Н.М. 9, 45, 54–55, 93, 108, 110, 193, 207–208, 210–211, 224, 226, 260–261, 283, 337, 340
Карамзина Е.А. 210
Карамзины 393
Карл I Великий, король Франции 249, 461, 466
Карл I, король Англии 405, 410–413, 423, 432
Карл II Мекленбург-Стрелицкий 471
Карл II, король Англии 392, 403, 405, 412–415, 417, 423–429, 431–432, 441
Касаткина В.Н. 55
Катенин П.А. 79, 86
Катулл 47
Каупер Э. (во втором браке Пальмерстон) 419
Кашталинский Н.Ф. 34–36, 40
Келиус М.Й. фон 325–326
Керн А.П. 160
Керуаль Л.Р. де, герцогиня Портсмут 425–426, 428
Кестнер Г.А.К. 374–388
Кестнер И.К. 377–378, 382, 387
Кестнер Ш.С. (урожд. Буфф) 377–378, 382–383, 386–388
Кибальник С.А. 50
Кизильбаши 505
Киреевская А.П. см. Елагина А.П.
Киреевская В.К. (урожд. Воейкова) 39
Киреевская Д.Я. 13–14, 38
Киреевская И.С. (урожд. Апухтина) 38
Киреевская М.В. 390–391, 407, 464
Киреевские 389
Киреевский В.И. 38
Киреевский Е.П. 39
Киреевский И.В. 22, 35–38
Киреевский И.В. 38, 389, 394, 403, 405, 460, 464
Киреевский П.В. 38, 389, 403
Киреевский П.И. 391
Киреевский Ф.М. 38
Киселев В.С. 2, 158, 304, 319
Киселева Л.Н. 145, 152, 160, 204, 340, 508
Киселева М.С. 21
Клаудиус М. 470
Клейнмихель П.А. 500
Клейст Г. 470
Клейст М. фон (урожд. Гвалтиери) 470
Клейст Ф.В.Х. фон 470
Клеопатра VII Филопатор 243
Клеридж Т. 442
Климент I, папа Римский 532
Кнабе Г.С. 82
Кобак А. 25
Ковалев П.А. 484
Коллинз У. 95
Коллинс Э.Д. 254
Коллоди К. 98
Колосова А.М. (в замуж. Каратыгина) 274
Колосова В.Б. 108
Кольрауш Г. 249–250
Кондорсе Ж.А. 254–255
Кононова А.Ю. 9–10, 23, 37
Константин Николаевич, великий князь 122, 136–138, 304
Константин Павлович, великий князь 242, 507, 522–523
Константин Преславский 107–108
Константин Романович, князь 527
Константин I Великий, император 533

- Копп И.Г. 456, 458–459, 462
 Коптелова Н.Г. 204
 Корнелиус П. 387
 Коровин И.И. (Илейко Муромец,
 Лжепетр) 529
 Корсак (Римский-Корсаков) Б.С.
 11–12
 Корф М.А. 392
 Кошелев В.А. 86, 92, 463–464
 Краевский А.А. 251–253
 Краснокутский В.С. 267, 272
 Крашенинников С.П. 21
 Кречетников М.Н. 42
 Кромвель О. 405, 412–413, 423
 Кромвель Р. 413
 Крузенштерн И.Ф. 249
 Крупницкая Д.Е. 484
 Крылов И.А. 98, 206, 222, 224–226
 Крыстева Д. 107–108, 114, 122
 Крюкова А.А., Алымова А.А.
 (урожд. Бунина) 27
 Кубасов И. 98
 Кубачева В.Н. 113
 Кулешов В.И. 272
 Кунин В.В. 81
 Купер (Каупер) Вильям (Уильям)
 447
 Купр Дж.К. 119
 Куракин Б.А. 31
 Кутузова Е.И. 100
 Кучка С. 527
 Кюхельбекер В.К. 78, 81
- Л**
- Лаво Г. Леконт де 504, 527
 Лагарп Ф.Ц. 242
 Лагин Л. 98
 Лас Каз Э.О. де 249–250
 Лебедева О.Б. 2, 69, 82–83, 116,
 129, 143, 147, 160, 266, 317,
 467, 499
 Лебедкова А.В. 378
- Лебо Ш. 391–392
 Левин Ю.Д. 169, 259
 Левкович Я.Л. 86
 Лейбниц Г.В. 242
 Лейбов Р.Г. 164, 238, 500, 515
 Леман К.Э. 480
 Леман К.Я.Л. 480–481
 Леман Ф.Л. 479
 Леманы 480
 Лермонтов М.Ю. 91, 165, 206–207,
 260, 264–265
 Лесаж А. см. Лас Каз Э.О. де
 Лжедмирий II 529–530
 Липке Ш. 489
 Липман Ф.Л. 239, 244, 256–257
 Лисовский А. 530
 Лихачев Д.С. 108, 304
 Лобанов В.В. 244, 254, 364, 503
 Лобанов М.Е. 222
 Лобанова Э.Ф. 89
 Лобачевский Н.И. 53
 Логинов В.В. 508
 Лолк Х. 480
 Ломоносов М.В. 21
 Лопатин В.С. 37
 Лопухин И.В. 61, 352–353, 356,
 359–363, 365, 372
 Лосский В.Н. 487
 Лотман Ю.М. 88, 116, 209, 238,
 271, 508
 Лоч И.Х. 376
 Луи-Филипп I, король 185, 187, 196
 Луиза Мекленбургская, королева
 108–109, 118, 469–473, 475–
 478, 481, 514
 Луллий Р. 242
 Лунин М.С. 213, 223
 Людовик XIV, король 414–416,
 428, 439
 Людовик XVI, король 249, 345, 413
 Людовик XVIII, король 116, 184,
 344–345
 Лямина Е.Э. 246, 249

Ляпунов П. 531

М

Магницкий Л.Ф. 21

Мазарини Дж., кардинал 414–415

Мазовша 529

Мазур Н.Н. 90

Майков А.Н. 496

Маймин Е.А. 69

Майорова О. 107

Максим, крепостной 330–332

Максимлиан Лейхтенбергский
325

Максутов В.П. 24

Макферсон Д. 95

Малиновский В.Ф. 81

Мальзерб К.Г.Л. 413

Мамай 528

Манн Т. 382

Манн Ю.В. 89, 174

Маннерс Дж., герцог Рутланд 443,
446

Маннерс Дж., лорд Рус 443, 446

Маннерс К. (урожд. Расселл), гер-
цогиня Рутланд 443–444, 446,
450–451

Мантейфель, генерал 24

Мария Александровна, великая
княгиня, императрица 215,
314, 316, 318–319, 332, 341,
456, 461–462, 466–467

Мария Анна Амалия Гессен-
Гомбургская 472

Мария Николаевна, великая княги-
ня 307, 322–325, 331

Мария Павловна, великая княгиня
185

Мария Федоровна, императрица
100, 109, 155–156, 159, 252,
352

Мария II, королева Англии 441–
442, 446

Марлинский А. см. Бестужев А.А.

Мартьянов И.И. 84–85, 87

Мартьянова Л. 515

Масон И. 52

Матвеев 316–317, 327

Матвеев А.С., боярин 534–535

Матич О. 211, 215

Мей Л.А. 471, 497

Мейлах М. 209

Мендельсон (Мендельсон-
Бартольди) Я.Л.Ф. 379

Менелас А. 468

Мердер К.К. 244, 251–252, 500, 517

Мережковская В.В. 215–216

Мережковский Д.С. 200–229, 231–
236

Мережковский К.С. 216

Мережковский С.И. 214–216

Мерзляков А.Ф. 260

Мериме П. 93, 207

Мессала М.В. 48

Мещерский А.И. 45

Милославский И.М. 534

Минин К. 506, 532, 540

Мицц З.Г. 220

Минчаков-Давыдов И.К. 17–18

Минчаков-Давыдов К.И. 17

Минье Ф.О. 393

Мирбах Э.И. 478

Мироненко С.В. 348

Мисайлиди Л.Е. 474, 477–478

Михаил Федорович, царь 533

Михаил Ярославич Тверской 517,
528

Михаил Ярославич Хоробрит
(Храбрый) 527

Михайловский Н.К. 212

Мицкевич А. 38, 90

Модзалевский Б.Л. 89

Мойер И.Ф. 464

Мойер М.А. 72, 100, 143–145, 149–
154, 161, 167–168, 231, 309,
346, 350, 352–357, 359–360,

362–364, 367–368, 370–373,
389, 462, 464, 480
Монмут, Джеймс Скотт, герцог
427, 439
Мономах 509, 520
Морган Р. (урожд. Кавендиш) 451
Мордаунт Ч., лорд 425–426
Мур Т. 115–119, 131
Муравьев А.Н. 219
Муравьев Н.М. 219
Муравьев-Апостол И.М. 83–84, 98
Муравьева А.Г. (урожд. Черныше-
ва) 403
Муравьева Е.Ф. 403, 519
Муфель И.К.Г. 35, 38
Мюллер И.Ф.В. 477
Мюллер Ф. фон 378, 385
Мюллер Х.Ф. 477–478, 482
Мятлев И.П. 267–268

Н

Набоков В.В. 95
Нагиба, казак 529
Надеждин Н.И. 89
Назарьян Р.Г. 89
Найдич Л.Э. 124–126, 133
Наполеон I Бонапарт 51, 113, 184,
188–189, 196–198, 342–345,
378, 539–540
Наполеон III, император 187–189,
196, 198, 309, 342–345
Нарышкин А.К., боярин 534
Нарышкин Д.Л. 477
Нарышкин И.К., боярин 535
Нарышкин К.П., боярин 535
Нарышкина Е.П. (урожд. Коновни-
цына) 403
Нарышкина М.А. 223
Нарышкина С.Д. 229–233
Наталья Кирилловна (урожд. На-
рышкина), царица 534–535
Некрасов Н.А. 259

Нелединский-Мелецкий Ю.А. 156,
222
Немзер А.С. 86, 105
Ненарокова М.Р. 193–194
Неронова М. 16
Неручев С. 16
Нестеров С.М. 13–15
Николай Мирликийский 535
Николай I, император 108–110,
115, 117, 122, 124, 128–129,
131, 136, 154, 156, 159, 162–
163, 165–167, 214, 222–223,
244, 246, 249, 252, 261, 305–
306, 308, 310–314, 318–321,
323–325, 327–332, 334–337,
339–340, 342, 397–398, 456,
466, 468, 476–478, 499, 503,
505, 507–508, 511–515, 519–
521, 523–525
Николай II, император 148, 214
Николовиус Г.Г.Л. 472
Никон, патриарх 517–518
Никонова Н.Е. 52, 161, 177, 182,
186, 317, 325, 377, 379, 381,
383, 480, 484, 492, 494–495
Нимейер А.Г. 243
Ниссен Н. 249–250
Ницше Ф. 227
Новалис 123–124, 169, 491
Новоземцев С.П. 462
Новосильцева Е.В. 147
Ноель Е. (урожд. Райазесли) 416–
417, 437
Ноэль Е., граф Гейнсборо 437
Нума Помпилий, царь 107

О

Оболенский Е.П. 402
Одоевский А.И. 219
Ознобишин Д.П. 182, 191–199
Олджай Т. 121
Олег, князь 107, 122, 516

Олсуфьев В.Д. 316–317
Олсуфьев П.М. 35–38
Ольга Николаевна, великая княгиня 246
Ольгерд, князь 528
Ольшевский М.Я. 312
Онгль 421
Онегин А.Ф. 375
Ориген Адамант 242
Орлеанская, герцогиня *см.* Генриетта Стюарт
Орлов А. 41
Орлов В.Г. 41
Орлов Г.Г. 25–26, 32, 40, 41
Орлов М.Ф. 519
Орлов-Давыдов В. 41
Орлов-Чесменский А.Г. 538
Орлова Л.И. 25
Осват А.Л. 90, 266, 526
Острейковская Н.В. 147
Остроумов Л. 47
Офросимова М.П. (урожд. Юшкова) 38
Охотин Н.Г. 90

П

Павел I, император 113, 135, 208, 217, 219–220, 223, 231–232, 348, 538
Павел, апостол 58
Павлова Ж.К. 249
Павлова М. 220–221
Павский Г.П. 239, 479
Паизиелло Дж. 147
Пайман А. 212
Палицын А. 532
Палмер У. 495
Пальмерстон Г.Д.Т. 183, 419
Паперный В. 205
Парацельс 169
Парни Э. 264
Пашкова Т.Л. 478
Пеньковский А.Б. 146
Перси Е. (урожд. Райазесли) 419
Песков А.М. 348
Песталоцци И.Г. 239, 242, 252
Пестель П.И. 231, 233
Петр I, император 11, 20–21, 110, 135, 148, 208, 227, 238, 509, 516, 534–537
Петр II, император 135, 537
Петр III, император 135
Петр, митрополит 528
Петров А.В. 141
Петрушка *см.* Коровин И.И.
Пилат Понтий 485, 490
Пильщиков И.А. 107
Пирожкова Т.Ф. 403
Пирютко Ю. 25
Пишон Ф.У. 246
Платнер Ф. 387
Платон 75
Плетнев П.А. 79, 94, 244, 250–252, 308, 329, 331, 333, 335, 457
Плещеев А.А. 45, 144–147, 347, 357, 363
Плещеева А.И. 145, 147, 357, 363
Победоносцев П.В. 53
Погодин М.П. 87, 340, 403, 500, 519
Погосян Е. 107–108
Подевилльс Г. фон 469
Пожарский Д.М. 506, 530–532, 540
Покровский М.М. 80
Полевой К.А. 90
Полевой Н.А. 80
Полежаев А.И. 79
Полексфен Г. 447
Полетика П.И. 480
Полиньяк М. де 416
Половцов А.А. 312
Полухтов, прапорщик 14
Полушкин Л.П. 25
Поплавская И.А. 139, 146, 150, 161
Попов М.М. 347–349, 351
Портсмут, герцогиня *см.* Керуаль Л.Р. де

Потемкин Г.А. 37
 Потоцкая М.А. 377
 Преллер Ф. 384
 Прокопович-Антонский А.А. 62
 Проперций 47, 49
 Пропп В.Я. 173
 Проскурина В. 107
 Протасов П.И. 357, 363
 Протасова А.А. *см.* Воейкова А.А.
 Протасова Е.А. (урожд. Бунина)
 26–27, 42, 72, 100, 145, 309,
 347, 351–355, 357–360, 362–
 363, 365–373, 460, 464–465
 Протасова М.А. *см.* Мойер М.А.
 Протохристова К. 126
 Прутков Козьма 268
 Пугачев Е.И. 538
 Пушкин А.С. 38, 80–82, 85–95, 97,
 102, 108, 115–117, 135–136, 145,
 149, 160, 174, 178–179, 193, 204,
 206, 208, 210, 221–224, 242, 258–
 267, 270–271, 273–276, 348, 375–
 376, 484, 497, 508
 Пушкина Е.Г. 157
 Пущин И.И. 208, 402–403

Р

Равкин З.И. 242
 Радин М. 17
 Радовиц Й. фон 183
 Раевский В.Ф. 219
 Раевский В.Ф. 402
 Разин С.Т. 11
 Разумовская Г. 378
 Разумовская М.Г. 393
 Райазесли 443
 Райазесли Расселл Е. (урожд. Хо-
 улэнд) 443, 450
 Райазесли Расселл, маркиз Тави-
 сток 443–445, 450
 Райазесли Т., граф Саутгемптон
 410–414, 416, 427, 432, 451

Райский И. 269
 Райт Т. 225
 Рафаэль Сантис 153–154, 160, 383
 Рафаэль *см.* Елагин Р.А.
 Рахманов А.М. 35–37
 Рашель *см.* Кавендиш (урожд. Рас-
 селл) Р.
 Ребеккини Д. 238, 254
 Редель К.Т. 479
 Резов Б.Г. 392
 Рейтерн Г.В. фон 162–163, 315–
 316, 374, 454, 456, 462, 486
 Рейтерн М. фон 454, 463
 Рейтерн Ш. фон (в замужестве
 Вульф фон) 315–316
 Рейтерны 456, 462
 Рес А., епископ 320–321
 Римская-Корсакова К.Б. 12
 Рисмен Д. 140
 Рихтер И.К. 482
 Рихтер И.П.Ф. 403, 470
 Риччи М. 377
 Ришелье, кардинал 414
 Роберт, принц 412
 Робин 418
 Роде П. 84
 Родионов Р.Р. 308, 333, 336, 340
 Розенвейн Б. 146
 Романовы 509
 Ронинсон О.А. 272
 Росс, лорд *см.* Маннерс Дж., лорд
 Рус
 Россели (Расселлы) 415, 443, 445
 Россель (Рассел) Дж., герцог Бет-
 форд 450
 Россель (Рассел) Ф., герцог Бет-
 форд 450
 Россель (Рассел) Э. 445
 Россель (Расселл) Уильям (Виль-
 ям), герцог Бетфорд (Бедфорд)
 417–418, 428, 431, 437, 440,
 442, 444–445
 Россель (Расселл) Дж. 431

- Россель (Расселл) Р. 391, 394, 404, 406–407, 415–424, 426–453
Россель (Расселл) Уильям (Вильям) 391–392, 394–396, 404–406, 417–442, 445, 449, 451–453
Рочестер, леди 421
Ружинский (Наримунтович-Ружинский) Р. 530
Руммель В.В. 39
Румянцев-Задунайский П.А. 538
Руссо Ж.Ж. 239, 243
Рутланд, герцог *см.* Маннерс Дж., герцог Рутланд
Рылеев К.Ф. 219
Рювины А. де, граф Голуэй 416, 450–451
Рювины А. де, маркиз 414–416, 428
Рювины Р. де, графиня Саутгемптон 414, 416
Рюйтер М.А. де 421
Рюрик, князь 107, 516
- С**
- Савиль (Сэвил) Дж., маркиз Галифакс 428, 435–436, 447
Савинков Б.В. 220
Садовников А.Г. 53, 61
Садовников А.С. 57
Садовской Б.А. 222–224, 226
Сазонович Л. 100
Салтыков Н.И. 242
Сальха *см.* Турчанинова Е.Д.
Самбула 312
Самовер Н.В. 246, 249
Самойлов Л.М. 511
Самойлова С.А. 161, 480
Саути Р. 95, 458, 466
Сахаров В.И. 69
Сахарова Л.Г. 389
Свайн (Суэйн) 446
Свечина М.Н. 353, 362
Свиньин П.П. 509–510
Святополк-Четвертинская Н.Ф. 500, 519
Северин Д.П. 310, 312
Седакова И. 135
Селезнева Т.Ф. 262, 269
Семевский М.И. 347–349
Семен А.И. 527
Семенко И.М. 69, 73–74, 275
Семигин В.Л. 201
Сенковский О.И. 267
Сергий Радонежский 532–533
Серебренников Н.В. 463
Сигизмунд III, король 530
Сидни Э., полковник 425, 439
Сидорова А.Н. 305
Симиновский П.М. 304
Симони П.К. 462
Синдаловский Н.А. 135
Синявский А.Д. 275
Скабичевский А.М. 212
Скельтон (Скелтон) М. 441
Смирнова-Россет А.О. 156
Смит А. 88
Соловьев В.С. 203, 206, 213, 263
Соловьев Н.В. 346
Соловьев С.М. 37
Сологуб Ф.К. 202
Сомерс Дж. 444
Соснер И.Ю. 11, 14
Софокл 218
Софья Алексеевна, царевна 534–536
Спенсер 420
Сперанский М.М. 226, 249, 391
Сталь Ж. де 88
Станислав Август 509
Стендаль 207
Степанищева Т.Н. 145, 152
Степанов Н.П. 241
Стерн Л. 274
Стеффенс Х. 403
Стратфорд, лорд *см.* Уэнтворт Т.

- Стремиллов В. 504–506, 509–510, 529
Строганова Е.Н. 147
Стюарты 415
Суворин А.С. 203–204
Сузон, святой 125
Сумароков А.П. 53–54
Сунн Р.Г. 148
Сусанин И. 508
Сутамптоны (Саутгемптоны) 415
Сухарев Л.П. 536
Сытин П. 10
Сюза А.М.Э. 210
- Т**
- Тааф 418
Тамерлан 529
Тараканова, княжна 135
Тарбеев А.В. 18–19
Тарбеева А.Д. (урожд. Бунина) 39
Татаринова Е. 213
Татищев С.С. 312, 522, 525
Таунтон 426
Тахо-Годи Е. 182–183
Тебиев Б.К. 304
Тенерани П. 381
Терц А. см. Сиявский А.Д.
Тибулл 44–51, 68, 140–142
Тиллотсон Дж. 428–429, 446–447
Тиме У. 377
Тимермайн (Тиммерман) Ф.Ф. 536
Тит, император 107
Толбот Ч., герцог Шрусбери 444–446
Толстая А.А. 329, 331, 333
Толстой А.Н. 98
Толстой Л.Н. 206–207, 211, 220–221, 226, 331
Томашевский Б.В. 94
Тон К.А. 520
Топоров В.Н. 149
Торвальдсен Б. 384, 386
Тортон Г. 417
Тохтамыш 528
Тредиаковский В.К. 21, 208
Триниус К.Б. 239, 244
Триполи И.А. 86
Трубановская М.В. 468
Трубачев О. 119
Трубецкой Д.Т. 531–532
Трубецкой С.П. 402
Туманский В.И. 79
Тургенев А.И. 68, 85, 157, 160, 348, 352, 357, 363, 365, 372, 375–377, 379, 393–395, 462, 486, 499, 503
Тургенев А.М. 521
Тургенев Ан.И. 72, 260, 377
Тургенев И.П. 61
Тургенев И.С. 201
Тургенев Н.И. 393, 395
Тургенев С.И. 378, 393
Тургеневы 389
Туркистанов Н. 18, 37
Турчанинова Е.Д. 9, 39, 282
Тынянов Ю.Н. 81, 97, 268, 271–272, 508
Тюрго А.Р.Ж. 413
Тютчев Ф.И. 79, 165, 204, 259
Тютчева А. 136
Тютюнник А.И. 520
- У**
- Уваров С.С. 261
Узбек, хан 517, 528
Уланд Л. 97
Уортман (Вортман) Р. 107–110, 114, 116, 124, 148, 214, 499, 524
Успенский Б.А. 213
Успенский Г.И. 212
Уткин Н.И. 468
Ушаков Д.Н. 361
Уэнтворт Т., граф Страффорд 411

Ф

Фалкенштейн *см.* Иосиф II
 Фасмер М. 119
 Февр Л. 139
 Федор Алексеевич, царь 533
 Федорченко В. 18
 Феокрыт 88
 Фермор В. 24
 Фет А. А. 496
 Фикельмон Ш.Л.К.Л. 519
 Филарет (Дроздов), митрополит 524
 Филарет (Пуляшкин) 353, 365
 Философов Д.В. 208, 218, 220
 Филькина Е.Ю. 9
 Фиц-Вильям (Фицуильям) Дж.
 432–436, 438–440, 445, 447
 Флобер Г. 207
 Фоменко А.Г. 64
 Фомин Н.К. 9, 23
 Фонвизин М.А. 219, 397
 Фонвизина Н.Д. (урожд. Апухтина)
 397, 403, 406
 Фондаминский И.И. 220
 Форбс Дж. 443–445
 Фосс И.Г. 470
 Фосс Л. (урожд. Берг) 473
 Франц II, император 116
 Францева М.Д. 403
 Фредерикс (Фридерикс) Б.А. 315,
 317
 Фредерикс (Фридерикс) Э.А. 315,
 317
 Фридерика Мекленбург-
 Стрелицкая 470
 Фридрих Вильгельм Карл Прус-
 ский, принц 472
 Фридрих II, король 24, 109, 116
 Фридрих-Вильгельм III, король
 109, 115–116, 118, 470, 472–
 473, 476, 478
 Фридрих-Вильгельм IV, король
 324–325, 481

Фризман Л.Г. 89
 Фроман 477
 Фуке Ф. де Ламотт 168, 170

Х

Хайд Э., граф Кларендон 413–414
 Хафиз 193, 195
 Хвостов Д.И. 271
 Херасков М.М. 61
 Хованский И.А., князь 535
 Ходасевич В.Ф. 228–229, 235
 Холиков А.А. 224
 Холмогоров В. 33
 Холмогоров Г. 33
 Хомяков А.С. 457, 459, 463–464,
 494
 Хомяков Д.А. 463
 Хомякова Е.М. (урожд. Языкова)
 459, 463
 Хомякова М.А. 463
 Хоткевич (Ходкевич) Я.К. 532
 Хохлова Н.А. 193
 Хэзелер И.А. фон 469
 Хэзелер С.Д. фон 469
 Хэзелеры 469

Ц

Цветаева М.И. 204
 Цедлиц И.Х. 184
 Цедлиц-Трюшлер Э. 182–184,
 186–189, 191, 193–198
 Цезарь, император 49
 Цестий Гай 384

Ч

Черкасов А.И. 397
 Черкасов И.П. 397
 Черкасова М.А. 397
 Черкасский К.М., князь 533
 Черкасский М.А., князь 534

Чернецов Н.Г. 240
 Черников С.В. 29, 32
 Чернов А.В. 463
 Чернопятов В.И. 39
 Черных П.Я. 119
 Черчилль С. (урожд. Дженнигс), герцогиня Мальборо 446
 Чесменский А.А. 41
 Четвертинская *см.* Святополк-Четвертинская Н.Ф.
 Чехов А.П. 203–204
 Чингисхан 527
 Чистова И. 269
 Чистяков М. 89
 Чуковский К. 98

Ш

Шайтанов И. 85
 Шаликов П.И. 114, 261, 507–508
 Шанская Т.В. 119
 Шанский Н.М. 119
 Шарафадина К.И. 108
 Шарлотта, принцесса *см.* Александра Федоровна
 Шатобриан Ф.Р. 88
 Шаховской А.А. 103–104
 Шаховской Г.П. 529
 Швейцер Ш. (урожд. Кестнер) 383, 387
 Шверин, граф 25
 Шевеленко И. 214
 Шевченко Т.Г. 210
 Шевырев С.П. 90, 93–94
 Шекспир В. 85, 95, 190, 274
 Шеллинг Ф.В.Й. 403
 Шенк Ф.Б. 107
 Шеншин Д.С. 12–14, 38, 40
 Шервинский С.В. 108
 Шереметьева Н.Н. 396, 403
 Шеридан Р.Б. 98
 Шефтсбери Э. Э.-К. 392, 395, 424–426

Шиллер Ф. 89–90, 97, 259–260, 264, 378, 470–471
 Шириноский-Шихматов П.А. 308, 335, 340
 Ширяев А.С. 508
 Шишков А.С. 273
 Шкурин В.Г. 41
 Шлейермахер Ф. 403
 Шляпкин И.А. 254
 Шмид К. Фон 492
 Шмидт С.О. 304
 Шомберг Ф.А. де, маршал 416
 Шопенгауэр А. 207
 Шревебюри, герцог *см.* Толбот Ч., герцог Шрусбери
 Шредер И.Х. 382, 387
 Штапельберг О.М. 381
 Штейн Н.А.Г. фон 378
 Штейнгель В.И. 219, 399, 402
 Штольберг Ф.Л. 470
 Штольберг Х. 470
 Штрасс Ф. 249
 Шувалов И.И. 537
 Шумихин С.В. 223
 Шумская Н.Ф. 233–234

Щ

Щегловитый (Шакловитый) Ф.Л. 535–536

Э

Эглофштейн Г. 378
 Эглофштейн Ю. 378
 Эджворт М. 403
 Эйхенбаум Б.М. 114, 258
 Эккерман И.П. 378, 385–386
 Эльбов, герцог 421
 Энгельгардт Е.А. 81
 Эссекс, граф *см.* Деверё Р.
 Эссекс, лорд *см.* Капель А.
 Эсхил 198
 Эткинд А. 209, 212

Эткинд Е.Г. 259
 Эфрон *см.* Ефрон И.А.
 Эшенбург И.И. 50

Ю

Юдин П.М. 115
 Юлиан II, император 227
 Юрий Данилович, князь 528
 Юрий Долгорукий, князь 527
 Юрьевич С.А. 317
 Юшков А.А. 39
 Юшков П.Н. 35, 38, 42
 Юшков Х.А. 39
 Юшкова А.В. (урожд. Вельяминова) 39
 Юшкова А.П. 38
 Юшкова В.А. (урожд. Бунина) 27, 38, 56
 Юшкова Е.И. (урожд. Воейкова) 39
 Юшковский В.Д. 401

Я

Язвинский А. 251–252
 Языков Н.М. 38, 79, 92, 259, 462–463
 Якоби И.Г. 470
 Якоби Ф.Г. 470
 Яков II, король 421, 423, 427–428, 439–440
 Якушкин Е.И. 390, 402–403
 Якушкин И.Д. 396, 402
 Янушкевич А.С. 2–5, 9, 46, 56, 61–62, 69–74, 77, 79, 82–83, 93–95, 109–110, 130, 142, 144, 147, 149, 152, 159, 165, 170, 182–183, 189, 191, 258, 279, 304, 309, 324, 340, 361, 392–393, 457, 467, 484, 499
 Ярослав Владимирович 516

В

Bachelard G. 55

Bachr S.L. 107–108
 Bailleu P. 469, 471
 Barthel W. 470
 Berg U. von 472–473
 Bertrand K. 46
 Biaudet J.Ch. 242
 Böhme J. 59
 Breitkopf 469, 472

С

Catherine St. 107
 Cotta J.G. 386

Д

Dash M. 116
 Devrient 469, 471

Е

Emig G. 470

Г

Geist H. 51
 Giesecke 469, 471
 Goschen G.J. 377
 Grafton A. 242

Н

Härtel 469
 Hayter G. 394
 Herold 469, 479
 Hoffmann P. 470

К

Kluge M. 46

Л

Lochmann J.J. 243

M

Mahlstab 469, 479
Marker G. 107

N

Nicot F. 242
Nieblich W. 481

P

Pfohl G. 51
Pielenz A. 470

R

Rahmayer R. 383
Reichert L. 481
Richardson A. 87
Rossi P. 242
Rothe H. 46, 52

S

Schnell C. 46
Sonnenburg L. 481
Svagelski J. 55

T

Tieck L. 59

V

Vassena R. 238

W

Wackenroder W.H. 59
Williams M. 242
Willige W. 47

Y

Yates F. 242

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА.....	4
-------------------	---

І. СТАТЬИ

О.Е. Глаголева

(Университет Торонто, Канада)

Дела семейные: помещики Бунины, отец и дед В.А. Жуковского	9
--	---

Хольгер Зигель

(Бонн, Германия)

Стихотворение В.А. Жуковского «К Тибуллу. На прошедший век» (1800): опыт интерпретации (перевод Н.Е. Никоновой).....	44
---	----

А.Г. Садовников

*(Нижегородский государственный
лингвистический университет)*

Меланхолия и меланхолический герой в поэзии В.А. Жуковского	53
---	----

Евгений Абдуллаев

(Ташкентская православная семинария, Ташкент, Узбекистан)

Жуковский и миф о «неучености» Пушкина.....	80
---	----

В.А. Кошелев

(Новгородский государственный университет)

Баллады Жуковского: «детская» составляющая	92
--	----

Денка Крыстева

*(Шуменский университет им. Епископа Константина
Преславского, Болгария)*

«Политическая ботаника» В.А. Жуковского в дискурсе придворного романтизма и мифологии монархии: от «Лалла Рук» к «Тюльпанному дереву»	107
---	-----

И.А. Поплавская

(Томский государственный университет)

Художественная хронология эмоций в лирике В.А. Жуковского	139
---	-----

М.П. Гребнева (Алтайский государственный университет, Барнаул) Мифопоэтика сказочной повести В.А. Жуковского «Ундина»	168
Н.Е. Никонova (Томский государственный университет) «Die Söhne Frankreichs» графини Э. Цедлиц-Трюцшлер в переводах В.А. Жуковского и Д.П. Ознобишина.....	182
Е.Е. Анисимова (Сибирский федеральный университет, Красноярск) «Действительный статский советник»: В.А. Жуковский в критике и литературно-историсофской программе Д.С. Мережковского.....	200
Дамиано Ребеккини (Миланский университет, Италия) Мир символов: мнемонические таблицы Жуковского и их практическое значение (перевод О.Б. Лебедевой)	238
А.С. Янушкевич (Томский государственный университет) В.А. Жуковский в творческом сознании В.Э. Вацуро	258
О.Б. Лебедева (Томский государственный университет) В.Э. Вацуро и «Арзамас»: опыт интерпретации и перспективы исследовательской концепции.....	266

II. МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ

А.С. Янушкевич (Томский государственный университет) Неопубликованная повесть В.А. Жуковского «Клера и Феликс»	279
В.С. Киселев (Томский государственный университет) Письма Жуковского к великому князю Александру Николаевичу 1850–1852 гг.: публикация и комментарий	304
С.В. Березкина (Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург) Письма В.А. Жуковского к А.Ф. Воейкову второй половины 1814 г.	346
Л.И. Вуич (г. Москва) Друг Жуковского Август Кестнер.....	374
Э.М. Жиликова (Томский государственный университет) Вблизи Жуковского: Франсуа Гизо в переводах А.П. Елагиной и Г.С. Батенькова	389

Священник Д. Долгушин

(Новосибирский государственный университет)

«Теперь вся жизнь приведена в хаос»: письмо В.А. Жуковского

А.П. Елагиной 454

М.В. Трубановская

(Государственный музей-заповедник «Петергоф»)

Автограф В.А. Жуковского на книге из библиотеки императрицы

Александры Федоровны..... 468

К.И. Дубовенко

(Томский государственный университет)

«Символ веры» в наследии Е. фон Рейтерн и В.А. Жуковского..... 484

Тимур Гузаиров

(Тартуский университет, Эстония)

Московские визиты цесаревича Александра Николаевича

и В.А. Жуковского (из истории царской педагогики 1831 и 1837 гг.) 499

Указатель произведений В.А. Жуковского (О.Б. Лебедева)..... 541

Указатель имен (В.С. Киселев) 544

Научное издание

ЖУКОВСКИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Выпуск 3

Сборник научных трудов

Редактор *Т.В. Зелева*
Компьютерная верстка *Г.П. Орловой*

Подписано в печать 05.06.2017 г. Формат 60x84¹/₁₆.

Печ. л. 35,4; усл. печ. л. 32,9; уч.-изд. л. 33,4.

Тираж 500 экз. Заказ 373

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ИП «Завгородний Евгений Анатольевич»,
634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 1